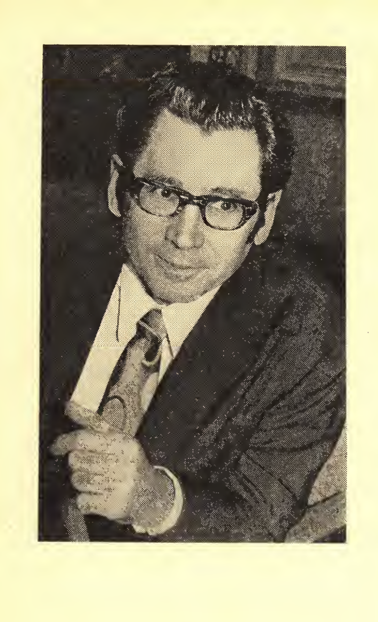
Павло Загребельный

ДИ-ВО









Павло
Загребельный



Авторизованный перевод
с украинского И. Карабутенко



Советский писатель
Москва 1973

С(Укр)2
З 14

Роман известного украинского писателя П. Загребельного рассказывает об эпохе Ярослава Мудрого, о Киевской Руси. Немало веков прошло с той поры, но стоят, как и прежде, тысячелетние памятники, поражая своим искусством и великолепием. Кто их создавал? В каких условиях? Каковы судьбы безвестных мастеров?

Все эти проблемы автор как художник исследует на широком фоне общественно-политических событий того времени.

Роман является историческим по жанру, но он включает и главы, в которых действуют наши современники. Этим подчеркивается центральная идея произведения — бессмертие красоты и искусства народа.

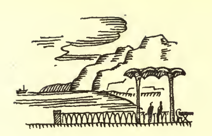
З $\frac{733-075}{083(02)-73}$ 204—73

Кто воздвиг семивратные Фивы?
В книгах стоят имена королей.
Но разве короли обтесывали камни и сдвигали скалы?
А многократно разрушенный Вавилон?
Кто отстраивал его каждый раз вновь? В каких лачугах
Жили строители солнечной Лимы?
Куда ушли каменщики в тот вечер,
Когда они закончили кладку Китайской стены?
Великий Рим украшен множеством триумфальных арок.
Кто воздвиг их? Над кем
Торжествовали цезари? Все ли жители прославленной
Византии
Жили во дворцах? Ведь даже в сказочной Атлантиде
В ту ночь, когда ее поглотили волны,
Утопающие господа призывали своих рабов.

Юный Александр завоевал Индию.
Совсем один?
Цезарь разбил галлов.
Не имел ли он при себе хотя бы повара?
Филипп Испанский рыдал, когда погиб его флот.
Неужели никому больше не пришлось проливать слезы?
Фридрих Второй одержал победу в Семилетней войне.
Кто разделил с ним эту победу?
Что ни страница, то победа.
Кто готовил яства для победных пиршеств?
Через каждые десять лет — великий человек.
Кто оплачивал издержки?

Как много книг!
Как много вопросов!

Б. Брехт, «Вопросы читающего рабочего»



1965 год
РАННЯЯ ВЕСНА. ПРИМОРЬЕ

Прежде всего мы должны с помощью микроскопа исследовать все отклонения от предмета.

П. Пикассо[1]

Море посылало на сушу пронизывающую влажность. В холодных мокрых сумерках слонялись по набережной люди, собирались группками под фонарями, расходились, чтобы снова собраться на освещенном пятачке, посмотреть друг на друга, постоять, выкурить папиросу, взглянуть на темное море. Отаве не хотелось возвращаться к людям. Отдохнуть в уединении — единственное, чего он теперь желал. Поэтому сразу же, свернув вбок, мимо знакомого старого платана, по вымощенной белыми плитками дорожке направился в молчаливую тьму. О том, что случилось только что в кафе, он не думал. Странная пустота была у него в груди, в голове, шел быстро, широкие белые плиты твердо стлались ему под ноги, сзади доносились до него обрывки людских разговоров, раз за разом накатывался шум моря, но чем дальше он шел, тем бо́льшая и бо́льшая тишина залегала у него за плечами, слышно было лишь, как неторопливо где-то далеко еще дышало море да стучали по твердым плитам каблуки его туфель: стук-стук!

---

[1] Все последующие эпиграфы из Пикассо взяты из его пьесы «Желание, пойманное за хвост». Пьесу свою Пикассо писал в первый год оккупации Парижа гитлеровцами.

И вдруг к нечастому стуку его каблуков прибавился новый звук, торопливый, нервный, еще далекий, но выразительный и четкий: тук-тук-тук! Так, будто кто-то догонял его. Не совсем приятное ощущение, когда в темноте, на пустынной дороге, догоняет тебя кто-то неизвестный. К тому же Отаве вовсе не хотелось, чтобы кто-то нарушал его одиночество. Поэтому он ускорил шаг, хотя и так был уверен, что вряд ли кто-нибудь сможет догнать его. Разве что будет иметь более длинные ноги.

И все-таки кто-то его догонял. Все ближе, ближе слышно было — тук-тук-тук! Упрямо, настойчиво, почти в отчаянье билось о твердые плиты позади Отавы, который шел быстрее и быстрее, уже почему-то твердо убежденный, что гонятся именно за ним, даже начинал уже догадываться, кто именно, хотя не был уверен, но уверенность здесь была излишней, ибо все равно знал эти шаги, откуда-то давно уже был почему-то известен этот перестук каблуков, так, будто он только то и делал в своей жизни, что прислушивался к перестукам женских каблуков и различал среди них один, тот, который должен был когда-то услышать во влажной холодной темноте на безлюдной аллее приморского города.

Он шел так быстро, как только мог, размашисто выбрасывал вперед то одну, то другую ногу, ноги у него были длинные, вон какие; тот, кто вознамерился гнаться за ним, должен наконец понять, что дело его начисто проиграно, безнадежно от начала и до конца, и он, наверное, действительно понял, погоня вроде бы начала отставать, перестук сзади становился все тише и тише, а потом, когда Отава вздохнул уже свободнее, перестук вдруг сорвался на беспорядочное, спазматическое: ток-ток-ток! — такой звук раздается лишь тогда, когда бежит женщина, когда она странно выпрямляет ноги, а тело ее и в это время описывает осторожные полукружья, ей трудно удержать равновесие, поэтому она скорее и скорее выбрасывает вперед негнущиеся ноги и выбивает каблуками: ток-ток-ток, а сама вяжет из запутанных зигзагов своего покачивания нелегкую дорожку продвижения вперед.

И этот бег Отава мог бы отличить из тысячи и миллиона, хотя перед этим никогда его не видел и не слышал. Это бежала о н а, никто другой. Та самая художница Таисия, из-за которой, собственно, он только что в кафе поссорился с курортниками. Там был какой-то поэт Дима, инженер и врач.

Он остановился и обернулся назад. Из темноты невыразительно приближалось к нему ее белое пушистое пальтишко.

Художница добежала до Отавы и, запыхавшаяся, почти упала ему на плечо.

— Это вы? — делая вид, будто лишь сейчас узнал ее, сухо сказал Отава.— Что с вами?

— Я гналась за вами.

— Зачем? Кто вас просил?

— Пошли назад. К ним.

— Ради этого не стоило вам...

— В самом деле, пошли. Так нехорошо получилось. Этот Димка — он типичный идиот. Я его знаю. Бездарность и дурак. Все бездари такие. Вульгарные забияки. А вы не такой. Все уладится.

— Откуда вы знаете, какой я?

— Ну, знаю. Это не имеет значения. Давайте возвратимся к ним. Они переживают. Этот — тоже... Знаете, перед женщинами всегда всем хочется как-то... Одним словом, мужчинам хочется нравиться...

— У меня такого желания не возникало...

— Ну, все равно. Вы разрешите взять вас под руку? Я совсем выбилась из сил.

— Пожалуйста. Но туда я не пойду.

— Хорошо. Тогда я останусь с вами.

— Зачем?

— Раз я вас догнала, то что же мне теперь делать?

— То, что делали до сих пор. Сколько вам лет?..

— Больше двадцати, но меньше тридцати,— засмеялась она.

Они пошли дальше вперед, теперь уже вдвоем. Рука Таисии грелась у локтя Отавы; шли молча, художница все еще не могла перевести дыхание, а возможно, нарочно дышала учащенно и взволнованно. Отава снова стал ускорять шаг, боялся взглянуть в лицо своей неожиданной спутнице, хотя и знал, что в темноте вряд ли рассмотрит его как следует, но боялся ее лукавых губ, ему казалось, что даже сквозь самую плотную темноту увидит он их волнующий изгиб.

— С вами приятно молчать,— первой заговорила художница.

— Так говорят о дураках.— Отава по-прежнему говорил суровым тоном. Ни малейшей нотки потепления!

— Там молчание вынужденное, а с вами просто приятно. Не подумайте обо мне чего-нибудь плохого.

— А что я должен подумать? Наоборот, должен бы...— Он чуть было не сказал «выразить вам благодарность», но

удержался, хотя и чувствовал прилив какой-то неведомой теплоты, взволнованности, он в самом деле был благодарен ей за то, что она не покинула его одного в такую минуту; чужая, незнакомая женщина искала его в непроглядной темноте, догоняла, отговаривала, успокаивала. Он непременно должен был сказать ей какие-то особые слова, каких никогда никому не говорил, каких не умел говорить. Он должен вот здесь пообещать ей, что никогда не забудет эту ночь, не забудет старого платана, твердых белых плит, стлавшихся мимо него в холодную влажноватую темноту, и стука ее каблуков по этим плитам.

— Вы меня...— начал он, однако снова не закончил.

— Напугала? — засмеялась художница.

— Нет,— наконец решился он,— удивили.

— Ого,— она, кажется, обрадовалась,— вас удивить не так легко.

— Почему вы так решили?

— А я знаю о вас все. Кроме имени.

— Отава,— сказал он.— Вы же слыхали там, в кафе.

— А имя?

— Хватит и Отавы. Зовите, как все.

— Меня зовут Тая, то есть Таисия. Будто поповну. А отец мой — металлист. Еще и сейчас — на заводе. А у дочери — такое смешное имя.

Она незаметно втягивала его в разговор на темы, которых он всегда избегал, считая их мелкими и не заслуживающими внимания. Сам себе удивляясь, Отава возразил:

— Почему же смешное? А вот меня, например, отец назвал Борисом. Вы, наверное, не знаете происхождения этого имени. Оно идет от славянского Богорис. Вероятно, мой отец хотел, чтобы во мне были какие-то черты бога. Но, как видите, ошибся. Красотой не обладаю, привлекательностью — тоже.

— Почему вы считаете, что боги непременно должны быть красивыми?

— Такими их рисовали. Начиная с древних греков.

— Греческие боги не красивы — они женоподобны, слащавы.

— Вам больше нравятся кентавры? [1]

— Не надо об этом,— попросила она, глубже забираясь

[1] Мифическое существо у древних греков, получеловек-полулошадь.

под его локоть теплой ладонью.— Если вам не хочется со мною говорить, давайте просто помолчим. А если и молчать неприятно, скажите.

Она убрала свою руку от него, шла теперь рядом, ее пальтишко тускло белело в темноте.

— И вообще не нужно ничего. Вы начнете сейчас благодарить меня за доброе сердце, скажете, что никогда не забудете, как бросилась в ночь следом за вами, по сути абсолютно незнакомым человеком, как гналась за вами только для того, чтобы... Но не будем об этом...

— Откуда вы все знаете? — искренне удивился Отава.— Это просто какой-то мистицизм.

— Я все знаю,— она засмеялась в темноте, и Отава представил, как изгибаются ее лукавые губы, и ему впервые в жизни стало страшно от близости женщины.

«Нужно ее прогнать»,— подумал он внезапно, пытаясь оттеснить куда-то в самый дальний угол памяти то, что произошло перед этим. И еще подумал: «Какое она имеет право врываться вот так в мою жизнь, все ставить вверх тормашками, ломать все мои планы, главное же — ломать мой характер, ибо он уже сломан навсегда одним только ее поступком. А что же будет дальше?»

— Вы думаете о том, не лучше ли прогнать меня от себя? — спросила она у него, все дальше отходя на край дорожки.— Скажите — и я вернусь к той компании, которая... там. Я не привыкла кому-либо мешать. Сама тоже не люблю, когда мне мешают.

Он сумел скрыть новый взрыв удивления ее невероятным даром читать мысли и попытался свести все к шутке:

— Пускай уж мои товарищи догрызают там вашу подругу.

— А ее не очень угрызут. Она когда-то занималась гимнастикой. Всегда сумеет ускользнуть.

— Великое умение — ускользать,— произнес Отава так, лишь бы сказать что-нибудь.

Дальше шли молча. Дорога поднималась в горы. Она ложилась на темную землю широкими витками, раздвигая в стороны кусты, деревья и даже дома; это было типичное шоссе для машин, чтобы облегчить им подъем, но для пешеходов оно совсем не годилось. Вместо нормального движения прямо вперед приходилось слоняться по серпантинам туда и сюда, те же самые деревья, те же самые дома, те же самые уличные фонари обходить то снизу, то сверху, и если для машины из

быстрого накладывания вот таких медленных витков в конечном счете все же получалось восходящее движение, то для людей, особенно в ночное время, это казалось бессмысленным блужданием в поисках неведомо чего.

Дважды обгоняли их такси, полные пассажиров. Потом в полоске света, которую бросал на шоссе фонарь, они увидели далеко впереди парочку. Стояли посреди шоссе, в самом освещенном месте, и целовались. Что это — быстропроходящая курортная любовь или, быть может, настоящая любовь, которая не хочет ждать, не понимает, где светло, где темно, а то, возможно, просто они совсем еще юные и решили вот так пересчитать своими поцелуями все следы фонарей на ночном шоссе и будут идти в горы до самого утра, потому что для таких дорога никогда не кончается. И он, Отава, тоже мог выдумать нечто подобное, например, целовать Таисию на каждом новом изгибе дороги, целовать ее лукавые уста и молчать, молчать. Он всегда боялся женщин из-за их разговорчивости. Их нужно было заговаривать почти до потери сознания — тогда они чувствовали себя счастливыми. Особенно страдали этим женщины интеллигентные. У них всегда было полно претензий к каждому новому знакомому, вообще ко всему миру, им чего-то хотелось, они непременно должны были залезть тебе в душу, выведать все твои мысли. Возможно, он был несправедлив, думая так о женщинах, но так уже оно сложилось издавна, и перебороть себя Отава не хотел и не мог.

Когда проходили мимо парочки, застывшей в поцелуе, оба сделали вид, будто ничего не заметили, и дальше шли, как чужие, каждый по своей стороне шоссе, и молчали упрямо и непоколебимо, словно враги.

— Простите,— первым не выдержал Отава,— я очень резкий и даже грубый человек.

— Не беспокойтесь,— сказала с той стороны Тая,— я тоже далеко не ангел. Если хотите знать, я даже жестокая. Возможно, потому и бросилась за вами в темноту, как последняя дурочка. Ни одна нормальная женщина никогда не побежала бы. Особенно из так называемых нежных, добрых, ласковых. Даже если бы вы бросились в море или под колеса первой машины... Но я начинаю набивать себе цену, а это уже совсем плохо... Лучше молчать. Скоро уже наш санаторий — и вы освободитесь от моего надоедливого общества... Но перед этим я хотела бы вам признаться... абсолютная бессмыслица, но... Знаете, у меня зоркий глаз... Даже сейчас, в темноте... Хотя темнота — это лишь для непосвященных, а для художников—

это среда, где рождаются все краски от сочетания со светом... Видите, я уже начинаю читать вам лекции, отбивая ваш хлеб.

— Я не читаю лекций,— сказал Отава.

— Простите. Не знала... Так о чем я? Ага, о наблюдательности... Представьте себе: пока вы ходили в неглаженых, каких-то пожеванных штанах и старом свитере, а я тоже придерживалась вашего стиля и упрямо носила штаны и свитер, вызывая осуждение всех санаторных дам и респектабельных мужчин, но делала я это непроизвольно, мне казалось, что я не думаю о вас и не обращаю на вас никакого внимания. Но вот вы надеваете костюм, как все, белую сорочку и галстук и, как все, где-то исчезаете один вечер, другой, третий... И снова не знаю: любопытство или что это? Но мне захотелось узнать, куда и зачем вы исчезаете, хотя я поняла, что это совершеннейшая бессмыслица... А потом я увидела это ваше окно в кафе... И стала приходить к нему тогда, когда вас не было еще... Поймите меня: я художница...

— Я вас понимаю,— сказал Отава,— понимаю, ведь я тоже почти художник...

— Мне говорили, что вы историк...

— Даже профессор и доктор исторических наук,— почти сердито произнес Отава,— но это чисто формально...

— Вы хотите подчеркнуть, что вы — не ординарный профессор и доктор? — изменившимся голосом промолвила художница, словно бы сожалея о той откровенности, с которой она минуту назад разговаривала с Отавой.

— Да нет, просто хочу от историков переброситься к вам, художникам, хотя и знаю, что это почти невозможно.

— Иконы? Древнее искусство? Это теперь модно. Даже более модно, чем абстракции. У нас в Москве, можно сказать, эпидемия среди писателей, среди артистов, о художниках не говорю — некоторые на этом даже зарабатывают.

— Не угадали. Вовсе не иконы.

— Архитектура? Как у Нестора: «Откуда есть пошла Русская земля?» и «Откуда маломеражные квартиры стали есть?» Но, кажется, эту тему у вас перехватили. Вам разве что осталось выступать в газетах.

— Тоже не угадали.

— Простите, я становлюсь слишком любознательной. А это почти всегда признак глупости.

Опять она словно бы отгадала мысли Отавы и снова — в который раз! — удивила его своей проницательностью.

— Хорошо, я отплачу вам тем же самым,— сказал он, пе-

реходя к ней через шоссе и несмело прикасаясь к влажным белым ворсинкам на ее рукаве.— Вы чуть ли не каждый день ходили в горы с этюдником. Разрешите поинтересоваться, удалось вам что-нибудь сделать за это время?

— Могу показать.— Она остановилась и посмотрела ему в лицо, и он увидел ее темные глаза и выразительные губы.— Завтра приглашу вас к себе и покажу. У меня отдельная комната, мне созданы все условия... Видите? Сегодня, к сожалению, не могу. Неприлично. А тем временем мы уже и пришли. Незаметно в разговорах и молчании. Вы не сердитесь на меня?

— Нет,— сказал Отава, хотя и понимал, что сейчас ничего не нужно говорить. А что нужно, не знал.

— Тогда спокойной ночи,— Тая улыбнулась.

— Угу.— На него нахлынула извечная его угрюмость.— Спокойной ночи.

Ночью ему приснилось, будто он плачет. Проснулся — и почувствовал, что все лицо в слезах. Чтобы не будить соседей по палате, тихонько вышел к умывальнику, посмотрел в зеркало. Красные, какие-то совсем маленькие, будто не его, глаза на скуластом некрасивом лице с большим носом и вялым подбородком. Снял пижамную куртку, открыл кран, долго плескался под холодной струей воды, снова посмотрел в зеркало. И снова не увидел ничего привлекательного. Костяк, на который природа забыла налепить мяса. В голове бились два слова — «преславный — пресловутый», будто мухи о стекло. Пресловутый... преславный...

«Уеду,— подумал Отава,— завтра же утром уеду в Киев. Два дня — это ничто. Лучше потерять два дня, чем...»

До утра уже не уснул, завтракать пошел без малейшего желания, твердо решив сразу же после завтрака вызвать такси, уехать на аэродром и, достав там билет, лететь, лететь.

Все разоспались после вчерашнего случая в «Ореанде», на завтрак опаздывали, и Отава подумал, что так даже и лучше. Художницы тоже не было. Отава поковырял вилкой в какой-то там еде, отхлебнул немного чаю и вышел из столовой. Навстречу ему по ступенькам поднималась Тая. Сквозь расстегнутое белое пальтецо вырывалось наружу яркое платье, которое сразу превратило Таю в женщину буквально во всем — в каждом движении, в каждом изгибе тела, в каждом сверкании глаз. Он остановился, вспомнилось короткое всхлипывание из ночного кошмара. Не знал, что сказать, исступленно смотрел на молодую женщину, которая уверенно одолевала

ступеньки своими высокими ногами, обтянутыми модными узорчатыми чулками.

— Вы уже позавтракали? Так рано? — сказала она довольно будничным, как ему показалось, голосом. Отаве вдруг захотелось, чтобы она повторила вчерашнее приглашение посмотреть ее этюды, пригласила его сразу после завтрака, чтобы он потом смог еще вызвать себе такси и успеть на аэродром до отправления рейсового самолета на Киев. Она умела читать его мысли и настроения, поэтому должна была и теперь...

Но Таисия сказала совсем другое:

— А я, видите, принарядилась. Иду в кино. Сегодня показывают «Дорогу» Феллини. Видели?

Он должен был сказать, что не видел, и сразу же напроситься пойти вместе с нею, но обида на Таю за то, что не захотела отгадать его желания, заставила ляпнуть неправду:

— Видел. Ничего особенного.

— Тогда,— она остановилась ступенькой выше Отавы и, щурясь, рассматривала его,— тогда вы пойдете и посмотрите еще раз.

— Зачем?

— А чтобы не говорили об этом фильме таких глупостей.

— Могу я иметь свое мнение? И вообще...— Он не выдержал и сказал почти умоляюще:— Могли бы вы не пойти на этого Феллини?

— Разрешите поинтересоваться — почему?

— Ну, пойдете в другой раз. А сегодня... Я очень хотел бы взглянуть на ваши этюды.

— На мои этюды? — Тая немного заколебалась.— Ну хорошо. Но это можно и потом.

— Нет, я хотел...

— Ага, вам хотелось сейчас же. Может, мне и не завтракать?

— Да нет, позавтракайте.

— Вы разрешаете? Что же... Я подумаю во время завтрака, идти ли мне на Феллини или показывать вам эти... этюды.

— Боюсь, что вы меня можете не застать,— обиженно произнес Отава.

— Ага, решили ехать домой? И немедленно? Ну ладно. Я выпью чаю, а потом покажу этюды. Слабая женщина. Ничего не поделаешь.

Мелькнув перед глазами Отавы своим ярким платьем, она пошла в столовую.

А Отава стоял на ступеньках и растерянно улыбался всем знакомым, направлявшимся на завтрак. Что он наделал? Что натворил? И два слова, будто муха о стекло, бились у него в голове: «Преславный... пресловутый...»

Прошли врач и инженер, виновато поздоровались с Отавой. Потом внизу на ступеньках появилась квадратная фигура поэта. Интересно, что скажет этот... Поэт приблизился, снизу посмотрел на Отаву, хрипло пробормотал:

— Прости, старик. Ничего не помню.

Отава отвернулся. Никто ничего не помнит. А он что — запоминающее устройство? Кибернетическая машина «Днепр»? Преславный — пресловутый? Премного благодарен!

Тая выбежала на ступеньки, держа пальтецо в руках. Ее гибкое тело вырывалось из платья.

— Простудитесь,— сказал ей Отава.

— Зато покажу вам свое платье. Хотя забыла — вас интересуют этюды.

Она повела его в свою комнату. Длинный санаторный коридор. Дешевые копии картин на стенах, ковровые дорожки, казенная показная чистота, хотя бы какой-нибудь беспорядок, который свидетельствовал бы об обыкновенном человеческом жилье.

— Так, так,— отпирая дверь, говорила Тая,— сейчас вы увидите... Покажу вам свои этюды... этюды...

Еще и не закрыв дверь, небрежно бросив на кровать свое пальтецо, Тая кинулась в угол, где виднелся этюдник и стопка полотен, натянутых на подрамники, стала выхватывать их оттуда одно за другим и почти швыряла на стол — Отаве для обозрения.

— Вот, вот, смотрите!.. Можете... вот!.. Пожалуйста!..

Четырехугольники загрунтованного полотна, большие и меньшие. Квадратные и прямоугольные. Готовые принять на себя краски и линии. Но нигде ни единого цветного пятнышка, ни единого прикосновения кистью, ничего, белая пустота. Будто заснеженная тундра.

Отава и не знал уже, куда теперь смотреть: на эти странные заготовки или на Таю. Какая-то немилая шутка. Возможно, она вчера вечером спрятала свои написанные этюды, а это просто так?

— Не понимаю вас,— сказал он нерешительно.

— Еще не понимаете? — Она выпрямилась, стала напротив

него.— Ну, так вот. Не могла. Ничего не могла. Ходила в горы. К морю. Смотрела на пейзажи. На первобытный хаос. На вздыбленность. На дикий крик, жаждущий воплощения... И ничего не могла. Не могла!.. Что мне до этого? Какое мне дело до нагромождений гор и величия воды? Мазня с подтекстом или без подтекста — все это не для меня. Во мне кричат люди, вздыхают, мощно рождаются, а я... не могу...

— Что же вы делали там... в горах? Каждый день с этюдником.

— Что? Плакала.

Она посмотрела на него с близкого расстояния своими разноцветными глазами:

— Вы уезжаете? Сейчас? — Она снова посмотрела на него своими чуточку зловещими глазами, посмотрела так, что ему даже страшно стало.— Ничего. Возможно, так и нужно. Прощайте.

Подала ему руку, смотрела на него, не отрывая глаз. Отава медленно наклонился и поцеловал ей руку.

— Вежливый профессорский поцелуй,— прокомментировала она.

— Я должен ехать,— сказал Отава.— Но если бы... Если бы мы с вами познакомились чуточку раньше...

— То вы бы уехали домой еще тогда,— опередила его Тая.

— Возможно. А возможно, и нет... Я понимаю вас, когда вы так вот... Нетронутые полотна... Все понимаю... Сам не знаю почему, но чувствую, что смог бы рассказать вам... Ну, сначала о мальчике, который жил почти тысячу лет назад, а уж потом...

— Вы думаете, это помогло бы? Тысячелетием заменить нынешнее? Тем мальчиком... вас? Но простите. Счастливого вам полета. Прощайте. Идите.

Он вышел, немного сутулясь из-за своего высокого роста, а возможно, и не из-за роста. И прямо из коридора, сверкавшего казенным убранством, сняв трубку чешского цветного аппарата, который стоял на полированной монументальной тумбе, позвонил в таксомоторный парк.

И когда уже выезжал из города, увидел миндальное деревцо, которое первым зацвело здесь. Было много разговоров об этом миндальном деревцо. Курортная газета на традиционном месте поместила традиционный снимок с традиционной подписью: «Цветет миндаль», но газете никто не поверил,— кому ведь неизвестно, что фотографы всегда имеют в своих черных конвертах заблаговременно приготовленные снимки

на все времена года, и прежде всего — для капризной весны, которая то опаздывает, то приходит слишком рано, пробиваясь сквозь снега и морозы теплым солнышком и зеленой травкой. Но кто-то там говорил, что газета на этот раз не обманывает, что он сам видел это деревцо, но было это ночью, и потому он не может точно определить, где именно оно зацвело и в самом ли деле это миндаль, или, быть может, это какой-нибудь заморский первоцвет, а то и гибрид, выведенный неутомимыми селекционерами.

Теперь Отава мог убедиться, что миндаль уже зацвел. Деревцо стояло в нежной бело-розовой пене, такое нереально легкое, что боязно было протянуть к нему руку: того и гляди — снимется и полетит, как испуганная невиданная птица, оставляя эту влажную, исхлестанную холодными ветрами землю, забирая с нее величайшую радость, какая только может быть на свете.



Год
992
БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ. ПУЩА

...Во оны дни и услышать глусии словеса книжная и ясн будет язык гугнивых.

Летопись Нестора

В тот день, когда он пришел на свет, повсюду лежали девственно белые снега, и солнце ярко горело над ними — огромное низкое солнце над приднепровскими пущами, и таилась тишина в полях и лесах, и небо было чистое и красивое, как глаза его матери. Видел ли он эти глаза и небо в них и слышал ли ту первую тишину своей жизни? Мать родила его среди молчаливых снегов, и он скорее подал свой голос. Старый дед-мороз люто ударил ему в губы, силясь угомонить первый крик новорожденного, но добрые боги велели морозу идти прочь, и первый крик прозвучал так, как и надлежало,— пронзительно, неудержимо, радостно: «Живу!»

Но память жизни дается человеку не с первым его криком, а потом, она возникает в тебе, будто сотрясение, будто взрыв, и свое бытие на земле ты исчисляешь с того момента.

Для него мир начался тьмой. Глухая чернота заливала все вокруг, и он барахтался на самом дне ее, в какой-то тяжкой тине, и плакал отчаянно и безнадежно. Был он посреди бесконечной, ужасающе чужой дороги, сплошь погруженной в темноту. Ничего не знал и не видел. Ноги сами угадывали направление, ноги несли его дальше и дальше по дороге, глубже и глубже в темноту, и ему становилось все страшнее и

страшнее, и он плакал горько-прегорько. Тьма затягивала его в себя, поглощала его, и он послушно шел в нее, вездесущую, и только и умел, что плакать.

Так и пронесет воспоминания об этом через всю свою жизнь. Он это был или только приснилось?

Потом был дед Родим. Собственно, и не сам дед, а его руки, две бесконечно широкие теплые лопаты, которые извлекли младенца из черноты безнадежной дороги, а потом как-то странно прикасались к голове мальчика, к встопорщенным, жестким, будто на спине у волка, волосам, и от этого непривычного прикосновения плач перешел во всхлипывание, а потом и вовсе затих и прекратился.

Большущий человек с густыми, тронутыми крутой сединой волосами на голове и на лице, прикрытый спереди шкурой тура, зацепленной толстым ремнем за похожую на ствол старого дуба шею, колдовал над пламенем. Красное, желтое, сизое, а то внезапно вырвется оттуда черное и испуганно спрячется за мерцающую красноту, сиреневая муть растворяется в нежной синеве — краски рождались, играли, переливались, краски жили буйной, веселой жизнью сначала в горне, потом на лице, на широких дедовых руках, на всей его могучей фигуре, а потом уж плыли и на Сивоока, проходили сквозь него, и он чувствовал, что начинает жить этими красками, этими огненными вспышками в задымленной хижине, а еще он жил отвагой точно такой же, как та, что была в дедовых руках, когда они без страха погружались в бурление пламени и доставали оттуда зацелованные огнем удивительные вещи, которые светились красками, еще более неожиданными и яркими, чем те, которые мальчонка видел на земле и на небе.

Дед был — Родим, а он — Сивоок. Это воспринималось как данность, это начиналось еще до того, как он помнит себя, точно так же, как пламя, как руки деда, как податливая глина в тех руках, как радужность красок, среди которой вырастал малыш.

Дед Родим всегда молчал. Не было людей вокруг; словно спокон веку жил он на пустынном уделе у дороги, ведущей неведомо куда, знал Родим лишь глину и бушующее пламя в горне, молча лепил свои посудины, бросал на них причудливое переплетение краски, обжигал в горне и складывал под камышовым навесом.

Зачем слова?

Дед круто замешивал глину, бросал увесистый комок на

деревянный исшарканный круг, перед тем раскрутив его (приспособление для раскручивания круга ногой было для Сивоока непостижимейшей вещью из всего, что происходило), осторожно приближал к куску глины свои широкие ладони, и глина тянулась вверх, разрасталась, оживала, с веселой покорностью шла за ладонями. Слова здесь были ни к чему.

А уже потом вступали в дело пальцы деда, будто играли па гибкой податливости глины, и из этой молчаливой музыки рождались то красивый горшочек, то высокий кувшин, то вместительный жбан, то причудливая посудина на тонкой ножке. И все без слова и без речи.

Иногда Родим принимался за другую работу. Не вертелся тогда круг, глина тугими брусками лежала на широкой липовой доске и ждала прикосновения пальцев, а еще больше — влажности красок, которые до поры до времени дремали в надпиленных турьих рогах, расположенных на поставце именно так, чтобы к ним легко можно было дотянуться рукой. В такие дни Родим передвигался по хижине с несвойственной для его крупного тела осторожностью, его движения обретали торжественную скованность, он словно бы творил молчаливую молитву древним богам, унаследованным от деда-прадеда, и в самом деле из пламени Родимова горна выходили на свет древние славянские боги, несли в притемненность старой хижины певучее многообразие цветов, и каждый цвет имел свой голос и свой язык, так что лишними казались бы здесь обыкновенные слова с их будничной заурядностью.

Родим никогда ничего не говорил Сивооку, не объяснял ему, что происходит в пламени и на глине, на которую при помощи соломинок капельками наносились певучие краски, зачерпнутые из турьих рогов. Из его уст малыш не услышал названия ни одного из богов, однако вскоре уже знал их всех, уловив это раз-другой из уст бродяг-купцов, которые торговались с Родимом, покупая его посуду и его богов, и уже знал, что четырехликий, сосредоточенный в мудрости своих четырех ликов, обращенных во все четыре стороны света,— Световид, а тот гневливый, искристо-желтый — это бог молний Перун, а зеленый, будто затаенные лесные чащи,— пастуший покровитель Велес, а тот надутый, как пузырь, с жадными глазами и широкими ноздрями — это Сварог, верховный бог неба и света; самым же лучшим показался Сивооку Ярило, щедрый бог плодородия, от которого ярится земля и все живое, добрый всемогущий медно-голый бог, украшенный

таким веселым зельем, которое никому и не снилось. Сивоок долго не мог понять, почему именно этот бог так дорог его сердцу, и только потом как-то случайно, подсмотрев, как Родим с особой старательностью колдует над новым Ярилом, увидел: дед дает богу свое обличье!

В этом Сивоок не усматривал ничего удивительного, потому что давно уже заметил общность между богами и дедом Родимом. Молчали боги, молчал и Родим. Только тогда, когда купцы начинали слишком уж назойливо торговаться, он отрезал односложно своим глухим басищем: «Да» или «Нет», «Мало» или «Пусть».

Родим казался Сивооку величайшей силой на свете, но однажды малыш подметил, как дед молча молился у источника деревянному, неизвестно кем поставленному Световиду, и понял: бог еще сильнее, чем Родим. С тех пор бог представлялся ему всем, что сильнее Родима. Еще понял он, что есть бог чужой и есть — мой. Договариваться с богами трудно. Они всегда молчат, не знаешь, слышат тебя или нет, угодил ты им или нет. Наверное, боги дают силу. Кто меня побеждает, у того сильнее бог. У Родима бог был самый сильный, потому что дед никого не боялся. Он раздавал своих глазурованных богов, не жалел на них самых светлых красок, а сам довольствовался старинным, посеревшим от времени и непогоды, деревянным Световидом, потому что был уверен в его неодолимости.

Купцы, сколько их видел Сивоок, мало чем отличались от деда. Были сильными, очень грозными на вид, хорошо вооруженными, обладали такими громкими голосами, что хотелось заткнуть уши. Однако они сразу видели, что на Родима их голоса не действуют, потому переходили от крика к угрозам, хватались за мечи, звали слуг, и те проталкивались в хижину или под камышовый навес. Наставляли на старика длинные копья. Конец всегда был один и тот же. Родим незаметным для постороннего глаза движением протягивал руку к столбу, подпиравшему крышу, и вот уже в его тяжелой руке коротко сверкал невероятно широкий и длинный меч, и обрубленные одним ударом копья сыпались к ногам старика, а маленькие мечи купцов со звоном падали следом. Мечи были развешены у Родима на всех столбах, одинаково широкие, с черными рукоятками, без ножен, он никогда не точил их, но ничего более острого Сивоок не видел; никогда не чищенные, они не тускнели, не ржавели, в них можно было заглядывать, как в тихую прозрачность воды. Однажды Родим забыл по-

весить меч после особенно горячей стычки с купцами-грабителями, он просто прислонил его к столбу и принялся за свою работу, и тогда Сивоок тайком попробовал поднять оружие, ухватился обеими руками за рукоять, наклонил тяжелое железо на себя, дернул вверх и упал, накрытый безжалостной тяжестью.

Родим молча снял с него меч, повесил на столб, а Сивоока легонько толкнул под бок, как толкал его каждое утро, чтобы он просыпался и вставал завтракать.

Ели они рыбу, жареную, вяленую и соленую, мясо копченое и свежатину, хлеб, преимущественно просяной, реже ржаной, а пили воду и мед, старый, выстоявшийся. И хлеб, и меды — все это у них было среди запасов, приобретенных Родимом у купцов, и лежало в маленьком чулане без окон, где хранились у них также меха вевериц[1], куниц, бобровьи и собольи, шкуры волчьи и медвежьи, мотки серебряной проволоки и заморские монеты, нарубки из драгоценных металлов и дорогие гривны — целое сокровище, ценности которого Сивоок еще не мог знать.

Рыбу ловили в речке, а мясо добывали на охоте в пуще, куда Родим брал Сивоока чуть ли не с первого дня, как тот стал жить у него, выловленный из мутной ночной тьмы, и, быть может, именно во время этих изнурительных странствий среди лесной безбрежности более всего набирался Сивоок силы, которая должна была когда-то сравняться с силой Родима.

Потом к ним присоединился третий. Назвать его товарищем Сивоок не мог, а Родим никого никак не называл, потому-то третий был не товарищ, а просто третий. А был это конь. Впервые Сивоок увидел коня издали, когда тот пасся на лугу возле речки и дед Родим позвал его свистом. Издали это было пепельно-серое, мохнатое существо, довольно неказистое. Но когда конь подбежал ближе, Сивоок увидел его крутую шею, широкую грудь, крепкие тонкие ноги, которые, казалось, звенели, с разгона ударясь в землю,— и конь ему сразу понравился, и он молча мысленно назвал его ласково Зюзь, потому что когда дед Родим звал его, то к своему свисту прибавлял еще глухое гудение голосом, и получался неповторимо-удивительный звук: зю-зю-зю.

Однако Зюзь не разделял симпатии малого. С первого же

---

[1] **Веверица** — пушной зверек, которым платили дань (горностай или белка).

раза он дал понять, что объявляет Сивооку войну, а вся провинность малого заключалась просто в самом факте его существования, да еще, вероятно, в том, что он вклинился в старую дружбу двух отшельников: коня и Родима. Зюзь принадлежал к свободным созданиям природы, он не ведал угнетения и покорности, не знал, что такое запряжка, и с нескрываемым презрением смотрел на тех жалких коняг, которые тащили по размокшей дороге купеческие повозки на скрипучих колесах; если и подставлял он свою спину Родиму, то в глубине своей конской души, видно, считал, что это не человек едет с ним в пущу, а, наоборот, он, конь, берет человека себе в попутчики в дальние странствия, по которым он истосковался на привольных пастбищах.

И вот этот установившийся порядок сразу же был нарушен, как только Родим, прежде чем сесть на коня самому, примостил на переднюю луку седла какое-то новое, чужое существо, которому даже пробормотал что-то ласковое, чего конь от него никогда не слыхивал. Зюзь ждал, что будет дальше. Конечно, он мог ударить задними ногами, подбросить круп так, что этот малыш кубарем полетел бы вперед через голову, или же, наоборот, встать бы свечой на задних ногах, перегибаясь назад, чтобы швырнуть непрошеного всадника на землю спиной. Но это было бы нечестно по отношению к старику. Поэтому конь терпеливо ждал.

Дальше было то, что старик привычно поставил ногу в стремя, оперся всем своим тяжелым телом так, что коня потянуло в ту сторону и он должен был напрячь все свои силы, чтобы твердо устоять на месте, потом было мгновение, когда тяжеленное тело Родима летело над спиной коня и для Зюзя наступило облегчение, потом Родим прочно уселся в седле — так, что даже хребет прогнулся у Зюзя, и только теперь конь от удивления перешел к возмущению таким неслыханным нахальством, такой изменой со стороны своего единственного на свете и, казалось бы, верного товарища, и в конской душе тотчас же созрела месть против того, кто отважился встревать между ними двумя — между конем и человеком: Зюзь змеино выгнул шею, скосил сизый влажный глаз направо, чтобы не промахнуться, презрительно сдвинул свои всегда ласково-мягкие, а теперь затвердевшие в ненависти губы, обнажив большие желтоватые беспощадные зубы, и — вот! Конь метит на ногу малыша. Может, он хотел не так куснуть, как испугать для первого раза. А может, и хватнул бы за маленькую икру — кто знает. Но Родим, обычно казавшийся неповоротливым

ротливым и медлительным, на этот раз опередил коня. Он рванул могучей рукой левый повод, железные удила звякнули между конскими зубами, раздирая Зюзю рот, повернули шею коня на место, а тяжелые ноги деда одновременно с этим изо всех сил ударили коня в подвздошье, бросая с места в карьер.

С тех пор конь испытывал к Сивооку одну лишь ненависть. Пока перед отъездом на охоту Родим набрасывал на него потник, пока прилаживал седло, Зюзь норовил то наступить острым копытом малому на ногу, то незаметно куснуть его за край одежды или фыркнуть у него над ухом, обдавая его своим горячим ненавистным духом.

Родим не пускал Сивоока одного купаться в речке и вырыл для него маленькую яму, в которой вода прогревалась до самого дна и можно было лежать хоть целый день, пуская пузыри, брызгая в сторону солнца, водя прутиком по вязкому дну, что так напоминало мягкую глину под дедовыми руками, в особенности когда прутик оставлял после себя извилистые узоры — непроизвольное мальчишечье стремление проложить первые несмелые тропинки в великую державу Умения, где нераздельно властвовал дед Родим.

Зюзь подстерег Сивоока, когда тот вылеживался в яме. Пасясь на ходу, возвращался он с дальних лугов и еще издалека заметил своего противника и, наверное, отомстил бы ему, если бы к своей ненависти добавил хотя бы капельку хитрости и подкрался бы незаметно поближе. Но не такой был Зюзь, чтобы прибегать к хитрости. Он громко заржал издалека, ненавистно ударил копытами о траву и, выворачивая позади себя целые комья тяжелого дерна, полетел на Сивоока. Малый не ждал нападения, не готовился к отпору, но и не растерялся, зная, что спастись может только благодаря самому себе. Потому-то, не теряя зря времени, мигом выскочил из ямы, попытался бежать в направлении к дедову подворью, но вовремя смекнул, что четыре конских ноги имеют огромное преимущество перед его маленькими двумя, поэтому бросился к ближайшему дереву, подпрыгнул, хватаясь за самую низкую ветку, и полез вверх на зеленую ольху, оставляя Зюзя с его ненавистью и неутоленной местью.

И хотя на первый раз Зюзя постигла неудача, конь уперся в своей ненависти и после этого случая упорно пасся возле ямы, так что малому теперь не выпадало покупаться, разве что водил его иногда к речке дед Родим, который сам не ку-

пался никогда, видимо побаиваясь, чтобы берегини[1] и водяной не отняли у него силу и умение.

А Зюзь с каждым днем зверел все больше и сильнее. Он решался даже на то, чтобы преследовать Сивоока уже на подворье. Пасся совсем близко, и как только малый появлялся во дворе, сразу же слышно было глухое гудение копыт, и широкогрудый враг Сивоока появлялся, будто сонное видение; малыш успевал заскочить назад в хижину, скорее закрывал за собой двери, запирал их на крепкий дубовый засов, а конь подлетал с той стороны, становился на дыбы, бил копытами в дверь и уже не ржал, а рычал, будто дикий зверь: «Г-гы-гы-гы!»

Казалось, нет на свете силы, которая могла бы примирить коня с малым Сивооком. Не помогали и длительные перерывы в их странных отношениях, когда на зиму дед Родим прятал коня в теплую землянку и Сивоок мог видеть Зюзя лишь в дни охоты. В такие дни, привыкший к отсутствию своего врага (а отсутствие давало надежду и на окончательное его устранение), оказываясь с ним снова с глазу на глаз, конь снова разъярялся и, уже не пытаясь скрывать перед Родимом своей враждебности к малому, проявлял ее, как только мог,— неистово и бурно.

Захваченный своей враждой с конем, Сивоок не замечал множества событий и вещей, которые его окружали, и, возможно, только в дальнейшем будет он вспоминать время от времени, тот первый сладкий восторг от широкого мира, который открылся перед ним еще тогда, когда он впервые поднялся над землей, взобравшись на дерево, чтобы спастись от крепких зубов Зюзя, или же внезапно вспыхнут в серой тоске повседневности яркие пятна, закружатся в бесконечном пестром танце, так приковывая взгляд, что глаз не оторвешь (дед Родим растирает свои краски в круглых деревянных ложках с отломанными черенками), а то среди огромнейшего многолюдья вдруг окружат его непроходимые лесные чащи, земли без дорог, испещренные следами диких обитателей — нахально уверенными, несмелыми, пугливыми, и рыбина, которую сам впервые вытряхнул из верши, и гнездо с желтоватыми птенцами, найденное в кустах, и черепаха, потерявшая яйцо на теплом песчаном пригорке над далекими болотами, и шум ветра, и крик мрачной ночной птицы-вестницы, и треск вскрывающегося льда на речке,— все это будет навещать его

[1] Берегини — русалки.

в жизни то чаще, то реже, то будет еле ощутимо виднеться на горизонтах снов, то будет греметь всевластно до звона в ушах, до слез в глазах, до щемящей боли в сердце.

А из людей вслед за дедом Родимом в жизнь Сивоока вплетается Ситник. Ситник — это копна светлых волос, бегающие глаза небесного цвета, жадный красногубый рот, обильный пот на пухлом лице, крупный, неудержимый пот и в летний зной и в зимнюю стужу.

Ситник привозил Родиму меды. Он знал толк в нелегком умении ситить это питье, высоко ценимое и князьями, и боярами, и пришлыми купцами, и мужественными воями, и простым людом. Родиму привозил он меды в жбанах, сделанных самим дедом (Сивоок вельми удивлялся, что для себя дед не разрисовывал никакой посуды), небрежно выставлял их из лубяного возка возле хижины и, вытирая пот с лица, кричал:

— Эй, Родим, привез тебе добра! Кабы не для тебя, так и не трудился б. Но давнее мое почтение...

Родим молча выносил ему кусок серебра, бросал презрительно, Ситник ловил его, взвешивал на ладони, и Сивоок каждый раз все больше убеждался, что уважает Ситник вовсе не деда, а эти куски тускловато-белого металла. Не мог понять, как можно ставить металл выше человека, хотя со временем и сам перенимал от деда восхищение мягкими переливами цветов, а серебро, в особенности же в местах среза, давало такие неожиданно прекрасные переливы, что любоваться ими парень мог хоть и полдня. Даже золото не нравилось ему так, как серебро, ибо в золоте была какая-то скрытая чванливость, оно отливало желтым — холодным и далеким — светом и напоминало этим неуловимость ночных огней на болотах и опушках. А серебро сияло ласково и мягко, будто подернутое легкими облаками летнее небо. Сивооку каждый раз становилось обидно, когда дед отдавал аккуратно обрубленный кусок серебра за такое, казалось бы, невкусное снадобье, как мед, прогорклый от трав и корней, заваренных туда хитрым Ситником, а еще не хотелось ему, чтобы этот красивый тускловато-белый кусок ложился на пухлую (тоже потную) ладонь светловолосого Ситника.

Обладая незаурядным опытом верчения среди самых разнообразных людей, Ситник довольно легко улавливал неприязнь к себе, поэтому не удивительно, что он по глазам малого прочел все, что у того было на душе, и с первого же раза начал изо всех сил склонять его на свою сторону. Делал он это на всякий случай, зная, что в жизни все пригодится, ведая хоро-

шо, что лишний приятель, хотя и малый даже, всегда лучше, чем еще один враг, пускай хоть и самый ничтожный и бессильный.

Так и началось заигрывание Ситника с Сивооком в первый же приезд к ним потливого медовара.

— Ну, как называемся? — пристал он к малому.

— Не ведаю,— буркнул тот в ответ.

— Похож еси на своего деда Родима. Родим, как называется этот пострел?

Родим только и ждал этого вопроса, чтоб показать Ситнику свои покатые могучие плечи, а за ним и малый, по-медвежьи сутулясь, двинулся в хижину, оставляя растерянного Ситника с раскрытым от удивления ртом.

Но не таким был этот человек, чтобы отступить в задуманном. Уже на следующий раз он хитро щурился, выставляя из лубяного короба простенькие скудельные жбаны, и, когда получил свое серебро и заметил сверкающий взгляд, которым малый сопровождал полет белого обрубка с Родимовой руки в чужую ладонь, засмеялся, не таясь, прямо в лицо малому.

— А я уже знаю, что ты Сивоок. А что приблудный — догадался сразу. Глаза у тебя не сивые, как нарек твой Родим, а мутные, потому как пришел из безвестности. И кто ты еси, никто не ведает. Может, робичич? [1]

На этот раз Ситнику пришлось наблюдать не покатые плечи Родима, повернутые к нему, а краткий взмах тяжелой десницы [2], которой Родим показывал медовару немедля убираться прочь. От купцов Ситник уже давно знал, что эта рука довольно быстро умеет браться за страшный меч, поэтому не стал мешкать и мгновенно погнал свою кобыленку со двора.

Но Ситник и после этого не переставал цепляться, хотя делал это хитрее и словно бы напрашивался на благорасположение.

Сивоок очень удивлялся деду Родиму, что тот выбрал для жительства такое хлопотное место у дороги, на самом краю удолья. Правда, тут была еще и река, и зеленые луга вдоль нее, зато в дальнем конце удолья начиналась пуща, где можно было бы спрятаться не только от Ситника, но и от всех надоедливых, нахальных, самоуверенных купцов, которые каждый раз так пренебрежительно смотрели на Родима, что

[1] Робичич — сын робы (рабыни).

[2] Десница — правая рука.

сердце малого вскипало гневом. Он уже потихоньку брался за дедов меч, сначала только шевелил его, а потом начал понемногу поднимать, но еще и до сих пор не решался спросить у деда, почему бы ему не перебраться если не прямо в пущу, то хотя бы на тот конец удолья, где бы его никто не нашел и где бы никто не причинял ему никаких хлопот.

Малый тогда еще не знал, что как ни тяжело бывает иной раз среди людей, но нужно с ними жить, потому что без них никак нельзя.

И сам он со временем пойдет дальше и дальше в люди и попадет в такой водоворот, какой даже не снился всем его предкам до десятого колена, но это будет потом, а пока наибольшую радость испытывал он в те дни, когда они с дедом снимались со своего неспокойного конца удолья и углублялись на несколько дней в затаенный мир тысячелетней пущи.

На мокроземлях курчавились чернозолы, а за ними плотные ряды ольхи с замшелыми серо-зелеными стволами, лес словно бы проваливался к середине, земля под копытами Зюзя убегала вниз и вниз, деревья становились выше и выше, Сивооку становилось страшнее и страшнее, и он прижимался к спине Родима, посматривая вперед одним лишь глазом, ждал, когда же наконец выровняется лесная земля, когда исчезнет ее покатость, но лес проваливался все больше и больше; иногда он милостиво выпускал заплутавшихся ездоков на прогалины, перед ними открывалась могучая дубрава с полянами, изрытыми табунами вепрей, и гигантские дубы спокойно стояли вокруг, соединяя лес с небом, не давая лесу опускаться еще ниже, однако за дубравами вдруг расстилались зелено-ржавые топи, круто спускались вниз, в бултыхание таких непроходимых дебрей, где ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит.

Самым же удивительным для Сивоока было чудо возвращения: как бы долго они ни странствовали в пуще, как бы низко и неуклонно ни проваливалась она перед глазами малого Сивоока, в конце концов получалось так, что они возвращались домой, на ту же самую заросшую чернолозами опушку, хотя ни разу не заметил он возвращения назад, вверх, к той исходной точке, с которой всегда начинался их спуск вниз. Это было непостижимое чудо. Всему можно было научиться: слушать голоса леса, чувствовать по следам и отметинам, где и когда какой зверь прошел, знать, где живут и гнездятся разные птицы, уметь стрелять из лука и бросать копье, свежевать пойманного зверя и печь на огне мясо, раз-

водить костер и отгонять страх перед темной ночью и хищным оборотнем. Но никак не в состоянии был постичь жутковато необычного проваливания леса к середине, к глубине, бесконечного опускания, из которого, казалось, никогда не будет возвращения, однако возвращение наступало каждый раз просто, легко, так, будто пуща брала их на руки и незаметно выносила из своих дебрей, как бессильных, заблудившихся детей.

Все это чем-то напоминало Сивооку его препирательство с конем Зюзем. Тут тоже шла давняя, упорная и молчаливая борьба между отважно-настойчивым человеком и темной, неисходимой силой пущи, имевшей в себе деревья, воды, травы и наверное же множество богов, куда более сильных, могучих и хитрых, чем те, которых так умело делал дед Родим, главное же — богов еще неведомых, нераскрытых, таинственных и потому во сто крат более угрожающих.

Для Сивоока и то и другое зловеще переплеталось. Если бы он мог сказать о своих страхах Родиму, быть может, он отогнал бы боязнь, но, приученный дедом к молчаливости, переносил свои страхи в одиночестве, не делясь ими ни с кем, потому и должен был жить дальше, прислушиваясь к тому, как нарастает в нем тревога перед конем, без которого они с дедом не могли отправиться на охоту, и перед пущей, которая влекла и одновременно отпугивала своей непостижимостью.

И то ли уж детская душа тоньше настроена к звучанию предосторожностей, а Родимова очерствела от долгой жизни, то ли суровая закономерность бытия требовала, чтобы счастливое завершение всех приключений хотя бы раз уступило место концу несчастному, трудно теперь точно определить причину, однако случилось.

Они преследовали раненого оленя. У оленя была стрела в бедре, далеко уйти он не мог и быстро бежать тоже,— видимо, не было у него сил,— но уже и у Зюзя вспотела вся пепелистая шерсть, все тяжелее и тяжелее екала селезенка, а олень все не показывался, след его побега Родим узнавал то по сломанной веточке, то по листику дерева, забрызганному кровью, то по удивительному следу трех копытец (раненую ногу олень, видимо, каждый раз приподнимал и на землю не ставил, чтобы не причинять себе излишней боли).

Олень убегал вниз, в самую глубину пущи, он забирался во все более запутанные чащобы, но, как это часто бывает в лесу, заросли внезапно расступились, и в лицо преследовате-

лям ударило гнилым запахом болот. Зюзь от неожиданности остановился, будто врытый в землю, так что всадники чуть было не слетели через его гриву вперед, но Родим ударил коня в подвздошье, гоня вперед, прямо на ядовито-зеленые купины, потому что впереди — совсем рукой подать, в двух конских прыжках от них,— стоял раненый олень и смотрел на своих убийц глазами, в которых блуждала черная смерть.

Зюзь крутнулся туда и сюда, попробовал даже молча огрызнуться на Родима, словно это был малый Сивоок, но старик все-таки победил коня и послал его вперед, и тот, расстилаясь над землей в отчаяннейшем прыжке, рванулся к оленю, и в чреве у него екнуло что-то так тяжело и страшно, что Сивоок даже испугался, но, видимо, Родим первым услышал этот страшный звук, и все это происходило с такой молниеносной быстротой, что старик не успел даже крикнуть, а сумел лишь рвануть малого из-за своей спины и выброситься вместе с ним в сторону еще быстрее и стремительнее, чем Зюзь полетел на трясину.

Они упали одновременно на самом краю над химерно зыбким зеленым покровом, а в следующий миг почти рядом с ними Зюзь беззвучно прорвал тонкими ногами болотную зеленую шубу, не задержался ни на чем, мгновенно погрузился ногами в самую глубину и начал тонуть в густой тине, надувая живот, еще держась им на ненадежной поверхности, которая покачивалась под ним, разрывалась, выпускала исподнизу мутные струи грязи; топь вздыхала под конем, булькала, пока он беспомощно барахтался ногами, надеясь опереться ими о что-нибудь твердое, и на отчаянную борьбу коня с черной засасывающей глубиной смотрели с одной стороны обескураженные люди, а с другой — недостижимый теперь олень, для которого эти люди пожалеют уже не стрелы, а времени, усилий, даже внимания.

Потому что им нужно было спасать коня. Нужно было спасать помощника и друга, а какой это верный и неизменный друг Родима, Сивоок понял по тому, как тяжело застонал старик, застонал отчаянно, как и конь, когда тот, побарахтавшись ногами и не выбравшись на купину, замер в надежде задержаться на поверхности, боясь еще больше расшатать ненадежную топь, но все равно погружался в болото, медленно, неудержимо, ужасно.

Родим метнулся в перелесок, взмахнул широким своим мечом, срубил толстое молодое деревцо, бросил его Сивооку под ноги, и тот, не спрашивая, что и зачем, потянул деревцо к

краю трясины. А Родим срубил еще одно,— кажется, это был дубок,— с удивительной для его тяжелого тела суетливостью подбежал совсем близко к коню, начал подсовывать дубок ему под брюхо. Дубок одним концом мягко вошел в тину; покачивая ствол, Родим подбирался все глубже и дальше под конское брюхо, но вот дубок выскользнул у него из рук, стал торчком, придавленный с одной стороны тяжестью коня; тогда Родим попытался опереть свой рычаг о положенное поперек, подсунутое Сивооком первое деревцо, и у него даже что-то вроде бы получилось, конский бок на миг вырвался из вязкого плена, болото недовольно вздохнуло, выпуская свою добычу, но сразу же спохватилось и потащило эту добычу с еще большей силой. Конец дубка выпрыснул из-под скользкого конского брюха, болото самодовольно чавкнуло, и Зюзь погрузился в топь еще глубже. Родим срубил еще более толстое деревцо, еще несколько раз возобновлял попытки высвободить своего верного товарища от смерти, но все напрасно. Коня затягивало глубже и глубже, Родиму уже не удавалось вырвать его хотя бы на ладонь из засасывающих тисков болота, уже только узкая полоса спины серела над грязной жижицей трясины, и конь, видимо, знал о своем конце и смотрел на своего хозяина не умоляюще, а скорее прощально, и не ржал, требуя помощи, а только подбрасывал голову и перепуганно вскрикивал: «Г-ги! Г-ги!»

Тогда Родим, не боясь трясины, отважно подошел совсем вплотную к коню и одним взмахом своего страшного меча отрубил ему голову.

Сивоок повернулся и что было сил бросился в чащу. Убегал от смерти, которая предстала перед ним сразу в стольких ужасных обликах, и не знал, что в бегстве своем наткнется на новую смерть, еще более страшную, хотя и странно отыскивать оттенки у смерти.

За те несколько счастливых лет, что он прожил с Родимом, Сивоок заимствовал от старика одно только добро, научился полезному, знал лишь чувства, которые возвышают человека над миром, не ведал унижений, неправды, лукавства, зависти, испуг видел лишь у тех, кто пробовал нападать на Родима, сам же старик ни разу не проявил хотя бы капельку страха, даже во время летних яростно клокочущих гроз, когда Перун низвергал на землю огненные молнии, даже когда настигали их в пуще неистовые бури и гудели боры и дубравы и ломались, как щепки, столетние деревья, заваливая им дорогу, угрожая смертью.

Но вот пришла ночь, когда Сивоок должен был увидеть испуг на суровом лице Родима, хотя это была тихая ночь, без грозы, без бури, хотя были они не в далекой дороге, а в своей хижине, в укрытии от всего злого, со своими добрыми богами.

Родим испугался темного обоза, подъехавшего по дороге и остановившегося возле их двора. Несколько повозок, несколько всадников, возможно, даже вооруженных, как это принято было у купцов, которые не решались пускаться в опасные странствия без надежной охраны. Сколько уже таких купеческих обозов помнил Сивоок, а старый Родим знал их за свою долгую жизнь в тысячу раз больше,— так почему же он так встревожился, почему поскорее затолкал малого в хижину, сам вскочил за ним, схватил его на руки, подсадил к сетке, прикрывавшей дымовое отверстие над горном, немного приподнял ее и шепотом велел: «Спрячься и нишкни!»

Сивоок пристроился у самого края сетки, чтобы видеть все, что будет происходить внизу; не послушать Родима он не мог, потому что впервые видел его словно бы испуганным и впервые тот произнес сразу аж два слова, да еще тогда, когда, казалось, не было необходимости в словах, детская душа предчувствовала что-то необычное, наверное, интересное,— для малого все, что происходит вокруг, всегда является прежде всего зрелищем, если не затрагивают его самого и не втягивают в водоворот событий, теперь же он и тем более превращался в наблюдателя, а обеспокоенность деда подсказывала парнишке, что он будет иметь незаурядное развлечение.

Сивооку было чуточку не по себе из-за обеспокоенности Родима и из-за его тревожных слов, однако парнишка старался отодвинуть холодок, закравшийся в сердце, как можно дальше, растопить его горячей волной любознательности.

Однако холодок залил ему всю грудь и подошел к горлу, как только в хижину вошел неизвестный пришелец.

Глиняный каганец с двумя фитильками светил так, что видно было только двери и небольшое пространство возле них, а все остальное утопало в темноте. Родим время от времени скрывался в темноте, он всегда так делал, чтобы ошеломить пришельца, проверить, кто он и что, желанный или незваный, простой странник или забияка. Но сегодня темнота, в которой прятался Родим, словно сократилась наполовину, одна ее часть осталась на привычном месте, а другая, тяжело провиснув, залила полукруг, освещаемый каганцом. Сначала Сивоок не мог понять, что случилось, лишь через миг понял: темнота, окутавшая Родима, точно так же надежно ле-

жит вокруг него, а та, другая темнота, которая возникала около дверей, вползла в хижину вместе с огромной фигурой чужака. Он был темен во всем. Потемневшее, будто старое дерево, лицо, длинные черные волосы, спускавшиеся космами на плечи, выбивались из-под странной шапки, похожей на черный пень, одет пришелец был в длинную, тянувшуюся по земле, широкую и тоже непроглядно темную одежду, какой Сивооку раньше не приходилось видеть. Единственное светлое пятно было на зловеще темной фигуре, и к этому пятну непроизвольно приковался взор малого, потому что он узнал в том тускловатом блеске сияние серебра и был очень удивлен, что незнакомый таким необычным способом приладил свое наличное сокровище. Купцы ведь носили серебро на шее, похваляясь хитро сделанными гривнами — чепами [1], имевшими вид то заморских гадов, то пардусов [2] с неправдоподобно вытянутыми телами, то соблазнительных обнаженных женщин с телами гибкими, как хмель. Носили они также перстни с печатями и всякие браслеты у запястий — это все, чтобы похвастать богатством, показать, как богатство переходит в красоту. Для расчетов они всегда имели серебро в кожаных кисетах — в одних просто нарубки разных размеров, в других — монеты, остроугольные и круглые, с какими-то таинственными знаками и изображениями чужих властителей. Все это он видел у купцов. А черный пришелец взял два больших куска серебра, скрепил их накрест и повесил на грудь средь черноты своей странной и неудобной одежды. Зачем и почему?

Только войдя в хижину и еще, наверное, ничего не рассмотрев в ней, незнакомый тотчас же махнул широченным рукавом, схватил костлявой рукой свою серебряную крестовину, высоко вознес ее перед собой, махнул туда и сюда, а Сивоок лишь теперь мог заметить, что серебряное перекрестье у чужака висело на шее на длинной, тонкой, тоже, вероятно, серебряной цепочке.

— Не прячься в темноте, подойди под крест божий и удостойся,— обращаясь к Родиму, произнес незнакомый громким торжественным голосом и снова помахал своим серебряным орудием; и Сивоок впервые в своей жизни услышал слово «крест» и связал его звучание с изображением. За спиной у черного пришельца появилось несколько вооруженных силь-

[1] Чеп — цепь, цепочка *(древнерусск.)*.
[2] Пард, пардус — барс.

ных людей. Они остановились друг возле друга, молчали, не выдвигались вперед.

И Родим тоже не выступал им навстречу, ничего не говорил, не откликался, не выдавал себя ни малейшим движением.

— Ведомо тебе хорошо, что светлейший князь наш привел народ русский к настоящему богу нашему — Иисусу Христу,— продолжал дальше тот, который с крестом, и Сивоок вельми удивился, что бога своего он называет тем же самым словом, что и склепанные накрест две серебряные пластинки.— Ты же, недостойный, сам не ведая, что творишь, размножаешь языческих идолов, чем вносишь сумятицу и смуту в души христианские.

— То наши боги,— внезапно прозвучал из темноты Родимов голос, и Сивоок чуть было не упал из своего укрытия. Родим отвечал, Родим включался в перебранку!

— Не суть то боги,— терпеливо продолжал свое черный с крестом,— но глина, скудель: нынче есть, а наутро рассыплется в порошок. Потому как не едят, не пьют, не молвят, но суть сделаны руками в глине, а бог есть единый, ему же служат и поклоняются и за морем и по нашей земле, поелику он сотворил небо, и землю, и месяц, и солнце, и человека и дал ему жить на земле. А сии боги что сотворили?

И рукой, свободной от креста, он указал в тот угол, где, сложенные на деревянных лавках и полках, лежали действительно глиняные, но ведь какие прекрасные от умельства Родима стрибоги, перуны, ярилы, световиды, боги небес, вод, зеленых трав и буйных лесов, единственные боги, которых знал до сих пор Сивоок,— добрые, ласковые боги, не нуждавшиеся в таких черных и страшных пришельцах, поддерживаемых понурой стражей.

— Ибо сказал Христос: «Идите и научайте все народы»!— воскликнул черный.— И уничтожено будет все, что противится...

Подобно черному ворону, высмотрел в темноте, где лежали Родимовы боги. То ли был наделен от своего Христа даром, то ли имел необычайно наметанный глаз на все, что небрежно лежит, или же просто кто-то заранее наговорил ему, подсказал?

Как бы там ни было, а только понурый пришелец, выкрикивая свои слова об уничтожении, направился сразу же в угол, где сохранялось дорогое Родиму его трудом, умением, а в особенности же — верой, унаследованной от предков, кото-

рые еще и из могил управляли всем живущим, направляли их действия и души. Черный запутывался в длинном своем балахоне,— пока он сумел сделать один шаг, его сообщники, видать, уже обретя предварительно соответствующее умение, мигом сыпанули с двух сторон, заметались по хижине, ломая, калеча, уничтожая все на своем пути.

— Не тронь! — страшным голосом крикнул Родим и с нечеловеческим стоном наклонился на черного, занося свой широкий меч, занося не внезапно, как тогда, когда защищался от назойливых купцов-пришельцев, а словно бы намереваясь лишь отпугнуть обидчиков, заставляя их опомниться, отступить, пока не поздно. Однако намерение Родима оказалось пагубным. Еще не успела рука его поднять меч вверх, еще медленно двигалась она, описывая большую дугу, как вдруг сзади, не замеченный ни Родимом, ни даже Сивооком, который, казалось, не выпускал из поля зрения ничего, что происходило внизу, меч сверкнул коротко и зловеще, и Сивоок с ужасом увидел, как правая рука Родима, будто в кошмарном видении, отделилась от тела, и вместе с мечом безжизненно упала на землю. Тотчас же сзади и с боков набежало еще несколько страшных пришельцев, сверкнули мечи, поднялась суматоха, а когда все рассыпались по сторонам, Родима не было, лишь темнело что-то на полу, огромное и неподвижное.

Больше Сивоок не видел ничего — не стал смотреть. Он бросился в самый отдаленный угол чердака, в диком исступлении рвал крышу, пока пробился наружу, не колеблясь спрыгнул на землю и помчался через урочище туда, где темно возвышалась заманчивая пуща.

Продирался сквозь кусты, бежал мимо высоких деревьев, проскакивал через поляны, не знал усталости, забыл об отдыхе, бежал, сам не ведая куда, только звучало в нем одноединственное слово: «Родим, Родим, Родим», да еще вырывались иногда сухими всхлипываниями отчаяннейшие рыдания, раздиравшие ему грудь. Он бежал так до самого утра, не мог замедлить бег, не мог задержаться, не было на свете силы, которая могла бы его остановить, и вот так выбежал на опушку, и в лицо ему ударило духом гнили, и обманчиво зеленые топи глянули ему в глаза, а у самого края трясины, из зарослей жирной болотной травы, ощерились к хлопцу огромные желтоватые зубы. Он остановился с полного разбега, так резко, что даже покачнулся вперед, туда, откуда насмешливо смотрела на него черными пустыми глазницами неправдоподобно бледная конская голова и щерила зубы, будто сама смерть.

Он узнал это место, мгновенно вспомнил все, как было, вспомнил оленя и предсмертный прыжок коня, вспомнил деда Родима, как он боролся за жизнь коня, а потом взмахнул мечом... взмахнул мечом... взмахнул мечом...

Круто повернувшись, Сивоок побежал назад. От смерти к смерти. В безвыходном кольце.

Он очень хорошо знал эту пущу с ее непрестанным спусканием вниз, знал, что, сколько ни кружись по ней, рано или поздно выбросит она тебя из своей таинственности, и очутишься ты там, откуда начинал свои странствия, откуда вступал в торжественное царство леса. Так и Сивоок после многодневных блужданий по лесу, голодных, изнурительных и безнадежных, наконец очутился на опушке, от которой тянулось такое знакомое и такое ненавистное теперь удолье.

Ему некуда было податься, поэтому и пошел он понизу, вдоль удолья, и вскоре уже был возле двора Родима, возле первого в своей жизни дома, который знал и помнил. Возле своего и не своего...

Приближался осторожно, с опаской, подкрадывался от куста к кусту, подолгу выжидал, осматривался по сторонам. Замер, когда увидел во дворе коня, запряженного в воз. Долго ждал, не появятся ли люди, но, так и не дождавшись, снова тронулся вперед, теперь еще осторожнее. Посмелел только тогда, когда узнал и коня, и возок: принадлежали они Ситнику. Сам Ситник, видимо, был в хижине, почему-то долго не показывался, и это поселило в сердце Сивоока слабую надежду: а что, если дед Родим живой? Изрубленный, израненный, но живой! И они и дальше будут жить в этой доброй хижине, и он будет помогать деду месить глину и разрисовывать кувшины и богов и научится торговаться с купцами, а потом будет сам ходить на охоту.

Он еще немного подождал и бегом бросился в хижину. Не было там никого и ничего. Все изломано, уничтожено. Но в кладовке слышен был гомон. Сивоок прыгнул туда, с трудом сдерживая крик. Родим, Родим! Ударился о мягкое, схватил его кто-то за руку, крепко стиснул, вытащил из чулана — Ситник! Весь вспотевший и словно бы растерянный.

— А тебя не забрали? — удивился Ситник.

— Дед Родим! Где дед? — выкручиваясь из его руки, крикнул Сивоок.

— Ого, крепкий парнище! — удивился медовар.— Вырвался, стало быть, и от них.

— Где Родим? — повторял свое Сивоок.

— И бежал, стало быть? Где же ты столько блуждал?

— Где Родим?

— Похоронили Родима.

— Как! — парнишка не мог постичь всего ужаса этого слова «похоронили».

— Не так, как было когда-то. Обычай у нас был класть покойнику в могилу одежду, оружие, драгоценности. Жертвы приносили к огню, на котором сжигали умерших. А новая вера иная. Христиане хоронят своих голыми и убогими, потому как они идут в царствие небесное, где их и оденут, и накормят, и напоят. Вот так и Родима твоего, который под крестом побыл, похоронили без ничего, а все, что у него было, роздали во славу божью да в пользу людскую.

— Он погиб под крестом,— заплакал Сивоок, и этим сразу же воспользовался Ситник и снова схватил хлопца за руку и поволок во двор, к возку.

— Погиб ли, родился ли под крестом — все христианин,— бормотал он,— а раз ты видел тот крест, то, стало быть, и ты христианин, буду иметь христианского роба, хвала богам древним и новым и всем вместе.

Но парнишка, хотя и не слыхал бормотания Ситника, а просто руководимый неосознанным стремлением к воле, снова крутнулся, чтоб вырваться, но когда это не помогло, изо всех сил так толкнул Ситника, что тот попятился назад и раскоряченно сел на землю, в то время как Сивоок уже бежал со двора.

— Да постой, дурень! — крикнул ему вдогонку Ситник.— Пропадешь же в лесу. Повезу тебя — хоть накормлю. Хлеба дам и мяса. Будешь у меня сыном родным. Слышишь или нет?

Из всего сказанного до сознания Сивоока дошли только два слова: «хлеб» и «мясо». Они напомнили ему о том, что где-то на свете есть пища и есть люди, утоляющие голод едой и питьем, тогда как дед Родим лежит в сырой земле голый и убогий, а сам он, убитый горем, слоняется, умирая от голода.

Парнишка остановился и посмотрел на Ситника. Не врет ли он?

— Ну, иди сюда, иди,— звал тот.— Садись ко мне, да поедем в село. Увидишь мою Величку. Она тоже обрадуется. Такая у меня доченька есть маленькая. Иди-ка поскорее!

Сивоок медленно приблизился к возку, оттолкнул протянутую к нему руку Ситника, сам залез в лубяной кузов, сел так, чтобы иметь возможность в любой момент спрыгнуть и броситься наутек. Ситник дернул за вожжи, лошадка медлен-

но тронулась, двор Родима оставался позади, навсегда оставался.

Но не погиб бесследно дикий нрав Родимов! Упал он сочнейшей краской на чистую поверхность детской души и навеки закрепился там, как неистребимо остаются краски на глине, обцелованной жгучим огнем.

Не усидел Сивоок долго в кузове, соскочил, снова отбежал от Ситника, встал — неприрученный, упрямый, своенравный.

— Где Родим? — закричал.

— Ну, сказал же, сказал,— останавливая лошадь, вытирал пот с лица Ситник.— Нет его, мертвый, сгинул.

— Где он? — упрямо допытывался хлопец.

— Хочешь видеть могилу? Ну, ежели ты такой, то...

Ситник привязал коня, пошел вразвалочку назад по дороге, Сивоок — за ним, недоверчиво держась поодаль.

Ниже двора, где дорога делала изгиб, на молодой травке возвышался небольшой горбик небрежно придавленной лопатой земли, и с той стороны бугорка, которая была ближе к хижине, торчало из земли деревянное подобие того серебряного креста, которым размахивал черный пришелец в ночь убийства Родима. Почему дед должен был лежать под этим знаком его убийства? Сивоок с разгона ударил плечом в мертвое дерево, стараясь вывернуть его из земли, чтобы потом потоптать, затащить отсюда куда глаза глядят, сжечь, пустить по течению — да мало ли что!

Но крест даже не пошатнулся. Сделанный из двух дубовых толстенных брусьев, скрепленных намертво хитрым деревянным замком, он был закопан, видно, еще глубже, чем прах покойника, и должен был стоять у дороги долго-предолго, чтобы каждый, кто будет ехать, не миновал его своим взглядом и смирялся от созерцания чужой смерти.

И Сивоок, словно бы чувствуя, что отныне его жизнь тоже будет обозначаться такими вот крестами и спастись от них он не сможет точно так же, как не сможет столкнуть знака смерти Родима, в бессильной ярости стал бить кулачками по мертвому дереву, плакал, не вытирая слез, и до полнейшего истощения сил все бил, бил, бил.

Только здесь Ситник наконец смог сгрести малого и потащить к своему возку, одной рукой крепко держа его, а другой вытирая бороду и усы, заливаемые потом. У Сивоока уже не было сил упираться.

Ни в тот день, ни впоследствии он не мог признаться само-

му себе, хотя и не мог утаить удивительно жестокой правды: смерть Родима открыла перед ним мир намного более широкий, чем он видел его до сих пор. Позади все начиналось чернотой на вязкой дороге, беспомощным криком маленького мальчика во тьме, добрыми руками старика, потом были — двор, глина, краски, огонь, был конь Зюзь, была пуща, сначала словно бы безграничная и всемогущая, но со временем, оказалось,— замкнутая в своей повторяемости, доступная для постижения умом и привычкой. Будучи еще совсем малым, Сивоок незаметно усвоил в том мире все нужное для того, чтобы жить без лишних тревог и неопределенности, свыкался с мыслью, что всегда будет ходить по тем же самым тропинкам, возле тех же самых деревьев, будет сидеть у того же самого очага, будет смотреть на ту же самую дорогу.

И вот теперь словно бы раздвинулись перед ним горизонты, и он увидел сразу так много, что не мог постичь этого ни умом, ни хотя бы самим только взглядом.

Их возок выкатился на возвышение; позади, в удолье, чуть видимый, оставался двор Родима, а с другой стороны на покатом спуске, открытом во все стороны вольному, пахучему от трав и еще каких-то неведомых Сивооку растений ветру, чья-то добрая и могучая рука разбросала много-много строений, наверное людских жилищ, но внешне намного более приветливых и веселых, чем привычная для него хижина Родима, которую хлопец до сих пор считал единственно возможной для жизни людей.

Сивоок смотрел вниз неотрывно, слезы в его глазах высохли от восторженного огня, который разгорался там все ярче и ярче. Ситник заметил возбужденность парнишки, но подождал еще малость и только потом небрежно спросил:

— Так как? Красиво здесь?

Сивоок вздохнул, но ничего не ответил.

— Никогда не был? Не видел?

Снова последовал лишь вздох, то ли сокрушенный, то ли жалостливый.

— Не показывал тебе Родим? Только в пущу водил? А света не только в пуще.

Сивоок уже и не вздыхал. Прикусил губу. Он был растерян. Должен был ненавидеть этот прекрасный мир за то, что свои великолепия раскрывает только после того, как заплачено самой высокой платой — смертью единственного дорогого тебе человека. Но уже поселилась в его неискушенной детской душе способность восторгаться всем прекрасным, и спо-

собностью этой наделил его Родим, молчаливый, щедрый, добрый дед Родим, у которого красота пела под руками.

Ситник знал толк в людях. Мало уметь цедить да ситить меды — надо их еще и продать тому да другому. А продаешь— умей видеть, кто может заплатить ногату [1], кто даст гадкую скору [2], а кто и отрубок серебра. Мед-то ведь любят все, а платить не каждый одинаково способен. Вот и угадывай. У Ситника глаз был меток, как хищная рыба. Раз-два — и готово! Заметил он, как притих Сивоок. Дикое дитя. Впервые увидело простор.

— Красиво? — спросил Ситник, улучив подходящую минуту.

— Да,— шепотом ответил Сивоок.

— Ольховатка,— объяснил Ситник,— село так наречено. Много люду. А мы вон там.

Он показал на холм у дороги, немного в стороне от села. И снова должен был удивляться Сивоок. Он привык, что двор Родима открыт всем ветрам, а тут бросался в глаза дубовый частокол, цепко окружавший усадьбу на самом верху пригорка, скрывал от постороннего глаза строения, людей и жизнь в ней. Сивоок шевельнулся в возку, еще не ведая, что сделает в следующую минуту, потому что шевельнулось в его душе предчувствие чего-то страшного, но он еще не научился справляться с предчувствиями, зато Ситник, все время опасавшийся возможных выходок со стороны малого, мгновенно уловил перемену в настроении своего пленника и, для большей уверенности придерживая его рукой, пробормотал:

— Тебе там понравится. Вот увидишь.

Тем временем они подъехали прямо к частоколу, и Сивоок мог теперь оценить прочность заграждения. Дубовые бревна, закопанные в землю намертво, как тот крест на могиле Родима, стояли так плотно, что не просунешь даже шило между ними. Узенькая дорожка, оторвавшись от шляха, взбиралась на пригорок и упиралась прямо в кольцо частокола, а там Сивоок увидел нечто похожее на двое дверей, только намного более высоких и крепких, зти двери в частоколе тоже сбиты были из дубовых бревен и держались невесть как.

— Эгей! — крикнул Ситник.— Тюха! Спишь, что ли! Отворяй ворота!

За дубовыми воротами застучало-загремело, они посреди-

---

[1] Н о г а т а — древняя монета.
[2] С к о р а — шкура, сырая кожа.

не чуточку разъехались, образовалась щель, сквозь которую блеснул испуганный глаз и сразу же скрылся, а ворота с тяжелым скрипом поехали в разные стороны, какая-то невзрачная, забитая фигура метнулась между двумя половинками ворот, подскочила к лошади, схватила ее за уздечку, потянула куда-то в сторону; Ситник рявкнул на перепуганного человека, тот отпустил лошадь, снова метнулся назад, принялся закрывать ворота; снова застучало-заскрипело, широкий выруб в частоколе стал сужаться, и быстро сужался видимый сквозь это отверстие мир: далекая, равнодушная ко всему пуща, раздольные поля, извилистая речка среди этих полей, накатанная дорога, дикие травы и цветы, подступавшие прямо к воротам, и небо над всем, много широкого неба, прозрачно-голубого, как глаза у Ситника. И все сужалось, сужалось до тех пор, пока ворота стукнули, упали на них тяжелые запоры, и все исчезло; только в глазах у Ситника должны были еще остаться два кусочка высокого неба, того, которое летело над недостижимыми остриями частокола. Но когда Сивоок глянул на Ситника, глаза у того были бесцветные, будто у хищной птицы.

— Ага, так! — сказал Ситник, и трудно было понять, что выражало это краткое восклицание — простое удовлетворение или скрытую угрозу. Сивоок пожалел, что не удрал от Ситника до того, как попасть за этот непроницаемый частокол. Все-таки было бы надежнее.

А тем временем наметанный на все необычное глаз малого уже блуждал по подворью и отмечал то большое красивое строение с выбеленными стенами, которое нельзя было и называть хижиной, так резко отличалось оно от бедной халупы Родима, а еще была там же и настоящая хижина, только намного более убогая, чем та, в которой вырос Сивоок, и начисто ободранная; стояло несколько прочных деревянных строений без окон, таинственных, будто человеческое лицо без глаз; в одном углу лежали толстые бревна, в другом возвышалась гора дров, еще дальше, на разровненных полосках земли, росли какие-то удивительные злаки, видимо ухоженные людскими руками, потому что земля там чернела точно так же, как на лесных полянах, изрытых вепрями в поисках желудей, а не лежала, прикрытая толстым слоем дерна, как во дворе у деда Родима. Все здесь было необычным, привлекательным и одновременно пугающим, если принять во внимание то, что ты отрезан от всего света непроницаемой стеной дубовых кольев.

Но Сивоок забыл о своем невольном страхе, и о своей несвободе, и о зловещем скрипе ворот, и о необычности двора, забыл, увидев, как полетело им навстречу что-то совершенно невиданное, как рассыпало звонкий смех, запрыгало, захлопало в ладошки, закричало:

— Тятя, тятя!

Бежало прямо к Ситнику, нацеливалось в его раскрытые объятия тоненькое, длинноногое, в белой льняной рубашечке, с длинными, ослепительно сверкающими волосами, с глазами большими и такими голубыми, что сам дед Родим не подобрал бы под них краску.

— Видишь, приехал твой отец, доченька,— с неожиданной для него мягкостью заворковал Ситник, от удовольствия истекая потом и обнимая удивительное создание, впервые увиденное Сивооком,— да еще и привез тебе... Вот погляди...

И он потянул из-за себя Сивоока, а тот, вместо того чтобы упираться, послушно вышел наперед и очутился лицом к лицу с этим чудом. И так они смотрели друг на друга, а Ситник самодовольно улыбался, а потом, крикнув что-то на своего несчастного забитого Тюху, побрел к одному из строений, оставив малых посредине двора.

— Ты кто? — хриплым голосом спросил Сивоок, первым придя в себя и по праву старшего (он был на целую голову выше девочки).

— Величка,— прозвенело в ответ.— А ты?

Он немного подумал, прилично ли так вот сразу открываться перед этой Величкой, но не удержался и сказал:

— Сивоок.

— Почему так называешься? — полюбопытствовала Величка.

— Не знаю. А ты почему?

— Потому что я девочка, а у девочки должно быть красивое имя.

— А что такое девочка? — спросил Сивоок.

— Как это что? Я... Разве ты не знал?

— Не знал.

— И никогда не видел девочку?

— Не видел.

— А кого же ты видел?

— Деда Родима. Да купцов. Да еще Ситника.

— Ситник — это мой отец.

— А мне все равно.

— Мой отец лучше всех на свете.

— Лучше всех — дед Родим.

Это заинтересовало девочку.

— А где он?

— Нет.

— Так почему же он самый лучший, если его нет?

— Был — его убили.

— Знаешь что? — сказала Величка, наверное ничего не поняв из мрачной истории Сивоока.— Хочешь, я покажу тебе мак?

— А зачем он мне? — небрежно промолвил Сивоок, хотя ни сном ни духом не ведал, что это такое.

— Отец варит с ним меды,— объяснила девочка,— самые крепкие и самые дорогие. А я люблю, как он цветет. Ты видел, как цветет мак?

— Я все видел,— отважно соврал Сивоок, с трудом удерживаясь от искушения протянуть руку и потрогать волосы Велички: настоящие они, живые или, возможно, сделанные из каких-нибудь заморских нитей, как у некоторых купцов вытканы корзна, сверкающие на солнце и даже в сумерках?

Мак оказался красным, и лепестки у него были тоже словно бы ненастоящие, словно вырезанные из нежной заморской ткани и прицепленные к зеленому стеблю.

— Я знаю лучшие цветы,— сказал Сивоок,— в самой дальней пуще, среди красных боров растет высокий синий цветок. Величиной с тебя.

— А почему боры красные? — спросила девочка.

— Потому что веток там не видно, они где-то далеко-далеко вверху, а видны только стволы и кора на них от долголетия покраснела.

— А разве может быть цветок такой величины, как я? — снова не поверила девочка.

— Хочешь — я принесу тебе?

— А хочу.

— Ну ладно.

Но пришел Ситник, молча дернул Сивоока за руку и повел за собой.

— Приходи! — крикнула Величка, а он не знал: оглянуться на девочку или вырваться от Ситника и снова побежать к ней.

Ситник привел хлопца в ту же запыленную, грязную клетушку, толкнул к покореженной толстой доске, которая должна была служить вместо стола, буркнул:

— Ешь! Тут будешь жить с Тюхой.

Взлохмаченный Тюха, испуганно посматривая, сидел на другом конце стола и хлебал деревянной ложкой какую-то разболтанную бурду. Сивоок мрачно взглянул на Ситника:

— Хочу мяса.

— Вон как! — засмеялся Ситник, счищая с себя веселье, как гадюка старую кожу.— А ну, Тюха, дай ему мяса!

Тюха послушно метнулся к хлопцу, наклонился, чтобы схватить своими цепкими клешнями, но Сивоок юрко увернулся от него, толкнул Ситникова приспешника так, что тот еле устоял на ногах, а сам помчался к двери. Однако Ситник уже знал норов малого и еще быстрее выскочил за дверь, закрыл ее перед самым носом Сивоока, захохотал снаружи:

— Вот тебе мясо! Я еще не так возьмусь за тебя!

Сивоок оглянулся. Одно-единственное окошко, затянутое пленкой пузыря, было таким маленьким, что только руку просунешь. Стоял, тяжело дыша.

— Ну, чего ты? — пробормотал Тюха, снова принимаясь за похлебку.— Подчиняйся. Нужно.

Хлопец молчал. Только теперь он понял, как попался Ситнику в лапы; пришло первое осознание силы, доставшейся ему в наследство от Родима, но одновременно почувствовал и недостаток силы для того, чтобы бороться с таким, как Ситник.

Он лег спать, не прикоснувшись к еде, а когда на следующий день на рассвете Тюха начал будить его, чтобы приучать к работе по хозяйству, Сивоок так куснул его за мохнатую лапу, что тот взвыл по-волчьи и побежал жаловаться хозяину. Ситник велел не трогать малого. Хорошо знал, что голод и безвыходное положение сделают свое. Сивоок долго лежал в клетушке, потом, когда солнце уже хорошенько поднялось, вышел во двор. Хотелось пить, хотелось есть, а более всего хотелось взлететь на частокол и унестить куда глаза глядят. Набрел на колодец, достал деревянным ведром воды, напился. Еще в момент питья почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит. Но не подал виду. Поставил ведро, вытер губы тыльной стороной ладони, как это делал всегда Родим, только после этого оглянулся. Позади него стояла Величка. Такая же, как и вчера. А может, еще лучше и нежнее.

— Ну, где же твой цветок? — спросила она.

Сивоок молчал, исподлобья поглядывая на девочку.

— Или соврал? — допытывалась Величка.

— Есть хочу,— мрачно произнес Сивоок.

— Почему же не наешься?

— Ситник не дает.

— Неправда, мой отец добрый. Он — самый добрый.

— Может, и так. А меня запер в клети и не дал ни хлеба, ни мяса.

— Хочешь, я спрошу у него, почему он так сделал?

— Не хочу. Не нужно.

— А хочешь, я принесу тебе мяса и хлеба?

— Нет.

— Но ты же хочешь есть.

— Ну и что?

— Ну, так я принесу тебе.

— Не нужно.

Величка немного подумала. Никак не могла понять, как это так: хочет есть и не хочет, чтобы ему приносили.

— Ты боишься моего отца? — наконец догадалась девочка.

— Я никого не боюсь.

Она еще подумала. Нелегкая выпала работа для ее маленькой головки. Однако не зря же она была дочерью Ситника, не раз и не два видела, как обменивает отец свои напитки на всякие вещи.

— Знаешь, как мы сделаем,— предложила она.— Я принесу тебе хлеба и мяса, а ты принесешь мне свой цветок. Согласен?

— Цветок не мой,— еще больше помрачнел Сивоок.

— Но ведь ты вчера говорил, что знаешь, где он растет.

— Знаю.

— Вот и принеси.

— Принесу. Сказал — принесу, значит, принесу.

— Подожди меня вон там за кладовкой, чтобы не видел отец, я скоро приду,— сказала она и, побаиваясь, что Сивоок снова начнет отказываться, быстро побежала от него.

Так за спиной у Ситника возник маленький заговор. Пока он ждал, что Сивоока сломит голод, Величка подкармливала хлопца, малый лакомился хлебами ее отца — ржаными и просяными, пробовал его копчения, запивал на диво вкусной водой из колодца и потихоньку присматривался, как выбраться на волю. Одна из рубленых деревянных кладовок стояла совсем вплотную к частоколу, и Сивоок сообразил, что если взобраться на крышу, а оттуда положить на верх частокола доску, то можно бы и попробовать. О том, как он будет добираться на той стороне до земли, не думалось. Полетит — и все. Вниз летать он умел, это не то что вверх.

Ночью, когда Тюха захрапел в своем логове, Сивоок украдкой вышел из клетушки, нашел припасенный еще днем гор-

быль, потащил его к амбару. Но на крышу с горбылем никак не мог взобраться. Долго мучился, пока не догадался принести из клетушки веревку, и, привязав один ее конец к горбылю, а другой затиснув в зубах, умело начал взбираться на кладовку,— ему очень помогла привычка лазить по деревьям, даже когда на стволе не было внизу ни одной веточки или сучка. Потом выудил из тьмы свою перекладину, приладил ее так, как заранее обдумал, и пополз к двум остриям, которые были чернее самой ночи. Ухватился за них сразу обеими руками, лишь на миг задержался, изгибая спину и пружиня ноги, легко оттолкнулся и бесстрашно полетел вниз, в притаившуюся черноту, дышавшую на него свободой.

Земля твердо ударила Сивоока, ему до слез больно стало во всем теле, но у него не было времени для того, чтобы стонать и плакать,— скрюченный, с трудом пересиливая боль, покатился он по склону вниз да вниз, а там вскочил на ноги и побежал, лишь чутьем угадывая направление.

Так он снова очутился в пуще.

Теперь, после смерти Родима, лес мог бы служить Сивооку домом. Только тут все было знакомым и привычным, только тут хлопец хорошо знал, против кого можно драться, а от кого незаметно скрыться, отдавая должное его перевесу, а там, на равнине, над которой возвышался частокол Ситника, все было иначе, все было запутанным и враждебным; как вести себя в поле среди людей, дед Родим не научил его,— видно, не хотел, чтобы Сивоок и попадал туда, потому что ни единого разу хотя бы намеком не дал ему понять, что где-то люди живут не так, как они, и что не все на свете такие, как он сам, Родим.

Впервые шагнул Сивоок под деревья без боязни, охотно шел туда, куда затягивала его всевластная пуща, снова совершал привычное путешествие вниз да вниз, направляясь в самое сердце леса и будучи уверенным, что все произойдет так, как всегда: добрые боги пущи лишь попугают его, лишь поводят да покрутят по зеленой безбрежности, а потом выпустят на волю, незаметно выведут на ту опушку, откуда он всегда начинал свои блуждания.

Но, видать, мудрые боги древнего леса знали, что на этот раз Сивооку некуда торопиться, что не ждет его никто, а если и ждет, так только беда, поэтому они были милостивы к хлопцу и впервые пропустили его в самое сердце пущи, в неприступнейшие чащи, за которыми лежали бесконечные поляны с такими сочными, как нигде на свете, травами и ти-

хие озера, где строили свои причудливые жилища пушистые бобры и разноперые птицы. Там был дивный простор, открывавшийся за зарослями вмиг, внезапно, ошеломляя своей неповторимостью. Мелкие перелески не задерживали взора, а большие деревья, разбросанные живописными купами то тут, то там, еще словно бы увеличивали и без того огромные просторы полян, соединяя их в бесконечный гигантский ряд.

Тут уже наконец пуща не проваливалась вниз, она лежала ровно, она успокоилась в своей неприступности, и если бы Сивоок начал присматриваться, он заметил бы, что отсюда во все стороны лес расходится словно бы вверх. То, что он всегда стремился увидеть, само давалось ему, но теперь хлопец забыл о своих давнишних попытках достичь мéста, откуда пуща начинает высвобождаться из своего непрестанного западания.

Другое захватило Сивоока.

Перед его глазами в буйных травах, в перелесках и между могучими деревьями медленно бродили огромные чудесные животные. Было их тут бесчисленное множество. Огромные быки, темно-серые, с широкими белыми полосами вдоль хребта, неторопливо брели по траве, такой высокой и густой, что их головы были погружены в нее, словно в воду, и только острые толстые рога плыли поверху, загадочные в своей непоколебимости. За каждым из быков, пригнувшись, двигались гнедые упитанные коровы, а уже за ними семенили резвые телята, которые бросались сюда и туда, там щипали, там хватали, но никогда не забегали перед вожаком табуна. Чем старее был бык, чем толще у него были рога, тем больший табун он возглавлял, гордясь силой и умением, и время от времени низким густым ревом предупреждал о том, чтобы ему уступали дорогу.

Это были туры, властители пущи, и тут было их царство, за пределы которого они выходили лишь изредка, только отдельными табунами, в то время как все их племя жило здесь, жило испокон веков, вольное от всего, подчиняясь лишь голосу крови.

Вот так выгуливались за лето телята, набирались силы быки, прибавляли в весе коровы, ничто не нарушало покоя турьего царства, потому что не имел сюда доступа ни один зверь — ни волк, ни медведь, ни росомаха; если же иногда и случались мелкие стычки между самими властелинами сердца пущи, то они сразу и заканчивались, потому что этим нарушался установившийся порядок, согласно которому все притязания должны были быть разрешены поздней осенью, когда

выпадет первая пороша на леса и воздух станет прозрачно-звонким и пронзительным для всех дуновений и запахов.

Тогда у быков еще больше увеличатся крутые бугры под рогами, и они будут выбирать самые крепкие, самые толстокорые деревья и будут упорно тереться об их стволы лбами, оставляя на шершавой коре капельки густой жидкости с сильным запахом, который разнесется по всей пуще. И у каждого тура будет свой запах, и коровы смогут выбирать тот, который им больше нравится, и будут они идти на запах, обещающий так много соблазна и удовольствия. Вот тут бы, казалось, и начало турьих любовных игрищ, ибо кто отважится стать помехой властителям пущи в минуту их высших упоений!

Но именно здесь и начиналось самое страшное и самое сладкое одновременно. То ли турицы иногда обманывались лесными расстояниями и приходили на зов не к самым сильным и красивым турам, а к старым и немощным или же к очень молодым еще да зеленым, или и нарочно выбирали более слабых, чтобы дать возможность сильнейшим отвоевать их в упорной борьбе? Иногда к одному туру сбегалось слишком много самок, а другой не имел ни одной, несмотря на то что изо всех сил бодался о неуступчивые деревья, выдавливая из своих желез остатки соблазнительной жидкости. Иногда коровы, разгулянные за лето и разнеженные, еще заранее примечали другого тура и оставляли своего давнего вожака, чтоб перескочить к новому избраннику.

Вот тогда и закипали кровавые бои между властителями турьего царства, рев стоял над пущей, ломались деревья, летела вверх черная земля, трещали рога, более сильный одолевал слабого, повергал его в болотистую жижу и оставлял там издыхать в муках, а сам, встряхивая от избытка силы валами мускулов на шее, шел к отвоеванным для себя самкам, заводил их в излюбленное укрытие и творил там великое таинство, благодаря которому начинался новый турий род.

Сивооку хотелось быть сильным, как тур. Тогда бы он легко одолел Ситника, выпустил бы из-за дубового частокола Величку, нарвал бы для нее лучших цветов в лесах. Но это — лишь в мыслях. А на самом деле он пока мог лишь украдкой любоваться могучими животными, которые не замечали его присутствия в своем царстве, были равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя.

Постепенно Сивоок убеждался, что и тут царит лишь видимый покой. В самой неторопливости передвижения больших

и меньших табунов наметанный глаз улавливал неодинаковость. Одни, сразу попадая на лучшую траву и более вкусные побеги, паслись, почти не двигаясь с места, другие слонялись да искали — не могли найти; одни быки вели свое семейство тихо и смирно, другие еще издалека подавали голос, глухо гудели, предупреждая о своем приближении и нежелании встретить кого-либо на пути; дороги передвижений разных табунов время от времени перекрещивались, и тогда один тур уступал, а другой гордо проводил своих дальше; кроме того, между степенными семьями, возглавляемыми опытными самцами, бродили небольшие табунцы молодых туров, а то и просто одинокие подтелки, задиристые и нахальные. Эти ко всем приставали, у всех становились на пути, без причины готовились к драке, наклоняя голову к самой земле и нетерпеливо загребая копытом землю. Но достаточно было старому туру угрожающе зареветь да к тому же еще и наставить на молодого задиру свои ужасающие рога, как тот пугливо отступал и брел дальше в поисках нового приключения.

Из всех молодых особенно выделялся один. Выделялся необычной мастью — огнистой короткой шерстью, которая только на подгрудке начинала темнеть, обещая обрести когда-нибудь тот неповторимый оттенок, который бывает у старых туров. Был он каким-то словно бы более высоким на ногах — ни один из молодых или старых туров не мог сравниться с ним, потому что всех их давили к земле тяжелые бугры мышц на шее и на загривке. Тогда как у всех туров мышцы, словно бы сдвинутые какой-то удивительной силой, скучивались только в передней части тела, у этого мышцами играло все тело. Он весело нес свои задорные рога, резвясь, помахивал головой, будто подбивая лбом что-то невидимое, подтанцовывал на месте, перепрыгивал дорогу то одному туру, то другому, изготовлялся даже к схватке и с молодыми и со старыми, иногда и скрещивал свои рога в ненастоящем поединке, но сразу же высвобождал их и, весело припрыгивая, мчался дальше.

Этот огнистый молодой тур вельми пришелся по душе Сивооку, и хлопец даже выдумал для него имя — Рудь.

Чаще всего Рудь приставал к огромному, будто черная гора, туру, который ревел грозно и могуче, так что даже казалось, будто содрогается земля от его мычания. Если бы пришлось подбирать для такого имя, то лучшего и не придумаешь, чем — Бутень[1]. Быть может, этот Бутень был самым

[1] От украинского слова «бутіти» — глухо реветь, мычать.— *Прим. переводчика.*

сильным в турьем царстве, потому что от его рева пугливо убирались прочь все табуны, а он вел свое едва ли не самое многочисленное семейство осанисто и горделиво. Никто не осмеливался пересечь ему путь; тот, кто оказывался поблизости, старался поскорее убраться восвояси; когда слышался рев Бутеня, никто уже не пробовал подавать голос, потому что показался бы он вялым и немощным.

Быть может, все это и не нравилось Рудю, а может, бурлила в нем глупая молодая сила, которую он не знал куда девать, и потому перся он наперерез Бутеню, задевал его то так, то сяк, дразнил все больше и больше, пока не лопнуло у того терпение и могучий тур не остановился, пропуская мимо себя свой табун, а сам угрожающе выставил против Рудя свои толстенные рога, на каждом из которых мог бы повиснуть такой вот нахальный молодой тур.

Сивооку невольно вспомнилось, что из таких турьих рогов у деда Родима был лук. Он купил его у проезжего греческого купца за большие деньги, ибо грек клялся, что такой лук есть только у него, что сделал его знаменитый заморский мастер и заклял, из-за чего никто не хотел брать лук на продажу, а он рискнул, потому что знал заклятие мастера. А заключалось оно в том, что тот, кто сумеет согнуть лук и натянуть тетиву, будет делать великие дела. Есть луки из рогов буйвола, и их тоже мало кто в состоянии согнуть, а уж кто это сделает, тот становится великим воином, а то и князем, этот же лук и вовсе необычный. На все эти разглагольствования купца дед Родим тогда лишь улыбнулся, взял лук, упер его одним концом в землю и согнул так легко, будто был он не из могучих рогов и даже не из крепкого ти́сового дерева, а из молодой вербы. И стрелял тогда Родим из своего лука так далеко, как никто бы не смог, но больше ничего не успел сделать, убитый мечами тех, которые пришли под крестом.

Ну, да были то рога неживые, о них Сивоок не стал бы и вспоминать, если бы не дед Родим. Но и это воспоминание промелькнуло у него за один миг, потому что все внимание хлопца сосредоточилось на двух могучих зверях, старом и молодом, гонком, юрком, но еще не окрепшем, и затвердевшем в нерушимой своей силе. Один был как веселое полыхающее пламя, другой — темный, будто земной кряж, один, казалось, толком еще и не осознавал, на что решился, другой относился к стычке степенно, ибо раз уж он встал на бой, то должен быть бой, должен тут быть побежденный и победитель, один должен был пойти себе дальше, а другой — лечь, быть может,

и навсегда. По тому, как напряглись мышцы на могучей шее Бутеня, как выставил он на противника свои необъятные рога, можно было совершенно не сомневаться относительно того, как будет проходить стычка, и Сивоок немало удивлялся легкомысленности Рудя. А тот как ни в чем не бывало тоже надулся, напыжился, выставил свои тонкие рожки против замшелых кольев старого и еще словно бы и подвинулся чуточку вперед, чтобы схватиться в смертельном поединке с непреоборимым опытным туром, но в последний миг внезапно прыгнул вбок, как-то смешно взмахнул головой и, видно и сам не ведая, что делает, пырнул Бутеня рогом в заднее левое бедро. Он загнал рог так глубоко, что даже остановился, перепуганный своевольным своим поступком, но сразу же опомнился, рванулся еще больше вбок и, пропахивая в мохнатом бедре Бутеня широкую и глубокую борозду, вырвал свое оружие и бросился наутек.

Но Бутень не стал его преследовать. Глухо заревев вдогонку своему врагу, он тяжко повернулся и побрел в заросли. Из широкой раны била густая красная кровь. Тур шел тяжелее и тяжелее, все больше припадал на раненую ногу, но не падал,— наверное, не хотел позориться перед всем турьим племенем, стремился спрятаться со своей бедой, потому двигался в молодую чащу, где бы мог найти убежище, и еду, и, может, воду.

Сивоок тоже украдкой двинулся за Бутенем, он бесстрашно углублялся в заросли, опережая старого тура,— знал ведь, что раненый зверь для него не страшен, а сам он еще слишком мал, чтобы его боялся Бутень и останавливался, учуяв чужой дух.

Росло там несколько довольно крепких уже ольховых деревьев, вокруг них поднимались молодые побеги, солнце почти не проникало в эти зеленые сумерки, и земля тут никогда не просыхала, была настолько мокрой, что под ногами чавкало, как на болоте. Потом вдруг встала перед Сивооком неприступная стена колючих прутьев, но он, извиваясь ужом, проник и сквозь нее и нашел там круглую полоску воды, чистой и спокойной. Едва успел он отскочить на другую сторону озерца в кусты, как задрожала земля и, проламываясь тяжелым телом сквозь колючки, упал возле озерца Бутень. Немного полежал, расширенными ноздрями хватая воздух, потом ползком приблизился к воде и начал пить. Сивооку показалось даже, что озерцо уменьшилось, так долго и жадно пил Бутень. Напившись, он снова отдохнул и, не поворачиваясь,

задом, смешно отполз за колючие прутья в молодой ольшаник. Когда Сивоок осторожно заглянул и туда, он увидел, что Бутень попеременно пожевывает то молодые веточки, то какую-то остролистную траву, умело выбирая ее широкие листики среди многих других, озабоченно пережевывая их, так что даже зеленая пена выступала в уголках рта. Может, это была целебная трава, которую дед Родим прикладывал к язвам? Но подойти к Бутеню вплотную Сивоок все же не осмелился и, оставив старого тура хлопотать со своей раной, снова вернулся туда, откуда мог видеть турье царство, и прежде всего — молодого Рудя, которому отдавал теперь все свои симпатии.

Рудь резвился, как и прежде. Вприпрыжку шел перед старыми степенными турами, нахально обнюхивал их коров, цеплялся к неопытным еще телкам, взбрыкивал без всякой видимой к тому причины, лихо выгибал шею так, что даже задевал землю то одним, то другим рогом. Про Бутеня он, наверное, уже и забыл и задел его не из какой-то там корысти, а просто от избытка силы.

И тут словно бы что-то толкнуло Сивоока. А сам он на что растрачивает свои силы? Стоит тут как пень, разинул рот на турьи побоища, так, словно бы это ему крайне необходимо. Вовсе выпустил из виду, почему бежал из Ситникова городка, забыл и про Величку, и про обещанный ей цветок. А солнце уже клонится совсем книзу, и приближалась неотвратимая ночь, нечего было и думать о том, чтобы выбраться из пущи сегодня,— придется здесь и заночевать. Сивоок не боялся темноты и одиночества, потому что и к тому и к другому приучен был Родимом, знал также, что добрые боги оберегают того, кто им по душе, с одинаковой старательностью днем и ночью; точно так же как днем и ночью подстерегает тебя бесовская сила, и ты уже сам должен позаботиться о том, чтобы не поддаться ей. Надолго еще хватит ему науки Родима, заботливости Родима. Вот за пазухой у него кожаный кисет, а там огниво из сизой стали, черный кремень и сухой трут — тоже подарок Родима, который всегда предостерегал: отправляешься хотя бы в кратчайшую дорогу — имей при себе огниво, чтобы всегда мог обогреться, отогнать дикого зверя, что-то там себе приготовить поесть.

Но огня Сивоок сегодня так и не развел. Во-первых, потому, что озабочен был тем, как выбраться из лесу, поскольку попал в турье царство невольно, дороги не помнил, а теперь, как ни старался, все почему-то вертелся вокруг одних и

тех же мест, снова и снова попадал на поляны, где бродили круторогие великаны, или оказывался возле небольших озер, в которых неутомимо трудились с деревом вечные пильщики и точильщики — бобры. Не раз и не два замирал он, любуясь странными водными созданиями, завидовал их неутомимой озабоченности, их дружности.

А вечер опускался на леса, вел за собой ночь, полную загадочных шорохов, криков, стонов, в пуще словно бы начиналась новая жизнь, намного более бурная и клокочущая, чем днем, главное же — во сто крат более угрожающая. Ночь упала на пущу как-то совсем неожиданно, застала Сивоока врасплох, он не подумал еще ни о костре, ни об укрытии, поэтому вынужден был взбираться на первое попавшееся ветвистое дерево, устраиваться вверху, чтобы кое-как передремать до утра, а уж потом попытаться выбраться на вольный свет.

Он проблуждал несколько дней. Убил палкой какую-то птицу, изжарил ее на огне, как научил когда-то Родим. Потом в болотцах искал сладкие корни, искал долго, еще дольше потом лакомился ими. Если бы у него было какое-нибудь оружие, он подстрелил бы маленькую серну, но что можно поделать голыми руками?

Лесные странствия имеют свои законы. Если человек ищет и знает, что именно он должен найти, то рано или поздно он своего добьется. Но Сивоок натолкнулся вовсе не на то, ради чего забрался в пущу.

Когда он, уже изрядно отощав, стал, как ему казалось, выбираться ближе к лесной опушке, и уже дохнуло свободным ветром, и с каждой минутой на пути у него показывалось все больше освещенных кряжей, места, где именно и попадаются те редкостные синие цветы, один из которых где-то терпеливо ждала маленькая Величка, Сивоока чуть не постигла беда. Он шел, беззаботно вылавливая лицом солнечные поцелуи, легко спускаясь с пригорков, неслышно шагал по пушистому слою многолетней хвои, умело пробирался сквозь цепкие заросли. Его ухо улавливало каждый треск и самый малейший шелест, его чуткий глаз быстро схватывал все явное и притаившееся. Вот так бы и жить ему среди деревьев в этом мире, где зависишь только от собственного умения и ловкости, где нет ни ситников, ни глуповатых тюх, ни тех черных убийц с серебряными крестами. Вспомнил, что на подворье у Ситника, как ни просторно оно, не росло ни единого деревца, и немало удивился этому обстоятельству. У них с

дедом Родимом росло много деревьев, а Родим к тому же каждую весну приучал Сивоока сажать хотя бы один прутик, который со временем зазеленеет и возвеселит не одно сердце. Конечно, таких слов Родим не говорил, Сивоок сам думал об этом, когда следующей весной на прошлогоднем прутике набухали почки и затем появлялись из них маленькие, чистые-пречистые листики.

Человек должен жить среди деревьев, только они его молчаливые, верные, надежные друзья. Сивоок не знал песен, но в голове у него сама по себе невольно слагалась этакая бесхитростная песенка из четырех слов, и пока он шел, кто-то повторял в нем четыре слова: «Человеку жить среди деревьев... человеку жить...»

И вдруг у самого уха хлопца что-то свистнуло хищно и тонко, Сивоок, не успев ни о чем подумать, невольно метнулся за ближайшее дерево, голова его быстро повернулась назад в направлении угрожающего свиста, и только теперь он весь застыл от страха. В нескольких шагах от него, впившись в шершавую кору дуба, торчала коротенькая, чернoперая стрела. Она еще покачивалась, еще звенело в ней зловещее напряжение полета, и Сивоок невольно вздрогнул, представив, как впилась бы она в него, если бы стрелок не промахнулся. И то ли его невидимый противник почувствовал, что Сивоок неодобрительно подумал о его способностях стрелка, то ли неосторожно выдвинулся Сивоок из-за дерева, но тотчас же новая стрела сухо ударилась о кору укрытия Сивоока, как раз на уровне сердца парня, и упала тут же, рядом, вместе с изрядным обломком коры. По тому, как она упала и как застряла первая стрела, Сивоок понял, что стрелок целится сверху. Он начал осторожно оглядываться по сторонам и увидел, что должен был бы увидеть хотя бы чуточку раньше. В деревьях были борти. Правда, они были такие старые и замшелые, что заметить их мог лишь необыкновенно опытный наблюдатель. Но разве же Сивоок не считал себя именно таким? Видать, он неосторожно забрел в расположение чьего-то бортняцкого хозяйства, и вот теперь хозяин, выследив непрошеного гостя, решил наказать его. Сивоок знал нескольких бортников, из тех, которые приносили иногда Родиму мед и воск: были это мрачные, нелюдимые человечки, жалкие и хлипкие; они выходили из лесу лишь на короткое время и снова укрывались туда, ибо чувствовали себя там надежнее и спокойнее. Но чем мог угрожать невидимому бортнику он, малый Сивоок? Или тот не видит, с кем имеет дело, или же его нелюдимость

простирается так далеко, что он встречает стрелой каждого, кто осмеливается хотя бы ступнуть на его участок!

Сивоок еще как-то неосмотрительно покачнулся за деревом, и новая стрела мгновенно упала сверху, на этот раз пробив хлопцу кончик его корзна. Стрелок не шутил. Он продержит так до заката солнца, а там тоже еще неизвестно, выпустит ли из-за дерева, ибо кто же знает: может, он и в темноте видит, как сова?

— Дядя,— изо всех сил закричал Сивоок,— не стреляйте, дядя!

В ответ — новая стрела, правда, уже не такая точная.

— Но почему же вы стреляете, дядя? — плаксивым голосом взмолился Сивоок.— Я ведь мал!

Стрелы больше не было. Было молчание. А немного погодя, видимо после раздумий, к Сивооку долетело:

— А я — большой?

Голос был тонкий, тоньше даже, чем у Сивоока; он чем-то напоминал даже голос Велички. Вот будет смеху, если там девочка!

— Я заблудился! — крикнул немного смелее Сивоок.— Я не вор.

— А кто тебя знает. Пасешься тут возле наших бортей,— последовал ответ откуда-то сверху.

— Правда. Я ищу цветок,— убеждал Сивоок.

— Врешь,— не верил тот.

— Синий цветок.

— А хотя бы и черный,— все равно врешь.

— Но ведь это — правда! Я пообещал Величке. Ты посмотри на меня и увидишь, что я молвлю правду. У меня нет ни ножа, ни оружия. Чем бы я мог вырезать твои борти?

— Не выходи, буду стрелять!

— Но ведь я внизу, а ты вверху, я не причиню тебе никакого вреда.

— А откуда знаешь, что я вверху?

— Слышу, да и стрелы летят.

— Ты, может, колдун? Не шевелись, иначе прошью насквозь!

— Да нет, я просто малый. Сивоок.

— Что это еще за имя?

— Не знаю. Так зовут.

— Ну так и постой себе там за деревом.

— Но я должен идти.

— Все равно стой.

— Я блуждаю по пуще много дней.

— Врешь. Как же ты живым остался?

— Голодный и усталый.

Бортник снова долго думал и молчал. Наконец он решился.

—А ну-ка, пройди от своего дерева к соседнему. Но потихоньку. Если побежишь — застрелю.

Сивоок высунулся из-за своего укрытия, неторопливо пошел через открытое место.

— Стой! — крикнул ему все еще невидимый бортник.— Почему такой большой?

— Да нет, я совсем малый, мне десять или двенадцать лет. Никто не знает толком.

— Как это никто? А мать?

— У меня нету.

— Отец?

— Никого нет.

— Где живешь?

— Нигде.

— А цветок, говорил,— кому же он?

— Величке. Девочка такая маленькая. Встретил ее — пообещал. Потому что она никогда не была в пуще.

Бортник снова долго думал.

— А постой-ка! — заговорил он после паузы. Умело и быстро он начал спускаться вниз, и только теперь Сивоок увидел, что человек этот укрывался за одной из бортей,— видно, у него там была заранее приготовлена засада, из которой он видел все вокруг, сам оставаясь незамеченным.

Он соскочил на землю, держа наготове натянутый лук со стрелой, направленной прямо в Сивоока, и недоверчиво начал приближаться. Был совершенно маленьким, ободранным, словно бы только что вырвался из медвежьих объятий, но лицо у него было умное, сообразительное, в особенности поражали глаза — в зеленом блеске, хитрые и юркие.

— Огромный еси,— с прежней недоверчивостью промолвил бортник.

— Учился поднимать Родимов меч,— оправдываясь, сказал Сивоок,— а меч был тяжелый. Ни у кого таких не было.

— А Родим — кто?

— Дед мой.

— Где же он?

— Убит.

— Ага. Что же будешь делать?

— Не знаю.

— А цветок?

— Ну, найду его, отнесу Величке, а потом — не знаю.

— Врешь. Зачем носить цветы? Где растут, пускай себе растут. Кто это должен их носить?

— Да я не знаю. Пообещал Величке, потому что она никогда не видела.

— Все равно врешь. Должен же ты что-то делать. Борти присматривать, ловить рыбу или зверя. Добывать корни...

— Ничего не знаю.

— Вот если бы я тебе поверил,— сказал с каким-то сожалением маленький бортник.

— Так что? — без особого любопытства спросил Сивоок.

— А то,— ответил тот и отклонил лук в сторону.

Сивоок переступал с ноги на ногу, ибо до сих пор еще боялся хотя бы пошевельнуться, опасаясь, как бы глуповатый бортник не прошил его стрелой.

— Знаешь,— сказал снова бортник,— тебя как зовут?

— Говорил уже — Сивоок.

— Хорошо. У тебя и верно сивые глаза. Таких я не видел никогда. Видать, не врешь, раз у тебя такие глаза. А я — Лучук, и отец у меня Лучук, и дед. Потому что все очень метко стреляли из лука. И я. Хочешь, вон в тот сучок попаду?

— А ну, попробуй.

Стрела просвистела вверх и впилась именно там, куда указывал маленький Лучук.

— Ну? — спросил он.

— Ладно.

— Теперь видишь? Я тебя нарочно не задел.

— Гм.

— А ты не разговорчивый.

— Да нет.

— Знаешь, у тебя братья есть?

— Сказал же: никого.

— А у каждого должны быть братья.

— Пускай.

— У меня тоже нет. Знаешь,— Лучук повесил свой лук на плечо, он доставал у него до самой земли. Сивоок удивился даже, как мог парнишка натягивать тетиву.— Ты уж неси свой цветок, а потом возвращайся ко мне, и мы станем братьями.

— А как это?

— Ну, просто — братья. Всегда вместе, один за одного и один для одного.

— И что?

— А потом удерем отсюда.

— Куда же?

— За пущу.

— Я из пущи никуда не хочу,— сказал Сивоок.

— Ну, ты приходи, тогда договоримся. Я тебе расскажу. Ты еще не знаешь. Придешь?

— Ну,— Сивоок думал.— Не знаю. Может, и не найду тебя.

— Да что! Это так просто. Идти, идти — и выйдешь на нашу горку.

Сивоок немного подумал еще, но глаза Лучука сверкали так чисто и честно, что он решил быть откровенным до конца.

— У меня тур есть,— сказал он небрежно.

— Тур? — недоверчиво подошел к нему Лучук.— Убил?

— Живой.

— Так как же он — у тебя? В пуще?

— В пуще, но мой. Знаю, где лежит. Ранен.

— Давай пойдем к нему. Ладно?

— Когда я вернусь.

— Ну, я буду ждать. Хочешь, я тебе подарю что-нибудь — стрелу или нож?

— Не нужно,— ответил Сивоок,— все равно нечем заплатить за подарок. Нет у меня ничего.

— Э, да ты ведь голоден,— вспомнил Лучук.— Давай накормлю тебя. У меня есть хлеб, а мед сейчас добудем. Но только приходи.

— Приду,— пообещал Сивоок.

— Обещать легко.

Он еще не знал множества вещей. Не видел больших городов, хотя и догадывался немного о них со слов торговых людей, которые приезжали к Родиму. Не знал ни бояр, ни князей, ни императоров и почти не слыхал о них и не представлял, какая может быть связь между ним и далекими властелинами. Самое же главное, что Сивоок совершенно не представлял, в какое время он живет. А это были странные, смутные времена. Времена, когда люди созревали быстро, старели рано, времена, когда четырнадцатилетняя королева приказывала удушить ночью своего шестнадцатилетнего мужа (ей казалось, что он стар для нее) и сама приходила в темную спальню, стояла на пороге в длинной полотняной сорочке, держа высоко над головой свечу, присвечивала своим послушным челядницам, которые чинили расправу, скорую и

беспощадную, и топала ногами: «Скорее! Скорее! Скорее!» Это были времена, когда одиннадцатилетние епископы посылали бородатых миссионеров завоевывать для жестокого христианского бога новые пространства, заселенные дикими язычниками, и, сурово насупливая свои жиденькие бровишки, поглаживая золотые панагии, украшенные сапфирами и бриллиантами, слушали, сколько непокорных убито, сожжено живьем, утоплено, изрублено и сколько покорено. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч» [1].

Это были времена, когда никто никому не верил, когда вчерашний союзник, получив плату, сегодня выступал против тебя, когда князь, поклявшись на кресте перед другим князем в том, что будет соблюдать мир, улучив удобный момент, отрубал мечом голову тому, с кем только что помирился.

Была ли тогда любовь, в том темном и мрачном столетии? Наверное же была, но пряталась далеко и глубоко в дебрях, да так и осталась непрослеженной и незамеченной, и ни один летописец или хронограф не зафиксировал ничего светлого, нежного, человечного, а только кровь, развалины, предательство, коварство.

«Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» [2].

И кто бы мог увидеть, как маленький мальчик, в безбрежной своей наивности, после многодневных блужданий в дикой пуще несет оттуда удивительно синий цветок в мрачный двор, окруженный высоким частоколом, из-за которого с трудом сумел убежать. Возвращаться добровольно в неволю ради какого-то цветка? Зачем? И кому нужны цветы в такое безжалостное время?

Но, видимо, когда творишь добро, не думаешь об этом. Заранее обдумывают лишь подлость.

Сивоок пообещал Величке,— значит, не мог не выполнить свое обещание. А почему обещал, почему такая глупая прихоть: принести цветок из лесу, тогда как у Велички вон какое множество маковых цветов в огороде?

Разве он знает? Впервые встретил девочку, непостижимое существо, похожее чем-то на тех глиняных божков, которые изготовлял дед Родим. И волосы у нее необычные, и голос,

[1] Евангелие от Матфея, 10, 34.

[2] Там же, 10, 35.

и походка. Ходила она так: руки опущены вниз, а ладони выгнуты и пальцы растопырены, словно она боится чего-то, и глаза то и дело бегали за руками, за каждым пальчиком. Так, словно не идет она, а собирается вот-вот взлететь, потому что ей здесь неинтересно. А он хотел задержать ее на земле. Не было у него для этого ничего, кроме увиденного когда-то в пуще синего цветка.

Он ходил вокруг плотного частокола, пытаясь отыскать хотя бы щелочку, чтобы протиснуться во двор и выследить Величку, спотыкался в увядших ромашках, с сожалением посматривал на свой цветок, который мог увянуть от жаркого солнца, и, утратив надежду найти выход, стал потихоньку звать: «Величка, Величка!»

Долго ходил, звал и не услышал, как тайком стукнули запоры на воротах, без скрипа разъехались тяжелые половинки, создавая узкую щель, сквозь которую мгновенно протиснулись Ситник и Тюха, не видел, как они побежали вдоль частокола в разные стороны, он продолжал кричать свое «Величка!» и прислонялся ухом к нагретым солнцем дубовым бревнам, когда мелькнуло у него перед глазами неуклюжее, мохнатое, ненавистное. Он отпрянул от Тюхи и резко повернулся, чтобы убежать в другую сторону, а там, растопырив руки, будто собираясь ловить петуха, раскорячился веселый Ситник, истекая потом торжества и удовольствия.

От неожиданности Сивоок застыл на месте. Он остановился почти на неуловимый миг, но и этого оказалось достаточно для Тюхи, который навалился сзади на хлопца, подминая его под себя. Сивоок собрался еще с силами, чтобы вырваться из медвежьих лап Тюхи, но отскочить хотя бы чуточку в сторону, где бы уже никто не догнал его, он не успел, потому что подбежал Ситник и навалился на него своим тяжелым, жирным телом. Разъяренный Тюха в своей рабской услужливости уцепился снова в малого, рвал на нем корзно, бил куда попадет, брызгал бешеной слюной.

Синий цветок лежал среди истоптанных, присушенных солнцем ромашек, и его топтали босые ноги Тюхи и ноги Ситника, обутые в добротные кожаные постолы,— топтали жестоко, безжалостно, с наслаждением.

— Величка! —закричал из последних сил Сивоок, еще пытаясь вырваться.— Величка-а!

Они еще били его, уже повалив на землю; возможно, теперь он своим телом прикрывает тот синий цветок, беспомощный, никому не нужный, наивно-смешной синий цветок, о ко-

тором хлопец, быть может, и забыл, потому что помнил еще только про Величку, пробивалась эта память сквозь удары, сквозь боль, сквозь издевку.

— Величка-а!

И тогда случилось чудо. Оно налетело из-за изгиба частокола, сверкнуло золотом волос, белыми ножками и ручками, оно подбежало к разъяренным, запыхавшимся, одичавшим, ударило маленькими кулачками по толстой спине Ситника, заплакало, закричало: «Пустите, пустите его!» Ситник хотел оттолкнуть ребенка, он небрежно отодвинул девочку толстой рукой, тогда Величка вцепилась зубами в его палец, Ситник взвыл от боли, попытался выдернуть палец, но острые зубы еще глубже впивались в его тело, и тогда он, не задумываясь, ударил девочку свободной рукой, а Сивоок в это время пытался подняться,— если бы только ему удалось встать на ноги, да еще если бы он был хотя бы на два-три года старше, чтобы он мог осилить этих обоих, о, если бы!

Но Тюха сгреб его снова, налегая на спину; Сивоок только и успел направить голову навстречу толстяку Ситнику, который, расправившись с дочерью, снова возвращался к несчастному хлопцу; и то ли сам Ситник с разгону натолкнулся животом на голову парня, то ли Сивоок сумел резко двинуть головой вперед, а только толстяк удивленно икнул, пустил глаза под лоб, пробормотал: «Убил!» — и мягко осел назад. Тюха прижал Сивоока к земле и стал ждать, что будет дальше, но тут снова подбежала Величка, которую отец оттолкнул было прочь: не заметив, в каком состоянии отец, Величка снова бросилась на него, снова впилась зубами в его руку, и боль вернула толстяку сознание, он замахал рукой, отбиваясь от Велички, быстро вскочил на ноги, заревел Тюхе: «Тащи его в яму!»

Так Сивоок очутился в яме, вырытой в углу Ситникова дворища, прикрытой сверху толстыми бревнами, еще и придавленной тяжелым камнем.

Кувшин с водой и жесткая просяная лепешка — вот и все, что ему иногда подавал Тюха со злорадным посапыванием: он рад был иметь товарища по кабале, к тому же товарища еще более униженного, опущенного уже и вовсе низко. Сивоок не разговаривал с ним. Да и какой смысл. Тот, кто помогал забросить тебя в яму, и пальцем не пошевелит, чтобы ты оттуда выбрался. Это уж так. Большой мудрости тут не нужно.

Сначала Сивоок пробовал вести счет дням и ночам, ибо

сквозь щели между бревнами светило солнце, и он даже пытался подставлять под узкие лучи то руку, то лицо, но вскоре сбился со счета, потому что долго сидел, солнце на небе исчезло, пошел дождь, в яме захлюпала вода, ему уже негде было и на ночь укладываться, и он пригорюнивался как попало.

Вот тогда и пришла к нему Величка.

— Сивоок!— позвала она тихонько, видимо остерегаясь, чтобы ее не услышал отец.— Ты там?

— Тут, Величка.

Она заплакала.

— Не плачь,— сказал он.

Она заплакала еще сильнее.

— Я принес тебе синий цветок,— сказал он.

Она продолжала плакать.

— Но они отняли,— сказал он.

Она только и могла, что плакать.

— Не плачь, а то и я заплачу,— сказал он.

Тогда она перестала.

— Вот я выберусь отсюда и принесу тебе цветок непременно,— сказал он.

— Тут такие тяжелые бревна,— снова заплакала Величка.

— Это ничего,— сказал он.

— Я принесла тебе хлеба и вепрятины, но бревна такие тяжелые...

— Не беда,— сказал он.

— Я и завтра приду,— она не переставала плакать.

— Буду ждать тебя,— сказал он.

Возможно, она и пришла, но Сивоока в яме уже не застала. На рассвете его вытащили оттуда Ситник и Тюха, крепко связали сыромятным ремнем, подвели к знакомому уже возку, на котором теперь темнела небольшая изогнутая будка. Сивоока затолкали в возок, впереди сел Ситник, прячась под навесом, по которому тарахтел крупный дождь; Тюха открыл ворота, и снова хлопец почувствовал свободу. Правда, у него были связаны руки, он был голоден и изнурен без меры; и без того промокший, он и дальше мок под безжалостным дождем, потому что места под навесом хватило для одного лишь Ситника, но все равно для Сивоока это уже была свобода, ибо он не сидел больше в яме и вырвался из дубовых объятий ужасного частокола. Он был настолько обрадован, что даже не подумал — куда и зачем везет его Ситник, но хотя бы и подумал, то все равно ни за что не мог бы отгадать, потому что в

детской своей наивности, которую в нем изо всех сил поддерживал честный Родим, Сивоок и в мыслях не мог допустить, что на той великой и вольной земле, где он вырастал, могут продавать людей за серебряные гривны точно так же, как продавал когда-то Родим горшки и глиняных богов.

Но при всем том, что Сивоок ничего не ведал о своем будущем, он хорошо уже знал, что ждать добра от коварного Ситника ему не следует, и вскоре после выезда радость от созерцания свободных просторов смешилась в сознании хлопца тревогой, он двигался в телеге, то одним, то другим плечом старался вытереть смачиваемые беспрестанно дождем щеки и вот так, шевелясь, стал чувствовать, что сыромять у него на руках намокает все больше и больше, становится скользкой, и кажется, стоит лишь малость напрячься — и ты высвободишься. Сивоок дернулся раз-другой, чуть было не утратив равновесия, качнулся в сторону Ситника, тот заметил возню хлопца и засмеялся:

— В буду хочешь? Ничего, покупайся на дождике, смердишь вельми.

Сивоок молчал. Он притих, испугавшись, что медовар раскроет его тайное намерение — и тогда конец всем надеждам. Но как только проехали еще немного и Ситник, вынув из сумки огромный кусок копченки, начал аппетитно есть, Сивоок снова принялся за свое. Хотя сыромять была мягкой и скользкой, она не очень поддавалась, нужно было упорно растягивать узлы, а к тому же приходилось делать это тайком, чтобы не заметил Ситник. Правда, медовар теперь был целиком занят едой, он смачно чавкал, сопел, отрыгивал, будто жирный гусак, снова откусывал огромные куски, жадно глотал их, так что Сивооку видно было, как после каждого глотка словно судорога проходит по спине Ситника, и хлопец еще больше ненавидел и самого Ситника, и то, как он жрет, ненавидел запах вепрятины, от которого кружилась голова. И Ситник снова что-то почувствовал неладное — то ли неосторожное движение Сивоока заметил, то ли услышал его вздох; он небрежно чавкнул через плечо толстыми губами, с трудом проталкивая слова сквозь полный рот, пробормотал:

— Не захотел слушать старших, жил бы себо с Тюхой. У меня хорошо.

— Тюха-Матюха!— едва не плача, ответил Сивоок, которому не хотелось ни единым словом обращаться к сытому медовару, но он не мог удержаться, чтобы не выразить свою ненависть и к нему, и к его глупому холопу.— Тюха-Матюха! —

повторил он, считая, что нашел именно те слова, которые наиболее сильно передают его ненависть и презрение.

— Хочешь кусочек?— спросил подобревшим голосом Ситник.

Сивоок молчал. Что он должен был ответить на это откровенное издевательство? Но Ситника одолевала доброта. Он порылся в сумке, достал оттуда кусок хлеба, ткнул его, не глядя, в рот Сивооку, поддержал, пока тот откусил, потом точно так же вслепую подал ему кусок мяса, в которое зубы хлопца вонзились уже с большей торопливостью, без малейших колебаний.

— Вкусно, правда?— чавкая, спросил Ситник.

— У-ум!— пробормотал Сивоок, делая вид, что удобнее усаживается, и одновременно изо всех сил дергая левую руку из скользкой, будто лягушка, сыромяти. Рука словно бы проскочила сквозь узел, но потом застряла еще крепче, однако Сивооку почему-то показалось, что она вот-вот должна выскользнуть, и он, не теряя времени, начал упорно тащить ее на свободу.

— Слушал бы меня, вот каждый день и имел бы полон рот такой вепрятины,— продолжал Ситник.— Я добрый, хочешь еще?

И, не дожидаясь ответа, снова подал Сивооку попеременно кусок хлеба и кусок вепрятины, и зубы хлопца без дополнительных приглашений сделали свое дело с такой быстротой, что даже сам медовар удивился и хихикнул:

— Ой жрешь!

А у Сивоока уже были свободны руки. Правда, на правой еще висела сыромять, но это уже его не беспокоило. Теперь у него была другая забота: прыгать ли с возка сразу или подождать, пока Ситник накормит его как следует, потому что голодное его молодое тело аж стонало от желания насытиться. Но дорога как раз проходила по вершине крутого косогора. Сивоок понял, что лучше места не следует и ждать, и решительно сделал выбор между волей и сытостью. Он наотмашь огрел Ситника мокрыми узлами сыромяти по сытой харе, выскочил из возка и покатился вниз, сопровождаемый разъяренными плаксивыми выкриками медовара:

— Ой, убил! Ой-ой-ой!

Конь испугался крика и понес, Ситник раскричался еще больше, теперь уже от ярости на беглеца и на скотину, но чем сильнее он кричал, тем быстрее нес конь, а тем временем

Сивоок изо всех сил бежал в противоположном направлении. На пути у хлопца попался ручей — Сивоок перелетел через него, расплескивая во все стороны мутную воду; в размокшем поле чуть было не увяз, вовремя спохватился и бросился в обход, убегал от Ситника, прославляя волю и проклиная эту голую, открытую для всех глаз степь, где невозможно найти укрытие от ненавистного медовара. Никогда он не возвратится сюда, никогда! Не выйдет из пущи, останется там навсегда среди могучих деревьев, среди зверей, которые живут сами по себе и не мешают тебе тоже жить, как ты хочешь.

...Лучук уже и не ждал своего товарища. Был он ободран сильнее Сивоока, остатки корзна, висевшие на его худеньких плечах, намокли под дождем, и теперь стало видно, из каких разноцветных лоскутов сшито его одеяние: кусок полотна, обрывок начисто облезшей беличьей шкурки, какая-то грязная полоска, а там и вовсе лубок, вплетенный на спине. Вместо порток на Лучуке висели смешные лохмотья, не прикрывавшие даже срама. Сивоок, хотя и насквозь промокший, хотя и испачканный в грязь, рядом с несчастным бортником выглядел почти богачом. Еще не изношенные шерстяные портки, крепкие кожаные постолы, корзно из хорошего тонкого меха поверх льняной сорочки — все это еще с времен, когда был жив дед Родим, все это приобретено у купцов, все такое, что пригодилось бы и на боярского сына. Ну, кое-где протерлось, коечто разорвалось, износилось, однако не так, как на Лучуке, ибо на том и рваться уже нечему было.

— Стрелок, а не можешь добыть себе хотя бы на корзно,— засмеялся Сивоок, шутливо подтолкнув товарища в плечо так, что тот чуть было не упал.

— Э, как тут раздобудешь: я подстрелю, а другие заберут,— ответил тот.

— Как это заберут?— Сивоок впервые слышал такое.

— А поборы — не знаешь разве? Для князя, для боярина, а там воевода с дружиной нагрянет, а там еще кто...

— А если спрятаться?

— Где же спрячешься?

Это уже и вовсе обескуражило Сивоока.

— Как где?— воскликнул он.— А в пуще!

— Э-з,— сказал Лучук, шмыгнув носом,— в пуще найдут. Тут им все известно. Где борти, а где ловы. Вот бы в поле. Там есть где спрятаться.

— Но там же все видно!

— Э, поле широкое, там так затеряешься, что и боги не

подстерегут. А пуща тесная. От одного дерева до другого пока перейдешь, а уже тебя там кто-нибудь ждет. Бежим в поле!

— Не пойду,— сказал Сивоок,— я оттуда еле выбрался. Никогда не вернусь.

— Ну и дурак,— равнодушно сплюнул Лучук.

— Давай я тебе покажу в пуще такое место, куда никто и не поткнется.

— Где же это?

— Там, где туры.

— Туров тоже убивают. Еще и как.

— Но не там. Потому что там их без счету. Растопчут — лишь прикоснись хотя бы к одному...

— И твой тур там?

— Там. Только это далеко. Тебя не будут искать?

— А кто меня будет искать?

— Ну, отец.

— А он каждый день молится: «А чтоб тебя зверь разорвал!» Тебя тоже никто не будет искать?

— Меня ищет Ситник, но я больше к нему не вернусь.

Глупое это было дело и ненужное. Но все равно им некуда было податься, вот они и побрели неторопливо в глубь пущи, наслаждаясь свободой, представляя себя единственными хозяевами зеленого шума. Прекратился дождь, пригрело солнышко, Лучук подстрелил косулю, и Сивоок приготовил княжеское жаркое. Шли дальше и дальше, друг другу раскрывая лесные чудеса: то куст, усыпанный крупными яркими ягодами, что были скрыты от постороннего глаза и вспыхивали множеством солнц, как только один из них поднимал свой прелестный листик; то дикую борть, полную ароматного меда; то теплое гнездышко в синеве высоких невиданных цветов, то хитро выстроенную нору дикого зверя; а там пошли дубравы с ненасытными табунами вепрей, озера, застроенные подводными дворцами бобров; и уже на какое-то там утро их блужданий открылись просторные опушки с купами деревьев и густыми перелесками и на этих опушках — коричнево-серые подвижные горы и пригорки больших и малых туров.

Сивоок умело провел Лучука прямо туда, где залег раненый Бутень, тишина там стояла такая, что хлопцу стало жутко: неужели старый тур погиб и они застанут лишь обглоданный волками костяк? Совершенно не прячась, он быстро тащил Лучука за собой, первым проскочил сквозь кусты на круглую поляну и попятился назад, чуть не вскрикнув от неожиданности.

На изрытой и вытолоченной до основания поляне темной горой возвышался Бутень, крепко увязнув коротенькими ножками в мягкой земле. Он стоял боком к Сивооку и, наверное, спал, потому что не заметил хлопца, и только это и спасло маленьких бродяг. Они изо всех сил помчались назад в кусты, но и тут их подстерегла беда, потому что кусты с другой стороны затрещали, застонала земля, послышалось нетерпеливое сопение, могучая огненно-рыжая туша, дыша на хлопцев жаром нетерпения, проламливалась прямо на поляну к Бутеню, и Сивоок едва успел оттолкнуть в сторону товарища.

Рудь мчался к Бутеню.

То ли он уже бывал здесь, потому что мчался с такой уверенностью и быстротой, то ли уже мерились они снова и снова силой со старым туром, тут или там, на широком раздолье среди трав и деревьев? То ли сам обнаружил укрытие Бутеня и теперь добивал старика, пользуясь его немощью, или же Бутень, немного придя в себя после ранения, заманил сюда Рудя и попытался проучить молодого нахала?

Как бы там ни было, но, видимо, не в первый раз они мерились тут силами, если судить по тому, какой Сивоок покинул эту полянку и в каком состоянии застал ее теперь.

Бутень не спал. Вероятно, он давно уже почуял приближение своего противника и только прикидывался сонливым, на самом же деле напрягал каждую мышцу своего могучего тела. Опыт подсказал ему даже, откуда нужно ждать Рудя, и он направил свои ужасающие рога точно в ту сторону, откуда приближался враг. И как только Рудь выскочил на поляну, Бутень, почти и не сдвинувшись с места, сразу же поймал его на рога, не дал уклониться, заставил идти в схватку лоб в лоб. Получилось так, что у Рудя туловище было чуточку снесено в сторону, поэтому он вынужден был выпрямиться, чтобы пустить силу на силу. Пока же передвигал задние ноги, ослабил напор, чем немедленно и воспользовался Бутень. Он оттеснил Рудя назад, тот зачастил ногами, начал отступать, отступать и, вероятно, позорно бежал бы, если бы вдруг не уперся задом в толстую ольху, росшую на опушке поляны. Ольха сдержала отступление Рудя, он попытался даже перейти в наступление, но Бутень не ослаблял натиска, он двигал и двигал вперед, одновременно следя за тем, чтобы Рудь не увернулся из-под его рогов, горы мышц на шее и холке Бутеня возрастали в своей твердой каменистости и давили, давили Рудя, не давая тому ни времени, ни возможности выпрямиться. Конечно же Рудь не сдавался сразу. В его молодом теле собралась уже не-

заурядная сила, кроме того, на его стороне было преимущество в первом поединке, когда именно он, а не Бутень нанес удар своему противнику. Тут он не мог свободно отскочить и снова ударить рогами, зажатый в узком месте, но и сломить себя не позволял, он также напрягал свою шею, затвердевшую, как дуб, затвердевшую, быть может, даже сильнее, чем у Бутеня, хотя у старого тура и была она вдвое толще. Видимо, надеялся еще Рудь и на то, что в его молодом теле больше выдержки, чем у старого тура, у которого еще не зажили раны. Главное для него было — выдержать этот первый каменный натиск Бутеня, не уступить, не согнуть шею, ибо тогда гигантские рога Бутеня пронзят его насквозь.

А поскольку натиск старого тура не угасал, а все увеличивался, Рудь, топая передними ногами, постепенно все больше и больше изгибался в хребте, уже его спина изогнулась до предела, уже передние ноги ближе и ближе подтягивались к задним, уже и шея согнулась вниз, как будто Рудь хотел спрятать голову между передними ногами; теперь молодой тур весь свертывался в огромное, упругое кольцо мышц, которое вот-вот должно было распрямиться и отбросить старого Бутеня именно в тот момент, когда Бутень израсходует остатки своих сил. От невероятного напряжения у Бутеня на икре треснула корка, которой была затянута рана, и красная рана появилась на мохнатой ноге, от всего его огромного тела поднимался тяжелый пар, вытаращенные глаза лезли уже в разные стороны, как будто вот-вот должны были треснуть. Однако у Рудя дела были и того хуже. От напряжения мелко дрожало все его тело, судорожно билась каждая мышца, каждая жилка, как-то странно вихлялись ноги, а спина напряглась до такой степени, что, казалось, вот-вот уже должна была непременно переломиться прямо посередине.

И именно в тот момент, когда казалось, что Рудь сломится, как усохший ствол, он из последних усилий вывернулся в сторону и грузно упал в болото. Бока у него ходили ходуном, а рыжая шерсть промокла насквозь, из раскрытого рта высунулся бессильный, потемневший язык.

А Бутень стоял над своим поверженным врагом неподвижный и равнодушный. Не добивал его и не отходил от него, будто хотел до конца насладиться своей победой. На самом же деле застыл он от предельной исчерпанности сил. Мог лишь удержаться на ногах — вот и все.

И это длилось довольно долго. Один лежал, тяжело дыша, а другой неподвижно возвышался над ним, страшный лишь сво-

им видом, будучи на самом деле тоже бессильным. Потом Бутень, которому негоже было выдавать свою исчерпанность, все же нашел в себе силы шагнуть в сторону, к луже с водой, неторопливо нагнул туда морду, долго пил и, грозно зарычав, побрел сквозь кусты к своему племени, которое, вероятно, с радостью воспримет его возвращение.

А Рудь еще некоторое время полежал, а потом чуточку подвинул голову, ибо на большее не хватило силы, вытянул еще дальше язык, загнул краешек его ковшиком и начал по-собачьи хлебать воду из той же лужи, в которой утолил свою жажду Бутень. Он хлебал долго и тяжело, с большими передышками, ибо даже на такую простую вещь был неспособен. Сивоок тихо толкнул Лучука, показал глазами: айда.

Когда они изрядно отошли от места схватки туров, Лучук сказал с сожалением:

— Здорово же он язык высунул! Так и хотелось подскочить да отмахнуть его ножом! Вот бы зажарили!

— Ох и глупый ты,— незлобиво сказал Сивоок.

— Я старше тебя на три лета,— обиделся Лучук.

— А ума нет.

— Зато у тебя ум — носить цветы из пущи.

— А что,— вспыхнул задетый за живое Сивоок,— носил! Хочешь — еще раз понесу!

— Чтобы снова попасть в яму?

— А я хитрее буду. Переброшу Величке цветок через частокол — вот и все.

— Как же ты перебросишь?

— А так: я могу бросить камень дальше всех.

— Зачем же тебе камень? Можешь прицепить свой цветок к моей стреле, я и заброшу его за частокол. Я все могу.

Сивоок тепло взглянул на своего товарища, с которым минуту назад чуть было не рассорился.

— А потом пойдем дальше,— сказал он.— Пускай Величка думает, откуда упал на нее цветок.

— А ежели его найдет Ситник?— спросил Лучук.

— Так пускай подумает, откуда упала на него стрела.

— Все равно хорошо! И пойдем дальше в поле!

— А потом в пущу.

— А потом полем.

— И пущей!

...Только и следу от них было, что удивительная стрела посредине Ситникова двора с прицепленным к ней синим цветком из глубочайшей пущи.



1941
год
ОСЕНЬ. КИЕВ

...Мы готовы начать заново завтра и ежедневно ту же самую веселую карусель.

П. Пикассо

Профессор Адальберт Шнурре любил точность. Он гордился своей точностью. По нему, как когда-то жители Кенигсберга по философу Канту, можно было бы проверять хронометры. Он появлялся на плацу концлагеря ровно в десять минут десятого. Правда, название «плац» мало подходило к грязному пустырю, но, во-первых, пустырь умело опутан двумя рядами новенькой, привезенной из далеких рейнских заводов колючей проволоки, а во-вторых, на той части пустыря, которая имела покатый склон к бесконечным киевским оврагам, к моменту приезда профессора лагерная охрана всегда выстраивала всех заключенных, несмотря на их возраст, пол и состояние, в котором они пребывали, а следует добавить, что большинство из тех, кто попал за колючую проволоку этого киевского концлагеря, находились в том состоянии, которое непременно должно было бросить их вниз, в яры, где уже целый месяц методически выстукивали пулеметы.

Гефтлингов, то есть заключенных, выстраивали на плацу в девять утра для апеля, проще говоря — проверки. Немцы не торопились. Погода стояла дождливая, золотой киевской осени,

о которой так много они были наслышаны, в этом году почему-то не вышло, рано начались холода, облетела листва, клубилось серыми тучами небо. Вставать на рассвете в такую непогоду не хотелось, поэтому и гефтлинги могли бы поспать до девяти, особенно если принять во внимание, что в грязи, под открытым небом, не очень наспишься, хотя и небо над тобой, и земля под тобой словно бы и твои, родные.

Апель длился долго — полчаса, а то и час. Пересчитывали по десять раз, придирались, кого-то били, кого-то выставляли в отдельную шеренгу, которая должна была уже сегодня отмаршировать в яры (а кто сам не мог маршировать, того транспортировали автомашинами, ибо завоеватели были богатые, цивилизованные, оснащенные машинами и техническими приспособлениями до самого предела), крутили и вертели измученных людей, всячески оттягивая тот желанный для всех заключенных момент, когда гнали их «на кухню», где мордатый повар тяжелым, на длинном держаке черпаком (чтобы удобнее было бить непослушных по голове), стоя на своем поварском троне, нальет отвратительной баланды каждому в то, что он имеет: кому в жестянку из-под консервов, кому в котелок, кому в кастрюльку, предусмотрительно захваченную из дому, кому в кепку, а кому и просто в ладони, ибо посуда здесь ценилась выше золота, и уж если ты не имел посудины, то и не мог ее иметь ни за какие богатства мира.

Но с того момента, как профессор Адальберт Шнурре решил прибывать в лагерь ровно в десять минут десятого, лагерной охране приходилось торопиться и заканчивать апель за десять минут, ни на секунду позже, потому что штурмбанфюрер Шнурре любил точность и за малейшее отступление от нее требовал строжайшего наказания, а штурмбанфюрера Шнурре боялись все — он выполнял в Киеве очень важное поручение,— следовательно, имел чрезвычайные полномочия.

Хотя, если говорить правду, профессор Шнурре все же давал своим соотечественникам еще две-три минуты на завершение хлопотных проверочных дел, ибо, придя на середину плаца, представлявшую собой самый высокий пригорок на этом огороженном проволокой клочке киевской земли, разрешал себе немного полюбоваться живописным горизонтом, который даже он, опытный искусствовед, не знал с чем сравнить.

Волнисто поднимались мягкие киевские горы, разрезанные покатыми ярами, и каждый такой изгиб был обозначен удивительным храмовым сооружением: то Андреевская чудо-церковь на краю Старокиевской горы, то, будто поднявшееся

из глубины тысячелетий византийское видение, Денисовский монастырь, то скрытая в расселине яров, у самых ног профессора Шнурре, Кирилловская церковь, а дальше, за Подолом и Куреневкой, за покрытой низкими осенними тучами старинной Оболонью, сталисто сверкал Днепр и угадывалась светлая Десна, сливавшаяся здесь со своим древним отцом. Какое чудо! Профессор вздыхал от растроганности, доставал платочек, вытирал лицо, собственно хотел вытереть только глаза, но не мог же он выдавать перед всеми свою растроганность, уж лучше сослаться на влажность утренних киевских туманов.

Пока штурмбанфюрер Шнурре любовался пейзажем, его денщик расставлял походный парусиновый стульчик и, застыв в положении «смирно», ждал, пока начальство сядет, а переводчик, молодой стройный зондерфюрер с пахальными глазами, скрытыми за стеклышками пенсне, откашливался, прочищая горло для затяжного разговора.

Профессор, а одновременно и штурмбанфюрер, Шнурре садился, кивал денщику, благодаря за стульчик и подавая знак, что тот может стоять «вольно», мило улыбался переводчику и произносил каждый раз одно и то же: «Альзо, майне дамен унд геррен», что означало: «Итак, мои дамы и господа».

Потом еще он спрашивал, на чем мы остановились, так, словно все это происходило в университетской аудитории и перед ним были веселые студенты-бурши, а не замученные, умирающие заключенные. Никто не отвечал профессору Шнурре, да он и не ожидал ответа, сам хорошо помнил, на чем остановился прошлый раз, и поэтому, выждав для приличия минуту-другую, продолжал каким-то булькающим голосом свои удивительные лагерные чтения.

Первая фраза была всегда одна и та же: «Как утверждал мой постоянный киевский корреспондент, профессор Гордей Отава», далее начинались вариации:

— Как утверждал мой постоянный киевский корреспондент профессор Гордей Отава, исторический процесс развития искусств должен представляться нам чем-то словно бы нанизанным на единый стержень равномерно эволюционизирующей «художественной воли», какого-то последовательного стилепреобразования, какой-то этнографической формулы, которая всегда сохраняет в себе элементы неисчезающей традиции. Как люди передают в наследство своим детям все лучшее, что у них есть, но одновременно не разрешают детям не быть похожими на себя, так и искусство в своем непрерывном развитии всегда опирается на какие-то непоколебимые основы, и в нем

всегда можно найти архетипы, как находим мы ядро в каждой ореховой скорлупе, если, конечно, орех не испорчен.

Конечно, эти взгляды не новые, уже мой соотечественник, Вельфлин, который фактически первым создал научно последовательную историю искусств, своим научным методом, опирающимся на сравнение элементов и структур художественных произведений, невольно наталкивал на идею непрерывно эволюционизирующего искусства. На профессора Отаву, думаю, как на яростного материалиста, оказал влияние и Чарльз Дарвин с его теорией возникновения и развития видов. Я примитивизирую, но прошу понять меня правильно: в данном случае я не пытаюсь унизить профессора Отаву, а только доискиваюсь корней его ошибочных взглядов. А что такие взгляды ошибочны, показывает даже не история, в которую сейчас не время углубляться, а сама жизнь.

Прав был Дильтей, который высмеивал мнимое постепенное развитие искусства, ставшее в конечном итоге (цитирую по памяти, поэтому возможна неточность) «изобретенной в голове искусственной логической пряжей, повисшей в воздухе и лишенной почвы». Искусство развивается скачками: созданное сегодня может быть абсолютно непохожим на то, что творилось еще вчера. Новые общественные формации, приходящие на смену старым, требуют и совершенно нового искусства. Победа нового строя ставит перед искусством новые задачи. Кто-то хочет возразить? Но ведь это же так очевидно. Мы будем брать примеры из современности. В Европе установлен новый порядок, принесенный в некогда отсталые страны и земли доблестными солдатами фюрера. Что мы имели здесь, и что имеем теперь, и что предполагаем иметь в будущем?

Профессор Шнурре закрыл глаза. Разрисовывал будущее искусство «при новом порядке», который будет господствовать в Европе.

— Какая тут эволюция? Какая постепенность развития? Долой все пережитки, называющиеся традицией! Мы должны заявить, что от рождения Иисуса Христа в мировом искусстве господствовала лишь одна традиция, и та — еврейски-упадочническая. Наконец мы можем очистить искусство, создать совершенно новое, по-настоящему высокое, невиданное. Кто-нибудь хочет возразить?

Конечно, каждый из них мог бы возразить. Хотя бы ссылаясь на имена великих немцев, известные всему человечеству. Хотя бы указав профессору Шнурре на невероятную путаницу в его разглагольствованиях. Хотя бы, наконец, плюнув ему в

рожу уже только за одно то, что он надел на себя мундир штурмбанфюрера (ибо никто не знал еще и о тайной миссии Шнурре в Киеве).

Но эти измученные, голодные, затравленные, отданные на истребление люди, стоявшие перед профессором Шнурре, думали в эти минуты о другом, сосредоточивались вовсе не на абстрактных теориях, а прежде всего на решении обнаженного своей жестокой откровенностью вопроса: кто кого? Сердцем чувствовали, что фашисты будут разгромлены, верилось только в это, жилось только этой надеждой, а ужасное бытие наталкивало на отчаянную утрату веры, а в ярах не прекращалась адская трескотня пулеметов-палачей, а великие армии куда-то откатывались и откатывались на восток, и уже оккупирована была почти вся Украина и фашисты подходили к Москве.

Кроме того, всем было известно, что собрали их здесь вовсе не для дискуссии с фашистским профессором на тему из истории искусств, а с твердо определенной целью. Этой целью было: отыскать среди них, выделить из общей толпы, из их на первый взгляд очень однообразной, а на самом деле разнообразной, как всякая человеческая, среды киевского профессора Гордея Отаву, который почему-то срочно понадобился оккупантам.

За несколько дней до этого их собирали не раз и не два, и начальник лагеря, внешне равнодушный, атлетически сложенный офицер, через переводчика обращался к ним с такими словами: «Среди вас находится профессор Гордей Отава. Предлагаю профессору Отаве объявиться лагерному начальству добровольно, при этом обещаю ему сохранение жизни и вполне цивилизованное с ним обращение». Когда же профессор Отава не откликнулся на такое предложение, обращение к узникам обрело иную форму: «Тот, кто выдаст лагерному командованию профессора Отаву, будет получать улучшенное питание и будет переведен в лагерь, где есть теплые сухие бараки и постель для спанья».

Итак, покажи профессора Отаву — и будешь спать на мягком!

Однако любителей мягкого и сладкого сна что-то не нашлось. Получалось как-то так, что те, кто знал профессора Отаву, не имели ни малейшего намерения выдавать его фашистам, а если, возможно, и были в лагере люди, которые могли бы попытаться выменять лишнюю порцию баланды на профессора, то они ни сном ни духом не ведали, где здесь может

скрываться настоящий профессор, среди этих немытых, небритых, испачканных оборванцев. А может, и не нужно так плохо думать даже о двух-трех из всех заключенных. Ибо хотя люди не святые и всяк хочет жить, но дело с выдачей профессора Отавы обретало значение высшего принципа, это была едва ли не единственная для всех брошенных за проволоку возможность доказать врагу свою твердость, непоколебимость и, если хотите, презрение.

Не дождавшись ничего от своих узников, комендант точно так же равнодушно дал время для размышления до обеда, пригрозив, что в случае молчания он расстреляет каждого десятого. Однако это его заявление встречено было почти скептически, если можно вообще говорить о наличии такого чувства в душах измученных и внешне сломленных людей,— коменданту казалось даже, что он улавливает то тут, то там улыбки на изнуренных лицах, и он понимал, что они все прекрасно знают, знают его бессилие что-либо сделать с ними, чем-либо запугать их, ибо разве же можно запугать людей, которые уже умерли, а все они считали себя мертвыми с той минуты, когда был захвачен их великий город, а сами они были брошены сюда либо сразу же загнаны в глинища яров и расстреляны.

И как ни пытался комендант казаться равнодушным, но не удержался и тихо ругнулся, вспомнив святое распятие и еще какое-то довольно абстрактное понятие, ибо очень хорошо понимал, что даже свою теперешнюю угрозу осуществить не сможет и не расстреляет ни десятого, ни сотого, и вообще ни одного из этого лагеря до тех пор, пока не выудят отсюда проклятого советского профессора, который так срочно понадобился штурмбанфюреру Шнурре, прибывшему в Киев с чрезвычайными полномочиями во главе таинственной эсэсовской команды.

И потому, что профессор Отава не был найден ни до обеда, ни до самого вечера, ни ночью, хотя заключенных держали до утра на ногах, не разрешая никому даже присесть, штурмбанфюрер Шнурре появился ровно через десять минут после начала апеля, чтобы продемонстрировать свой собственный метод розыска профессора Отавы, которого он, к огромному сожалению, никогда не видел, но которого очень хорошо знал.

Так начались странные лекции профессора Шнурре на темы о путях развития искусства перед заключенными киевского концлагеря осенью сорок первого года.

Если бы Адальберт Шнурре попытался читать свои лекции на пустынном берегу бушующего моря, то и тогда он мог бы надеяться на какой-то там отзвук, ибо не все его слова тонули бы в разъяренной стихии: все-таки море что-то отбрасывало бы и назад. Если бы он выкрикивал свои разглагольствования прямо в глухую каменную стену, то, согласно закону отражения, его крик возвращался бы к нему, пускай и в искаженном и деформированном виде. Если бы кричал он в ночное безмолвное небо, то небо возвратило бы его выкрики земле, а земля прикатила бы их к профессору в виде эха.

Но такой презрительной глухоты, какую демонстрировали эти люди к речи профессора, никто не нашел бы ни в живой, ни в неживой природе.

Они стояли не мертво — внимательный профессорский глаз это отмечал. То какое-то покачивание время от времени проносилось по нервной шеренге, словно перекашиваемой от боли, и тогда Шнурре знал, что причиняли это не его высокие теории, а нечеловеческое изнурение, и где-то в глубине кто-то там должен был упасть на землю, но его поддерживали, одновременно пряча от цепких глаз надзирателей и самого «лектора», то кто-то, уже и не скрываясь, переступал с ноги на ногу, то кто-то смотрел на затянутое облаками киевское небо, то поворачивал голову к ярам, где с самого утра безумолчно строчили пулеметы. Но все это безмолвно, никто не демонстрировал видимого невнимания, получалось даже как-то так, что все смотрели на профессора Шнурре, не спуская с него глаз, следовательно, у него не было никаких оснований жаловаться на неблагодарность аудитории, его лекции не прерывались ни малейшим инцидентом; спокойным голосом, не повышая тона, он отчитывал очередной кусок, поднимался, благодарил за внимание, денщик складывал его стульчик, переводчик снимал пенсне и протирал стеклышки, и вся троица, возглавляемая штурмбанфюрером, уходила, чтобы назавтра прибыть снова.

Профессор Гордей Отава тоже стоял в шеренге обреченных и тоже вынужден был слушать бессмысленные лекции профессора Шнурре. Но слышал ли он их?

Он, как и все, тоже смотрел на одутловатое лицо профессора-штурмбанфюрера, но видел не белое невыразительное пятно, в центре которого шевелились самодовольные губы,— он видел Киев. Киев окружал его со всех сторон, он был в его кратких, прерывистых, страшных снах под холодными дождями, он был сначала великим, теплым, живым, всемогущим и

нерушимым, как стена Оранты в Софийском соборе; казалось Гордею Отаве, что Киев еще простирает к ним свои руки и что поддерживает их хотя бы морально, поддерживает даже тогда, когда они уже падают, когда уже нет сил поднять измученное тело и только глаза упрямо вздымаются вверх, и ищут, и спрашивают, и не верят: «Как же так? Почему?»

Но дни двигались в неуклонной серости, тучи нависали над всем Киевом, нависали все тяжелее и тяжелее, и в сердце профессора Отавы тоненькими струйками начало прорываться отчаяние. Кто-то здесь уже был мертв: либо он сам, Гордей Отава, либо весь Киев, потому что ни один, ни другой не приходил на помощь друг другу, каждый боролся в одиночестве, быть может, боролся с одиночеством, а может, и с умиранием?

И когда Адальберт Шнурре каждое утро любовался завоеванным великим древнеславянским городом и растроганно вздыхал в непередаваемом восторге перед живописностью киевских круч и киевских соборов, для Гордея Отавы и его товарищей это были самые тяжкие минуты.

Потому что тогда Киев казался им великим, бесконечным кладбищем, а храмы, соборы, монастыри на его подернутых дождливым туманом возвышениях стояли будто часовни печали, и кресты на них — будто костлявые символы умирания.

Профессор Шнурре мог видеть только то, что лежало перед глазами, ему и этого хватало для удовлетворения чванливости победителя, и победителя не простого, а с утонченными, высокоразвитыми художественными вкусами.

А Гордей Отава видел весь Киев так, будто поднимала его дивная сила над городом, но все покрывалось для него серой мглой, все киевские горы были похожи почему-то на Байкову гору, в четкой расчерченности центральных кварталов и в милой путанице маленьких улочек и переулков опять было что-то от кладбищенского смешения порядка с беспорядком, он невольно переносился мыслью то к той аллее Байкова кладбища, где под черной каменной плитой похоронен его отец — Всеволод Отава, а еще раньше на этом самом кладбище нашел свой вечный покой и дед Юрий, существовала неписаная традиция в семье Отавы — называть сыновей только славянскими именами,— это шло от их патриотизма. Но такой ли уж это признак патриотизма — непременно умирать в том же самом городе и быть похороненным на том же самом кладбище?

В свои сорок шесть лет профессор Отава был далек от мыслей о смерти. Теперь, здесь, в оккупированном и растерзанном Киеве, он мог быть откровенным. Не хотел умирать прежде всего потому, что у него был маленький сын, и он просто не мог себе представить, что бы делал его Борис без отца. Во-вторых (а может, именно это и было во-первых?), не хотел умирать просто ради самого себя. Потому что хотел жить! Прежде всего жить, а уж потом все остальное: его работа, его теории, его мечты. Когда его неизвестно почему схватили и бросили за колючую проволоку, он сначала считал, что это ошибка. Но потом понял, что все, кто с ним был, думают точно так же, и должен был, как человек мыслящий, признаться самому себе, что нет никакой ошибки,— есть жестокая закономерность войны. Другое дело, что сама война — ужаснейшая ошибка человечества, но не здесь и не теперь доказывать кому-то эту истину.

И, став жертвой стихийности, профессор Отава на долгое время сам поддался чувству неопределенности, он плавал в какой-то пустоте, из которой не видел выхода, с абсолютнейшим равнодушием встретил попытки немцев выудить его из лагеря для каких-то своих целей, и хотя это обещало, быть может, жизнь, хотя он мог таким образом уцелеть (предположительно, только предположительно!),— не откликнулся и даже мысленно дал себе обет, что если кто-нибудь выдаст его, то он не откроется фашистам, даже будучи распятым на кресте.

Быть может, именно поэтому первые два или три дня Гордей Отава абсолютно не слыхал, не различал ни единого слова из «лекций» Адальберта Шнурре. Он стоял где-то сбоку, смотрел мимо профессора Шнурре, смотрел на свой Киев, и на устах его вырисовывалось нечто похожее то ли на боль, то ли на улыбку от дорогого воспоминания, то ли на насмешку, адресованную человеку в эсэсовском мундире, человеку, который перед войной, еще совсем недавно, называл себя профессором и с непостижимым жаром ввязывался на страницах научных журналов в острые дискуссии по вопросам искусства.

Теперь его собственный научный спор, который он вел до войны с профессором Шнурре, казался Гордею Отаве совершенно чужим, ненужным, он стоял где-то сбоку мертвым упреком, спор стал словно бы живым существом, он обретал то вид грустной заплаканной женщины с беспомощно поднятыми руками, то становился странным двухголовым существом, будто древняя Горгона, и эти две головы пытались загрызть одна

другую, а рядом с этим овеществленным спором вставали с одной стороны вежливые и взаимно предупредительные профессора Отава и Шнурре, в средневековых мантиях, отороченных горностаем, будто у властелинов, а с другой стороны тоже Шнурре и Отава, но уже в нынешнем своем состоянии, уже как смертельные, яростные враги, один там, на возвышении, охраняемый силой и оружием, а другой внизу, брошенный в глубочайшие глубины, где жизнь граничит со смертью.

А когда-то все было так размеренно-корректно, так спокойно и неторопливо. Их статьи поочередно появлялись в журнале, выходившем один раз в квартал, то есть всего лишь четыре раза в год. Журнал, как большинство сугубо академических немецких изданий, рассчитанных на всеевропейскую аудиторию, имел название с непременным «фюр»: «Цейтшрифт фюр...»

Вот тебе и фюр... Спустить бы с тебя, гада, семь шкур!

Кто бы мог предвидеть, что дело обернется таким странным образом? Профессора Отаву даже упрекали в том, что его научные интересы сосредоточены на слишком отдаленных во времени проблемах. Кого это может интересовать — первые шаги христианского искусства?

Собственно, Отава и не стал бы встревать в спор с неизвестным марбургским профессором Шнурре. Но этот самый Адальберт Шнурре выступил в немецком журнале с небольшой статьей, в которой излагал «свою теорию» о характере живописи первобытных христиан в римских катакомбах.

Теория была весьма примитивной. Шнурре утверждал о первоначально близкой связи искусства катакомб с языческой живописью эпохи императоров. Камеры в катакомбах, мол, украшались точно так же, как и вообще тогда украшались живописью различные помещения (к примеру, в Помпеях, где это можно проследить наиболее отчетливо: стены разделялись линиями и обрамлениями на разные поля, а уже эти последние оживлялись мифологическими фигурками. С этими чисто языческими декоративными схемами переплетались христианские мотивы, многочисленные символы и намеки, молельщики Оранты и другие фигуры, а также маленькие библейские сценки по выбору, влияние на который оказывала литургия мертвых).

Взгляды эти были ошибочными, к тому же принадлежали они вовсе не профессору Шнурре, а немецкому ученому Виль-

перту, который еще в 1903 году издал в Фрейбурге прекрасные цветные таблицы «Живопись катакомб Рима» и тогда же высказал свои соображения об этой живописи, которые теперь повторял профессор Шнурре, повторял во всей ошибочности, однако «забыв» упомянуть при этом о подлинном авторе.

Свое письмо в редакцию журнала профессор Отава так и начал: «Еще Вильперт...»

И именно эта первая фраза в публикации затерялась. Редакция напечатала существенные возражения киевского профессора, а чтобы хоть как-то оправдать свой поступок в отношении первой фразы, в конце было дано примечание, что, вероятно, киевский коллега в своих исследованиях пользовался недостаточно выразительными материалами и не имел под рукой прекрасных таблиц Вильперта, а потому, мол, профессор Адальберт Шнурре любезно согласился подарить своему оппоненту экземпляр фрейбургской публикации, за что редакция приносит ему глубочайшую благодарность.

В самом деле, на киевский адрес Отавы пришла бандероль, в которой он нашел таблицы Вильперта и необыкновенно вежливое письмо от профессора Шнурре, извинявшегося за бестактность журнала и просившего принять этот искренний подарок от него как залог их творческой дружбы, эт це́тэра, эт це́тэра, эт це́тэра [1].

Пришлось поблагодарить Адальберта Шнурре, хотя, конечно, профессор Отава отметил, что таблицы Вильперта он имел в своем распоряжении и ранее, кроме того, в Москве есть чудеснейшие акварели Реймана, дающие намного лучшее представление о характере катакомбной живописи, чем публикация Вильперта. И быть может, именно благодаря этим акварелям он пришел к выводу о резком отличии между характером искусства катакомб и помпеянской стенописью.

Так произошло раздвоение спора, его расщепление на часть видимую, публикуемую и дальше в квартальнике, и невидимую, замкнувшуюся в переписке.

В журнале профессор Шнурре снова и снова утверждал о непрерывности развития искусства, категорически отбрасывал понятие «новое искусство» на том основании, что всякое так называемое «новое искусство» гнездится в старом, выходит из него большинством своих элементов, рождается в старом, как ребенок в материнском лоне. Так из греческого вышло искусство Рима, а уже последнее родило искусство христианское.

[1] Эт це́тэра — и прочее *(лат.)*.

С другой стороны, можно проследить весьма любопытное соответствие между расцветом искусства и расцветом государства. И если расцвет одного строя автоматически перечеркивает все достижения предыдущего, как было с греками, римлянами, а потом с христианскими императорами, то искусство, которое гармонически отображает величие власти, подчиняется существующей власти, выходит своими источниками из искусства власти отброшенной, уничтоженной. Это вечный парадокс искусства, и ученые должны примириться с ним.

Профессор Отава и в мыслях не допускал разделять взгляды своего марбургского коллеги. Да и почему? Разве расцвет греческого искусства не относится к началу политического упадка некогда могущественной Греции? Разве Платон, стремившийся сконструировать теорию идеального государства, не объявил художников «сверхкомплектными гражданами» и не добивался остракизма всех подлинно талантливых художников?

Где же тут гармония между властью и искусством, где соответствие их развития? Если взять греков и римлян, то при беглом взгляде в их искусстве вроде бы в самом деле прослеживается непрерывность развития. Но это только в отдельных элементах. Если же рассмотрим целое, то нетрудно заметить абсолютную несхожесть, даже кричащее противоречие. Если у греков — абсолютный разрыв между властью и искусством, то искусство императорского Рима почти целиком порождено властью. Оно черпало все свое вдохновение, величие и чванство во власти. Рим господствовал над миром, он стремился противопоставить греческому научно-эстетическому восприятию жизни другое, которое базировалось на власти, государственном авторитете и правовом порядке. Поэтому появляются такие сооружения, как термы Тита, пристройки Домициана к императорскому дворцу на Палатине, дом Флавиев — гигантские залы, целые комплексы невиданных сводчатых помещений. Искусство словно бы ощущало избыток скрытых сил, которые хотя и господствуют, но уже ведут к гибели. Отсюда какое-то неистовство материальной игры сил барокко — вплоть до разрушения старинных моментов равновесия. Рвутся все гармонические связи, пропорции вырастают до гигантских размеров. Взять хотя бы арки Траяна в Анконе и Тимгаде, сооруженные Адрианом городские ворота в Адалии, Диоклетианов дворец в Сплите, строения в Герате, Пальмире, храм в Баальбеке с его невиданно гигантскими колоннами и скульптурными рядами, где скульптуры расположены в два этажа. Нарушается

взаимодействие между архитектурными формами и окружающим простором, и, как полнейшее торжество этого разрыва, истолковываемого с почти примитивной ограниченностью, выдумывается триумфальная колонна, которая уже ничего не поддерживает, не имеет отношения к какому-либо сооружению, и даже не пронизывает пространство, как это мы видели на примере египетских обелисков, а призвана служить дифирамбической, пропагандистской идее.

И в то время как наверху утопал в роскоши и излишествах императорский Рим, внизу, в сухих каменистых подземельях, рождалось нечто новое, всемогущее, как эти фигуры орант с молитвенно поднятыми руками. Бойтесь поднятых в молитве рук! Рука поднятая — рука действующая, рано или поздно такая рука упадет вниз. А падающая десница если и не карающая, то непременно дерзкая, угрожающая.

Рождается искусство совершенно новое, непохожее на какое-либо из существовавших прежде.

Против тяжеленных идолов, гармонических героев и самодовольных, буйных в своей плотской силе богов здесь выступает бесплотная духовность, легкая окрыленность духа. Плоские, лишенные малейших намеков рельефности фигуры формируются, возникают из стен, будто тени или привидения, будто сконденсированные молитвы. Цель живописи — не давать глазам любоваться, роскошествовать, а призывать к молитве и поднимать души в ожидании предначертанного человечеству исцеления от грехов и страданий. Поэтому чрезвычайно ограниченное количество типов, почти отсутствуют подвижные, живые композиции, фигуры появляются перед нами в неподвижной фронтальности, господство шаблонов в изображении фигур, какая-то словно бы аббревиатура, художественный условный код. Что это? Обеднение существующего искусства? Бездарность катакомбовых художников? Но бездарности всегда пытаются копировать уже существующее. Следовательно, они должны были бы копировать античные образцы. Но ничего подобного. Они были совершенно оригинальными. Не похожими ни на кого. Было новое искусство. Ни примитивное, ни древневосточное, ни народно-обрядовое. Новое, революционизирующее, как всякое подлинное искусство. Самое же интересное заключалось вот в чем: оно не поддерживалось никем, прежде всего властями, ибо первобытные христиане вообще никакой власти не имели, были преследуемыми. Императоры для забавы в цирках велели бросать их на растерзание диким зверям. Диоклетиан скомандовал целому войску

выпустить стрелы в привязанного к столбу юного Себастьяна только за то, что он отважился сказать среди воинов слово в защиту новой веры.

Но ведь после Константина христианское искусство проявляет свои неоспоримые связи с античностью, возражал Отаве профессор Шнурре. Святые, как и в античном мире, спускаются на землю. Вседержитель — Пантократор восседает на троне, судит, издает законы подобно Зевсу, а также царю земному. Библейские сюжеты находят свое отражение в многофигурных композициях, очень напоминающих изображения подвигов античных героев.

Очевидно, это можно объяснить фактом завоевания власти христианской церковью, высказывал предположение Отава. А новая власть всегда пытается заимствовать у старой все проверенное, установившееся, непоколебимое. Иногда она этим и довольствуется, иногда пытается выработать свои собственные ценности. То же получилось и с христианством. Если в четвертом столетии в самом деле ощущалась весьма выразительная реакция классического искусства, то уже в пятом столетии наступает перелом, частичное возвращение к эпохе первобытных символов и чистой духовности. В мозаиках Равенны и миниатюрах кодекса Россано замыкается круг переоценки искусств, начавшийся в катакомбной живописи.

Дискуссия продолжалась, а одновременно продолжалась переписка между Марбургом и Киевом, профессор Шнурре спрашивал, не приходилось ли профессору Отаве бывать в Равенне и любоваться чудом Сан-Витале и Аполлинария Нового; Отава, с сожалением отмечая, что в Равенну выезжать ему еще не приходилось, спрашивал, имеет ли его коллега представление о неслыханных богатствах киевских соборов и церквей, о мозаиках и фресках Софии, Успенского собора, Михайловского монастыря. Ясное дело, профессор Адальберт Шнурре не имел никакого представления о том, что таится в золотом мраке киевских соборов, ибо все публикации, бывшие до сих пор,— это лишь жалкие крохи, просто ничто, и если коллега Отава будет столь любезен... Коллега Отава был столь любезен...

А теперь нет ничего. Нет Киева, а есть только накрытое безнадежно-серыми тучами огромное кладбище. И не Гордей Отава стоит в измученной шеренге, а сама его эманация, невыразительная мгла, и Шнурре тоже не было, а было пустое место на возвышении перед ним, и с этого пустого места до-

носились бессмысленные слова, в которых безнадежно было бы доискиваться смысла.

Это могло длиться до тех пор, пока профессору Шнурре надоест разглагольствовать, и он, ничего не добившись своими рефератами, просто махнул бы рукой, подавая знак на уничтожение неблагодарных слушателей, которые так и не сумели выделить из своей среды его дорогого коллегу профессора Отаву.

Но примерно на третий, а возможно, на пятый день после начала «лекций» профессора Шнурре Гордей Отава вдруг впервые внимательно вгляделся в тех людей, которые собираются по ту сторону проволоки, и, не веря собственным глазам, заметил среди старых и молодых женщин, среди детей и седых стариков высокого худощавого мальчишку в сером пальтишке и надвинутой до самых бровей кепке. Ничего нового в том факте, что к лагерю приходят люди, для Гордея Отавы не было. Шли с первого дня, шли, несмотря на угрозу быть схваченными, брошенными за проволоку, шли в надежде увидеть кого-то родного или знакомого, найти дорогие глаза, посмотреть в них, шли с узелками и пакетиками, сами голодные, пытались перебросить через проволоку хотя бы отваренную картошину или краюху хлеба, такого теперь неожиданно редкостного в Киеве и на Украине. За проволокой люди стояли ежедневно, стояли с самого утра и допоздна, их не пугали угрозы охраны, их не могли отогнать выстрелы, им непременно нужно было найти, и никто не имел силы воспрепятствовать им в их великом, чаще всего безнадежном деле.

И уж кто должен был найти, тот находил, а ненайденные смотрели на них, на тех, кто уже не мог найти, между ними устанавливалось странное сосуществование, какая-то параллельная экзистенция, и те и другие были невольниками, хотя одни были брошены за колючую проволоку, а другие пришли к ней добровольно и стояли там без принуждения, словно своеобразное отражение заключенных.

Но ведь этот мальчик в кепке и в сером пальтишке — это был сын Гордея Отавы, Борис, Борисик, Боря!

И как только профессор Отава увидел по ту сторону колючей проволоки своего сына, как только убедился, что это в самом деле он, как только заметил, что Борис немигающими глазами всматривается в своего отца, всматривается внимательно и укоризненно, так, будто спрашивает, почему все это случилось, почему он не смог вывезти его из Киева, почему сам очутился здесь, а главное — почему молча терпит эту несусвет-

ную болтовню эсэсовского офицера, который искажает все мысли профессора Отавы, присваивает его взгляды,— тогда он, Отава, решительно шагнул вперед из извилистой немертвой шеренги и, обращаясь к своим товарищам, тут и там, за проволокой, а прежде всего адресуясь к сыну Борису, громко воскликнул:

— Вранье! Все он врет!

А уже потом, видимо поддавшись привычной для научных дискуссий сдержанности, уже более спокойно повторил:

— Все, что он здесь говорил,— кивнул Отава в сторону профессора Шнурре,— неправда.

Так произошло саморазоблачение профессора Гордея Отавы.



Год
1004
ВЕСНА. КИЕВ

> И придохом же в Греки, и ведоша ны, идеже служать Богу своему, и не свеми, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого вида, ли красоты такоя, и недоумеем бо сказати... Мы убо не можем забыти красоты тоя...
>
> *Летопись Нестора*

Около пристани на Почайне толкался гулящий киевский люд, под надзором хозяев разгружались купеческие лодьи, лениво покрикивали маленькие радимичи, пригнавшие для продажи огромное множество самодельных челнов; выше, по склону горы, дымились кузницы, в больших закопченных котлах плавили олово и свинец для крыш; по узвозу в город тащили длинные бревна и каменные глыбы, повсюду шаталась детвора, степенно проходили жены, одетые по киевской моде, так, чтобы все было закрыто и спрятано, даже лицо белело одной лишь полоской, где глаза; иногда проезжал всадник из княжьей дружины, сверкая оружием, угрожающе оттопыривая вперед бороду, отращенную на греческий манер. Перевозчик сразу заметил, что хлопцы впервые попадают в Киев, потому что слишком уж любопытно посматривают туда и сюда и, кроме того, имеют очень странный вид — с ног до головы завернуты в звериные шкуры, сами тоже ощетинившиеся, будто дики[1] из пущи, у одного через плечо лук и два пучка черных

[1] Дик — дикий кабан, вепрь.

коротких стрел, у другого — тяжеленная суковатая палка, а на шее на крепкой бечевке висит медвежий зуб, искусно вправленный в золото. Прищурив глаз, перевозчик заломил с пришельцев такое, что и самому стало страшно, однако они, видимо, не знали киевских порядков, ибо тот, с медвежьим зубом на шее, молча сунул руку в кожаный мешок, швырнул оттуда прямо под ноги перевозчику дорогую шкуру, и оба, не оглядываясь, быстро зашагали вверх — в город.

Они шли по песчаной разъезженной дороге, головы у обоих были задраны вверх и глаза прикованы к тому диву, которое висело в небе, будто цветное облако. На самой вершине круглой горы, серебристой от песка внизу и ласково-зеленой по боковым склонам, недоступно возвышались дубовые клети, заваленные черной землей, а за валом белели чистым строганым деревом просторные строения, чуть-чуть выглядывая из-за прикрытия, зато другие строения, выложенные из серого, как соколиное крыло, и из розового, будто улыбка, камня, врезались в самое небо и тоже, как вся гора, поражали круглыми странными крышами, над которыми Сивоок сразу же заметил кресты и схватил своего товарища за руку:

— Посмотри.

— Э,— сказал Лучук, словно бы он уже в десятый раз идет в Киев,— еще и не то увидим...

Оба остановились и долго смотрели на розовую каменную громаду, висевшую между небом и круглой горой. Солнце выкатилось из-за облака, за которым до этого скрывалось, ослепительно ударило в розовый летучий камень, сверкнуло горячим огнем с круглых верхушек, где перед этим хищно чернели костистые кресты. Кресты горели багровым цветом, они словно бы парили в голубом небе, плыли в медленном золотом игрище, они жили отдельно от дивного города, от серебристо-зеленой горы, от Днепра, от всех тех, кто суетился возле пристаней, кто барахтался в теплой воде, кто поднимался вверх по узвозу или спускался по нему вниз.

— Столько золота,— прошептал Лучук.

Сивоок на миг перевел взгляд на солнце и, ослепленный, снова посмотрел на кресты, но теперь они, как и до этого, показались ему такими зловеще черными, что он невольно вздрогнул.

Мимо них покатился возок с товарами кого-то из гостей, погонщик изо всех сил покрикивал на коней, потому что поклажа была тяжелой, аж трещало. Потом прошел человек, спря-

танный под огромной связкой хворосту, видны были только его ноги, для равновесия расставлявшиеся широко и твердо, человек шел неторопливо, вязанка покачивалась в такт его шагам, так, будто этот человек приглашал хлопцев: «А ну-ка пошли, чего остановились?»

И они пошли следом за ним. Узвоз ближе к вершине становился все круче и круче, потому был вымощен здесь деревянными кругляками, купеческий воз впереди тяжело загрохотал на деревянном помосте, напрягались, наверное чуть ли не из последних сил, купец и его служка, подставляя плечи под ручицы, яростно покрикивали, поворачивали умоляющие красные лица назад, к хлопцам, к человеку с вязанкой хворосту, к кому угодно, лишь бы только помогли одолеть крутой подъем, но хлопцы не знали здешних обычаев и не решались бежать на помощь, а человек с вязанкой хворосту шел, как и прежде, медленно, как и прежде, широко расставлял для равновесия ноги, как и прежде, покачивалась в такт его шагам вязанка, и, оставаясь невидимым, человек этот обращался то ли к купцу, то ли к хлопцам, то ли просто вслух высказывал свое мнение: «А не накладывай столько, не будь жадюгой! Хочешь все товары втиснуть в один воз, чтобы дать меньше мыта за проезд в наш Киев, а там будешь драть с людей три шкуры? Вот и надрывайся тут, на узвозе! Будешь знать, как ехать в Киев! Будешь знать!»

Город нависал над ними мощным валом, подпираемым дубовыми городнями[1], белые деревянные строения еле виднелись из-за вала, зато каменные здания с крестами и без крестов еще словно бы приблизились, еще сильнее врезывались в небо, а сбоку виднелись еще странные деревянные церкви, тоже с крестами над круглыми крышами. Сивоок уже и не рад был, что послушал Лучука. Зачем им Киев? Жили себе у добрых людей поднепровских, помогали им перетаскивать купеческие лодьи через пороги, сторожили, ходили на охоту в боры, тщательно избегая встреч с княжьими ловчими. Там господствовал еще прадедовский добрый обычай давать приют каждому, кто появлялся; на Днепре собиралось огромное множество всяких людей, смелых и честных, а главное, таких, которые, будучи вольными сами, умели уважать чужую волю, каждый здесь молился своим богам. Были там и пески и дебри, не было, правда, такого большого и дивного города, но не было и кре-

[1] **Городня** — срубы, засыпанные землей или каменьями, для ограды.

стов вон тех, которые переливаются то золотом, то чернотой, от которой сердце стынет. А он никогда не забудет деда Родима, погибшего под крестом.

— Попал бы хоть в один крест? — спросил Сивоок Лучука с нарочитой храбростью.

— Не долетит стрела,— небрежно ответил тот.

Купеческий воз уже проезжал первые ворота. Сколоченные из толстенных бревен, невесть какой силой открываемые и закрываемые, они тяжело висели в проруби вала, словно подстерегая тех, кто пройдет сквозь них, чтобы сразу с оглушительным скрипом закрыться и навеки отрезать путь к воле, как это было когда-то с Сивооком у Ситника.

Но ворота спокойно висели, не закрываясь, воз прокатился дальше, уже и человек с покачивающейся вязанкой хворосту на спине оказался между высокими дубовыми клетями, и только тогда хлопцы заметили, что по ту сторону ворот стоит стража. Два бородатых великана в толстых мисюрках [1] на головах, увешанные толстыми досками, предназначенными для защиты спины и груди, стояли, опираясь на длинные копья, и, как казалось хлопцам, смотрели именно на них, равнодушно пропуская мимо себя и купеческий воз, и человека с вязанкой хворосту. Впечатление было таким неотступным, что Лучук непроизвольно подвинул свой лук дальше за спину, чтобы он не бросался в глаза, а Сивоок перебросил свою тяжелую палку из правой руки в левую, но вовремя смекнул, что это ничего не изменяет в его положении, потому что левый дружинник смотрел на него так же пристально, как и правый, а в случае чего правой рукой махнуть будет сподручнее, потому он снова взял палку в правую руку.

Человек с вязанкой хворосту уже миновал стражу, а хлопцы двигались ни живые ни мертвые,— давно уже они не ощущали себя такими еще совсем маленькими, как здесь, перед мрачными бородачами, давно уже не попадали в собственноручно расставленные сети, как вот теперь. Шли, и каждый мысленно молился своему богу, хотя и не был уверен, что его маленький добрый лесной или водяной бог может тягаться с хищным и твердым богом, который попротыкал все небо над Киевом крестообразными знаками своей силы.

Однако сторожа, затиснутые между деревянными досками у ворот, продолжали и дальше смотреть вниз за ворота, хотя

[1] Мисюрка — шлем, железная шапка с кольчатой сеткой, которая накладывалась на лицо, шею и плечи.

хлопцы уже проходили мимо них,— кажется, они и не заметили двух пришельцев, одетых в шкуры.

А хлопцев от испуга бросило в новое недоумение. Потому что сразу за валом города, оказывается, и не было; чтобы попасть в город, им нужно было пройти еще через деревянный мост, тоже охраняемый стражей, а здесь, на детинце, стояло несколько крепких больших хижин, между которыми бродили точно такие же, как у ворот, бородачи, кое-кто из них сидел на солнышке, другие играли между собой, стреляли из лука, размахивали мечами, разрубая воображаемых противников.

Сивоок и Лучук поскорее помчались следом за человеком с вязанкой хворосту, что тоже, видно, не намеревался задерживаться тут, среди вооруженных, изнывающих от безделья лежней, которым ничего не стоило проткнуть человека копьем или зарубить мечом, лишь бы только хоть малость развлечься.

В самый Киев вели еще одни ворота, окованные железом, черные, будто кажаньи крылья, какие-то нависающие, так что, наверное, закрывались они сами собой, как только отцепляли цепи, державшие их, а за воротами через глубоченный отвесный обрыв пролегал деревянный мост. Купеческая телега уже погромыхивала колесами на том конце моста, там какие-то ловкачи метали с купца раз и два на мыто. А на этом конце моста, прямо под черными крыльями ворот, стояло еще двое сторожей, но уже не такие, как те, что у деревянных ворот, а закованные в железо, в крепких кольчугах, в острых шишаках, с булатными бутурлыками, закрывавшими руку от кисти до самого локтя, а оружие у них было такое: у одного — широкий обоюдоострый меч, похожий на тот, какой был когда-то у деда Родима, только короче и, наверное, легче, а у другого — острый шестопер, увесистый, с украшенной рукояткой.

Эти стояли не сонные, а истосковавшиеся, не замечали никого, не смотрели ни на кого, но, когда хлопцам уже казалось, что они незамеченными прошмыгнули мимо разукрашенных железом болванов, тот, что с шестопером, топнул ногой так, что мост загудел, рявкнул:

— Почто не креститесь?

Хлопцы остановились как вкопанные. Бежать вперед все равно было бесполезно, потому что разве найдешь спасение в таком огромном городе, поднявшемся над дебрями и пущами, возвращаться назад тоже не выходило, ибо там было еще хуже: полное дворище вооруженных лежней.

— Кто такие? — сурово спросил тот, что с мечом.

— Мы суть...— Лучук хотел вырваться первым с ответом, но не знал, что говорить, затыкался, его выручил Сивоок.

— С гостем прибыли,— сказал он спокойно,— проехал он на торг.

— Ишь ты, сопляки, уже с гостем,— незлобиво промолвил тот, что с шестопером.— Ваш гость разве поганин[1], что не креститесь?

— Не умеем,— мрачно сказал Сивоок,— имеем своих богов.

— Покажу тебе,— подошел дружинник к нему и схватил за правую руку, чтобы поднять ее для сотворения крестного знамения.

Но руку Сивоока тянула вниз тяжелая дубовая палица, так что дружинник с трудом мог приподнять ее вверх.

Забыв и о крещении, он ухватился теперь за палицу, попытался выдернуть ее из руки Сивоока и даже крякнул от натуги.

— Чудной силы отрок,— сказал он и оттолкнул Сивоока: — Иди себе, поганин!

Лучук, вобрав голову в плечи, проскользнул за спиной Сивоока, шепнул, сдерживая нервный смех:

— Знал бы этот олух, как стреляю. Попал бы ему сквозь глазок его кольчуги прямо в пуп! Гы-гы!

— Заткнись! — сурово сказал Сивоок, потому что они входили уже в Киев.

Если же говорить правду, то не они вступали в Киев, а Киев наступал на них, спускался со своих холмов, ошеломлял, приводил в изумление. Их удивляло, как могло вместиться на таком скупом лоскуте земли столько строений, столько люда, столько движения, гомона, клокотания. Кто-то куда-то шел, торопился, а кто и просто стоял, созерцая божий свет; скрипели возы, ржали кони на торжище, звонко сплескивалась в глубокие колодцы вода из переполненных ведер, пахло стружкой и дымом, тюкали топоры, мудрили над камнем зиждители, повсюду толпился люд торгующий, строящий, гулящий, работящий,— вот чем окружал Киев своих пришельцев.

Сивоок продвигался вперед, будто лунатик, не чувствуя мощенной деревянными кругляками улицы под ногами, не видя ни просторных дворов с белыми деревянными строениями, ни больших и маленьких церквей, тыкавших ломаными пальцами своих крестов в необозримые просторы весеннего неба, ни кня-

[1] Поганин — язычник.

жеского каменного терема, который стоял у самого края Киевской горы, будто желая поймать своими замысловатыми окошками все ветры с Десны и Днепра,— перед глазами у хлопца, застилая весь свет, стояло только одно: каменные громады, розово-серые, широкие и стройные одновременно, необозримые в своей огромности, так, будто собрали они в себе весь камень Русской земли, а одновременно воздушно-легкие, словно озаренное солнцем облако. Некогда острые камни слеглись здесь заглаженно, кое-где они внезапно расступились, создавая причудливые оконца-просветы, а то изгибались мощными луками, похожими на вечно застывшие волны, поднятые над землей дивными силами. И над этим примиренным, летучим, словно пение, камнем кругло возвышались четыре меньших и пятая самая большая и высокая очаровательные шапки-крыши, а на каждой из них плавал в золотом озере неба похожий на цветок крест, и все пять крестов заплетались в движущийся круг сияния, и не было в них ни корявости, ни черноты, ни испуга.

Так, бредя во внезапной своей ослепленности, Сивоок натолкнулся на какого-то человека и остановился, со смущенной улыбкой проводя по глазам ладонью.

— Бесноватый еси? — закричал человек, и только тогда Сивоок возвратился на твердую землю и увидел возле себя светловолосого бородатого мужчину в расстегнутом на груди корзне и расхристанной, так что видна была потная, поросшая светлыми волосами грудь, сорочке, в откуда-то знакомых истрепанных портах и изношенных лаптях, тоже почему-то словно бы знакомых. Тогда он посмотрел еще и увидел вязанку хворосту, лежавшую у ног мужчины. Это был тот самый человек, следом за которым они шли в город. Остановился передохнуть.

— Хотели на вас крест положить? — оживленно подергивая бородой вверх, спросил мужчина.

— А ты что, видел? — полюбопытствовал Лучук.

— Почему бы должен был не видеть?

— Как же?

— А вот так.— Мужчина быстро согнулся, снова заняв положение, как с хворостом на спине, и посмотрел на хлопцев снизу, сквозь широко расставленные ноги. Лицо его налилось кровью, глаза помутнели.

— Головами по небу ходите,— закричал, не изменяя положения, человек,— а на ногах у вас земля!

— Зачем такое вытворяешь? — засмеялся Лучук.

— А любо мне так,— человек выпрямился, снова подергал

бородой.— Много люда плывет в Киев, все его видят одинаково, а никто — как я!

Сивоок, казалось, совсем равнодушно воспринял причуды и разглагольствования нового знакомого. Был озабочен другим.

— Что это? — спросил глухо, указывая одними глазами на огромное каменное сооружение, поразившее его безмерно.

— Это? — человек даже не посмотрел туда.— Церковь Богородицы.

— А что это — богородица? — вмешался Лучук.

— Та, что родила бога. Звали ее дева Мария. Но она не выше бога, потому как бог самый высший и всемогущий, ему поклоняемся. А богородица — только церкви. И в Корсуне, где наш князь Владимир крестился, церковь Богородицы, и в самом Царьграде, и всюду — самые большие. А ставили их гречины, наш люд таскал камень из земли Древлянской, а мастера греческие зиждили и изнутри украсили иконами, крестами, сосудами, взятыми князем Владимиром из Корсуня, а еще красотой невыразимой.

— Да ты все тут знаешь! — воскликнул Лучук.— А почто хворост тянешь в город? Разве тут дерева мало?

— Дурень еси,— незлобиво засмеялся человек,— не видел, что несу. А несу деду Киптилому хворостища отборные из сорока кустов по сорок прутьев, есть прут зеленый, а есть серый, а тот красный, и белый, и желтый есть, и есть такой, как змея, а есть в чешуе, будто рыба, и древесина в одном хрупкая, а в другом маслянистая, а в третьем каменная, а в четвертом... И дым не одинаковый от каждого, и запах тоже неодинаковый... А дед Киптилый делает копченья для самого князя и для бояр да воевод и мне, грешному, как принесу ему хворостища, поднесет копченья, а я себе пойду на торг да возьму пива и меду.

— Почему же сам не коптишь мясо, ежели знаешь все хитрости? — допытывался Лучук, у которого вмиг засверкали глаза, он уже представил себе совместную работу с этим человеком, готов был поставлять ему дичь, а тот лишь бы только коптил ее на своих сорока дымах...

— А еще нужно сорок трав сухих, а у них неодинаковые стебли и цветы, а у одних смола свежая и пахучая, а у других темная, а у третьих только божий дух,— кичился он своей умудренностью перед диковатыми пришельцами,— и пахнет тогда копчение так, что слышно и за пять бросков стрелы.

— Спрашиваем, почему же сам не коптишь? — встрял в их разговор и Сивоок, не отрывая тем временем взгляда от церкви Богородицы.

— А неохота,— блаженно вздохнул человек.— Так я себе потихоньку собрал хворостища да принес его в город, а по дороге насмотрелся, как люди ходят головами по небу, а ногами увязают в тяжелой земле, да потом отдам деду Киптилому хворостища да получу кусок копченки и пью пиво и мед целый день на торгу, аж пока свет пойдет кругом, кругом, кругом, и уже не отличишь, где земля, а где небо, где город, а где пуща, где церковь, а где идолы... А ну-ка поддай! — внезапно толкнул он в плечо Сивоока.— Понесу, потому как пора уже. Пошли к деду Киптилому, будет и вам по куску копченки, а что такой не отведаете нигде, как в Киеве, то уж поверьте мне на слово!

— Нет, мы вон туда,— поддавая ему вязанку, сказал Сивоок,— церковь посмотрим, ибо никогда такого не видели. Дивная еси очень.

— Не увидите такого нигде,— согласился человек, посматривая на хлопцев сквозь отверстие между своими широко расставленными ногами в изорванных портах и изношенных до основания лаптях.— А я на торгу буду.

Он побрел в сторону между двумя дворами, меся желтую глинистую грязь, а хлопцы очутились в бешеном водовороте Бабьего торжка, где Лучук сразу же разинул рот и готов был на каждом шагу застывать от удивления, но Сивоок упорно тащил его туда, где над высокой деревянной оградой мощно изгибались каменные луки невиданной церкви. Правда, и он не мог удержаться от искушения и остановился, чтобы посмотреть на чудных медных коней, что мчались из-за ограды, от самой церковной стены, огромные, взвихренные, дико прекрасные кони, эапряженные в легкую колесницу на двух высоченных колесах; на узкой перекладине колесницы стоял могучий голый, тоже медный человек с венчиком круглых лепестков вокруг чела, а рядом, стараясь достать руками повозки, бежал еще один медный и голый, но с измученным, перекошенным от изнеможения лицом, и все мускулы на его теле были напряжены до предела, в то время как у того, что стоял на колеснице, тело мягко округлялось выпуклостями, сверкало от спокойной красоты.

«Бог и служка, а может, князь и раб?» — подумал Сивоок, которому стало чуточку жутко от широкогрудых медных коней, что, казалось, летели прямо на хлопцев, чтобы потоптать этих

малых, незваных пришельцев в самый великий город княжеской славы и силы.

А вдоль ограды, выплывая из-за розовой громады церкви, сладко растекаясь в тугом воздухе, понеслось густое «бом-м!», и к нему присоединился звон более высокого голоса, с серебристым оттенком,— «дзинь», и уже они слились воедино и полетели над Киевом весело и неудержимо, торжественно, напевно: «Бом-дзинь! Бом-дзинь!», и ударились о медных коней и медных идолов, и еще сильнее зазвучали медью, еще яснее и призывнее, и тогда Сивоок побежал вдоль ограды, не выпуская руки Лучука, потому что хотелось ему как можно скорее очутиться там, откуда доносился звон, где рождались эти дивные звуки, от которых церковь, казалось, подымется сейчас с земли и тихо понесется в голубую безвестность.

Они добежали до ворот с высокими деревянными столбами, в ворота валом валили люди, никто не охранял этого входа, хотя, казалось бы, вот где именно нужно ставить самую зоркую стражу, а над воротами, между высокими столбами, на массивных четырехугольных брусьях, спрятанные от непогоды под деревянным, красиво вырезанным навесом, тихо покачивались два колокола из темной меди, один больший, другой чуточку меньший, смотрели вниз на людей широкими раструбами, в которых колотились тяжелые железные языки, колотились словно бы сами собой, никто не замечал тонких белых веревок, тянувшихся от языков куда-то вниз, никто не думал о том, что кто-то там где-то подергивает за эти веревки, слишком торжественным и необычным было все, что творилось высоко вверху: тихое покачивание сверкающей меди, голубой покой неба, темное метание неистовых языков и сладкие голоса самозвонных колоколов.

Люди снимали шапки, Сивоок и Лучук сделали то же самое, спрятав шапки в мехи. Все крестились, тыкая сложенными кончиками трех пальцев правой руки в лоб, в живот, в правое и левое плечо, но хлопцы не умели это делать, да и не ведали, зачем это делается. За воротами, на ровной, как стол, площади, стояла церковь Богородицы. Хотя церковь была совсем близко и ничто ее не закрывало, она не казалась теперь такой великой, как прежде, легко охватывалась взором, было в ней так много игрушечного, что невольно думалось: протяни руку — и поднимешь все каменное сооружение на ладони. Может, они, вместо того чтобы приблизиться к церкви, все время отдалялись от нее и теперь она только брезжит перед ними? Войдя в ворота, Сивоок совершенно непроизвольно начал считать

шаги, нарочно ставя ноги как можно шире. Насчитал сорок, церковь все так же стояла открытая для глаз со всех сторон, сохраняла свою легкость и разукрашенность, он считал дальше, уже снова дошел до двадцати, и только тогда церковь словно бы взметнулась вверх и заструилась до самого неба, так что сразу нужно было задирать голову, чтобы увидеть самый высокий крест на ней, а там расскочилась она и в стороны, разметалась каменными крыльями шире, шире, шире, и, когда он дошел в счете еще раз до сорока, были они уже у входа в это чудо.

Двери были высокие и широкие, резной камень украшал их с боков и сверху, Сивоок засмотрелся на хитрую резьбу и не видел калек и нищих, обступивших вход, не видел протянутых умоляющих ладоней, обращенных к нему, не видел перекошенных страданием лиц, слепых глаз, кровоточащих ран, зловещих язв, не видел грязных лохмотьев, сквозь которые светились ребра, не слышал смрада. Зато Лучук все видел и слышал, вертелся среди попрошаек и калек, ему было жаль их, и одновременно он был зол на них, потому что когда-то сам гнил в таком рубище, сам был еще изможденнее этих ходячих костяков, сам готов был протягивать руку. Но ведь вырвался на волю! А кто их привязал здесь, возле этих высоких дверей? Или тут такой уж мед и такое блаженство?

В церковь Лучука не пустили. Уже у самых дверей чья-то цепкая рука потащила его назад, а в оба уха сразу злобно зашипели сквозь зубы:

— Куда, поганец, в святой храм оружный?

Сивоок, видно, спрятал свою палку под корзно, потому что его никто не задержал, и он, переступив высокий каменный порог, нашел там совершенно новый для себя нежданный-негаданный мир. Пахучий дым, сизый, как соколиное крыло, окутывал его со всех сторон, золотое мигание свечей звало куда-то в неизведанные глубины, высокие стены вишнево расступались шире и шире, безбрежно расступались в сизо-вишневом мраке, открывая то хмурые лики неведомых богов, то туго заплетенные узоры желтого, белого, ярко-лазурного цвета, оставляя в самой середине высокие столбы из дорогого камня, за которыми в звездных россыпях пылающих свечей и в голубом мерцающем свете, струившемся сквозь окна-прозоры, протягивала к Сивооку своего младенца матерь божья, вся в поющих красках, вся в блеске и сиянии.

Все вокруг звенело, звучало, пело. Вишнево раздвигались в сизую необозримость высокие стены. На неисчислимых лу-

чах мерцающих свечей к глазам хлопца плыли поющие краски матери, которая родила некогда бога, и он тоже поплыл вместе с ними и вдруг вырвался из этого мира самозвонных колоколов, кадильного дыма, невидимого пения и хитрых рисунков и очутился в днях своего детства, озаренного багровым огнем Родимова горна, украшенного красками, выплывавшими из пальцев деда Родима и ложившимися не на глиняные сосуды, не на добрых и веселых скудельных богов, создаваемых стариком, а на детскую душу и в детское сердце.

Словно бы незримая сила подняла его над всеми людьми, наполняющими просторы храма, над облаченными в золотые одежды священниками, над пением и проповедями в честь бога, который, явив хлопцу когда-то свою жестокость, теперь поражал благолепием, над словами, промолвленными и затаенными; он не знал, где он и кто он, забыл обо всем на свете, ему хотелось плакать, как давно когда-то на темном шляху, но плакать уже не от страха и безнадежности, а от восторга перед тем буйно-дивным миром красок, который он носил в себе, но не знал об этом, а открыл только ныне, только здесь, в сизо-вишневых безбрежностях поющего, сверкающего храма.

Пятясь, он вышел из церкви, закрыв глаза от яркости голубого киевского дня, не хотел терять найденных богатств, крепко прижимал скрещенные руки к груди, так, будто там собрались у него все краски, щедро подаренные когда-то малышу дедом Родимом и выхваченные теперь Сивооком из вишневого святилища, собранные между мигающими огоньками свечей, сумрачным свечением глаз святых, тугими узорами стен и столбов, буйным кипением звуков, в которых переплетались велеречивые молитвы, самозвонные колокола и напевный гомон всего окружающего.

— Палку свою прижимаешь? — крикнул Лучук Сивооку, тормоша товарища за плечо, потому что тот никак не мог прийти в себя: выйдя из церкви, он остановился среди калек и нищих и не выражал видимой охоты заговорить первым.

Сивоок не похвалился тем, что увидел. Молча стоял, охваченный восторгом, жил в мире детства и чувствовал, что только там настоящая его жизнь. И снова до боли хотелось плакать, но вокруг сверкал день, его окружали люди, присутствие которых он ощущал, хотя еще и не различал их толком; два жестоких года странствий с Лучуком приучили его к умению скрывать свои чувства от посторонних глаз, держать себя в руках; для своих четырнадцати или пятнадцати лет он выглядел намного мужественнее, а только в душе оставался

ребенком, его сердце было пронизано красками, но никто этого не должен знать, все равно ведь никто не поймет и не поверит.

— Мне сказали: оружным не велено,— продолжал Лучук с видимой обидой в голосе.

И лишь теперь Сивоок наконец начал возвращаться на землю, отчетливо увидел калек и нищих, юродивых и бесноватых, увидел обиженное личико своего товарища, ему жаль стало Лучука, захотелось, чтобы и тот ощутил то же самое, что ощутил он сам; Сивоок заговорщицки отвел побратима чуточку в сторону, дальше от гама и сутолоки, предложил:

— Дай подержу лук и стрелы, а ты пойди посмотри.

— Не хочу,— ответил Лучук.

— Правда, посмотри,— настаивал Сивоок,— диво великое там. Нигде на свете такого не узришь.

— Э, да брось ты свою церковь! — отворачиваясь от входа, который издалека еще больше привлекал своей таинственностью, закричал Лучук.— Пошли лучше на торг!

— Если б же и ты побывал там внутри,— мечтательно промолвил Сивоок.

— Хватит и одного из нас! — уперся Лучук.— А мне хочется на торг. Есть хочу и пить. А ежели хочешь, то еще раз пойди в церковь, а я подержу твою дубину, чтоб не носил ее под корзном. Тяжела же она, ей-же-ей!

Сивоок молча пошел к воротам, над которыми вызванивали медные колокола. От разговора сам раскачивался, подобно колоколам, боялся, что вместе с пустыми словами вытряхнется у него из сердца все то, что так нежданно-негаданно вошло в него, поэтому без лишних слов удовлетворял желание Лучука; они прошли под колоколами, возвышавшимися над воротами, по протоптанной бесчисленным множеством ног тропинке пробрались вдоль ограды к тому месту, где летели изза нее медные кони, и свернули на главный киевский — Бабий торжок.

Давка, крик, конское ржание, скрипение возов, выкрики вооруженных всадников, клекот разных голосов и разных языков, гоготанье и кудахтанье птицы, визжание свиней, звяканье и бренчание, цоканье и бормотание, брань и свист, топот и визг, пение и гусельное гудение, запахи скоры и меда, заморские ароматы и дурманящий дух жареного мяса, неистовая пестрота земли, вод и дебрей, проклятья и лесть, угрозы и мольбы, хвастовство и уныние, а над всем — вранье, обман, плутовство, на тебе, боже, что мне негоже, ежели не я тебя, то

ты меня... Но хлопцы были еще слишком неопытны, слишком мало еще они терлись среди хитрого городского люда, чтобы постичь все многообразие торга и проникнуть в его глубочайшие основы. Их закрутило, завертело, их схватило неудержимыми течениями, они тоже разевали рты, таращили глаза, щупали пальцами, нюхали, пробовали, отведывали, торговались, их тоже толкали, дергали, туряли, приглашали и прогоняли, и они чувствовали себя то властителями, готовыми купить все, что видят глаза, то несчастными лесовиками, которым никто не уступит хотя бы кусок хлеба. Они слышали о киевском торге, еще и не будучи здесь, были приготовлены ко всему, но не к такому. Они то задыхались от невыносимой давки, от испарений мокрой грязной одежды, от сладковатого запаха вспотевших тел, то им вдруг хотелось еще глубже проникнуть в дикий людской водоворот, и они бросались туда стремглав, как в воду, и затем с трудом выбирались на волю, отфыркиваясь и встряхивая головой. Их носило по торгу туда и сюда, крест-накрест, и в бурной неразберихе кружило так, что невозможно было разобраться, где одесную, а где ошуюю[1], и так в неистовом блуждании очутились они возле возков, накрытых потемневшими от непогоды будками, и возов открытых, старых и еще совсем новых, возле которых хлопотали шустрые медовары и пивовары, вынимали затычки из новых и новых бочек, подставляли ковши и чаши под тугие струи напитков, подносили питье толпившимся вокруг торговым людям, умело прятали плату в прочные кожаные мехи или в замысловатые деревянные сундуки под собой, а вокруг чернели открытые рты, посверкивали белые зубы, макались в густые меды черные, рыжие и русые бороды и усы, текло по бородам, попадало в рты и не попадало в рты, и свет тут шел в круговорот, свет тут был веселый, беззаботный, добрый и щедрый.

— А ну-ка! — крикнул кто-то хлопцам, как только их затянуло в веселый круг.— Меду или пива?

Они и опомниться не успели, как очутились рядом с дровосеком, который держал обеими руками огромный деревянный ковш, наполненный зеленоватым густым напитком, плавал в нем усами и бородой, пускал пузыри, отрывался на миг, чтобы крикнуть что-то веселое и глуповатое, снова приникал к ковшу.

---

[1] Старославянизмы: одесную — справа, ошуюю — слева. Соответственно назывались руки: десница — правая, шуйца — левая.

— Пива дай отрокам! — велел он кому-то возле бочек, и тот «кто-то» мигом сунул обоим в руки по изрядной кружке просяного пива, а дровосек одной рукой развернул свой мех, показал кусок копченки, надломленную буханку хлеба, подмигнул: берите, мол. Лучуку не нужно было повторять приглашения, он вынул нож, отрезал два куска копченки, один дал Сивооку, а в другой мигом вцепился зубами, потом отпил большой глоток пива, засмеялся, крутнулся от удовольствия:

— А вкуснота-то какая!

Сивоок молча ел мясо, осторожно попивал из кружки. Вновь перед глазами у него встала церковь Богородицы, он снова был среди вишневого мрака, в свечении красок его родной земли, его неомраченного детства.

— Где были? — кричал дровосек, хотя стоял рядом.

— В церкви,— пробормотал Лучук.— Сивоок все видел. И медных коней с двумя идолами голыми видел. И колокола. Скажи, Сивоок.

Сивоок молча жевал мясо.

— Не было здесь ничего,— ближе придвинулся к ним дровосек. Он вытер усы и бороду, лицо его снова обрело хитрое выражение, как тогда, у ворот; веселое опьянение начисто исчезло.— Когда я был таким малым, как вы, а может, немного большим или меньшим, кто же знает, какие вы есть, так не было в Киеве церквей, а на том бугре, где теперь деревянная церковь Василия святого (потому как князь Владимир, приняв крест, взял себе имя Василий, как у ромейского императора), то там когда-то стояли наши боги. Перун, целый из бревна, привезенного из дубравы приднепровской, а голова у него серебряная, а ус золотой, и еще были Хорс, Даждбог, Стрибог, и Симаргл, и Мокош. Поклонялись им киевляне, плясание и пение творили, зело несли к богам, яства и пития вельми и справляли праздники великие на бугре возле богов, тогда было великое чревоугодие, и может, и наши боги наедались и напивались еще больше, чем мы, потому как веселые это были боги, а что уж мудрые — и говорить не приходится! Ну, а в какое-то там лето пошел князь Владимир на ятвигов, и побил их, и пришел с дружиной в Киев, и было великое веселье и поклонение богам нашим, и люду сошлось видимо-невидимо, и все были такие, как вот я теперь и вы. А мне было, почитай, столько, как вам, лет, а может, меньше, а то и больше, потому как и вы, вишь, один мал да невзрачен, а другой — как молодой тур, разве тут разберешь. И начали пировать, и пить, и есть и богам нашим давали. А там, где теперь стоит церковь Бого-

родицы, был тогда двор великий варяга Федора. Купцы к нему приезжали из Царьграда и из далеких восточных стран, богатый был вельми варяг, нажился в Киеве, двор построил возле княжьего терема, собирал меха, серебро, золото, выпестовал сына, красивого лицом, сильного и белотелого. Молились они своему богу, никто их не трогал, потому что люд у нас добрый. А как увидел варяг Федор наше поклонение богам, да наше пиршество, да наше веселье, так стал с сыном у ворот да подбоченился, да начали они язвить и насмешничать. «Кому требу отправляете, перед кем поклоняетесь? Поганины глупые да опившиеся! Не суть же боги, но дерево. Днесь есть, а наутро сгниет. Даете им еду и питье, а они же не едят, обращаетесь к ним, а они не слышат, ждете от них речи, а они не говорят, потому как суть сделаны руками в древе. А бог един есть на свете, ему поклоняются греки и варяги, а кто не поклоняется нашему богу, тот дикий поганин и варвар».— «А ну-ка помолчите, варяги! — прокричали наши вои.— У вас бог свой, а у нас свои, и не дадим их никому!» А варяги знай продолжают издеваться да насмехаться и ругать наших богов за то, что они деревянные и немые, а всех нас обжорами да пьяницами дразнить. Тогда не стерпели наши, а поелику люда была тьматьмущая, и весь холм с богами нашими запрудили, и возле княжьего терема, и возле дворов, и на торгу, да и около варягова двора тоже, то и бросились все, как были, кто с оружием, а кто и так, с пустыми руками, и разметали весь двор варяга, а тот и дальше насмехался, только взобрались они с сыном на высокую вежу деревянную на дубовых столбах да взяли мечи варяжские обоюдоострые и начали приглашать, есть ли кто охочий подняться к ним да отведать их подарка. И похвалялись, что их бог сильнейший и не даст и волосу с их головы упасть, а наши боги — это просто тьфу! Тогда прискочило еще больше люду и вмиг подрубили столбы под вежей, и обрушилась она, и упали варяг Федор со своим сыном Иваном вниз, а там их ждали и копья, и мечи, и рогатины. И убили их, и следа не оставили. Потому что нельзя смеяться над людом и над его поклонением.

— А сами теперь поклоняетесь греческому богу,— сказал Сивоок.

— Не все,— хитро прищурил глаз дровосек.— Когда князь велел повергнуть всех наших кумиров, изрубить их и сжечь, а Перуна привязать к конскому хвосту и волочь вниз к Ручью, а потом бросить в Днепр, то кто и рубил да жег, кто и волочил Перуна да бросал его в Днепр, а много люду стояло

и плакало и бежали вдоль Днепра и кричали: «Выплывай! Выдубай!» А когда крестился князь и бояре, а потом окрестил князь двенадцать своих сыновей, то и киевляне окрестились, потому что думали так: если бы это было что-то недоброе, то князь и бояре не приняли бы. А князь принял крест, когда пошел на греческий город Корсунь. Богатый вельми и пышный город, и не мог его взять князь ни приступом, ни осадой, и тогда, говорят, помолился нашим богам и сказал, что ежели падет перед ним Корсунь, то примет он веру христианскую. И, мол, Корсунянин Анастас пустил к князю стрелу, а на той стреле написал, где нужно копать, чтобы не пустить воду в город, и князь велел копать, и нашли трубы водные и закрыли их, и Корсунь пал. И вывез князь из Корсуня попов и Анастаса Корсунянина, и коней медных, и двух идолов нагих, и много серебра, золота, церковных сосудов, и колокола, и паволоки. А сам крестился в Корсуне в церкви Богородицы, потому и в Киеве велел построить церковь Богородицы, и на том самом месте, где стоял когда-то двор варяга Федора, который насмехался над нашими богами. Люд же знает, что князь принял новую веру не через клятву, а через жену. Очень уж захотелось ему взять в жены сестру ромейского императора Василия, а император сказал, что не выдаст сестру за поганина, а выдаст только тогда, когда князь примет крест, как приняла его бабка, княгиня Ольга. Кто знает, почему княгиня приняла чужого бога, а про князя это известно всем. Потому как неудержим он в похоти к женщинам, ненасытен в блуде, велит приводи́ть к себе мужних жен, и девиц растлевает, и наложниц имеет в Вышгороде триста, и в Белгороде триста, а в сельце Берестовом двести. И сыновья его все не от одной жены, а так: от варяжки, и от гречанки, и от чешки. А что князь...

Дровосек оглянулся, наклонился к хлопцам, перешел на шепот:

— Стар теперь стал и ослабел... Велит церкви ставить... Да камень добывать твердый, как алмаз, чтобы искру давал, как агат...

— Краса великая,— сказал Сивоок, вздыхая.

— Но нудный бог вельми,— поморщился дровосек и отхлебнул из своего ковша.

— Даже не верится, что такая красота,— повторил свое Сивоок.

— А копченка у тебя вкусная,— чавкая замасленными губами, произнес Лучук,— никогда еще не пробовал такой.

— Это дед Киптилый. Для князя коптит на моих травах и моем хворосте. А не празднует дед княжеского бога тоже. Нужно, чтобы есть и пить,— вот тогда бог. А тут одно пение да лепота. Нудно.

— Вот так и мне! — воскликнул Лучук.— А ему,— он ткнул рукой, в которой держал обглодок копченки, на Сивоока,— ему лепота нужна. Он из пущи цветок носил. Чуть не пропал из-за этого цветка.

— А кто медведя убил? — исподлобья взглянул на него Сивоок.

— Ну ты, но ведь цветок...

— А кто второго медведя убил?— снова спросил Сивоок.

— Если бы я встретил, то и я убил бы. Прямо в глаз медведю могу попасть! Меха кто добывал? Вот возьму и подарю нашему другу бобровую шкуру.

Он полез в свой мех, долго перебирал там пальцами, выметнул темно-бурый, с седым отливом мех, встряхнул им на солнце, подал дровосеку:

— На!

Сивоок, чтобы не отстать от товарища, тоже бросил два дорогих меха.

— Бочонок меду!— закричал дровосек.— Не умерли наши боги! Бочонок меду на всех!

Сбежались все, кто еще держался на ногах, кто еще не утратил способности слышать и понимать. Но дровосек растолкал всех, гордо вышел в центр круга и торжественно объявил:

— На спор! Кто хочет, становись туда. Кто сникнет после третьего ковша, бит будет всеми — лучше не берись. Ну-ка, взяли!

Вперед протолкалось сразу несколько верзил, потом к ним присоединился косолапый человечишка, подъехало пятеро всадников, и самый толстый из них, увешанный драгоценным оружием и причиндалами, молча слез с коня, встал первым среди охочих к состязанию, рявкнул на медовара:

— Дай-ка промочить в горле!

А когда тот налил ему огромный серебряный ковш и подал, пузатый вылакал мед тремя мощными глотками, ощетинился на медовара:

— Не знаешь разве, что одним не промачивают!

Успокоился только после того, как осушил три ковша, повернулся к своим противникам, окинул их недоверчивым взглядом:

— Сидя или стоя?— спросил.

Дровосек подскочил ему под руку, гордо выпятил грудь:

— Как я захочу!

— Пить научись, хотеть всяк болван может!— небрежно отстранил его пузатый и распорядился:— Сидя! Потому как стоячий чует невыдержку и либо бросает пить, либо и вовсе удирает. А уж ежели сидит, так не поднимется. Начали! А то холодно. Не греет этот мед. Разве нет лучшего на торгу?

— А отведай этого, твоя достойность,— поднес ему медовар новый ковш.

— Разве что отведать,— надул пузатый толстые щеки, между которыми плавали где-то в глубине голубые лужицы глаз,— ибо сколько лет на белом свете прожил, но еще нигде ничего и не выпил, все только лишь отведывал да пробовал.

Этот хвастун чем-то напоминал Сивооку его недавнего недруга Ситника, с той лишь разницей, что был, пожалуй, крупнее да толще, и не лоснилось по́том его лицо, да голос был не сладковато-украдчивый, как настоянный мед, а грозный, жирно-презрительный, забиячливый.

— Кто это? — украдкой спросил он дровосека.

— Купец наш Какора,— гордо ответил тот,— среди иностранных гостей, может, один наш, зато вон какой! Ходит и в чехи, и в угры, и в самый Царьград! Не боится ничего на свете! А уж пьет!

Купец осушил ковш, крякнул, вытер усы, швырнул медовару огромный кожаный кошелек.

— Закупаю весь мед, потому как вкусный вельми и хмельной. Наливай всем, да начнем!

Медовар наполнил ковш, принялся подавать начиная с купца; все мигом присасывались к питью, только один пучеглазый, губатый мужик в засаленном корзне, подпоясанный обрывком, сморщившись, держал ковш в одной руке и не пил.

— Почему не пьешь? — переводя дыхание после меда, гаркнул купец.

— А я не привык хлебать по-собачьи,— сильнейшим басом рявкнул тот в ответ,— мне уж ежели пить, так чтоб круглоточная чаша деревянная да чтобы в ней кулаком свободно провернуть можно было. Вот это по мне!

— Имеешь чашу?— спросил купец медовара.

У того, видно, было даже птичье молоко. Он мигом достал из будки почерневшую от долгого употребления деревянную круглую чашу, в которой, казалось пучеглазому, поместился

бы не только кулак, но и целая голова, нацедил меду, подал привередливому выпивохе.

Тот схватил чашу обеими руками, приник к ней, как вол к луже, а пить изловчался странным образом, так, что чаша закрывала его лицо, глаза же словно бы разбежались в разные стороны и вытаращенно сверкали из-за деревянного дна — и получалось: морда из черного старого дерева, а на ней живые буркала!

Пока деревянномордый доглатывал свою порцию, медовар поднес остальным еще по ковшу, и все было выпито быстро и лихо, отличались пьяницы друг от друга лишь внешне, лишь одеждой, да еще тем, как вели себя после осушения ковша. Один хукал сложенными трубочкой губами вверх к небу, другой кончиками пальцев разбирал по волоску намокшие в меду усы, третий похлопывал себя по животу, косолапый человечишка с реденькими волосиками на голове (странная измятая шапочка свалилась у него от первого чрезмерного наклона головы) слюняво разевал рот и полными слез глазами смотрел на медовара, словно бы раздумывая: подаст ли тот еще, поднесет ли снова?

Лишь купец после каждого ковша издавал из своего могучего тела разнообразные звуки, похожие то на ржание жеребца, то на рыканье дикого зверя, то отрывисто хохотал то ли от удовольствия, то ли просто чтобы чем-то выделяться среди молчаливой братии, а получалось так, что он только раздувал грудь, готовясь к большему, потому что после третьего ковша вдруг ревнул к своим соперникам:

— А что, будем пить или еще и похваляться? Аль понемели? Или языки в меду завязли?

— Будем похваляться, будем!— тонко взвизгнул косолапый мужичонка и засмеялся как-то странно и жалко, будто поперхнулся водой:— Пр-с-с-с!

— Питие люблю!— закричал купец.— А еще жен вельми! В питии могу день и ночь, и два дня, и десять дней быть, а с женами и того больше!

— А до князя нашего далеко тебе,— кольнул дровосек, который тоже не отставал от остальных и попивал медок, причмокивая да поахивая.

— Ты?— удивленно взглянул на него купец.— Кто ты еси такой, чтобы меня?.. Да знаешь ли ты, что у меня жены всюду — и на Руси, и в Польше, и в Чехии, и у угров, и в Царьграде, и в Биармии, и у печенегов. Кто из вас пробовал печенежскую жену? А? Никто? То-то и оно! Жена твердая, силу

имеет мужскую, из лука стреляет и джидой[1] бьет без промаху. А сама горяча! Гух! Жену нужно уметь взять. Она не любит зайцев, на нее нужно туром идти! Гух-гух!

Он уткнулся в ковш, чем воспользовался сидевший первым справа от купца, мгновенно поставил ковш на землю, чтобы высвободить руки, и, смешно «екая», закряхтел:

— Ек ходили мы с кнезем на етвигов, так кнезь меня и просит: «Покажи воем зеленым, ек ты бьешь своим копьем!» А е ему,— екало все пытался показать руками: и как он шел с князем на ятвигов, и как князь его позвал, и как говорил, и получалось еще смешнее от этого беспорядочного, глуповатого размахивания длинными руками.— А е ему, значит, не говорю, а покажу сначала кнезю, а всем тоже покажу... Да ек побегу на етвигов, да ек нанижу на копье одного, и другого, и третьего — девьеть етвигов на одно копье и держу его, ек княжеский флажок, а после, значит, молодому вою, забираю его копье, а ему даю свое с девятью етвигами и говорю — не говорю, а показываю, что ты держи копье с деветью етвигами, ек е держал, а е еще поколю и еще нанизал...

— Сколько?— крикнул купец.— Сколько ты там нанизал? Все равно меньше, чем я жен имел: потому что жены...

Но тут косолапый жалкий человечишка, видно, решил, что настало и его время вмешаться в похвальбу, он махнул ковшом и, прерывая купца, зачавкал:

— Так он меня хотел, а е его... Пр-с-с-с!— начинал со средины, видимо продолжая ему лишь известное приключение: никто не мог понять, о чем идет речь, да никто и не стремился к этому, ибо квелое чавканье человечка и не слышно было, разве что Сивоок, стоявший совсем рядом, мог взять в толк:— А е его тогда... А он меня только, а е его... Пр-с-с-с!

— Цыц!— гаркнул купец.— Когда я говорю про жен, все должны молчать. Как воды в рот. Ибо жены...

— Каких у тебя больше, чем у князя Владимира,— подбросил снова дровосек, но купец не обратил внимания на шпильку, оставил вмешательство дровосека в разговор без внимания, громко отхлебнул из своего ковша. А его место в похвальбе сразу же заполнил новый пьяница, мешковатый мужчина, одетый небрежно, однако весьма добротно, с большим ножом на поясе, украшенным серебром, серебром же были отделаны и ножны для ножа, а рукоять ножа красиво изукрашена резьбой.

---

[1] Джид — малый колчан, для трех стрел.

— Меч дома оставил,— откашливаясь, произнес мешковатый,— а то бы показал, что могу. А могу так. Дику голову отсечь не размахиваясь, а туру одним махом... В пущу иду с одним мечом, другое оружие мне ни к чему. И конь не нужен... Один меч... А мечом тридцатилетние дубки срубаю... Вот так: раз — и готово!

— А я не так люблю пить, как закусывать,— подал голос из-за своей деревянной личины пучеглазый, смачно посасывая мед. Он обладал удивительным умением не только выглядывать из-за чаши своими глазищами, но еще и говорить, не прекращая питья.— Мог бы целое озеро выпить, ежели закусывать. И чтобы мнясо. Люблю мнясо! Кто любит жену, кто на печенега идет, а я люблю мнясо! Если бы даже целого дика зажарили — одолел бы его! А ты сидишь возле человека, видишь его муку, сам имеешь в меху копченку и помалкиваешь!

Он вслепую потянул руку к дровосеку, выкатил в его сторону свой неистовый глаз. Дровосек оттолкнул его руку.

— А дудки!— воскликнул таким светлым голосом, словно бы и не пил еще ничего.— Не коси глаз на чужой квас! На чужой каравай рот не разевай!

Пучеглазый захлебнулся медом, торопливо оторвал чашу от расквасистых губ.

— Жаль тебе?— сказал чуть ли не нищенским тоном.

— А он меня хотел, а е его... Пр-с-с-с! — продолжал свой трудный рассказ слюнявый человечек.

— Только для друзей у меня копченка от деда Киптилого!— задиристо воскликнул дровосек.— А дед Киптилый мясные яства готовит для самого князя да для меня, потому как без меня — ни с места! Понял?

— Ну, продай,— сказал пучеглазый,— потому как без закуски не могу... Мнясо чую еще тогда, как оно в дебрях бегает... Вельми мнясо люблю... А у тебя такой ведь запах из меха...

— Почто я должен продавать, ежели и сам съем, да еще и мои братья. Вон какие — видал?

Он показал на Сивоока и Лучука, но пучеглазый и ухом не повел в их сторону.

— Променяй кусочек,— канючил он дальше, снова закрываясь чашей и уже подавая голос из-за нее.— Хочешь, на крест променяю?

Расстегнул одной рукой корзно, пустил между пальцами повисший на тонкой тесемочке крестик из дерева воскового оттенка.

— Заморского дерева крест. За телка выменял. Гречину целого телка отдал.

— Почто отдал — лучше съел бы телка своего. Солонины сделал бы, вот и было бы у тебя чем закусить!— потешался дровосек.

— А он меня... а е его... Пр-с-с-с!— Человечек в последний раз пробормотал свой рассказ, не имевший ни начала, ни конца, склонил голову на плечо, выпустил из безвольных рук ковш, пустил слюну из раскрытого рта.

— Скис божий украшатель!— закричал дровосек.— Одного нет. А ну, кто еще!

Сивоок, у которого тоже кружилась голова, хотя выпил он только два ковшика меду и хорошо закусил копченкой дровосека, сначала не понял значения выкрика своего нового товарища.

— Что ты молвил?— спросил он дровосека с напускной небрежностью, хотя его почему-то очень беспокоило то, что именно ответит ему дровосек.

— Про того?— ткнул тот пальцем на человека, который начисто раскис и уже слег на левый бок и, казалось, умер от страшного мора, который сводит судорогой все члены, перекашивает лицо.— Величайший умелец князя. Все церкви князю сделал. Тридцать и две церкви уже возвел. Исхитряет богов и чудеса всяческие, а пить они ему не помогают. Тщедушные боги. Ге-ге!

Сивоок ушам своим не поверил. Как же так? Да может ли такое быть? Чтобы этот жалкий человечишка имел что-то общее с тем дивным миром, в котором он только что был и из которого, чувствовал теперь совершенно отчетливо, уже никогда не сможет выбраться? В момент, когда они с Лучуком пробирались в Киев, этот город представлялся Сивооку совсем не таким, каким оказался на самом деле. Само слово «Киев» в представлении хлопца почему-то было окрашено в красный цвет, как щиты княжеской дружины. Еще впервые услышанное, оно пылало багрянцем над зеленостью земли, а еще сильнее — над белыми снегами тихих зим. Теперь Сивоок знал, что Киев — это и не белые боярские дома, и не остроконечные церкви из потемневшего воско-чистого дерева, и не кресты, черные или золотые, и не каменные терема, серые, с красными наличниками окон, и не зеленая трава защитных валов, и не

желтая глина холмов, и не серебристые пески Днепра и Почайны,— Киев теперь навсегда останется для него вишнево-сизым поющим светом, в котором живут все краски, выколдованные когда-то для него волшебными руками деда Родима. И если все это сделали люди, если родила земля таких могучих духом сыновей, то представлялись они Сивооку именно такими, как дед Родим,— могучими, уверенно-спокойными, выше всех сущих, вырванными из повседневных хлопот, из суеты, из всего мелкого и незначительного.

А тут лежит в грязи торговища жалкий человек, хрипит, будто при последнем издыхании, из гноящихся, стекленеющих глаз у него выдавливаются мутные слезы, с уголков губ выползает клейкая и тягучая слюна. Неужели правду говорил дровосек? Неужели этот новый и неумолимо жестокий бог глумится над человеком даже тогда, когда он творит невероятное чудо для его прославления? Ему уже мало обыкновенной смерти — он губит людей издеваясь!

— А возьмите-ка за ноги эту падаль и оттащите вон туда, в глину,— захохотал купец,— пускай исхитрит малость носом своим богов! Го-го-го!

Лучук, колеблясь, взглянул на купца, потом на Сивоока. Им ли велено тащить опьяневшего украшателя церквей?

— Вы, вы, молокососы!— загремел купец.— Берите его да поскорее, покуда я...

Он хотел прокричать какую-то угрозу, но махнул рукой и окунул губы в ковш с медом. Но Сивоок словно бы только и ждал случая, чтобы на ком-то согнать свою злость, вызванную разочарованиями, испытанными им здесь, среди пьяниц, среди людской толчеи, где на самом дне очутился тот, который должен был быть над всеми и вне всего.

— Не робы твои, чтобы помыкал нами!— сверкнул хлопец ошалелыми глазами на купца.

— Что?— оторвался тот от ковша.— Не робы? А кто такие? Беглецы задрипанные? Сопливцы! Зуб медвежий повесил на шею! Как дам тебе, то проглотишь и медвежий, и все свои! Эй, Джурило! А ну-ка, покажи этому негоднику!

От всадников, которые оцепенело наблюдали, как их хозяин напивается с базарным сбродом, мигом отскочил на высоком пепельно-сером коне рыжий детина, с глазами разбойника, и со зловещей медлительностью начал доставать из черных ножен меч. Но в Сивооке проснулась вдруг ловкость Родима в сочетании с дедовской яростью. Хлопец неожиданно для всех метнулся наперерез всаднику, с беспощадной силой рванул

коня за удила, поднял его на дыбы, и рыжий Джурило со всего размаху рухнул на землю. И хотя времени на это ушло совсем мало, но Лучук, пока глаза всех были прикованы к беспомощно пятящемуся коню и падающему Джуриле, успел вскочить на будку медовара, вырвать из-за спины лук, натянуть тетиву, приладить стрелу и, целясь прямо в глаза обезумевшему от пития и неожиданного поворота событий купцу, воскликнул:

— Прошью всех стрелами, только пошевелитесь!

Джурило лежал, не переставая стонать, в грязи. Конь испуганно осел на все четыре ноги, пятясь подальше от Сивоока; стража купца застыла в ожидании нового, быть может, на этот раз более умного повеления от своего хозяина. И тот в самом деле очнулся от тумана опьянения, трахнул ковшом о землю и, хлопнув себя по животу, захохотал притворно:

— Ой, отроки! Ой, потешили! Беру вас обоих в свою стражу!

Но Сивоок стоял все так же настороженно, готовый бить своей дубинкой все, что на него двинется, а Лучук держал тетиву в таком напряжении, что его рука могла вот-вот не выдержать и пустить стрелу прямо в лоб купцу.

— Я сказал!— крикнул купец.— Принимаю вас! Медовар, меду отрокам!

— Годилось бы спросить, хотим ли к тебе,— хмуро напомнил ему Сивоок.

— Да ты что?— аж подскочил дровосек.— Да разве же можно так говорить? Да вы знаете, что к гостю Какоре весь Киев пошел бы в услужение!

— А мы — не Киев,— сказал Сивоок.

Джурило тем временем сел и беспомощно мотал головой — никак не мог перевести дыхание.

— Все знают купца Какору,— заревел купец.— Какора сказал — камень! Любо мне и то, что вы вот так петушитесь! Оба вы мне любы! И показали мне все, что умеете! Принимаю вас к себе и кладу добрую гривну обоим!

— Не всё еще показали,— пропел с будки Лучук.— Хочешь, твоему коню ухо могу прострелить? Выбирай — правое или левое?

— Кончик правого, а заденешь коня — голову оторву!— крикнул Какора.

Свистнула стрела — и кончик правого уха у Какорина коня на глазах у всех раздвоился кровавой бахромой.

Дровосек всплеснул руками от восторга:

— Вот это да! Самому князю в лучники, в первейшие лучники!

Какора переводил разъяренный глаз с коня на Лучука и обратно.

— Отроки вы или бесы суть? — пробормотал он.— А ну-ка, выстрели еще раз. Вон у того медовара в затычку от бочки попадешь?

Снова пропела стрела и черным пером закачалась в самом центре круглой затычки, на которую указал Какора.

— А перекреститься умеешь?— спросил купец Лучука.

— Не умеет он,— ответил за товарища Сивоок.

— А ты?

— А я умею, видел, как это делают, да не хочу.

— Почему же это ты не хочешь? Ты знаешь, что князь Владимир принял крест и своих двенадцать сыновей окрестил и всех киевлян? А еще сказал: «Кто не придет под новую веру — богатый, или бедный, или нищий, или раб,— врагом моим будет».

— Так мы же не слыхали, как князь это молвил,— наивно сказал Лучук.

Какора засмеялся, а дровосек даже запрыгал от веселья.

— Хлопцев для тебя нашел, Какора!— закричал он купцу.— Должен мне подарок поднести за это! А вы, хлопцы, света увидите с Какорой — го-го! Такого света!

— Ну так что, идете или нет?— спросил купец Лучука. Но Лучук смотрел на Сивоока. Сам не осмеливался решать. Сивоок кивнул головой. Подошел к кругу пьяниц, пристально взглянул на Какору своими сивыми, неотразимо пронзительными глазами, подумал: «Все равно удерем! Бежать! Бежать! От всех!»

А сам еще не ведал, куда и зачем бежать, но знал, что это его цель и насущная потребность, которая началась с той ночи, когда был убит дед Родим.

Но можно ли бежать от красоты, увидев ее хотя бы один раз?



1941
ГОД
ОСЕНЬ. КИЕВ

Но, душенька моя, ласточка моя,
я дрожу, я дрожу, я дрожу.

П. Пикассо

Надеюсь, вы простите мне эту маленькую мистификацию? — сказал Адальберт Шнурре профессору Отаве, садясь возле него на заднем сиденье пепельно-серого «мерседеса».— Конечно, если бы вас разыскали военные власти, все было бы иначе. Поверьте мне: довольно быстро заставили бы указать на вас. Для этого есть средства.

— Знаю,— коротко бросил Отава.

— Но вас искал я, ваш давнишний оппонент и коллега, если хотите. И поэтому я выдумал всю эту шутку с лекциями, прибегнув в них к некоторым извращениям ваших мыслей, но это же была только милая шутка. Кроме того, учитывая военное время, я вынужден был прибегнуть к маскировке.

— Это — тоже маскировка? — спросил Отава, указывая на эсэсовскую форму профессора Шнурре.

— Если хотите, до некоторой степени да. Хотя тут имеют значение и взгляды. Мне, например, известно, что советские профессора не признавали университетских мантий, шапочек, всего, что заведено в Европе еще со средних веков. Я не ошибаюсь?

— Нет. Мы считали, что профессора такие же люди, как и все остальные.

— Понимаю вас. Поймите и вы меня. Я надел этот мундир

именно потому, что весь мой народ сейчас — в мундирах. Это наша вера и наши убеждения.

— Разве все — в эсэсовских мундирах?

— Не играет роли. Но, если хотите, в народе всегда есть элита. В своем народе вы также принадлежали к ней.

— Если принадлежал раньше, то и сейчас принадлежу. Почему же вы употребляете форму прошедшего времени?

Адальберт Шнурре засмеялся:

— Ввиду вашего исчезновения. Ведь вы растворились в анонимности, которая равняется небытию. Профессора Гордея Отавы нет ни по ту сторону, ни по эту сторону фронта. Там его считают предателем и дезертиром, здесь считают без вести пропавшим.

— Откуда вы знаете, кем меня считают по ту сторону фронта?

— Законы вероятности. Теоретически это легко определить, а практически так оно и есть.

— По-моему, вы считали себя теоретиком в других областях. Ваша специальность — древнехристианская живопись.

— А также деревянная скульптура.— Адальберт Шнурре благодушно хмыкнул.— Мы оба с вами считались хорошими знатоками в этой области. И первый мой долг был — спасти вас для науки. И я это сделал.

— Я должен благодарить?

— Я понимаю ваше состояние. На вашем месте я тоже... Это в самом деле ужасно... Там... Хотя оттуда открывается чудеснейший вид на Киев, но... я понимаю... Законы военного времени — они не для науки и не для людей науки. Но, хвала богу, я сумел все-таки вытащить вас оттуда... Я нарочно говорил глупости, надеясь на вашу принципиальность. И расчет оказался точным: вы не выдержали.

Профессор Отава молчал.

— Конечно, все было бы намного проще,— смачно пожевывая губами, продолжал Шнурре,— вам нужно было лишь прийти к коменданту и назвать свое имя. Никто не упрекнул бы вас в сотрудничестве с оккупантами. Ни малейшей военной тайны вы нам выдать не можете, ибо не можете ее знать. Ваши знания никакой пользы доблестной армии фюрера принести не могут. Ваши интересы слишком отдалены от современности, чтобы вам нужно было бояться нас. Вы могли просто оставаться в своем кабинете и спокойно писать очередную страницу своих наблюдений над фресками Софии Киевской.

— Вы даже знаете, что я писал в последнее время?

— Догадываюсь.

— Не могу отплатить вам взаимностью. Никак не мог бы догадаться, что вы не только профессор, но и...

— Штурмбанфюрер СС? Это временно, абсолютно временно. Лишь до тех пор, пока мы установим в Европе новый порядок. А еще точнее: форма моя вполне условна для меня, ибо я не перестаю заниматься своей научной работой. Униформа в данном случае просто способствует моим занятиям. Да, да, именно способствует.

— Куда вы меня везете? — прервал его излияния профессор Отава, охватываемый все бо̀льшим и бо̀льшим беспокойством, потому что машина, медленно проехав бесконечную вереницу улиц от Мельникова и до Большой Житомирской, свернула на площадь Богдана Хмельницкого, с одной стороны которой молчаливо стояла София, а с другой еще и до сих пор дымились руины зданий, быстро промчала их на Владимирскую, пронесла мимо Золотых ворот, мимо оперы, военные регулировщики на перекрестках без задержки пропускали пепельно-серый «мерседес», он набирал все бо́льшую и бо́льшую скорость, вот уже с правой стороны показались красные колонны университета, а в мокром, подернутом пеленой дождя парке — печальная фигура Кобзаря в окружении багровых листьев; дальше профессору Отаве не нужно было и смотреть — в самую темную ночь, с закрытыми и даже завязанными глазами, в лихорадке или в предсмертной агонии он указал бы на свой дом, на дом, в котором родился, откуда малышом ходил играть в садик, ставший впоследствии Шевченковым парком, откуда пошел в школу и в университет, и на первые свидания, и на первые гулянки, и на самое большое счастье и тяжелейшие несчастья выходил он из этого дома, из квартиры на третьем этаже, большой профессорской квартиры с многими комнатами, которые все сплошь были загромождены книгами, вечно забиты книгами, уникальными древними изданиями, раритетами, летописями, ценными рукописями, пергаментами, берестяными грамотами и еще бог весть чем. Этот дом сооружал какой-то киевский инженер, который пытался соревноваться с известным киевским архитектором Городецким, настроившим по всему городу множество странных зданий, стилизуясь то под готику, то под барокко, то под мавританский стиль, а то и под модерн. А этот инженер, будучи неспособным придать зданию какие-либо оригинальные черты с наружной стороны, решил бить на эффект внутренний — выдумал невероятный, похожий на соборную наву

вестибюль, украсил его мрамором и мозаикой, положил на лестницу разноцветный мрамор, а в гигантских розетах, которые должны были служить окнами, поставил яркие витражи на темы украинской истории. Этим и ограничилась фантазия инженера. Квартиры в этом доме не отличались ничем, кроме ординарной безвкусицы, были велики, неуклюжи, комнаты тянулись длинными колбасами, переходили одна в другую без видимой нужды, а тем более гармонии, в длинных узких коридорах невозможно было разминуться двум людям, окна были высокие, но узкие, не просвечивали больших комнат, там всегда царил полумрак, в таких помещениях, правда, хорошо было сидеть и думать, они удобны были для схимников и ученых, но отнюдь не подходили для людей простых, не совпадали с их вкусами, темпераментами и симпатиями.

Быть может, именно из-за этой квартиры и в семейной жизни профессора Отавы не так сложилось, как следует... Но бог с ним, со всем этим. Не об этом думал сейчас Гордей Отава, тревожно наблюдая, как чужая машина с чужим человеком, который упорно называет себя коллегой, неудержимо приближается к такому знакомому, такому единственному на всем свете, такому желанному и одновременно почему-то отпугивающему теперь дому.

— Куда вы меня везете? — снова повторил свой вопрос профессор Отава, и на этот раз Адальберт Шнурре, который, видимо, еще не совсем хорошо ориентировался в киевских улицах, но уже теперь тоже хорошо увидел, что приближаются они к высокому, украшенному готическими розетами и смешными резными башенками дому, со спокойной доброжелательностью произнес:

— Конечно же к вам домой, коллега Отава.

— Откуда вы знаете, где мой дом? — сделал последнюю попытку Отава, хотя «мерседес» уже остановился у самого входа в дом, и не было смысла дальше сомневаться в информированности профессора-завоевателя.

— Ах, дорогой коллега,— засмеялся Шнурре,— это же так просто! Я еще заранее дал ваш домашний адрес командованию наших передовых частей, которые должны были вступить в Киев. Мне во что бы то ни стало хотелось сделать вам хотя бы маленькую услугу, защитить вас, ваше жилье, ваш покой. К сожалению, вас мы не успели защитить, но ваше жилье, все ваши книги, все ваше — оно неприкосновенно!

Он произнес эти слова торжественно-приподнятым тоном, но Гордей Отава легко уловил в голосе Шнурре и нотки умело

скрытого разочарования, а может быть, ему просто показалось, может быть, профессор Шнурре в самом деле заботился лишь о том, чтобы защитить своего коллегу, отплатить профессорской порядочностью своему постоянному оппоненту и заочному знакомому? И все то, что он, Гордей Отава, уничтожил месяц назад, не представляло для Шнурре ни интереса, ни тем более предмета для розысков?

— Прошу,— Шнурре вежливо пропускал Отаву вперед. Отава на миг приостановился, вспомнив, что хозяин должен идти позади гостя, но сразу же спохватился: кто здесь хозяин и кто гость — не разберешь. К тому же если Шнурре и считать гостем, то отнюдь не желательным и не званым. Хозяином переодетого в эсэсовца профессора называть тоже не стоило, поэтому профессор не стал разводить церемоний и, словно бы не замечая Адальберта Шнурре и его протянутой руки, быстро перескочил через те несколько ступенек, которые вели к входу, очутился в таком знакомом храмово-витражном вестибюле, твердо пошел по ступенькам.

Адальберт Шнурре пытался идти в ногу с Гордеем Отавой, но все-таки чуточку отставал, а на площадке второго этажа, перед дверью квартиры академика Писаренко, остановился и сказал в спину Отаве, не ожидая, что тот задержится или хотя бы оглянется:

— Не буду вам сегодня мешать. Отдохните после этого ужаса. Там вы найдете все необходимое. Я должен был где-то жить, поэтому остановился в этой квартире, хозяин которой... гм... бежал, кажется...

— Эвакуировался,— не оборачиваясь, бросил Отава.

Он подошел к дверям своей квартиры. Высокие, будто монастырские, дубовые двери. Бесхитростная резьба. Только теперь ее заметил. Какие-то крученые столбики, примитивные плоскости. Ни малейшего намека на какой-либо стиль. И латунная табличка с размашистой надписью: «Профессор Отава». Смехотворная суета! И эта дверь, и эта табличка, и эта надпись, а в особенности же — его положение. А все потому, что не смог он вот так просто выехать, то есть эвакуироваться, вернее — не сумел. Никогда ничего не умел.

Стукнул в дверь коротко и боязливо. Ждал терпеливо, почти без надежды. И в добрые времена здесь открывали без торопливости, приходилось звонить по нескольку раз, пока расслышит глуховатая бабушка Галя. А теперь ведь там, вероятнее всего, автоматчики, которым поручено охранять его.

Но еще не успел он перебрать всех своих мрачных предпо-

ложений, как дверь приоткрылась на то расстояние, на которое позволяла длина цепочки, сквозь щель блеснул темный глаз, долго недоверчиво всматривался в непохожее лицо профессора, потом исчез, еще раз мелькнул в щели, послышалось «Ой боже ж мой!», зазвенела цепочка, дверь неслышно открылась, крепкие руки бабки Гали мгновенно втянули Гордея Отаву в переднюю, снова загремели запоры, и лишь после этого бабка Галя всплеснула руками:

— Вы или не вы, Гордей Всеволодович?

— Я.

— Так как же это вы? Бежали?

— Кажется, что не бежал.

— Так бегите же поскорее, потому что здесь уже ходят, ходят, да спрашивают, да шныряют. Все им чего-то нужно. Один тут — так прямо в кабинете и спит. Все перерыл. Правда, не взял ничего. Ну, а я в окно выглядываю. Думаю: увижу вас — крикну, чтобы бежали. И Бориса послала, чтобы искал. Говорил — нашел. Уж лучше бы оно не было такого!

— А Борис — он же у тетки должен был быть!

— Где там. Прибежал в тот же день, когда вас забрали. И не днем, а ночью. Как только сумел пробраться?..

— А вы тут как, бабушка Галя?

— Что? Я? Да и не говорите! А вам лучше бежать! Вот я вам быстренько дам перекусить, да переоденьтесь, потому что разве ж можно так. Профессор... Ой боже ж мой!.. А эти сюда прут, прут, харчи всякие, консервы, мурмелады, шоколады... И тот, который в кабинете...

— Шнурре?

— Черт же его знает. Зовут его как-то шур-бур-фюр... И не произнесешь... Такой вроде вежливый, а оно ж насквозь видно: хвашист! Я уже их перевидала на своем веку! В девятнадцатом — такие-сякие в Киеве были... Лучше бегите, Гордей Всеволодович!

— Никуда я не убегу. Привезли они меня из лагеря.

— Они? — бабка Галя снова всплеснула руками.— Это уже что-то замышляют! А вы ж?

— А я, бабка Галя, месяц не спал, не ел, не умывался и, кажется, забыл даже, как дышать...

— Да все ведь есть! Вот только бежать вам нужно!

— Это я знаю.

Через полчаса сидел в ванне с теплой водой, которую успела каким-то чудом нагреть бабка Галя, и думал над простым и таким выразительным словом «бежать»...

Когда началась война, никто и в помыслах не имел куда-то там бежать. Разве что самые большие трусы. Но таких были единицы. Все оставались на месте, даже под вражескими бомбами, даже тогда, когда Совинформбюро начало перечислять названия новых и новых городов, оставленных фашистам.

Но фашистские армии разрезали железными змеями танковых колонн все большие и большие пространства нашей земли, и тогда как-то незаметно, так, будто оно всегда жило в быту, миллионоусто зазвучало слово «эвакуация». Не выезд, не перевозка, не спасение, не бегство, наконец, а эвакуация — чужое какое-то успокаивающее, очень мудрое слово.

Эвакуировали и научных работников. Прежде всего тех, у кого было ценное научное оборудование, то есть техников. Гуманитарии ходили по академическим коридорам, ловили за руки и за полы юрких молодых людей, которые взяли на себя все хлопоты по эвакуированию, но слова в эти дни весили мало, авторитеты, научные звания — еще меньше. В особенности же если ты попадал в число «нетранспортабельных» ученых. Именно такими и оказались академик Писаренко и профессор Отава. У академика была огромная библиотека украинистики, едва ли не самая большая в стране, а у Отавы кроме огромного количества древних и уникальных изданий была еще обширная коллекция древнерусских икон, которую он хотел спасти во что бы то ни стало.

Закончилось тем, что к академику Писаренко заскочил на машине с фронта его сын-майор, выругал отца, силком усадил его в машину, собрал старику в один чемодан самые необходимые вещи и — айда на Харьков, пока еще была возможность прорваться.

Все решилось в одну из июньских ночей, когда он, как член отряда самообороны, вместе со своим Борькой, от которого невозможно было отвязаться, оказался на крыше своего высоченного дома, оказался невольно, заброшенный сюда бессмысленной потребностью военного времени, боязливо пробирался по наклонной крыше, поднятый над встревоженным Киевом, неумело поправлял широкую лямку новенького противогаза, зачем-то пересыпал в ладонях песок из большого ящика, приготовленный для гашения зажигательных бомб. Его окружали реальные вещи, возле него был сын, который вытанцовывал от детского нетерпения, желая наконец увидеть, как «прилетит этот фашистюга и как наши его собьют», но Гордей Отава никак не мог войти в мир этих реалий, все

это казалось ему каким-то развлечением, злой шуткой и над сыном, и над его городом, и над всем народом.

А потом случилось. Из дальней темной дали поплыло на Киев прерывистое гудение, приближалось, усиливалось, плыло волнами, которые грозно бились о стены домов, и от этого, казалось, все начинало покачиваться, медленно и зловеще покачиваться, особенно же чувствовали это те, кто был поднят высоко над землей, кто бессильно метался на темных крышах, метался между ведрами с водой и ящиками с песком — этими примитивнейшими орудиями борьбы с самыми чудовищными изобретениями человеческого разума, наплывавшими ближе и ближе в гудении фашистских самолетов.

Ударили зенитки, пугливо и поспешно, зенитные прожекторы лихорадочно ощупывали небо мистически бледными лучами, проревели навстречу фашистам наши «ястребки», потом на острие одного из прожекторных лучей сверкнул белый крест вражеского самолета, и вся земля закричала: «Бей его! Вот он!», но фашист сорвался с луча, утонул во тьме, а вместо этого, пересиливая рев моторов, взрывы зенитных снарядов, трескотню пулеметов, вопли перепуганных людей, небо завыло, заревело, и этот вой продолжался так долго и был таким ужасным, что уже от одного этого можно было умереть, не дождавшись, что же наступит потом.

А дальше громыхнуло красно-черным в одном месте, в другом, в третьем, и у самых ног профессора Отавы тоже что-то взорвалось и вспыхнуло адским огнем, таким невыносимо жгучим, что профессор от растерянности схватил ведро воды и вылил ее в самую гущу огня, отчего все загорелось еще сильнее, заслоняя от Отавы весь мир, и с той стороны огня раздался крик Бориса: «Отец! Песок!» Опомнившись, Отава начал сыпать на бомбу песок, сыпал пригоршнями, песку было мало, Отава ничего не мог поделать с огнем, сыпал в полнейшей безнадежности, пока не увидел прислоненную к ящику лопату, и схватил ее, и с жадностью зачерпнул ею песку... Он сыпал еще и тогда, когда бомба уже погасла, сыпал, хотя Борис, испугавшись за отца, тормошил его и кричал, что уже хватит. Отаве мерещилось, что горит весь Киев, пылают новые и старые здания, тысячелетние соборы, сами киевские горы охвачены неугасимым огнем... И когда Борис все-таки вырвал из рук отца лопату, тот оторопело посмотрел в высокую темноту, пробормотал:

— Что? Уже? Не может быть!

Днем он побежал по городу. Прежде всего — к Софии. Оттуда вывозили архивы. Суетились озабоченные люди, гудели машины. Но профессора Отаву интересовало не это. Песок. Ящики с песком. Мешки с песком. Нашел какого-то человека, объявившегося ответственным. Тот водил профессора в отдаленнейшие закоулки под куполами, показывал: вот тут, и тут, и еще и тут. Отава метнулся в Лавру. Успенский собор, церковь на Берестове, трапезная, надвратная церковь. Охраняют ли их? Достаточно ли там людей, а главное — песка? Песок, песок!..

Он сумел раздобыть где-то машину. Нашел саперного капитана, который родился во Владимире, всю жизнь мечтал попасть в Киев, увидеть его соборы, Днепр, Лыбидь. Потому что князь Мономах, закладывая Владимир, стремился перенести в тот северный русский город дух южного Киева. И речку во Владимире назвал Лыбидью, и холмы для поселений и соборов выбрал похожие, и соборы старался построить, как в Киеве. Капитан, нарушая законы военного времени, выделил для Отавы трехтонку, и неистовый профессор метался по Киеву, перевозя мешки с песком в Лавру. Потом кто-то из знакомых сказал ему, что из Софии архив уже вывезли и теперь собор брошен на произвол судьбы. Он метнулся туда. Там в самом деле уже не было людей, а песку показалось ему крайне, просто-таки ничтожно мало. Но капитан больше уже не мог помогать чудаку профессору, его часть должна была двигаться куда-то дальше («сменять дислокацию»,— объяснил он), оставить Отаве трехтонку — при всей своей влюбленности в Киев — капитан-владимирец (русоволосый красавец с голубыми глазами) не мог, в противном случае ему угрожал трибунал,— тогда профессор купил на Евбазе (где тогда можно было приобрести что угодно) коня с крестьянским возом, отдал за это бешеные деньги, все свои довоенные сбережения, без колебания отдал небритому типу, который чувствовал себя паном только потому, что имел коня (возможно, даже украл его), тогда как никто больше не мог и мечтать о таком сокровище, ибо конь — это было средство передвижения, это был т р а н с п о р т, это была возможность двигаться, убежать, спастись.

Но ведь Отава и мысли не допускал о том, что он будет бежать или спасаться. Он носился по Киеву на своей телеге и знай собирал мешки с песком и возил их в Софию, он выканючивал песок, иногда просто брал... где плохо лежало, а то и просто крал, памятуя, что в святом деле все средства хоро-

ши; вскоре его знали во всем городе и называли «профессор с конем» или же «тот профессор, который песок ворует».

Коня у него реквизировали. Еще и пригрозили, когда он раскричался об антипатриотизме и варварстве майора, который прибег к подобному насилию над профессором.

В Святошине, Голосеевском лесу киевские ополченцы готовились к обороне города на крайний случай. Для Отавы крайний случай уже настал. Он попытался записаться в ополченцы, но натолкнулся на какого-то слишком уж спокойного командира, который посоветовал профессору эвакуироваться, пока есть время.

— Такими людьми мы не имеем права рисковать,— сказал он.

В академии Отаве объяснили, что он пропустил свою очередь.

— Да мне лично все равно,— растерянно произнес Отава,— мне лишь бы мальчишку как-нибудь... Да еще иконы... У меня большая коллекция... Это ведь ценность.

Кто-то посоветовал Отаве направиться на товарную станцию, откуда отправлялись эшелоны. Дескать, там всегда можно найти вагон, договориться.

Профессор с маленьким Борисом, которого он крепко держал за руку, полдня толкался среди невероятной неразберихи, царившей на товарной станции, никого не мог найти, никто ему ничего не мог не то что пообещать, а даже посоветовать. Все разговоры, которые он начинал с тем или другим ответственным человеком, были приблизительно такими:

— Товарищ, нет времени. Говорите конкретно: что вам нужно?

— Ну, хотя бы вагон.

— Вагон?

— Да. Один-единственный.

— Один вагон? Целый вагон?

— Ну, хотя бы вон тот, небольшой, двухосный.

— Небольшой! Это он называет небольшой!

— У меня коллекция. Ценность. Государственного значения.

— Люди — вот наша величайшая ценность. У меня в вагоне нет места хотя бы для одного человека! Ясно?

Отава снова метнулся в академию, но там уже все заканчивалось: в кабинетах уже не было энергичных молодых людей, полы в коридорах усеяны были ненужными бумагами, которые неприятно шуршали под ногами. Неожиданно на-

встречу профессору попался молодой научный сотрудник Бузина. Он радостно схватил Отаву за локоть.

— Товарищ профессор, а я вас ищу! Отправляю институтские сейфы. Нужно, чтобы вы сдали все летописи и литературу, существующую лишь в одном экземпляре.

— Я все это уже сдал.— Отаве не очень хотелось иметь дело с Бузиной.— И вы прекрасно об этом знаете.

— Да, да, но я думал...

— Не замечал за вами этой способности раньше.

— Я хотел помочь вам, товарищ профессор.

— И так помогли, что я ничего не могу... эвакуировать... Оставить все врагу?

— Что поделаешь? — Бузина развел руками.— Мы должны спасать самое ценное.

— А кто это определяет?

— Ну... все мы...

— Например, вы едете возле сейфов... А есть ли там место хотя бы для меня?

— Я не... я не компетентен, товарищ профессор, но место должно быть...

— Должно? Благодарю вас.

Отава поклонился и быстро побежал вниз по ступенькам. Куда торопился — и сам не знал. Еще несколько дней метался по Киеву. Эвакуироваться? Но ведь он не может! Он не такая ценность, как Бузина!

Бузину Отава возненавидел еще три года назад. До того не обращал на него внимания. Знал, что есть такой в институте, удивлялся, правда, как могло задержаться такое Ничто в институте, как оно могло прибиться к материку науки, но и только. Извечным недостатком Отавы было невнимание к людям, какая-то равнодушная терпимость и к злым и к бездарным. «И ненавидим мы, и любим мы случайно». Видимо, и женился он точно так же, с равнодушной случайностью, и жену себе не выбирал, а просто взял, потом оказалось, что жить они вместе не могут. Она так и заявила: «Не могу я среди этих икон! Мне люди нужны!..» Только и смог, что выпросить у нее сына.

А Бузина? Так и жил бы себе в своей незаметности, быть может, еще и добрым человеком считался бы, но произошло событие, показавшее в Бузине новую грань, которая опять-таки кому-то была и по душе, но у профессора Отавы вызвала чувства, близкие к отвращению.

Коллега Отавы профессор Паливода подготовил к изданию

большой многокрасочный альбом с софийскими и михайловскими мозаиками. Об этом альбоме было много разговоров, о нем раззвонили даже за рубежом; кажется, обещали повезти его на всемирную выставку в Нью-Йорк. Предисловие и комментарии к альбому печатались на шести языках. Событие!

Но внезапно профессор Паливода, составитель альбома, автор предисловия и комментария, куда-то исчез. Впоследствии в институте было разъяснено, что профессор Паливода — враг народа. Профессора Отаву пригласил к себе один из руководителей института.

— Что ж будем делать, товарищ профессор? — спросил он.

— Не понимаю,— обиженно произнес Отава.

— Альбом этот ваш... Эти... как их?.. Мозаики...

Отава как-то не мог сразу связать факт исчезновения Паливоды с мозаиками, ибо что ни говори, а расстояние во времени — невероятное: мозаики делались в одиннадцатом столетии, а профессора Паливоды не стало в двадцатом.

— Наши мозаики уникальны,— совершенно искренне сказал Отава.

Молодой руководитель в душе удивился наивности профессора, но не высказывал этого.

— Это я знаю,— все так же обеспокоенно продолжал он.— Но ведь этот... как его?.. Паливода... Подвел он нас... Не тем человеком оказался...

— Ученый он был безукоризненный! — твердо сказал Отава.

— А я разве что? — удивился молодой руководитель.— Я тоже ничего о нем как об ученом. Но, как сказал поэт: «Ученым можешь ты не быть, а гражданином быть обязан».

Отава пожал плечами. Цитата была не совсем точной, но какое это, в конце концов, имело значение?

— Так что же мы будем делать с этими... как их?.. с мозаиками? — снова заладил свое молодой человек.

— Нужно издавать! — в этом у Отавы не было никаких сомнений.

— А я разве говорю — не издавать? Нельзя не издавать! Все уже знают, уже тираж готов.

— Так в чем же дело? — Отава делал вид, что никак не поймет, к чему клонит его собеседник.

— А Паливода? — вскочил тот и пробежался по кабинету.

Отава молчал, и руководителю понравилось его испуганное молчание.

— Я понимаю, что вы тоже этого не хотите. Ибо вы — че-

стный советский ученый. Мы тут долго советовались, и вот есть такое мнение,— он пристально посмотрел на Отаву,— предложить вам, чтобы вы подписали предисловие и комментарий к этим... как их?.. мозаикам, значит, вместо Паливоды... Вы известный специалист, вас всюду знают. К тому же еще и,— он засмеялся наивно, как смеются парни на гулянке,— и фамилии же у вас казацкие: Отава, Паливода...

— Нет, я не могу этого сделать,— поднялся Отава.

— Да вы сядьте! Куда вы? Не нужно горячиться. Спокойно подумайте...

— Нет! — Отава уже направлялся к двери.

— Но ведь, товарищ профессор...

— Никогда! Я только ученый. Моя специальность — древнее искусство...

— Но мы с вами...

— Я не могу продолжать этот разговор.— Отава уже держался за дверную ручку.

— Ну, хорошо. Кого бы вы нам посоветовали?

— Не знаю. Не могу быть вам полезным.

А через два дня к Отаве домой притащился Бузина. Еще в коридоре он уставился глазами в развешанные иконы на высоких, покрашенных в черный цвет стенах, в восторге воскликнул:

— Товарищ профессор! Я склоняюсь перед вами!

— Ну зачем же такие суперлятивы? — застеснялся Отава, не привычный ни к выражению, ни к слушанию неприкрытых комплиментов.

— Это же такое богатство! — разливался в своем восторге Бузина.— А этот черный фон! Это же просто чудо.

Отава сам выдумал черный фон для икон в коридоре,— кажется, именно этим окончательно доконал свою бывшую жену, которая еще соглашалась как-то существовать в музее, но уже в черноте могилы — ни в коем случае! Бузина был первым, кто похвалил черный коридор, и у Отавы невольно зародилось чувство симпатии к молодому научному сотруднику. Он посмотрел на него внимательнее и заметил, что у молодого человека весьма эффектная внешность. Высокий, крепко сложенный, почти атлет, густые черные волосы, настолько густые, что ему позавидовали бы все лысеющие и начисто лысые, большие выразительные глаза, будто на фреске. Чтобы как-то выразить свое расположение к гостю, Отава попытался пошутить:

— У нас с вами совпадают вкусы, коллега. Не потому ли,

что наши фамилии имеют в себе нечто общее? Они — растительного происхождения.

— В самом деле,— обрадовался Бузина.— А вот у нас в классе, когда я учился в школе, было полно фамилий животного происхождения. Коровчено, Бугаенко, Заяц, Волк, Бык.

— Очевидно, все-таки фамилии растительного происхождения — самые древние,— высказал предположение профессор.

— Да, да,— согласился Бузина,— а фамилии животного происхождения — это вторая очередь.

— И уже после этого идут фамилии, производные от профессий: Гончар, Швец, Стельмах, Меняйло, Кравец, Коваль, Лупий, Орач. Между прочим, по этому принципу с течением времени давали повторные имена христианским святым. Илья-громовержец или пустынник Николай-чудотворец, Симеон-столпник. Я покажу вам необычайно редкостную икону с изображением Ильи-пустынника. Обратите внимание на фон. Приходилось ли вам видеть когда-нибудь икону, написанную словно бы не на липовой доске, а на старинной слоновой кости? Гляньте. Абсолютная иллюзия пожелтевшей слоновой кости! И этот тон сохранился в неприкосновенности с одиннадцатого столетия! Вы можете представить?

— Очевидно, икона была покрыта позднейшими записями? — высказал догадку Бузина.

— Восемь слоев олифы! — воскликнул профессор.— Я снял их один за другим собственноручно, не доверяя ни одному реставратору.

— Но ведь именно эти слои и спасли то, что было написано еще в одиннадцатом столетии. И то, что когда-то казалось злом и варварством, теперь превратилось в пользу,— вслух размышлял Бузина.

Профессор посмотрел на молодого ученого с еще большей симпатией. Кажется, он вовсе не такой уж и безмозглый, этот Бузина. Способен восторгаться, разбирается в иконах. Уже за одно лишь это ему можно простить все.

— Даже Пушкин,— уже и вовсе разошелся Бузина,— даже Пушкин! Помните: «Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит»... Не понял великий русский поэт. Ведь что делал художник-варвар? Он покрывал олифой старую икону, чтобы уберечь ее от порчи. А олифа через каких-нибудь там восемьсот лет темнела, и уже новый «художник-варвар» зарисовывал эту потемневшую икону своим сюжетом и тоже покрывал его олифой. И так под теми темными напла-

стованиями жила древняя икона, пока такой вот чародей, как вы, Гордей Всеволодович, не освободили ее, не показали миру.

— А теперь я покажу вам и вовсе невероятную вещь,— таинственно сказал Отава,— изображение языческого, дохристианского бога на пластине, сделанной из турьих рогов. Слыхали ль вы когда-нибудь о подобном?

— Никогда не слыхал,— в тон профессору промолвил Бузина, поднимая свое тренированное тело, чтобы шагнуть на цыпочках за хозяином.

Изображение языческого святого жило в фантазии профессора Отавы. А на широкой, действительно мастерски сделанной роговой доске сохранились лишь невыразительные цветные пятна.

— Не удивляйтесь,— сказал профессор,— этой вещи свыше тысячи лет. К тому же она вырыта из земли.

— Никто ее не сохранил,— снова натолкнул на излюбленную тему Бузина.

— Да, никто не сохранил, никто не интересовался. Как, между прочим, и у нас сейчас происходит с древними иконами.

— Нет, нет, народ должен знать свои сокровища, все принадлежит народу,— важно сказал Бузина, и профессор, хотя произнесены были самые общие слова, снова с симпатией посмотрел на молодого ученого: тот необычайно точно угадывал душевные состояния своего собеседника и мгновенно настраивался на его лад. Кто это мог сказать ему, что Бузина сякой и такой, тупой и недалекий! Какая низкопробная ложь!

— Кстати, я хотел посоветоваться с вами относительно одного издания,— осторожно промолвил Бузина, причмокивая от восторга перед иконой Юрия-змееборца, где Юрий в красных штанах на черном коне разил огнедышащего дракона.— Речь идет о сохранении ценностей и... как бы это вам сказать?.. почти похоже что-то на покрывание икон олифой...

— Так давайте сядем,— указывая на старинное кресло венецианской работы, пригласил Отава, сам тоже располагаясь на своем рабочем стуле за столом. Бузина воспользовался предложением профессора, начал рассматривать причудливую резьбу кресла, в котором утонул. Красноватые мавры несли на своих крепких плечах подлокотники, на высокой спинке резвились козлоногие фавны, из-под резных ножек выглядывали еще какие-то раздавленные мифологические

физиономии. Вероятно, триста или четыреста лет назад везли через Адриатику в Венецию далматинские дубы, и мастер, стоя на берегу канала, еще издалека, выбирал себе бревно, приказывал доставить его в свою мастерскую и уже там усаживался за работу и колдовал над одним таким креслом год, а то и несколько лет, и жизнь его измерялась не количеством прожитых лет, а количеством сделанных чудо-кресел, как у Страдивариуса — количеством скрипок.

— Умели когда-то люди делать вещи,— вздохнул Бузина.— Сразу видна опытная рука. Завидую опытным людям. Только они могут много сделать. Вот как вы, Гордей Всеволодович.

— Ошибаетесь, дорогой мой,— раздумчиво произнес профессор.— Когда-то, в ваши годы, я тоже так думал. И, оказывается, глубоко ошибался. Чем дольше живешь, тем, казалось бы, больше сделал, а получается почему-то наоборот: с каждым годом все больше и больше остается незаконченного, незавершенного, недоделанного, ты буквально утопаешь в незаконченных делах и замыслах, задыхаешься от нехватки времени и силы, делаешь все кое-как и все хуже, все поверхностнее, жизнь превращается в какой-то сумасшедший галоп, и кажется тебе, что если ты и сделал когда-либо что-нибудь старательно, обдуманно и спокойно, то разве что в самом раннем детстве, когда шмыгал носом, сопел, ковырялся в ухе, строгал палочку или вылепливал хатку из мокрого песка.

— Ну, я с вами не согласен,— решительно возразил Бузина.— Вы так много сделали!

— А вот поживете еще двадцать или пятнадцать лет, которые нас с вами разделяют, и убедитесь! — почти шаловливо хлопнул по столу профессор.— Но мы заговорились. Вы что-то хотели мне сказать. Прошу вас.

— Речь идет об очень важном.— Бузина не мог подобрать слов.— Я хотел с вами посоветоваться, Гордей Всеволодович, как со старшим товарищем, которого я ценю и уважаю... Ваш авторитет...

— Не нужно об этом,— остановил его профессор.— Лучше о деле.

— Видите ли, это такой деликатный вопрос... Речь идет о... как их... о мозаиках...

— Очевидно, об альбоме наших киевских мозаик? — быстро добавил профессор, которому сразу в речи Бузины послышалось что-то от того молодого руководителя, с которым он недавно имел беседу.

— Да, да,— обрадовался Бузина,— именно о нашем альбоме. Это необыкновенная ценность, о которой люди должны знать. Не издать такой альбом было бы преступлением.

— Да, это было бы преступлением,— согласился профессор.

— Что бы о нас говорили наши потомки?

— В самом деле, они сказали бы что-нибудь очень злое.

— Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы он был издан.

— Насколько мне известно, никаких усилий не требуется,— спокойно промолвил профессор,— альбом уже отпечатан, и весь тираж лежит в типографии.

— Да, но...— Бузина запнулся, однако сразу же, наклонившись через поддерживаемый резным мавром подлокотник к Отаве, горячо зашептал: — Но ведь там стоит фамилия Паливоды...

— Ну и что? — Отава сделал вид, что ничего не знает.

— Но ведь он враг народа.

— Не знаю, как можно заниматься древнерусскими мозаиками и быть врагом народа. Для меня это — непостижимо!

— Враги коварны!

— Согласен с вами. Но при чем здесь профессор Паливода? Это честный ученый.

— С фамилией Паливоды альбом выйти не может.

— Так что же я могу поделать? — Профессор встал точно так же, как в кабинете молодого руководителя. Но Бузина продолжал сидеть в венецианском кресле. Небрежно похлопывал пальцами по животу дубового фавна, наверняка зная, что профессор отсюда не убежит, как убежал из учреждения, да и зачем он должен был бежать из собственного дома?

— Мне предложили поставить свою фамилию под предисловием,— скромно молвил Бузина.

— Вам?

— Чтобы сохранить мысли профессора Паливоды.

— Но ведь это же не ваши мысли, а профессора Паливоды!

— Имя ничего не значит. Для человечества главное — ценность. Авторством никто никогда не интересуется. Разве не все равно, кто изобрел колесо?

— Хорошо. Предположим, что я разделяю ваш цинизм. Но ведь профессор Паливода — враг народа!

— Да.

— А раз он враг, значит, и все его мысли — вражеские! Зачем же их сохранять? Тогда напишите сами предисловие и комментарии! — Отава откровенно издевался над Бузиной. Да не на того напал.

— Мысли могут иметь объективную ценность, даже если они принадлежат врагу.— Видно было, что Бузина хорошо подготовился к беседе с профессором.

— Тогда я не понимаю, зачем вы пришли ко мне.

— Чтобы попросить у вас совета.

— Но ведь вы согласились поставить свою фамилию вместо фамилии профессора Паливоды?

— Я должен дать ответ завтра. Поэтому и пришел к вам как к старшему товарищу, чтобы посоветоваться.

— Я вам не советую.

— Не могу с вами согласиться, товарищ профессор,— теперь поднялся и Бузина,— вы же сами только что... ваши иконы... Разве это не свидетельство?.. Быть может, мое имя тоже как олифа на иконе одиннадцатого столетия... Оно защитит величайшую ценность.

— Вы думаете, что и его когда-то соскребут и обнаружат под ним имя профессора Паливоды?

— Речь идет о самой сути дела, а не об именах. Нужно сохранить то, что есть. Нужно по-государственному смотреть на вещи. Есть мысли, они не должны пропасть. Вот и все.

— Итак, вы хотите поставить свое имя под чужим трудом?

— Вы меня убедили в целесообразности такого действия.

— Но ведь...— Отава не способен был произнести ни слова, потрясенный таким неслыханным нахальством, не зная, стоит ли продолжать спор с этим удивительно циничным человеком, указал Бузине на дверь: — Прошу вас. Нам больше не о чем говорить!

Бузина поставил свою фамилию, альбом вышел в свет. Его хвалили, хвалили и Бузину, и он, кажется, даже продемонстрировал какую-то там скромность, потому что не выскакивал ни в кандидаты, ни в доктора наук, так и остался младшим научным сотрудником; единственное, чего он пожелал,— это перейти в отдел профессора Отавы, что и было для него сделано, без согласования этого с руководителем отдела.

Но Бузина и не надоедал своему руководителю. Науку он бросил окончательно, потому что и раньше имел слишком мало с ней общего, зато весь свой запал направил на организаторство. Куда-то бегал, кого-то уговаривал, сплачивал, моби-

лизовывал, заседал, и вот когда на страну обрушилось такое огромное несчастье, как война, когда одни сразу пошли на фронт, другие испугались, третьи растерялись, Бузина, который наравне с профессорами откуда-то раздобыл для себя «бронь», оказался самым уверенным, сохранил наибольшую выдержку и сразу же стал называться в институте непривычным и не совсем понятным словом «эвакуатор».

Но, вероятно, профессор Отава был не совсем справедлив в своих мыслях о Бузине. Просто завидовал, что тот все-таки смог выехать из Киева, а вот он носился со своими иконами, как дурень со ступой, пока не попал в лапы фашистам. В самом деле, кому нужны какие-то иконы, когда гибнут целые государства? Поздно понимаешь, слишком поздно. Только после того, как сам бросил иконы, библиотеку, все, все, даже о соборах забыл на некоторое время, схватив за руку Бориса, с такими же самыми, как и он, пытался убежать из окруженного Киева. Через Днепр пробраться не мог, поэтому бросился по старинной дороге на Васильков, где в селе жила старшая сестра его бывшей жены. Хотел спрятать Бориса. Поздно спохватился. Слишком поздно!

Мотоциклисты в длинных жестких плащах обогнали их с двух сторон, заставили броситься с дороги врассыпную по полю. Отава толкнул Бориса в кусты, крикнул ему: «Пробирайся к тетке!», а сам, чтобы отвлечь врагов от сына, поднял руки и, спотыкаясь, пошел навстречу мотоциклистам.

Его погнали назад в Киев по той самой дороге, по которой когда-то князья отправлялись на печенегов и половцев и по которой, бывало, бежали в свой великий золотой город.

Он никуда не бежал. Оказался в лагере, месяц слушал ужасную музыку расстрелов в киевских ярах, а теперь получил себе в награду своего научного «коллегу».

Отава переоделся в чистую одежду, что-то съел, даже не разобравшись толком, чем накормила его бабка Галя, равнодушно прошел мимо стен, увешанных иконами (в самом деле, из квартиры ничего не исчезло), остановился в кабинете у окна, растерянно потер щеку. Что же дальше? Что?

По улице проезжали немецкие машины, легковые и грузовые, тянулись конные упряжки (крытые крепкие фургоны, откормленные бельгийские тяжеловозы, мордатые возницы в жестких зеленоватых плащах), по тротуарам тоже шли немцы, солдаты, реже офицеры, а киевлян почти и не было видно, а если и проходила какая-нибудь женщина, или пробегал ребенок, или двигался, прихрамывая, старик, то почему-то все

они держались не тротуаров, как это всегда велось, а булыжной мостовой, им вольно было идти лишь по мостовой, будто коням, и они, боязливо оглядываясь, опасаясь машин, коней и людей, имевших оружие в руках, старались как можно скорее пройти куда нужно, исчезнуть с глаз, они с радостью провалились бы сквозь землю, если бы могли, но земля держала их, крепко держала, и они вынуждены были терпеть надругательства, им суждено было выпить горькую чашу унижения и притеснения, и хорошо, если кто-то пил ее по своей собственной вине, как вот он, Гордей Отава. А если не по собственной?

И тут, среди загнанных на мостовую, он увидел своего сына Бориса. Сначала даже и не узнал его,— такой придавленной, съеженной была фигура сына. Мальчик прыжками, искоса поглядывая через плечо на окна отцовской квартиры, пробежал вниз по улице, пробежал так быстро, что Гордей Отава, уже узнав Бориса, не успел даже подать ему какой-нибудь знак, а лишь удивился странному поведению сына. Бежит мимо дома, ничего не видит. Куда, зачем? А Борис, где-то свернув, уже бежал назад, но теперь ему приходилось бежать в гору, поэтому он приближался медленнее и как-то словно бы дольше задерживал взгляд на окнах, за одним из которых застыл его отец, и уже теперь Гордей Отава решил во что бы то ни стало воспользоваться случаем, он яростно замахал обеими руками, он даже подпрыгнул несколько раз и даже беззвучно закричал Борису: «Не бойся! Домой!» И мальчишка увидел сигналы отца и, видимо, поверил, что опасности нет, ибо кому же он еще должен был верить, если не отцу. Точно так же, зигзагами да вприпрыжку, он свернул к дому и через несколько минут должен был стоять перед входной дверью квартиры.

Профессор Отава на цыпочках украдкой прошел по коридору, беззвучно снял цепочку (видела бы бабка Галя!), повернул ключ в замке, прислонил ухо к двери, ждал шагов Бориса на лестнице.

Но ждал напрасно. В доме стояла тишина, как в гигантском мертвом ухе. Отава переступил с ноги на ногу, сердце его билось все громче и громче. Словно хотело наполнить своим стуком притаившуюся мертвую тишину каменных ступенек.

И вдруг все вокруг вздрогнуло, издало болезненный звук, сотрясло лестницу, пол под ногами, стены. Снизу, с самого дна странного вестибюля, ударилось о камень одно-единст-

венное слово «отец», слово-отчаяние, слово-вопль, слово-осуждение. Отец, отец, как же так? Почему? Как ты мог?

Отава толкнул всем телом дверь и полетел вниз по ступенькам. Еще не добегая, увидел, как двое эсэсовцев скручивают руки Борису, тянут его к выходу. Поменялись ролями. Тогда он пошел к мотоциклистам, чтобы спасти сына, теперь сам спасся ценой неволи сына. Ослепленность, нашедшая на него при страшном выкрике «отец», мгновенно исчезла, он знал, что ничем не поможет Борису, если сейчас бросится прямо на солдат, если даже задушит или перегрызет горло одному из них, но и отдать сына без борьбы тоже не мог, должен был спасать его, спасать любой ценой. Поэтому Отава круто повернулся и, в несколько прыжков одолев марш ко второму этажу, застучал кулаками и ногами в двери академика Писаренко, в тяжелые дубовые двери, украшенные точно такой же бессмысленной и бездарной резьбой, как и дверь его квартиры.

По ту сторону торопливо простучали сапоги, дверь открылась, разъяренный солдат в расстегнутом мундире, с черным клеенчатым фартуком на животе выскочил к Отаве.

— Профессора Шнурре! Немедленно профессора Шнурре! — не давая возможности солдату раскрыть рот, панически закричал Отава, а поскольку солдат, не меняя выражения своего лица, видно, не собирался звать своего хозяина, Отава хотел было оттолкнуть его в сторону и бежать прямо в квартиру, но тут в другом конце длинного коридора появился по-домашнему в длинном халате и в тапочках на босу ногу встревоженный Адальберт Шнурре.

— О-о, профессор Отава, коллега! — еще издалека подал он голос.— Вы ко мне? Рад, рад...

— Профессор! — Отава никак не мог перевести дыхание.— Там... мой... моего... сын...

— Прошу вас, войдите,— гостеприимно развел руки Шнурре.

— Моего сына... там... ваши... спасите... спасите... ради бога.— Отава выталкивал из себя разрозненные слова, с трудом удерживаясь, чтобы не подскочить к Шнурре и не схватить его за грудки и трясти, пока не стряхнет с него этот покой, это равнодушие, пока не вытрясет из него душу!

— Что? — поднял наконец брови Шнурре.— Ваш сын? С вашим сыном несчастье? У вас есть сын?

— Мальчишку схватили ваши солдаты... Там... внизу... Он шел домой. Я прошу вас.

— Ну, я понял наконец.— Шнурре представлял теперь собой прекрасное сочетание обеспокоенности и доброжелательности.— Курт! Немедленно беги вниз и скажи от моего имени! Что они там себе думают! Это сын профессора Отавы.

Они стояли молча, один по эту сторону, другой с той стороны порога, стояли, пока снизу не послышалось лихорадочное перепрыгивание со ступеньки на ступеньку.

— Я вас понимаю,— сказал Шнурре.— Поверьте мне. Я сам — отец.

Но Гордей Отава не слыхал его слов, неблагодарно повернулся спиной к Адальберту Шнурре, бросился навстречу сыну, схватил его в объятья, поднял в воздух, несмотря на то что сам был истощенный, а мальчишка уже почти догнал его ростом.

— Ну, я им покажу! — тяжело дыша, говорил Борис.— Я им, этим фашистюгам, дам! Я им еще покажу! Еще отплачу!

Поднялся по лестнице и денщик штурмбанфюрера Шнурре, несмело остановился по эту сторону порога, чтобы закрыть потом дверь, когда начальник уйдет, но Шнурре молча указал ему рукой, пропуская мимо себя. А сам стоял в раскрытой двери и слушал прерывистые слова маленького Отавы, слушал до тех пор, пока на третьем этаже все не умолкло.



Год
1004
ЛЕТО. РАДОГОСТЬ

...и постави церковь, и сотвори праздник велик, варя 30 провар меду, и зозываше болары своя, и посадники, старейшины по всем градом, и люди многа, и раздая убогым 300 гривен...

Летопись Нестора

Длинный-предлинный обоз с клекочущим шумом продвигался в безмолвные леса, подальше от людских жилищ, от дурного глаза. Хлопцы, следовавшие в конце обоза, просто диву давались, откуда такая поворотливость и прыть у толстенного Какоры, под которым аж прогибался гнедой жеребец. Хвастливый купец успевал обскакать свои возы, проверить, все ли на месте, все ли в порядке, резким голосом отдавал необходимые распоряжения, подгонял усталых, ободрял отчаявшихся, снова оказывался во главе похода, весело покачивался в седле, затягивал песенку истых гуляк: «Гей-гоп, гей-гоп, вип'ю чару, вип'ю добру, гей-гоп, гей-гоп, теплу жону обійму!..» Закончив песню, подскакивал к возу со снадобьем, приказывал нацедить ковш меду, выпивал, смачно закусывал, хмыкал от удовольствия так, что невольно казалось, будто ветер пролетает по листьям, опрокидывал еще несколько ковшов, мчался вперед, раздавая по дороге тумаки и нагоняи всем, кто попадался под руку, и все должны были молча

терпеть прихоти Какоры, потому что после изрядного питья он становился и вовсе невыносимым.

Сивоок и Лучук плелись позади обоза. Были пешими, на возы присаживаться Какора не велел, чтобы не утомлять коней, разве что где-нибудь там с горы; коней же для хлопцев не дал, хотя и имел несколько запасных, да хлопцы не очень о том и горевали. Привыкли ходить пешком, к тому же хорошо знали, что ни один конный не может потягаться с ними в пущах, где они чувствовали себя как рыба в воде.

Случилось так, что возвращались они в леса, где когда-то, наверное, родились, вырастали, откуда потом убегали в поисках лучшего, но всегда помнили зеленую тишину своего детства, где мало людей, а следовательно, кутерьмы и страхов.

У Какоры было свое намерение, но получалось так, что купец, сам того не ведая, делал доброе дело для хлопцев, и вот они брели в хвосте длинной цепи телег, перед ними стучали колеса, скрипела сбруя, напевал свое «гей-гоп» Какора, они ничего этого не слышали, углублялись в зеленую тишину древнего леса, обменивались взглядами, в которых все было ясно без слов.

Уже давно закончились накатанные и натоптанные дороги, уже не стало людских тропинок, уже и запутанные звериные тропы укрылись в зарослях то справа, то слева, затерявшись неведомо где, а Какора гнал и гнал свой обоз, нагруженный заморскими товарами, глубже и глубже в безбрежность пущи, так, будто для него теперь важно было не получение прибыли за удачный обмен с доверчивыми древлянами, а само лишь продвижение дальше и дальше, в неизведанное, нетоптаное, нетронутое.

Вел своих людей наугад: знал ли он или не знал, куда едет, никто не смел спрашивать его об этом; утомленно шагали кони, все медленнее и медленнее скрипели тяжелые повозки, дремали всадники, а то вдруг словно судорога испуга проносилась вдоль обоза, все вскидывались, хватались за оружие, но немного погодя снова впадали в вялость и сонливость.

Часто на пути у них попадались лесные речки. Ленивые изгибы коричневых, будто старые корни, вод действовали и вовсе обессиливающе. Люди поднимали головы лишь для того, чтобы мигом прийти к согласию об остановке и более длительной передышке. Кони, словно бы догадываясь об усталости своих хозяев, направлялись к воде и жадно пили, даже не разнузданные. Какора немного обескураженно посматривал

на речку, не решаясь загонять своего гнедого в воду, и, пока он бормотал о чем-то, жеребец тоже пил, цедя коричневую влагу.

После передышки Какора велел искать брод. Разъезжались в разные стороны, осторожно пробовали, где мелко, иногда натыкались на новые звериные тропы, потом двигались по этим тропам, а затем вдруг произошло так, что после двухдневной поездки по пуще они очутились на берегу той же самой речки, даже возле того самого брода, через который переходили, но Какора не растерялся, не подал виду, только опрокинул лишний ковш меду и еще громче запел: «Гей-гоп, гей-гоп, теплу жону обнiйму!..»

— Давай удерем,— сказал Лучук Сивооку.— Давно уже чешутся мои ноги дать деру от этого задаваки...

— Я тоже думал об этом с самого Киева,— тихо произнес Сивоок.

— Так вот, как раз здесь и махнем! Нам в пуще раздолье!

— А теперь не хочу.

— Почему же?

— Очень хочется узнать, куда же он движется.

— Да никуда! Пьян ведь! Ничего не видит!

— Все он видит. Только прикидывается таким пьяницей да гулякой.

— Куда же он может добраться? Разве что к трясине.

— А увидим.

— Ох и надоело же мне вот так топать! — вздохнул Лучук.— Полез бы на дерево да спал бы там три дня и три ночи. Ничто мне так не любо, как спать на дереве.

— Потерпи,— успокоил его товарищ.— Мне тоже надоело. Удрать всегда сумеем. А вот найти...

— Да что же тут найдешь?

— Не знаю... Если бы знал... Все равно нам с тобой нужно куда-то идти. На месте не усидим.

Лучук посопел-посопел и молча поправил на спине лук. Он во всем подчинялся своему товарищу, хотя тайком и считал себя более сообразительным. Но пусть! Еще пригодится его сообразительность.

А Сивооком вновь овладело странное упорство. Так когда-то хотелось ему забраться в самую глубину пущи, спуститься в нижайший низ ее, где должно было заканчиваться ее непрестанное, ошеломляющее ниспадание, а когда потом случайно оказался там, в царстве лесных властелинов — ту-

ров, то вынес оттуда пьянящее ощущение молодецкого буйства, как у молодого Рудя, а вскоре это ощущение оттеснилось другим: Сивоок почувствовал свою мизерность и слабость, увидев дико закостеневшую силу Бутеня, который одолел Рудя, даже будучи раненным...

Какора почему-то напоминал Сивооку старого тура. Чтобы помериться с ним силой, требовалась не только лихость, но еще и разум. Пока купец знал больше всех, пока возвышался над всеми своими знаниями, нечего было и думать состязаться с ним. Бежать? Это легче всего. Но попытаться дойти туда, куда стремится Какора, казалось Сивооку загадочно привлекательным и волнующим. А что, если купец в самом деле задурил себе голову медом и кружится в пущах только по глупости своей?

Иногда обоз выезжал на большую поляну, покрытую таким густым солнцем, что звенело в голове от неожиданности. Старые седые птицы, испуганные шумом похода, тяжело взлетали над поляной, и их медленный крик навевал тоску по свободным просторам. Но купец гневно бил в бока своего жеребца, гнал его в заросли, и обоз тоже втягивался туда длинным-предлинным змеем, и напуганные крики старых седых птиц доносились до обоза, будто с того света.

Хотя стояла невыносимая жара, земля под ногами становилась все влажнее и влажнее, уже вода выступала в конском следу, а потом и в людском; лес даже для неопытного глаза становился все реже и реже, так, будто Дажбог лишил его своей опеки, и деревья хирели без души Дажбога и становились все мельче и мельче, росли искривленно и покрученно, шли врассыпную, перемежаясь с кустами, высокой сочной травой, мягкими болотистыми зарослями — все видимые признаки близкой топи и трясины.

Какора первым приблизился к началу лесного болота, гнедой жеребец испуганно попятился от коварно вздрагивающей долины, чей-то неосмотрительный конь вскочил передними ногами в зеленую трясину, рванулся назад, разбрызгивая на девственную зелень комки черной грязи. Испуганный крик прокатился вдоль обоза, но купец не дал времени на раздумья, беззаботно махнул рукой и погнал своего жеребца вдоль кромки болота, направляясь в объезд.

Объезжали болото несколько дней, но не было ему ни конца ни края. Кое-где попадались среди трясин бугорки, заросшие деревьями, на них даже можно было перескочить на конях, но дальше эти пригорки терялись, болото снова тянулось

ровно, однообразно, всадники возвращались назад, молча становились на свои места, двигались дальше.

Какора не только не впал в отчаяние от безнадежного движения вдоль трясины, но, наоборот, стал еще веселее. Он громче напевал свое «гей-гоп», молодо вертелся в седле, будто это был не грузный мужчина, который, казалось, может быть раздавлен собственной тяжестью, а молодой беззаботный гуляка.

Беззаботность и показная сонливость во взгляде не помешали купцу заметить падение духа его спутников, он время от времени подзывал к себе своего рыжего стражника Джурилу, который должен был быть его первым помощником, бросал ему несколько слов, тот возвращался назад, подгонял то одного, то другого, непременно подскакивал к хлопцам, напирал на них грудью своего высокого коня, словно бы намеревался растоптать их, и покрикивал:

— Не отставать, доходяги!

Сивоок угрожающе поднимал свою палку, делал вид, что протягивает руку к уздечке коня, и Джурило с проклятьями отскакивал от ненавистных ему отроков.

Ночью разводили огромные костры, чтобы отогнать холодную мглу, клубившуюся с близких болот, спали тяжело и тревожно, просыпались на рассвете с ворчанием и проклятьями, один лишь Какора, пропустив натощак ковшик меду, молодо и весело начинал свою бесконечную песенку и гнал обоз дальше.

Лучук никогда не оставался у костра, уговорил и Сивоока спать с ним вместе, удобно расположившись высоко в ветвях. Они взбирались на дерево, кое-как поужинав, норовили выбрать дерево и взобраться на него незамеченными, а там уж радовались своей недостижимости и безопасности, спать могли сколько угодно, потому что, даже проспав предрассветную кутерьму, догоняли потом обоз, идя по его следам.

В одну из таких ночей, расположившись между упругими ветвями в густой, разросшейся вширь на вольной воле ольхе, хлопцы уже начали было засыпать, как вдруг оба встрепенулись, почувствовав чье-то приближение к их дереву. Сивоок прикоснулся пальцем к ладони Лучука, призывая его к тишине,— Лучук ответил ему прикосновением столь же тихим, они притаились, начали прислушиваться. Было слышно, что к ольхе подошло трое. Ступали они мягко и осторожно, но от чуткого слуха юных лесников никто не мог утаиться. Сивоок и Лучук слышали даже, как один из пришельцев

прислонился спиной к стволу ольхи и тернулся о дерево, видимо выбирая удобное положение; его спутники стояли в сторонке, тем самым, видимо, отдавая преимущество третьему. Наверно, именно он и заговорил, а те молчали, только слушали, потому что ни единым звуком не прерывали его, и хлопцам слышен был лишь голос третьего.

— Как только все уснут, так и начнем,— сказал этот третий голосом слишком уж характерным, будто переплевывая слова через губу в своем нескрываемом пренебрежении к собеседникам и ко всему, что было вокруг.— Довольно уже! Надоело! Загонит он нас прямо в болото! Сам не ведает, чего хочет. Нет больше моего терпения, а вам и того больше! Коней всех заберем. Чтобы и гнаться за нами не на чем было. Его жеребец вельми приучен к своему хозяину, его нужно зарубить! Двух отроков, которых он подцепил в Киеве, непременно найти, я с ними сам... Их оставлять нельзя: больно уж сообразительные да всевидящие — наведут на наш след... А тебе...

Они еще не верили, что это был голос Джурилы, ибо никак не вязалось, чтобы первый сообщник купца да замышлял такое тяжкое предательство, но когда он вспомнил о них, то все сомнения исчезли: да, это Джурило!

Хлопцы не испугались его угроз, потому что надежно были спрятаны от всего мира, они продолжали лежать в своем укрытии, притаив дыхание и вслушиваясь в негромкий разговор внизу.

— А найдем ли дорогу? — спросил один из заговорщиков.

— По следам пойдем,— коротко бросил Джурило.

— Где-то уже и следы стерлись на сухом,— рассудительно добавил третий,— много дней прошло...

— Коней пустим, они выведут из пущи,— прервал его Джурило,— конь всегда сумеет вернуться, лишь бы никто не мешал ему...

— А если... — снова заканючил один из заговорщиков, но у Джурилы, видно, не было охоты на разглагольствования, внизу что-то звякнуло, послышался глухой удар, так, как если бы кого-то ударили по спине.

Джурило приглушенно засмеялся, подавляя нетерпеливую злость, сказал почти спокойно:

— Довольно, скажите своим, пускай прикидываются спящими, а как только начнут гаснуть костры, так и айда! Коней тут не оставлять! Тебе — гнедого! Ты поможешь мне

найти доходяг... С собой брать только золото и серебро да немного еды. По дороге еще раздобудем. Ну, за дело!

Они, осторожно ступая, направились в темную болотную мглу — и ничего не стало, так, словно и не слышали хлопцы и не ведали. Немного полежали, сдерживая дыхание, потом Лучук прошептал:

— Что же делать? Сказать Какоре?

— А ежели он один или с двумя-тремя остался? — спросил Сивоок.— А все — в кулаке у Джурилы? Убьет Джурило всех, и нас с тобою.

— Что же ты советуешь?

— А не знаю еще,— произнес Сивоок и долго лежал, углубившись в думы, а Лучук не мешал ему, поскольку оказалось, что ничего толкового не умеет посоветовать. Все же не удержался, захотелось показать, что есть у него перевес в быстроте над медлительным Сивооком. Снова шевельнулся, толкнул локтем товарища под бок:

— А что, если пойти за ними следом и, как только они станут на ночлег, угнать их коней?

— И что?

— Ну и вернуться к купцу с конями. А те пешком не догонят. Да и побоятся.

— Не знаю.

— Сделаем! — загорелся Лучук.— Пускай Джурило покрутится!

— А как же ты успеешь за ними? Они ведь быстро будут удирать.

— Как? Ну...— Лучук задумался, но быстро сообразил: — А мы пойдем впереди! Вот сейчас и тронемся. Пока они тут соберутся, пока двинутся, мы уже будем вон где! Ежели и обгонят нас, то на их ночлег мы будем уже снова рядом с ними. Ну?

— Постой,— сказал Сивоок,— дай подумать... Не ведаю, как с конями...

— Погоним, да и все!

— А как ты погонишь их? Пойдут ли они?

— Почему бы не пошли? Свяжем их в две связки — да и айда.

— Не пойдут кони,— уперся Сивоок.

— Почему бы должны не идти, ежели будем подгонять!

— Ты пробовал вести сразу несколько коней на одной веревке?

— Ну и что с того, если нет!

— А то, что будут они тянуть в разные стороны, а третий упрется на месте, четвертый начнет ржать, а остальные будут кусаться... В самый раз, чтобы Джурило со своими подоспел и...

— Ой ты! — испуганно вздохнул Лучук.— Что же делать?

— А еще: если бы хоть бежать назад, куда кони охотнее идут, чувствуя выход из пущи на волю, а в дебри ты их не погонишь никакой силой,— добивал его надежды Сивоок.

— Беда, беда! — чуть не плакал Лучук.— Так давай хоть сами убежим!

— А теперь и вовсе поздно. Если бы тогда, когда ты сначала советовал, то ничего. А теперь не годится. Одно, что далеко уже забрались, а другое: знаем коварство Джурилы, не можем так оставить, нехорошо это!

— А не ведаю, что можно...

— Вельми хорошее дело посоветовал,— сказал ободряюще Сивоок, но Лучук все глубже впадал в отчаяние.

— Где уж там! — простонал он.— Ничего не выйдет!

— Тронемся сразу, как ты сказал,— не обращая внимания на его отчаяние, предложил Сивоок.

— Зачем?

— Увидим.

— Все-таки хочешь вернуть коней?

— Не знаю. Побежим, а там видно будет...

Хлопцы осторожно спустились с дерева, украдкой обошли спящий обоз вдоль кромки болота и изо всех сил помчались назад, по следам своих многодневных странствий.

Они сразу же вспотели, хотя и расстегнули корзна и сорочки, в темноте часто спотыкались то о корни, то просто о ветви, наползающая с болот тяжелая влажность с разгона забивала им дыхание. Сивоок, более крепкий телом, широкогрудый, бежал все-таки легко, а Лучук, более привыкший лазать по деревьям, неуклюже плелся за своим товарищем, с трудом переводя дыхание: «Хе-хе! Хе-хе!»

Когда миновал первый испуг, а позади уже не было ни огней, ни шума лагеря, и вокруг окутывала все темнота, да лес, да близкие болота с липкими испарениями, хлопцы замедлили бег и двинулись рысцой, более спокойно. Лучук, еще и не отдышавшись как следует, попытался заговорить с Сивооком, потому что очень уж хотелось знать, как же он думает действовать дальше, когда настигнут их беглецы Джурилы.

— Догонят нас, что тогда? — тяжело дыша за спиной у товарища, спросил он.

— Не догонят, услышим их,— спокойно ответил Сивоок.

— А ежели услышим, что тогда?

— Взберемся на дерево.

— И что?

— Встретим их.— Сивоок был так спокоен, что Лучук даже попытался забежать наперед и заглянуть ему в лицо. Но темнота была такая, что все равно ничего не увидишь.

— Как же мы их встретим?

— Не знаю.

— Вот так да! — разочарованно воскликнул Лучук.— И я не знаю. Так кто же знает? Куда бежим?

— Хочешь отдохнуть? — спросил Сивоок.

— Да нет, я хоть три дня могу бежать.

— А я бы уже и передохнул малость,— сказал более сильный, жалея своего слабого товарища.

Лучук промолчал, побоявшись возразить, но и не настаивая на остановке. Сивоок свернул немного в сторону, остановился возле темного дерева, оперся о его шершавый ствол спиной, схватил подбегающего Лучука в объятия, будто малое дитя.

— Да я! — куражился Лучук, хотя на самом деле еле передвигался уже.

Стояли они недолго. Хотя ноги у них подгибались от усталости, хотя струился по всему телу горячий пот, хотя очень жаль было бросать опору за спиной и снова мчаться вперед, давясь едкими болотистыми испарениями, но речь шла не об усталости и трудностях — речь шла о делах очень важных, рядом с которыми все меркло и теряло свое значение.

— Нужно бежать,— сказал Сивоок,— и как можно скорее. Чтобы не настигли они нас в темноте.

— А разве это не все равно? — не понял его намерений Лучук.

— Если будет рассвет, ты сможешь их стрелами хорошенько угостить. А в темноте что? Посвистишь вослед?

— Я такой, что и средь ночи попаду! — похвалялся Лучук, которому хотелось еще хотя бы минутку посидеть возле дерева.

— Не можем рисковать,— рассудительно промолвил Сивоок,— их много.

— А может, и нет.

— Много. Знаю.

— Что ж, ежели догонят еще до рассвета?

— Пропустим и пойдем следом. Где-то их настигнем.

Они побежали дальше. Снова рванули изо всех сил, но быстро устали и еле плелись рысцой, правда, теперь уже молча. Иногда Сивоок немного сбивался со следа, сворачивал то влево, то вправо, но Лучук сразу же наставлял его на правильный путь, потому что чувствовал дорогу самими подошвами ног, ему не нужно было даже на землю смотреть.

Такой долгой ночи, наверное, еще не было ни у одного из них за всю жизнь. Бежали в черноту, углублялись в такую беспросветность, будто погружались в болотные дебри. Тьма еще больше усиливалась от тишины. Не слышно было ни шелеста листьев, ни криков ночных птиц,— одно лишь пошаркиванье мягких постолов по твердой лесной земле да свистящее дыхание. Красные круги изнурения раскручивались у них перед глазами с каждой минутой все быстрее, с каждой минутой все напористее, все яростнее. Возникали из темноты и во тьме исчезали. Красная чернота и черная краснота. А на их место наползали мохнатые ужасы, страшные духи ночи, ужасные видения, ночь щедро рождала всякие ужасы в пущах и болотах, эти ужасы подступали к ним со всех сторон нагло и зловеще, то бросались под ноги каменно-твердым корнем дуба, то хлестали по лицу упругой веткой, то пугали прикосновениями чего-то отвратительно скользкого. И чем дальше бежали хлопцы, тем меньше знали они, ради чего бегут: то ли ради какого-то дела, то ли просто сдуру, или же от жуткого испуга, от которого просто невозможно убежать...

Спас их рассвет. Кто-то швырнул вверх немножко бледности, вмиг исчезли души леса, над лесом показалась полоска неба, и сам лес сразу словно бы раздвинулся, стал просторнее, звонче, и близкие болота отодвинулись куда-то подальше, и земля под ногами потвердела.

— А цыц! — остановился внезапно Лучук и, малость постояв, тяжело дыша, упал на колени и прислонил ухо к земле.

— Слышно? — спросил Сивоок, изо всех сил пытаясь прикидываться спокойным.— Что слышно?

— Конский топот,— сказал Лучук.

— Вот и хорошо.

— Боже Свароже, помоги коней угнать,— торопливо забормотал Лучук.

— Кони — что! Джурилу нужно свести со света.

— Это уж моя забота,— Лучук погладил свой лук.

— Ну, айда выбирать дерево,— предложил Сивоок.

— Сам выберу.

Сивоок смолчал, потому что теперь хозяином положения был Лучук.

— Мне тоже вместе с тобой или же на другое дерево? — спросил Сивоок почти послушно своего товарища.

— Как хочешь. А впрочем, лучше уж нам быть вместе. Так веселее.

Чего-чего, а веселья здесь было меньше всего, но оба попытались улыбнуться. В холодном свете раннего утра лица их были серые, аж синие, длинный изнурительный перегон по ночному лесу как-то снял с их фигур и лиц обретенную за последнее время взрослость, и теперь наружу выступило детское, беспомощное и незащищенное.

Они выбрали высокий ветвистый дуб, под которым, кажется, должен был проводить свой мятежный обоз Джурило, без видимой охоты и торопливости полезли вверх, долго искали дубовые ветви, еще дольше располагались, так что чуть было не пропустили удобный момент, потому что беглецы появились из-за деревьев совершенно неожиданно и гнали вперед так быстро, что Лучук едва успел приладить стрелу и натянуть тетиву, но выстрелил уже не в лицо Джуриле, как предполагал это сделать, а почти вдогонку.

Тетива тихо звякнула, черная стрела хищно метнулась вниз, чтобы разом покончить с рыжим верзилой. Джурило ехал быстро, но стрела летела еще быстрее, она должна была настичь его сразу, и он сразу должен был повалиться навзничь, или же упасть на гриву коня, или сползти набок, но стрела уже, видимо, настигла рыжего, а он все так же покачивался на своем жеребце, удаляясь от дуба и от своей смерти; он словно бы не ехал, а отплывал, отодвигался, неслышно, беззвучно, конские копыта били о землю глухо, мягко, будто обмотанные мхом; все происходило, словно в зловещем сне, ночь хищных прав не хотела заканчиваться, она продолжалась существованием Джурилы, хотя должен он был быть мертвым; но не было времени для удивления, Лучук быстро пустил новую стрелу, которую приготовил для кого-то другого, снова на рыжего, но и от этой не произошло ничего, кроме разве того, что Джурило оглянулся и что-то крикнул своим, из чего можно было заключить, что обе стрелы попали в него, но не убили. Сивоок понял: на рыжем — заморский панцирь.

— Бей остальных! — прошептал он Лучуку.— Рыжего не возьмешь!

Лучук ударил одного, другого, третий испуганно рванул своего коня в чащу, еще несколько натолкнулись на тех передних, которые валились с коней. Лучук воспользовался случаем, чтобы сразить еще двоих. Джурило, вместо того чтобы броситься на выручку своим, изо всех сил помчался подальше от страшного места; уцелевшие пошли врассыпную по лесу, тогда Сивоок, не боясь угрозы столкновения с озверевшими от страха заговорщиками, просто упал с дерева в самое скопище коней и убитых всадников, схватил одного коня за уздечку, выдернул его из свалки, вскочил ему на спину, бросился ловить других коней, не прислушиваясь ни к стонам конским, ни к топоту беглецов.

Ему удалось поймать еще двух коней, но и это было хорошо, если принять во внимание их неожиданную неудачу с Джурилой.

— Кто же мог знать, что он прикрыл свое пузо,— бормотал Лучук, неумело усаживаясь на самого маленького коня, потому что к высокому боялся даже подходить.— Если бы знал, я бы в затылок целился! Или в ухо!

— Темно ведь,— попытался прервать его похвальбу Сивоок.

— А мне все равно! Вижу и сквозь темнейшую ночь!

— Давай-ка поедем поскорее. Хорошо, хоть так вышло. Лишь бы только Джурило не надумал броситься нам вдогонку.

— Просверлю стрелами всех до единого! — хвастал Лучук.

— Да верю. Ты у меня такой хороший брат, что без тебя не знаю, как бы и жил.

— То-то и оно,— гордо промолвил Лучук.— Ты только не гони коня, а то у меня в животе все переворачивается.

Кони пошли легкой рысцой, нога в ногу, но Лучуку все равно было трудно с непривычки и неумения, он клонился то в одну сторону, то в другую, его подбрасывало, сдвигало назад, не успевал он выпрямиться, как снова оказывался в опасном наклоне, был уже мокрый насквозь, дрожали у него руки и ноги и все тело билось в лихорадке от предельной усталости и бессилия. Однако попросить товарища, чтобы тот остановился для передышки, Лучук не решался. Да и зачем? Сами бежали через весь лес, почти не останавливаясь, а теперь ведь на конях! Но если уж по правде сказать, то Лучук

готов был всю остальную свою жизнь бегать пешком по всей земле, лишь бы только не садиться на это округлое существо, на котором невозможно ни удержаться, ни успокоиться, ни отдохнуть! Что это за езда, если ты только и думаешь, чтобы не упасть, чтобы не опрокинуться через голову или не плюхнуться набок, куда тебя так и клонит неодолимая бесовская сила!

Но, впрочем, обратный путь, хотя и был насыщен муками для Лучука, оказался намного короче, нежели это было ночью. Сивоок, несмотря на свою молодость, не раз и не два имел уже возможность убедиться в том, что к счастью и добру путь всегда очень длинный, а к беде — всего лишь шаг.

Они подъехали к обозу купца в тот момент, когда солнце еще только поднималось где-то за пущей. Бросилась в глаза безлюдность, заброшенность обоза, беспорядок, тишина. На многих возах видны были отчетливые следы ограбления, остальные, хотя и не были затронуты, выглядели грустно и беспомощно.

Нигде никого. Наверное, те, кто сохранил верность Какоре, тоже ушли отсюда вместе со своим перепившимся грузным хозяином, надеясь пробиться к людским поселениям и раздобыть хоть каких-нибудь лошадок для спасения неисчислимых богатств, брошенных теперь у кромки болота.

Сивоок еще сидел на коне, а Лучук, радуясь, что муки его закончились, поскорее скатился на землю, шагнул окоченевшими, избитыми ногами туда и сюда, приблизился к одной из главных телег, зачем-то прикрытой дорогим покрывалом так, словно бы здесь кто-то надеялся на хороший торг и заманивал покупателей. Разминаясь, медленно ощущая блаженство хождения по земле на собственных ногах, Лучук от нечего делать задел двумя пальцами кончик этого покрывала,— видимо, желая показать товарищу заморское диво, вытканных золотом крылатых зверей, разбросанных по ткани, необычайные цветы и листья, которых невозможно было найти в самых отдаленных здешних пущах,— но стряслось неожиданное и страшное.

Покрывало, которым была накрыта вся телега, от одного лишь прикосновения пальцев Лучука рванулось вверх, из-под него раздался по-звериному жуткий рев, сверкнул широченный меч — и Лучук, рассеченный наискось, тихо повалился под колеса.

— Ты что? — закричал Сивоок, еще не постигнув до конца всего ужаса случившегося, еще не узнав как следует Какоры,

и рванул коня прямо на купца и огрел его по голове своей тяжелой дубинкой.

Теперь Сивоок не заботился о Какоре, не боялся его, даже если бы тот и нашел в себе силу снова схватиться за меч,— спрыгнул с коня, бросился к Лучуку.

Тот плавал в теплой своей крови, был уже далеко отсюда, там, откуда нет возврата.

Мертвый.

— О добрые боги и боги злые! Почему вы так делаете? Почему забираете самое лучшее, что у меня есть, а оставляете неведомо что?

Он еще не верил. Прикоснулся к телу товарища, попытался перевернуть Лучука. Тот был тяжелый как камень.

Мертвый.

Сивоок оглянулся вокруг, словно бы ждал откуда-то спасения. Быть может, он думал, что из пущи выступят вилы— чародеи или из болот подоспеют берегини и спасут товарища-брата?

Нигде никого.

Только на телеге, придавливая крылатых зверей, вытканных золотом на покрывале, подминая под себя невиданные листья вышивки, лежал без сознания Какора, и возле его тяжелой руки зловеще посверкивал широкий меч с темнеющими полосами крови Лучука на лезвии.

Сивоок в ярости вскочил на грудь купца, принялся тормошить его, пытаясь привести в сознание, кричал в его замутненное беспамятством лицо:

— Что ты наделал? Что ты натворил? Ты, злодей проклятый! Убийца! Негодяй!

Сивоок продолжал без устали тормошить, бить Какору по жирным щекам, бить в грудь до тех пор, пока тот не пришел в сознание, зашевелился, протянул руку в поисках меча, попытался стряхнуть с себя разъяренного Сивоока, а поскольку это ему не удалось, он угрожающе махнул рукой, надулся для гневного крика, но вдруг сознание вернулось к нему, он порывисто сел, увидел убитого Лучука, теперь уже отчетливо услышал крики Сивоока и как-то словно бы неловко пробормотал:

— Отрока зарубил... Как же так?

— Ты! Поганец! Сволочь! Тварь! — метался возле него Сивоок, подскакивая то с одной, то с другой стороны, отвешивая ему удар за ударом.— Что ты натворил! Что ты...

— Ну,— бормотал Какора,— разве человек хочет?.. Это

бес водит его рукой... Да успокойся, хлопче... Ну... Разве ж я....

Сивоок сел возле мертвого Лучука и заплакал. Только теперь он превратился в бессильного подростка из далекой темной ночи, одинокого мальчишку на чужой размокшей дороге, залитого слезами мальчика в залитом слезами мире.

— Ну,— еще будучи не в силах спуститься с телеги, бормотал Какора,— ну, чего ты?.. Разве человек что?.. Ну вышло так... А ты не плачь... Какора тебя никогда не... Ты еще не знаешь Какоры. За добро Какора — только добром... Ну... Довольно, довольно... Гей-гоп!

Он легко вскочил на землю, прежде всего подозвал коней, щипавших неподалеку траву, равнодушных к людской крови, которой они вдоволь навидались на купеческой службе, привязал их, потом обнял Сивоока за плечи, немного постоял молча, сказал:

— Похороним его, а самим нужно убираться отсюда. Потому как Джурило... Ты его еще не знаешь. Думал я, что это он вернулся... Если бы я ведал...

Они похоронили Лучука под красивой дуплистой березой: быть может, дикие пчелы наносят в дупло меду, и маленькому бортнику будет сладко и на том свете от золотистого гула.

Затем Какора начал выбирать с телег то, что считал самым ценным, и переносить на передний воз, и наложил так много, что пришлось припрягать еще и третьего коня, потому что двоим было не под силу. Сивоок хотел было обругать купца за жадность, хотел сказать, что нужно бросить все и выбираться отсюда подобру-поздорову, но такое равнодушие овладело им, что он смолчал и мрачно побрел следом за возом, рядом с которым с вожжами в руках шел снова повеселевший Какора.

У Сивоока не было выбора. Он должен был идти вместе со своим, быть может, самим яростным врагом, таким, как и тот неведомый убийца деда Родима или коварный медовар Ситник. Бессмысленно ненавидеть человека и быть его товарищем в пути, но что должен был делать юный Сивоок, затерявшийся среди страхов и чудес большой земли, на которой не было для него нигде убежища?

Болота закончились еще в тот же день, со всех сторон их окружал древний лес, в который боязно было въезжать, но Какора словно бы даже обрадовался, ступив под нависшие шатры вековечной пущи, снова запел свою глуповатую песенку, а Сивоок был равнодушен ко всему на свете, не знал

он ни страха, ни колебаний, оцепенело шагал следом за телегой, молча отталкивал руку Какоры, который подсовывал ему еду, по ночам не спал, даже не ложился, а сидел у костра, и все в нем содрогалось от сдавливаемого неудержимого плача.

По ночам его мучило дикое желание убить Какору, но Сивоок знал, что никогда не сможет преодолеть расстояние, которое отделяло его от уснувшего купца, их разделял не только костер,— между ними пролегала незримо-непроходимая межа, по одну сторону которой была тупая, равнодушная жестокость, а по другую — впечатлительно-чистая юность, для которой мир был словно разрисованный храм, а люди в нем представлялись равными богам и величайшим чудом на земле.

Но почему же так много встречалось среди них такой дряни, как Ситник, убийцы деда Родима, Джурило, Какора? И много ли еще встретит таких Сивоок?

Сивоок никогда не мог простить Какоре того, что он сделал, не подарил купцу ни одного извиняющего взгляда даже тогда, когда тот наконец пробился сквозь извечный лес и на берегу таинственного тихого озера перед ними открылся невиданный древлянский город. Первая мысль Сивоока была не о купце и не о себе,— подумал он о том, как бы сейчас обрадовался Лучук, как бы подпрыгивал он от предчувствия новых див, которые открываются за высокими валами скрытого от всего мира городка.

— Ну! — обрадованно взревел Какора.— Ага! Добрался! Вот так!

Город возникал перед ним словно подарок за тяжкие странствия, за смерти и страхи в пущах, город, исхитренный из дерева, такого потемневшего и тяжелого, будто он насчитывал целую тысячу лет.

Город имел вид необычно огромного треугольника, одной стороной он почти входил в озеро (а может, брел из него), высокие зеленые валы его были укреплены дубовыми клетями, которые выставляли напоказ свои рубленые ребра; ниже, вдоль вала, сплошным гребнем проходил наклоненный вперед частокол из гигантских дубовых бревен, обожженных с двух сторон для предохранения от загнивания и древоточцев; еще ниже, на крутосклоне, выложены были тесанные до скользкости колоды, подогнанные плотно и крепко; одними концами они подпирали частокол, а другими — погружались в мертвую воду широкого рва, окружавшего город с двух сто-

ров, не защищенных озером. Двое ворот вели в город, и были они открыты. А замшелые дубовые мосты через ров неведомо когда и поднимались, потому что опоры их заросли уже по берегам рва густой травой, даже куст лозы рос у края того моста, против которого остановились Сивоок и Какора.

То ли не было в городе людей, то ли так уже беспечно они чувствовали себя, спрятанные в самые отдаленные глубины зеленого дивного мира?

— Гей-гоп! Гей-гоп! — напевал Какора, направляя измученных коней на замшелый мост. — Теплу жону обнiйму! Сладко жону полюблю!

Прогромыхали старые бревна под колесами, дохнуло домашним дымом из-за широких ворот, послышались из города людские голоса, стук и звон, кони, весело помахивая головами, без понукания и покрикивания вынесли телегу в гостеприимно открытые ворота. Какора, горланя свою песню, радостно шагал рядом со своим имуществом, небрежно подергивал вожжами. Сивоок держался чуточку поодаль, словно бы желая подчеркнуть, что он не имеет ничего общего с толстым забиякой, что пришел сюда сам по себе, просто чтобы изведать еще одно место на своей земле, вобрать в свое открытое сердце еще новые дива, которые мир дарил ему так щедро, как и несчастья да горе.

Далеко они и не заехали. Кони внезапно остановились, захрапели, ударили копытами в телегу, принялись рвать сбрую; застыл Какора с открытым для пения ртом; остановился и Сивоок, сначала удивляясь происшедшему, а потом и увидев причину такой перемены. Навстречу им вразвалку шел, поднявшись на задние ноги, огромный медведь, шел молча, раскрывал пасть, выставлял вперед глыбистые передние лапы, с которых свисали грязные космы. Медведь был такой страшный и мохнатый, что даже Сивоок, хотя был далеко и прикрывался от зверя телегой, невольно попятился назад; что же касается Какоры, то у того довольно быстро прошло оцепенение, он рванулся правой рукой к ножнам, выхватил меч и пошел на медведя, почти такой же, как и медведь, огромный, толстый и страшный.

Но откуда-то вдруг высыпала детвора, ободранная и грязная; дети, хотя были худенькими и мелкими, обладали голосами удивительно резкими, они подняли такой визг, что из ближайшей хижины выкатилась невысокая женщина, что-то крикнула, побежала следом за медведем, еще раз крикнула, медведь оглянулся, остановился, взглянул еще раз на мечу-

щихся коней и на толстенного мужчину, наступавшего на него с блестящим железом, грузно повернулся и направился к женщине.

— Твой, что ли? — крикнул Какора.— А ежели твой, так не пускай, а то зарублю! Я такой! Гей-гоп!

Женщина молча смотрела на Какору, на его коней, потом — на Сивоока, смотрела, пока они проехали, и хлопец так и не понял, что это за женщина, почему она так смотрит на них и какими чарами обладает, что ей послушен даже медведь.

Навстречу приезжим выходили люди. В большинстве своем это были женщины, да все маленькие, аккуратненькие молодички, мужчин попадалось мало, были они забитые, немытые, нечесаные, вид у них был дикий и сонный. Никто не носил оружия, одеты они были не в шкуры, а в белую полотняную одежду, у женщин и детей на воротниках и рукавах было много предивных вышивок, мужчины не баловались такой роскошью.

Хотя Какора был здесь впервые, он знал, куда ехать, да и Сивоок бы знал, потому что еще издалека увидел сооружение, которое возвышалось над всеми хижинами и навесами, горело среди потемневшего дерева красками певучими и необычными подобно той киевской церкви, которая так поразила Сивоока.

Видать, то была святыня этих укрытых от белого света людей, святыня, построенная неведомо когда, неведомо кем, потому что не верилось, чтобы кто-нибудь из ныне живущих был способен на подобное строительство и украшения.

Словно бы взял тот, кто-то неведомый, множество крепких липовых бортей, увеличил их до невероятных размеров, украсил извне узорами богов и богинь,— и все это, соединенное в живописное целое, стрельчато возвышается к небу разноцветными крышами, неодинаковыми, как и каждая увеличенная борть.

Сивоок, забыв про Какору, пересек базарную площадь перед святыней, неотрывно смотрел на украшения стен, узнавал еще издалека Родимовых славянских богов и богинь, они повторялись, их лики смотрели на хлопца, будто отраженные в многообразии вздыбленных вод, с ликами и фигурами богов переплетались фантастические фигуры вил и берегинь; стены святыни были сплошной краской, радужной радостью, праздником для глаза. Цветные изображения богов хорошо сочетались с резными, никогда еще Сивоок не видел такой

тонкой резьбы, от этого вся святыня обретала легкость, она как бы провисала над землей в своей разукрашенной невесомости. Сивоок сначала и не понял, откуда это впечатление легкости — то ли от буйности красок, то ли от искусной резьбы, то ли от неодинаковости «бортей», соединенных с такой неожиданной смелостью и умением. Только немного погодя, когда он обошел сооружение наполовину, Сивоок хлопнул себя по лбу: как он мог не заметить сразу! Святыня не стояла на земле. Она поднята была на крепких столбах, коричнево-блестящих, будто рога диких зверей. Когда Сивоок провел пальцем по одному из «столбов», ему и в самом деле почудилось, что это — турий рог, но нигде никогда не было и не могло быть таких рогов, разве что их склеили каким-то дивным таинственным способом, известным только этим людям, как известны им были тайны красоты и цветов. С одной стороны святыня подпиралась зеленым пригорком. Там были двери, которые вели внутрь, но сейчас двери были закрыты, и Сивоок продолжал идти вокруг святыни с другой стороны, пока не очутился снова там, откуда и начал свое хождение.

Детвора помогала Какоре распрягать коней. Неумело и беспорядочно дергали за сбрую, другие тащили коней за повода, еще другие норовили вырвать волос из конских хвостов; дети вертелись под ногами у купца, тот покрикивал на них, наделял тумаками каждого, кто попадался ему под руку, бормотал:

— Кыш! Зовите своих отцов, говорите: гость приехал. Менять начнем! Все у меня есть! Никто и не видывал такого. Ну!

Привязав коней, Какора принялся разгружать телегу; увидев Сивоока, крикнул ему:

— Эй, отроче, помогай!

Сивоок остановился и не мог сдвинуться с места. Теперь он знал: никуда не пойдет дальше с этим толстым убийцей. И удирать не станет,— просто не пойдет, да и дело с концом. Пускай Какора сам попытается выбраться из лесов да болот. Пускай натерпится страху!

— Ну! — крикнул еще раз Какора.

— Не хочу,— впервые за последние дни заговорил Сивоок, и не ненависть была в голосе хлопца, а презрение.

— Гей-гоп! — беззаботно напевал Какора.

Начали собираться люди. Видно, они привычны были к торгу, ибо шли смело, их не тревожили ни глуповатое пение Какоры, ни его товары; не удивлялись они купеческой повоз-

ке, а кони вызывали разве лишь сожаление своей изнуренностью и испачканностью. Создавалось впечатление, что тут перебывало множество разнообразнейших гостей, что все привыкли к ним, хотя и трудно было предположить, чтобы пробивались сюда из широкого мира даже такие отчаяннейшие пройдохи, как Какора.

Первым пришел высокий косматый мужчина с лукаво прищуренным глазом; руки у него были такие длинные, что свисали ниже колен; лицо мужчины излучало насмешливость и хитринку, он остановился в нескольких шагах от купца, хмыкнул, спросил задиристо:

— Что имеешь?

— А что нужно? — вопросом ответил Какора, который хорошо разбирался в покупателях и сразу видел, с кем имеет дело.

— Спрашиваю, что имеешь? — снова повторил мужчина.

— Что нужно, то и имею,— начиная сердиться, ответил купец.

— А не ври.

— Имею такое, что тебе и не снилось,— подогревал его любопытство Какора.

— Ой, хвастун!

— А у тебя? Драные порты да плоть смердючая! — пошел в наступление Какора.— Ну!

— Ох, смешной ты! — захохотал мужчина.— Да у меня...

— А что у тебя?

— Да такое...

— Ну какое?

— Да и дети твои не увидят такого.

— Что же это? Разве что птичье молоко...

— А и молоко.

— Воробья подоил или жабоеда?

— Да и воробья! — Мужчина лениво почесал ногу о ногу, повернулся, чтобы уйти прочь.

— Эй, куда же ты? — испуганно позвал Какора.

— Дак что ж с тобою?

— Постой, что же у тебя?

— Дак у тебя же ничего.

— Не видел же ты, дурак!

— Дак и нечего видеть! — сплюнул мужчина.

— А у тебя что?

— Да такое, что и детям твоим...

Какора, тяжело дыша, подбежал к мужчине, схватил его за руку.

— А ну-ка! Вернись! Не будь тварью безрогой!

Мужчина остановился, потом без видимой охоты направился к телеге купца. Какора тыкал ему под нос то кусок покрывала, то заморской работы меч, то женские украшения из зеленого стекла. Мужчина все это отклонял рукой, щурил глаз, веселился в душе от стараний купца.

— Э,— сказал он,— а белого бобра ты видел когда-нибудь?

— Чего? Что? — не понял Какора.

— Белого бобра, спрашиваю, когда-нибудь видел?

— Белого? Бобра? Врал бы ты кому другому, а не Какоре, добрый человек!

— Дак что ж с тобой разговаривать! — пожал плечами мужчина и снова наладился уходить.

— Ну! — взревел Какора.— Вот осел божий! Да ты говори толком! Бобер?

— Бобер.

— Белый?

— Белый!

— Врешь!

— А ежели вру — так и уйду себе с богом!

— Ну! Гей-гоп! Стой! Что хочешь?

— А ничего.

— Как это?

— А так: не меняю.

— И почему?

— А пускай мне останется.

— Зачем же похвалялся?

— Дак чтоб ты знал, что у меня белый бобер есть, а у тебя нет! — мужчина беззвучно рассмеялся прямо в нос Какоре и теперь уже пошел от купца, не слушая его проклятий и угроз.

— Ну и людишки! — обращаясь снова к Сивооку, почесал в затылке Какора.— Видал такого дурака!

Он снова попытался привлечь к себе дикую душу Сивоока, ибо чувствовал себя, наверное, одиноко и неопределенно, забредя в этот город, который сразу послал на них то дикого ревучего зверя, то лукавого человека, то невероятной красоты святыню.

— Засмотрелся на это диво? — кивнул Какора на храм.— Вот поедем со мной в Царьград, так увидишь там святую Софию, а еще тысячу церквей и монастырей, которых нет

нигде на свете, да золото и камень дорогой, да мусию, да сосуды, да иконы. Держись Какоры — не то еще увидишь!

Снова пришло несколько горожан; теперь были не только мужчины, но и женщины; волосы у них были русалочьи и глаза такие, что утопал ты в них насквозь и словно бы осыпало тебя попеременно то ледяными иголками, то горячим огнем. Какора развеселился, люди подходили и подходили, одни что-то там несли, у других вспыхивали в руках при свете солнца густым ворсом дорогие меха; кто нес мед, кто мясо, уже и не для обмена, а просто для угощения прибывших гостей.

Купец раскладывал свой товар, расхваливал, сыпал словами, приглашал, предлагал, набивал себе цену.

— Ну-ка, навались, берите ромейские паволоки, хоть и самого князя в них можно одеть, не то что ваше полотно, водой моченное, солнцем беленное, а тут одной золотой нитки хватит, чтобы окутать весь ваш город с его валами и частоколами. А это ножи, хоть на медведя с ними, хоть на тура иди — ребра раскроят, голову отрежут при одном взмахе! А тут орех мускатный, из самой Гиндии, за пригоршню семь волов дают. Да и знаете ли вы, что такое волы? А шафран — из самой Персиды, опять же за пригоршню коня нужно отдать. А с вас — то и двух мало будет, ибо никто в такую даль не забьется, кроме Какоры, а Какора — это я. Гей-гоп! А уж перец — это лишь на золото! Вес на вес. Да только где вам взять золото, вы, наверное, и серебра еще не видели. Вон у меня отрок есть, у него на шее медвежий зуб в золото оправлен, гляньте и увидите!

Тогда вышел вперед дебелый мужчина, задрал длинную сорочку и из-за пояса портов достал что-то завязанное в грязную тряпку. Неторопливо развязав свой узелок, мужчина издали протянул на раскрытых ладонях свою тряпочку Какоре; сейчас этот лоскут казался еще грязнее, потому что на нем сверкающим комком, величиной с кулак, лежал золотой слиток.

Какора рванулся к золоту, но, видимо вспомнив о лукавом владельце невиданной белой бобровой шкуры, равнодушно причмокнул и, прищурившись на тихий блеск золота, сказал:

— Хочешь обменять?

Мужчина молчал, и все молчали. Но еще один на такой же самой захватанной тряпке с другой стороны показал Какоре кучку разноцветных камушков, от которых у купца

уже и вовсе хищно загорелись глаза. А там одна из женщин, старая-престарая уже, с потемневшим лицом и увядшей улыбкой, показала Какоре золотую гривну на руке, сделанную в виде тура, который пытается рогами покатить большое золотое яблоко, а задними ногами точно такое же яблоко отталкивает.

— Так как,— пересохшим голосом произнес Какора,— откроем обмен?

— А зачем обмен? — сказала женщина с золотыми яблоками на руке.— Хочешь есть-пить, так бери. Гостем нашим будешь. Что понравится — подарим, да и уходи себе. А мы останемся здесь.

— Не годится так,— сурово сказал Какора.— Обычай всюду такой, чтобы меняться. Ты мне — я тебе. Вы имеете золото, драгоценные камни, а у меня! — он снова кинулся раскладывать товар, доставать оружие, посуду, разные причиндалы, крестики из твердого маслянистого дерева, маленькие иконки на тесемках и тонких верижках.

— Что у нас есть, то нам и останется,— сказал из толпы один из мужчин.— А твое пускай тебе остается.

— Да зачем же оно мне! — изумленно воскликнул Какора.

— А раз оно тебе ни к чему, то нам и тем более,— засмеялся кто-то сзади.

Купец взмок от напрасных усилий добиться толку со странными горожанами. Нацедил из бочонка меду, приник к серебряному ковшу, посматривая своими выпученными глазами на людей, потом долго причмокивал, протянув ковш:

— Ну, кто хочет?

Вперед выступил обладатель золотого слитка, взял ковш, неумело хлебнул, поперхнулся, потом все-таки допил, посмотрел на своих:

— А вкусное! У нас не такое.

— Ге-ге! — с довольным видом похлопал его по плечу так, что тот даже присел, Какора.— Еще и не такое имею. Так начнем обмен! Ты мне золото, а я тебе бочонок меду!

— Да возьми ты его себе, ежели оно тебе так по душе,— просто сказал мужчина и выкатил из тряпки слиток прямо в горсть Какоры, а тряпочку не дал, спрятал снова под сорочку.

— Бери бочонок,— крикнул Какора.— Все бери, что хочешь! Выбирай!

— Да зачем мне? — почесал за ухом мужчина.— Пускай вот она отведает твоего питья...

Он кивнул на молодицу, у которой из-под полотняной со-

рочки выбивались женские прелести. Какора мигом наполнил ковш, со смешным поклоном подскочил к женщине, хотел сам напоить ее, но она оттолкнула мохнатую руку купца, наклонилась к ковшу, пригубила, искривилась.

— Горькое! — засмеялась она и начала смотреть на Сивоока так, будто только что его увидела.

Хлопец зарделся, попытался спрятаться за телегой, но и там преследовал его взгляд молодицы, ее орехового оттенка глаза вселяли в него возбуждение, которого он не знал еще ранее, а может, это просто у него кружилась голова от длительного голода, потому что после смерти Лучука у него еще и крошки не было во рту.

Он обошел коней, очутился среди горожан, на него посматривали доброжелательно и открыто, и он тоже чувствовал себя своим среди этих красивых и таких непривычно простых людей. Какая-то девочка держала в деревянной мисочке вареное мясо. Он взглядом спросил ее согласия и, получив разрешение, взял кусочек мяса, отправил его в рот. С другой стороны кто-то подал ему горшочек с кашей, еще кто-то сунул кружку с питьем, настоянным на травах, видно, хмельным, потому что в голове у Сивоока закружилось еще сильнее, чем от ореховых глаз молодицы, и именно тут оказалось, что сосуд подала она же — молодица с глазами, как сплошной грех.

Она игриво задела его локтем, засмеялась звонким смехом:

— А не осилишь жбан? Что ж ты за муж еси?

— Мал я,— стеснительно ответил Сивоок.

— Ой, гляньте на него! — молодица громко расхохоталась. Забежала с другой стороны, толкнула Сивоока уже сильнее, но парень не сдвинулся с места.— Видели такого малого! — выкрикивала неугомонная молодичка.— А откуда же ты взялся у нас тут?

— Оттуда,— махнул Сивоок рукой в сторону леса.

— Да там люди лишь исчезают,— вмешался в разговор один из мужчин,— а приходить оттуда — невиданное дело.

— Пришли же мы с купцом,— пробормотал Сивоок.— А вы кто такие? Что за город ваш?

— Радогость,— молодичка, видимо, не хотела никому уступать своего гостя.— Город наш Радогость называется, а меня кличут Ягодой. А ты как зовешься?

— Сивоок.

— Почему же так?

— Не ведаю. Видать, из-за глаз.

— А какие же глаза имеешь? Взгляни на меня.

Сивоок вспыхнул до корней волос.

— Посмотри мне в глаза, посмотри.

Но как же он мог смотреть в ее бездонные глаза! Сивоок попытался было выбраться из толпы и спастись хотя бы возле Какоры. Но Ягода была быстрее не только телом, но и мыслью.

— Подожди-ка, поведу тебя к моей тетке,— сказала она,— тетка моя Звенислава хочет тебя видеть. А ей отказывать негоже.

Молодица схватила Сивоока за руку, потащила, расталкивая людей, тарахтела неумолчно:

— Тетка Звенислава у нас в величайшем почете. Потому как в Радогости женщины... Ты не ведаешь еще? Мужчин у нас мало... Исчезают в пущах... Идут и не возвращаются... И никто не может понять, что же это такое... Когда-то у нас были такие мужчины... Ой, такие же!.. А теперь видишь!.. И мой муж не возвратился из пущи... И все нам самим приходится... Вот так и тетке Звениславе... Тетя Звенислава, вот отрок, а зовется смешно: Сивоок.

Они остановились возле той темнолицей женщины, у которой на руке была золотая гривна с яблоками. Сивоок не столько смотрел на старую Звениславу, сколько на ее гривну, ибо ничего похожего еще нигде не видел. Золотой тур с изогнутой спиной, будто Рудь в давнишней своей стычке со старым Бутенем, упираясь задними ногами в огромное золотое яблоко, пробовал покатить точно такое же яблоко лбом. Каждый мускул, каждая шерстинка на туре были отчеканены с подробностями почти невероятными. Кто бы это мог такое сотворить? И откуда привезена гривна? Неужели сюда могли добираться еще какие-нибудь гости, кроме них с Какорой? Ведь и назван город Радогость, видимо, в насмешку над тем далеким и широким миром, который никогда не одолеет тайных и опасных тропинок, ведущих сюда.

— У тебя глаз жадный, как и у твоего купца,— сурово сказала Звенислава, заметив, с каким вниманием всматривается Сивоок в ее гривну.

Хлопец зарделся еще больше, чем раньше от приставаний молодички с соблазнительными глазами.

— Люблю красивое...— пробормотал он.— Был у меня дед Родим... Он... творил богов — Световида, Дажбога, Стрибога,

Сварога... В дивных красках... На глине и на дереве... С малых лет привык...

— Рехнувшийся малость отрок,— прыснула Ягода,— здоровый, как тур, а бормочет про какую-то глину... Ведь это же дело женское... Тетка Звенислава вон...

— А кыш,— прикрикнула на нее старуха,— замолчи, пускай отрок посмотрит и у нас... Жилище наших богов...

— Видел снаружи,— сказал Сивоок,— уже все осмотрел... Чудно и прехорошо... Нигде такого нет, в самом Киеве даже...

— А что Киев? — молвила Звенислава.— Киев сам по себе, а Радогость — сам... Покажу тебе еще и середину, ежели хочешь...

— А хотел бы,— несмело промолвил Сивоок.

— Мал еще еси? — догадалась Звенислава.

— Не знаю, может, шестнадцать лет, а может, и меньше... Дед Родим погиб, а я не ведаю о себе теперь ничего...

— Вот что, Ягода, не приставай к хлопцу,— сурово велела Звенислава.— Приведешь Сивоока потом ко мне, покажу ему жилье наших богов.

Но тут протолкался к ним Какора, пьяный в дымину, раздраженный тем, что не удалась торговля. Услышал последние слова Звениславы и тотчас же ухватился за них.

— А мне? — взревел он.— Почему мне не показываешь здесь ничего? Кто здесь гость? Я или молокосос? Я — Какора! Хочу посмотреть ваш город! Почему бы и нет!

— Хочет, так покажи ему, Ягода,— сказала, отворачиваясь, Звенислава.

Ягода рада была еще побыть с Сивооком, ее не испугала расхристанная фигура купца, маленькая женщина смело подкатилась к Какоре, дернула его за корзно, закричала так, что он даже уши закрыл:

— Ежели так, то слушать меня, и идти за мной, и не отставать, и не приставать, потому что позову мужей, да угостят палками, а у нас хоть мужей и мало, да ежели палками измолотят, то ого!

— Ну-ну! — загремел Какора, пытаясь обнять Ягоду, но наткнулся рукой лишь на пустоту, покачнулся, чуть не упал, попытался прикрыть свою неудачу разухабистой песенкой, сыпал первыми попавшимися словами вдогонку Ягоде и Сивооку, а сам был настолько пьян, что вряд ли и видел что-нибудь.

Шли по городу, и никто им не мешал. Могло показаться, что первые основатели Радогостя выбрали совсем непригодное

место: несколько холмов и глубокие ложбины, при нападении врагов и отпора не дашь, потому что нападающие будут валиться тебе прямо на голову. На главном из холмов стояла святыня, а остальные и вовсе светились наготой, на тощей земле не росла даже трава, зато в балках, где раскинулись хаты радогощан, аж кипела зелень садов, левад и дворов, сверкали там ручьи, а над ними тихо стояли вербы, березы и ольха; между дворами светились полоски ржи, проса и разных овощей; здесь паслась скотина, овцы, кони, в хлевах похрюкивали свиньи. Навстречу им часто попадались люди, и никто не удивлялся, так, словно бы Какора и Сивоок жили здесь постоянно. Какора то и дело покрикивал пьяным голосом на встречных:

— Ну, как ся?

— А так ся,— отвечали ему.

— А почему же?

— А потому же.

— Ну и что же?

— Вот и то же.

— Почему они так молвят? — удивлялся Сивоок, следуя за Ягодой.

— Потому что так с ними речь заводит твой купец,— улыбалась она.

— Так, будто не хотят ничего поведать.

— Может, и не хотят.

— Не верят нам, что ли?

— А все доверчивые ушли от нас. Ушли, да и не вернулись. Остались одни недоверы.

Она дошла до ручейка, неторопливо забрела в воду, принялась мыть ноги, показывая свое соблазнительное белое тело. Сивоок отвернулся, а Какора двинулся к Ягоде, намереваясь ущипнуть ее за какое-нибудь место. Она услышала его учащенное дыхание, своевременно извернулась — Какора неуклюже сел в воду, а Ягода, заливаясь смехом, выскочила на зеленую травку, села, протянула мокрые ноги.

— Отдохнем? — весело воскликнула она.— Потому что ходить нам еще да ходить!

— А не буду больше ходить. Спать хочу,— сказал Какора, который и не обиделся на Ягоду, а только чуточку присмирел.— Завтра доходим до конца.

— Завтра мне уже не захочется,— засмеялась Ягода.

— Так пошли еще к озеру,— зевая, промолвил Какора,

которому, видимо, не очень хотелось бродить по чужому городу в мокрых портах.

— А к озеру нельзя! — сказала Ягода.

— Почему бы?

— А потому!

— Да ты говори!

— А я говорю.

— Глупая девка,— сплюнул Какора,— была бы ты мужем, так я бы тебе хоть голову свернул, а так — только тьфу, да и только!

— Ворота к Яворову озеру только тетка Звенислава может открыть,— пропуская мимо ушей угрозы Какоры, сказала Ягода.

— А что там в озере? — полюбопытствовал Сивоок.

— Боги живут.

— Вот полезу на вал и взгляну на ваше озеро,— пробормотал Какора и в самом деле потащился по крутому склону, на вершине которого темнели полузасыпанные землею, заросшие травой ребристые клети городского вала.

— Пойди, пойди,— равнодушно сказала Ягода.

— Я тоже хочу посмотреть,— взглянул на нее Сивоок, словно бы просил разрешения.

— Ну пойди, а я ноги посушу на солнце,— засмеялась молодичка,— а потом придешь ко мне. Правда же, придешь?

Сивоок ничего не ответил, потому что такая речь была еще не для него, хотя возраст у него был уже вполне подходящий.

Сивоок догнал Какору и обогнал. Первым увидел внизу, под валом, озеро, напоминавшее кривой серп, стиснутый отовсюду такими нетронуто-очаровательными лесами, что они непременно искусили бы к новым странствиям, если бы человек не знал там лиха. Вдоль берегов озера, забредя в черную воду, стояли могучие, многолетние яворы — сизо-черные стволы их поднимали курчавые шапки листьев на такую высоту, что они сравнивались с городом. Между яворами зеленеющими мертво чернели усохшие. Видимо, так окаменевают в вечной неподвижности умершие боги, если только боги могут умирать.

Какора равнодушно скользнул взглядом по озеру, взглянул на узкие мостки, ведшие к воде из низеньких ворот, тех самых, которые имела право открывать лишь Звенислава, загадочная женщина, которая, кажется, у радогощан обладала чрезвычайными полномочиями. Потом купец направил

ухо снова в сторону города. Где-то неподалеку постукивали молоты, так, будто под одним из холмов скрывалось не менее сотни кузниц. Сивоок представил себе, как сидят в уютных, пропахших дымом хижинах мудрые деды и маленькими молоточками куют серебро и золото, выковывают такие гривны, как у Звениславы на руке, а рядом, в черных кузницах, среди зноя и красного пламени, кузнецы изготовляют мечи, куют их в две руки одновременно, и мечи эти должны быть непременно такими тяжелыми и широкими, каким был когда-то меч деда Родима.

— Переночуем, а на рассвете — айда,— совершенно трезвым голосом сказал Какора.

Сивоок сделал вид, что не слышит. Он стоял на валу, среди густой, не топтанной уже, видимо, множество лет травы, смотрел то на Яворово озеро, закованное в объятия лесов, то на город, с его лысыми пригорками-холмами и зелено-кипучими ложбинами, видел внизу, на зеленой мураве, Ягоду с ее маняще белыми ногами, слышал из-под земли звон невидимых молотов, которые ковали где-то тихое серебро, золото и режущее железо, был поднят над миром на этих валах, но и ощущал скованность в сердце, словно эти валы пролегали через самое сердце, и необъяснимая печаль толкала его за эти валы, за ворота, назад, в широкий мир, выйти, вырваться, выбежать, удрать. Вечная страсть к побегу. Откуда и от кого? Разве не все равно?

Но сказал совсем другое:

— Зачем нам торопиться?

— До окончания тепла нужно выбраться отсюда,— сказал Какора.— Должны быть в Киеве до первых холодов. Дорога трудная и длинная.

— Не знаю, пойду ли я,— ответил хлопец.

— То есть как? — купец не сумел даже удивиться этим словам.

— А зачем ты мне нужен? Лучука убил. Мы к тебе с добром, а ты — злом ответил?

— Не ведая.

— Такая у тебя душа нечистая. Не могу я с тобой.

— Заберу,— пригрозил Какора.— Присилую.

— Попробуй.

— А если нет — мечом ударю, как и твоего сопливого...

Он не успел закончить. В Сивооке закипело то непостижимое, что получил он в наследство от деда Родима, он подскочил к купцу, схватил его за корзно и так встряхнул, что тот

полетел торчком и плюхнулся крестом в густую траву. Хлопец встал над ним, сторожко следя за каждым его движением. Когда правая рука купца потянулась к мечу, Сивоок молниеносно наклонился, отбросил руку купца, выхватив у него из ножен меч, и уже спокойно сказал:

— А теперь вставай.

— Так вот же и не встану! — в отчаянии заревел Какора.

— Лежи, ежели хочешь!

— И буду лежать, пока трава сквозь меня прорастет.

— Лежи.

— А ты в аду гореть будешь за то, что душу христианскую погубил.

— Бесовская у тебя душа,— сказал Сивоок и, не оглядываясь, начал спускаться с вала к Ягоде, которая уже обеспокоенно посматривала вверх.

Какора еще немного полежал, потом встал, почесываясь и сквозь зубы проклиная своего спутника, побрел следом за непослушным отроком.

Ягода стояла внизу с поднятым вверх личиком, казалась еще меньшей, чем до этого, зато глаза ее словно бы увеличились до необозримости, заслонили Сивооку весь мир, он уже и не знал, ее ли это глаза или глаза далекой и наполовину забытой Велички или же просто зеленая сочная трава и таинственность лесных зарослей, которые манят его к себе, пробуждают какие-то еще неведомые силы в теле. А когда очутился возле Ягоды и увидел ее настоящие глаза, увидел, как они блестят в ожидании, в искушении всем женским, что только возможно и чего он еще не ведал, то застенчиво отвернулся и пробормотал:

— Глупый купец: боялся, чтобы не наткнуться на меч, когда будет спускаться, вот и отдал его мне...

— У него такое брюхо, что и наткнуться может! — засмеялась Ягода.

— Завтра трогаемся,— неизвестно для чего болтнул Сивоок.

Ягода молчала.

— На рассвете,— добавил он еще.

Ягода молчала.

— Потому как далеко до Киева.

Ягода не промолвила ничего.

— А дорога тяжелая.

— Ну и поезжай себе, чего разговорился,— небрежно сказала она изменившимся голосом.

— Переночуем и — айда,— словами Какоры сказал Сивоок.

— Ночуйте,— уже и вовсе холодно промолвила Ягода.— Поставьте шалаш на торжище да и спите. Тепло.

Тут к ним подоспел запыхавшийся Какора; он еще издалека махал руками, угрожал кулаками Сивооку, но хлопец не дал ему разбушеваться,— протянул навстречу меч, рукояткой вперед, так что купец даже попятился от удивления.

— Не боишься? — вопросительно прохрипел он.

— Отчего бы должен бояться?

— Ну-ну,— вздохнул Какора. Но как только засунул меч в ножны, сразу же ожил и загорланил: — Гей-гоп! Теплу жону обнiйму!

Раздвинув руки для объятий, Какора неуклюже пошел на Ягоду, она вывернулась, бросилась бежать.

— Пошли теперь к Звениславе! — крикнула гостям.— Велела, чтобы привела вас к ней!

— В конце концов, купец должен быть купцом, а женщина — женщиной,— пробормотал Какора, потом увидел Сивоока и добавил: — А молокосос — малокососом.

...У Звениславы двор был обсажен цветами. Ничего, кроме цветов. Краски возможные и невозможные. Тут были цветы даже черные, не было лишь зеленых, да и то, видимо, из-за того, что хватало зеленых листьев. И хата у Звениславы тоже была вся в ярких цветах, снаружи и изнутри; и так напомнило все это Сивооку деда Родима, что ему даже захотелось спросить у старухи— не знала ли она случайно Родима, но вовремя спохватился.

— Любо мне среди этого,— провел он рукой, и старуха улыбнулась, потому что редко ей встречались такие чуткие к красоте души.

— Красивый город,— добавил Какора,— но люд вельми странный.

— Почему же? — спросила Звенислава, приглашая гостей садиться за стол, за которым уже были яства и густые напитки в глиняных, радужной расцветки жбанах.

— А не меняют ничего!

— Видно, не хотят.

— Почему же не хотят?

— Потому как не верят.

— Купец — гость. Ему всюду верят.

— Да только не у нас. Тут доверчивых не осталось. Все ушли и не вернулись.

Второй раз слышал это Сивоок и никак не мог понять, что бы это означало.

— Бог вам нужен новый,— степенно произнес Какора,— христианский бог все сердца склоняет в доверии.

— У нас есть свои боги. От предков достались нам боги, других не желаем.

— Христианского бога славит весь мир,— посасывая вкусный напиток, посланный, право же, не христинским богом, разглагольствовал Какора,— эхо проносится между морями и лесами. А вы сидите в своем городе и — ни с места.

— А что нам?

— Богатство новое добыли бы.

— Нам своего хватит.

— Серебра-золота, дорогих паволок, сосудов.

— Все у нас есть: леса и воды, золото и серебро, хлеб и мясо, рыба и мед, воздух здоровый, земля родючая, лес, дающий мед, воды прозрачные, жены красивые, мужи умелые, кони быстрые, коровы молочные, овцы с мягкой шерстью. Чего нам еще?

— Ну, «чего»,— пережевывая копченого угря, сказал Какора,— человек должен быть человеком, как купец купцом.

— Вот и оставайся, а мы тоже останемся сами собой.— Звенислава кивала прислугам, одетым в длинные белые сорочки, чтобы подкладывали гостям, подливали им, сама же не прикоснулась ни к еде, ни к напиткам. На Ягоду, прошмыгнувшую через комнату, взглянула так сурово, что та исчезла мигом.

— У христианского бога храмы вельми красны,— не в лад выпалил Сивоок, у которого глаза разгорелись от красок, и, наверное, впервые в жизни ему самому захотелось поколдовать с красками и сотворить такое, что и сам еще не знал что.

— Не знаю, какие храмы, потому что и наших богов жилье не хуже,— спокойно сказала Звенислава,— а только ведаю, что тому богу первой поклонилась бабка нынешнего князя Киевского, а жена была коварной и неправой. Ибо когда пришли к ней послы нашей Древлянской земли да спросили, не пойдет ли она за князя нашего Мала, то не отказала она честно, а осыпала их хитростями,— дескать, люба мне ваша речь, мужа моего мне уже не воскресить, но хочу вас завтра перед людьми своими угостить, а сегодня возвращайтесь в лодью свою, и лягте в лодье, и величайтесь, а когда утром пошлю за вами, то скажите: «Не поедем ни на конях, ни на возах, ни пешими не пойдем, несите нас в лодье». И так и случилось,

и понесли их в лодье во двор к княгине и бросили вместе с лодьей в глубокую яму, вырытую по велению княгини. А она еще и пришла да наклонилась над ямой и спросила: «Хороша ли вам честь?» А потом велела сжечь древлянских послов и засыпать землей.

— Потому что древляне убили ее князя,— сказал Какора.

— Пускай бы не шел в нашу землю.

— Подать собирал.

— А почему должны ему платить?

— Потому что князь Киевский.

— Так и пускай живет в Киеве и питается тем, что имеет.

— Мало ему. Земля велика.

— А мало, так пускай попросит, а не берет силой.

— Князь никогда не просит, он берет.

— Бе́рет, так его тоже возьмут.

— Не усидите долго так,— купец почти угрожал.

— Давно сидим и прочно. И никто не знает, где сидим.

— А вот я нашел.

— Может, нашел, а может, и нет,— Звенислава еле заметно улыбнулась кончиками губ.

— Вернусь в Киев, расскажу.

— Может, вернешься, а может, и нет,— снова загадочно промолвила Звенислава.

— А что?

— Да ничего. Не выпустим тебя. Будешь с нами, город наш Радогость зовется. Живите себе. Жен вам дадим, хлеб и мясо, мед.

— Нет, нет,— Какора забыл и о еде, встал, нависая над Звениславой своей мясистой тушей.— Может, еще в жертву меня своим богам принесешь? Го-го! Какора не такой! Какоре никто не может повелевать! Какора — вольный христианин! А может, за мной целая дружина идет? А?

— Ежели хочешь — уезжай. Не боимся,— спокойно сказала Звенислава.

— Поедем! Го-го! Айда, Сивоок! Благодарим за хлеб-соль.

В словах Звениславы прозвучало столько неожиданно зловещего, что и Сивоок, забыв о своих распрях с Какорой, забыв об очаровании радужностью жилья Звениславы, забыв даже про Ягоду, которая больше не появлялась, послушно встал, молча кивнул головой в знак благодарности хозяйке, пошел к двери, следом за своим хотя и случайным, но все же хозяином.

Их никто не задерживал.

Спать расположились на торговой площади, Какора соорудил себе шалаш на телеге, Сивоок лег под телегой и уснул тотчас же, потому что впервые после смерти Лучука как-то оттаял душой и снова стал просто до смерти утомленным парнишкой, переполненным удивительными впечатлениями. Но и сквозь мертвую усталость проник ночью к нему сон; снилось ему, что снова переживает он сразу три смерти: смерть деда Родима, смерть Лучука и, что уже и вовсе нежданно-негаданно, смерть Велички и плачет над всеми тремя смертями самых дорогих на свете людей, и слезы заливают его насквозь, он плавает в слезах, и не теплые они, а холодные, как лед, и он вот-вот утонет в них. Чтобы не утонуть, он проснулся. И в самом деле, он весь был залит холодной водой. Вода журчала из всех щелей в телеге, а по бокам, на открытом месте, лилась с темного неба сплошными потоками. Чьи-то руки тормошили Сивоока, он никак не мог проснуться, дождь для него все еще был слезами из тяжкого сна, а неведомые руки напоминали руки Велички. Молчаливо сверкнула широкая молния, вырвала из тьмы белое, словно мертвое, женское лицо над Сивооком, и лишь тогда он проснулся совсем и узнал Ягоду возле себя, услышал ее испуганный, встревоженный, озабоченный шепот: «Скорее, скорее, скорее!» Молча подчиняясь ее рукам, он выбрался из-под телеги, нырнул в неистовые потоки воды, зацепленный крепкой рукой женщины, побежал куда-то ко всем чертям в зубы, наклонялся в какие-то приземистые двери, в которые вталкивала его Ягода, а потом стоял в сухой темноте, где-то яростно бушевала гроза, били молнии, гром раскалывал небо, но только не здесь, не в этой притаившейся тишине, где только биение твоего сердца да еще чьего-то, да обжигающее тело в насквозь промокшей одежде прижимается к тебе, толкает тебя дальше, дальше, в еще большую темноту, в еще более глухой уголок: «Сюда, сюда, сюда!»

Прижималась к нему, обнимала его, бессознательно, неумело он отвечал ей. Это были его первые объятия. Ее уста с горьким привкусом трав были на его устах, и на его щеках, и на глазах, а он, слыхавший об этом не только из глупых песен Какоры, пытался ответить ей, это были первые его поцелуи. Она что-то шептала ему, и он тоже шепотом отвечал ей. Оба пылали в страшном огне, оба были в этот миг одинаковы, хотя она уже испытала когда-то роскошь тела, а он еще не вышел за пределы детства, возможно, потому и она возвратилась в состояние первобытной нетронутости; глаза ее теперь не тревожили хлопца, и она это знала, ей было мило

только так, только чувствовать его рядом с собой, гореть, гореть, обжигать и не сгорать и не вспыхивать.

Так и промелькнула ночь в пьянящем борении их молодых тел. Рассвет проник сквозь высокие треугольные окошки, они увидели друг друга, утомленные и изнуренные, но радостные, увидели самих себя после бесконечных прикосновений, от каждого из которых вспыхивает кровь; они были в боковой каплице храма, вдоль стен стояли боги, оправленные в серебро и золото, боги в диких красках родючего и плодородного мира, на них посматривали Ярило и Мокош, бесстыдно нагие боги осуждающе стояли вокруг этих двоих, в одежде, разметанной и расхристанной, ибо ведали всемогущие боги, что самого главного между этими двумя так и не случилось.

А хлопец и женщина и рады были этому. В особенности же когда в треугольных окошках появился дневной свет.

— Куда ты меня привела? — испуганно спросил Сивоок, и это были первые отчетливые слова за все время.

— Молчи! — закрыла ему рот ладонью Ягода.— Сиди тихо, так нужно. Боги нам простят. Они добрые.

— А люди? Звенислава? — спросил Сивоок.

— Они не будут знать.

Какоры на торгу не было. Исчез бесследно. Он не стал ни искать, ни ожидать Сивоока. У него были свои неотложные купеческие дела, он торопился в дорогу. На торговой площади остался лишь конский навоз да имущество Сивоока: мех и палка.

Так Сивоок остался жить в Радогосте и учиться у тетки Звениславы познавать не только наружную, но и глубинную сущность, душу красок. У деда Родима он наблюдал лишь, какая краска куда накладывается, воспринимал это как непоколебимую данность, теперь же от доброй сердцем старой женщины узнавал, что каждый случай требует своей масти, своего оттенка и что краски, подобно людям, бывают веселыми, чистыми, ласковыми, доверчивыми, невинными, грустными, скучающими, крикливыми, жалобными, холодными, теплыми, мягкими, твердыми, острыми, тихими, въедливыми, сладкими, терпкими, томящими, торжественными, достойными, тяжелыми, понурыми, убийственными. Он знал теперь, что красный цвет означает любовь и милосердие, небесный — верность, белый — невинность, радость, зеленый — надежду, вечность, черный — печаль, грусть, а желтый — ненависть, измену, золотой же — святость, совершенство, мудрость, уважение.

Он пробовал сам накладывать цвета на глину и на дерево, и у него получилось сразу, он даже сам не поверил, а Звенислава сказала, что у него между глазом и рукой есть то, чего нет ни у кого из людей, а именно этим и определяется тот, который может сотворить из небытия новый мир богов и узоров.

По ночам, когда ничто не чинило преграды, к нему приходила Ягода. Снова между ними было то же самое, что в первую ночь в храме. Но на большее Сивоок не отваживался, а когда разгоряченная Ягода пыталась дознаться, почему она не мила ему, он рассказывал ей про Величку.

— Да ее ведь нет! — удивлялась Ягода.

— Где-то есть.

— Но здесь, рядом с тобой, я!

— Стоит она предо мною.

— Какова же она?

— Тоненькая и маленькая. Будто стебелек.

— Глупый!

Она целовала его, убегала, угрожая больше не прийти, но приходила еще, и снова начиналось то же самое, пока не случилось неизбежное. Тогда уже шла по лесам пестрая осень, играли в пущах туры, падали первые заморозки на землю, в Радогосте на ночь протапливались хижины, и Сивоок тоже разводил в своем жилище полыхающий костер, и вот рядом с ним, не выдержав пыла огня внутреннего и огня костра, Сивоок стал мужчиной. Ягода бежала от него, пообещав прийти еще и назавтра, но уже не пришла больше до скончания века.

Утром у ворот Радогостя остановилась дружина с красными щитами. Внезапно и спокойно появилась ниоткуда, выступила из бора, словно бы рожденная им: окутанная сизой пеленой холодного тумана, то ли стояла неподвижно, то ли двигалась прямо к тому замшелому мосту и к тем воротам, сквозь которые входили когда-то в Радогость Какора и Сивоок.

Но Сивоок еще не видел того, что происходило пред мостом, у древних священных боров, подернутых холодным осенним туманом. Он увидел дружину несколько позже, а тут, в хижине, отведенной ему Звениславой, первое, что увидел, была серость, которая покрыла воспоминания о почи, о том, что случилось ночью, серость стыда и отвращения. Он лежал на широкой дубовой скамье, покрытой медвежьей шкурой, остывшая хижина дышала на него холодным воспоминанием о том, что случилось ночью, а может, перед самым рассветом, он хотел бы, чтобы ничего этого не было, но хорошо

знал, что возврата уже нет, что он никогда не вернется в детство, из которого сам выскочил, зато он мог хотя бы на какой-нибудь час спрятаться от самого себя, мог возвратиться в сон, он натянул на себя теплую шкуру, где-то были слышны крики и топот, столь непривычные и странные в тихом всегда Радогосте, и все это вгоняло его в сон, серая пелена заволакивала ему не только глаза, но и мозг, не верилось, что так недавно, еще только вчера, он жил в радужном свете наставлений Звениславы, а теперь была серая зола на угасшем костре, серость в окнах, серость во всем. Он уснул, и приснилась ему тишина, тишина на Яворовом озере, тишина в пущах, а в городе тишины не было, в городе били в деревянные била и колотушки, стучали в дверь, кричали, бегали, топали. И Сивоок тоже должен был бежать; разбуженный кем-то или проснувшись самостоятельно, он толкнул тяжелые наружные двери, тревожный холод резко дохнул ему в лицо, он увидел людей, все бежали в направлении к охраняемым медведем воротам, дети еще где-то спали, здесь было много женщин и мужчин, бежали все: те, которые жили на бесплодных взгорьях, и те, которые на плодородных левадах, и те, которые в ярах; мужчины несли оружие — кто дубину, кто копье, кто меч или топор; у одних были большие кожаные щиты, у других — деревянные заслонки, у третьих — и вовсе ничего; мужчины несли оружие неохотно, так, будто там где-то должен был появиться разъярившийся вепрь, и никто не хотел торопиться к нему, надеясь, что кто-нибудь убьет его еще до того, как ты туда доберешься, ибо никогда не следует спешить к беде, а тем более искать ее— она сама найдет тебя быстро и беспощадно.

Дурманяще пахли увядшие листья, хмель и калина, не хватало лишь привычного ежеутреннего дыма, но ни один очаг не был разведен сегодня в Радогосте, потому что все бросились навстречу опасности, еще не веря в нее, еще только пытаясь убедиться, еще проклиная не врага, который появился, подобно исчадию пущи, подобно глупой затее случая, а проклиная Родолюба, городского волокиту, старого проходимца, у которого была странная привычка не спать по ночам и бродить по борам и пущам, ибо, дескать, только там чувствовал себя свободно, только там дышалось ему вольготно и спокойно. Днем он приходил в город и спал на торговой площади, неподалеку от капища, а по ночам блуждал в лесах, и никакой зверь не трогал его, так, будто это вовсе и не человек, а тоже дик, по имени Родолюб, а рода своего он не имел и не помнил, все равно считал себя как-то и чем-то обязанным Ра-

догостю, ибо, заметив, что к городу приближается чужая дружина, прибежал на рассвете и поднял всех на ноги.

Выскакивая из хижины, Сивоок схватил свою палку просто для того, чтобы иметь в руках что-нибудь привычное, он считал это не оружием, а просто непременной принадлежностью самого себя, но когда увидел, что всякий, кто может, несет оружие, уже заблаговременно помахивая им в сторону невидимого противника, Сивоок тоже замахал палкой так, будто это должно было быть грознейшее оружие, хотел показать, что и он муж, что не чужой здесь, что и на него могут теперь положиться, ибо позади у него остается нынешняя ночь, ночь особая — ночь радости и горя.

Он бежал, тяжело запыхавшись. Он утратил прежнюю легкость: видимо, человек обладает легкостью и живостью лишь до определенного предела. Потом он прирастает к земле, становится удивительно неповоротливым в движениях и поступках. Быть может, это и есть рубеж между юношеством и мужеством?

Раньше он мог бы просто спуститься со склона, взглянуть, что там происходит, мог возвратиться оттуда, мог бы и просто себе спать. Но он уже был мужчиной, опасность становилась неотвратимой не только для кого-то, но и для него.

Вместе со всеми Сивоок выскочил за ворота прямо к мосту, острый блеск солнца и оружия ослепил его на миг, солнце еще только пробивалось сквозь леса и туман, но уже несло в себе всю ярость, и этого было достаточно, чтобы огонь его собрался на кончиках вражеских копий, и эти копья продолжались в бесконечность и поражали каждого уже издалека, и прежде всего — в глаза. У кого был щит, тот прикрывался от проклятого блеска щитом, а кто и просто ладонью, и так стояли — с одной стороны конная дружина с красными щитами, подпираемая темными валами пеших воинов, а с другой — запыхавшаяся, клокочущая толпа радогощан, которая с каждой минутой становилась все большей и большей и от этого казалась еще более кипящей и шумной.

В узком пространстве между воротами и мостом становилось все теснее и теснее, начиналась давка. На валу и забороле толпились женщины Радогостя, подбадривая своих мужей, ибо, как только появилась видимая опасность, сразу вошел в силу древний обычай, согласно которому мужчины должны воевать, а женщины только вдохновлять их на победу; правда, в Радогосте это правило последовательно не выдерживалось, многие женщины также были в толпе вместе

с мужчинами здесь, внизу, зато на валу и забороле не было ни одного мужчины,— и самые старшие, и молодые бросились сюда, к воротам, все несли оружие, у кого какое было; самые храбрые выбежали аж на мост, на мосту тоже было полно народу,— быть может, это были и не самые храбрые, а просто вытолканные вперед, ибо все равно кто-то всегда должен быть впереди, а если уж ты очутился на виду и у своих и у врага, то должен показать все, на что способен,— так и начали передние радогощане свою дерзкую перекличку с дружиной.

Сивоок тоже протиснулся вперед, тоже приблизился к тем, которые были перед самой дружиной, и от дружины отделилось несколько всадников, они прискакали на расстояние полета стрелы.

— Кто такие? — закричали радогощане.
— Великий князь Владимир.
— Что за князь?
— Из Киева!
— Так и сидите себе в Киеве!
— Все земли — киевские.
— Да не наша.
— Принесли вам крест.
— Несите назад.
— Князь шлет вам милосердие.
— Обойдемся!

Из толпы бесшумно вылетела стрела и вонзилась в землю перед одним из всадников. Пущена она была просто так, для испуга. Всадник вздыбил коня, круто повернул его, другие тоже стали поворачивать коней, поскакали к дружине. Вослед им сыпанули стрелы тоже без особой причины — лишь бы еще больше напугать непрошеных гостей. Однако из этого ничего не вышло. От дружины откололась изрядная часть, несколько сот всадников; выставив копья вперед, они помчались к мосту, все, кто был перед мостом, мигом кинулись убегать. Сивоок — вместе со всеми; и с этого момента течение событий для него утратило последовательность, лишь потом он смог понять, что случилось, но это было уже слишком поздно; да если бы это случилось и раньше, все равно он ничем не мог бы помочь радогощанам.

Вот так они летели, чтобы присоединиться к своим, прежде чем их настигнут дружинники князя, а на мосту тоже не стояли сложа руки: чуть ли не из-под ног у Сивоока и его товарищей выметнулись бревна, служившие настилом моста; брев-

на, оказывается, лежали ничем не закрепленные, держались просто благодаря своей собственной тяжести, а теперь их легко и быстро столкнули вниз, в глубокий ров, и передняя часть моста сразу ощерилась голыми брусьями; всадники, достигшие рва, туго натянули поводья, кони затанцевали перед обрывом, дружинники застыли, а с этой стороны, с не разрушенной еще части моста, летели в сторону пришельцев насмешливые восклицания, едкие словечки:

— Почему же вы не прыгаете?

— Выпустите своего князя вперед!

— Щитами заслоните дырку!

— Они ведь у вас красные!

— А у нас щиты из скоры!

— Дудки вам войти в город!

С вершины холма доносились выкрики женщин; глухо гудели и напирали задние, которым хотелось увидеть дружинников, быть может, подбросить и свое словцо, столь долго вынашиваемое и обдумываемое, ибо в повседневных заботах слов требовалось мало, как-то обходились двумя-тремя, а уж коль подвернулся случай, тогда каждый высыпал все, что у него было, в особенности же в такой необычный случай, как теперь вот, потому и протискивались вперед те, которые минутой раньше колебались, пятились, не спешили вперед батьки в пекло, и теперь толкотня и неразбериха еще больше усилилась, кто-то уже взывал о помощи, кого-то придавили, кого-то, быть может, и топтали, а тут еще вал взорвался женским криком, перепуганным визгом, этот визг упал с вала вниз, и уже возле ворот раздались крики мучения, позора и боли; там происходило что-то страшное и неожиданное, такое, что все, кто был на мосту и у моста, словно бы качнулись в ту сторону и, оставив полуразрушенный мост, повернулись спинами к торжествующим дружинникам и ринулись к воротам и за ворота, и Сивоок пробился туда, опять-таки в числе первых, но лучше было бы ему и не пробиваться, ибо там кипел настоящий бой, там тоже, словно рожденные нечистой силой, гарцевали всадники с такими же самыми красными щитами, как и у тех, которые стояли у разобранного моста, а возле всадников рубились мечами и кололись длинными копьями пешие воины, тоже прикрываемые прочными щитами, воины умелые, безжалостные, жестокие.

На дороге лежал, пробитый многими копьями, огромный медведь, который когда-то так напугал у ворот Сивоока, падали убитые и раненые радогощане; быть может, и Сивоок

упал бы убитым или раненым, если бы он и дальше лез вперед, в самое пекло, но перед глазами у него появился огромный всадник: ни конь, ни одежда всадника не были знакомы Сивооку, зато слишком хорошо знакома была для него фигура этого человека; а когда он увидел толстенную морду, когда сверкнул широченный меч в руке всадника, хотя мечом этим он никого и не рубил, ибо стоял в стороне на пригорке и только помахивал оружием, словно бы отгоняя от коня оводов или мух, то уже тогда хлопец сразу узнал пьяницу Какору и даже не удивился, что купец оказался здесь, так, будто он и не выезжал из Радогостя, спал себе где-то в укрытии, напившись крепкого меду, а теперь услышал шум, да и прискакал, чтобы не прозевать добычу, ибо купец должен иметь прибыль со всего, на то он и купец. И как только Сивоок узнал Какору, сразу же, не задумываясь, бросился к пригорку, еще издалека размахивая своей дубиной и примеряясь к передним ногам коня, ибо даже теперь, когда вокруг рубились и кололись люди, когда лилась кровь, когда падали убитые ни за что и ни про что люди, Сивоок все еще не мог отважиться бить человека, который его не бьет, даже такого человека, как Какора; он метил только в коня, хотел свалить его, поставить на колени, а потом выбить из рук Какоры меч и хотя бы этим отомстить за смерть Лучука. А может, и еще за что-нибудь? За это появление Какоры в Радогосте, за этот неожиданный удар в спину защитникам города? За то, что привел сюда князя? Если кто-нибудь был виноват в том, что происходило в это утро, так вот он — перед Сивооком. И если уж Сивоок хотел мстить, то должен был мстить безжалостно. Но в душе его жило еще слишком много детского, он не умел еще с холодным разумом наносить удар, а еще хуже: не смог сразу распутать весь тот клубок событий, который разрастался сегодня с самого рассвета, начавшись еще с той минуты, когда Какора со своим обозом впервые тронулся на поиски Радогостя, чтобы преподнести его в качестве подарка князю за какие-то там выгоды и прибыли. Если бы мог, если бы знал, он бил бы Какору еще до того, как тот спохватится, но Сивоок по-глупому подбежал к коню, метя попасть палкой по передним ногам, и Какора вовремя его заметил, поднял коня на дыбы, смял Сивоока, загремел:

— Гоп! Гоп! Держите моего роба!

Сивоок вывернулся из-под грузного коня, чтобы не быть раздавленным, побежал вниз, а за ним верхом на жеребце с ревом мчался Какора; кто-то пытался преградить путь хлоп-

цу, и тут уже он, не глядя, махнул палкой, и тот кто-то, не охнув, упал на землю, потом хлопца хватали с двух сторон, и он бил своей дубинкой направо и налево, потом врезался в самую гущу схватки и стоял насмерть вместе с радогощанами, пока его не оглушили чем-то, и он долго лежал среди мертвых, и по нему топтались люди и кони, и он потерял сознание; когда же пришел немного в себя, увидел, как мимо него проносятся чужие всадники, а где-то по холмам и долинам Радогостя раздаются крики и стоны,— там бегали перепуганные насмерть женщины, за ними гонялись пришельцы, и над всем этим стлался дым, дыма становилось все больше и больше,— собственно, от дыма, наверное, Сивоок и пришел в сознание. Задыхаясь и кашляя, он поднял голову и увидел высокий столб яркого пламени над Радогостем, над самым высоким холмом, где должно было стоять капище, украшенное снаружи и изнутри невиданными узорами, резьбой и красками.

Тогда он вскочил и побежал туда, и никто ему не мешал, никто не ловил его, ибо он был, наверное, единственный, кто бежал к пожару, все остальные удирали оттуда, пожар гнался за людьми, прожорливо набрасывался на все, что попадалось у него на пути: жилища, деревья, хлеб; ревела скотина, надрывно лаяли собаки, ржали кони, а над всем этим — сухой треск огня, полыханье пламени, черные столбы дыма.

Потом все же на Сивоока набросились какие-то люди, он защищался, бил, быть может, и отнял даже у кого-нибудь жизнь, но сам остался цел, только избит до полусмерти и увязан крепкими ремнями так, что не мог и пошевельнуться. Его привели, как и многих других, в тихую долину, куда не достигал пожар, но оттуда он тоже был хорошо виден; в этой лощине снова стояла дружина с красными щитами, будто перенесенная неземной силой от пущи прямо туда, в самую середину Радогостя. Впереди дружины стоял белый конь в дорогом уборе, но не коня прежде всего увидел Сивоок, не драгоценный нагрудник на нем и не шитую золотом и камнями попону, а старого человека, сидевшего впереди коня на кожаном раздвижном стульчике. И снова не дорогие наряды заметил Сивоок на этом мужчине, не шелковый заморский плащ поверх золотой чешуйчатой брони, застегнутый круглой драгоценной пряжкой, не шитые жемчугами сапоги из зеленого багдадского сафьяна, не меч в ножнах, украшенных золотой чеканкой, рубинами, яшмой и изумрудами,— все это он заметил потом, когда ему нечего было делать, а только стоять и слушать, как шла речь о его судьбе, как говорили о нем, по-

добно тому как говорят о куске дерева, о вещи, которую можно просто выбросить или отдать кому-нибудь. А в тот момент, когда его толкнули к сидящему старику, он увидел прежде всего его глаза. Он натолкнулся на твердые глаза, равнодушные, напоминающие выступающий из воды камень; эти глаза смотрели на него и не на него, они смотрели словно бы сквозь него, но и не сквозь него, они всё видели и одновременно — ничего, для них не существовало ничего на свете, кроме них самих, они жили собственным светом, собственными хлопотами, усталостью, знанием, покоем. Эти глаза так поразили хлопца, что он даже не удивился появлению Какоры, уже не на коне, а пешего, хотя все равно назойливого и наглого. Какора крепко держался за ремни, которыми увязап был Сивоок; могло показаться, что Какору сейчас более всего интересуют именно эти ремни, а не хлопец; пока Сивоок оцепенело рассматривал холодные глаза старика, Какора склонил свою башку в поклоне, забормотал:

— Великий княже, это — киевский отрок, прислуживавший мне, а ныне...

Глаза старика по-прежнему жили своей отдельной жизнью, и голос, прозвучавший в ответ на запутанную речь Какоры, никак не вязался с этими глазами,— это был утомленный, приглушенный голос старого человека, в голосе чувствовалась сила, улавливалась многолетняя привычка к повелеванию, а еще пробивалась сквозь этот голос сытная еда и питье всласть. Но Сивоок, как и перед тем, не вслушивался в слова, он слышал все, но не углублялся в смысл, он видел теперь отчетливо и старого человека, которого Какора называл великим князем и который, следовательно, был князем Владимиром. Наверное, Сивоок видел и его коня, и богатую сбрую, и богатый наряд, но более всего интересовали его в тот момент твердые, почти нечеловеческие глаза.

— А раз киевский, значит, крещеный,— бормотал Какора.

— Хорошо,— промолвил князь.

— А поелику имею свою добычу в городе, так пускай этот отрок...

— Про что молвишь?

— Пускай будет моим челядником. Робом.

— Не твой отрок, а киевский.

— Оставался здесь...

— Все равно — киевский...

— Но, княже,— голос Какоры стал почти плаксивым.

— А что киевское — то княжеское.

— Имею добычу свою по повелению...

— Имеешь — вот и имей. А отрок — княжий человек. Развязать.

— Убежит! — закричал Какора.

— Правда? — спросил князь, не глядя на Сивоока.

— Убегу,— честно пообещал Сивоок.

— Тогда развязывайте его! — велел князь и отвернулся, так, словно устал от созерцания такого необычного отрока, на самом же деле, наверное, он и не видел его, ибо разве можно что-либо увидеть такими твердо-холодными глазами?

Если бы его держали, если бы пробовали повалить на землю, он защищался бы, кусался бы, рвался бы из всех сил, но ничего этого не случилось, просто старый человек с холодными глазами велел развязать, чьи-то руки умело распутали на нем ремни, Какора, правда, толкнул под бок, но сразу же и отскочил, опасаясь быстрой сдачи. Сивоок пошевелил затекшими руками, переступил с ноги на ногу. Был свободен, обидно свободен, бежать не хотелось, ибо некуда было бежать и причины для этого не было.

Теперь его никто не трогал, потому что все каким-то образом узнали, что он был перед глазами князя и князь велел зачислить его к своим воинам. Сивоок мог толкаться среди всех, мог куда-то бежать, как все, мог что-то там тащить, с кем-то есть, пить. Но у него были свои заботы, он бросился к дому Звениславы — там все пылало, начал искать Ягоду, побежал к тому месту, где стояла его хижина,— и всюду огонь, огонь, огонь.

Изорванный, избитый, в кровоподтеках, Сивоок натыкался то на один пожар, то на другой, кого-то спасал, а там кто-то спасал его, потому что сдуру сгорел бы, придя в отчаяние оттого, что не находит ни Ягоды, ни Звениславы; Сивоок не мог толком понять всего, что слышал, а слышал множество страшных рассказов, былей и небылиц; и так закончился день, и миновала ночь, а в Радогосте еще пылало, и дым расползался на окружающие пущи, и уже ползли новые слухи о том, как вчера сгорела в капище Звенислава и, может, еще кое-кто, и как дружина и вои погнали вечером всех радогощан к Яворову озеру, чтобы они приняли там крест, и как привезенные князем с собой киевские и греческие священники зашли под яворы и приготовили кресты и сосуды со священной водой и кропила, а люди не хотели идти в воду, и был крик, и были вопли отчаяния, а потом из Яворова озера поднялись руки, могучие и шершавые, как кора деревьев, сотни лет стоявших в

воде, и схватили священников, а с ними и некоторых дружинников, и со всем, что у них было в руках: с крестами, кропилами, оружием,— втащили их в озеро, и воды навеки сомкнулись над ними, и ужас воцарился там, все бросились врассыпную, пока не узнал обо всем этом князь и не велел поставить новых священников и сам приехал на берег озера, чтобы проследить за крещением непокорных радогощан, а если нужно будет, то и встать на прю с их старыми богами. Однако боги, видимо, довольствовались первой жертвой, которую для себя избрали, и уже ничего больше не случилось страшного, и утром князь велел тушить пожары и ставить на месте Звениславина капища деревянную церковь.

Люди князя не жалели ни сил, ни времени, лишь бы только была церковь; и она возвысилась на холме, острая и голая, как и крест над нею.

И снова — в который уж раз — Сивоок должен был смотреть на тот крест, который забрал у него все самое дорогое.



1941
год
ОСЕНЬ. КИЕВ

Луковица, брось дурить голову!

П. Пикассо

Из гестапо пришли спустя некоторое время; дали профессору Отаве передохнуть после концлагеря два дня, а может, наоборот, нагоняли страху, потому что все равно ведь он должен был вынести из этого лагеря наибольший страх перед таинственным гестапо, которого ужасались больше, чем стрельбы в ярах, ибо там просто убивали, а в гестапо, как рассказывали, людей долго и жестоко мучили, чтобы потом покончить с ними каким-то особенно изысканным и жестоким способом; вот они и не торопились, ведь профессору Отаве некуда было податься, каждое его движение прослеживалось, дом надежно охранялся не потому, что там находился Гордей Отава, а по другим причинам, но раз уж сюда попал и советский профессор, то он должен был сидеть там до тех пор, пока не придут за ним оттуда, откуда должны прийти, а тем временем пускай он сидит, малость отходит после пребывания в Сырецком концлагере и проникается испугом до мозга костей. Вероятнее всего, именно из этих «высоких» соображений гестаповцы и не торопились и пришли не первыми, даже профессор Шнурре не стал беспокоить Гордея Отаву в первые дни его пребывания в собственной квартире, ибо хотелось ему показаться не в качестве штурмбанфюрера, с чем он все-

гда успел бы, а прежде всего — в качестве профессора Адальберта Шнурре, давнего оппонента профессора Отавы, до некоторой степени коллеги, эт цетэра, эт цетэра. И вот пока в гестапо функционер, имевший в виду Гордея Отаву уже с того момента, как его вывели за колючую проволоку (точнее, из-за колючей проволоки) Сырецкого концлагеря, готовил еще только бланк для повестки, которую он должен был выписать и послать через вооруженного автоматом мотоциклиста, одетого в черный клеенчатый плащ, лоснившийся от дождя и твердо гремевший при каждом движении — мертвый звук обреченности, подчеркиваемый еще самой фигурой мотоциклиста, неуклюже корявой и зловещей,— так вот, опережая всех: и Адальберта Шнурре с его остатками профессорской деликатности, и гестаповского функционера с его теорией неторопливого страха, и черного мотоциклиста в плаще с мертвым шуршанием,— в квартиру профессора Гордея Отавы заявился совершенно неожиданный человек.

Собственно, и не заявился, а прибыл совершенно осознанно, выбрав заранее адрес профессора, даже наверняка зная, что Отава не эвакуировался в тыл, более того, зная даже о том, что Отава выпущен из концлагеря,— следовательно, профессор стоял перед лицом неотвратимости, имел уже в одной руке жизнь, а в другой смерть, а если сказать точнее, то в обеих у него была уже смерть, и только чудом он временно отодвинул ее и очутился среди живых, а живой, как известно, думает о живом. Руководствуясь этим твердым принципом, и отыскал его небритый человечек в старом кожаном пальто с поднятыми плечами, видимо хорошенько набитыми ватой или еще чем-то, что в таких случаях подкладывают портные, в изрядно поношенных брюках, которые оставляли достаточный промежуток над затоптанными в грязи туфлями для того, чтобы охочие могли полюбоваться дырками в носках у человека, а уж заодно и его немытыми пятками.

Первый его разговор состоялся с бабкой Галей, но велся этот разговор на такие странные и запутанные темы, что бабка Галя ничего не поняла и лишь выразила догадку, что гость, наверное, пришел к самому профессору, а не к ней, ибо она все-таки хотя и живет здесь дольше, чем сам профессор, но всегда была и нынче есть просто бабка Галя, а профессор — это все-таки профессор, к тому же у нее на кухне сидит кума из села Летки, а в Летки теперь попробуй доберись, куме нельзя задерживаться здесь долго, она привозила молоко тем супостатам, которые живут ниже этажом, только потому

ее и пропускают в Киев и в этот дом,— чума на них всех! Профессора же она сейчас позовет, да вот он и сам идет.

— Вы ко мне? — спросил Гордей Отава, услышавший мужской голос и немного заколебавшийся — выходить ли ему или нет; но потом все же решил, что лучше пойти и посмотреть.

— Именно к вам, пан профессор,— наклонил нестриженую голову незнакомец. Свою фуражку он держал в руке (это было типичное довоенное изобретение наших портных: что-то полувоенное, полумилиционерское, полужокейское,— но его охотно носили, особенно же те, кто уделял большое внимание одежде, надеясь с ее помощью возместить все то, чего не хватало в характере: прежде всего мужской твердости и мужества). Видимо, незваный гость тоже чувствовал себя увереннее в своей фуражке, но в чужой квартире полагалось ее снимать, а тут еще перед тобой сам хозяин, сам профессор Отава.

— Добрый день, пан профессор,— еще добавил незнакомец почти льстиво и вроде бы торжественно, отчего Отаве уже и совсем стало смешно: он хмыхнул, как бывало на занятиях, когда студент отвечал ему какую-нибудь глупость; после небольшой паузы сказал:

— К сожалению, никакой я не пан, а заодно и не профессор. Просто — один из граждан, оставшихся на оккупированной территории.

Незнакомец посмотрел на Отаву с крайним изумлением. Видимо, в его задачу не входило вступать в терминологические споры с профессором, к тому же он напрасно потерял свое время на беседу с бабкой Галей, поэтому пришелец решил сразу же брать быка за рога.

— У вас есть фарфор для продажи? — спросил он, оглядываясь по сторонам, хотя конечно же, кроме них, здесь никого не было и никто не мог их услышать.

Однако некоторые жесты действуют, как эпидемия. Гордей Отава тоже оглянулся, еще пристальнее взглянул на незнакомца, шагнул к нему ближе и тихо, подавляя иронию, которая могла быть здесь уместной, а могла и не быть, спросил:

— Это что? Пароль?

Тогда мужчина испугался уже по-настоящему, отскочил от профессора, мгновенно вспотел, расстегнул верхнюю пуговицу кожаного пальто, открывая грязный, свернутый в трубочку воротник сорочки, и, держась пальцем за горло, поглаживая себе шею так, будто хотел вытолкнуть из себя слова, промолвил:

— Я к вам с серьезным предложением. Если имеете фар-

фор или серебро, гобелены бельгийские тоже... меха идут в первую очередь... Но это так, главное же для меня фарфор... Тут я,— он сделал рукой с фуражкой театральный жест,— тут уж, будьте ласковы... Веджвуд, Копенгаген, Мейсен, Херенде... Можно и наш... Гарднера, Кузнецова... Вы не слыхали? — Он наклонился к профессору.— Они уже вывезли весь фарфор из нашего музея... Коллекцию графини Браницкой... Сказка! И все — в неизвестном направлении!

— К сожалению,— сказал профессор Отава,— я не торгую фарфором и, кажется, даже не имею... Только иконы...

— Иконы! — всплеснул руками мужчина.— Древнерусские иконы! Четырнадцатый век! Семнадцатый век! Слыхал! Ейбогу, слыхал!

— Одиннадцатый,— сказал Отава,— одиннадцатый, на кипарисовых досках. Вас это устраивает? А теперь — убирайтесь вон!

— Иконы они тоже вывезли из музея. Целая комната икон. Колоссальное богатство! И тоже — в неизвестном направлении. Но если вы...

— Вон!— повторил Отава и пошел от незнакомца.

— Послушайте, пан профессор,— пятясь, зашептал тот,— вы еще не ознакомились... Вам нужен деловой человек... В городе не хватает деловых людей... На Владимирской открылся антикварный магазин Коваленко... Вы, конечно, еще не слыхали...

— Убирайтесь вон!

— Я первым пришел к вам, не забудьте — я первый. Меня зовут...

Отава не услышал, как зовут скупщика фарфора и икон, потому что захлопнул за ним двери.

Тот называется так, другой называется сяк. Имеют ли теперь значение названия, в дни, когда человечество разделилось на порядочных людей и негодяев. А впрочем, разве оно не было разделено так всегда?

— Попытаемся восстановить наш давний довоенный обычай,— сказал Отава бабке Гале, — всех посетителей приглашайте в мой кабинет. А то как-то неудобно здесь, возле дверей...

Мотоциклист притащился через день после визита любителя фарфора и частной инициативы. В отличие от ненормального оборванца в кожаном пальто, этот оказался нормальнейшим во взбудораженном мире тревог и смертей. Рассыпая мертвый шорох своего плаща, твердо прошел по длинному

коридору под немеркнущими взглядами древнерусских святых; на него не произвели никакого впечатления ни еще бо́льшая коллекция икон в кабинете, ни тысячи книг, многие из которых для знатока были бы настоящим праздником; мотоциклист никак не откликнулся на приглашение хозяина садиться, даже не взглянул на венецианское кресло, в которое неизвестно как бы и вместился со своим негнущимся, лощеным плащом, достал из полевой сумки какие-то две бумажки, одну подал Отаве, а в другую ткнул пальцем:

— Гир. Унтершрибен![1]

Отава поймал глазами на бумажечке, которую ему подали, несколько заголовков, следовавших один за другим, понял, откуда этот посланец, и, не читая дальше, спросил по-немецки:

— Мне собираться или как?

— Унтершрибен! — краснея, крикнул мотоциклист, которому от роду было девятнадцать лет и который имел неограниченные запасы не растраченного еще нахальства и с этим добром примчался в страну, где, как его уверяли, на богатейшей земле живут ни к чему не способные, почти дикие люди, и он охотно согласился с подобными утверждениями, но теперь оказалось, что его, похоже, обманули, ибо что же это за дикие люди, которые могли построить такой очаровательный город, как Киев, а теперь вот еще — украинский профессор, что уже вовсе не вяжется с утверждениями о дикости этих людей; к тому же профессор, видно, самый что ни на есть настоящий, ибо мотоциклист отродясь не видел подобных квартир, такого количества книг, а уж про коллекцию икон, то лучше и вовсе помолчать.

— Унтершрибен! — воскликнул он еще раз, потому что профессор колебался; глупый профессор, испугался обыкновеннейшего вызова в гестапо, где его о чем-то там спросят и выпустят, правда, могут и не выпустить, такое тоже часто бывает, но раз уж тебя вот так приглашают, а не забирают ночью, как сонную курицу, то это примета хорошая, следовательно:

— Унтершрибен!

Профессор наконец подписался в получении повестки, мотоциклист спрятал бумажку в свою сумку, загремел плащом, небрежно повернулся и ушел из кабинета через длинный коридор, усеянный, будто небо звездами, суровыми глазами свя-

[1] Здесь. Расписываться! *(нем.)*

тых; следовало бы, конечно, сказать «ауфвидерзеен», но до такой вежливости мотоциклист не снизошел, ибо это все-таки не Германия, и профессор, хотя и настоящий, как видно, но большевистский, а с большевиками мотоциклисту приказано было бороться, а не раскланиваться.

Гестапо помещалось в доме на Владимирской. Хотя снаружи стояла стража, за тяжелыми дверями Отава нос к носу столкнулся сразу с двумя автоматчиками, а еще два точно таких же стояли чуточку дальше от двери, на возвышении, проходившем через весь вестибюль в виде эстрады. На этой «эстраде» вертелось еще несколько людей в гражданском, и среди них — молодая светловолосая женщина с такой полной грудью, будто она должна была кормить ребенка.

Один из часовых молча протянул руку, Отава положил ему в ладонь свою повестку.

— Ждать,— сказал по-немецки часовой. Все они, начиная с мотоциклиста, начиная еще с охранников Сырецкого лагеря, в обращении к местному населению употребляли только инфинитивные формы. Не говорили: «иди», «садись», «работай», «жди», а — «идти», «садиться», «работать», «ждать».

Видимо, этой безличностью в обращении они хотели подчеркнуть свое презрение к завоеванным или сразу же хотели приучить гражданское население к жандармскому жаргону.

Часовой снял телефонную трубку, попросил какой-то номер.

— К вам здесь,— сказал кому-то, взглянув на повестку, не без удивления произнес:— Профессор. Профессор Отава. Хорошо.

Положил трубку, посмотрел на Отаву уже и вовсе дикими глазами, так, будто этот причинил ему бог весть какое огорчение своим неожиданным здесь, в этом мрачном учреждении, званием, гаркнул:

— Ждать здесь!

С «эстрады» спустилась женщина, подошла к профессору, сказала ему по-украински:

— Вас просят подождать здесь.

— Благодарю,— ответил Отава,— в предложенном мне объеме я, кажется, могу очень хорошо понимать немецкий язык.

— За вами сейчас придут,— не слушая его, заученно сказала женщина и отошла в сторону.

На профессора смотрели все: часовые у дверей, часовые на «эстраде», несколько подозрительных типов в гражданском — то ли шпики, то ли палачи. Ему неприятны были эти

смотрины, еще более неприятным было ожидание у дверей, унизительное и жалкое, он чувствовал себя сейчас в положении больного, которого разрезали на операционном столе и забыли или не захотели зашить. Если бы это было при других обстоятельствах, до войны в его родном городе (а теперь он стал чужим, чужим!), то он бы ни за что не стал ждать, сказал бы: «Что? Нужно ждать? Ну, так я в другой раз» — и немедленно ушел бы. Но тут ему некуда было идти, он был в западне, знал, что выпустить отсюда его никто не выпустит; не прийти сюда тоже не мог, потому что все равно забрали бы, а так еще была какая-то надежда, он весьма недвусмысленно выразил ее сыну, когда шел в гестапо: попросил Бориса, чтобы тот ждал его, чтобы никуда не выходил из помещения, не лез на рожон, очень просил сына, и тот обещал, только, уже когда отец был у дверей, Борис глухо спросил: «А если не вернешься?»

Отава сделал вид, что не услышал вопроса сына, поскорее закрыл за собою двери: он хотел вернуться, верил почему-то, что вернется домой, а что дальше — не знал. Если бы не сын, то не было бы для него никакой трагедии даже в смерти. Но был сын. А еще было дело его жизни. Собственно, у каждого есть какие-то дела, но убивают людей, не спрашивая, что они оставляют после себя незаконченным, неосуществленным. Наверное, незаконченных дел гибнет с людьми больше, чем завершенных...

Наконец за Отавой пришли. Невысокий черноволосый молодой человек с расчесанными на пробор лоснящимися волосами, густо смазанными бриллиантином, важно спустился по лестнице, подошел к часовому, отобрал у него повестку, небрежно помахивая ею, снова направился к лестнице, издали уже бросив через плечо Отаве:

— Комм! [1]

Поднимались на третий или четвертый этаж, лестничная клетка была ограждена плотной проволочной сеткой, чтобы никто не попытался броситься с высоты и таким образом избавиться раньше времени от всех тех мук, которые ему уготованы; плутали по длинным коридорам с мертвыми дверями, профессору казалось, что они никогда никуда и не придут, он хотел, чтобы это была просто немилая шутка, чтобы его так вот поводили-поводили, а потом и выпустили из этого мрачного здания, потому что и в самом деле — о

[1] Пошли! *(нем.)*

чем он должен был здесь говорить, о чем давать показания? Но вот открылась одна из многих безликих дверей, он очутился в казенной, плохо побеленной комнате, в которой, кроме стола и двух стульев, ничего не было; черноволосый бросил ему: «Ждать!» — и исчез, но вышел не в ту дверь, через которую они вошли, а в другую, которая была в боковой стене и вела, как успел заметить Отава, в точно такую же мертвую, пустую комнату.

Профессор немного постоял средь комнаты, надеясь, что к нему придут, но никого не было, зато появилось неотвязное ощущение, что за ним следят; оно было таким навязчивым, что он даже стал оглядываться вокруг, но нигде не увидел ничего похожего на устройство для слежки, на него могли смотреть разве что сквозь щель в дверях, но это было несерьезным для такого мрачного учреждения.

Садиться на стул не хотелось, потому что если его начнут допрашивать (о чем? о чем?), то уж непременно посадят на стул и заставят сидеть долго-долго, прикажут думать, взвешивать. Не трудно себе представить ход такой процедуры.

Отава прошелся по комнате, встал у окна. Надеялся, что увидит Киев, быть может, Крещатик, а возможно, и Софию, с высоты Киев еще прекраснее, чем с земли, хотя, конечно, не со всякой высоты, как он в этом уже убедился, сидя на сырецком возвышении. Однако не Киев увидел профессор Отава. Окно выходило в глубокий и узкий двор, запертый с противоположной стороны зданием, похожим то ли на пакгауз, то ли на пожарное депо, такое оно было высокое и безликое, но, в отличие от хозяйственных помещений, здание это, как и основной корпус, делилось на этажи, только этажи были какие-то приземистые, так что трем или четырем этажам основного корпуса соответствовало примерно пять или шесть этажей того строения, и этажи в нем, как и в основном здании, обозначались окнами, один ряд таких окон проходил почти на уровне глаз профессора Отавы, он хорошо видел их со своей позиции и мог убедиться, что это, собственно, и не окна в обычном смысле этого слова, а просто отверстия, как в собачьей будке, с той лишь разницей, что собак никто еще не догадался прятать за стальными решетками, а тут все окошки были защищены так надежно, будто за ними хранились все золотые запасы мира.

— Пан профессор Отава? — послышалось за спиной. Отава повернулся. Позади него стоял высокий, худощавый зондерфюрер с полоской орденских планок над карманом фор-

менного френча, устало щурился против света, изо всех сил изображая вежливость и интеллигентность.

— Да,— сказал профессор.— Я — Отава.

— Простите, что заставил вас ждать.— Зондерфюрер говорил — о диво! — на украинском языке, хотя с непривычным металлическим оттенком, но все равно по-украински,— видимо, он был из людей, подготавливаемых Альфредом Розенбергом для освоения новых территорий, а возможно, профессор имел дело с полиглотом, владевшим всеми возможными европейскими языками. Какое это имело значение?

— Прошу садиться,— пригласил зондерфюрер и не сел, пока не сел профессор,— видимо, когда-то его обучали хорошим манерам, а возможно, опять-таки специально все приготовил для встречи с советским профессором, хорошо зная, что с немецкой бесцеремонностью Отава уже вдоволь познакомился в лагере, так пусть убедится еще и в немецкой цивилизованности.

— Курить? — спросил зондерфюрер, не придерживаясь больше правильного словоупотребления и переходя даже в чужом для него языке на обычный солдатский жаргон с безличными формами.

— Благодарю, не употребляю,— еле заметно улыбаясь, ответил Отава.

— У вас хорошее настроение? — полюбопытствовал зондерфюрер.

— Было бы лучшим, если бы мы с вами не встречались,— пошел напролом Отава.

— Прошу помнить,— сухо сказал гестаповец,— тут не шутят.

— Знаю.

— Тут отвечать на вопросы.

— Или не отвечать,— уточнил Отава.

— Нет,— облизывая губы, наклонил голову гестаповец,— отвечать.

Он смотрел на Отаву исподлобья, смотрел долго, между ними произошло соревнование взглядов: Отава выдержал эту молчаливую борьбу, но гестаповец не разочаровался и даже, как видно, не рассердился, упруго поднялся с места, прошелся по комнате, затем приблизился к столу, отпер ящик, посмотрел на какие-то бумаги, достал из другого ящика несколько чистых больших бланков с изображением хищного фашистского орла вверху, сказал, садясь:

— Вы будете рассказывать.

— Что именно? — не понял Отава.
— Все.
— Но что именно?
— Вы — профессор Отава. Так?
— Раз вам это известно, то в самом деле так. Я Отава. Был профессор. Теперь просто...
— Мы еще будем говорить об этом. Большевик?
— Как все,— сказал Отава.— Как весь мой народ.
— Я спрашиваю — вы член партии большевиков?
— Сейчас это не играет роли.
— Я спрашиваю.
— К сожалению, не был членом партии, но теперь жалею. Очень сожалею.
— Моральные критерии нас не интересуют. Дальше: с какой целью вы остались в Киеве?
— То есть?
— Зачем вы остались в Киеве? Варум, то есть почему?
— Но ведь... странно... Это — мой город... Здесь мой отец, дед, все...
— Моральные категории нас не интересуют. С какой целью вы остались?
— Что касается меня, то тут были разные причины, но... Весь народ остался на своей земле. Вы что — будете допрашивать весь наш народ?
— С какой целью? — не слушая его, торочил свое зондерфюрер, что-то быстро царапая простым карандашом на бумаге.
— Спасал исторические сооружения Киева,— сказал утомленно Отава,— соборы, Лавру... Это, конечно, бессмыслица, один человек здесь ничего не мог поделать, но мне помогали... Многие люди помогали, хотя, конечно, у людей — другие заботы... Но не будем об этом...
— А какая цель? — гестаповец долбил в одно место, будто дятел.
— Все, больше мне сказать нечего.
— Кто остался с вами?
Отава решил, что речь идет о Борисе. Конечно, они знают о сыне точно так же, как уже всё знают о нем, но произносить имя сына в этом логове смерти он не мог.
— Один,— сказал он,— я всегда был одиноким... Кто хочет идти на риск открытий и новых теорий в науке, должен быть готовым к одиночеству...

— Повторяю: нас не интересуют категории моральные. Я спрашиваю, кто ваши сообщники?

— Сообщники? В чем?

— В вашей работе.

— В какой работе? Я же сказал, что работа ученого требует...

— Нас не интересует ваша работа ученого... Нас интересуют ваши сообщники по подрывной работе против райха... Здесь, в Киеве...

— Кажется, вы сказали, что здесь не шутят? — холодно напомнил Отава.— Что должны означать ваши слова?

— Означают то, что означают.— Зондерфюрер толкнул несколько исписанных листов к Отаве, подложил ему остро заточенный карандаш.— Подписывать. Могу перевести.

— Не нужно, я понимаю по-немецки,— сказал Отава, просматривая записи, и отодвинул один за другим листы к гестаповцу. Карандаш он вовсе не брал в руки.— Здесь написано, что я остался в Киеве, имея задание вести подрывную работу против немцев. Это неправда. Никто не давал мне никаких заданий. Остался я совершенно случайно. Должен был эвакуироваться, но... Просто мой странный характер послужил причиной... Но задание... Подрывная работа... Это смешно... Я не могу подписывать такое.

— Не подпишете — результаты будут обычные,— равнодушно произнес гестаповец.

— Это неправда.

— Результаты будут обычные,— поднялся гестаповец,— прошу подумать.— Он запер ящики и вышел, оставив Отаве исписанные крупным, отчетливым почерком листы с черными орлами вверху и остро заточенный карандаш.

Отава еще немного посидел и снова направился к окну изучать внутреннюю гестаповскую тюрьму, тихую и притаившуюся внешне, похожую на хорошо охраняемый склад для сбережения государственных сокровищ.

Неужели Шнурре вытащил его из лагеря смерти лишь для того, чтобы сейчас подвергнуть допросу в гестапо? Но ведь это же бессмыслица! Его могли тысячи раз допрашивать в самом лагере, могли забрать в гестапо прямо оттуда, не завозя на квартиру, не устраивая этого спектакля с возвращением к жизни, к привычной обстановке. Быть может, и с Борисом, с его спасением,— тоже спектакль? И этот вызов и допрос — тоже одно из действий умело отрежиссированного кем-то спектакля? Но кем и с какой целью? Какой интерес

представляет для них нелюдимый профессор, ломавший себе голову над какими-то там тайнами искусства времен Киевской Руси? Был бы он физик, математик, металловед, имел бы дело с оборонной техникой, авиацией, с моторами. А так — фрески, мозаики, попытка реконструировать последовательность событий, имевших место тысячу лет тому назад. Кого бы это заинтересовало?

Еще раз пришел зондерфюрер, снова несколько раз повторил, что результаты будут обычные, снова исчез, а профессор Отава наконец теперь уже осознал мрачный смысл слов «обычные результаты», ибо значить это могло только одно: смерть, конец, исчезновение. Для гестапо это считалось обычным, а любое проявление жизни относилось к случаям чрезвычайным и, с точки зрения таких вот дрессированных зондерфюреров, просто противоестественным.

«А что, если сказать ему о Шнурре? — в отчаянии подумал Отава.— Если этот тип и знает Шнурре, то не покажет виду об этом, но все равно должен будет как-то среагировать на факт моего знакомства с эсэсовским профессором. Я же скажу, что просто его коллега...»

Гестаповец, словно бы предчувствуя неожиданность, которую готовит ему советский профессор, долго не приходил: видимо, он где-то злорадствовал, торжествовал, что умеет нагонять страх на свои жертвы, возможно, даже спустился вниз, вышел на улицу и вкусно пообедал в ресторане напротив, на котором красовалась вывеска: «Только для немцев»,— а потом еще и позволил себе небольшой променад туда и сюда под пышными летом, а теперь обнаженными, мокрыми, но все равно прекрасными деревьями, ибо ничего не может быть лучшего, чем деревья в каменном городе, это зондерфюрер, выходец из зеленой Тюрингии, знал, конечно, очень хорошо, а еще он знал, что человеку, кроме способности любоваться деревьями, цветами, женщинами и живописными пейзажами, полезно время от времени испытывать чувство страха, для этого нужно лишь создать соответствующие условия, и все на земле, собственно, должны разделяться на тех, которые испытывают чувство страха, боятся, и на тех, которые создают им для этого надлежащие условия. Что же касается советского профессора, то он имеет условия просто исключительные, осталось лишь убедиться, до какой степени испуга тот дошел, для чего зондерфюрер быстро добрался до своего этажа и внезапно появился перед профессором Отавой.

—Ну, итак? — бодро воскликнул он. Профессор рассмат-

ривал внутреннюю тюрьму гестапо. Зондерфюрер подошел к нему, тоже стал смотреть во двор, на окошки с решетками, которые у него не вызвали никаких ощущений, он смотрел на них точно так же равнодушно, как на крышки канализационных люков на улицах города, скажем, или на что-нибудь еще. Ну, это не играет никакой роли. Пускай уж рисует себе приятные картинки, созерцая тюремные окошки, профессор, который, кажется, всю жизнь имел дело с искусством, а все искусство, если это в самом деле так, базируется на буйной фантазии.

— Так что? — еще бодрее спросил гестаповец, убежденный, что Отава уже сломлен окончательно, ибо человек не может даже оторваться от созерцания своего вероятного жилья, что было бы еще далеко не худшим концом!

— Вам известен профессор Шнурре? — внезапно спросил Отава, спокойно отходя от окна.

— Профессор Шнурре? Что вы хотите этим сказать?

— Быть может, вы его лучше знаете как штурмбанфюрера Шнурре?

— Штурмбанфюрер Шнурре?

— Он живет в том же самом доме, что и я.

— Не играет роли.

— Мы с ним давнишние коллеги.

— Быть может, вы еще скажете, что он — ваш сообщник?

— Он вывез меня из лагеря на Сырце.

— Предположим.

— Он меня искал там очень долго и упорно.

— Если бы он обратился к нам, мы нашли бы вас намного быстрее.

— Но теперь он будет разочарован, если узнает, что напрасно отыскивал меня. Ибо находить человека, чтобы он снова исчез...

— Так,— сказал гестаповец,— я узнаю. Ждать.

Он вышел с плохо скрываемым недовольством, но с весьма хорошо маскируемой растерянностью, а профессор Отава снова принялся изучать мрачные окошки внутренней тюрьмы.

Если долго всматриваться в один и тот же предмет, то перестаешь его видеть, думаешь совершенно о другом или вовсе ни о чем не думаешь, ощущаешь неспособность твоего мозга к самому маленькому усилию, превращаешься в точно такой же неживой предмет, как и тот, который находится перед тобой. А если перед тобой тюрьма — одно из древнейших изобретений человечества... Как говорится, «от тюрьмы да от су-

мы не зарекайся...» Нет гарантий, а в его положении — просто нет спасения. Еще совсем недавно фашизм воспринимался как нечто далекое, нереальное. Смотрели кинофильмы «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок» — штурмовики, гестапо, аресты, но воспринималось это даже не как отдаленная угроза, а просто как очередное несчастье еще одного народа, который не знал, за кого голосовать на выборах. Только отдать голоса, кому надлежало, и ситуация была бы совершенно иной. А в Испании фашизм никогда не победил бы, если бы западные державы не наложили эмбарго на ввоз оружия, ибо республиканцы задыхались без оружия, а фашистов тем временем щедро и безнаказанно, совершенно безнаказанно и нагло снабжали всем необходимым и Гитлер, и Муссолини. В Италии фашизм представлялся и вовсе чем-то опереточным со всей этой игрой Муссолини под римских цезарей, с его речами с балкона Венецианского дворца в Риме, с переодеванием в черные рубашки. Само собой разумеется, мы осознавали опасность, мы знали, что нас не любят за то, что государство наше не похоже на любое из существующих в мире и из тех, которые когда-либо существовали в истории человечества, но мы ощущали и собственное могущество, мы бодро пели: «Если завтра война...» — и обещали бить врага на его собственной территории, и, убаюканный такой уверенностью, некий профессор Отава мог разрешить себе роскошь заниматься изучением таких отдаленных проблем, как художественное прошлое своего народа, спокойно и неторопливо воссоздавал он в своем представлении золотой век Киевской Руси, совершал вместе с древними мастерами путешествия по всей земле, покрытой пущами и борами, строил соборы, украшал их дивными фресками и дорогой мусией, и никто ему не мешал, никто не считал это вредным и несвоевременным; почтительность, которой были окружены его на первый взгляд странные и не для каждого нужные занятия, успокаивала Гордея Отаву все больше и больше, он был убежден, что так будет длиться столько, сколько потребуется, ничто не помешает ему закончить дело его жизни, никто потом не обвинит его в том, что он зря потратил свою жизнь, бесцельно провел ее в безделии.

Но чтобы такой вот странный и печальный финал, бессмысленно-трагический финал?

На всякого мудреца довольно простоты. Старое, к сожалению, вечно актуальное предостережение...

Шнурре примчался в гестапо лично. Он не полагался на

тех не в меру ретивых болванов, которые только и знают, что хватать людей без разбора и упрятывать их в тюрьмы. Штурмбанфюрер был одет в серый гражданский костюм, в серое ворсистое пальто, в мягкую шляпу, которую он снял, вбежав в комнату впереди зондерфюрера, в полутемную комнату, где Гордей Отава еще и сквозь сумерки пытался рассмотреть внутреннюю гестаповскую тюрьму, погруженный в свои невеселые думы. Быть может, профессор Шнурре снял свою мягкую шляпу (просто диву даешься, как это он ухитрился довезти из самой Германии неизмятой такую мягкую шляпу!) из уважения к своему коллеге профессору Отаве, а может, просто потому, что вспотел, пока взбирался на четвертый этаж, ибо он не мог спокойно подниматься по ступенькам, зная, что здесь ждет его герр профессор, ждет или не ждет,— быть может, он и не ожидал поддержки, совершенно случайно, вероятно, упомянув его имя, но среди людей науки должны существовать определенные нормы поведения, должна быть, как говорится, солидарность, старые профессора еще в его юности учили, что между учеными она должна быть даже в ошибках, как между святыми и женщинами — в грехах, хотя это можно было бы отнести и к государственным деятелям, которые то с непонятной придирчивостью выискивают малейшие ошибки друг у друга, то внезапно закрывают глаза даже на совершенно откровенный разбой, но, благодарение богу, с этим будет навсегда покончено, как только в Европе, а потом и во всем мире воцарится новый порядок, установленный доблестными немецкими войсками под мудрым водительством фюрера, ибо немецкая нация издавна считается самой справедливой на земле, ее великие мыслители, поэты, музыканты заложили, как никто другой, основы для гармонического правопорядка в мире, остается теперь сделать еще одно усилие и...

Он говорил безумолчно все то время, пока спускались по ступенькам, великодушно уступил Отаве место у поручней, ибо все равно ведь тот не мог броситься вниз, в узкую каменную шахту, предусмотрительно загороженную крепкой проволочной сеткой; кроме того, бросаться вниз головой для профессора Отавы теперь, когда его так своевременно и благородно спасали (и уже вторично, а если считать еще и случай с сыном, то в третий раз!), не было ни причин, ни тем более смысла, если вообще можно найти какой-либо смысл в том, чтобы добровольно разбивать голову, которую еще никому не удавалось заново склеить, да, ха-ха!..— к сожалению, не удавалось, хотя иногда в этом и ощущалась потребность; исто-

рия дает нам бесчисленное множество примеров, и в данном случае голова профессора Отавы тоже принадлежит истории, так, как принадлежат истории головы всех великих государственных мужей; они как раз проходили вестибюль, украшенный (профессор Отава утром и не заметил этого «украшения») большим портретом Гитлера с украинской надписью внизу: «Гитлер-освободитель»,— коричневато-зеленые оттенки, военный плащ с оттопыренным воротником, высокая офицерская фуражка, звериное лицо между зеленоватостью фуражки и плаща, размашистые штрихи, всеобщая колючесть, впечатление такое, что портрет вот-вот зарычит на тебя по-тигриному; бедная история! — за какие провинности суждено ей терпеть и такие вот отвратительные физиономии?

Но Гордей Отава молчал. Он мог бы многое сказать разговорчивому герру Шнурре, но роли у них были такие, что у одного рот не закрывался от восторга перед своими успехами, своей непобедимостью, а другой должен был только молчать или же отвечать на вопросы, которые может задать ему любой из победителей,— вопросы самые неожиданные, самые бессмысленные, самые оскорбительные, самые возмутительные, все равно, его долг теперь заключался только в том, чтобы удовлетворять любознательность победителей, ублаготворять их капризы, подтверждать их предположения, и все это без малейшей попытки сопротивления, потому что по условиям военного времени он может быть отнесен к разряду людей, представляющих опасность для нового порядка, как это уже чуть было и не случилось из-за ненужной ретивости функционеров гестапо, и если бы только он так своевременно не вспомнил о своем великодушном и, благодарение богу, влиятельном коллеге, то неизвестно, чем бы все закончилось, и...

Профессор Отава чувствовал себя в роли обреченного удовлетворять пожелания победителей, даже тогда, когда они вышли из серого здания гестапо, и когда они ужинали в ресторане с надписью на входной двери: «Только для немцев», и когда после ужина Адальберт Шнурре предложил ему небольшой шпацирганг, то есть прогулку, до площади Богдана и вокруг Софии, считая, что будет хорошо малость развеять неприятное настроение этого не совсем счастливого, точнее говоря, просто-таки фатально несчастного дня, отбросить от себя остатки невзгод, как отбрасывают ненужные воспоминания, а что может лучше служить этому, чем ночная прогулка вокруг тысячелетней святыни славянского мира.

Жесточайший враг не придумал бы более тяжкого наказания для Гордея Отавы, чем предложенная ему после всего прогулка вокруг Софии: в мертвом, истерзанном, оскверненном, поверженном городе, средь темной ночи должен был он ходить туда и сюда возле собора, изучению которого посвятил жизнь, ходить мимо фашистских часовых, торчавших тут и там и самодовольно откликавшихся на пароли, ходить лишь для того, чтобы осознать с трагичнейшей окончательностью жестокую истину войны: город не твой, собор не твой, святыни не твои, ничего здесь нет твоего, а следовательно, нет и тебя, ибо существуешь ты только до тех пор, пока владеешь своей землей, своими городами, своими святынями, своей отчизной, принадлежащей тебе с деда-прадеда.

— Я не пойду туда,— твердо сказал Отава, когда они пошли мимо колокольни и под ногами у них появились каменные плиты софийского подворья.

— Но почему же? — удивился Шнурре.— Это так романтично! Это...

Отава молча повернулся и пошел назад. Часовые пропустили его без паролей. Шнурре дал Отаве отойти немного от собора, только тогда приблизился к нему, подстроился к нервному шагу профессора и произнес:

— Я пытаюсь понять вас, профессор Отава, и, кажется, мне становится понятным. Но... Жизнь идет своим путем, несмотря на наши переживания, наши настроения, наши симпатии и антипатии... Жизнь требует. Она всегда требует от человека. Человек и рождается на свет лишь для того, чтобы выполнить какие-то обязанности, и значение человека в мире определяется весомостью обязанностей, возложенных на него и выполняемых им. История возложила на нас особенно тяжелую миссию. Но... мы гордо несем ее. Великие небесные тела в своем непрестанном движении всегда затягивают тела более мелкие, все, что попадает в сферу их влияния, должно или же двигаться в том же самом направлении, или же сгорать, исчезать бесследно. Поэтому я... Мне не хочется... Вы уже имели случай убедиться, что я делаю все возможное для того, чтобы... Имя профессора Отавы широко известно всей Европе... Оно не должно... Вы понимаете, что я хочу сказать... Но для этого...

Отава мог бы выручить Шнурре из затруднительного положения. И сделать это он мог вовсе не поспешным согласием выполнять все его прихоти, а хотя бы кратеньким вопросом, хотя бы самой попыткой поинтересоваться, чего же нужно

Адальберту Шнурре, какой выкуп требует он за все свои благодеяния, какой ценой придется платить за все спасательные акции, проделанные штурмбанфюрером Шнурре в отношении советского профессора Отавы. Но Гордей Отава молчал.

— Конечно, такой разговор не для улицы,— вздохнул Шнурре,— но раз уж так сложилось... Я мог бы зайти к вам, мог бы пригласить вас к себе («Да, да,— думал Отава,— ты все можешь, тебе все дозволено, ты сам себе пан, сам себе свинья, а вот кто я теперь, и что, и зачем?»), но... Нам нужно избрать для этого нейтральную территорию («Так, будто существует ныне где-нибудь нейтральная территория!» — думал Отава), чтобы ни одна из сторон не имела моральной опоры и поддержки («Ты уверен, что я сломлен окончательно, что мне уже неоткуда ждать поддержки, что обстоятельства прижали меня, уничтожили меня»,— подумал Отава), поэтому я предлагаю завтра утром встретиться прямо в соборе, в этой вашей Софии, которую вы так хорошо знаете, которую вы любите, в которой... Я хотел сказать, в которой вам и стены будут помогать, но вовремя вспомнил, что отныне эти стены, как и стены всего Киева, вам не принадлежат, а принадлежат все-таки нам, следовательно, в Софии мы будем с вами в более или менее одинаковых условиях и сможем поговорить о деле, у меня есть для вас весьма интересное предложение, и я просил бы не откладывать этот разговор... Согласны?

— Не знаю,— сказал Отава.

— Вы можете подумать. У вас много времени. А завтра в девять или даже в десять часов утра, хотя я не думаю, чтобы профессор любил долго спать, но все равно... мы можем прийти сюда в десять...

— Я не могу,— твердо произнес Отава.

— Ну да, я понимаю. Вам бы не хотелось... Все-таки в данном случае я — оккупант... Но не будем афишировать нашего знакомства, и... пускай каждый из нас придет сам по себе... Договоримся так: я жду вас завтра с девяти до десяти или даже до одиннадцати... Просто для небольшой экскурсии. Ведь в письмах вы столько раз обещали показать когда-нибудь мне софийские фрески и мозаики.

— Обстоятельства изменились,— напомнил Отава.

— Но не изменились мы, надеюсь.

— К сожалению.

— И все-таки я очень просил бы вас...

— Вам не нужно меня просить... В ваших руках могучее средство принуждения.

— Не стану же я прибегать к этим средствам, чтобы моего коллегу...

— Считайте, что мы не коллеги, а враги.

— Я бы не хотел этого.

— В данном случае от желания отдельных людей ничего не зависит. После того как в мой родной город вступили чужие войска, каждый, кто к ним принадлежит, мой враг.

— Смело сказано. Но я понимаю: вы мне доверяете, и это меня радует.

— Говорю то, что думаю.

— Но ведь в лагере, например, вы не высказывались так откровенно.

— Величайшая трагедия лагерного бытия заключается, к сожалению, именно в том, что там никто не спрашивает тебя, что ты думаешь, вообще тебя никто ни о чем не спрашивает, человека там рассматривают просто как материал для издевательства и для уничтожения, и это невыносимо.

— Но я освободил вас из лагеря, и вы можете высказаться до конца.

— Вот я и высказываюсь,— Отава попытался засмеяться, но у него ничего не вышло. Хорошо, что хоть темнота скрывала болезненную гримасу, которая должна была означать улыбку.

— Мне все-таки хочется, чтобы мы встретились завтра в Софии. Для нас с вами — это прекрасное место для бесед. Просто незаменимое место.

— Не могу разделить вашего убеждения.

— Но ведь я повторяю: у меня есть прекрасное предложение к вам.

— Благодарен вам за помощь, которую вы... Но предложений ваших... не могу принять...

— Однако, профессор Отава,— изменившимся голосом сказал Шнурре,— если забыли вы, то, разрешите, напомню вам я. Речь идет о работе вашей жизни. Я немного старше вас и знаю, что это такое, когда ты уже увидел горизонт своей жизни и когда думаешь только о том, чтобы закончить начатое. Чем-то это похоже на состояние греческого воина, прибежавшего в Афины, чтобы сообщить весть о победе под Марафоном. Исчерпанность и нехватка времени. Ужас! Вы меня понимаете? Я не знаю, над чем именно вы работали, но уве-

рен, что такая работа у вас есть, потому что вы настоящий ученый, вы — человек одной страсти, одной цели.

— Война помешала не только мне,— напомнил Отава,— но и всему моему народу...

— Мы вам дадим возможность продолжать вашу научную работу! — воскликнул Шнурре.

На этот раз Отава не смог выдавить даже горькую улыбку. Ибо кто же, какой ученый, насильно вырванный из привычного течения жизни, немедленно не спросил бы после этого: «Позвольте, а как вы это сделаете?» Ведь живешь на земле не одним лишь трудом, не одной только работой, которую взял на себя, а прежде всего твердым убеждением в своей незаменимости. Если не сделаю я, то и никто не сделает. Если я умираю, то вместе умирает и весь мой отдельный мир, восстановить который никому не дано.

Но если умирает, гибнет весь тот мир, в котором ты жил? Имеет ли тогда смысл твое отдельное бытие и нужна ли кому-либо твоя, пускай и самая уникальнейшая работа, если она не служит защите, спасению, обороне твоего любимого, свободного мира?

Отава улыбнулся даже не в связи с наивной прямолинейностью восклицания Шнурре. Просто вспомнил, как много лет назад сформулировал тему своей работы, которая должна была стать содержанием всей его жизни. Название вот какое: «К вопросу об авторстве художников, оформлявших Софию Киевскую». К вопросу, к вопросу... Это звучало смешно сегодня, когда фашистам сдан Киев с миллионом населения и вся Украина, когда танки Гудериана рвутся к Москве, когда окружен Ленинград, когда за колючей проволокой тысячи, а возможно, и миллионы, когда в ярах и перелесках днем и ночью расстреливают ни в чем не повинных людей, когда... К вопросу...

Хорошо, что были они уже на лестнице, Отава не успел наговорить Шнурре такого, после чего (теперь уже окончательно) очутился бы в гестапо. Но спасительная лестница в полутьме вела Отаву наверх, он молча кивнул головой, словно бы по давней профессорской привычке хотел поклониться, и ушел, а Шнурре смотрел ему в спину, задрав голову, и все же не удержался, воскликнул:

— Итак, завтра я жду вас до одиннадцати.

Борис открыл отцу еще до того, как тот постучал в дверь. Создавалось такое впечатление, будто парнишка простоял здесь с самого утра, прислушиваясь к шагам на лестнице. Он

прямо посинел от изнурения и усталости, в глазах у него был испуг; вероятно, он еще не верил, что отец возвратился цел и невредим,— возможно, ждал, что за спиной отца вырастет мрачная фигура часового, но, когда и убедился в безосновательности своих опасений, все равно не мог согнать с лица обеспокоенность и боль.

Воспитывавшийся без матери, Борис не привык к проявлениям сентиментальности, поэтому и не бросился к отцу в объятия, хотя и желал это сделать; он даже не поприветствовал отца радостным восклицанием, хотя это восклицание рвалось у него из груди; он даже не смог закрыть за отцом дверь.

Отава сам поколдовал над замком, а когда оглянулся, то за Борисом, в освещенном квадрате кухонной двери, увидел бабку Галю со свечкой в руках.

— Все в порядке,— обоим сразу сказал Отава. А потом обнял сына за худенькие плечи и повел в кабинет.

— Садись вон там,— указал сыну на венецианское кресло, осознавая, быть может, впервые в жизни, бессмысленность всего, что его окружало: и богатого собрания икон, и книжных раритетов, и истлевших манускриптов, и этого венецианского кресла, изготовленного прославленным мастером Брусталоне, что ли, он сделал за всю жизнь лишь несколько таких кресел, одно хранится в Эрмитаже, еще одно где-то в Англии, и вот у него, у профессора Отавы, тоже, но теперь это стало абсолютнейшей глупостью, теперь это смешно и жалко.

Борис сел на краешке кресла, будто чужой, смотрел на отца все еще напуганными глазами, потом сказал, и в голосе у него был упрек:

— Я думал, что ты не вернешься.

— Могло случиться,— спокойно ответил Отава.

— Не нужно было ходить в гестапо! — оживляясь, сказал Борис.

— Поздно слышу толковый совет.— Отава тоже сел. Оба они возвращались к жизни, между ними уже проскочила искра иронии, столь характерной в их отношениях; Отава заметил у Бориса ироничность еще с малых лет и сознательно культивировал ее, считая это первым признаком острого ума, ибо хотел видеть своего сына прежде всего умным человеком.— Но куда же я должен был идти? — спросил отец.

— Бежать! — Борис соскочил с кресла, пробежался по кабинету, встал напротив отца.— Бежать на фронт, вот!

— Поздно,— уже без тени иронии, даже утомленно, чего

не следовало себе разрешать, произнес Отава.— Дела мои, Борис, не улучшились и после того, как я выбрался из-за колючей проволоки. Все остается по-прежнему. Считай, что я до сих пор за проволокой, а ты с другой стороны.

— Зачем? — воскликнул сын.— Зачем это тебе нужно?

— Считай, потому что так оно и есть,— спокойно продолжал Отава,— и прошу тебя, выслушай все, что я тебе сейчас скажу, и запомни... Может случиться, что я... Одним словом, тебе придется заканчивать то, что я начал много лет назад. Ты умный парень, многое уже знаешь... К сожалению, я ничего не могу тебе дать из того, что сделал, но ты найдешь это после войны... В институтских сейфах, вывезенных Бузиной... Ну, ты это знаешь... Но я расскажу тебе...

— Ну что ты, отец? — Парнишка подошел к отцу совсем близко, он мужественно преодолевал барьер сдержанности, он наполнялся чуткостью, его лицо отмякло, стало красивым, добрым мальчишеским лицом, он стал возле Гордея почти вплотную, стоило лишь протянуть руку, но они оба еще сдерживались, они не привыкли к внешним проявлениям чуткости, в особенности хорошо знали цену жестам. Однако на этот раз все должно было быть иначе, чем всегда, и все произошло действительно иначе, отец протянул сразу даже не одну, а обе руки, а сын почти упал к нему в объятия и, пряча на отцовской груди лицо, захлебываясь от слез, почти закричал:— Что ты говоришь, зачем ты такое говоришь!

— Нужно,— твердо сказал Отава,— ты сам видел все. Кто знает, может, придется увидеть еще бо́льшие жестокости войны... Но ты должен знать, что есть вещи, которые выдерживают... Историю народа нельзя уничтожить...

До самого утра они не спали, и Отава рассказывал Борису про Сивоока.



Год
1015
ПРЕДЗИМЬЕ. НОВГОРОД

В лета 6523. Хотящю Володимеру ити на Ярослава, Ярослав же послав за море, приведе Варягы, бояся отца своего.

Летопись Нестора

Еще не чувствовал себя князем, был просто ребенком, немощным и изболевшим, самым несчастным в княжьем тереме; еще не осознавая всех обид, причиненных ему с момента рождения (или же еще и до того!), возмущался, что должен начинать свою жизнь в невыносимой боли, и кричал, кричал так, что его крохотное личико становилось синим от напряжения.

Зачатый в ненависти, рожденный с увечьем.

Его нарекли Ярославом, в честь всемогущего бога Ярилы, который покровительствовал всем плодовитым и растущим, но только впоследствии маленький князь поймет, сколько глумления для него в том имени, и с той поры начнутся долгие годы тяжкой ненависти к отцу — великому князю Владимиру.

Ненависть пришла прежде всего от матери, Рогнеды, пришла в ночном приглушенном шепоте, пришла с пересказанной на все лады мрачной повестью о нападении Владимира на княжество Полоцкое, об убийстве отца Рогнеды, Рогволода, и ее братьев, о надругательстве, насилии, разбое, позоре! Владимир взял Рогнеду как наложницу, а потом бросил бере-

менную, подался в Киев отвоевывать владение у старшего брата своего, Ярополка, которого задался целью погубить еще тогда, когда гордая Рогнеда отвергла его жениховство, сказав: «Не хочу разувать робичича, но Ярополка хочу».

Невероятная вещь: под этот материнский шепот маленький Ярослав готов был забыть собственного отца и отдать всю свою детскую привязанность неведомому Ярополку. А все потому, что мать так восторженно, так сочувственно рассказывала о Ярополке. А родной отец выступал лишь забиякой и убийцей, ибо лишил жизни не только старого Рогволода и его сыновей, но и родного брата своего, Ярополка, и велел вершить это в сенях княжеской гридницы, сидел, наверное, в своем кресле в гриднице и слушал, как в сенях шла борьба, как вскрикнул Ярополк, как упал на деревянный звонкий пол.

— А ему же было больно? — спрашивал мальчик у матери.— Всегда больно, когда убивают?

Он знал, что такое боль, потому что у него от рождения были вывихнуты ноги; ноги ему совсем не подчинялись, они жили своей отдельной жизнью, он мог лишь ползать, подтягиваясь на руках, вся надежда его была на руки и на плечи, а с ногами не получалось ничего — не помогали ни молитвы, ни молебны, ни священная вода, ни купели в травах, ни заморское питье.

Зато, прикованный к постели, он изучил столько всякой всячины, что в дальнейшем этого хватило ему на половину жизни. Прежде всего, ясное дело, про отца, которому Рогнеда никогда не могла простить зла, никогда, никогда! Взял насильно после убийства родных, а потом бросил ее в Полоцке и уже в Киеве, убив Ярополка, взял его жену-гречанку себе в наложницы (а может быть, и в жены), но и этого показалось мало развратнику, ибо когда родился от гречанки Святополк (собственно, сын Ярополка), а Рогнеда разрешилась Изяславом, то уже князь имел у себя новую жену, Любушу-чешку, но и эта привела ему только одного сына, Вышеслава, и попала в немилость, была отправлена назад в Чехию, в какой-то монастырь, а Рогнеду привезли в Киев и наконец нарекли настоящей княгиней, и уже тогда родила она Мстислава, а затем Ярослава, но от этого не воспылала любовью к Владимиру и каждому из сыновей с младенческих лет нашептывала о своей ненависти, о своей боли, и так они и росли среди этой удивительной, глубоко затаенной вражды материнской к отцу и среди совершенного равнодушия отца к ним и к матери, ибо редко видели князя Владимира; у него всегда было мно-

жество хлопот, он чаще был в походах, чем в Киеве, собирал земли, покорял непокорных, добивался неведомо чего, а дети его росли без ласки и любви, все разные, от разных матерей, объединенные одним лишь отцом, а так — разноплеменные и разноязычные: от гречанки Ярополка — Святополк, от Рогнеды — Изяслав, Мстислав, Ярослав и Всеволод, от чешки Любуши — Вышеслав, от чешки Мальфреди — Святослав, Судислав, Позвезд, от болгарки из царского рода Симеона — Борис и Глеб, от ромейской царевны Анны не было детей, зато от немки, на которой Владимир женился в лето 6519, родился сын Станислав и дочь — Мария Добронега.

Ярослав, в сущности, не знал их почти никого, жил возле матери, у него была своя боль, он страдал от своей неподвижности; как только начал понимать окружающий мир, возненавидел его, хотя и стремился ко всему, что было для него недоступно, ему хотелось смеяться, бегать, кричать, играть со сверстниками,— делать все то, что видел, когда подносили его к окошку княжеского терема и он выглядывал на киевскую улицу, где в пыли и грязи возилась детвора, бегали собаки, проезжали телеги, ржали кони, слонялись туда и сюда всякие бездельники или же тяжело сгибались под грузом носильщики, где проходили и проезжали верхом на конях чванливые дружинники, брели усталые, равнодушные ко всему окружающему, приведенные с далеких погостов вои, красовались в своих заморских нарядах богатые гости, проплывали, будто пышные павы, киевские красавицы в паволоках, узорчатых одеждах или просто в белых полотняных уборах, которые все равно не портили их красоты, а еще сильнее ее подчеркивали.

А еще в открытое окошко, кроме голосов и манящих звуков, вливался киевский дух, от которого в груди у молодого князя что-то словно бы даже надрывалось, хотелось ему чего-то непостижимого, и от этой дикой непостижимости его охватывал приступ бешенства, и Ярослав кричал до хрипоты, до посинения, бил кулаками своего пестуна Будия, бил в грудь так, что гул раздавался; Ярослав задыхался от бешенства, от ненависти ко всему живому, здоровому, неискалеченному.

— Не туда бьешь, княже,— смеялся Будий, русоволосый молодой красавец, который тем временем перемигивался через открытое окно княжеского терема с какой-то там молодицей,— вот сюда целься! Вот так! Будешь добрым князем, ого!

С четырех лет Рогнеда приставила к Ярославу учителей греческих, болгарских, варяжских и даже латинских, они забивали малышу голову чужими словами и странной грамо-

той, неслыханной ранее, а Будий появился возле князя уже позднее, удивляясь сообразительности малого, довольно быстро обучил его русским резам[1], но прежде всего задался целью поставить Ярослава на ноги.

— Ты только слушай меня, тогда будет у нас с тобой дело,— говорил Будий.— Вот я поведаю тебе про богатыря нашего, который сидел сиднем в избе тридцать лет и три года, а потом...

Он не давал передышки малому князю, заставлял его сгибать и разгибать ноги множество раз, разминал ему икры своими медвежьей силы лапами, поднимал на ноги, а потом быстро выпускал Ярослава из рук, и тот падал, больно ударялся, кричал на Будия, но Будий не обращал на это внимания и упорно продолжал делать свое дело.

— Скоро встанешь на ноги,— утешал он Ярослава,— и будешь стоять так прочно, как, может, никто другой.

Ярослав лишь вяло улыбался на эту сладкую ложь, но, как только снова приходилось ему падать, весь корчился от злости, выстукивал кулачками по чему попало, кричал:

— Врешь, ты все врешь! Когда вырасту, велю срубить тебе голову! Ты будешь знать!

А потом была та жуткая ночь, когда отец, князь Владимир, привез с собой из Корсуня новую жену, ромейскую царевну Анну, перезревшую гречанку, которая засиделась в невестах возле своих братьев-императоров Василия и Константина. Видимо, нужна ему была как заложница для мира с ромеями, но Рогнеда усматривала в этом один лишь блуд своего мужа, в бессильной злости наблюдала, как Владимир год назад выходил до самых порогов, ожидая приезда Анны, но напрасно прождал до самой зимы, возвратился в Киев разъяренный на всех близких и далеких, а как только сошел лед с Днепра, снарядил поход на Корсунь и долго завоевывал город, а потом еще ждал, пока императоры из Царьграда пришлют ему Анну, и, наконец, возвратился в Киев с новой женой, царицей, и сам уже не просто себе князь, а словно бы царь всей земли Русской, которую собрал и утвердил своими походами и заботами. И вот так ночью, прямо с похода, с духом далекой дороги и не выветрившимися из бороды ароматами от заморской царевны, пришел к Рогнеде, разбудил Ярослава, которому снилось, что его душит непрестанный сухой,

---

[1] Резы — первобытное письмо, которое, наверное, существовало на Руси еще в докняжескую эпоху.

колючий кашель, сказал, не садясь, торча в полутьме, при слабом свете двух свечей, зажженных у ложа Рогнеды:

— Имею жену, царицу Анну, и не могу теперь иметь больше никого, так велит новый мой бог Христос, но тебя не хочу обидеть. Выбери себе мужа, которого пожелаешь среди моих вельмож.

Тогда Рогнеда вскочила с ложа, встала напротив князя, в длинной белой сорочке, высокая, стройная, казалось, выше князя, закрыла его от Ярослава своей фигурой, он видел только мать и слышал только ее голос:

— Была царицей и не хочу быть рабыней никому на земле, лишь богу одному!

— Ты княгиня! — закричал маленький князь так, как он кричал только на Будия.— Воистину ты царица всем царицам, мама!

И он с отчаяния выбрался на руках из нагретой постели,— руки у него были удивительно сильными для его восьми лет, силой он мог сравняться чуть ли не со взрослым мужчиной, толчок рук был таким неожиданным для него самого, что он сел и протянул ноги, как это делают все здоровые люди, а потом подвинулся на край ложа и уже не мог удержаться, уже ноги сами скользнули по мягкому меху, уже отброшено легкое одеяло из беличьих шкурок, и впервые в своей жизни князь Ярослав без посторонней помощи сам встал на ноги и стоял, удивленно стоял, не падая, хотя все в нем колотилось и клокотало от страха и напряжения, все напряглось в нем, вот-вот разорвется и он умрет, но ничего противоестественного не произошло, удивительная сила удерживала его на ногах, князь Владимир смотрел на своего сына с нескрываемым страхом, Рогнеда тоже оглянулась, увидела Ярослава на ногах, вскрикнула, бросилась к сыну, обняла его за плечи, чтобы не дать упасть, но он продолжал стоять, даже смог попытаться отстранить от себя мать, но сделал это для приличия, у него не было сил ни на что больше, кроме этого, первого в жизни стояния на собственных ногах, он не мог промолвить слово, да где там слово — хотя бы звука выдавить из себя не смог бы.

Князь Владимир еще немного постоял остолбенело, потом грузно повернулся и понуро двинулся из палаты.

А Ярослав с тех пор начал понемногу ходить, поддерживаемый и напутствуемый веселым пестуном, но старался делать это тайком, чтобы никто не видел, потому что походка у него была утиной, ноги расходились в разные стороны, все качалось

перед глазами, и если бы не его невероятное упорство, то вряд ли смог бы он научиться как следует ступать по земле, но Ярослав обладал неисчерпаемым зарядом настойчивости, которая передалась ему то ли от многочисленных наставников, то ли от отца, который в государственных делах не знал ни удержу, ни отдыха, то ли от матери с ее неистребимой ненавистью к князю Владимиру.

Так с тех пор и запомнил Ярослав: нужно быть упрямым во всяком деле — и в ненависти, и в любви, и даже во всякой мелочи.

...Князь Ярослав сидел над красивым озером — синеватая полоска среди старых белых берез, сидел уже давно, не замечая, что его сапоги из добротного тима [1], украшенные по швам и на каблуках самоцветами, глубоко увязли в мягкий дерн и в ямки набежала вода; мягкая кожа размокла, ноги князя, собственно, купались в воде, но он этого не замечал, а может, так было еще и лучше, потому что холод в ногах отвлекал от тяжких дум, которыми переполнена была голова князя.

Равнодушно всматривался он в тихую гладь маленького озера, видел в ней свое отражение — крепкая голова на широких плечах, тяжелых, будто каменных, некрасивое суровое лицо с большим мясистым носом, глубоко скрытые мохнатыми бровями глаза с острым взглядом. Видел себя и не видел, потому что не любил таких смотрин, знал о непривлекательности своей внешности, о своих холодных глазах, о каменной суровости своего лица.

У воев и книжников холодные глаза. А он был книжник еще с тех лет, когда неподвижно лежал в материнских покоях, он прятался от веселых, беззаботных, здоровых людей со своим несчастьем за книги, читал о страданиях, о великомучениках, о подвигах, о великих деяниях, великих страстях и великих изменах — и этого было достаточно для него.

Книжные знания возвышали его над братьями и сестрами, над отцом и всеми окружающими людьми. У него всегда было вдоволь времени для усвоения книжных премудростей, а потом настал день, когда Ярослав почувствовал свое превосходство не только над такими, как сам, а даже над теми, которые казались некогда более высокими, недостижимыми, и тогда впервые зашевелилась в душе червячком соблазнительная мысль о том, что только он со временем должен господствовать на этой большой земле. В подобной мысли утверждал

[1] Тим — козел, козлиная шкура. Тут: сафьян *(арабск.)*.

его и новый бог, взятый князем Владимиром у ромеев,— бог Христос, жестокий ко всем непослушным, ленивым, бездарным, бессильным.

«Человек, имеющий уважение, а разума не имеющий, равен скоту, который приготовлен на убой» [1].

Такой бог вельми понравился Ярославу. Он не напоминал равнодушных в своей доброте ко всем без исключения славянских перунов, стрибогов, ярил и велесов. Молча грелись себе на солнышке, терпеливо переносили пронзительные осенние дожди, насупленно встречали холодные вьюги длинных зим, а вокруг люд пил меды, смеялся, плакал, рожал, умирал, сеял жито и просо, ходил на охоту, и все это в каком-то заведенном с давней древности круговороте, с бесплодной мыслью, без вознесения духа.

А тем временем миром завладел новый всемогущий бог — Христос. В нем молодой князь сразу увидел все то, к чему должен был стремиться в гордыне своего духа.

«Нет между богами, как ты, господи, и нет дел, как твои».

Издалека послышались тревожные восклицания, между деревьями на бешеном скаку приближались всадники на добротных конях, звенели сбруя и оружие. Увидев князя, всадники остановили коней и задержались на расстоянии плотной подвижной толпой, от нее отделился один, на белом высоком коне, в красивой одежде, он смело погнал к Ярославу, осадил коня перед самым князем, крикнул, разгоряченный быстрой ездой:

— Насилу нашли тебя, княже!

Светлоусый красавец с красными сочными губами сверкнул зубами, похожими на заморский жемчуг, похлопал широкой холеной ладонью по крутой шее коня. Коснятин, сын Добрыни, отцовского уя[2]. Он доводился Ярославу дядькой, если в точности разобраться. Был немного старше по возрасту, а главное — превосходил хитростью.

— Да у тебя ноги в воде! — обеспокоенно крикнул Коснятин, видимо стремясь хоть чем-нибудь покончить с молчаливой насупленностью князя.

— Мои ноги,— сурово ответил Ярослав.

— Застудишься, вода уже холодная,— немного сдержаннее сказал Коснятин, который понял, что Ярославу не по душе крик и толчея.

---

[1] Псалтырь, 48, 21.

[2] Уй (или вуй) — дядя по матери.

— Ежели князь захочет, то может и во льду сидеть,— снова оборвал его Ярослав.— Поезжайте с богом, а я еще посижу.

— Спугнули такого оленя,— вздохнул Коснятин.

— Спугните еще. Поезжай.

— Хорошо, князь. Но как же ты? Мы вернемся за тобой.

— Возвращайтесь.

Коснятин тихо отъехал от князя и только тогда пустил своего коня в намет. Ярослав видел, как он взмахнул рукой, как всадники торопились друг перед другом, стараясь угнаться за новгородским посадником, стараясь оказаться как можно ближе к нему; охотники создавали подвижную, живую цепь, между деревьями красиво очерчивались проносящиеся фигуры коней, сверкало оружие, живописно мелькала дорогая одежда. Видение исчезло, князь остался один.

«Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?»

Коснятин был сыном Добрыни, того самого Добрыни, который бросил Рогнеду к ногам молодого тогда князя Владимира и подговорил его поглумиться над ней. Так еще с детских лет Добрыня причислялся к врагам князя. А поскольку не застал его в живых в Новгороде, вражду свою должен был перенести на сына Добрыни Коснятина. А тот унаследовал от отца пренебрежение к роду Владимира, хотя и скрывал это за показной внимательностью и заботливостью, более всего — за хитростью.

Добрыни были обижены князем Владимиром и обмануты. Потому что сначала Владимир в знак благодарности к своему близкому, родному брату матери своей Малуши, провозгласил того князем в Новгороде, но со временем, когда пришлось ему рассовывать своих сыновей, напложенных от бесчисленных жен, он забыл о своем обещании Добрыне и наименовал князем в Новгороде своего старшего сына Вышеслава. Действовал тогда Владимир быстро и хитро. Самому старшему сыну от Рогнеды Изяславу, который имел бы право сесть на отцов стол в Киеве, подарил Полоцк, якобы для того, чтобы задобрить Рогнеду, на самом же деле — отнял у Изяслава все надежды на возвращение в Киев, ибо Полоцк был провозглашен княжеством самостоятельным, независимым от власти Великого князя. Другим сыновьям своим Владимир без устали напоминал, что они — всего лишь его послушные люди, и, чтобы показать свою неограниченную власть

над ними, раздавал им уделы без видимой целесообразности, по простой прихоти. Второго после Изяслава — Мстислава загнал аж в Тмутаракань, тогда как побочного сына от Ярополковой гречанки, Святополка, посадил в близком от Киева Турове; хотя Ярослав был сыном от Рогнеды, а Святослав от Мальфреди-чешки, но не Ярослава послал отец в близкие Деревья, а Святослава; Ярослава же, видимо испугавшись его книжной мудрости, загнал аж в Ростово-Суздальскую землю, за леса и за реки, туда, где чудь и меря, туда, где бродяги, бежавшие из всех княжеств, скрывались от бояр, от преследования и злой доли.

Но бог не оставил молодого князя и в той далекой земле.

«Правда твоя, как горы божии, а судьбы твои — бездна великая».

В то время на Суздальщине были хорошие урожаи, хлеб был дешевый, а от этого и сила княжеская возрастала. Хлеб был дешевым один год и другой, и молодого князя любили и прославляли, хотя и не его заслуга на урожай, но хлеб дешевый — и уже любовь отовсюду, и жить любо, и сил прибавляется и уверенности. Ярослав с дружиной ходил на чудь и на мерю, оттеснял их с лучших земель, раздавал угодья своим приближенным людям; к нему стекались вои, мужи знатные и просто голытьба, у него получали убежище все недовольные, он возвышался над ними и становился опасным, быть может, даже и для самого Великого князя. Однако тот пристально следил за своими сыновьями и своевременно заметил гордыню Ярослава. К тому времени уже умерла Рогнеда, а в Новгороде хитроумные Добрыни укоротили век немощному Вышеславу. И вот еще сани с мертвым Вышеславом только тронулись в печальное путешествие из Новгорода в Киев, а Владимир уже позвал Ярослава к себе и нарек его князем Новгородским, то есть подручным у Добрынь, которые все равно не уступили бы своей власти, даже если бы Владимир прислал им самого господа бога!

«Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего».

В Новгороде никогда не знаешь — князь ты или не князь.

Князю принадлежит право суда, однако на княжеском суде должен быть посланец от веча. Судебная пошлина делится наполовину между князем и общиной. Ко всем княжеским людям приставлены люди вечевые. Князю полагается дань для прокорма дружин и челяди, для выплаты Киеву и содержания княжеского двора, но собирать все это он должен только через

новгородцев. Посадников в пригороды посылает Новгород, и князь не может их сменять. Вообще он никого не мог сместить без согласия на это веча, на котором собирались все именитые люди Новгорода: посадники, бояре, тысяцкие, конецкие старосты, купцы, боярские прислужники. Князь имеет под своей рукой дружину и все войско, но начинать войну без согласия веча не может. Князь должен придерживаться всех старых и новых договоров, заключенных Новгородом, и не мешать торговле. Сам может торговать, но не через своих людей, а через новгородцев. Не имеет права приобретать земельные угодья и какую бы то ни было недвижимость ни для себя, ни для жены, ни для дружины. Чувствовал себя неуверенно, был просто временным гостем в этом богатом и бурном городе, сидел на своем княжьем дворе или в Ракоме, которую получил в подарок от Коснятина, мог, правда, тронуться в объезд земель и пригородов, чтобы вершить проездной суд, на который имел безраздельное право, но тем и ограничивалась вся его самостоятельность.

«Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?»

В придачу ко всему Ярослав имел чахлую, старше себя жену — чешскую княжну Анну, на которой вынужден был жениться по велению Владимира, обеспечивавшего этим актом для себя покой от ближайших соседей. Анна не могла привыкнуть ни к страшным морозам, от которых трескались деревья в пущах и звонко взрывался промерзший лед на озерах и реках, нагоняли на нее хворость затяжные осенние дожди, нагоняли тоску развезенные дороги. Не было радости ни у Анны в этой земле, ни у Ярослава от такой жены. Единственный сын от Анны Илья тоже рос, как и мать, слабосильным и никчемным. Среди румяных боярских отпрысков он выглядел каким-то доходягой. А что уж говорить про Анну в сравнении с белотелыми, пышными боярскими женами, с женой Коснятина, который следом за отцом своим Добрыней не гонялся за высокой породой, а выбирал жену по телу да красоте, как наемники-варяги, приходившие на службу к Ярославу из-за моря со своими подругами — русокосыми, крепко сложенными красавицами, о каждой из которых можно было бы сказать словами из псалтыря: «Красота твоя разлилась по губам твоим».

Князь был несчастен во всем, но взывал лишь к богу, к нему одному:

«Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои».

Но и посадник Коснятин тоже чувствовал себя неважно. Был он вроде бы и князь и в то же время не был им. Ибо Добрыня, пока не был прислан в Новгород Вышеслав, провозглашен был князем, и никто не отнимал этого звания, дающегося навсегда, на весь род, на все его поколения. Раз так, то и Коснятин князь. Кроме того, считался двоюродным братом, браточадом, Великому князю Владимиру,— стало быть, князь? Но на место Вышеслава прислан Ярослав, который считается князем Новгородским, хотя, в сущности, является всего лишь племянником Коснятина. Вот и решай, кто здесь выше?

Выход был единственный, хотя и очень трудный: спровадить Ярослава из Новгорода, но так хорошо спровадить, чтобы тот сел сразу же на Киевском столе Великим князем, да еще и сел при помощи новгородцев, за что должен потом отблагодарить надлежащим образом, самое же главное — выбраться отсюда навсегда и навсегда освободить Новгород от присланных из Киева княжат.

Коснятин сказал об этом Ярославу со своей улыбкой на рисованых красных губах, но сказал не прямо, а обиняком:

— Новгородская земля велика и богата, но все отнимает у тебя, княже, Великий князь, отец твой.

— Не все, хорошо знаешь,— ответил Ярослав,— из трех тысяч гривен дани одну тысячу оставляем себе.

— Еле хватает на прокорм дружины,— подхватил Коснятин,— а подумай, княже, если бы ты имел еще и те две тысячи в придачу, которые должен каждый год отсылать в Киев!

— Грех идти против отца своего,— сурово глянул на него князь.

— Можно бы утроить дружину,— продолжал свое Коснятин,— никто нигде не имел бы такой дружины...

Ярослав ответил ему словами из псалтыря:

— «Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя».

— Если человек к тысяче гривен имеет еще две тысячи,— засмеялся Коснятин,— то он не боится ничего на свете! Прощай, княже! Преклоняюсь перед твоей мудростью!

Он больше не напоминал об этом разговоре, но в конце лета, когда нужно было отправлять Киеву ежегодную дань, Ярослав позвал Коснятина к себе, долго ходил по просторной гриднице, измеряя ее вдоль и поперек, потом сказал:

— Долго думал я, долго и тяжко. И повелеваю так: не давать гривен Киеву.

Коснятин молчал, испуганный и обрадованный. Тогда Ярослав подошел к нему вплотную, взялся за драгоценное корзно, словно бы хотел встряхнуть посадника за грудки, но только подержался, мрачно промолвил:

— Снаряжай послов к князю Владимиру с этой вестью.

А сам отправил надежных людей к варягам, призывая к себе на службу славнейшего из них — Эймунда.

«Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости твоей помни меня ты, ради благости твоей, господи!»

...Долго еще сидел Ярослав у озера, ноги его вовсе закоченели в просиненной первым осенним приморозком воде, но он упорно не замечал этого, шевелил губы в молитве, загибал пальцы на руках, перечисляя все грехи, неправды и кривды, причиненные ему, его матери, его сестрам и братьям их отцом, Великим князем Владимиром.

Издалека между деревьями снова замаячили всадники. Медленно подъезжали его телохранители — варяги Ульв и Торд. Они все время где-то кружились неподалеку, отогнанные князем, привыкшие к его неожиданным прихотям, но не удержались, решили навестить своего кормильца. В другое время Ярослав радовался бы верности своих паладинов, ему нравился молчаливый Ульв, который, наверное, лишь в насмешку получил имя славного скальда, о певучести которого рассказывались в северных краях легенды; развлекал князя и Торд, намного моложе Ульва, главное же — безмерно разговорчивый, и все разговоры его сводились всегда к одному и тому же: к девчатам, из которых он почему-то особенно выделял непременно светловолосых и тонконогих и часто даже гонялся за ними по новгородским улицам, за что новгородцы недвусмысленно обещали перебить Торду ноги.

Однако нынче князю не хотелось видеть варягов. Он махнул им рукой, чтобы ехали прочь, варяги послушно завернули коней, снова скрылись в перелеске.

И еще и еще сидел Ярослав у озера, нашептывая слова из священных книг и ощущая такое холодное одиночество, что хоть бросайся очертя голову в воду.

Конь князя, привязанный к ближайшей березе, тихо пощипывал траву, иногда вскидывал голову, прислушиваясь к лесу так, будто ждал возвращения всей цепочки всадников или хотя бы двух всадников-варягов, снова вылавливал мяг-

кими губами чуточку прогорклую предосеннюю травку, а когда уже нечего было больше выгрызать, застоянно топнул копытом, громко заржал, напоминая хозяину, что пора уже ехать либо следом за ловцами, либо просто домой.

Тогда Ярослав встал, встряхнул одним сапогом, другим, поежился от холода, взнуздал коня, подтянул подпругу, молодо вскочил в высокое разукрашенное седло, дернул за повод, не разбирая даже, за какой — за правый или за левый, ибо Ярославу было все равно, куда сейчас ехать, куда скакать.

Конь обрадованно сорвался с места, понес князя между деревьями, выбирая уже по своему усмотрению более свободный простор. Ярослав и дальше был погружен в свои размышления, и дальше нашептывал молитвы.

«Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои ссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих...»

А конь, без подгонки и понукания, сам прибавил ходу, полетел и вовсе вскачь; перед глазами у князя проносились белые березы и замшелая ольха, цепкие кустарники лишь издалека грозились своими колючими ветвями и бессильно расскакивались по сторонам; мягко стучали по зеленому мху конские копыта, туго бил в лицо, щекотал бороду ветер, так, что Ярославу даже становилось весело, и он впервые за весь сегодняшний день улыбнулся и вспомнил, что еще совсем молод — ему каких-нибудь тридцать и пять лет; если бы не княжеская степенность, то крикнул бы сейчас на весь лес, и поднялся бы на стременах, и...

Сбоку, на опушке, что-то мелькнуло, удивительно белое и тревожное, князь рванул поводья, на всем скаку остановил коня, повернул его назад, к опушке, но там уже было пусто. Может, показалось? Наваждение? Ярослав бросился в одну сторону, в другую. Гнал коня прямо на кусты, трещало под конским брюхом, хлестало князя ветвями, наконец они вырвались на более свободное место, князь распаленно смотрел сюда и туда, сам не зная, что он ищет, за чем гонится, снова бросил коня вперед, проскочил перелесок и только и увидел на противоположном конце новой опушки, как метнулось в заросли что-то манящее, от чего кровь князя глухо, угрожающе заклокотала в жилах. Был ловцом на зверя? А кем должен был стать? Отчаянно погнал коня туда, но вынужден был остановиться перед непроходимой стеной зарослей, тогда соскочил на землю и, ни о чем не заботясь и не думая ни о чем,

будто ошалевший юноша, полез в кусты, в чащу. Во что бы то ни стало он должен был догнать!

«Будь мне каменной твердыней, домом прибежища, чтобы спасти меня». Но это было последнее упоминание о боге. Дальше не было ни богов, ни бесов, не было ни забот, ни хлопот, ни ненависти, ни причитаний, а было лишь то, за чем гнался, что хотел настичь, иметь в своих руках, чтобы взглянуть вплотную, вдохнуть этот манящий дух.

Ломал кусты, как дикий тур, проламывался вперед с отчаяннейшей силой, весь налился темной силой — в руках, в туловище, в ногах, некогда таких немощных и искалеченных. И наконец увидел снова впереди белое привидение, крикнул охрипшим, сдавленным голосом:

— Стой!

Привидение бежало дальше, не останавливалось, не оглядывалось.

— Стой!

Бежало, словно и не слышало. Бежало легко, не прикасаясь к земле, летело между кустами, уже выпорхнуло на свободный простор, белевший в березняке, само белое и нежное, как береза.

— Стой, иначе убью!

Только после этого остановилось, испуганное, и он набежал на него, запыхавшийся, рассерженный, очумевший — взыграла в нем отцовская кровь, загремела в ушах, забурлила взвихрившимися кругами перед глазами — и тут, еще не понимая толком, что к чему, еще не ведая, что с ним, Ярослав в кратчайший миг постиг и понял своего непутевого отца, впервые за всю его жизнь перед ним открылось то, что, наверное, не раз и не десять раз пережил когда-то Владимир, и Ярослав простил своему отцу все злое и недоброе, оправдав все грехи его. И все это — лишь за одно прикосновение к телу, которое в каждой своей малейшей малости было словно божий дар.

Перед ним стояла разгоряченная долгим бегом, запыхавшаяся девушка. Казалось, она выбежала из удивительной сказки. Или: если бы лес, со всеми своими пронзительными запахами, со своей неповторимой, вечной свежестью и бодростью, со своими буйными соками, мог перевоплотиться, сосредоточиться в одном-единственном существе, то именно такая девушка могла бы быть его порождением, но тогда лес должен был бы исчезнуть, от него ничего бы не осталось, все было бы истрачено на это создание. Однако лес жил и дальше, в

нем нашлось для князя ошеломляющее чудо, перед которым, собственно, и не было ни князя, ни пожилого человека с его хлопотами, трудами и непокоем, а стоял обескураженный, очарованный, очищенный от всех сложностей мира, и если бы мог вложить всего себя в одно восклицание, то воскликнул бы разве что такое: «О великая мудрость сущего!»

Но Ярослав не способен был ни говорить, ни даже пошевельнуть губами. Не видел одежды на девушке, не замечал в ней ничего, не мог бы даже сказать, высока ли она или низка, хотя и смотрел на нее сверху вниз, не мог бы определить, красива ли она или просто привлекательна, не знал, светловолосая она или чернявая, он просто ощущал всю ее в ее целости, он дышал ею, видел же только лицо, да даже и не лицо, а кожу, собственно, и не кожу на лице, а какую-то необычайную свежесть, нетронутость, чистоту, от которых у него стиснулось сердце и кругом пошла голова.

Будто слепой, протянул он обе руки, медленно, несмело, нищенски. Единственное прикосновение должно было спасти его от всех несчастий, от величайшего горя, всего лишь одно прикосновение, вот так начинается и так кончается свет, а больше нет ничего, и не должно быть, и ничего больше не нужно, в этом величайшая мудрость; и как хорошо, что человеку все-таки открывается, хотя и поздно иногда, эта великая правда, которую так хорошо знал его отец. О князь Владимир, прости своего неразумного сына! Не судите и несудимы будете! А ныне только молчаливое прикосновение к этому чуду — и мигом исчезнут все невзгоды, и в душе откликнется смех, буйная сила зальет все тело, как льются отовсюду в лесу пронзительные дуновения живого духа!

Его руки медленно приближались к белой фигуре, он видел теперь не одну лишь непередаваемую свежесть, его поразил огонь и разум в ее серых, сверкающих черными искрами глазах, но это случилось потом, позднее, тогда, когда она оттолкнула его руки, когда все же прикоснулся хотя бы к ее руке, почувствовал кончиками пальцев всю ее, еще больше разгорелся, но одновременно словно бы нашло на него прозрение, и он увидел тогда ее глаза, ее губы, увидел всю ее — невысокую, щедротелую, в простой полотняной одежде, а еще увидел ее шею, длинную и нежную, в широком вырезе грубой сорочки, и ему захотелось приникнуть к этой шее, именно там, где она видна была из грубой ткани, и он неуклюже наклонился, так, будто и до сих пор оставался маленьким калекой, который неуверенно стоял на ногах. Высокая дорогая шапка

мешала ему, и он швырнул ее на землю, его круглая ромейская бородка тоже была некстати, поэтому князь съежился, отставляя бороду в сторону, но все эти мгновенные приготовления были ни к чему, потому что девушка снова мягко, но упорно отстранила его, на этот раз сказав тихо, без гнева:

— А ну не...

Он совсем растерялся. Хотел бы и заплакать, но давно разучился, встал бы на колени, но привык становиться на колени лишь перед богом и не знал, поможет ли здесь коленопреклонение, потому что девушка была для него выше бога и выше всего, что было и чего не было. Он молча клонился на нее всем своим телом, почти падал, будто подкошенный желанием, и она снова выставила против него свое сильное плечо, удержала его падение, снова промолвила:

— И зачем бы я так?

Говорила, видимо, больше для себя, потому что уже успела заметить, что он ничего не слышит, не способен ни говорить, ни слушать, знала, что и убежать теперь смогла бы от него легко, ибо он не в состоянии был преследовать, но не убегала и не отступала от него, стояла по-прежнему почти рядом, как встали они с самого начала, и дышала на князя чарами своего тела, мутила его разум и душу, отравляла его темным соблазном, и в невинном изгибе ее уст не чувствовалось, что поступает так нарочно,— просто получалось само собой, быть может, ей тоже было любо, а может, приятно было от необычности приключения.

Он снова покачнулся уже на другую сторону, и тогда она, видимо опомнившись, наконец, возможно, заметив его дорогую одежду, и догадавшись, что имеет дело не с простым человеком, отшатнулась от князя, сделала несколько шагов назад, так что Ярослав, не найдя опоры, покачнулся и должен был бы упасть, если бы девушка своевременно не поддержала его, но он все-таки умудрился налечь на нее всей своей тяжестью и повис на плече у незнакомки; она отталкивала его изо всех сил, старалась высвободиться, его круглая, подстриженная по-ромейски борода щекотала ей шею где-то за ухом, девушке было и страшновато, и чуточку смешно одновременно, она все-таки изловчилась оттолкнуть странного человека, отскочила от него, крикнула сквозь смех:

— Ой надоел!

— Ну,— пробормотал наконец Ярослав,— зачем же?

— Откуда такой взялся! — поправляя на себе сорочку и

старенькое корзно, поморщилась девушка.— Гоняешься тут по лесу!

Он снова молча пошел на нее, но она уже окончательно пришла в себя, схватила с земли палку, замахнулась:

— Не подходи, а то!..

Глаза ее смеялись,— видно, она сама понимала, сколь бессмысленна ее защита от сильного, вооруженного мечом и охотничьим ножом человека, медвежью силу рук которого она уже успела ощутить. Однако знала и то, что властна сейчас над этим человеком безмерно.

— Только шагни — закричу!

Кто услышит этот крик, кто придет на помощь? Это ее не касалось. Должна была выложить все, что у нее было для собственной защиты, поскорее высыпать на обезумевшего человека, прежде чем тот опомнится и перестанет быть таким ничтожным увальнем, каким показал себя сейчас вот.

— И убирайся отсюда! — добавила еще смелее.

У князя прошло первое потрясение, его словно бы била лихорадка, он чувствовал, что любые переговоры бессмысленны, но у него не было ничего лучшего, поэтому он прибег к уговорам:

— Ну зачем ты так?

— А ты зачем?

— Я... ты... как тебя зовут?

— Состаришься!

— Должна бы...

— А ничего я не должна!

— Да ты слушай...

— Не хочу слушать!

— Ну...— он не знал, как к ней и подступиться.— Ты знаешь, кто я?

— Не хочу знать!

— Можешь хоть догадаться.

— Нечего мне делать!

— Но я же мог бы для тебя...

— Сама все могу!

От нее отскакивали все слова: ни угроз, ни обещаний для нее не существовало.

— А все-таки как же тебя зовут? — спросил он, пытаясь улыбнуться.— Я — Юрий. А ты?

— А я — вот она!

Девушка выставила полную грудь под полотняной сорочкой, повела бедрами, ее тело свободно ходило под широкой со-

рочкой, а в глазах князя прокатилась темная волна, он рванул из ножен меч, подскочил к девушке, хрипло воскликнул:

— Говори, иначе прикончу!

Она испугалась не на шутку, глаза ее расширились, черные искорки запрыгали чаще, потом они посерели, девушка выставила руки так, будто могла ими защититься от меча, послушно прошептала:

— Забава.

— Что? — бросив так и не извлеченный меч обратно в ножны и хватая ее крепко за плечи, спросил Ярослав.— Что?

— Зовут меня так. Забава.

— Почему так?

— Отец так назвал. Мы в лесу живем, одни. Никого нет вокруг. Когда родилась, была для него забавкой.

— А ныне что?

— И ныне.

— Почему так ко мне? Знаешь, кто есмь?

— Не знаю.

— Это к лучшему. Понравилась мне вельми.

— Ну, — она вывернулась из-под его рук, отскочила в сторону.— Поезжай себе дальше, пока я тебя не знаю.

— Должна спознать.

— А не хочу.

— Я для тебя все сделаю.

— А что ты для меня сделаешь?

— Ну...— Князь запнулся: и впрямь, что он мог для нее сделать? — Боярыней станешь.

— А не нужно мне боярыней!

— Что же тебе нужно?

— А ничего!

— Ну, не убегай от меня.

— А ты не подходи.

На Ярослава снова наплывала темная ярость. Зачем он связался с этим глупым разговором? Нужно было сразу смять, сломить, нужно было, нужно... Ох! Он сказал умоляюще:

— Прошу тебя вельми. Постой лишь возле меня. Немножко.

— А поезжай себе,— сказала она жестоко.— Вон тебя ищут.

В самом деле, издалека доносились крики, заржали в лесу кони, откликнулся им конь князя.

— Увидят тебя здесь, будет тебе,— мстительно улыбнулась Забава.

— А я не боюсь никого,— сказал он, как последний хва-

стун.— Я над ними всеми, а не они надо мной. Ну, так подойдешь?

— Не хочу.

— Только подержать тебя за руку.

— Чего захотел.

— Ау-у! Княже! — послышался из зарослей могучий голос Коснятина.— Княже Ярослав!

В глазах Забавы сверкнуло любопытство.

— Так ты — князь?

— Князь. Иди ко мне.

— Если князь, то еще раз можешь приехать! — Она засмеялась и бросилась в чащу.

И след ее простыл.

А с другой стороны, испуганно перекликаясь, проламывались сквозь заросли посланные Коснятином ловцы и варяги.

— Чего претесь! — крикнул на них Ярослав, а Коснятину, когда тот вышел к коням, сердито сказал:— Отвыкай следить за князем. Негоже чинишь.

— Испугались за тебя, светлый княже,— виновато ответил Коснятин.

— Не маленький, сам как-нибудь управлюсь. Обдумал все нынче. Вели ковать мечи да копья и возить стрелу [1] по пригородам, чтобы готовили воев к весне, пойду на Киев.

Он махнул всадникам, чтобы отстали, оставили их с Коснятином наедине, продолжал:

— А зимой поедешь за море к свейскому царю. Слышал я, дочь у него есть вельми хорошая, сосватаешь за меня, ибо уже два лета, как моя Анна, царство ей небесное, покинула меня и перешла в божьи чертоги, а мне на этом свете тяжело и неприютно.

— Я с тобой, княже,— напомнил Коснятин.

— Ты не в счет. Груб еси и плотояден.

— Обижаешь меня, княже. А я же для тебя....

— Знаю, что ты для меня. Все людское естество для меня открыто, ничто не укроется от глаз моих. Раз я на отца своего поднялся, то уже...

— Отец твой погряз в грехах, в бесовской похоти...

— Отец мой старый уже человек и великий человек. Никто ему не ровня. А грешны все мы суть. Каждый рождается с бесами и живет с ними, а к богу идет всю жизнь. Но дойдет ли?

[1] Возить стрелу — новгородский обычай, означавший объявление войны.

Коснятин обескураженно взглянул на князя. Ярослава тешила растерянность посадника.

«А знал бы ты еще про Забаву!» — злорадно подумал он, а вслух спросил:

— Кто-нибудь тут стережет твои ловища?

— Есть тут один ловецкий, за Гзенью его хижина. Но бездельник и гуляка страшный. Сегодня и вовсе куда-то исчез. Из-за него и не поймали ничего. Зря только проездили.

— Неумелые ловцы. А твоему сторожу нужен бы помощник.

— Обойдется. Обленился и без помощников, а дай — и вовсе ничего не будет делать! Простой люд надобно держать в руках!

Князя так и подмывало напомнить, что Коснятин тоже не далеко отошел от простого люда, собственно, он боярин только в первом колене, но решил лучше смолчать, ибо уже не хотелось ни о чем разговаривать с посадником. Он снова весь был поглощен сладким волнением от воспоминаний о Забаве, он снова бросил бы все и помчался бы в чащу, чтобы разыскать ее, с искрящимися серыми глазами, с щедрым телом, которое буйной волной ходит под широкой простой одеждой. Но посадник не ведал, что творится в душе князя, он по-своему истолковал сидение Ярослава у озера и последовавшее затем блужданье в одиночестве по лесу: видимо, князь тяжело и долго думал о своем неосмотрительном отказе выплачивать дань Киеву, видимо, его мучили угрызения совести, что встал против родного отца, против Великого князя Владимира, против которого никто не мог выстоять, даже ромейские императоры искали у него милости. Но раз уж надумал Ярослав еще идти на отца своего и войной, то не следует пренебречь этим намерением, хотя и верить мгновенной вспышке Коснятин тоже не мог, ибо знал, как часто Ярослав отказывается от своих намерений, остынув и взвесив все заново.

— Вече нужно собирать ради войны,— сказал посадник осторожно.

— А собирай,— равнодушно откликнулся князь.

— Возле Софии или на княжьем дворе?

— Собирайтесь на Софийской стороне. Негоже мне поднимать вече против отца своего. Да и нагудели уже мне полные уши своим криком новгородским.

Ударил коня, поскакав от Коснятина. Отдалялся от места, которое стало для него благословеннейшим, а хотел бы воз-

вратиться назад, снова найти Забаву — еще и до сих пор слышал ее голос, в ушах его звенели последние слова дерзко и многообещающе: «Если ты князь, еще раз можешь приехать...» Можешь приехать...

Возвратившись на княжий двор, Ярослав велел отслужить в дворовой церкви вечерню. Долго стоял на коленях в темной, еле освещаемой слабенькими огоньками свечей церковке, просил прощения у бога, мысленно обращался к отцу своему, к покойнице матери и к покойнице жене, которая лежала где-то в корсте[1], в дубовом же соборе Софии на той стороне Волхова, и если выйти сейчас из церквушки и стать на берегу тиховодной тусклой речки, то угадаешь в темноте Софийский холм за Волховом, а на холме — тринадцатиглавое диво, возведенное по велению князя Владимира в год, когда крестил он своих сыновей в Киеве и киевлян,— угадаешь, но не увидишь, ибо новгородские ночи осенью темные и беспросветные, это лишь в Киеве были когда-то ночи светящиеся, и с киевских гор видно было и далекие миры, и маленькому Ярославу открывались в те ночи самые отдаленные земли с кедрами и оливами, расстилалась пустыня с подвижниками и великомучениками, вставали бессмертные герои, шли к нему сквозь те просветленные ночи мудрецы из древнейшей древности, белели мраморные города, храмы, саркофаги славных царей и воителей. Видел он это все и отсюда, с берега темного Волхова, из-за болот и лесов, летел через бездорожье и непроходимые чащи силой своей фантазии, своего духа. О могущество духа людского, просветленного книжной мудростью, вознесенного высокими истинами!

А когда вышел из церквушки, где ждал его верный воевода Будий (князь всегда молился в одиночестве) с двумя варягами, тьма нахлынула на него, словно черная вода, и не факелы, что несли челядинцы по сторонам, освещали князю дорогу, не светлые истины, о которых думалось в молитвах,— нет! — сладким призраком наплывало на Ярослава Забавино лицо во всем торжестве его свежести и молодости, и князь несмело проводил рукой впереди себя, словно бы стремился отогнать это видение, а Будий истолковал это по-своему, решив, что князь никого не хочет пускать на глаза, и поэтому, когда в переходах к княжеским покоям попадался кто-нибудь из челяди, проскакивала толстая ключница или шлепала босыми ногами молодая прислужница, воевода, прокладывавший путь

[1] К о р с т а — мраморный гроб, домовина.

к княжьей опочивальне, топал своим огромным сапогом, гневно шипел:

— А ну-ка, прочь с глаз!

До поздней ночи в опочивальне Ярослава горел трисвечник. Князь читал священную книгу. Но и там находил один лишь соблазн, и его глаза невольно наталкивались на строчки:

«...Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца своего.

И возжелает царь красоты твоей; ибо он Господь твой, и ты поклонись ему».

Он возвращался назад, вычитывал слова для подкрепления своих великих замыслов, стремился отогнать от себя суетное:

«Перепояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею.

И в сем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела...»

Глаза же сами перескакивали ниже и вычитывали то, в желании чего он сам себе боялся признаться:

«В испещренной одежде ведется она к царю...»

Уснул князь перед самым рассветом и спал ли или не спал, а еще и не серело, растормошил всех челядинцев и снова встал на колени в тревожной темной церквушке, слушал заутреню, повторял мысленно слова:

«Поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды».

Утром началась настоящая осень. Между темным небом и темной землей провисли тяжелые водные столбы, как-то словно бы в один день Волхов угрожающе начал выходить из берегов, набухли ручьи, потемнели лесные озера, зашумело в пущах и болотах, поналивались все самые малейшие выемки и углубления, но не радостная прозрачность и ласковость жила в этих водах, как это бывает весной, а мрачная встревоженность, то ли вызванная предчувствием длинной холодной зимы, то ли, быть может, наступлением поры почти полной оторванности Новгорода от всего мира. В самом деле: начисто развезло и те ненадежные дороги среди лесов и болот, по которым с горем пополам добирались летом в Новгород купцы, непроходимыми становились волоки между реками и озерами, уже не видно было на широком Волхове разноцветных парусов, не красовались там своими изогнутыми носами лодьи, не

вертелись между ними учаны[1], мокли под дождем на некогда шумных пристанях—вымолах оставленные товары; еще кое-где выгружался какой-нибудь запоздалый отчаянный купец, который привез десятка полтора бочек редкостного фряжского вина, бегал по скользким деревянным мосткам пристани, ловил за полы равнодушных грузчиков, умолял, обещал, угрожал.

Ярославу не сиделось на княжьем дворе. С раннего утра велел седлать коней, в сопровождении свиты начинал объезд города. Дождь немилосердно хлестал и князя, и его сопровождающих. Деревянные кругляки, которыми были вымощены улицы, стали скользкими настолько, что иногда падали даже кованые кони, кое-где кругляки раздвинулись, в образовавшихся щелях собиралась грязная вода, оттуда брызгала жижа, когда попадали туда конские копыта; по лицам ездоков стекали потоки грязи, грязь капала на дорогую одежду, залепляла дорогую сбрую, но Ярослав ничего этого не замечал. Он ехал впереди, на него не брызгал никто, наоборот, его конь обливал задних целыми потоками холодной грязной воды, а князю все не терпелось, он подгонял и подгонял коня, хотел побывать всюду, увидеть все лично, проверить, пощупать руками, убедиться воочию.

Ибо если его послы успели пробраться сквозь непогоду и донести до князя Владимира весть о сыновней непокорности и дерзости, то не оставит Киевский Великий князь безнаказанным такой своевольный поступок, начнет собирать войско, готовить припасы, снаряжать войско к походу на Новгород, из которого сам когда-то отправился на борьбу за Киевский стол,— поэтому знает цену этому великому городу, знает, как любят выталкивать отсюда киевских пришлых князей, не останавливаясь ни перед чем; тогда Владимира подговорили выступить против родного брата Ярополка, теперь пошли еще дальше, уже поставив сына против родного отца,— и все это ради того, чтобы только лишь высвободиться из-под чужой опеки, жить самим, владеть своим городом, своими богатствами, угодьями, людом.

Посадник Коснятин в этих повседневных осмотрах не отлучался от князя ни на шаг, всегда был при нем; с того момента, как Ярослав творил свою утреннюю молитву, Коснятин уже ждал князя у выхода из церкви, прискакав на этот берег Волхова с далекого Неревского конца, где у него был

[1] Учан — речное судно.

свой двор, бодро мокнул под дождем, шутил, сам раскатисто смеялся своим шуткам, был всегда словно бы искупанный в молоке — холено белый, красногубый, пышущий здоровьем.

Князь выходил из церкви серый и мрачный, лишь большой набрякший нос тускло краснел на осунувшемся лице, мутные от недосыпания глаза перескакивали с лукавой морды Будия на откормленное лицо посадника, иногда князь не выдерживал и от созерцания этих двух веселых людей сам улыбался и приглашал их на утреннюю трапезу, но чаще всего нахмуренно проходил мимо них, велел подавать коней и метался по городу до самого обеда, так и не имея крошки во рту, присматриваясь ко всему, недоверчиво вглядываясь в посадника, который только смахивал с лица грязную воду, потому что считался всегда чистюлей, и изо всех сил бодрился перед своим властелином.

— Все идет как следует, мой княже! С божьей помощью, княже!

Ездили на Плотницкий конец, где под длинными навесами умелые мастера изготовляли лодьи для похода. На Загородском конце, где по извилистым, развезенным улочкам кони утопали в грязи по самое брюхо, князь смотрел, как в низеньких домницах варится сталь, а в кузнице чернолицые от копоти кузнецы куют мечи, копья, рогатины. Всюду, где появлялся князь, к нему присоединялись конецкие старосты с тысяцкими и сотниками; если Ярослав хотел о чем-нибудь спросить у рабочих людей, к нему мгновенно подскакивал староста или тысяцкий и опережал князя в его намерении; Коснятин незаметно улыбался в пышные русые усы, а Ярослав еще больше мрачнел, насупливался, но не говорил ничего, поворачивал коня и ехал дальше.

Коснятин показал князю изготовление подарков для свейского короля, чтобы склонить его сердце и сердце его дочери Ингигерды к Хольмгардскому[1] конунгу Ярислейфу[2]. В длинных огромных тоболах сложены были драгоценнейшие двинские меха: черные куницы, соболя, бобры, веретища из нежного козьего пуха, разноцветный тим собственного изготовления и привезенный аж от сарацинов. В коптильнях осетринники готовили красную рыбу, в солярных складывали в

[1] Хольмгардом варяги называли Новгород.

[2] Конунг — князь, король у скандинавов. Ярислейфом прозвали в скандинавских сагах Ярослава.

новые бочоночки и ведерки просоленных лососей, привезенных с Заволочья, могучую рыбу, которая ловится только в ледяной воде, рвет крепчайшие сети, дается в руки лишь отчаяннейшим рыболовам, каких, наверное, нет ни в одной земле, кроме земли Новгородской.

Были еще там фландрские сукна, ромейские паволоки, были мечи с дорогими рукоятями, с ножнами, усыпанными драгоценными камнями, были византийские ларцы из слоновой кости и сирийские стеклянные кубки, причудливо украшенные крылатыми конями, была глазурованная посуда, привезенная из Киева, а может, из самой Болгарии, однако же не было ничего новгородского!

— Не вижу нашего ничего,— обратился князь к Коснятину.— Готовишь ли что-нибудь, посадник?

Хитрый Коснятин сделал вид, будто вопрос Ярослава застал его врасплох, развел руками:

— Но мы же... Но видишь ли... Разве что в ковнице какие-нибудь там мелочишки...

Посадник хорошо знал, как любит князь посещать свою ковницу, и уже заранее наслаждался от того впечатления, которое сейчас произведут на князя некоторые изделия.

Ковница составляла как бы отдельное царство среди новгородских укреплений. Размещена она была, правда, на княжьем дворе, у самого Волхова, но и сама по себе тоже была двором, окруженным высокими стенами из прочных дубовых бревен, с двумя огромными надвратными башнями и тремя чуточку меньшими угловыми. Вход в этот заветный двор охраняла верная стража из варягов, которым Ярослав доверял более всего, там они и жили в большой и теплой хижине, пристроенной почти к самым воротам. Дальше на не очень просторном подворье расположились низкие, врытые в землю чуть не до самой крыши амбары, а за ними возвышалось длинное деревянное строение, верхняя часть которого служила жильем для княжьих умельцев, а подклеть была собственно ковницей.

Разделенная деревянными перегородками на неодинаковой величины помещения, подклеть вмещала в себя все необходимое для превращения простых слитков золота или серебра в ценные гривны, чудесные украшения, посуду, а то и просто причудливые мелочи. Прорытый от Волхова капалец, пущенный прямо в подклеть, доставлял необходимую тут воду, для освещения не жалели восковых свечей, но тем и

ограничивались все роскошества для людей княжьей ковницы. Тут господствовали суровые правила; у входа в подклеть днем и ночью торчали варяжские воины с обнаженными мечами, ни войти, ни выйти без разрешения тиуна, прозванного Золоторуким, никто не мог, люди сидели в тесной, душной, мокрой подклети с раннего рассвета до поздней ночи, там получали пищу, там же имели и краткий дневной отдых, если выпадала когда-нибудь свободная минута; работы всегда было завалом; растапливали золото и серебро в тиглях, выливали из него то сосуды, то гривны, то княжьи прихоти: сегодня — лютого зверя на поставце, завтра — нарядную деву невиданной красоты, послезавтра — какого-нибудь святого или воина. Златоковцы ковали хитроумные вериги — чепы, которые украсят груди князьям или воеводам, чеканили на тонких стенках ковшей и чаш изображения птиц, рыб и зверей, одни выковывали из чистого золота красивые ковчежцы, которые потом украшались разноцветной эмалью, другие выводили тонкие узоры на серебряных реликвариях, третьи ломали голову над женскими украшениями: сережками-колтами, браслетами, гребнями,— и каждый старался создать что-то такое, чего еще никто не творил и не видел, каждому хотелось хотя бы на короткое время очутиться в вольном мире красоты, вызванном собственным воображением, почувствовать себя безраздельным властелином, господином, свободным во всем, ибо подлинную свободу дает только выполняемая тобою работа, которую способен выполнить один ты в целом свете.

Ярослав со свитой заехал во двор ковницы, но в подклеть взял с собой лишь Коснятина. А своим варягам-телохранителям и даже Будию махнул рукой: оставайтесь на дворе. Воевода засмеялся:

— Боишься, княже, чтобы не набрал я за пазуху золотых гривен? И верно: пазуха у меня широкая! Го-го!

Золоторукий низко поклонился князю, стоя между двумя варягами с обнаженными мечами, так, будто, приговоренный к казни, вымаливал себе прощение. Но впечатление это исчезало, как только кто-нибудь всматривался в лицо Золоторукого. Худое, костлявое, скулы подпирают глаза двумя резкими дугами, зубы почти всегда в хищном оскале из-под сизо-черных усов, точно такие же сизо-черные, сальные на вид волосы курчавились на голове, которая, наверное, никогда не знала шапки, а из-под тех волос острыми огоньками сверкают глаза, пронзительные и неистовые,— любой разбойник с радостью согласился бы иметь такие глаза.

Самое же удивительное начиналось тогда, когда Золоторукий начинал говорить. Мгновенно исчезало злодейское выражение лица, которое особенно остро просвечивалось во взгляде, неистовость уступала место нерешительности, голос у него был мягкий, добрый, вечные сомнения относительно законченности и совершенства доверенной ему работы терзали Золоторукого; даже в том случае, когда он показывал князю вещь, какой не сыскать во всем мире, и тогда Золоторукий заикался, испуганно ежился, переступая с ноги на ногу, так, будто ждал взбучки, и поскорее бормотал:

— Если ж бы да что бы не то... Да если бы еще...

А сам же был талантлив как черт, умел, быть может, больше всех своих людей. Еще молодым взял его Ярослав из Киева, возил с собой в Ростов, потом привез и сюда, в Новгород, потому что любил окружать себя красивыми вещами, а Золоторукий знал в них толк. В его жилах текла кровь не только русская, было там нечто и от степняков; отец его, беглый от боярина из-под Чернигова, в своих скитаниях повстречал где-то печенежскую красавицу, с которой учинил грех, а потом бежал с нею на Дунай к болгарам, откуда перебрался к уграм, где-то ввязался в вооруженную схватку, попал к одному властелину в плен, к другому, пока не оказался в Киеве, в уже преклонном возрасте, без жены, не выдержавшей неволи и умершей, зато с сыном, в котором смешанная кровь вспыхнула необычайным умением к золотому и серебряному делу.

Так вот, Золоторукий давно знал князя, знал его привычки, умел всегда принять Ярослава в ковнице именно так, как тому хотелось.

Стояла там княжья скамья, покрытая мохнатым ведмедном [1], а перед нею — низенький столик, очень удобный для рассматривания на нем всяких изделий. Иногда князь после молитвы приходил в ковницу прямо из церкви, тогда Золоторукий знал, что на стол нужно положить одну-единственную вещь, чтобы утешила она княжьи глаза, успокоила его душу. И тогда выкладывалось самое драгоценное и тонкое изделие: предивной эмали золотой крест, осыпанный по краям сапфирами цвета синевы степного неба или же крупными изумрудами, каждый из которых стоил целую волость; Христос, вырезанный из ярко-красной яшмы, вправленной в златокованый венок; еще не законченный золотой оклад для книги с двумя рядами жемчугов, белых и розовых, вокруг заголовка; золотое

[1] Ведмедно — медвежья шкура.

блюдо — дискос с двумя ангелами по сторонам креста чеканки благородной и совершенной.

Когда же князь забредал в ковницу в веселом настроении, Золоторукий, вздыхая и выпрашивая прощения за нерадивость и леность свою собственную и его людей, наваливал на столик у ног Ярослава целые вороха золотых и серебряных украшений, посуды, иконок, крестов, ковчежцев, ларцов, коробочек, и князь наугад протягивал руку к этому вороху, вытаскивал оттуда то одну вещь, то другую, отводя ее дальше от глаз или приближая к самом лицу, перебирал, звенел серебром и золотом, словно бы грел руки в полыхающем сверкании драгоценностей, сидел так подолгу, а когда уходил, милостиво похлопывал Золоторукого по плечу, говоря:

— Лепо, лепо, Золоторуче.

А тому, кажется, ничего больше и не нужно было. Посверкивал глазами, зубами, провожая князя, останавливался между варягами с обнаженными мечами, выпрямившийся, гордый, неприступный. Мастер своего дела. Единственный в своем умении.

На этот раз Золоторукий, видимо, ждал князя, а еще, наверное, была у него договоренность с Коснятином, договоренность о том, как принимать Ярослава, потому что Коснятин незаметно бросал хитрые взгляды из-за княжеского плеча Золоторукому, а тот, не улавливая этих взглядов, поскольку и сам знал, что должен делать, быстро провел ладонью по теплому ведмедну на княжьей скамье, поправил зачем-то маленький столик, подождал, пока Ярослав сядет, сбросив до этого мокрый плащ и мокрую шапку и вытерев влагу с бороды и усов, потом, что уже было и вовсе необычным, тиун закрутился-завертелся, как побитый пес, Ярослав гневно взглянул на него, удивляясь, почему не показывает ничего; небольшая горница наполнилась тяжким запахом мокрого меха, конского пота, принесенного всадниками с собой, толстые свечи в трирогом подсвечнике замигали, словно должны были вот-вот погаснуть.

— Ну?— сказал Ярослав.— Что у тебя есть?

— Да,— вздохнул Золоторукий,— если бы оно да не то, а что бы это...

— Знаю тебя,— прервал его князь.— Показывай!

Неторопливым шагом, с тяжкими вздохами Золоторукий направился в угол, открыл тяжелый кованный железными пластинами сундук, долго рылся в нем, что-то взял там наконец, осторожно понес к князю, прикрывая плечами и руками, так, будто держал на груди птицу, которая вот-вот могла

вспорхнуть, или же ядовитую змею, которая в любой миг могла бы прыгнуть либо на князя, либо на посадника.

Низко наклонился над столиком, колдовал там дальше, что-то зазвенело у него в руках, потом Золоторукий выпрямился, быстро отошел от столика. Ярослав взглянул.

Перед ним на потемневшей дубовой столешнице лежала золотая цепь (каждое звено толщиной чуть ли не в палец), но неожиданность была не в величине и весе этой цепи, а в том, как она была сделана. Потому что между каждыми двумя золотыми звеньями крепился золотой же медальон, украшенный перегородчатыми эмалями таких свежих и неожиданных расцветок, каких князю никогда ранее не приходилось видеть. И изображены были эмалями не святые или великомученики, как водится, а предстали перед глазами Ярослава образы Русской земли: стройные девчата, могучие воины, пестрые птицы и лютые звери, синие воды, зеленые травы, непроходимые пущи, безбрежное в своей голубизне небо и ясные цветы под ним. А внизу висел на цепи самый большой медальон с изображением святого Юрия, одолевающего змея,— то есть с изображением именно того святого, чье имя присвоено Ярославу после крещения, имя княжьего покровителя.

— Что это?— спросил обескураженный князь, который на своем веку перевидал немало див, но только не такое.

— Подарок от твоей княжьей милости для свейского короля,— несмело промолвил Золоторукий, боясь взглянуть на Коснятина, чтобы получить от него хотя бы незначительную поддержку.

— Для Олафа Скетконунга,— прокашливаясь, сказал из-за спины Ярослава Коснятин.— Говорят, что уже пообещал он выдать свою дочь Ингигерду за норвежского короля Олафа Толстого. Но пускай нарушит свое слово, раз к нему засылает послов русский князь.

Ярослав потрогал пальцем цепь,— видимо, ему хотелось взять ее в руки, возможно, даже и нацепить на себя, возможно, даже пожалел он столь невиданную драгоценность для шведского Олафа, которого никогда не видел, а дочери его тоже не видел и лишь поверил россказням своих варягов, но князь удержался, отступать от своего слова было уже поздно, он любил принимать решения без принуждений, а свататься к Ингигерде надумал он сам, поэтому все должно было идти так, как шло, как началось.

Ярослав без особых усилий разгадал хитрость Коснятина: посадник готовил необычную цепь-подвеску в подарок своему

князю, недаром же увенчал ее медальоном со святым Юрием-змееборцем. Коснятин готов был на любые жертвы, лишь бы только вытолкать князя из Новгорода. Когда же речь зашла о посольстве к свейскому конунгу, Коснятин сразу сообразил, что лучшего выкупа за дочь, как эта цепь, ни один властелин — ни языческий, ни христианский — свейскому королю не предложит никогда, поэтому и велел Золоторукому выложить спрятанную до поры до времени драгоценность перед ясные очи князя. Ну да ладно. Пускай Олаф Скетконунг знает, как богата Русская земля, какие тут умельцы и какие, следовательно, князья в ней, а уж потом пускай выбирает себе зятя.

Поэтому Ярослав, который сначала хотел было выложить Коснятину все, что думал, смолчал, а Золоторукого спросил для приличия:

— Кто делал?

— Люди мои, Носок и Бурмило,— вскинулся тот, готовый поставить и Носка и Бурмилу перед князем.

Ярослав махнул рукой:

— Лепо, лепо...

И ушел из подклети, не оглянувшись, так, будто не лежала на низеньком дубовом столике цепь бесценной красоты.

Когда вскочили на коней и Коснятин приблизился к князю, чтобы узнать, куда направляться теперь, Ярослав неожиданно сказал:

— Поезжай себе. Хочу малость прогуляться на ловы.

— Дождь ведь! Мокро!— попытался удержать его посадник.

— Моя забота. Боишься дождя — сиди в сухом.

— Да нет, это только так, слабость людская. Куда князь — туда и я.

— Сиди дома. Поеду с варягами.

— Какие же из варягов ловчие, княже!— не удержался от удивления Коснятин.— Не желаешь меня, возьми хотя бы ловчих. Потому как гуляки варяги даже зайца из-под куста не выгонят! Так и проездишь зря в Зверинце.

— Мое дело,— буркнул Ярослав и круто отвернул коня от посадника.

Ярослав взял с собой только Ульва и Торда. И уж что это за ловы, когда князь едет с мечом у пояса да с коротким охотничьим ножом, а варяги — один с копьем, а другой с луком? Где это видано, чтобы в такую непогоду отправляться на княжеские ловы, да с таким скупым вооружением!

Но так было велено и так было сделано.

Трое всадников на потемневших от непрестанного дождя конях проскакали по деревянному мосту через Волхов, проехали Неревским концом по улице Великой, напуганная стража у городских ворот выскочила, чтобы приветствовать князя, но тот лишь небрежно кивнул им и повел своих варягов дальше, по Кожевнической улице, а потом и в Зверинец, гнал коня изо всех сил. Ульв молча утирался от брызг, летевших из-под копыт княжеского коня, а Торд плевался и каждый раз хотел что-то крикнуть, чтобы развеселить эту мрачную кавалькаду, но его никто не слушал, да он и сам понимал тщетность своих усилий,— чем дальше они отъезжали от города, тем более слабыми становились его попытки что-то там воскликнуть или произнести, а вскоре и он погрузился в такое же безнадежное молчание, как и его товарищ Ульв.

Ярослав довольно легко отыскал озерцо, у которого сидел недавно, раздумывая над своими не совсем осмотрительными поступками, точно так же махнул рукой варягам, чтобы держались в сторонке, и сам-один направился в ту сторону, где встретил тогда Забаву, несколько раз (что уж и вовсе было непривычно) оглянулся, дабы убедиться, что Торд и Ульв отстали и не следят за ним; казалось ему, что едет он по тем же перелескам, где впервые промелькнула перед ним девичья фигура. За эти несколько недель лес обнажился до неузнаваемости, все вокруг стало удивительно одинаковым, казалось Ярославу, что он был здесь, а могло быть, что и не здесь. Он упрямо посылал коня в самые густые переплетения ветвей и кустарников, мокрые ветви хлестали князя по лицу, он измучил коня, измучился сам и только тогда, когда внезапно заметил, что уже длительное время кружит на одном и том же месте, понял наконец всю бессмысленность своей затеи. В самом деле, не станет же Забава сидеть вот здесь, в мокрой чаще, в ожидании его приезда! Да если бы и ждала, то не могло бы это длиться столько времени, да еще и в такую непогоду.

Он оглянулся, чтобы позвать своих верных варягов, но те либо слишком точно придерживались его повеления исчезнуть с глаз, либо просто отстали где-то в мокрых кустах,— так Ярослав остался один в дождливом лесу, а поскольку делать ему было нечего, он отпустил поводья, в надежде на то, что умный конь выведет его в Зверинец, несмотря на то что князю не хотелось возвращаться на свой холодный и неприветливый двор, не утолив жажды, дикой и неистовой: хотя бы на минутку увидеть таинственную Забаву.

Ярослав вспомнил про сына Илью, оставленного ему покой-

ницей Анной. Хилый, как и мать, мальчик напоминал чем-то Ярославу его собственное детство; быть может, именно поэтому он не часто ходил к нему, чтобы не бередить душу, и в этом похож был на своего отца, князя Владимира, который тоже не любил болезненных детей и жен. Почему-то в этом проклятом лесу с недавних пор он во всем становился похожим на своего отца: и в думах, и в пренебрежении к болезням даже самых близких людей, и в бесовской похоти.

А варяги Ярослава тем временем ездили трусцой по Зверинцу, обрадованные тем, что хотя бы на короткое время освободились от капризного князя, но не очень-то и довольные бесцельным кружением под холодным дождем. Хотя опять-таки, если быть справедливым, то не так уж и плохо прогуливаться по пустынному лесу, согреваться теплом, идущим от коня, дремать, покачиваясь в седле, ни о чем не думая (это касалось, ясное дело, Ульва), или же в сотый раз мысленно представляя себе, как перебегала вчера перед самым твоим конем дорогу тонконогая девушка, и что ты ей крикнул, и что она тебе ответила, и как ты пообещал наведаться к ней, а она тебе что сказала, а ты ей,— никогда бы не закончил этих сладких воспоминаний Торд. Ульв спокойно опирался правой рукой на длинное копье, с которым всегда сопровождал князя, отдавая преимущество копью перед любым другим оружием; что же касается Торда, то у него, кроме непременного обоюдоострого меча, всегда за спиной висел лук, ибо в глубине своей довольно-таки безалаберной души он каким-то образом сумел убедить себя в том, что нужно быть постоянным хотя бы в выборе оружия и что намного лучше встретить врага стрелой издалека, чем подпускать его к себе на длину меча, где уже трудно определить, у кого окажется более твердой рука, более острым оружие.

Вот так они и слонялись по Зверинцу, как вдруг внезапно впереди, среди невысоких зарослей, проплыли перед ними гордые оленьи рога, пышные, разветвленные множеством отростков рога, которые почти сливались с ветвями так, что неопытный глаз их и не заметил бы; олень бежал, прямо держа голову, он весь был невидим, лишь величественно плыли над обнаженными кустами его могучие рога, и этого оказалось достаточно, чтобы зоркие глаза варягов мгновенно заметили добычу; оба всадника, еще и не подумав как следует, дернули за поводья, молча понукая коней, с обоих сразу слетело равнодушие и сонливость, фигуры их напряглись, лица обрели хищное выражение, а когда оба вдруг заметили, что и олень при-

бавил ходу и пытается скрыться от них в более высоких и густых зарослях, немногословный Ульв, изменяя своей привычке, сдавленно воскликнул:

— Стреляй!

Торд сорвал лук, приладил стрелу, натянул тетиву так, что она соединила его нос и подбородок, быстро прицелился и, чуточку отведя руку влево, пустил короткую крепкую стрелу туда, где еще красовались между ветвями деревьев высокие оленьи рога.

Было видно, как хищно летит туда стрела, как низвергается она вниз, в заросли, было видно, как олень, наверное пораженный стрелой, подскочил, отчего болезненно всколыхнулись над зарослями его величественные рога, но рана, причиненная Тордом, не была, вероятно, смертельной, потому что рога, всколыхнувшись, вновь встали на свое место и полетели между ветвями быстрее и быстрее, будто на полозьях.

— Бей!— в отчаянии крикнул Ульв, видимо окончательно решив нарушить свою вечную молчаливость.

Торд пустил вдогонку оленю еще одну стрелу, но олень продолжал лететь, неудержимый и неприкосновенный, гордо и пренебрежительно.

Тогда варяги ударили коней в бока и помчались следом, хотя и понимали всю бессмысленность такой погони, потому что на всем скаку из лука не попадешь в зверя, а догнать не сможешь тоже, ибо, судя по всему, рана, причиненная Тордом, была пустяковой. Они гнались за оленем без всякой надежды, просто по привычке доводить до конца всякое дело, даже обреченное на неуспех, однако на этот раз небо послало им вознаграждение за их веру и терпеливость, ибо не проскакали они и поприща, как олень на всем бегу упал, так, будто провалился сквозь землю. Варяги кинулись туда, считая пораженного зверя своей добычей, но с другой стороны заулюлюкало несколько всадников, мчавшихся из ольшаника наперерез варягам, и варяги невольно придержали коней, потому что среди верховых узнали посадника Коснятина.

Коснятин, сопровождаемый своими ловчими, выехал навстречу Ульву и Торду. Поперек седла у него лежал олень, истекающий кровью. Коснятин тоже весь был в крови, шапка у него сбилась набок, в светло-русой бороде запутался желтый листик березы, куда и девалась аккуратность и нарядность посадника. Зато выражение у Коснятина было радостное и торжествующее: вывозя навстречу княжьим охранникам свою добычу, он хотел похвастать перед князем своим умением и

удачливостью, но вдруг дернул за поводья, не заметив рядом с варягами Ярослава, и удивленно спросил:

— Где князь?

Варяги пожали плечами: кто его знает?

— Вы же с ним ехали!

Торд хоть неопределенно взмахнул рукой, а Ульв смотрел на посадника с таким равнодушием, будто ни сном ни духом не ведал о существовании какого-то там князя.

— Где он?— не унимался Коснятин.

— Велел нам ехать,— наконец выдавил слово Торд.

— Куда?

— Я забыл,— искренне признался варяг.— Сказал нам: к... куда-то к... а куда?

— Может, ко всем чертям?— засмеялся наконец и посадник.

— А может, и верно.

— Где же его теперь искать?

Варяги сочли за благо снова умолкнуть.

А Ярослав тем временем, вдоволь наблуждавшись и утратив малейшую надежду выбраться из опостылевшего Зверинца, увидел вдруг впереди себя, за негустым леском, на невысоком песчаном косогоре старую хижину. Для того чтобы добраться к пригорку, ему пришлось пересечь ручеек, который в сухую погоду, наверное, был еле заметен, а теперь вот разлился мутными водами, будто и впрямь что-то стоящее. Конь осторожно переставлял ноги, выбирая путь поудобнее, он был слишком осторожным, чего не скажешь о всаднике, вновь охваченном тревожным нетерпением: вновь закипела в нем кровь, и он, не обращая внимания на дождь и грязь, снова жил пронзительными запахами того ясного осеннего леса, где впервые повстречал удивительную девушку, которая вырвала его из многолетней спячки, швырнула в мир греховный, дикий и одновременно такой соблазнительный.

Конь, выбравшись наконец на песчаный склон, радостно заржал, и, словно бы рожденная этим конским зовом, из хижины выползла на свет божий странная фигура. Это был невысокий, ободранный дотла человечек. Вместо корзна была на нем какая-то лубяная рвань, долженствовавшая защитить его, наверное, от дождя, а может, служила ему одеждой и в зимнее время. Ярослав подъехал ближе. Он не хотел здесь видеть ни одного живого существа, кроме той, ради которой поехал в лес, поэтому в душе у него не было ни капельки милости или сожаления к этому ничтожному оборванцу. Не

разжалобили князя ни добрые, почти детские глаза незнакомого, светлые, как весенний день, ни взлохмаченные рыжеватые волосы, прикрывавшие его изнуренное лицо, ни подобие оружия, находившегося в правой руке этого жалкого человека,— обожженная с одной стороны острая палка, которая, вероятно, должна была служить копьем.

— Кто такой?— грозно спросил князь, едва не сминая человека конем.

— Ловище... присматриваю...— неожиданно звонким, молодым голосом ответил тот.

— А почему такой... растерзанный?

— Потому как только у волка золотая головка,— смело взглянул тот на князя своими невыносимо ясными глазами.

— Холоп!— гневно крикнул Ярослав, вздыбливая коня над стариком.— Да ведаешь ли ты?..

Он не успел закончить, потому что открылась тяжелая, из грубых досок, дверь хижины и на пороге появилось белое видение.

Она стояла, несмотря на холод, в одной полотняной сорочке. Из просторного выреза нежно выглядывала тонкая прекрасная шея, ничем не покрытая русая головка небрежно выдвигалась под дождь; будто обрадовавшись, дождь пустился еще сильнее, щедро лился девушке на голову, стекал по лицу, по шее, свободно проникая в широкий вырез, так, что князю захотелось броситься и прикрыть девушку от холодных струек дождя, ему хотелось схватить ее в объятия, внести в теплую хижину, понести на край света.

Ярослав забыл о старике, не попытался даже догадаться, что это мог быть отец Забавы,— он просто проехал мимо него, как мимо столба или куста, спрыгнул с коня и, как-то неловко сцеживая горстью воду с бороды, подбежал к Забаве.

— Снова приехал?— без удивления отметила девушка.

— Здравствуй,— сказал князь.

— Чего забрел в такую непогоду?— она открыто насмехалась над ним.

Ярослав растерянно молчал.

— Так что поведаешь?— уже суровее спросила девушка.

— Может,— князь не знал, что и говорить.— Может, хоть воды напиться дашь?..

— Вон ее сколько, воды,— повела она рукой и сама уже лоснилась от воды.

— Намокнешь,— напомнил ей Ярослав.

— Не глиняная.

— Простуда возьмет...

— Пускай она врагов моих возьмет.

— А разве есть у тебя враги?

— А у кого их нет? Это уже и не человек, если у него нет врагов.

Он удивился ее прозорливости: о том же самом и он думал вот уже несколько дней.

— Не стой на дожде,— сказал Ярослав почти умоляюще.

— А ежели хочу стоять!

— Холодно ведь.

— А раз холодно — сделай мне тепло, ежели ты такой!

Чувствуя, что делает величайшую глупость, на которую он только способен, Ярослав подошел к Забаве, резким движением снял с себя кожаный плотный плащ, которым защищался от дождя, набросил его на девушку, а сам остался в своей дорогой княжеской одежде, вероятно имея смешной и жалкий вид: стоит под дождем бородатый человек в шитом золотом корзне, в цветных, усыпанных жемчугом сапогах, с драгоценным мечом, с драгоценным же охотничьим ножом на широком поясе, разукрашенном тяжелыми серебряными вещицами.

Однако сначала было у него ощущение одной лишь приятности доброго дела, сначала он в полнейшем забытьи смотрел на девушку, весь отдавшись во власть темного течения страсти, а мысль о себе, чувство неловкости и стыда появились позже, когда позади зафыркали кони, зашлепала в ручейке вода под копытами, раздался такой отталкивающе знакомый голос Коснятина:

— Пресветлый княже, насилу нашли тебя!

Ярослав повернул к посаднику потемневшее от ненависти лицо. На него смотрели мертвые глаза оленя, переброшенного через луку седла Коснятина. Забава с любопытством переводила взгляд с князя на посадника, ждала, что же будет дальше.

Но в разговор вмешался третий, о котором все забыли. Мохнатый, ничтожный человечек протиснулся между князем и посадником, который силился слезть с коня, но никак не мог высвободиться из-под тяжелой оленьей туши.

— Так ты князь?— спросил старичок Ярослава.— Почему же не поведал, я бы на колени перед тобой упал. А теперь поздно. Расхотелось.

— Убирайся с глаз, Пенек,— посоветовал ему Коснятин.

— А почему бы я должен уходить, ежели это моя хижина?

— Может, и девка твоя?— Коснятин наконец слез с коня, прилаживая на плечо тушу оленя.

— Моя! А только тебе — дудки!— Пенек выставил мохнатую дулю, издалека показывая ее посаднику.

— Не болтайся под ногами: раздавлю!— прикрикнул на него посадник, неся убитого оленя к князю.— Кланяюсь тебе, княже, этим оленем...

Ярослав понял, что строгость здесь неуместна, нужно было свести все приключение к шутке, поэтому он уступил дорогу, кивнул на Забаву:

— Подари своего оленя девушке.

Посадник, обрадованный тем, что князь не стал отчитывать его за назойливость, за преследование (ибо как иначе можно было объяснить его появление в лесу после того, как Ярослав пожелал ехать на охоту без какого бы то ни было сопровождения), положил оленя к ногам Забавы, поклонился девушке:

— По княжьему велению. Дарим тебе.

— А зачем он мне?

— Княжий подарок,— степенно напомнил Коснятин.

— Бери, глупая девка!— прикрикнул Пенек.

— Князь наш щедрый,— сказал посадник.

— А пускай бы князь и освежевал,— засмеялась Забава.

— Сделают это за нас,— сказал солидно Коснятин.

— А я хочу, чтобы князь,— упорно повторила девушка.

— Ежели так, я и сам могу.— Посадник знал крутой нрав Ярослава, боялся вспышки, которая могла вот-вот разразиться.

— Нет, пускай уж сам князь. Или, может, не умеешь, княже? Отец, помоги нашему...

— Не нужна помощь,— сказал просто Ярослав.

— Княже,— укоризненно промолвил посадник,— как же так?

— Моя забота!

Варяги соскочили с коней, чтобы внести оленя в хижину, однако Ярослав остановил их движением руки, сам взвалил себе оленя на плечи, легко понес его к двери.

— Открывай!— крикнул он Забаве.

Ярослав чувствовал себя молодым и сильным, как олень в непроходимых пущах. Звонкая сила струилась у него в каждой жилочке. Не было никого на свете. Только он и эта девушка — словно божий дар и бессмертный грех!

— Несите еловые ветки!— крикнул он назад, варягам и посадниковым ловчим, а Забаве велел:— Разводи большой огонь! Костер! Побольше огня!

Он смело разрезал шкуру убитого зверя, умелыми движе-

ниями принялся свежевать тушу. Пахло хвоей от подстилки, сделанной варягами, а ему казалось, что это запахи Забавы. Варяги принялись разводить костер посредине хижины, шипела вода на мокрых дровах, густо стлался едкий дым, а перед взором Ярослава из этого дыма вставал образ девушки, до поры до времени находящейся где-то в противоположном углу. Дрова разгорелись, Коснятин велел принести бочоночек, полный крепкого меду, достал из-за голенища окованный серебром рог, поднес первому князю, но тот плечом указал на Забаву, девушка отказываться не стала, осушила рог, вытерла губы, сказала:

— Вкусно.

Дрова трещали, пламя взвивалось до самой дымовой сетки под потолком, в хижине стало светло, выпили, чтобы согреться, и князь, и Коснятин, и варяги, и ловчие, перепало и Пеньку. Ярослав быстро разделывался с оленем, Забава, отойдя еще дальше, расчесывала простым деревянным гребешком волосы, они пахли, наверное, дождем, лесом, чистотой и еще чем-то, чем только могут пахнуть волосы такой небывалой девушки. Князь добрался уже до оленьих внутренностей, его руки натыкались на комки загустевшей крови, прикасались пальцами к теплому, скользкому, страшному на прикосновение, потом небрежно выкладывал внутренности на подставленную Пеньком большую глиняную миску, затем вырезал из туши самые сочные куски и передал их Забаве, причесанной, умытой, свежей, в сухой полотняной сорочке, умело подобранной так, что не мешала она двигаться и одновременно открывала всю привлекательность девичьей фигуры. Коснятин наливал меду еще и еще, Забава с помощью Торда принялась жарить оленину на огне. Ярослав заканчивал свою тяжелую и хлопотную работу, теперь у него была возможность чаще посматривать на девушку, видел ее крепкую, словно точенную из тяжелого драгоценного дерева фигуру, ее обнаженную до локтя руку, упруго мягкую и одновременно сильную, сердце у него сжималось при виде пламенных отблесков на лице Забавы; с каждой минутой он становился моложе и моложе, вконец одуревшим, ошалевшим, а тут еще Коснятин — то ли захмелел, то ли прикидываясь захмелевшим — развалился на зеленых еловых лапах возле огня, подставлял к пламени свои дорогие сапожищи, так что из них заклубился пар, и затянул сочным басом:

Ой то ж не кума,
А що довга пелена.

Пенек, ощерив желтые зубы, задиристо подхватил неожиданным в его малом теле звонким голосом:

Ото ж мені кумася,
Що підтикалася!

А потом они уже вдвоем, посадник и простой княжий холоп, с выкриками и похлопыванием дотянули свою припевку до конца.

І підтикалася,
І підсмикалася,
Ще й підперезалася —
Мені сподобалася!

Пели про князя — знал это и он, и все, кто был в хижине. Да и Ярослав не делал тайны из своего увлечения. Пока его спутники горланили свою припевку, он с окровавленными руками, усталый и вспотевший от непривычной работы, подошел к Забаве, наклонился к ее уху, сказал:

— Поедешь со мной сегодня?

— Куда?— Она не повернулась к нему, продолжая пристально всматриваться в огонь, шевелила рожны, на которых жарилась оленина, в ее голосе не было ни удивления, ни испуга, ни даже любопытства,— спросила, лишь бы спросить.

— Со мной,— повторил он, еще и сам толком не ведая, куда и как он повезет девушку.

— А эти?— глазами она указала на куски мяса, шипевшие на огне, но князь понял, что речь идет о посаднике и всех находящихся в хижине.

— Не обращай внимания,— сказал он небрежно.

— А я обращаю,— сказала она.— Отойди. Мясо подгорит.

— Так как?— он не отходил.

— Сказала же. В другой раз.

— Я не могу.— Коснятин и Пенек умолкли, и князь мысленно умолял их, чтобы они затянули еще какую-нибудь глупость, лишь бы только заполнить звуками страшную тишину, воцарившуюся в хижине после прекращения их пения. Тут не то что слово,— каждый вздох был слышен.

И Коснятин, словно бы угадав желание князя, затянул новую песню:

Прийди-прийди — сама буду!
Я з спідниці зроблю путо,
З передника зроблю двері...

— А не можешь, так что же ты за князь,— выставила она в его сторону плечо так, будто стремилась отгородиться от Ярослава.

— Один не могу. Тяжело мне одному. Князю всегда тяжело. Во всем.

— Вот уж хлопоты — князем быть!— она засмеялась.

Ярослав совсем близко увидел ее нагретую огнем щеку, непреоборимое желание нежности залило его душу, из мрачнейших закоулков сердца исчезло все злое и недоброе, он наклонился к этой щеке и несмело, будто мальчишка, прошептал:

— Только прикоснуться к твоей щеке.

На них смотрели все, кто был в хижине. Коснятин перестал петь, но князь этого не заметил. Он ничего теперь не слышал, кроме рева собственной крови в ушах. Пенек равнодушно щурился на дочь и князя, варяг Торд аж приподнялся и приоткрыл рот от неутолимого любопытства, даже молчаливый Ульв зашевелился на своем ложе и, быть может, впервые в жизни пожалел, что боги лишили его великих предков песенного дара, потому что лучшего повода для слагания величальной песни красоте и силе невозможно себе и придумать!

Но все равно князь еще сдерживал себя, он не кинулся на Забаву, не смял ее в каменно-крепких своих объятиях, он даже не отважился поцеловать девушку, а лишь провел усами по нежной щеке, весь встрепенувшись от этого прикосновения, и отступил в потемки, вытирая окровавленные руки о золотое шитье своей одежды.

Забава выхватила из огня запеченное докрасна мясо, начала раскладывать его на деревянных мисках перед посадником и варягами, которые сверкали глазами то ли на еду, то ли на девушку. А Ярослав не выходил из темного угла, стоял там, охваченный удивительным равнодушием, ему не хотелось ни к огню, ни к еде и питью, ни даже к девушке,— щемящая опустошенность охватила его сердце, отвратительное чувство ненужности, ничтожности навалилось на него, знакомое еще с тех давних лет детства, когда лежал он одиноким калекой в душных княжьих покоях.

Было тогда так. Просыпался он иногда утром, а просыпаться не хотелось, и не потому, что не выспался, а просто — не хотелось жить дальше. Зачем такая жизнь? От рождения был князем, но был ли им? И вообще, можно ли быть князем от рождения и почему? Кроме того, что же ты за князь, ежели без ног?

Приходил Будий, сразу улавливал подавленность своего мо-

лодого воспитанника, тормошил Ярослава, подбадривал его, покрикивал:

— Эй, княже, шевелись веселее, потому что скоро уже будем плясать! Уже наши ноги вон какие крепкие! Еще немножко терпения — и готово!

А малыш лежал и думал: ну и что? Даже если и встанет он на ноги? Будет ездить верхом на коне? Но станет ли он от этого счастливее? Докажет ли кому-нибудь, что он от рождения в самом деле князь и в самом деле имеет право карать и миловать, властвовать, держать в своих руках людские судьбы и людские души? Разве может родиться человек с такими правами? Кто может ему дать такое право? И почему? И зачем? Ведь люди все одинаковы, только есть веселые, счастливые, здоровые, а есть несчастные, немощные, как вот он. Какой же из него князь и какой властелин?

— Пошел прочь!— кричал он на Будия, отворачиваясь к стене, зарываясь в мягкие беличьи одеяла.— Убирайся, а то велю срубить твою глупую голову!

Такие приступы повторялись и в дальнейшем, были тяжелее и легче, но всегда одинаково болезненные, непостижимые. Так было и на этот раз.

— Княже, иди к нам, отведай оленины,— расслабленным от тепла и меда голосом позвал Коснятин.— Эта девка умеет жарить оленину, как никто другой. Потому что отец у нее — Пенек, а этот человек разбирается в дичи. Просим, княже.

Ярослав хотел сказать посаднику что-то резкое и грубое, но удержался, прикусил губу, молча пошел к двери, и казалось ему, что ступает нетвердо, что в ноги возвратилась давняя болезнь, он покачнулся и должен был опереться о косяк, чтобы не упасть. С огромным трудом вышел из хижины.

Никто не осмелился задерживать его. Только Забава, когда Ярослав уже прикрыл за собой дверь, схватила кожаный плащ князя, сушившийся с другой стороны костра, и как была — босиком, в одной сорочке — метнулась из хижины.

— Княже, плащ забыл!— крикнула она в густой дождь.

Ярослав вышел из-за водяной стены, так, будто ждал Забаву, и потянул руку за своим убором, не проронив ни слова, не сдвинувшись с места.

— Глуп еси, княже!— засмеялась Забава и, мелькнув сорочкой, исчезла в теплой хижине.



Год
1014
ЛЕТО. БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО

Толи не будет межю нами мира, оли камень начнеть плавати, а хмель почнеть тонути.

Летопись Нестора

Даже царства имеют свои судьбы — счастливые или несчастные, а люди и тем более. Если бы тому мальчику, который плакал когда-то на темной, развезенной дождями дороге, сказали, как далеко очутится он с течением времени от родной земли, он ни за что не поверил бы сам, да и вообще никто не поверил бы в это. А теперь вот назывался он Божидаром и сидел в монастыре «Святые архангелы» над украшением дорогих пергаментных книг, овладев этим умением всего лишь за два года, что само по себе было вещью неслыханной. Вот почему и прозвали его Божидаром, потому что только от бога могло найти на человека такое небывалое умение.

Он вскочил в монастырь, будто в стоячую воду, перед тем изрядно натерпевшись в блужданиях по чужим землям с купеческими обозами. Князь Владимир все-таки отдал тогда в Радогосте хлопца жадному пьянчуге Какоре, и Сивоок оказался среди самых униженных робов купца. Он должен был тащить на себе возы в гиблых местах, где застревали кони; в чужие города, где дань бралась с воза, хитрый Какора велел вносить товары на плечах; в тяжелых странствиях годы сплывали медленно и однообразно, несколько раз Сивоок пытался

бежать, но Какора ловил его довольно легко, потому что всюду знали, что купец даст за своего роба хорошее вознаграждение, и не успевал Сивоок проспать хотя бы одну ночь на свободе, как снова, связанный и избитый в кровь, оказывался в ненавистном обозе. Между Какорой и Сивооком шло безмолвное состязание: кто кого? Быть может, благодаря именно этой многолетней схватке произошли большие изменения и в характере Сивоока. Нелюдимость сменилась разговорчивостью, сдержанность — буйством, мрачность — веселостью. Так, будто Сивоок перенимал все лучшее, что было в характере его заклятейшего врага — Какоры, и уже мог теперь не только передразнивать купца, не только, зля своего хозяина, перепить его иногда, не только поскоморошествовать в побасенках, но и в самом деле развеселить мрачнейшую душу, подбодрить шуткой, как говорится, завить горе веревочкой.

Какора мечтал о том, чтобы обмануть всех купцов, какие только есть. Мало ему было выездов в чехи и в угры, мало было плавания по Днепру, Дунаю, вдоль берега греческого моря мимо Варны, Мессемврии, до самого Царьграда. Он еще решил сушей добраться до далекого Солуня — первейшего соперника в торговле с Константинополем — и вот так, не заходя в столицу ромейского царства, прямо от Мессемврии, перегрузив свой товар с лодей на возы, повел свой обоз по большой приморской дороге, ведшей от Царьграда к Солуню.

Сивоок уже и до этого множество раз видел горы, но были они либо слишком далеко, либо щедро заселенными людьми, а где люди, там действовало Какорино золото-серебро, поэтому для побега должен был искать что-нибудь другое, а что именно — не ведал толком, перепробовав и степь, и пущу, и камень. Но таких диких гор, таких сожженных солнцем земель, такого безлюдья еще не видел никогда и потому твердо решил, что убежит наконец от Какоры хотя бы здесь, и убежит навсегда. Даже умереть от голода и жажды в этих поднебесных, белых от зноя горах считал бо́льшим благом, чем глотать пыль в осточертевшем обозе, смотреть на ненавистную могучую фигуру Какоры, монотонно покачивающуюся на коне, слышать его безумолчное глуповатое пение про теплых жен и крепкие меды.

...Они переправились через речку Хебар [1], пошли вдоль моря, которое болгары прозвали Белым [2], то есть красивым, лас-

---

[1] Хебар — византийское название реки Марица.

[2] Белым морем болгары называют Эгейское море.

ковым, ибо так у них называлось все самое теплое и нежное; они постепенно углублялись в горы, белая (не ласковая, нет!) пыль стояла над дорогой днем и ночью, солнце немилосердно жгло все живое и мертвое, был месяц зарев[1], месяц безжалостного зноя, на горных дорогах встречались лишь отряды ромейских воинов, которым срочно нужно было перебраться из одного места в другое, одинокие странники, местные жители на терпеливых ослах, что же касается купеческих обозов, то Какора здесь почти не имел соперников, ибо все отдавали преимущество морю, плыли в Солунь на лодьях, разве что какой-нибудь слишком хитрый купец пробирался в Адрианополь, дабы первым попасть на великий собор, который ежегодно происходил в городе в день успения богородицы, или же встречали они небольшие обозы с товарами из Мосинополя. В самом Мосинополе были торги, песни, музыка, грех бы взял на душу каждый, кто бы там не задержался, но на Какору иногда находило бычье упорство; ему нравилось поступать вопреки здравому смыслу, и вот его обоз снова тянется в горы, снова вокруг — раскаленный камень, и безжалостное полынно-седое небо, и перемолотая тысячами колес, перетоптанная тысячами ног, перевеянная всеми ветрами едкая белая пыль, от которой нет спасения ни днем ни ночью, а дорога еще пустыннее, потому что сейчас как раз вершина месяца зарева, когда все живое прячется в тень, и лишь ящерицы переползают через широкую кремнистую дорогу, да высоко в небе плавают равнодушные горные птицы.

От жары обалдевали люди, едва передвигались кони, ослы шли понурив головы, натужно скрипели возы, будто в предсмертном издыхании, будто допытываясь у толстого всадника, покачивающегося на высоком жеребце впереди: чего он хочет, какой прибыли, какой еще славы?

А поскольку Сивоока волновала только собственная свобода, то он не стал ожидать, чем закончится безумный поход за купеческим счастьем, выбрал самое пустынное место и еще с вечера, чтобы за ночь успеть как можно дальше отбежать от Царьградской дороги, подался направо, в горы.

Хотя взбирался без передышки целую ночь выше и выше, наутро оказалось, что висит чуть ли не над самой дорогой, отчетливо видел, как извивается средь белой пыли Какорин обоз, видел двух встречных крестьян-ромеев на ослах, еще дальше, догоняя Какору, спешил, пока не раскалилось солнце, со сто-

[1] **З а р е в** — август *(древнеболг.)*.

роны Мосинополя небольшой конный отряд ромейской легкой конницы, вокруг себя Сивоок видел только голый камень, безнадежно серый, сразу же после восхода солнца раскаленный до предела, некуда было скрыться, не за что было уцепиться не то что рукой — глазом даже! Ему стало страшно, был он словно распят на серой каменной стене, выставленный и солнцу, и людям, объединившимся против него во вражеский союз, чтобы обессилить, поймать, уничтожить. Притаился за выступом скалы, боясь, что с дороги его заметят и Какора пошлет погоню или же и сам начнет взбираться за беглецом, но все прошло благополучно, обоз, извиваясь змеей, двигался дальше и дальше, скрываясь за поворотами дороги; звонкая тишина окружала Сивоока все плотнее и плотнее, он выбрался на более ровный выступ, окинул взглядом каменное царство, которое теперь ему принадлежало (а может, это он принадлежал ему), и упрямо покарабкался выше.

Вокруг была свобода. Быть может, впервые с момента совместных странствий с маленьким Лучуком.

Его странствия длились долго. Пробирался в горы, тяжело и медленно, издалека замечал нечастые здесь людские поселения, старался держаться в сторонке, питаясь случайно пойманной птицей или рыбой, которую щедро дарили ему горные речки, только, к сожалению, речек попадалось слишком мало, и более всего страдал Сивоок от жажды, потому что иногда по одному и даже нескольку дней не имел во рту ни глотка воды. Однажды напали на него грабители, навалились на него, когда он спал у ручья, начали душить, было их трое или четверо, они мешали друг другу,— видимо, не имели предварительной договоренности, как действовать, и это спасло Сивоока. Он разметал насильников и, пока они опомнились и достали оружие, успел скрыться в темноте, а уж бежать он умел от бога и от дьявола!

Шел наугад, обеспокоенный одним лишь: чтобы попасть к болгарам, болгары ведь добрые люди, свои братья, не выдадут его никому, ибо никого не боятся. Одежда его изорвалась в лохмотья, а сам он обессилел до предела. Он не мог знать, добрался или не добрался в Болгарию, потому что в конце концов попал в такую непроходимую чащу, что уже не то что человека, но даже и зверя не замечал.

Леса становились гуще и гуще,— видно, где-то неподалеку, должна была быть большая река, однако Сивоок шел уже много дней, а речки не было, иногда сквозь камень пробивался ручеек, который сразу же и исчезал в камне, адская духота

стояла в лесах; дошедший до отчаяния Сивоок молил богов, чтобы послали ему даже врага, хотя бы маленькое людское жилище, ему уже казалось, что он пересек все Болгарское царство с юга до самого Дуная, никого не встретив, никого не увидев.

К берегу реки он вышел совершенно неожиданно, да еще и оказался сразу под крутой стеной, сложенной из огромных каменных глыб. И хоть как перед этим стремился к людскому очагу, невольно попятился назад в заросли, сделал огромный крюк, прежде чем отважился снова выйти к реке, чтобы попить воды и издалека посмотреть на неожиданное в этом диком краю укрепление.

И когда, упершись руками в круглые голыши, склонился над водой,— еще не обмочив даже губ, услышал совсем близко позади негромкое:

— Чедо! [1]

Он оглянулся, но никого не увидел. Подумал, что негоже ему бояться первого встречного, снова наклонился над водой, начал пить.

— Чедо!— снова послышалось позади него.— Хей, Божидар! На тебе думам! [2]

Сивоок вскочил на ноги, повернулся к дереву, откуда отчетливо доносился человечий голос, приготовил заостренную палку, служившую ему оружием. Из-за дерева вышли два до смешного бородатых человека, в грубошерстных темных плащах, подпоясанные широкими кожаными ремнями, за которыми у обоих посверкивали топоры с длинными топорищами.

— Защо се плашиш? [3] — улыбаясь в глубочайшей глубине своей дремучей бороды, ласково спросил один из них.

Так Сивоок оказался среди братии монастыря «Святые архангелы». Два инока — Демьян и Константин, а проще Тале и Груйо — вышли в то утро в лес нарубить дров и встретили там бродягу-руса. Назвали его Божидаром, считая, что послал юношу к ним сам бог, а потом игумен монастыря Гаврила еще больше удивился меткости этого имени для Сивоока, когда увидел, как легко усваивает русич болгарскую и ромейскую грамоту, а еще легче — великое умение украшать книги и писать иконы, умение, которое дается людям так редко и дается уже впрямь самим богом.

---

[1] Чедо — хлопче *(болг.)*.

[2] Хлопче! Эй, Божидар! Тебе говорю! *(болг.)*

[3] Чего боишься? *(болг.)*

Сивоок и сам не знал: в самом ли деле это врожденный дар, или вспыхнули в нем необычные способности, вызванные отчаянием.

Ибо бежал из одной неволи, а попал в неволю тройную.

Первая неволя — монастырь, мрачнейшее сердце замерло бы от одного лишь взгляда на эту суровую обитель. Горы, леса, непроходимые дебри. Вид здесь — словно бы от сотворения мира: вздыбленные громады камней, извечная взъерошенность деревьев, черные громы вод в пещерах и пропастях. А над всем этим, в каменном поднебесье, скрытый за непробиваемыми, невесть кем и когда сложенными из серых гранитных глыб высоченными стенами,— жалкий лоскуток земли, шершавые окаменевшие кладбищенские кипарисы, длинные ряды выдолбленных в материковой стене гнезд-келий. Кельи громоздились одна над другой несколькими этажами, так что становилось страшно от одной мысли о человеческом существовании в самых высоких норах, но потом ты убеждался в ошибочности своего первого впечатления, ибо монастырь был расположен так, что здесь в самую страшную жару веяло горной прохладой, а когда кто-нибудь умудрялся еще хотя бы капельку подняться над уровнем этого пристанища, выдолбив для себя келью над остальной братией, то имел возможность самым первым встречать прохладные потоки благословенного болгарского белого ветра, которого так не хватало человеку внизу.

Сивоок должен был долбить для себя келью сам, ибо здесь напрасно было бы надеяться на готовое, и выбрал место самое холодное, как и следовало пришельцу из далекой северной страны. Бил камень и забывал про все несчастья, испытанные доселе, готов был днем и ночью не отходить от тяжкой работы, лишь бы только найти забвение и отдохнуть душой, но с первого же дня ему дали понять, что в «Святых архангелах» существуют твердые правила, нарушать которые не дано никому. Прежде всего эти правила касались молитв.

Посреди монастырского дворика стояла старая каменная церковь — протатон. Стук в огромную деревянную колоду созывал несколько раз в сутки все население обители на молитву, в том числе и в полночь, когда слабый голос человека слышнее всего для бога. Непременной молитвой отмечался также восход солнца, которым здесь начинался отсчет часов новых суток, хотя все равно трудно было отрешиться от гнетущего убеждения в том, что время здесь остановилось навеки, годы не исчисляются, часы не отмеряются, только дни текут за

днями в монотонности молитв, в непрестанности тяжелого труда, который часто кажется напрасным, ибо не знаешь никогда, кому попадет и попадет ли вообще в руки пергамент, над которым склоняешься в течение многих месяцев, а то и лет.

Несколько десятков мужчин, одичавших и душевно очерствевших от одиночества. Никогда не стриженные головы, волосы скручены в скуфью на затылке, огромные черные и рыжие бороды, еле блестят глаза за этими зарослями и выдаются носы. Встречаясь, иноки взаимно целуют друг другу руки. Видимо, никто из них никогда не изведал женского поцелуя, а теперь и вовсе не испытает его, ибо в «Святых архангелах» запрещено появление не только женщин, но вообще какого бы то ни было существа женского пола. Не может быть тут ни курицы, ни ослицы, братия не пьет молока, не ест яиц, горячая пища запрещена также, чтобы не разжигать тела. В монастырской трапезной на стене картина страшного суда, где карают грешников, которые объедались и опивались в мирской жизни. Посреди трапезной — амвон, с которого один из иноков во время обеда должен читать Священное писание, в то время как братия торопливо глотает фасоль с оливками или овечий сыр с сухим хлебом; игумен, сидящий в конце стола, может в любой миг зазвонить в колокольчик — и тогда конец обеду, нужно молиться, и никому нет дела до того, успел ли ты там что-нибудь перехватить, выпил ли свой стакан вина, единственную здесь радость для многих, в особенности для тех, которые выполняют только черную работу и никогда не будут посвящены в высокое искусство создания и оформления книг.

Сивооку, который даже в скитаниях на тяжелой работе при Какоре все же привык к широкому вольному миру, обитель «Святых архангелов» показалась хуже тюрьмы. Когда он малость пришел в себя с дороги, познакомился со всеми монастырскими регулами,[1] ему стало так страшно, будто он завтра или послезавтра должен был умереть и его похоронят вон там, за кипарисами, под стеной, на крошечном монастырском кладбище, где виднеется один лишь крест, а потом, через несколько лет, откопают его кости, отделят от них череп, ссыплют в длинный дубовый ящик — «костницу», а на черепе напишут над глазными впадинами имя владельца и выставят рядом с другими в каплице. Что напишут — Сивоок, Божидар или Михаил? Потому что имел он теперь сразу три имени, получил третье после принятия креста.

---

[1] Регулы — правила *(лат.)*.

Вот здесь следует сказать о второй неволе, в которую попал Сивоок.

У Какоры каждый мог иметь своего бога. «За богов ваших и грехи ваши не отвечаю!» — покрикивал пьяный купец. Были у него христиане, были сторонники бога Иеговы, были мусульмане, более же всего было таких, как Сивоок,— язычников; каждый хранил своих богов, придерживался своей веры, никому не чинил препятствий, никто никого не принуждал принимать иную веру.

Однако в «Святых архангелах» Сивоок должен был принять крест на следующий же день и без всяких колебаний и сопротивления, иначе он оказался бы за воротами монастыря, снова одинокий и бессильный среди одичавшей пустыни, гор и лесов.

Игумен позвал Сивоока в свою келью, посадил на самодельный деревянный стул, не стал удивляться, что русич до сих пор не сподобился крещения, не спрашивал о его желании, а только изложил ему очень сжато неизбежность всемогущей новой веры. Христос сказал: «Идите и обучайте все народы». Святой Мефодий, который разнес великое учение по многим землям, однажды направил своего посланца к одному северному властелину и велел ему сказать: «Хорошо было бы, сын мой, если бы дал окреститься добровольно на своей земле, в противном случае будешь взят в неволю и вынужден будешь принять крест на земле чужой, попомнишь мое слово».

Еще говорил игумен, но это уже были только повторения сказанного ранее, а у Сивоока перед глазами стоял тот далекий тяжелый крест на первой могиле его жизни, на могиле деда Родима, и еще один крест — на монастырском кладбище, над каким-то горемыкой иноком. Вот так жил, метался по белу свету, где-то сражался, где-то ел и пил, случайно поцеловал одну или нескольких женщин, а закончилось все тем, что оказался между двумя крестами, и дальше идти некуда, заперта твоя жизнь между этими мрачными знаками, ненавистными и тяжкими, будто окружающие горы, которые придавили, кажется, весь мир.

И вот так, страдая в безнадежности и безвыходности, принял Сивоок крещение, принял еще одно имя — Михаила, должен был теперь носить под толстой шерстяной рясой на замусоленной ниточке кипарисовый крестик, была теперь у него новая вера, на которую мог опираться, как старик на посох, и надеяться, как тот старик на крутую горку.

Но радостей новая вера не принесла, дала она лишь подавленность духа, воспринималась как тяжелейшая, наверное, неволя, и, быть может, чтобы забыть эту неволю, отбросить ее, так отважно и легко углубился Сивоок в новое для него дело — украшение книг и писание икон на деревянных досках, открыл в себе способность, рожденную ненавистью, тогда как игумен Гаврила обусловливал это просветлением заблудившегося тавра.

Что же касается неволи третьей, то касалась она не одного лишь Сивоока и даже не обители «Святых архангелов», а всего Болгарского царства, о чем следует рассказать особо и более подробно.

Издавна уж так повелось, что в мире существуют два самых больших государства, и главное чувство, господствующее между ними, — глубокое недоверие и тяжкая вражда, будто между библейскими братьями Каином и Авелем. Любые сравнения рискованны, но можно все же решиться применить сравнения. Болгария и Византия длительное время были именно такими двумя враждующими великанами. Ромеи еще в седьмом веке, при императоре Константине Погонате, были позорно изгнаны с берегов Дуная, унаследованного Византией от римлян, и даже вынуждены были платить дань болгарскому царю. Когда двое дерутся, почти всегда появляется третий, который сначала присматривается к схватке, чтобы потом выступить в роли торжествующего пожинателя плодов победы. Так и во время почти трехсотлетнего противоборства между Византией и Болгарией за морем возникла новая могучая держава — Русская, но она была далеко по сравнению с болгарами, располагавшимися на берегу Черного моря и чуть ли не под самыми стенами Царьграда, поэтому византийские императоры попытались склонить русских князей к совместным действиям против болгар, и им это даже удалось сделать, и князь Святослав, непобедимый в те времена воин, захватил болгарскую столицу Преслав, изгнав оттуда тщедушного царского сына Бориса, который заботился не столько о величии своего царства, сколько о сохранении своей власти и налаживании отношений с боярами — боилами и кавханами. Но получилось так, что Святослав, сам того не ведая, оказал вдруг Болгарии величайшую услугу, благодаря которой болгары снова возвратили свое величие. К тому времени в Преславе, в глубокой темнице под башней-тюрьмой, сидел уже много месяцев храбрый комитопул Самуил, брошенный туда Борисом без суда якобы за сговор против богом данного царя Болгарии.

Самуил, а также Давид, Моисей и Аарон были комитопулами, то есть сыновьями комита (правителя по-ромейски) Охридской области[1] Николая Мокрого. Уже Николай Мокрый был вельми храбрым воеводой, а его сыновья выросли еще более храбрыми и после смерти отца, унаследовав каждый свой город, стали открыто возмущаться нерешительностью царских сыновей Бориса и Романа. Распространились слухи о том, что Борис — незаконный царь, что нужно было бы избрать достойного царя, имелся в виду, возможно, хоть Роман, которого прозвали Скопцом за слишком уж голый подбородок, но у Романа не было в достатке того, что называется разумом или государственной мудростью,— черт, которые у царствующего брата его Бориса отсутствовали вовсе, зато Борис в избытке был наделен холодной жестокостью и душевной черствостью.

Самуил с несколькими своими верными людьми тайком приехал в столицу, но там был узнан и брошен в подземелье с жестоким повелением «не показывать узнику дневного света». Так бы и сгнил там отважный молодой комитопул, если бы в одну из зимних ночей не подошли к стенам Преслава могучие воины, которых болгары называли тавроскифами, и со страшными криками не пошли на штурм. Вооружены они были тяжеленными, в полтора раза более длинными, чем виденные до сих пор, мечами, длинными копьями, которые не ломались от самой большой тяжести, а в левых руках несли щиты величиной с двери царского дворца.

Они взяли столицу одним натиском, еще в ту же самую ночь развели костры на улицах Преслава и спокойно ужинали, так неторопливо и вкусно ужинали, что трапеза их затянулась, собственно, до завтрака, а тем временем из города бежал кто мог, иные прятали свои богатства или пользовались случаем и

[1] Автор хотел бы напомнить читателю, что речь в данном случае идет о древнем Болгарском царстве, которое не следует отождествлять с Болгарией современной, точно так же, как, например, никто не ставит знака равенства между Киевской Русью и Россией современной. Как Русь Киевская стала исторической колыбелью трех братских народов — русского, украинского, белорусского,— так и Болгарское царство времен Симеона и Самуила — болгарского и македонского. Современнику непривычно читать, что столицей Болгарского царства когда-то были, скажем, Охрид или же Обитель, которые сегодня принадлежат одной из югославских республик — Македонии (Обитель теперь называется Битоль), но следует помнить, что речь здесь идет о временах, отстоящих от нас на целое тысячелетие. Это историческое прошлое двух народов — болгарского и македонского.

набивали себе сумки или же просто животы,— добродушные русичи никому не мешали, они просто отдыхали после изрядной работы, сам князь был среди них и велел никуда не спешить, ибо вокруг уже зима, поэтому, видимо, лучше остаться здесь, в этом великом и богатом городе и спокойно перезимовать.

Самуил бежал из башни в ту же ночь. У него не было сил выбраться из подземелья — его вывели под руки, ему нашли коня и, чуть ли не привязав к седлу, поскорее выпроводили из Преслава, чтобы ехал к своим братьям, набирался сил.

Потом было несколько тяжелых лет для Болгарии. Хотя Святослав отошел за Дунай, но ромеи заняли отвоеванные им земли, распространились по Болгарской земле, словно эпидемия, разорвали страну на две части, захватив все восточные области, все морское побережье и придунайские земли. Вот тогда и поднялись против Византии западные болгары во главе с братьями-комитопулами Давидом, Моисеем, Аароном и Самуилом Мокрыми. Такого еще не видывала Болгарская земля: шли мужчины, женщины, даже несовершеннолетние дети, вооружались кто чем мог, шли без всякого призыва и понукания, нагоняя страх не только на ромеев, но и на собственных бояр, продавшихся врагу ради личной выгоды. Перепугались и сыновья болгарского царя Петра — Борис и Роман, бегством хотели спасти свою жизнь, и ничего лучшего не придумали, как бежать в Византию, но на горном перевале Бориса, переодетого в ромейскую одежду, убил болгарский лучник, приняв его за врага, а Романа вернули на родную землю и провозгласили царем.

Царей и императоров часто называют: Великий, Храбрый, Справедливый,— но такие имена даются подхалимами, лизоблюдами, поэтому история если и сохраняет их в дальнейшем, относится к ним с известной долей скептицизма. Зато если уж дает имя своему властелину народ, суждено ему быть вечным и будет оно характеризовать его более исчерпывающе, чем все описания придворных летописцев и славословия наемных историков. Правда, имена, наделяемые народом, в большинстве своем имеют характер негативный, но тут уж ничего не поделаешь: правда всегда жестока. Звучат эти имена приблизительно так: Кровавый, Скупой, Паскудный. Могут наименовать короля Красивым, но так и знай, что король этот был безобразным. Если уж нарекут Святым, то читай: Дьявол. Царь Роман был прозван Скопцом, и касалось это, вероятно, не только его внешности, но и характера, которым не отличал-

ся, точнее, и вовсе его не имел. И хотя он именовался царем всех болгар, власть была в руках отважных братьев-комитопулов, которые не жалели жизни ради освобождения родной земли от ромеев.

В ожесточенных боях погибли два брата — Давид и Моисей, а между теми двумя, которые остались, непременно должен был разыграться спектакль, отрежиссированный еще тем неизвестным, но гениальным режиссером, который создавал когда-то библейскую главу про Каина и Авеля.

Старший из этих двух комитопулов — Аарон, имевший под своей властью Средец[1] с окраиной, решил, что именно он, а не самый младший, Самуил, должен выступить первым претендентом на царский престол. А поскольку он ничем не мог засвидетельствовать своих преимуществ перед Самуилом: ни личной отвагой, ни любовью к родной земле, ни необычайными качествами человеческими,— потому и решил искать поддержки не где-либо, а у самого византийского императора. Запутанное и злое было это дело. Византийский император Василий II Македонянин, который со дня своего вступления на престол имел множество хлопот с подавлением бунта полководца Варда Склира и с придворными интригами первого министра евнуха Василия, не мог выступать против Болгарии открытой войною, а прибег к войне тайной. Имея всюду своих доносчиков, он вскоре узнал, что Самуил, в сущности, покинул свою столицу Охрид, дабы не видеть опостылевшей жены Агаты, и большую часть своего времени проводит на Преспанских озерах рядом со своей любовницей Беляной, для которой на одном из островов Малого Преспанского озера велел даже соорудить городок и церковь. Император подослал к Самуилу из Италии двух опытных зодчих, увлек его строительными делами настолько, что Самуил на много лет оставил военные походы и возвел на Малом озере целый город под названием Пресна и перенес туда свою столицу. Конечно, человек не может всю жизнь посвятить лишь одной какой-нибудь страсти, в особенности же если им с детства овладела ненависть к врагам родной земли, поэтому Самуил все-таки опомнился своевременно и снова пошел на ромеев, взял Фракию, Македонию, околицы Фессалоник, Фессалию, Элладу, Пелопоннес, большую ромейскую крепость Ларисса, затем освободил всю Дунайскую Болгарию, за исключением отдельных городков во главе с византийскими топархами.

---

[1] Средец — теперь София.

И так проходил год за годом, лето шло за летом. И нужно же было Сивооку в своем непреоборимом стремлении к свободе попасть на эту измученную землю, которая в скором времени должна была превратиться в сплошную огромную неволю, быть может самую большую в тогдашнем мире.

Тот, кто хочет слушать историю, должен вооружиться терпением.

Весной, тысяча четырнадцатого года верные люди донесли Самуилу, что этим летом следует ждать василевса. Ромеи могли войти в Болгарию двумя путями из Адрианополя на Пловдив, через Траяновы ворота, или же из Мосинополя и Солуня у реки Струмешница и дальше, через Рупельский перевал, между Беласицей и горой Сегнел. Траяновы ворота для Василия навсегда оставались местом позора, он каждый раз избегал их, видимо должен был обойти их и на этот раз. Поэтому Самуил решил ждать ромеев в Струмице, за Рупельским перевалом. Вновь, как и во все предыдущие годы, у василевса был значительный численный перевес. Василий собрал 70 тысяч воинов, тогда как у Самуила насчитывалось едва ли около сорока тысяч. Вновь каждый из них избрал присущий для него способ действия: Василий лез напролом, уверенный в непобедимости своей силы, а Самуил брал умом и хитростью. Он не стал запираться в заоблачной твердыне Струмице, не отважился выйти в Серское поле, чтобы дать окончательный бой византийцам, поскольку знал, что речь идет не о его собственной чести как полководца и не о царской славе или хвале, а стоит за ним целое царство, стоит Болгария, за которую пали его братья Моисей и Давид, он сам казнил родного брата Аарона, Болгария, которой он отдал 70 лет своей жизни, которую довел до величайшего могущества, а теперь должен был либо все потерять, либо же с честью отстоять.

Самуил выбрал наиболее удобную теснину между горами Беласица и Огражден по течению реки Струмешница и велел строить между двумя хребтами высокую непробиваемую стену из огромных каменных глыб. Это ущелье называлось Ключ, или по-ромейски — клисура Клидион. Кто хотел пропикнуть в Болгарию, непременно должен был пройти через Клидион, а пройти теперь не мог тут никто, потому что клисуру пересекала чудовищная стена, которую с другой стороны охраняли по меньшей мере двадцать или тридцать тысяч болгарского войска, на стене горели неугасающие костры, в медных котлах клокотала смола и масло, на площадках возвышались горы камней для катапульт, в хорошо оборудованных укрытиях затаи-

лись умелые стрельцы со скорострельными кутригурскими луками [1].

Василий знал о преграде в клисуре Клидион, но не повернул назад, упорно продвигался к месту, где ждал его Самуил. А тем временем болгарский царь послал трехтысячный полк во главе с воеводой Несторицей в тыл ромеям под Солунь, чтобы, применяя свой давнишний способ, отвлечь внимание василевса, напугать его возможностью окружения, разделить византийские силы.

Битва под Солунем и в теснине Ключ началась одновременно. Император сначала послал под стену трубачей с глашатаями, чтобы предложить болгарам открыть ворота и впустить ромеев, но на стене не стали слушать глашатаев, оттуда полетели камни, раздался свист и выкрики.

— Виждате, виждате ли това нещо? — показывая огромный меч, ревел какой-то богатырь, обращаясь к ромеям.— Ще изтърбуша с него вашия васелевс като шопар! [2]

Император, чтобы разжечь свое войско, сам подъехал поближе к стене в сопровождении молодых протокелиотов и седых спафариев[3], был, как и всегда, закован в темное железо, только посверкивали белым золотом бесчисленные царские инсигнии[4] на нем, да еще у белого императорского коня хвост и грива окрашены были персидской хной под багрец, чтобы напоминать царственные краски, присвоенные василевсу.

— Ти си копиле й майка ти беше дрипла![5] — закричали императору со стены. Злые стрелы полетели на василевса, перепуганные протокелиоты умоляли императора, чтобы он хоть немного отъехал подальше от опасности, но Василий упорно стоял у стены, вперив темный тяжелый взгляд куда-то вниз, кажется на свои руки, сжимавшие луку седла.

— Хей,— кричали ему со стены болгары,— ти слез долу и не чекай да те смъкнем с кука![6]

---

[1] Луки, принадлежавшие одному из древнеболгарских племен — кутригурцам, имели необычайно тугую тетиву, поэтому нужно было быстро стрелять из них, а это могли делать только опытные, меткие стрелки.

[2] Видите ли это? Располосую императора, как вепря *(болг.)*.

[3] Протокелиот — адъютант, спафарии — военачальники.

[4] Инсигнии — знаки царской власти.

[5] Сам ты байстрюк и мать твоя задрипанка! *(болг.)*

[6] Эй ты, слазь на землю и не жди, пока стащим тебя крюком! *(болг.)*

Тогда Василий махнул рукой, давая знак идти на штурм, и отъехал назад к своему шатру, чтобы следить за ходом битвы.

Ромеи запели боевой тропарь и двинулись по зеленой лужайке, тащили огромные деревянные плоты, чтобы перекрыть ров вдоль стены, везли запряженные каждая несколькими волами пристенные башни, несли высокие лестницы, катили длинные бревна, чтобы по ним взбираться на стену, придвигали катапульты для метания камней, прилаживали к воротам гигантский таран с железной бараньей головой в конце. Так началась эта последняя битва.

Тридцать шесть дней упорно, неотступно, яростно бил император стену в Клидионской клисуре, посылал новые и новые тысячи на штурм, хотел взять болгар голой силой, никого не слушал, не подпускал к себе, как всегда, не желал ничьих советов и уговоров, всю свою жизнь он одолевал врагов силой, других способов не знал и не верил в них, сила была его святыней, поэтому снова и снова велел он бить ворота бараньими головами таранов, долбить их камнеметами, бросал на смерть новые и новые тагмы послушных своих воинов.

По ночам ромеев заедали тучи комаров, вылетавших из Струмешницких болот, в войсках началась лихорадка, заболел и сам император, печально светились немногочисленные костры в византийском лагере, продовольственные отряды не успевали подвозить еду для такого огромного множества людей, сбитых в кучу в узкой долине.

А у болгар на стене весело полыхали костры, клокотала смола в медных котлах, которые мгновенно опрокидывались на головы нападающих, как только начинался очередной штурм, там звучали не протяжные песни-молитвы, как у византийцев, а яростные выкрики, сам царь похаживал среди защитников с сыном Гаврилой-Радомиром и племянником Иваном-Владиславом, по всему уже было видно, что на этот раз Василий разобьет свою упрямую ромейскую голову о болгарскую стену, несмотря на все его упорство, несмотря на численное преимущество, даже несмотря на утрату Самуилом отборного полка Несторицы, потому что тщеславный воевода, нарушая царское веление, задумал взять Солунь штурмом, а не просто напугать ромеев, выпустив при этом из виду, что к осажденным может прийти подмога по морю, и она пришла незаметно для болгар, в Солуне собралась изрядная сила византийского войска, болгары были разбиты до основания, один лишь Несторица с несколькими уцелевшими воинами прибежал к царю, склоняя по-

винную голову, которую, как известно, меч не сечет, но и толку от нее, глупой, мало...

В дальнейшем стряслась еще одна беда. Ромеям удалось прислонить к стене одну башню, и с верхней площадки сыпанули закованные в железо воины на стену к болгарам. Царь лично бросился туда, чтобы столкнуть врагов, у него еще была сила в руках, несмотря на преклонный, семидесятилетний возраст, он не хотел уклоняться от самого страшного, давно уже приготовился, ожидая василевса, и на подвиг, и на смерть, поэтому и бросился в самую гущу схватки, несмотря на то что ближайшие люди, в том числе и Гаврила-Радомир, удерживали его от этого. В бою Самуила прикрывали со всех сторон, и все же кто-то из ромеев изловчился и ударил царя из-за спины по шлему. Потеряв сознание, Самуил с окровавленным ухом упал, его подхватил сын, вынес из боя и, взяв для прикрытия пять тысяч воинов, быстро поскакал в Струмицу.

Но и это не сказалось на болгарской обороне. Башня была отодвинута от стены, ромеи отбиты, Клидионский перевал попрежнему оставался непроходимым для василевса, никакая сила не могла пробиться сквозь преграду, поставленную Самуилом, но никакая сила не могла теперь и оттащить от этой стены Василия. Император не выходил из шатра, ни с кем не хотел разговаривать, мрачно молчал, грозно посматривая своими большими глазами из-под черных с проседью бровей на протокелиотов, мало ел, еще меньше спал, и казалось, что он поклялся положить тут все свое войско, чтобы потом либо возвратиться в Константинополь одиноким, либо и самому лечь костьми в Клидионе.

Где-то в подоблачной Струмице в тяжком забытьи лежал старый болгарский царь, утверждалась вельми несвоевременно песня о том, что «царят болен лежит»,— так рано или поздно к каждому приходит тот неизбежный миг, когда все дела мира решаются без твоего участия, даже главнейшее дело твоей жизни развивается или губится кем-то другим, и уже ты не способен что-либо сделать, чем-либо помочь, потому что сам ты оказался на шаткой грани между бытием и небытием и проваливаешься, низвергаешься в бездну, из которой еще никто не возвращался...

А тут, в Клидионской клисуре, в пышном царском шатре, украшенном императорским стягом, лежал почерневший от лихорадки и упорной злости, накапливавшейся в течение тридцати лет против болгар, другой старый человек, и его сознание затмевала только злость и черпая ненависть к великому

народу, не желавшему покоряться ему, императору всех ромеев. А почему тот или иной народ должен подчиняться какому бы то ни было императору? Над этим императоры не задумываются. И уж если отправляются они в походы во имя грабежей и порабощения, то не любят возвращаться с пустыми руками. А он тридцать лет непрестанно выступал против Болгарии и тридцать лет возвращался назад почти ни с чем. И еще: его походы каждый раз начинались с тех самых мест, где когда-то родился основатель великой Македонской императорской династии Василий Первый, через столетие кровь Василия Первого возродилась в жилах Василия Второго, буйная, дикая, злая кровь багрянородных детей, внуков и правнуков того молодого македонского крестьянина, который пришел когда-то в Царьград босой, с пустым мешком за плечами и уснул у стен столицы возле монастыря. Он подался в Царьград потому, что мать его увидела вещий сон: как у нее из чрева вышло золотое дерево, разрослось и покрыло тенью весь их дом. Он еще не знал, где найдет это золотое дерево, но был силен, как дикий зверь, располагал неисчерпаемыми запасами здоровья, беззаботности и упорства, потому-то потащился из-под Адрианополя в столицу, прихватив на всякий случай обыкновенный пустой мешок, чтобы, по крестьянскому обычаю, не оказаться с пустыми руками там, где можно будет что-то урвать. И пока он спал перед воротами монастыря святого Диомида, куда его не пустили даже ногой ступнуть, игумену, который после трапезы тоже прилег отдохнуть, приснилось, что с неба слышится неземной голос и этот голос велит ему: «Пойди и введи в монастырь владыку земного». Игумен проснулся и велел взглянуть, кто стоит за монастырскими воротами. Ему доложили, что там никого нет. Он снова задремал, но теперь уже явился ему ангел господний и повторил те же самые слова: «Пойди и введи...» Игумен сам вышел за монастырские ворота, но, кроме босого молодого здоровилы, который храпел на солнышке, смачно пуская слюну с губ, никого не увидел и, творя молитву, снова вернулся в свою келью, сел за священную книгу, но снова неожиданно уснул и увидел самого господа бога, который сурово посмотрел на него и сказал: «Пойди и введи в монастырь того, кто спит за воротами, ибо это — император». Тогда перепуганный игумен побежал за ворота, разбудил молодого бродягу, поцеловал ему руку и, кланяясь, пригласил в обитель. Там его одели в шелковую одежду, кормили наилучшими яствами, поили драгоценнейшими винами, тот пил и ел, материнский сон сбывался, его мешок, судя по всему, тоже при-

годился; в те времена никто ничему не удивлялся, жизнь была простой до смешного: либо тебе могли срубить голову без всякой причины, либо ты становился императором; наверное, такой же странной была судьба тех, кто имел счастье или несчастье родиться в великой державе, ибо считалось, что чем бо́льшая держава, тем больший беспорядок царит в ней, и это, мол, от бога.

Простодушный игумен приветствовал молодого босяка как императора. Он отдавал ему надлежащий почет в течение целого месяца, а тот принимал и еду, и питье, и почет, тот ничего не ведал о такой вещи, как угрызение совести,— раз предвещено ему стать императором, так что же он должен был делать? Только одно — стать рано или поздно императором Византии. Ибо разве не надевали задолго до него багряные мантии и не обували пурпурные сандалии люди такие, как он сам, или еще более ничтожные и жалкие? Юстин был таким же самым крестьянином из Македонии и точно так же пришел в Царьград босым, с мешком за плечами. Лев Первый был мясником. Лев Исавр был ремесленником, Лев Пятый и Михаил Второй — конюхами у великих вельмож.

Василий тоже начинал с конюшни, своим умением обуздывать диких жеребцов он пришелся по душе императору Михаилу Третьему, потом он показал, что обладает не только железными кулаками, но и железной волей, беспощадно расчистил себе место при дворе, стал соправителем, а потом собственноручно убил Михаила и стал императором, оправдав материнский сон о золотом дереве и своем путешествии в Царьград с пустым мешком, в который теперь втиснул целую империю.

Все это, наверное, заговорило и в Василии Втором,— подхватил он пустой мешок своего великого предка и не мог теперь возвращаться назад в столицу, не заполнив этот династический мешок, ибо уже и так потратил на это тридцать лет своей жизни. Но, унаследовав от своего предка упорство и ярость, он не обладал ни капелькой хитрости, которой в избытке обладал его предок, если и не в военном деле, то хотя бы в борьбе за собственные выгоды. Василий Второй полагался только на силу, брал всегда силой, хотел и тут решить все тупыми ударами в стену, и никто не мог отговорить императора от ложного намерения.

Но снова, как и тридцать лет назад под Средцом, пробрался в императорский шатер поседевший, изрубленный в битвах, опытный и коварный Никифор Ксифия, некогда протоспафа-

рий[1], а теперь пловдивский стратиг[2], и смело сказал императору:

— Тут не пробьемся. Нужно, чтобы кто-нибудь нашел обходную дорогу.

И как там, под Средцом, ненавистно взглянул на него Василий, ибо никто не смел вмешиваться в замыслы василевса, долго молчал, потом сказал:

— Возьмешь мерию [3] стратионов [4] и через четыре дня ударишь болгарам в спину. Иначе — будешь ослеплен.

Ксифия поклонился и вышел из шатра. Никто не толкал его молоть языком перед императором, но отступать теперь было поздно, и он повел пять тысяч стратионов в дикие горы, а через пять дней ударил защитникам стены Самуила в спину, и болгары, с которыми не было ни царя, ни царского сына, растерялись, а тут еще с другой стороны одновременно со всем войском пошел на штурм император, и клекот страшной битвы поднялся из тесной клисуры до суровых молчаливых вершин, битва была бесконечно долгой, но еще более длинным был летний день 1014 года июня двенадцатого индикта [5], до вечера все закончилось, кто пал убитый, кто выскользнул из мертвой ромейской западни, а многотысячное войско Самуила, которое уцелело, было зажато между каменной стеной и Струмешницким болотом, разоружено, войска уже не существовало, на мизерном лоскутке политой кровью земли столпилось много тысяч раненых, искалеченных, измученных, страдающих людей, сдавшихся на милость победителя.

Торжество победителя? Удовлетворение выигранной битвой? Превосходство над потерпевшими поражение? Можно бы перечислять множество ощущений, переживаемых великими и малыми воинами в великих или малых битвах и сражениях. Но тут речь шла не об обыкновенной войне, и победил в ней не просто полководец или властелин — восторжествовал заклятый враг целого народа, и ничего не имел он в своей злобной душе, кроме необъяснимой, как и его многолетняя вражда к болгарам, жажды мести.

---

[1] Протоспафарий — высший государственный чин в Византии.

[2] Стратиг — правитель военно-административной области (фемы) в Византии.

[3] Мерия — византийская воинская единица — пять тысяч человек.

[4] Стратионы — византийские солдаты, набранные в фемах.

[5] Индикты — пятнадцатилетние периоды для сбора дани, введенные византийским императором Константином (306—337 гг.).

Василий позвал к себе в шатер катепана[1] Куцукуса, прославившегося не столько доблестью, сколько жестокостью к побежденным, и о чем-то долго с ним говорил без свидетелей, которых всегда старался избегать, памятуя слова полководца Варда Склира, того самого Склира, который много раз пытался взобраться на императорский трон, а потом, в последний раз разбитый Василием, пришел в шатер к императору, седой, почти ослепший от старости и тяжелых походов, и сказал своему врагу и победителю: «Никому не доверяйся и лишь немногим открывай свои замыслы».

И в ту ночь Василий открыл свой самый ужасный из всех известных в действиях Византии замыслов одному лишь Куцукусу, но вскоре о нем должен был узнать весь мир.

Катепан Куцукус появился на следующий день в красной накидке поверх своей обычной одежды, и это указывало на то, что он назначен главой всех палачей ромейского войска. Потом он собрал под свое управление палачей, присяжных и просто охочих, взял в помощь несколько тагм войска, в долине Ключа были разведены огромные костры из дубовых и буковых дров, палачи стали у костров, засунули в огонь длинные мечи, двурогие вилы, а воины отделили от пленных первую сотню несчастных и погнали туда, где их ожидала неизвестность.

Никто ничего не видел, не понимал, от первого нечеловеческого крика вздрогнули сердца даже у самых жестоких ромейских воинов, а среди тысяч пленных прокатилось нечто подобное крику или стону, а там от костров, один за другим, раздавались болезненные, душераздирающие крики:

— Майчице! [2]

— Очите ми! [3]

— Изгоряха! [4]

И жуткий запах пополз от костров, запах горелой человеческой кожи, он наполнял долину, его уже слышали пленные возле болота, достигал он и пригорка, где возвышался пышный императорский шатер и где в окружении свиты неподвижно стоял ромейский василевс.

Там, возле костров, несчастные рвались из рук воинов, умоляли о пощаде, проклинали своих мучителей, угрожали, а неторопливые палачи со спокойной деловитостью извлекали из ог-

---

[1] Катепан — византийский военный чин среднего ранга.

[2] Мамочка! *(болг.)*

[3] Мои глаза! *(болг.)*

[4] Сгорели! *(болг.)*

ня раскаленные мечи и вилы и ширяли ими болгарам в лицо, выжигали глаза старым воинам и молодым новобранцам, лишали зрения и тех, кто уже насмотрелся на происходящее на этом свете, и тем, кто не успел налюбоваться ни небом, ни горами, ни реками, ни красивыми девичьими лицами. Да и может ли человек насмотреться, налюбоваться когда-нибудь на свете?

Когда первая сотня пленных была ослеплена, катепан Кукус, распоряжавшийся расправой, подал знак одному из палачей, и тот последнему подведенному к нему пленнику выжег лишь один глаз. Одноглазого толкнули в толпу скрюченных от боли и отчаяния — он должен теперь был быть поводырем своим искалеченным братьям.

— Заведи ги на вашья царь, кучето Самуил! [1]

Много дней длилась нечеловеческая расправа в долине Струмешницы, Василий отдал палачам четырнадцать тысяч болгар, сто сорок сотен воинов Самуила были ослеплены, и на каждую сотню выделен один одноглазый поводырь, и слепые, воя от невыносимой боли, ибо нет более тяжкой и дикой боли для человека, чем боль от ослепления, разбегались по горам и долам, часть одноглазых бежала от своих слепых побратимов в первую же ночь (днем они боялись убегать, еще не могли освоиться с тем странным состоянием, когда сто человек смотрят на тебя средь бела дня и ничего не видят, поэтому выбрали для бегства темную ночь). А слепые, лишившись помощи, гибли в водоворотах, забредали в непроходимые дебри, умирали от голода и жажды, будучи неспособны найти воду, умирали от ран, от зноя, от диких зверей, потому что были бессильнее малых детей и не умели защититься даже от бродячего пса; слепые расходились дальше и дальше, нагоняя ужас на всю Болгарию, они проходили мимо родных домов, неопознанные и несчастные, одни и вовсе не ведали, куда и зачем направляются, другие решили отыскать в своей вечной тьме царя Самуила, надеясь, что, быть может, он защитит их, спасет, даст убежище.

А Самуил, который немного пришел в себя после раны и замкнулся на острове в Преспе, уже услышал о победе василевса в Клидионе, но еще ничего не ведал об ослепленных. Не знал он и о том, как долго и тяжко идут они к нему, блуждая по дорогам Болгарии, и когда тысяча или две, а может, и десять тысяч слепых остановились на том берегу пролива,

[1] Поведи их к вашему царю, собаке Самуилу! *(болг.)*

отделявшего столицу Самуила от берега, ободранных, беспомощных, жалких, и племянник Иван-Владислав прибежал к царю и крикнул, чтобы гнали их прочь, Самуил велел:

— Пустите их сюда.

Он вышел на берег, чтобы встретить первую лодью со слепыми, стоял у самой воды, старый, поседевший, с угасшим взглядом, моросил холодный дождик, но царь стоял без шапки и полными горя глазами смотрел на своих бывших воинов.

Они вываливались из лодей грязными, смердящими купами лохмотьев, неприкрытых костей, незажившие глазные впадины источали кровь, вызывая невыносимую боль в старом сердце царя; они окружили своего царя, хватались за его одежду, старались дотянуться руками до его лица, плакали невидящими глазами:

— О царь, татко ти наш, помогни ни, при тебе сме дошли... [1]

Самуил протягивал к ним руки, гладил их бедные головы, плакал вместе с ними:

— Деца мои, синове мои, войници мои добре, войници мои храбре, народе мой...[2]

И встал на колени перед слепыми, а потом осунулся на песок и умер.

Так рассказывают еще и сегодня болгары, и так оно и было на самом деле.

А Василия Второго прозвали Вулгарохтонос, то есть Болгаробойца, и с этим зловещим прозвищем он вошел в историю и остался там рядом со всеми другими, которых человечество старательно сохраняет в своей памяти.

На этом можно было бы считать законченной повесть об исторических прозвищах, если бы не Сивоок, имевший неосторожность родиться именно в эти смутные времена и неосмотрительно шедший в самый водоворот событий того обезумевшего столетия.

Отзвуки битвы на Клидионском перевале донеслись и до монастыря «Святых архангелов», игумен Гаврила правил молитвы за победу над ромеями, молились денно и нощно иноки... Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, аминь. Оставлены все повседневные дела, покончено с раздвоенностью, которая удивляла Сивоока в иноках: молятся

---

[1] О царю, отец ты наш, помоги нам, к тебе пришли... *(болг.)*

[2] Дети мои, сыны мои, воины мои добрые, воины мои храбрые, народ мой... *(болг.)*

и одновременно твердо стоят на земле, занимаются делами земными, носят дрова, выпекают хлеб, переписывают книги, сплетничают друг о друге, беззаботно спят и сладко упиваются вином, выкраденным из монастырских подвалов.

Но никак не мог он понять, как могут эти несчастные иноки вымаливать у своего бога спасения для родной земли, поскольку у них бог — общий с ромеями, и где-то в ромейских монастырях точно так же тысячи немытых черноризцев вздымают взлохмаченные бороды к небу и молят о том же самом, о чем молят и встревоженные болгарские братья. Что же это за бог, который умеет служить сразу двум враждующим народам, и в самом ли деле он такой всемогущий, и хитрый, и ловкий, чтобы успевал давать и нашим и вашим? И как он это делает? Вертится туда и сюда, как гулящая девка, что ли? От пророка Исайи: «Род лиходеев, сыны погибели...» О ком это? Болгары — про византийцев, а те — про болгар? Что же это за святые слова, если их можно повернуть, как копье, куда хочешь, в зависимости от того, в чьих руках оно окажется? Или: «Довольно вам возлагать надежду на человека, у которого только и духа, что в ноздрях, ибо и что он значит?» А Сивоок привык полагаться именно на человека, на собственную силу, на мощь своих рук, и ему смешно было теперь смотреть на здоровенных бородачей, которые стояли на коленях в темной монастырской церквушке и беспомощно вздымали ненатруженные руки к небу, в то время как где-то их братья бились насмерть с врагом. А почему бы не взять в эти медвежьи лапы какое-нибудь оружие или просто дубину да не поспешить и самим туда, где кипит битва? Жизнь уже научила Сивоока не стоять в ожидании событий, он твердо знал, что всегда нужно вмешиваться самому, бросаться в самый водоворот, врываться в самый ад боя и состязания, ибо только там настоящая свобода, настоящий размах для силы, только там чувствуешь себя живучим и неподвластным смерти.

Он начал тайком подговаривать кое-кого из иноков бежать из монастыря, сам не верил в свои уговоры, но получилось, что иноки только и ждали толчка извне, им как раз не хватало такого отчаянного человека, как приблудный рус, они охотно согласились с мыслью о том, что не надо надеяться на бога, а самим послужить земле, родившей их и давшей им силу. Конечно, Сивоок мог бы уйти за далекие горы и один: он легко уговорил своих первых знакомых Тале и Груйо, но хотелось вырвать из тихой обители как можно больше здоровых иноков, ибо хотя и сам просидел тут два года, так и не смог привык-

нуть к тому, чтобы растрачивать молодую силу таким странным образом. Он говорил одному: «С этой силой, добрый человек, можно разогнать целую сотню ромеев». Говорил другому: «Ах, если бы я имел такой острый глаз, как у тебя!» Говорил третьему: «Разве кто-нибудь знает лучше тебя эти горы!» Уговаривал четвертого: «А выпьем, братья, да и махнем с богом!» Еще другому предлагал: «А ну-ка, давай поборемся, кто сверху, того и слушать!» А некоторых просто пугал: «Доберутся ромеи и сюда, сожгут вас и растопчут. Чего же ждать!»

Быть может, кто-нибудь и донес игумену об этих уговорах Божидара, но отец Гаврила не вмешался своевременно, сделал вид, что ничего не замечает, и ключник монастырский вынужден был тоже не обращать внимания на исчезновение запасов из кладовых, потому что какое значение имел кусок солонины, когда под угрозой находилась вся Болгария?

Вот так и собрал Сивоок-Божидар инока к иноку и тихим теплым утром вывел свою братию за монастырские ворота и впервые за два года снова был на свободе, мог еще раз пройти по тем самым тропам, по которым добирался сюда, но теперь уже не вслепую, а влекомый определенной целью, и не один, а с целым товариществом отчаянных иноков, готовых ко всему доброму и злому.

Одетые в шкуры, в толстые шерстяные или полотняные дрехи, с кожаными высокими клобуками на никогда не мытых головах, с длинными бородами, обутые в мохнатые постолы, а то и вовсе босые, вооруженные кое-как — самодельными копьями, тяжелыми палицами, двумя или тремя на всех мечами,— они побежали по горам так быстро, будто именно им надлежало решить исход величайшей стычки между войсками ромеев и болгар. Они почти не спали, ели на ходу, в невероятной спешке приникали к воде, когда попадался по пути ручеек, торопились дальше, подгоняя друг друга выкриком:

— Вървете, вървете, люди божи! [1]

Но, как ни спешили они, все равно опоздали, чтобы хоть чем-нибудь помочь защитникам Клидиона, а из монастыря выбрались преждевременно, а то и вовсе напрасно, ибо, не ведая, шли навстречу собственной гибели.

Потому что уже вершил в долине Струмешницы свою дикую месть Василий Второй, и уже первые сотни слепых ударились в отчаянии в родные горы, и потом десятка полтора уцелевших чудом доберутся до глухой обители «Святых архан-

[1] Скорей, скорей, божьи люди! *(болг.)*

гелов», и отец Гаврила примет их на место блудных своих сыновей, бежавших в неизвестность, и через множество лет пронесется слух о странном монастыре в непроходимых горах, монастыре слепых иноков, но не об этом речь.

Василевс послал в Царьград гонцов с вестью о победе над болгарами, а за ними снарядил еще новых гонцов с новеллой[1] к брату Константину и к жителям Константинополя, которая начиналась так: «Наша царственность Василий Второй, император ромеев, брат императора Константина, всем, кто прочтет или выслушает эту новеллу, шлет наше поздравление...»

Далее василевс сообщал, что в ознаменование своей великой победы он посылает жителям царственного града тысячу пленных варваров, которые должны быть ослеплены на второй день после того, как приведены будут в столицу, на Амастрианском форуме, в соответствии с обычаями, а также с «Книгой церемоний» императора Константина Багрянородного, и да будет это величайшим триумфом для жителей царственного града и благодарностью для доблести войска, которое добыло для Византии желанную победу, освященную богом.

Так пятнадцатая тысяча пленных болгар, оставив четырнадцать тысяч своих товарищей на ослепление в долине Струмешницы, тронулась в далекий поход, в конце которого их ожидало нечеловеческое наказание, но об этом никто из них не знал, а кто догадывался, тот отгонял от себя страшные мысли, ибо человеку всегда хочется надеяться на лучшее, и не верит он в смерть даже тогда, когда стоит в яме или под петлей виселицы.

Начальником ромейской тагмы, которая вела пленных в Царьград, был пазначен Комискорт[2], человек мелкий телом и душой, злой по характеру и завистливый ко всему на свете. В походах он вершил роль надзирателя стратигова шатра, в битвах никогда прямого участия не принимал, поэтому никогда не брал и добычи, а только считал да делил уже добытое, глотая слюну на чужое и задыхаясь от злости и зависти. Маленькое сухое его личико обросло до самых глаз и до невысокого лба цепкими колючими волосами. Из-под этих волос раздавался точно такой же колючий голос, и если бы мож-

[1] Новелла — так назывались послания византийских императоров.

[2] Комискорт — имя происходит от титула. Дословно — «комит шатра», то есть начальник шатра. Комискорт был чем-то наподобие современного интенданта при стратиге или императоре. Ведал также сторожевой службой.

но было из Комискорта вылущить душу, то душа его непременно должна была быть колючей, будто еж или тот железный трибол[1], который бросают под копыта коннице, чтобы ранить коней.

Комискорт очень гордился своим поручением, шедшим от самого василевса, он вдолбил себе только одно: в столицу нужно привести ровно тысячу болгар, ни больше ни меньше, поэтому главное его занятие на протяжении всего пути заключалось в непрерывном подсчете пленных, их пересчитывали утром и днем, вечером и ночью, перед тем как допустить к ручейку, чтобы напились воды, и после того; охранять болгар, собственно, было совсем не трудно, потому что на каждого пленного был один вооруженный воин, каждый ромей, ложась спать, привязывал болгарина к себе ремнями, которые все византийцы предусмотрительно брали с собой, отправляясь на войну, ибо всегда надеялись захватить себе невольников, точно так же как набить полную кожаную сумку драгоценными вещами; ремни у ромеев были очень крепкие, умело расставленные охранники никогда не спали; Комискорту, казалось, не следовало бы и беспокоиться о целости своих пленников, а больше думать о том, чтобы как можно скорее кратчайшими путями выбраться в Пловдив или Адрианополь, а там уже и в Царьград, где все подготавливалось для многолюдных торжеств, для невиданного триумфа византийского оружия.

Но потому ли, что среди пленных было много тяжелораненых, или потому, что слишком жестоко обращалась охрана с невольниками, но вскоре Комискорту доложили, что до тысячи не хватает полтора десятка человек.

— Куда девались?— проскрипел он.

Ему доложили, где и как, от каких ран кто умер, кого добили, поскольку тот не способен был передвигаться. Ну, так. Но через несколько дней обнаружилась недостача трех пленных, которые исчезли невесть куда и как. «Бежали!» — брызгая слюной, кричал Комискорт, хотя сам не верил, что кто-либо мог ускользнуть из-под такой пристальной стражи. Ведь подумать только: один на одного! Все пленные связаны. Голодные и изнуренные до предела. Кроме того, им некуда бежать, ибо всюду — ромейская сила, Болгарии уже нет. И все-таки бежали. Сначала двое, потом трое, потом еще один. Получилось,

[1] Триболы — железные шарики с острыми шипами. Их рассеивали там, где должна была пройти конница.

что человек может бежать отовсюду. Вся тысяча не может, но три-четыре всегда найдут способ освободиться.

Комискорт собрал своих пентеконтархов, лохагов и декархов [1] и коротко велел:

— Тысяча не может нарушаться. Добирать до тысячи первых болгар, которые попадутся под руку. Важно число. Больше ничего.

Он ощерился, зубы у него тоже были острые, как у рыси.

И случилось так, что дружина Сивоока в тот же день столкнулась с печальным походом. Иноки двигались не по дороге, а немного в стороне и, наверное, разминулись бы с пленными, но один из иноков повел лицом напротив ветра и, принюхиваясь, сказал:

— Миризмата на човека отдалеко се усеща...[2]

А через некоторое время они и в самом деле увидели внизу, на одном из поворотов великого царьградского пути, тяжелое облако пыли, которое медленно продвигалось им навстречу.

— Пойду посмотрю! — рванулся туда Сивоок.

— Ще те убият [3],— попытался удержать его Тале.

— Не так это просто, убить меня! — засмеялся Сивоок, помахивая пудовой суковатой палкой, которой мог бы свалить коня.

Но ему не пришлось идти разглядывать, потому что передняя византийская стража, получившая уже приказ подавать знак, как только заметит хотя бы одного заблудившегося болгарина, заметила монахов, и на гору отовсюду начали взбираться не менее сотни яростных ловцов людей.

Неопытные и простодушные иноки не очень прислушивались к тревожным выкрикам Сивоока, сбившейся беспорядочной купой они бросились в одну сторону, заспешили вниз, надеясь, что тот, кто бежит вниз, всегда наберет больший разгон, чтобы проскочить мимо того, кто взбирается вверх, но получилось так, что византийцы очутились и над ними, и с одной стороны, и с другой, и внизу уже подтянулась на дорогу вся тысяча Комискорта, с которой бессмысленно было вступать в борьбу; местность напоминала огромную серую миску, негде было ни спрятаться, ни укрыться, всюду ты был виден, человек среди голой местности, мертвых камней, будто муха на

---

[1] Младшие командиры византийского войска. Пентеконтарх имел под командой 50 человек, лохаг —16, декарх —10.

[2] Запах людской издалека слышен... *(болг.)*

[3] Убьют тебя *(болг.)*.

миске, но муха может хоть взлететь, а что может сделать человек? Растерявшись, бедные иноки заметались, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, они забыли о своем хотя бы и хлипком оружии и о своей силе, только Сивоок мужественно ударил по ромеям, надеясь пробиться, и свалил нескольких человек. Ему уже казалось, что он уйдет от ромеев, от которых еще не приходилось бежать, но тут набежало сразу несколько десятков разозленных, брызжущих слюной бородачей, на Сивоока набросили ременную петлю, а сверху навалились на него запыхавшиеся, потные, дикие от ненависти люди.

Его скрутили ремнями, он легко растолкал плечами всех, как только встал на ноги, тогда византийцы изловчились привязать его к двум длинным палкам и так повели вниз, будто лютого, страшного в своей силе зверя.

Первую добычу нужно было показать самому Комискорту, тот сидел верхом на коне, на голове у него, несмотря на невыносимый зной, был железный позолоченный шелом с белой гривой, и это было единственное на нем белое, а все остальное — черное, колючее, отталкивающее.

— На колени! — крикнул Сивооку кто-то из ромеев, умевший говорить по-болгарски. И черный всадник ощерил острые, белые до синевы зубы, довольный быстрым выполнением своего приказа. А Сивоок только взглянул на него, и отвернул голову, и увидел, что ведут к нему точно так же связанных ремнями его товарищей, иноков в высоких клобуках, в шерстяных и полотняных изорванных дрехах, несчастных и измученных, и тогда он снова смело взглянул на черного колючего всадника и промолвил:

— Аз падам на колене само пред бога [1].

— Он не болгарин, он не болгарин! — закричали иноки, подбегая к Сивооку, надеясь освободить хотя бы своего русского побратима, но Сивоок-Божидар, испугавшись вдруг, что ромеи послушают иноков и отпустят его, гордо поднял голову и крикнул:

— Почему бы это я не должен быть болгарином! Болгарин есмь! Болгарин!

---

[1] Я падаю на колени только перед богом *(болг.)*.



1965
год
ВЕСНА. КИЕВ

Еще один такой день, и будет очень плохо.

П. Пикассо

В этом году в Киеве была открыта выставка столичных художников. Открылась она в Республиканском выставочном павильоне, который еще несколько лет назад был гаражом, а до революции, кажется, служил как каретный сарай для института благородных девиц; потом какой-то умный человек догадался, что в таком месте все-таки грешно держать гараж, машины оттуда вывели, пришли проектировщики и все, кто там нужен, а после них строители долго что-то там мудрили, приладили к бывшему гаражу какой-то фронтончик, какие-то даже колонны, что и вовсе уж было смешно, но внутри вышло очень хорошее помещение со стеклянной крышей, с просторными залами, и уже теперь все и забыли, что здесь раньше было, зато все знают, где выставочный павильон, и там частенько происходят очень интересные события.

Конечно же Борис Отава пошел на открытие выставки, теснился среди нетерпеливых посетителей, слушая краткие, как всегда у художников, речи, смотрел, как министр перерезывает ленточку, как гостеприимно разводит руками, обращаясь ко всем: «Друзья мои, приглашаем вас...», потом ходил по залам,

смотрел картины, что не отняло у него много времени,— кажется, там, во дворе, стоял и слушал речи дольше, чем ходил теперь по залам, потому что привык сразу находить на каждой выставке вещь, которая чем-то поражала, еще издалека выделял ее из всех остальных, обходил со всех сторон, смотрел то отсюда, то оттуда; действовала такая вещь на него неодинаково: либо раздражала, либо радовала; после этого он быстренько пробегал туда и сюда, еще раз на прощанье возвращался к работе, которая чем-то привлекла к себе внимание,— и покидал выставочный зал.

Художники всегда остаются самими собой. Одни всю жизнь рисуют паруса,— видимо, для того, чтобы напомнить о неудержимости ветра, который несет нас куда-то дальше и дальше; другие, словно для опровержения присказки о прошлогоднем снеге, все рисуют и рисуют снег; те изображают коней, а другие — женщин. Точно так же и выставки, уподобляясь художникам, обрели определенное постоянство: на каждой непременно увидишь дородных доярок, которые, заправив широкие юбки, позируют художнику, стерильно белых медсестер с румянцем на щеках, монтажников, картинно расположенных на самых кончиках стальных конструкций, найдете там горы в невыносимых окрасках и море, авторы которого тщетно конкурируют с Айвазовским, встретишься там и еще с некоторыми обязательными сюжетами, кочующими с выставки на выставку упрямо и неутомимо,— но уже, пожалуй, хватит, потому что перечень можно продолжать без конца.

Борис проскочил мимо этюдов столичных художников, немного полюбовался акварельками, которые назывались «Моя родная улочка», но для сердца по-настоящему пока ничего не нашел и мысленно пожалел уже о напрасно потерянном времени. Но вовремя спохватился, ведь на выставке все-таки было что-то интересное для людей, а он в общий счет не шел, у него был испорченный вкус, он был пресыщен искусством, что называется, сыт им по горло; человек, который пытается вместить в себе искусство своего народа за тысячу лет, непременно выбивается из нормального восприятия, это уже какой-то чудак, что ли, какая-то аномалия,— следовательно, ему лучше убираться отсюда молча и не портить настроение ни самому себе, ни кому-либо другому, ибо если он потолкается здесь, то встретятся знакомые, начнут расспрашивать, что и как, он что-нибудь брякнет резкое, и назавтра снова будут говорить: «Вы знаете, этот Отава там тако-ое...»

Шел к выходу из последнего зала. Впереди в углу, в самом

темном месте, спинами к нему стояли трое или четверо юношей, он не обратил на них внимания, это могли быть даже его студенты, которых он отпустил с лекций, чтобы они посетили выставку, но теперь это не играло никакой роли. Когда Отава поравнялся с ними, юноши расступились и спокойно пошли дальше вдоль стен, а на месте, которое заслоняли они своими спинами, под огромным полотном с лихими монтажниками (на него Отава просто не смотрел), совершенно незаметная, открылась вдруг небольшая картинка в скромной рамке из обыкновенных планок, что-то там зеленое, желтое, красное на прямоугольнике полотна, какие-то небрежно положенные краски,— видимо, в самом деле незаконченный этюд, набросок к чему-нибудь или же просто несколько взмахов кистью — чего не бывает на выставках!

Отава подошел к тому углу, взглянул на этюд. Там действительно было что-то стоящее. Он и вовсе приблизился вплотную к картине, потому что в углу было довольно темно, а этюд не отличался размером и выразительностью, автор словно бы нарочно смазал все, как в модерной фотографии, чтоб не каждый и понял, что и как там нарисовано.

Размазанно-зеленые лапы огромной сосны, а может, это кедр — в самом уголке картинки, видно, для создания местного колорита. Еще «для колорита» где-то на заднем плане между ветвями выглядывает что-то острое — то ли кран, то ли стальная конструкция, одним словом — строительство. Центральную же часть этюда занимает внутренность большой палатки. Ночь. Несколько кроватей. Палатка, видно, для девушек, потому что в постелях, накрытые до самого подбородка, девушки, ни одна из которых не спит, да и как тут уснешь, когда у каждой на постели, поверх одеяла, в фуфайках и валенках лежат здоровенные парни, пришедшие то ли ухаживать, то ли свататься, то ли требовать любви, на подошвах валенок у них еще снег,— видно, пришли они все вместе, сговорившись, чтоб веселее и беззаботнее было; один даже не догадался хотя бы шапку снять и лежит, словно убитый на фронте солдат; нет парня лишь на одной кровати, но и девушки там тоже нет, она в длинной ночной рубашке, босая, съежившись от холода, испуга и возмущения, стоит у столба, который подпирает палатку, и рука ее на выключателе, только что щелкнул выключатель, лампочка, одиноко висящая на скрученном шнуре, загорелась, освещая мрачным желтовато-красным светом эту удивительную, страшную в своей невыдуманности картину.

Отава посмотрел на подпись. Черные, торопливо размазанные буквы: Тая Зыкова. Женщина. Женщины всегда правдивее, они ближе стоят к вещам окончательным — рождениям, умираниям, потому-то им не присуща мужская осторожность и стремление скрывать даже то, чего не следует скрывать. Однако эта женщина была размашисто-смелой. Жестокой, беспощадной. Вот. Смотрите! Знайте! Не закрывайте глаз! Не отворачивайтесь!

Борис отошел немного назад — этюд утратил свою выразительность, был просто цветным пятном. Его следует смотреть лишь вблизи. Но в этот угол снова набилось несколько юношей и девушек, снова вплотную сдвинулись спины и долго стояли так, а Отава стоял позади и думал, что, наверное, здесь не раз и не два вот так будут торчать молодые люди, тесно прижавшись друг к другу, но научит ли чему-нибудь полезному этот небольшой лоскут заполненного красками полотна всех тех, кто к нему подойдет?

Отава неторопливо шел домой. Над Крещатиком дрожал прозрачный майский вечер. Перламутровая просветленность. Множество празднично одетых людей. Теперь на Крещатике постоянно множество красиво одетых людей, словно тут не прекращается вечный праздник. Бульвар поднят над уровнем улиц, и когда наблюдаешь снизу за теми, кто прогуливается вверху по бульвару, то кажутся они все нереально удлиненными, будто на картинах Эль Греко. Дома цвета светлой глины, немного разукрашенные, но, быть может, так и нужно. Все это как-то удивительно гармонирует с непередаваемо нежной просветленностью, в которой купаются и вычурные дома, и зеленые деревья в бледно-розовом цветении, и праздничные люди.

Пять лет назад здесь была одна довольно известная иностранка со своим еще более известным мужем. Отава, тогда еще доцент, показывал Софию, они кивали головами: «Да, да, о да, это действительно...» Кивали головами и на Крещатике, слушая о руинах и восстановлении, когда мы были голыми и босыми, голодными и холодными, но все-таки восстановили эту улицу во всей ее красе и пышности. Через некоторое время иностранка прислала Отаве свои двухтомные мемуары, заканчивавшиеся меланхолическим пассажем о тщетности человеческой опытности, о зыбкости всего прекрасного, которое ты собираешь в течение всей жизни, чтобы потом его утратить, поскольку все в конечном счете исчезает. Она писала: «Но то неповторимое накопление, все, чего достигла сама, со всей ло-

гикой и всей случайностью — пекинская опера, арены в Гульве, кандомбль в Байе, барханы в Эль-Уэд, аллея Вабансия, рассветы Прованса, Кастро, выступающий перед пятьюстами тысячами кубинцев, серое небо над морем туч, багровая луна над Пиреем, красное солнце, поднимающееся над пустыней, Торчелло, Рим — все те вещи, о которых рассказывала, и все другие, о которых не говорила,— все это никогда, никогда не возобновится. Хотя бы по крайней мере добавило богатства земли, хотя бы дало начало... Чему? Взгорью? Ракете? Но нет, ничего не будет». А за двадцать страниц до этого грустного окончания сказано про Крещатик: «Главная улица — сплошной огромный кошмар». Наверное, и про Софию эта женщина написала бы что-нибудь резкое и несправедливое в своей самовлюбленности, но не смогла этого сделать, потому что София уже освящена девятисотлетним признанием, а неписаные правила потребительски-художественного снобизма велят склонять голову перед тем, перед чем склонялись или склоняются все. А что такое искусство? Только ли привычное, установившееся, канонизированное, внесенное во все каталоги, или непременно новое? Ведь все когда-то было новым, все имело свое начало. А с чего начинается искусство? Не с протеста ли? Против природы. Против бога. Против собственного бессилия. Против ничтожности. Апологетика убивает искусство. Украшательство чуждо человеческому существу. Оно чем-то напоминает виртуозную импотенцию. Но... Протест должен быть подкреплен талантливостью. Протестуя, необходимо предложить что-то существенное взамен. А не просто голый выкрик, пускай даже и самый искренний. От женщин, к сожалению, это иногда можно услышать. Женщины ближе к вещам окончательным... Ага, уже думал об этом... Но в самом деле так оно и есть. Одна появилась на Крещатике, чтобы дописать свои мемуары, объездила весь мир, не открыла ничего нового, топтала тысячелетние тропинки пилигримов и глобтротеров: Пирей, Прованс, красное солнце над пустыней фараонов и легионов Цезаря, римские форумы, бразильские гитары... Ну и что? Разозленная отсутствием собственной оригинальности, решила бросить хоть что-нибудь, проявить свой «протест». Ах, вы восторгаетесь своим Крещатиком? Так получите же: «Сплошной огромный кошмар». Спасибо! У вас есть своя меланхолия, а у нас — Крещатик. Точно так же было когда-то, возможно, и с Софией, однако все меланхолики умерли, а София стоит. И теперь вот еще: ага, вы все бредите новостройками, героизмом, подъемом, необычностью? Вот вам ночь на новостройке! По-

лучите! Думаете, просто выкрик истерической женщины? Не так просто!

Всегда трудно добраться до правды. Он шел напролом, за это его прозвали скептиком. Дома его никто не ждал. Бабушка Галя давно умерла. Отца нет. Нашел после войны мать, но она оказалась упрямой, как сын, не захотела возвращаться туда, откуда когда-то бежала по собственной воле. Борис жил в большой отцовской квартире, среди книг, редкостных манускриптов (икон не было, их вывез Адальберт Шнурре точно так же, как вывез все коллекции из киевских музеев, и найти украденные сокровища так и не удалось), над Отавой посмеивались: чудак, старый холостяк, засохнет возле своих фресок и мозаик... Зато на его лекции сбегались студенты со всех факультетов, как это было когда-то на отцовских лекциях. Очевидно, передалось ему по наследству.

Сел за стол в огромном, забитом книгами кабинете, немного посидел, пока стемнело, зажег свет, начал готовиться к завтрашней лекции. Всегда готовился, хотя знал все наперечет. Скажем, мог бы целый год читать студентам про Сивоока, обосновывать догадки и предположения, описывать эпоху со всеми деталями, реальными, во всей дикости и живописности. Мог бы... Но не смел. Пока не закончит начатое отцом, завещанное им в ту ночь их разговора после возвращения отца из гестапо, не имеет права хотя бы отрывок, хотя бы слово кому-то... Да и зачем? Студентам нужно излагать только неоспоримые факты. Минимум комментариев. Только намеки. Чтобы учились сами делать выводы. А какие факты о Софии? В летописи Нестора одна строка: «В лето 6545 заложи Ярослав город великий Кыев, у него же града суть Златая врата: заложи же и церковь святые Софья, митрополью...» Больше ничего. Теперь девятьсот лет удивлений и догадок.

Вот последнее, что он принес в свою одинокую отцовскую квартиру. «История искусств» Антонина Матейчика. На немецком языке. Прекрасное издание, чудесные иллюстрации. Конечно, есть и про нашу Софию: «Во время княжения Ярослава Мудрого в центре новых городских кварталов Киева сооружается собор св. Софии (1037) с умелым применением частичных форм барокко. Софийский собор свидетельствует нам, что русская церковная архитектура уже с самого начала отличается от византийской». Вот так. «Частичное применение форм барокко». То есть киевские мастера применяли барокко уже тогда, когда его еще не было на свете, за несколько столетий до появления этого стиля? Диковина? Оговорка? Терми-

нологические странности? Конечно, можно прочесть на лекции такую цитату и потом сорок минут высмеивать автора. Но можно и иначе. Просто не смог автор найти соответствующего слова для характеристики сделанного нашими мастерами. Таким оно было новым, непривычным для всей Европы, так опережало время, что только через несколько сот лет появилось слово, но его применяли тогда уже к другим явлениям; Софийский собор оказался на обочинах путей искусства, о нем вспомнили и удивились. Ибо оказалось, что еще в начале одиннадцатого столетия в Киеве неизвестные мастера знали такое, что и не снилось Европе, знали барокко!

Пока Отава сидел и размышлял над страницей из «Истории» Матейчика, рука его машинально выводила на чистом листе какие-то буквы. С удивлением взглянул на то, что писал. Тая Зыкова... Зыковатая... Зыковатая... Ага, художница, выставившая свой крикливый и очень еще незавершенный этюд. Знакомая фамилия. Где-то уже слышал. Ну конечно же, Зыкина — есть такая певица. Какое ему дело до певиц? Но дело не в фамилии. А в чем же?

А рука и дальше выводила, группируя слова в странные комбинации:

Тая Зыкова.

Т. Аязыкова.

Таязык Ова (что-то экзотическое, будто Има Сумак или что-то в этом роде).

Таязыков А. (мужчина? В самом деле, какой-то мужчина маскируется под женщину, чтобы бросить кусок голой правды?).

Та Языкова (то есть та, которая показывает язык. Что такое искусство? Это показывание языка кому-то? Как поступал когда-то Феофан Грек. А кому показывал язык Толстой?).

А потом рука записала, будто перо сейсмографа при одинаковых колебаниях земной поверхности: Тая, Тая, Тая, Тая, Тая, Тая, Тая... Фамилия затерялась; да и не играла роли никакая фамилия, важно было самое имя — Тая. Ведь и Тая из приморского города, из холодной приморской ночи тоже была художница? И ворох чистых полотен у нее в комнате. И слезы отчаяния, вызванные тем, что не могла среди курортных красивостей положить хотя бы один мазок на свои заготовленные холсты. В самом деле не могла, если она такая. Но откуда он знает, что это ее работа? Черт побери, на то

же он иконограф, иконолог и как там угодно! Сопоставив все факты... Какие факты? Просто почему-то вздрагивает рука и без конца вычерчивает одно и то же. Отбросил одну страницу, взял другую, снова то же самое, снова: Тая, Тая, Тая... Чувствуя, что сойдет с ума, если не придумает чего-нибудь, чтобы прекратить эту бессмысленную писанину, позвонил товарищу, с которым они частенько играли в шахматы: «Е два — е четыре».— «Голубчик,— вздохнул тот,— у жены сердечный приступ, вызвал скорую помощь, жду».— «А что делают те двести миллионов, которые не имеют телефона?» — не совсем уместно спросил Отава. «Они обходятся без скорой помощи так, как некоторые обходятся без жены»,— ответил ему товарищ. «Ты не был на выставке?» — спросил Борис. «На какой?» — «На художественной».— «Ты ведь знаешь, что я посещаю лишь выставки товаров народного потребления, потому что я есть народ»,— засмеялся товарищ. «Извини за беспокойство»,— сказал Отава. «А может, ты пришел бы ко мне? — предложил товарищ.— Правда, в твоих профессорских хоромах в шахматишки лучше играть, но и в моей короткометражке тоже ничего. Жена уснет после укола, а мы закроемся себе на кухне и так потихоньку, не стуча фигурами... Так как? А уж настучимся в другой раз, когда соберемся у тебя. Придешь?» — «Наверное, приду»,— сказал Отава, которому некуда было деться со своим безумным желанием до утра писать одно-единственное слово: Тая, Тая, Тая...

А утром нужно было идти на лекции. Что-то там говорить студентам, без обычного огня, без страсти,— обыкновеннейшая академическая лекция. Ибо и в самом деле: София никуда не убежит, стояла девятьсот лет, еще будет стоять, можно о ней много говорить, можно и мало, а можно прожить день и без нее... Его отец отдал изучению этой святыни всю жизнь, собственно и погиб ради Софии, но кто же может сравниться с профессором Гордеем Отавой в величии его духа? А он только сын. Сыновья идут либо дальше своих отцов, либо вовсе никуда не идут, по-всякому бывает... Но сравниться? Нет, нет...

После двенадцати он почти побежал в выставочный павильон. Так, будто мог прочесть на том бессмысленном этюдике все, чем мучился всю ночь.

Опрометью вскочил в зал, из которого вчера спешил уйти, посмотрел в тот угол, снова, как и вчера, наткнулся взглядом на плотно сдвинутые спины, решительно направился туда, резко втиснулся между теми, которые стояли, раздвинул их, вышел наперед и...

Увидел, что там стояла она и смотрела на Отаву своими разноцветными глазами, и в глубочайших глубинах этих необычных глаз сверкала зловещая улыбка.

— Это вы?— сказала она голосом, не предвещавшим ничего хорошего.

— Какое-то недоразумение,— сказал Отава,— просто бессмыслица... Этот этюдик... И вы...

Она не отвела взгляда, в глубине ее разноцветных глаз улавливалось прежнее упрямство. «Да, да,— сверкали оттуда волчьи огоньки,— да, да, все это правда, я способна и на такое, ты меня еще не знаешь, ты не способен оценить во мне необычный талант, а вот эти люди, мои настоящие друзья, они...»

Вспомнилась иностранка, назвавшая Крещатик «сплошным огромным кошмаром». Женщина в искусстве всегда подозрительна. У нее не чистые намерения. Она хочет нравиться. Любой ценой. А может, наоборот? Подозрительны мужчины, пристающие к женщинам, имеющим дело с искусством, и хотящие нравиться женщинам? Или не все ли равно? Все хотят нравиться. Он тоже, мечтая о большой работе над раскрытием тайны сооружения Софии.

— Если вы в самом деле придаете такое значение,— начал Отава, обращаясь только к Тае, ибо она была автором этюда, кроме того, хотелось бы говорить лишь с нею, не замечая ее верных паладинов. Тая твердо кивнула. Она в самом деле придает большое значение.— Тогда вы просто бездарная художница,— жестоко произнес Отава, не двинувшись с места, хотя все были убеждены, что после таких слов он должен если и не провалиться сквозь землю, то по крайней мере бежать из этого зала. Тая пыталась быть спокойной, и голос у нее даже не дрогнул, когда она произнесла:

— Благодарю.

— Я говорю серьезно,— точно так же с тихой злостью продолжал Отава.— Мне уже не раз и не два приходилось слышать об этих так называемых протестах. Об этом высовывании языка. У нас пошла даже мода: все, что признается,— это, мол, ненастоящее. Шолохов, Шостакович, Тычина, Сарьян — это для вас не то. Настоящее только то, что отбрасывают. Неизданные произведения, невыставленные картины, непринятые скульптуры, положенные на полки киноленты, не увидевшие экрана. Ну хорошо. Есть там, возможно, и талантливые вещи, потому что не перевелись, к сожалению, чиновники, которые почему-то настойчиво стремятся отталкивать людей умных и знающих...

— Но я не хочу вас больше слушать,— сказала она и скомандовала своим:— Пошли, братцы-население...

Они были послушны, как марионетки. «Братцы-население»... Отава остался один в углу, хоть распинай его на стене на месте проклятого этюдика,— таким он был исчерпанным и безрадостным. Что он теперь должен был делать? На ум приходили самые вульгарные вещи: пойти напиться, разбить где-нибудь витрину, обругать милиционера. Вот когда одиночество мстило ему в полной мере. Снова шахматы? Е два — е четыре?.. Или, может, найти еще один свежий рассказ про Софию и подготовить для завтрашней лекции соответствующий комментарий? Всю жизнь комментировать других. А зачем?

Он пошел в ресторан «Театральный», заказал свой традиционный обед и вовсе не традиционные для него двести граммов чего-то крепкого. Например, горилки с перцем. И сало с чесноком к ней на закуску, а еще луку. Ближе к реальности. Долго обедал. Вспомнились чьи-то слова: «Культура — это пародия и любовь». Те, которые вокруг Таи, в самом деле будто пародия на людей. Но любовь... Где она? Неужели он мог влюбиться в эту женщину? Тогда плакал во сне. А она плакала в горах, выходя на этюды. Что с нею происходит? Какую жизнь она прожила? Ни о чем не расспросил, ничем не поинтересовался. Привык иметь дело с вещами мертвыми, с прошлым, с сухой логикой, с писаниями и проповедями. А живой человек всегда сложнее и дороже всех самых мудрых писаний и проповедей. Ну, да ладно уж...

Он вспомнил, как влюбился в студентку, когда учился. Конечно же блондинка. Конечно же на два курса старше его. Звали Настей. Ничего ей не сказал, даже не был с нею знаком. При встречах в университетских коридорах многозначительно на нее смотрел и в своей наивности думал, что этого достаточно.

А потом его товарищ, рыжий Сашко, выспросив как-то, кто ему нравится, свистнул:

— Ох ты же и влип!

— Почему свистишь?— обиделся Отава.— У меня чистые...

— Да потому,— не дал ему закончить Сашко.— Во-первых, она замужем за майором, потому что нужно же питаться, а во-вторых,— тут Сашко причмокнул,— пока ты вздыхал на расстоянии, я уже...

Отава тогда жестоко избил Сашка, этот поступок разбирался на комсомольском бюро, Отаве влепили выговор, но...

Он вышел из ресторана не через парадную дверь, которая

уже была заперта из-за отсутствия свободных мест, а прямо в гостиницу, и тут ему пришло в голову, что он мог бы... Это чем-то напоминало давнишнее приключение с Настей и рыжим Сашком, но пускай даже так. На него, видно, подействовало «с перцем», а может, в подсознании прозвучал где-то приказ, какие-то там моральные тормоза были отпущены, и профессор Отава на какое-то время перестал быть только профессором, превратился в обыкновенного человека, быть может даже в того задиристого и непоседливого мальчишку военных лет, который, в отличие от своего отца, чудаковатого и растерянного профессора, многое успел тогда, и если бы отец хоть капельку пошел ему тогда навстречу, то как знать — быть может, и уцелел бы...

Отава подошел к окошку дежурного администратора и спросил, не остановились ли в гостинице столичные художники. Ему сразу не ответили. Ибо не так легко удовлетворить любознательность первого попавшегося, хотя все жители гостиницы и заполняют длинные анкеты, где указано и кто они, и откуда, но никто этих анкет никогда не читает, кроме того, нужно помнить, что на регистрации люди сидят вовсе не для того, чтобы отвечать на вопросы, и вообще трудно сказать, кто должен делать это в гостинице, возможно, и никто, ибо кому это нужно. Но все-таки если уж товарищу так крайне необходимо знать, то, кажется, в их гостинице никаких художников — ни столичных, ни из других городов — не было, но могут быть, вот тогда, пожалуйста, и приходите и спрашивайте.

Эти разглагольствования («и не без морали») немного развеселили Отаву, и он принялся обходить все центральные гостиницы уже совершенно сознательно,— сначала «Интурист», потом «Киев», далее «Москва», «Днепр». В «Днепре» ему сказали, что, кажется, художники на седьмом этаже. Тогда он поднялся лифтом на седьмой этаж, пробуя по дороге определить, в какой цвет окрашен этот этаж, потому что в «Днепре» каждый этаж имел свою окраску, но так и не отгадал, зато дежурная по этажу обрадовала его, указав ему номер, в котором остановилась Зыкова.

— Вы тоже к ней? Там уже полно,— не совсем вежливо сказала дежурная.

— Нет, я нет,— торопливо промолвил Отава.— Я просил бы вас только...

— Так, так,— дежурной, видимо, хотелось исправить свою бестактность,— пожалуйста...

— Передайте ей, что ее искали и... спрашивали...

— Сейчас и передать?

— Ну, потом... когда будет выходить...

— А если только завтра?

— Ничего, все равно. Пускай и завтра. Просто скажете.

— Хорошо. Я скажу.— Дежурная смотрела теперь на профессора с плохо скрываемым любопытством.

— Благодарю вас,— сказал Отава,— благодарю и кланяюсь...

Дежурная еще больше удивилась. Многих чудаков она видела. Но чтобы так вот кланялись? Иностранцы, правда, могут поклониться, но молча.

Отава пошел домой. Снова шел по Крещатику. Интересно: сколько раз киевлянин, живущий в центре, проходит за свою жизнь по Крещатику? Он еще отпирал дверь, когда услышал в глубине квартиры телефонный звонок. Наверное, товарищ хочет пригласить его на партию в шахматы. Позвони, позвони! Вчера я тебя беспокоил, сегодня ты меня. Так и проходит жизнь. Взаимно, или, как когда-то говорили наши классики, обоюдно. Он закрыл за собой дверь, взъерошил волосы. Телефон продолжал звонить. Шахматисты — люди терпеливые. Пускай позвонит. Отава снял наконец трубку, сказал:

— Так что? Е два — е четыре?

— Это вы меня искали?— спросила она на том конце провода, и у Отавы так задрожало все тело, что он чуть было не уронил трубку.

— Очевидно,— сказал он измененным голосом, будто мальчишка, застуканный на недозволенном поступке.

— Послушайте,— торопливо промолвила она совсем-совсем близко от него,— я, кажется, схожу с ума... Вы могли бы? Я хочу с вами повидаться...

— Да,— сказал он. Больше ничего не мог сказать, просто исчезли все слова и отнялся голос. Неужели? О, неужели это правда? Но это же бессмыслица!

— Где?— спросила она так же коротко, быть может переживая то же самое, что и он.

— Ну,— он заколебался,— там... возле гостиницы...

— Нет, только не здесь,— быстро возразила она,— я не хочу...

Он понял, что она боится встретить свою братию. «Братцы-население».

— Тогда...— Он лихорадочно подыскивал место. Ведь она впервые в Киеве.— Напротив гостиницы, там фонтаны... Вы, наверное, заметили...

— Не хочу фонтанов...

Видимо, она не хотела быть среди людей, стремилась к уединению, тишине... Но где? Где?

— Вспомнил,— почти весело сказал Отава,— вы идите из гостиницы направо и прямо, прямо... Там увидите лестницу перед музеем... Два каменных льва...

— Нет, нет, только не музей!

— Тогда поднимитесь еще выше. Там огромное здание Совета Министров. Сейчас вечер, ни одного человека. Камень и камень.

— Вы тоже, наверное, каменный,— сказала она.— Хорошо. Возле камней.

— Я уже иду,— сказал он, боясь, что она передумает.— Через двадцать минут буду там.

Отава пришел первым, как и надлежит мужчине, но Таи почему-то не было. Он подождал немного и пошел вниз по тротуару, неожиданно встретил ее сразу же за кованой решеткой внутреннего двора Совета Министров.

— Все как-то так вышло,— начал он извиняющимся тоном, но она закрыла ему рот ладонью, немного оттянула Отаву еще ниже по улице и только там прошептала:

— Я так перепугалась!

— Чего?

— Темноты, колонн и... камней...

— Один доморощенный мудрец так написал об этом здании: «Зданию немного вредит излишняя монументальность и гипертрофированный ордер, лишенный какого-либо тектонического смысла».

— Перестаньте,— попросила она.

— Уже,— он попытался засмеяться, но не вышло. Чувствовал себя мальчишкой, который впервые вышел на свидание с девушкой.— Мы не будем продолжать нашу дискуссию об искусстве?

— Перестаньте!— почти крикнула она.— Если вы не... то я уйду...

— Простите, пожалуйста, у меня в самом деле невыносимый характер...

— Я, наверное, уйду,— неожиданно сказала она,— ибо все это ни к чему...

Отава не знал, что и ответить.

— По-моему, мы оба не совсем нормальны,— наконец засмеялся он.

— Не подумайте, что я истеричка. Мне хочется что-то сде-

лать... Но... С этим этюдом... Просто очень хотелось выставиться именно в этом городе...

— Ошеломить провинцию?

— Нет.

— Показать себя?

— Нет.

— Тогда что же?

— В городе, где... вы.— Она остановилась и смотрела на него сквозь темноту, но и сквозь темноту ясно просвечивали ее удивительные глаза с волчьими огоньками в глубине.

— Но я оказался невежливой свиньей.

— Свиньи не бывают вежливыми.

— Не играет роли... Мне казалось... еще с тех пор... но это теперь прошло...

Он понимал, что должен что-то говорить, что-то делать, чтобы удержать эту женщину возле себя, ибо она снова исчезала от него, могла исчезнуть теперь навсегда, но был удивительно беспомощен, стоял опустив руки, потом как-то машинально, как вчера вычерчивал на бумаге ее имя, с опущенными руками подошел к ней вплотную и прикоснулся губами к Таиному лбу.

Она тотчас же отступила от него, ничего не сказав, он тоже молчал, так постояли некоторое время, кто-то шел по тротуару снизу, несколько пар, раздавался смех, подошвы шаркали по асфальту, а Отаве казалось, что это — по его сердцу.

— Проводите меня в гостиницу,— тихо попросила Тая.

— Но с одним условием.

— Говорите, соглашаюсь.

— Чтобы вы не убежали из Киева. Как я той зимой.

— Не убегу.

— А завтра? Что будет завтра?

— Не знаю.

Он шел потом домой, снова по Крещатику, снова среди вечно праздничных прохожих; ощущал юношескую легкость в теле, верил и не верил, что может начаться для него совсем неизвестная жизнь. Потом вышел на Владимирскую и свернул не домой, а к Софии. Почти бежал по улице к площади Богдана Хмельницкого, точно так, как бежал когда-то, чтобы успеть отомстить за отца. Но как это было давно!



Год
1014
ОСЕНЬ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ

> Якоже глаголеть: в чем застану, в том ти и сужю.
>
> *Летопись Нестора*

Этот город любил легенды, жил ими полторы тысячи лет, родился тоже, собственно, из легенды, которую привез в парусах своего утлого суденышка дерзкий молодой грек из Мегары в 658 году до нашей эры. Грека звали Визант, это было простое, ничем не прославленное в те времена имя, но молодой мегарец великодушно пожертвовал его для истории. Он мог бы сидеть себе в родном городе, ловить рыбу или собирать оливки, выходить в море и вновь возвращаться к родному берегу, но он отважился направиться навстречу будущему, которое так заманчиво сверкало для него в пурпурных волнах Эгейского моря. Визант подговорил еще нескольких мегарцев; чтобы не дразнить богов, они решили прислушаться к божественным советам, побывали в Дельфах и вот теперь плыли упорно на север, в поисках незаселенных берегов располагая только молодостью, ветром в парусах, да еще напутствием дельфийского оракула, довольно странным и неожиданным: «Заложишь город напротив людей слепых». В молодости охотно поддаются голосу судьбы, поэтому Визант без колебаний отправился на поиски места, где мог бы заложить город, но одновременно знал также, что следует быть зор-

ким, чтобы не пропустить дара богов; поэтому, когда увидел бугристый выступ земли, который жадно погружался в теплые воды, будто гигантский усталый пес высунул язык и хлебнул морской воды, когда увидел раздольный пролив к северному морю, увидел длинный, похожий на рог изобилия залив, в котором, казалось, могли бы поместиться все корабли мира, а совсем сбоку, на противоположном берегу,— финикийский город Халкедон, Визант понял значение слов оракула: только слепые могли не заметить этого благословенного куска земли, словно брошенного богами между Пропонтидой, Босфором и Золотым Рогом.

Так был заложен город на высоком глиняном мысе. Из греческого судна был перенесен треножник, над которым горел огонь, вывезенный, по обычаю предков, с Мегары, были заброшены в море сети, поймана первая рыбина, впоследствии в бухту, названную Золотым Рогом, пришвартовался первый корабль, еще позднее, наверное, прискакал из неизвестности первый дикий фракиец и послал в шатер, под которым горел священный мегарский огонь, первую стрелу. Все это было, но все забылось довольно быстро, город вырастал из легенды, ловил рыбу, торговал, защищался от врагов, город приобретал славу во всем мире, а имя унаследовал от своего основателя и назывался — Византий.

Место, выбранное молодым мегарцем, оказалось удобным, но и довольно хлопотным. Все войны почему-то шли именно через эту, самую узкую часть Босфора; персидский царь Дарий ставил здесь свой мост из кораблей, идя на греков; через Византий возвращались домой десять тысяч греческих наемников Кира, прославленных Ксенофонтом; Спарта, дабы досадить Афинам, во что бы то ни стало стремилась разрушить Византий; Афины же, в свою очередь, чтобы донять Спарту, морили Византий голодом. Такова участь всех, кто оказывается на перепутье: к ним сплываются наибольшие богатства, но следом за ними идут те, которые хотели бы богатства прибрать к своим рукам. Если хочешь подольше продержаться, то будь либо могучим, чтобы дать отпор, либо хитрым. Византийцы еще не могли похвалиться могуществом, поэтому выбрали хитрость. Несколько столетий балансировали они между теми, кто послабее и посильнее, каждый раз принимая сторону победителя, и это давало им возможность не только уцелеть, но и расцветать, город разрастался, богател, и огонь Мегары, привезенный Византом под дырявым парусом, теперь полыхал над золотым треножником в беломраморной святыне.

Но однажды византийцы просчитались. В войне между двумя римскими цезарями — Септимием Севером и Песцинием Нигром — избрали последнего, но более сильным оказался Септимий, в жилах которого текла дикая кровь дакийцев. Как ни яростно сопротивлялись византийцы (из женских волос изготовляли тетиву для луков, голодая, ели убитых), все равно Септимий захватил город, уничтожил оставшихся в живых жителей, разрушил все здания, велел повалить стены. Казалось, мегарский огонь угас навсегда. Однако тот же самый Септимий Север через некоторое время заново построил Византий, ибо невозможно было пренебречь таким важным местом; но по-настоящему город поднялся лишь во времена императора Константина, который решил перенести сюда столицу Римской империи и назвал город Новым Римом. Константин не принадлежал к ангелам,— он был настоящим римским императором, о чем можно судить хотя бы по тому, как казнил он по навету своей второй жены Фавсты родного сына Криспа и двенадцатилетнего сына своей сестры, а потом, узнав, что это была клевета, велел и саму Фавсту утопить в ванне с кипятком. Византий видел жестокость и раньше, но это была чужая жестокость, теперь он имел своего собственного императора, а чего только не стерпишь, лишь бы иметь у себя властелина... Ибо положение столицы имеет множество преимуществ, и прежде всего — это непременное и бесспорное право на расцвет. Константин построил дворцы, храмы, бани, акведуки, форумы, Августей, ипподром; из Олимпии, Дельф, из Коринфа и Афин брали статуи, колонны, мозаики, все, что только возможно было перенести, сооружали особых размеров корабли, чтобы переправить эти сокровища в новую столицу; разграбили до основания древние храмы Артемиды, Афродиты и Гекаты. Держа в руках копье, Константин провел им полукруг между Пропонтидой и Золотым Рогом, указывая, где именно должна пройти новая стена, которая защищала бы город от всех опасностей; проложена была главная улица Меса с огромными форумами, украшенными колоннами и статуями, на ближайшем к дворцу форуме, который впоследствии получил название форума Константина, была установлена вывезенная из Греции багряная колонна с бронзовой статуей Аполлона, обращенного лицом на восток. В правой руке Аполлон держал скипетр, в левой — бронзовый шар, как символ властвования над всей землей. А внизу на колонне была высечена надпись: «Господи Иисусе Христе, охраняй наш город».

Кто бы после всего этого стал вспоминать, скольких Кон-

стантин велел убить, скольких бросил на съедение львам императорского зверинца, скольким отрублены головы, сколько посажено на кол, а скольким залито вовнутрь расплавленной меди или свинца!

Благодарные современники поскорее прозвали Константина Великим, а столицу наименовали Константинополем, в ознаменование чего была выпущена медаль с соответствующей надписью. На медали, точно так же как и на царских монетах, вычеканили фигуру, символизировавшую благополучие Константинополя: молодая невеста на троне, голова ее покрыта прозрачным покрывалом, а поверх покрывала диадема из оборонных башен, в руках невеста держала рог изобилия, а ногами опиралась в борт корабля.

Так и плыл с тех пор Константинополь дальше и дальше; сменялись во дворцах императоры, в скором времени город уже не вмещался на тесной площадке, очерченной стеной Константина, и новый император, Феодосий (правда, уже не Великий, а Малый, названный, видимо, так из-за того, что множество лет был под пятой своей жены Евдоксии) велел возвести новые стены, которые были названы Длинными, или же (в его честь) стенами Феодосия. Император Юстиниан после разгрома, учиненного Константинополю участниками восстания Ника, решил сделать столицу еще краше, чем во времена Константина, и в числе других чудес построил величайшее чудо тогдашнего мира — храм святой Софии.

Одни строили, другие разрушали. Как сказал поэт Тарас Шевченко: «Той мурує, той руйнує...»[1] В восьмом столетии император Лев Исавр довольно старательно уничтожал иконы, а поскольку слово «икона» означает любое изображение, любой рисунок, то можно себе представить, сколько шедевров навеки утрачено для человечества в той «идеологической борьбе». Кроме того, Исавру не понравилось константинопольское книгохранилище, основанное еще Константином и расширенное другими императорами, особенно Юлианом. Там насчитывалось около 36 тысяч рукописей, в числе которых были и древнейшие, вывезенные из Рима, Греции и Египта, хранилась там легендарная кожа дракона длиной в 120 футов с записью на ней произведений Гомера. Лев Исавр велел сжечь книгохранилище вместе с учеными, которые там находились!

Правда, Феодосий, который в стремлении во что бы то ни стало заработать прозвище Великого, много сил отдал жесто-

[1] Из поэмы «Сон»: «Этот строит, тот ломает...»

кому преследованию и уничтожению язычества и христианских ересей, считая, видимо, что этого недостаточно, чтобы прочно осесть на страницах истории, велел разрушить знаменитую Александрийскую библиотеку. Она была основана при храме Сераписа Птолемеем Фисконом и пополнена Марком Антонием перевезенной для Клеопатры библиотекой Пергама, состоявшей из 200 тысяч книг и свитков. Там была собрана мудрость всего древнего мира. (Кстати, Пергамское книгохранилище возникло в свое время как свидетельство культурного соперничества между Александрией и Пергамом. Когда Птолемей Филадельф основал в Брухионе — аристократической части Александрии — первую большую библиотеку, царь Пергама Евмен принялся за это и в своей столице. Опасаясь соперничества, Птолемей Епифан запретил вывоз папируса, на котором тогда писали. В поисках материала для письма Евмен изобрел то, что теперь известно под названием «пергамент», то есть выделанные соответствующим образом телячьи и ягнячьи шкуры.) Феодосий издал указ об уничтожении этого очага языческих знаний.

Об императорах можно рассказывать долго. Повелевали, ходили в золоте и шелках, распоряжались богатствами империи, считали крайне оскорбительным для себя, если их не признавали мудрецами, боговдохновенными руководителями, безгрешными судьями дел божьих и людских. А судили жестоко, безжалостно, даже друг друга. Скажем, был такой император Маврикий, довольно глупый, ограниченный, скупой, но чадолюбивый. Имел много детей и очень их любил. Когда императорский трон захватил Фока, названный Кентавром, он не просто расправился с предшественником, а велел убить у него на глазах всех детей, а уж потом казнить его самого. Вскоре история повторилась. Царский трон захватил Ираклий. Фоку за бороду выволокли из императорского дворца и под надзором нового властелина отрубили ему голову.

Само собой разумеется, Ираклий вошел в историю не за то, что вытащил из дворца своего предшественника за бороду и бросил его под солдатские мечи; ему принадлежит новелла о введении в Византийской империи греческого языка взамен латинского. Сделать это было тем легче, что в самом Константинополе и в большинстве фем греческий язык уже давно вошел в быт, а латинский существовал лишь как государственная условность. Но заслуга есть заслуга. Точно так же, как безусловной заслугой императора Константина Багрянородного стала его «Книга церемоний», которая, по крайней мере,

избавила всех последующих императоров от хлопот, размышляя над тем, когда во что одеваться, с кем разделять трапезу, как устраивать приемы и торжества, ибо господствовало убеждение, что Византийская империя мгновенно развалится, как только в сложном и издревле установившемся ритуале придворных и столичных церемоний что-то будет пропущено или сделано не так.

Особенно гордился своим дедом царствовавший вместе с Василием Вторым его младший на два года брат, император Константин. В длинном списке византийских императоров он значился как Константин Восьмой. Это свидетельствовало, как часто повторялось среди императоров имя Константин, а еще говорило о том, что народ византийский, судя по всему, любил букву «К». Константин еще в молодые годы пришел к этому выводу, а раз это так, то не стоило заботиться ни о чем другом, кроме соблюдения, хотя на первый взгляд и обременительного, но в конечном итоге приятного, императорского способа бытия, то есть устраивать торжественные церемонии, пышные охоты в окрестностях Константинополя, игрища на ипподроме, гонять мяч на циканистрии[1], играть в кости, есть, пить, развлекаться, любить женщин. Правда, император, очевидно, должен был заботиться еще и о другом. Например, следить, чтобы провинции исправно выплачивали надлежащую дань, чтобы в столице всегда вдоволь было хлеба, мяса, вина, что-то там делать для оживления торговли и ходить в походы против врагов, которые вечно осаждали империю со всех сторон, откровенно посягая на ее богатства. Но есть же на небе бог, и все земное в помыслах и воле его. Высшие силы распорядились так, что Василий унаследовал от своей матери Феофано железную руку и вкус к завоеваниям и господству, а Константину досталась от матери только внешность, по натуре же своей он больше походил на деда своего Константина Багрянородного, который тоже когда-то отдал все управление государством в руки всемогущих придворных евнухов, а сам окунулся в книжную мудрость. И вот пока один император в своем черном железном одеянии годами пропадал в военных походах, даже не появляясь в столице, его брат выполнял все остальное, что надлежало выполнять императорам для поддержания внешнего, показного блеска царствования, для удо-

[1] Циканистрий — ровная площадка над морем около Большого дворца, использовавшаяся императором для спортивных упражнений.

влетворения константинопольской толпы и ослепления иностранных гостей.

Можно себе представить, как обрадовался Константин, когда прибыли от царствующего брата гонцы с хрисовулом [1], в котором сообщалось о победе в Клидионской клисуре, а потом прискакали новые гонцы с вестью о тысяче болгарских пленных, подаренных Василием для триумфа в столице.

Он решил дополнить своего деда! Соединить византийскую церемонию императорского выхода с триумфом римских цезарей. Препозитам велено было разработать последовательность всех действий торжества. Сам император собственноручной подписью красными чернилами скрепил послание к народу Константинополя. Начались великие приготовления, ведшиеся с особой спешкой в последнюю ночь перед триумфом. Сам епарх [2] Константинополя Роман Аргир следил за тем, чтобы Меса и все форумы, по которым пройдет триумфальная процессия, были украшены лавром и плющом, ергастерии [3] завешаны шелковыми тканями и драгоценными изделиями из золота и серебра, дома — персидскими коврами. Начищали до блеска свои секиры экскувиторы [4], протостраторы [5] готовили убор для царского коня; шли приготовления также и на Амастрианском форуме, но это уже относилось к делам мрачным и тайным, о которых прежде времени никто не должен был ни ведать, ни говорить.

Император спал в эту ночь прекрасно. Он уже перебрался из Перловой палаты в Карисийский зал, где была зимняя опочивальня, защищенная от резких ветров Пропонтиды, ибо хотя еще и стояла в Константинополе теплая осень, но Константин, как и брат его Василий, любил спать голым, поэтому и перешел в зимнюю опочивальню, а в летнюю жару лучше чувствовал себя в Перловой палате — золотой свод, поддерживаемый четырьми мраморными колоннами, и вокруг мозаики со сценами императорских охот, а с обеих сторон спальни-галереи, ведущие в сад, полный благоухания и птичьего щебета.

---

[1] Хрисовул — императорское послание.

[2] Епарх — чиновник, выполнявший в Константинополе функции современного мэра, градоначальник.

[3] Ергастерии — константинопольские ремесленные мастерские, являвшиеся одновременно и магазинами. На Месу ергастерии выходили своей парадной частью. Очевидно, эта улица стала прообразом современных торговых улиц с рядами витрин с выставленными товарами.

[4] Экскувиторы — гвардейцы.

[5] Протостраторы — чины императорской конюшни.

Перед столь важным государственным событием следовало бы отдыхать в главной спальне Большого дворца — мозаичный пол с изображением царской птицы, павлина с блестящими перьями, по углам в рамках зеленого мрамора — четыре орла, готовые к полету императорские птицы, на стене — императорская семья основателя Македонской династии Василия. Руки у всех протянуты к кресту — символу истребления. Но изнеженный император вынужден был отдавать преимущество теплу перед пышностью. Поэтому ночь перед триумфом он провел в зимней спальне, украшенной карисийским мрамором.

А болгар, измученных голодом и жаждой, держали на ногах всю ночь по ту сторону городской стены, а рано утром, наверное именно в тот момент, когда китонит натягивал на императора шитые красными орлами и царскими знаками тувии[1], воины погнали через Карисийские ворота в город, и они пошли по долгой Месе, ободранные, грязные, заросшие до самых глаз; от них, измученных изнурительным походом, разило тяжким запахом, и еще шел от них мертвый дух, который всегда идет от людей обреченных, униженных до предела, и богатые византийцы затыкали носы и отворачивались, брезгливо бормоча: «Смердящие кожееды!» А болгары тяжело шаркали по белым мраморным плитам самой роскошной на земле улицы, шли мимо высоких домов, украшенных портиками, шли мимо ергастерий, спрятанных под глубокими арками, которые защищали прохожих от непогоды и солнца; пленные наполнили эту улицу, славившуюся как зеркало византийского богатства и роскоши, и если бы не мрачные охранники Комискорта, могло бы создаться впечатление, что болгары внезапно овладели самым сердцем Константинополя, но воины шли по бокам плотной настороженной стеной, а болгары были столь изнурены и столь крепко закованы в колодки, что даже у самых отважных и бодрых из пленников опускались плечи и отворачивались взгляды от всех шелков и ковров, от золота и серебра, от плюща и лавров. Но чем ближе к центру города продвигались они, тем теснее окружала их пышность, от которой кружилась голова и не хотелось дышать, а хотелось просто упасть вот здесь и умереть, не ожидая, что будет дальше, какому надругательству придется подвергнуться от безжалостных ромеев еще, ибо трудно им было представить бо́льшие страдания и надругательства, чем те, которые испытали они по пути в Константинополь.

---

[1] Тувии — штаны.

— Эй, брат, долго ли еще? — спрашивали у Сивоока его товарищи, потому что все уже знали, что Сивооку во время службы у купца пришлось побывать и здесь, в ромейской столице.

— На конский торг,— смеялся через силу Сивоок, пробуя задирать голову, чтобы показать ромеям свою ненависть и презрение к ним, но из его затеи ничего не получалось, кроме разве лишь того, что привлекал к себе внимание, но он и без того отличался среди пленников светлыми волосами, пшенично-золотой в цепких завитках бородой.— Есть тут такой дьявольски уютный форум, на котором ромеи проводят конские ярмарки. Какие кони там бывают! Из Арголиды и Аттики кони, которых объезжали сыновья амазонок, кони из Каппадокии, из Вифинии, из Фригии, кони с Сицилии, о которых молвлено, что их кормили цветами, так выхолены они были; рыжие, как лисы, ливийские кони и сивые угорские жеребцы, которых мы приводили сюда с моим купцом Какорой; были там также кони арабские, турецкие, персидские или же мидийские, обуздывать которых заставляли именно таких невольников, как мы. Сумеешь обуздать дикого скакуна — получишь волю. Не сумеешь — погибнешь.

— Черта бы объездил, лишь бы только на свободу! — сказал кто-то позади. Над ним посмеялись, потому что клонился от ветра, был такой же слабый, как и все.

— Ну так вот,— продолжал свой рассказ Сивоок,— там были кони, натертые оливой, вычищенные серебряными скребницами, с гривами, расчесанными золотыми и агатовыми гребнями. Кони — будто женщины! А какие у них ноги были! — Он с сожалением взглянул на свои босые, окровавленные, избитые о камень ноги, на покрытые засохшей кровью и струпьями ноги своих товарищей.— Чистые и стройные ноги, вынесенные из странствий и скачек по самым сочным травам мира, ибо нет ничего лучше, чем побегать по свежей зеленой траве, братья! Кони знают в этом толк. А еще чем хорош этот Амастрианский форум, так это подстилкой. Ромеи не знают ни травы, ни соломы на подстилку. По персидскому обычаю, они применяют для этого хорошо высушенный конский навоз. Мягко, тепло, пахуче! Вот бы нам поспать на таком ложе!

— Да, хорошо бы поспать! — вздыхали слушавшие Сивоока, отгоняя с души мрачную тревогу, которая все плотнее и плотнее охватывала пленников, чем больше углублялись они в каменные нагромождения ромейской столицы.

— А еще нет на свете лучшего развлечения, как меняться конями,— продолжал Сивоок.— Покупаешь какую-нибудь клячу, а там — отвернулся, перебросил ей гриву на другой бок, распустил хвост да почистил копыта — и уже продаешь как хорошего скакуна.

— Вот уж врет! — сказал кто-то лениво, лишь бы сказать. Но Сивоок даже обрадовался этому возражению, потому что была зацепка, подал голос кто-то живой среди этих умерших от бесконечных мук людей, и он даже рванулся к этому человеку, но колодка, в которую был закован вместе с еще двумя болгарами, не пустила его, да и ромейский воин, тяжело ступавший рядом, замахнулся на него держаком копья.

— Эй, не вру, браток,— покачал головой Сивоок,— просто моего духа кони не выносят. Они бесятся от одного моего вида. Встают на дыбы, как только я подхожу.

— Теперь твой дух не тот,— сказал ему один из товарищей по колодке.

— А почему бы и не тот? — дернул Сивоок свою светлую бороду.— Дух в человеке всегда остается один и тот же. Это лишь тело уменьшается или увеличивается. Но какая польза от тела? А дух возносит тебя и на зеленые горы, и на самое небо... И на конскую ярмарку он вознесет очень скоро...

Сивоок хорошо знал, что на Амастрианской площади происходят публичные казни; возможно, и еще кто-нибудь из пленных слышал об этом, но никто не обмолвился ни единым словом, да и сам Сивоок разглагольствовал о конском торге на Амастрианском форуме, надеясь в глубине сердца, что ведут их все же куда-нибудь в другое место, возможно чтобы просто показать столичным жителям, как военную добычу, потому что в столице всегда полно бездельников и дармоедов, жаждущих зрелищ, а какого же еще зрелища нужно, когда перед твоими глазами передвигаются, будто бессильные привидения, некогда могучие воины, сотрясавшие империю, воины, прошедшие со своим царем Самуилом по планинам и рекам, умевшие прорубаться мечами сквозь самые плотные ряды византийских катафрактов [1], одним лишь мужеством бравшие чужие твердыни, а свои защищавшие с таким упорством, что одолеть их можно было только лишь коварством и изменой.

---

[1] Катафракты — византийская конница с тяжелым вооружением, то есть с мечами, копьями, забранная в железные латы.

Но даже и тот, кто надеялся, что гонят их по главной улице Константинополя ради удовольствия столичной толпы, горько ошибался, ибо это еще было не все,— самое страшное ждало их впереди, а покамест они снова должны были возвращаться по той же самой Месе, но на этот раз уже в рядах триумфа.

Триумф начали чины синклита. Они шли пешком, придавая всему шествию ту неторопливость, которая всегда отождествляется с торжеством. Впереди всех выступал проедр синклита[1] в розовом хитоне с золотыми галунами, перепоясанный пурпурным с самоцветами лором, в белой хламиде, отороченной золотыми галунами с двумя таблиями золотой парчи с листиками плюща. Синклитики и силенциарии[2] тоже все в белых хламидах с золотыми таблиями.

За синклитом шел отряд трубачей, подобранных один к одному, одетых в суконные скараники[3], прошитые золотыми нитками, с изображением императоров.

Серебряные трубы играли трумфальные марши не столько для придания ритма походу, сколько для того, чтобы привлечь внимание толпы.

За трубачами терпеливые мулы тащили тяжелые возы, нагруженные военной добычей, присланной из Болгарии императором Василием, конные экскувиторы, одетые в мундиры царской расцветки, охраняли ценный обоз, а охранять было что, потому что на возах лежали целые вороха золотых и серебряных монет и слитков, дорогое оружие, драгоценные украшения и одежда, атрибуты царские и боярские, золотая и серебряная посуда удивительной чеканки болгарских умельцев, ожерелья из жемчуга, янтаря, агата, сердоликов, конская сбруя с золотыми и серебряными украшениями, с бирюзой и рубинами, слитки свинца и олова, вырезанные из редкостных сортов дерева предметы, которых в Константинополе не ви-

---

[1] Проедр синклита — глава сената, фигура скорее декоративная, чем значительная. Ему надлежало воздавать почести, его благословляет сам патриарх, в его честь раздаются даже актологии, у себя дома он дает обеды (за счет казны) для магистров и патрикиев, но на этом и заканчивается его так называемая власть, ибо ни прав, ни обязанностей этот чин больше не давал.

[2] Синклитики и силенциарии — собрание власть имущих в Византии, то есть их сенат, имевший как бы две палаты: законодательную — синклит и совещательную — силенциарий. Соответственно назывались и члены этих палат.

[3] Скараники — верхние (чаще всего — военные для верховой езды) кафтаны.

дывали никогда, рыбацкие сети и весла, меха и шерсть, высокие сосуды с вином.

Далее катились причудливо разукрашенные колесницы с вылепленными на них изображениями величайших твердынь Болгарии: Струмицы, Водена, Средца, Видина; другие колесницы изображали отдельные болгарские провинции: Преспа, Пелагония, Соск, Молис.

Поток возов и колесниц прерывался шествием болгарских воевод и священников, перешедших на сторону ромейского императора. Воеводы и бояре в одежде мышиного цвета несли впереди себя подушечки с положенными на них золотыми венцами, а священники держали в руках кресты и книги, и еще множество книг в драгоценных оправах везла за ними на огромном возу четырехконная упряжка.

Далее шел отряд флейтистов — пайгнистов. В голубых хламидах. Флейтисты исполняли что-то оживленно-глуповатое, в особенности если же принять во внимание, что за ними двигалось стадо из ста белых быков, а потом катилась низкими белыми валами тысяча болгарских овец. Погонщиками быков и овец были воины из отряда Комискорта, точно так же запыленные, заросшие, точно так же пропотевшие и охрипшие, как в долгом переходе до этого; их темная, отнюдь не парадная, изношенная военная одежда, все их оснащение, весь вид черно-мрачный еще больше подчеркивали белый цвет животных, которые завтра должны были стать добычей константинопольских мясников, тех самых, которые гордо шествовали позади овечьей отары с ножами и тяжелыми топорами в руках, с засученными рукавами, в чёрных кожаных передниках, с черными бородами, со свирепым выражением лиц.

Далее атлеты вели на цепях нескольких медведей, пойманных в болгарских лесах, звери угрожающе ревели, трясли головами, цепи звенели, испуганно вскрикивали по обочинам Месы ромейки, но атлеты прочно держали медведей, словно бы показывая тем, что наибольшее страшилище ничего не стоит, когда оно заковано в железо.

И это в самом деле была правда, ибо сразу же за укрощенными медведями тяжело брела тысяча пленников, еще совсем недавно грозных воинов, а теперь бессильных и отданных на милость победителей. Победители шли по бокам точно такие же, как и те, которые сопровождали гонимых на убой быков и овец,— умудренные евнухи-препозиты императорского двора тонко продумали все до мельчайших подроб-

ностей; любой болван из константинопольских зевак мог без малейших усилий провести в своей пустой голове сопоставление бессловесной скотины с пленниками, которые хотя и имели человеческий облик и, быть может, наделены были даром слова, но заслуживали той же самой участи, что и скотина. Ибо что уж там речь, когда повсюду звучит всемогущий звон оружия! А ромейское оружие — славнейшее в мире!

Замыкали шествие пленников зловеще-таинственные люди. Все, как один, безбородые, все со странными двурогими вилами на плечах, все одетые в одинаковые голубые с золотым шитьем безрукавки, подпоясаны широкими красными платками, поверх безрукавок у них были бледно-голубые греческие плащи — эпилорики, на головах — башлыки из той же самой ткани, что и безрукавки, шли с равнодушным видом, с пустыми, словно бы белыми глазами; ромеи узнали их сразу, что-то кричали этим слишком уж голубым евнухам, которые тщетно пытались прикрыть свою мрачность поднебесным нарядом, точно так же как не могли утаить свою безбородость перед тысячью черных огромных болгарских бород,— не трудно было догадаться, кто такие эти евнухи. Сивоок, собственно, сразу же и догадался, но молчал, ибо что он должен был говорить товарищам?

Тяжкий смрад облаком полз над колонной пленников, поэтому в триумфальном шествии был сделан небольшой перерыв, по Месе прошли служители храма с кадильницами, в которых жгли миро, ладан и восточные благовония, и уже только после этого появился в триумфе сам царственный Константин, улыбающийся толпе; в правой руке он держал лавровую ветку, а в левой — берло [1] из слоновой кости, осыпанное изумрудами и бриллиантами, с огромным рубином сверху. Два препозита вели императорского коня, а от этих двух начинались две шеренги препозитов в светло-зеленой одежде, вышитой львами в больших кругах. Препозиты шагали величественно-неторопливо, в такт их походке затаенно продвигались вперед львы на одежде, словно бы верша дозор вокруг священной особы императора, и от этого лицо Константина расплывалось в еще большей улыбке, он плыл, еще более самодовольный, над зелеными львами, будто небожитель, всеблагий и сверкающий. Что же, деспотизм часто бывает улыбающимся.

[1] Берло — скипетр.

За императором, на конях, покрытых драгоценными чепраками, ехали магистры, патрикии, с ними, тоже верхом, спафарии-евнухи с мечами и спафарии бородатые со спафоваклиями, то есть алебардами, шли за царем также гетерии варяжские, цаконы с фигурами львов на панцирях, турки-вэрдариоты в красных плащах и высоких колпаках лимонного цвета, с палицами — манклавиями на поясе и жезлами в руках.

В соответствии с «Книгой церемоний» Константина Багрянородного, в момент императорского шествия следовало также еще вести впереди, на расстоянии двух полетов стрелы, коней царских числом сто или двести с пурпурными чепраками и воркадиями. Но это предписание не было выполнено из-за чрезмерной растянутости триумфального шествия, зато не было сделано и отступлений от правила, по которому император должен был останавливаться, начиная от ворот Халки и Августея, возле Милия, возле церкви Ивана Богослова, возле портика дворца Лавса, возле претория и на антифоруме, а потом и на самом форуме Константина. Всюду император выслушивал акламации и актологи, то есть славословия, от димол, которые выполняли роль так называемого парода; величания сопровождались танцами и музыкой, выступали здесь мимы или ряженые скурры, скамрахи или масхары, атлеты, шуты, потешники.

После форума Константина, где была самая продолжительная остановка возле порфирной колонны, император должен был еще слушать приветствия в Большом эмволосе, для чего пришлось триумфальное шествие провести чуточку в сторону, а потом возвращаться назад, чтобы пройти Артополию с ее хлебными рядами, где у умирающих от изнурения болгарских пленных запахи свежего хлеба вызывали спазмы, а Константина величали с особенной старательностью, и более всего выкрикивали хвалу дармоеды, которые только и знают, что жрать, пить, развлекаться.

После этого триумф вылился на форум Тавра — самую большую площадь в Константинополе с высоченной витой колонной императора Феодосия посредине. Император Константин, заботясь о развлечении толпы, часто велел сбрасывать с этой колонны приговоренных к смерти. Собиралось огромное множество зевак, зрелище было непередаваемое. На форуме Тавра триумфальная процессия раздвоилась. Пока императора принимали возле Модия, а потом возле церкви Девы Дьякониссы, где он потом вместе с патриархом совершал тра-

пезу, из колонны триумфа отделены были болгарские пленники и направлены к Филадельфию, а основное шествие двигалось дальше вниз по улице, ведшей к форуму Быка.

Впереди пленников пущены были только трубачи, а позади с прежней мрачной невозмутимостью двигались странные евнухи с двурогими вилами на плечах. Трубы звучали резко и отрывисто, будто хищные птицы, воины, уже не сдерживаемые торжественностью общего похода, дали волю своей злобе, гнали пленных чуть ли не бегом, выталкивая вперед тех, кто сохранил больше всего силы; никто не мог понять, зачем эта перестановка, никто не знал, куда так спешат охранники; быть может, только Сивоок наконец со всей ужасающей отчетливостью понял то, чего боялся более всего: их в самом деле гнали к Амастрианскому форуму, который сегодня должен был стать не местом конской ярмарки, как всегда, а местом казни.

Перед входом в Филадельфий возвышались установленные на тетрапилоне в виде арки две огромные бронзовые руки. Обреченные должны были пройти под этими руками. Собственно, никто из болгар и не заметил странной арки, ибо сколько уже прошли они арок, эмволов, форумов, улиц, зато Сивоок слишком хорошо знал, что это за знак, он невольно отпрянул назад, попытался пропустить мимо себя хотя бы несколько пар, но старый, как трухлявое дерево, ромейский воин, который давно уже заприметил Сивоока и преследовал его чуть ли не половину пути в столицу, понял хитрость «белого болгарина» (так прозвали его ромеи) и с проклятьями выставил его в самые первые ряды.

Сивоок в последний раз оглянулся на огромный форум Тавра, до отказа запруженный народом, воинами, высокопоставленными богатеями и придурками, которые вытанцовывали и выкрикивали свои присказочки. В последний миг их колонна также была разделена,— вытолкнули только передних, отсчитав ровно сотню, а остальных остановили на форуме то ли в ожидании очереди, то ли в ожидании милости победителей. Ибо тот, кто остался по эту сторону бронзовых «Рук», прозванных византийцами «Руками милосердия», мог избежать кары; пройдя же под руками, ты утрачивал какую бы то ни было надежду на избавление. «Дать бы отсюда деру!» — в последний раз попытался взбодрить себя Сивоок, проходя как раз под бронзовыми «Руками» и оказываясь, следовательно, на своем, быть может, последнем пути, с которого нет возврата.

Трубы кричали, угрожающе и злобно. Стража гнала пленников вниз по улице скорее и скорее. Вслед за пленниками шествовали равнодушные евнухи в разукрашенных одеждах. Зловеще молчали толпы по обочинам улицы. Здесь уже не слышно было величальных выкриков, замерли громкие песни, не выкаблучивались шуты и потешники. Здесь царила суровая скученность, ожидание страшного, неотвратимого.

И пленные почти бегом, из последних сил, почти умирающие вталкиваются в тесный Амастрианский форум, обставленный царской гвардией, позади которой бурлят людские толпы. Посреди форума какие-то суетливые люди, одетые точно так же, как и евнухи, следующие за пленниками, только без золотого шитья на одежде, хлопочут у переносных горнов, полных докрасна раскаленных углей. А на земле, возле горнов, разбросаны толстенные цепи, такие тяжелые, что одной лишь своей тяжестью способны были задавить человека.

И вот наконец пленных остановили. Дальше идти было некуда. Сзади неторопливо вышли евнухи в бледно-голубых эпилориках, навстречу им от горнов бросились раздувальщики адского огня, и стало видно, что все они — бородатые, в отличие от евнухов, но все почтительно склоняются перед безбородыми, ибо были, судя по всему, лишь помощниками загадочных царских евнухов; и в самом деле, безбородые передали бородатым свои коротенькие двурогие вилы, помощники возвратились к горнам и мигом воткнули эти вилы в огонь, а Сивоок уже знал теперь хорошо, что никакие это не вилы, а обыкновеннейшие жигала, которыми ромейские палачи выжигают обреченным глаза, и ему впервые в жизни стало так страшно, что и сам не ведал, что бы сделал: разрыдался бы, заревел ли дико или бросился на своих врагов, если бы имел возможность?

Он окидывал взглядом своих удивительно сивых глаз тесный форум, резануло в самое сердце его буйство красок на праздничных нарядах, мягкой осенней позолотой покрывало окрестные здания солнце с удивительно голубого неба; никогда, кажется, мир еще не был таким ласково-многоцветным для Сивоока, как сегодня, но никогда не становился он таким безжалостным к нему; человека лишить самого дорогого — глаз!

Горнов было десять, и стража быстро растолкала пленных на десять десяток и поставила каждую напротив «своего» палача, евнухи спокойно снимали плащи, передавая их своим

помощникам, которых становилось все больше и больше, затем они, обращаясь к толпе, делали какие-то лениво-приветственные взмахи руками, отчего толпы вокруг площади сразу нарушили молчаливость и заревели от нетерпения, желая как можно скорее увидеть то, ради чего толпились здесь с раннего утра, однако императорские палачи слишком хорошо знали свое дело, чтобы обращать внимание на подзуживание толпы; они с прежним спокойствием и неторопливостью подходили к горнам, доставали оттуда раскаленные докрасна жигала, поднимали их, поворачивали так и сяк, словно бы выискивая там какой-то изъян, потом снова засовывали жигала в огонь, закрыв глаза, складывали на груди руки: то ли молились, то ли просто ждали соответствующей минуты, а минутой той должно было быть появление императора и знак, полученный от царственной десницы.

Император же, закончив трапезу с патриархом (чтобы не согрешить скоромным, святой отец угощал царя доставленной из далекой Руси удивительной рыбой осетриной, ее вносили на золотых подносах, украшенных хоругвями, и Константин, который любил закусить, встретил воистину царскую рыбу хлопками в ладоши — жестом своего высочайшего восторга), попрощался с главою церкви, которому негоже было присутствовать во время казни вражеских болгар, и переоблачился в багряный, шитый золотом и усыпанный жемчугами и самоцветами коловий[1] (в багряном коловии всегда изображают распятого Иисуса Христа, страдания и царственность сочетались в этой накидке), вместо венца надел тогу, или тиару, и в сопровождении чинов кувуклия в багряных сагиях прибыл на форум, чтобы стать свидетелем вершины сегодняшнего триумфа.

Там он сошел с коня и сел на золотую кафисму[2], а по бокам снова встали в два ряда препозиты со львами на скарамангиях, позади выстроились спафарии с секирами и мечами, мечи и секиры они держали одинаково: словно палки на плечах, чтобы в любую минуту быть готовым изрубить в щепу

---

[1] Коловий — накидка.

[2] Кафисма — в данном случае переносное императорское кресло из позолоченной кожи. Обыкновенно же кафисмой называли специальное помещение для императора на Константинопольском ипподроме, где в большой ложе стояло кресло для императора, были покои для отдыха, трапезы, зал приемов, помещение для охраны и т. п. Кафисма соединялась переходом с Большим дворцом.

каждого, кто отважится угрожать священной особе императора.

Снова все было пышно и пестро, как и с самого утра; снова торжественно и приподнято провозглашали димархи венетов и прасинов соответствующие приветствия, повторяемые, согласно правилам церемонии, точно определенное количество раз: «Да помилует тебя бог, император!» — 60 раз, «Всегда твои рабы, император!» — 50 раз, «Империя с тобой, василевс!» — 40 раз, а всего двести тридцать пять здравиц.

Константин слушал, закрыв глаза; он улыбался, он всегда считался веселым императором, превыше всего любил церемонии и царскую роскошь, ему нравилось выполнять лишь ту половину царских обязанностей, которая приносит удовольствие и наслаждение, что же касается трудов царских по утихомириванию врагов, по сбору податей, по наведению порядка в торговле и ремеслах — это он с легкой душой уступал своему царственному брату, справедливо размышляя, что лучше пусть уж Василий добывает золото, а он, Константин, будет раздавать его веселым толпам обеими руками. А еще: ежедневно посещал бани, катался верхом, сменяя по нескольку раз на день коней, ездил на охоту в Калликрагию, тоскующим взглядом осматривал портики вдоль улиц, выглядывая красивое женское личико, присутствовал на всех ристалищах на ипподроме (сооруженном еще Септимием Севером, а по-настоящему завершенном и украшенном Константином Первым, прозванным Великим, ибо и в самом деле был великим), любил женщин, любил вкусно поесть, сам даже выдумывал блюда, играл в кости, любил все развлечения и, как все любители развлечений, был жестоким человеком, хотя и скрывал эту жестокость за показным весельем.

Пока димархи напевали свои акламации, Константин, причмокивая губами от удовольствия, все еще живя воспоминанием о пышной осетрине, которую они разделили с патриархом под белое вино, присланное в качестве трофеев из Пелагонии, неторопливо осматривал форум, небрежно скользнул взглядом по болгарским пленникам, надеясь пристальнее присмотреться к ним во время экзекуции, оглянулся на свою свиту, словно бы убеждаясь в том, что все предписания соблюдены. Да, все безупречно, все прекрасно, все происходит согласно церемониалу, выработанному за много веков. Вот он, император всех ромеев, сидит в золотой кафисме, на самом видном месте перед войском, гетериями и

народом, перед обреченными на казнь жалкими врагами; по сторонам от кафисмы стоят неподвижно четверо безбородых, ибо так тоже заведено издавна, что византийский император должен показывать свою царственность прежде всего перед безбородыми, а уж потом перед бородатыми, стемму же василевс никогда не может надеть перед бородатыми, он может сделать это лишь перед безбородыми. У одних безбородых на головах красные скиадии[1], у других белые колпаки. Один евнух одет в широкое платье с рукавами, из бледно-зеленой парчи, вышитое огромными кругами, в середине которых стоят львы. Это препозит. Остальные три — в синих стихарях[2], крапленных белыми точками, в красных мантиях, вышитых лилиями, с двумя золотыми тавлиями на груди. Это — чины суда и справедливости, первые исполнители воли василевса. Их парчовые мантии плотно облегают фигуру и наглухо застегнуты двумя круглыми фибулами у самого воротника. Руки зажаты под этими мешковидными мантиями — томпариями так, что евнухи не в состоянии даже расстегнуть фибулы, а уж о том, чтобы вынуть из ножен меч и ударить императора, не могло быть и речи.

Доверяй, но и остерегайся!

Константин улыбается, снова прикрывает веками глаза, вспоминает патриаршую осетрину и, словно бы повторяя жест на его приветствие, лениво хлопает в ладоши: хлоп-хлоп.

Вот тогда и начинается то, ради чего сегодня подняты на ноги все чины императорского двора — восемнадцать высших сановников, шестьдесят главных чинов и еще пятьсот чинов нижних,— и всем им выданы из царского вестиария парадные наряды, такие драгоценные, что за них можно было купить целую державу, если бы она где-нибудь продавалась. Все это сверкание золота, парчи, весь этот багрянец, все жемчуга, самоцветы, шелка-влатии, серебро и дорогое оружие предназначались лишь для того, чтобы вот здесь, на Амастрианском форуме, подручные палачей-евнухов выхватили из каждого десятка болгарских пленников по одному, при помощи воинов потащили их к горнам, повалили на землю, прида-

[1] Скиадии — шапки.

[2] Стихарь — длинный, наподобие сорочки, верхний убор. Надевался через голову. Ворот и грудь украшались вышивкой или драгоценностями (в зависимости от назначения). Стихарь в дальнейшем стал лишь предметом церковного облачения.

вили цепями, а палачи, умелыми движениями вынув из горнов раскаленные добела жигала, среди зловещего молчания, повисшего над форумом, пошли на обреченных. Звенели лишь цепи на несчастных, которые молча барахтались, напрягая остатки сил, беспомощно рвались из рук своих мучителей, силились хотя бы поднять головы, чтобы взглянуть на белый свет, залитый величием и сверканием ромейских драгоценностей, но ни одному из них не удавалось даже это,— палачи твердо подходили ближе и ближе к пленным, была какая-то ужасающая согласованность в их движении, точно выверенным жестом каждый из них опустил свое жигало, и над тесным форумом ударил тысячеголосый рев довольных началом зрелища ромеев, и в этом реве утонули нечеловеческие вскрики боли первых ослепленных болгар.

Сивоок стоял третьим в своей десятке. Теперь он уже не смотрел вокруг, глазами он уставился только вперед, только туда, где вершилось самое страшное, видел, как лишили зрения первых, потом схватили следующих, хрипели, торопясь, помощники палачей, звенели цепи, разнесся над форумом первый запах горелой человеческой кожи, а Сивоок стоял оцепенело, неподвижно, все, что происходило, словно бы его не касалось, и он тоже словно бы превратился в зрителя, как ромеи в пышной одежде, взятой из императорских складов ради праздника, как будто в простой одежде нельзя смотреть, как выжигают людям глаза,— не тот будет вкус, что ли?

Ему не верилось. Как же так? Почему? Он даже забыл, что не болгарин, что не подлежит казни за болгарские грехи, хотя какие там грехи у людей, не желавших надеть на себя чужое ярмо. Он думал только о том неизбежном, что должно было случиться. Он в последний раз увидит солнце, свет, огонь, и тот огонь, который столько раз приносил ему величайшую радость, станет для него проклятием, навеки лишив его зрения, повергнет в темноту. Как пришел из тьмы маленьким мальчиком, который плакал на чужой дороге, так и уйдет во тьму, а зачем жил, ради чего вбирал в свои глаза самые яркие чудеса земли,— кому до этого дело?

И в те последние минуты, которые остались у него перед тем, как потащат и его к цепям, Сивоок проникся еще более дикой ненавистью ко всем утопающим в драгоценностях шутам, ему хотелось хотя бы чем-нибудь выразить все свое презрение к ним, и поэтому, когда прислужники потащили его к цепям и повисли на нем, чтобы свалить на землю, он

стряхнул их с себя, стиснул зубы, выпрямился, весь напрягся навстречу палачу, который уже нес свое раскаленное жигало, а толпы заревели от наслаждения и удовольствия: «Отказался!», «Отказался от цепей», «Белый болгарин отказался!» Император милостиво махнул рукой, подавая знак прислужникам, чтобы отошли от Сивоока, василевсу тоже было любопытно посмотреть на это незаурядное проявление мужества, он протянул вперед ладони, чтобы захлопать в них, как только свершится неизбежное над белым болгарином; все теперь следили только за Сивооком и за палачом, приближавшимся к обреченному. Палач почувствовал весь избыток сосредоточившегося на нем внимания, он старался быть как можно более равнодушным и спокойным в своих движениях, ему еще никогда не приходилось оказываться хотя бы на миг в качестве самого главного действующего лица в столичных делах, а он давно мечтал о таком мгновении, у него были свои счеты с этим миром, он тяжко ненавидел все живущее, от беднейшего побирушки до самого василевса, ненавидел все за то, что не был таким, как все, ненавидел за свое уродство, за свою неполноценность. Когда-то давно, еще при другом императоре, он не был палачом, был юношей из богатой семьи, любил жизнь, людей, воспылал симпатией к одной девушке, а поскольку она не поддавалась на его уговоры, он заманил ее в дом к своему приятелю и там вдвоем с приятелем изнасиловал эту непокорную дуреху. Все обошлось бы безнаказанно, но выяснилось, что у дурехи были весьма влиятельные и богатые родственники, об этом происшествии стало известно императору, молодых виновников бросили в тюрьму, где они узнали о повелении василевса: их обоих должны были сжечь живьем на форуме Быка. Тогда он выпросил у сторожа нож, безжалостно отрезал себе все срамные причиндалы и передал императору со словами: «Хочу служить твоей царственности головой, а не срамом, который я сам себе отрезал. То, что грешило, то и наказано, за что же ты хочешь лишить жизни меня, бедного?» Императору понравилось мужество развратного юноши, он велел вылечить его и зачислил в придворную службу на должность палача. А тот, другой, был живьем сожжен на форуме Быка, хотя провинность его была намного меньше.

Долгие годы прожил палач в полнейшей неизвестности, затерянный среди множества евнухов, которыми был переполнен Большой дворец, лелея, как все евнухи, мечту отплатить миру за свое позорное отличие от всех других людей;

ему еще повезло в службе, он сам стал карающей рукой, с наслаждением выполнял свое ремесло палача, но вскоре убедился, что от продолжительного занятия одним и тем же делом злость его куда-то улетучивается, он не ощущал теперь ничего, кроме усталости и равнодушия, продолжал держаться за свое ремесло только потому, что не способен был больше ни к чему, боялся, чтобы не отобрали у него хотя бы это, потому считался одним из самых старательных палачей.

Но сегодня в нем проснулось давнишнее, сегодня на нем скрестились все взгляды, сам император следит за каждым его движением, сегодня он им всем отплатит за свою неполноценность, он покажет, как это делается, они никогда еще не видели и, наверное, никогда и не увидят такого ловкого, такого точного и беспощадного палача, как он. Вот он им покажет.

И палач шел на Сивоока всеми своими годами позора, унижения, нес к нему всю свою нерастраченную злость, жигало стало словно бы продолжением его рук, он нес его перед собою, будто свою месть, а этот удивительно белый молодой болгарин, бросивший вызов судьбе, должен был стать для него воплощением мести, которую палач так долго вынашивал в своем сердце.

Император поднял ладони для рукоплескания мужественному болгарину за его выдержку. Ибо не каждый решится на такой поступок: отказаться от цепей и стоя встречать страшнейшую казнь! Константин хотел надлежащим образом оценить поведение белого болгарина, ладони императора должны были всплеснуть в тот самый миг, когда красное железо выжжет пленнику глаза; миг приближался с каждым новым шагом палача, палач шел быстрее и быстрее, всем видна была ярость на его безбородом лице, все видели, как умело целится он своим жигалом в глаза пленному...

И тут произошло чудо.

Палач, словно бы натолкнувшись на что-то невидимое или же споткнувшись на ровном месте, сгоряча остановился и начал приседать медленно и беспомощно. Жигало выпало у него из рук, а он оседал ниже, ниже, потом неуклюже опрокинулся на локоть правой руки и еще, видимо, попытался задержаться хотя бы в таком положении, но не в силах был сделать и этого, упал навзничь и лежал так, будто ожидал, что придет другой палач и выжжет глаза теперь уже ему самому.

Никто ничего не мог понять, не понимал, что случилось, и сам Сивоок. Он уже видел, как приближается к его глазам страшное жигало, ощущал его полыханье у себя на лице, сосредоточился на одном лишь желании — не закрыть глаз, еще хотя бы раз взглянуть на мир, хотя уже не видел ничего, кроме раскаленного огня, неотвратимо приближавшегося к глазам.

И внезапно упал палач. Что с ним? Может, в глубине глаз обреченного он увидел весь ужас и всю неизмеримую преступность служения василевсам? Да где там! Просто сердце палача от чрезмерного напряжения раскалилось злостью так, что не выдержало — сдало.

Палача облили водой, но это не помогло. Ему попытались давать лекарства из перца, пустили кровь из руки — он не подавал признаков жизни. Тогда его оттащили в сторону, чтобы не мешал, а на место палача стал один из его подручных, снова вложил жигало в горн, а оттуда выхватил новое жигало, и Сивоок все это отмечал так, будто все это касалось не его, а кого-то постороннего. На него нашло какое-то оцепенение, он снова готов был стоять и ждать, пока приблизится новый палач. Ибо, быть может, и этот не выдержит взгляда его сивых глаз, тоже прочтет в них то, что прочел его предшественник, и его тоже оттянут в сторону, как дохлятину.

Но тут вдруг взорвалась толпа, которой впервые пришлось быть свидетелем такого чуда, и потому сначала воцарилось растерянное молчание, сам император малость растерялся от такого удивительного стечения обстоятельств, он не смог преодолеть своей растерянности своевременно, не успел опередить толпу, а толпа ревела в одно горло: «Помилованья! Милосердия!»

Новый палач уже шел на Сивоока, он не прислушивался к тому, что там ревет толпа, и тогда император, чтобы не было поздно и чтобы не прогневать милосердного бога, положившего перст избавленья на плечо белому болгарину, махнул рукой, чтобы палач остановился, и весь форум заколыхался от приветственных криков в честь василевса Константина, добрейшего и справедливейшего среди царственных; палач отошел назад, Сивоока отвели в сторону, тот, кто стоял за ним, стал жертвой нового палача, а его, чудом спасенного, на почтительном расстоянии поставили напротив императора, который бросил на него любопытный взгляд и что-то сказал своим препозитам, чем была проявлена к белому болгарину

уже величайшая ласка как к избраннику высокого провидения, и долго потом в столице рассказывали об этом чуде, о персте божьем, который указал на удивительно светловолосого болгарина и ниспослал ему спасение.

Сивоок не достоял до конца на форуме, не видел он, как была ослеплена первая сотня и дан ей одноокий поводырь, как ввели с Филадельфия новую сотню, затем еще и еще, до самой ночи продолжалось страшное дело на Амастрианском форуме. Константинополь удовлетворял свою жажду крови и издевательств над беззащитными болгарами, а этого, спасенного богом и василевсом, провели через весь город еще для одного триумфа, целые толпища сбегались, чтобы посмотреть на него; его поход через столицу длился бесконечно долго, кто-то пробовал по пути кормить его, кто-то давал вино, кто-то бросал цветы, а кто-то плевался, встреченные на Месе скоморохи попытались было увенчать голову Сивоока бараньими кишками, но он разбросал шутов точно с такой же силой, как перед этим на форуме расшвырял подручных палача; наконец, привели его в императорские конюшни, где сопровождающие передали болгарина в руки протостратора с императорским повелением вымыть пленника в бане, переодеть в новую, ромейскую одежду и взять на службу в конюшню. Протостратор что-то говорил Сивооку, до него доносились ромейские слова, большинство которых он, кажется, даже понимал, но разве ему было теперь до этого, разве касались его какие-нибудь слова, разве ему теперь нужно было что-либо? Он смотрел отсутствующим взглядом на протостратора и молча плакал, плакал не над собой, не над своей судьбой, а над судьбой своих товарищей, которые погибали где-то на тесном, окруженном со всех сторон развращенными толпами Амастрианском форуме, он плакал молча, а в душе рыдал во весь голос маленький мальчик из далекой темной ночи на развезенной неведомой дороге.

Протостратор, как и тот палач с Амастрианского форума, был евнухом, он точно так же ненавидел всех бородатых, ибо ненависть у мелких душой всегда рождается к тем, которые имеют то, чего не имеют они, но этому спасенному чудом он извинял его бороду, его молодость, его дикую силу, ибо своим плачем пленный сам себя унижал, а чего еще нужно начальнику, когда его подчиненный добровольно превращает себя в посмешище своими слезами?

Так должен был закончиться этот день для Сивоока: в позоре чужого триумфа, в мученичестве товарищей на тес-

ном, окруженном хищными толпами форуме, в невероятном спасении, в слезах, пролитых то ли над самим собою, то ли, быть может, больше над теми, кто испытал муки от рук безбородых палачей,— а потом Сивооку суждено было раствориться в анонимности сотен императорских прислужников, этих одетых в смешно разукрашенные наряды, которые должны были свидетельствовать о чьем-то могуществе; ему отвели один этот горький, трагически-счастливый день, чтобы впоследствии стереть какое бы то ни было упоминание о нем как о человеке. По крайней мере, так думал тот протостратор, к которому направили Сивоока. Протостратор был озабочен лишь одним: как можно сильнее унизить этого варвара, а там — пускай исчезнет он среди таких же униженных и забитых, которых определили убирать коней, предназначенных для колесниц, и коней верховых, и коней самого императора, и коней кувуклия, пускай себе одевается в надлежащую для таких слуг одежду: красные чаги[1], красный скараник с дешевым шитьем, лимонный колпак, персидские хозы[2] для верховой езды, хотя вряд ли будет дозволено ему когда-нибудь сесть на коня из этих конюшен,— а уж если на человека надета так или иначе обозначенная одежда, то не остается от человека ничего, а есть только одежда, свидетельствующая о месте ее собственника в сложном, внешне запутанном, а на самом деле точно размеренном мире царственного города.

Но никто не спросил самого Сивоока относительно его желаний распорядиться своей судьбой, а он, оказывается, и в помыслах не имел полагаться на кого бы там ни было.

Он наотрез отказался брать шутовскую, разукрашенную одежду.

— Обойдусь и так,— сказал он просто.— Ежели хотите меня одеть, то дайте сорочку, но из простого полотна, а не из александрийского царского, да крепкие сапоги, да какую-нибудь простую одежку, лучше всего меховую, но у вас ведь тут мехов не сыщешь, только у императора есть кое-какой мех...

Стратор, который должен был снаряжать нового конюха, попытался прикрикнуть или топнуть ногой на Сивоока, обозвать его таким-сяким болгарином, тогда Сивоок рассмеялся ему прямо в лицо:

---

[1] Чаги — обувь.
[2] Хозы — штаны.

— Не так легко и не так быстро, прислужник! Скажи там, кому должен сказать, что одеваться хочу так, как сам хочу, а еще скажи, что, я окромя всего, русич, а с русским князем у ваших императоров мир, потому-то гоже мне было бы подать жалобу против того вашего Комискорта, который ловил для своей тысячи людей на всех дорогах, и кого он привел в столицу, того не знает и дух святой, не то что кто-нибудь там...

Евнухи смеялись. Смеялись над неуклюжим ромейским языком Сивоока, смеялись над его надеждой на то, что кто-нибудь станет слушать его жалобы и будет требовать справедливости для такого отчаянного вруна или же просто бродяги. Ибо если ты и русич, то почему слоняешься по Болгарии или Македонии? Пойманный — пленник, а раз так, жди, что с тобой сделают. Не выкололи глаза — молись богу, благодари императора. Послали на конюшню — веди себя как следует, чтобы не накликать новой беды на свою дурную голову. Не хочешь надевать красивую одежду, а отдаешь преимущество варварскому убору? Темный и забитый еси, потому-то и в самом деле место твое — среди коней, да к тому же на работе самой грязной: чистить навоз, скрести от мочи доски в станках, жить тебе тоже на конюшне, засыпая на куче теплого навоза,— опять-таки благодари бога, что послал тебе такую теплую и мягкую подстилку под бока.

Уже в конце того же дня спровадили Сивоока на конюшню, но сразу же и забрали оттуда, потому что произошла странная вещь: кони не выносили нового конюха. Они испуганно храпели, ржали, рвались с привязи, били копытами в станки, в конюшне творилось такое, будто вселилась туда нечистая сила.

Как только Сивоока вывели из конюшни, кони успокоились. Чтобы убедиться, его снова послали — в конюшне поднялась еще большая неразбериха.

— Так как, господа ромеи? — хохотал Сивоок.— Чуют ваши лошадки русский дух или нет? Если бы вы так чуяли, было бы очень хорошо, а то ведь что же?

И то ли это событие увеличило славу Сивоока, то ли достаточно было и чудесного его избавления, но на следующий день двинулась смотреть на него огромнейшая масса всякого столичного люда, от высочайших верхов до обыкновенных проходимцев, и тут уж ни о какой работе не могло быть и речи, Сивоок сидел себе на солнышке, одетый в длинную белую сорочку с наброшенным на плечи коловием,

насмешливо щурился на прибывающих, от нечего делать чертил пальцем босой ноги узоры на песке, иногда вступал с кем-нибудь в беседу, удивляя ромеев знанием книжной премудрости, или же чуточку пренебрежительно, с насмешкой говоря об их боге, которого почитать еще не научился, а ненавидеть имел все больше и больше оснований, но об этом, разумеется, говорить считал излишним.

Прибывали магистры и военачальники, придворные дамы и сановитые вельможи, владельцы ергастериев и менялы, которые на время оставляли даже свои столики в портиках Месы, чтобы взглянуть на это диво, на эти чудом спасенные глаза.

Никто из них не знал, что это глаза художника. Ибо разве об этом вообще можно узнать? Разве у художников не такие же глаза, как у всех остальных? Даже сам Сивоок, хотя и знал о свойстве своих глаз жадно впитывать все цвета, даже он, если бы ему кто-нибудь сказал, что он, возможно, большой художник, засмеялся бы точно так же непринужденно, как вчера, когда ему обещали участь конюха.

Да, собственно, кто там и присматривался к его глазам? Хотели просто взглянуть на спасенного. Сивоок на день или на два стал для всей столицы этакой химерой, которую грех было бы не увидеть; этого требовали неписаные законы скучающего, пресыщенного до предела города, наполненного на добрую треть, возможно, людьми, которые задыхались от роскоши, теми, которые ходили в шелках, златотканых нарядах, опрысканных восточными ароматами, жили в домах с позолоченными крышами, с дверями из слоновой кости, с мозаичными полами, спали на кроватях из слоновой кости, ели из золотой и серебряной посуды. Была сказочка о философе, который, попав в гости к одному из таких константинопольских богачей, долго смотрел, куда бы плюнуть, но не нашел такого места и вынужден был плюнуть хозяину в бороду. Сивоок поглядывал краешком глаза на чванливое, пестрое, разукрашенное панство, и ему тоже хотелось выбрать такую бороду над унизанным жемчугами воротником и плюнуть,— вот было бы смеху, крику, возмущения и угроз!

Мысленно Сивоок начал выбирать подходящую бороду, хотя еще и не был уверен, что непременно плюнет в нее, если таковая найдется, но это уже была какая-то работа; вскоре борода в самом деле подплыла прямо к губам Сивоока — бери да плюй! — это была прекрасно ухоженная, круглая, расчесанная, вдоволь надушенная черная борода, которая роскош-

но выделялась на фоне сиреневого шелкового хитона, и Сивоок удержался от искушения только потому, что не заметил на хитоне никаких украшений. Только застежка — фибула из настоящего золота, но и тут бросалось в глаза не столько золото, сколько форма фибулы.

Орел пластанный, будто распятый Иисус, работы тонкой и изысканной, размер также был подобран вельми удачно. Самое же странное то, что орел не воспринимался как царский знак, яркое сверканье золота на сиреневом фоне хитона у этого человека не имело ничего общего ни с византийской показной роскошью, ни с сервилистическими атрибутами, привычными среди той надушенной и чванливой толпы, которая окружала сегодня Сивоока. Борода у ромея была красивая, а орел еще краше, Сивооку захотелось даже пристальнее взглянуть на этого человека, да и у того, наверное, было больше любопытства к спасенному, чем у других, потому что он подошел почти вплотную к Сивооку, слышно было его неторопливое глубокое дыхание, сопение, то ли горделивое, то ли самодовольное; стоял на земле он прочно, слегка расставив могучие, коротковатые, правда, ноги, обутые в кожаные сандалии; ноги как-то сразу оказались в поле зрения Сивоока после бороды и хитона с орловидной фибулой, а уж потом охватил он взглядом всю фигуру пришельца и убедился, что перед ним человек не совсем обычный, по крайней мере внешне.

У этого человека была огромная голова с живописно взъерошенным черным чубом, не покрытым, как это заведено у ромеев, никакой шапкой, толстые, будто у арапа, губы, огромный носище и вдобавок ко всему этому, большому, неуклюжему, грубому,— продолговатые, женской красоты глаза!

В этом человеке много было несоответствия. Если поражали на циклопическом лице озаренные почти неземной красотой глаза, то не меньшее удивление вызывали его руки, маленькие, белые, холеные, и атлетический торс, который угадывался даже под широким хитоном; ноги же, хотя дебелые и толстые, тоже никак не вязались с тяжелым, длинноватым, наверное, туловищем, отчего создавалось впечатление, будто человека снизу подпилили, укоротили как на прокрустовом ложе. Если борода у него являла образец заботливости и ухода, то чуб на голове словно бы принадлежал другому владельцу — такой беспорядок царил в нем. Из этого могучего, грубого тела ожидался трубный голос, будто в день

страшного суда, на самом же деле человек обратился к Сивооку таким мягким голосом, будто постелил шелком.

Он небрежно махнул своей (да и своей ли!) холеной ручкой на босую ногу Сивоока и спросил:

— Что это?

— Нога,— весело ответил Сивоок, вспоминая о своем намерении плюнуть этому человеку в его роскошную бороду.

— Дурак,— с прежней мягкостью, причмокивая губами, будто после сладкого, сказал человек,— я спрашиваю у тебя, что там на песке?

На песке было переплетение линий. Взъерошенность зарослей в ночной пуще. Сивоок только теперь взглянул на то, что рисовала его правая нога.

— Это? — спросил он.— А ничего.

Он провел ногой, стер все нарисованное, разгладил поверхность; снова чистый, нетронуто спокойный, будто в первый день творения, песок предстал перед их глазами. Сивоок подмигнул ромею и провел пальцем на песчаной поверхности несколько линий, спокойных и одновременно тревожащих своими изгибами.

Ромей развел руками, потом подбоченился, наклонил свою тяжелую голову вправо, потом влево, неторопливо, со вкусом почмокал толстыми губами, на лице его появилось выражение зависти и недоверия, но он подавил в себе дух зависти, сказал веселым тоном:

— Тут что-то есть.

Только тогда оказалось, что он не один, что его сопровождают, возможно, с полдесятка, а то и целый десяток людей, но все они не годились стать и тенью этого необычного человека, затертые, заурядные личности, незаметные фигуры, серые в своем однообразии.

Кто-то там высунулся из-под руки человека с орлиной фибулой, кто-то что-то сказал,— кажется, речь шла о том наброске, который, просто играя, начертил Сивоок пальцем своей босой ноги. Быть может, истолкован был этот набросок слишком серьезно, а раз так, то заявлено, что ничего он не стоит; за широкой спиной мужчины вспыхнул целый спор, в котором одни доказывали, что такая линия ничего не стоит, ибо подлинную ценность имеет только создаваемое естественно и непринужденно, например след птицы на побережье или след гада, ползущего в пустыне, что же касается непроиз-

вольного поступка варвара, как вот сейчас перед ними, то тут просто нет оснований для настоящего разговора; если уж быть серьезными, то следует признать, что этот молодой варвар обыкновенный жулик, а может быть, и колдун, принимая во внимание то, что случилось вчера с палачом на Амастрианском форуме.

— Нет, тут-таки что-то есть,— точно так же ласково, но упрямо повторил ромей, и Сивоок, чтобы утешить его еще больше, снова стер нарисованное, показал всем этим людишкам нетронутую чистоту песка, а потом, на этот раз уже рукой, провел несколько таких узоров, которые умел когда-то делать только дед Родим, да еще, быть может, тетка Звенислава в городе его юности — Радогосте.

— Видали? — обернулся ромей к тем, которые прятались за ним, и сказал он это с таким удовольствием, будто рисовал не Сивоок, а он сам, царским жестом указывал на узоры, призывал своих спутников к новому спору, но те умолкли, они лишь переводили взгляды с узоров на босого, одетого в белую сорочку и какую-то старую накидку молодого варвара.

— Хочешь, я научу тебя видеть настоящую красоту? — торжественно спросил ромей у Сивоока.

— Я умею делать это и без тебя,— улыбнулся Сивоок.

— А знаешь ли ты, о темный варвар, о тайнах гармонии цветов?

— То, что знаю, неведомо тебе.

Ромей чуточку отступил от Сивоока, отталкивая тех, что были позади, а среди них снова вспыхнула перебранка, возмущенные голоса переплетались в неразборчивый гул: «Агу-ага-агу-га-ага-агу...» Часто слышалось повторяемое почти всеми имя Агапит, в сердитой скороговорке Сивоок не мог понять больше ничего; зато странный ромей, видимо, получал огромное наслаждение от этой перебранки, он милостиво улыбался, предоставляя своим спутникам свободу и возможность выговориться, а когда немного угомонились, снова обратился к Сивооку:

— Меня зовут Агапит, я великий мастер. Хочешь ко мне учеником или антропосом, то есть человеком, попросту, потому что все у меня человеки и я для них тоже человек, хотя и называюсь Агапитом.

— У меня тоже есть имя,— хмуро ответил Сивоок,— называюсь Сивооком.

— Кто ты еси? Болгарин?

— Русич.

— Невероятно,— мягко удивился Агапит и еще немного отступил, разыскивая позади себя кого-то. Поманил пальцем, выпустил вперед себя высокого, с бегающими глазками, с реденькой русой бородкой.

— И у меня есть русич. Мищило.

— Единоземец? — не подходя ближе, баском спросил тот.— Откуда же?

— А я не знаю,— пожал плечами Сивоок.

— Как это не знаешь? Скажем, я из Киева. Каждая христианская душа должна знать, откуда она, где ее род.

— Не христианин я,— соврал Сивоок, которому этот Мищило, хотя и в самом деле, судя по языку, был земляком, както сразу надоел.

— Что же, язычник?

— Может, и язычник.

— Как же попал к болгарам? Почему смешался с ними?

— А не твое это дело.

Мищило обиженно умолк.

— Побеседовали? — спросил Агапит.— Это пречудесно, такая встреча!

Он наслаждался своим великодушием, ему, видно, самому казалось, что все на свете зависит от его доброй воли и пожеланий, что все события развиваются именно так, как того захотелось ему, великому мастеру Агапиту, и вот, например, этого русобородого человека спас вчера не кто иной, как он, Агапит, и сегодня открыл в нем великие способности тоже он, Агапит, и болгарина, о котором уже второй день говорит весь Константинополь, превратил в русича опять-таки он, Агапит; ну, а уж что дал Сивооку еще и единоземца на радость, то кто бы уже мог отрицать, что сделал это только он, Агапит. Если бы речь шла о ком-то другом, то сложил бы он целую песенку с припевом, в котором повторялось бы слово Агапит[1]. Но мастер был слишком нетороплив в своих словах и размышлениях, чтобы дойти до такой живости, как сложение или напевание песенок, радость и удовольствие он умел выражать одной улыбкой, которая вырисовывалась на его толстых губах с отчетливостью, столь редко встречающейся среди обыкновенных людей.

В это время посмотреть на Сивоока пришло несколько незначительных, судя по их одежде, светских и духовных византийских чинов, и тут произошло нечто и вовсе неожиданное:

[1] Агапетос — любимый *(греч.)*.

Агапит, при всей его дебелости и неуклюжести, легко крутнулся к ним, взмахнул своей хламидой, сделал вид, что кланяется, потому что на самом деле поклониться из-за своей полноты не мог, зато наверстал это гибкостью, так сказать, внутренней, развел приветственно руками, отошел в сторону, пропуская пришедших к Сивооку, вел себя так, будто пришли его ближайшие друзья, хотя на самом деле, оказалось, он их впервые видел, точно так же как и они его. Чиновники немного растерялись от присутствия такого вельможного господина, поскорее прошмыгнули мимо Сивоока и распрощались с Агапитом, а он еще словно бы даже бросился их сопровождать и уже только после этого возвратился назад и спросил у Сивоока, согнав с лица слащавость, даренную перед тем чиновникам:

— Так хочешь ко мне?

— Еще не знаю, чего могу хотеть, а чего не могу,— сказал тот, удивляясь поведению Агапита.— Не знаю, кто я: раб или человек, хотя рабом не чувствовал себя никогда и не дойду до этого.

— В этом что-то есть,— поднял палец вверх Агапит,— это красиво сказано, а еще лучше ты, человече, нарисовал эти узоры, на которые я еще немного посмотрю. Это прекрасно! Говорю я, Агапит! И будешь ты среди моих антропосов, как тебя?

Сивоок молчал, обиженный столь пренебрежительной забывчивостью, но из-за спины у Агапита высунулся Мищило и напомнил своему принципалу:

— Его зовут Сивоок.

— Сивоок,— повторил, причмокивая губами, Агапит.— Ну что ж, это имя тоже может быть славным, как и Агапит! И что может быть прекраснее, спрашиваю я всех вас?

Видимо, он часто обращался с такими вопросами, ни к кому, собственно, не адресуясь в частности, и привык, что никто и не должен отвечать, ибо сразу же после восклицания выпустил на свои толстые сальные губы улыбку удовольствия самим собой и всем миром, который казался ему полным гармоничности, поднял край хитона, взмахнул им, дохнул слегка на Сивоока запахами восточных ароматов и пошел, забирая с собой всех «антропосов».

Так ко всем приключениям Сивоока прибавилось еще одно. Ну и что с того?

Сивоок не мог знать, что Агапит с его нетороплИвостью был по-слоновьи упорным в своих прихотях. И ежели уж он

намерился иметь у себя чудом спасенного русича, то шел за этой своей прихотью, будто балованный маленький ребенок.

Никто, разумеется, не хотел встать на помощь Агапиту, да он и сам хорошо знал, что напрасно искать конец какого-нибудь дела там, где его не может быть, среди этих людей, которые обладали пышными титулами и не менее пышной одеждой благодаря лишь тому, что всю свою жизнь уклонялись от решения каких бы то ни было дел, не сказали ни разу «да» или «нет».

Выручить его мог один лишь человек, и этим человеком был сам император.

Подступиться к императору, если ты не принадлежал к чинам кувуклия, считалось делом маловероятным, найти же людей, которые отстаивали бы перед василевсом твои интересы, было еще трудней. Но для Агапита, казалось, не существовало невозможного. Он имел золото, но золото имели и многие другие. Зато никто не был таким упрямым, как Агапит. Он мог неделями и даже месяцами толкаться среди чинов, кланяться им, льстить им, пока не добивался своего, он не знал, что такое унижение, всегда готов был подчиниться кому угодно, лишь бы только исхитрить задуманное для себя.

Многие отговаривали его от намерения просить у императора спасенного белого болгарина, то есть русича, как тот сам себя именует. Зачем? Разве мало в Константинополе людей, чтобы выбрать из них для себя мистия, ученика, а то и просто раба? Ювелиры на Аргиропратии, медники на Халкопратии, дуборезы в Цангарии — пожалуйста! А так кто бы это шел к императору с таким ничтожным делом?

— Так, так,— соглашался Агапит,— но!..

Он произносил это «но», многозначительно поднимая палец вверх, сам всматривался в этот палец, пока и собеседник тоже не задирал голову, а тогда Агапит спокойно опускал руку и с сочувствием к своему не очень сообразительному слушателю говорил так, будто и не было паузы с рассматриванием поднятого в небо пальца:

— Но когда человеку чего-нибудь хочется, нужно удовлетворить это желание, ибо иначе перестаешь быть человеком.

— Тяжело и трудно,— вздыхал собеседник.

— Но не для такого человека, как вы,— одаривал его Агапит такой улыбкой, что тому казалось, будто его обнимает красавица или же осыпают золотыми монетами.

В Константинополе начались осенние врумалии[1], императора можно было видеть теперь в Триклине девятнадцати акувитов[2], где он возлежал за трапезой. Ему подавали только на золотых блюдах. Слуги вносили заморские фрукты в вазах из чистого золота и таких тяжелых, что поднимать их на столы приходилось на обшитых позолоченной кожей веревках, переброшенных через блоки, хитро спрятанные под потолком Триклина, но на трапезы в Триклине девятнадцати акувитов приглашался согласно ритуалу лишь точно определенный круг людей, к которым Агапит не принадлежал, точно так же согласно предписаниям, шедшим еще от предыдущих императоров, подбиралось сопровождение царствующей особы на загородную охоту, на игры в Циканистрии, на конные прогулки, на торжественные выходы в храмы и монастыри, даже на ипподром, где смотреть на императора могли сразу сто тысяч человек, которые сидели на мраморных скамьях, но пребывать в кафисме вместе с императором имели право лишь посвященные, доверенные, самые приближенные. Да, в конце концов, если бы даже Агапит и принадлежал к тому узкому кругу императорского окружения, то всячески избегал бы придворной суеты, ибо его огромное тело не выносило спешки, а ленивая душа художника жаждала прежде всего покоя и свободы для размышлений.

Он мог еще разрешить себе стоять в сторонке от суеты кувуклия еще и благодаря тому, что всегда вдоволь имел золота и драгоценностей для этого возбужденного, безумного мира, где все можно купить. Поэтому не удивительно, что через несколько дней после того, как в голову ему пришла мысль заполучить Сивоока, Агапит ублажил и подкупил, кого там нужно, и василевсу Константину, когда он был на ипподроме, осторожно сказано было о желании известного зодчего Агапита выкупить белого болгарина. Император страшно рассердился за несвоевременность и неуместность такой просьбы.

— Какое мне дело до какого-то там болгарина, или кто он есть! — закричал он.— Когда я должен знать: зацепится пра-

[1] Врумалиями в Константинополе назывались особые праздники, которые шли по греческой азбуке с 24 ноября по 17 декабря — 24 дня, главнейшими были дни, выпадавшие на имя императоров (К — для Константина, скажем), поэтому врумалии считались именинными праздниками.

[2] Триклин девятнадцати акувитов — один из главных залов Большого дворца, где стояло девятнадцать акувитов, то есть столов для банкетов.

вая колесница за левую на первом или на втором повороте!

Две колесницы, одна запряженная четверкой коней белых, другая с конями персидскими в яблоках, мчались в облаках пыли, сопровождаемые безумным криком сотен тысяч глоток, вдоль мраморных трибун, мимо статуй и скульптурных групп, установленных по продольной оси ипподрома; ездовые, расставив ноги, застыв в напряжении, изо всех сил натягивали вожжи перед обелиском Феодосия, обозначавшим место поворота, они знали, что нужно во что бы то ни стало замедлить яростный разбег коней, умело повернуть почти на месте, чтобы потом снова мчаться по прямой, но в обратном направлении, прямо к центру ипподрома, к императорской кафисме, но будет еще один поворот — и снова безумная гонка по прямой, и еще один поворот, и так двадцать три круга — семьдесят две стадии, и только после этого — конец, достижение цели и либо венец победителя, либо позор побежденного, и сто тысяч разъяренных, обалдевших от крика константинопольцев тоже знали об этом, а еще считали, что под обелиском Феодосия подстерегает нечистая сила, и вопили еще яростнее, и от этого рева кони неистовствовали еще сильнее, зверели, возницы ничего уже с ними не могли поделать, колесницы летели как камень с пращи, удержать их не могло уже ничто, трубы герольдов объявляли о каждом очередном круге, трубы звучали, будто звук страшного суда, этот поворотный столб должен был стать концом безумной гонки, ужасной катастрофой, обломками колесниц, смертью; колесницы мчались рядом, ни одна, ни другая не могли вырваться вперед хотя бы на маленькое расстояние, катастрофа казалась неизбежной, ипподром ревел от восторга и предчувствия прекрасной гибели ездовых и их коней, белых арабских и персидских в яблоках; император тоже поддался всеобщему ослеплению, лицо его покрылось красными пятнами, парадный наряд расстегнулся, венец съехал набок, из раскрытого рта на бороду стекала нитка слюны; еще миг, еще полмига, еще неуловимое мгновенье — и тогда колесница, запряженная четверкой белых коней императорской чистой-пречистой масти, каким-то непостижимым прыжком очутилась чуточку впереди четверки в яблоках и первой обогнула страшный столб, захватывая для себя весь простор, какой там был, а другой колеснице не оставалось и лоскутка свободного места, она очутилась между первой колесницей и столбом, первая колесница выписывала пологий, умопомрачительный

круг, будто падающее небесное тело в своем последнем свечении, а другая ввергалась в мертвую зону этого круга, для нее не оставалось простора, для нее не было никакого места, персидские в яблоках кони шарахнулись от коней белой императорской масти, колесница зацепилась колесом за столб, перекосилась, возница еще держался в этом невероятном наклоне к земной поверхности, он прочертил своим телом смертельную дугу, колесо среди рева, треска и хохота оторвалось, кони потянули колесницу на одном колесе, потянули ее перевернутой, волоком, потащили возницу, который тоже упал и вылетел из колесницы, но еще держался за вожжи, колесница разламывалась на лету, из нее летело железо, дерево, возницу било о землю, било обломками, но он еще не выпускал вожжи, персидские в яблоках кони, будто одержимые демоном, бешено бросались то в одну сторону, то в другую, они уже и не бежали вперед, а, казалось, решили добить, доломать остатки колесницы и освободиться от упрямого наездника, это заняло у них не много времени, они освободились и тогда, сразу же успокоившись, пошли рысцой следом за конями белыми, которые уже долетали к цели под восторженный стон ипподрома.

Высокопоставленный евнух багряным шелковым платом вытер слюну на бороде императора, Константин привстал в своей ложе, протянул вслепую руку за венцом для победителя, ему вложили в руку венец, это было прекрасное мгновенье, тем прекраснее оно, что победили кони белой императорской масти; на ипподроме всегда господствовало суеверие относительно конской масти: коней черных, вороных, карих, гнедых сюда не допускали, потому что эти масти считали цветами смерти, тут любили смерть веселую, яркую, а еще больше любили светлую победу, каждый из присутствующих заблаговременно загадывал себе какое-то желание, связанное с победой коней светлейшей масти; когда же такими становились кони чистой императорской масти, то это считалось самой лучшей приметой для всех, прежде же всего — для царствующей особы.

У императора в тот день было прекрасное настроение, благодаря чему подкупленный Агапитом препозит снова напомнил Константину о белом болгарине.

— Но, кажется, мы определили его на какую-то службу? — небрежно молвил император.

Препозит был подготовлен к любому вопросу.

— Его приставили ухаживать за конями,— сказал он

почтительно,— но пользы там от него нет никакой, он перепугал всех коней.

— Этого варвара боятся даже кони,— засмеялся император.— Ежели так, отдайте его тому, кто заплатит за него логофету казны кентинарий[1] золота.

Его не интересовало, кто именно внесет такую сумму, он понятия не имел об Агапите, наверное никогда и не слышал его имени, а если и слышал случайно, то давно забыл, ибо почему император всех ромеев должен держать в голове чье-то там имя?

А кентинарий за Сивоока, за которого еще вчера никто не догадался бы попросить хотя бы номисму, император назначил просто потому, что кто-то там проявил заинтересованность белым болгарином. А за любопытство нужно платить.

[1] Кентинарий — сто литр или 7200 номисм, примерно около 1,8 кг золота.



1942
год
ЗИМА. КИЕВ

Ношу эти шрамы на своем теле; они живут, они кричат, и поют, и сдерживают меня.

П. Пикассо

Утром Борис уже твердо знал, что теперь его отец, профессор Гордей Отава, добровольно никуда больше не пойдет. Правда, юноша не мог простить отцу, что тот сам, без принуждения, только подчиняясь бумажке, ходил в гестапо, но видел, как отец страдает, и потому молчал. Да и сам Гордей Отава сказал, когда обо всем уже было переговорено с сыном за эту ночь, обращаясь не столько к Борису, сколько к самому себе: «Ignavita est jacere dum possis surgere» — малодушно лежать, если можешь подняться.

Однако штурмбанфюрер Шнурре, вероятно, почувствовал во время вчерашнего вечернего разговора с Гордеем Отавой, что тот не горит желанием прибежать сегодня на его вызов, да и вежливости у вчерашнего немецкого профессора, а сегодняшнего функционера эсэсовской машины хватило, видно, на один лишь вчерашний вечер, а сегодня всплыла на поверхность обыкновеннейшая грубость; Шнурре не стал ждать добровольного прихода советского профессора, а просто прислал за ним утром конвой в лице своего ординарца, который появился собственной персоной перед Гордеем Отавой, щелкнул каблуками, выбросил вперед руку в фашистском

приветствии, но не гаркнул, чтобы профессор сразу собирался и шел за ним, а молча потопал в кабинет, куда его точно так же молча повел хозяин, взявши теперь за правило все серьезные дела решать именно там, на своем привычном рабочем месте, где он чувствовал себя как-то увереннее.

Ординарец в самом деле малость как будто даже растерялся, оказавшись в заваленном книгами и раритетами профессорском кабинете, но сразу же и овладел собой, снова выбросил вперед руку («Даже приветствие украли у древних римлян»,— невольно подумал Гордей Отава, а позднее сказал об этом и сыну, он вообще пытался делиться с сыном всеми своими мыслями, считая Бориса уже совершенно взрослым, а главное, стремясь к тому, чтобы тот все запомнил, все перенял от своего отца) и представился:

— Ефрейтор Оссендорфер. К вашим услугам, герр профессор.

— Садитесь,— пригласил его Отава,— хотя, собственно, я не совсем понимаю, какие услуги...

Оссендорфер не сел, лишь почтительно поклонился: казался этаким вежливым юношей, аккуратно на пробор причесаны белые волосы, водянистые испуганные глаза, доверчиво приоткрыт рот; военный мундир ему совсем не подходил, а шинель и вовсе превращала его в смешное чучело, он и сам это, вероятно, знал, ибо что-то похожее на вздох вырвалось у него из груди, и следом за поклоном произнес:

— Простите, что я в таком виде, но я на минутку. На дворе зима, поэтому приходится...

В самом деле, ночью выпал густой снег, бесшумно накрыл оккупированный город белым холодом; для Гордея Отавы перемена времени года означала лишь то, что прошла уже целая вечность с тех пор, как началась война,— ведь подумать только: лето, осень, а теперь уже и зима; что же касается Бориса, то он сразу нашел себе развлечение в том, чтобы смотреть в окно на фашистов в заснеженном Киеве, видел, как они подпрыгивают в своих никчемных шинелях и мундирчиках, и злорадно думал: «Так как? Жарко вам? Понюхали? Еще и не то будет!» До появления снега все фашисты воспринимались сплошной, одноликой массой, теперь, на белом фоне, вдруг оказалось, что в Киев наползло огромное множество разновидностей этой дряни, ибо если даже не принимать во внимание обыкновенных суконных погон, без всяких знаков различия и с серебряными галунами, погон офицерских простых и плетеных, как кнут, нашивок, позу-

ментов, повязок со змеевидными надписями, металлических нагрудников, а только иметь в виду цвет одежды, то были здесь все возможные и невозможные цвета и оттенки: были (и таких — более всего!) зеленовато-лягушачьи шинели, которые, кажется, носило подавляющее большинство военных, но был также цвет черный, сталисто-серый сменялся глинисто-желтым, были даже вроде бы сиреневые шинели с петличками лимонной окраски, встречались словно бы вымоченные в синьке, был цвет свинца и цвет оконной замазки; какие-то высокие чины укутывали шеи в меховые воротники, черные и мохнатые, кое-кого зима застукала еще в пятнистых маскировочных мундирах, пригодных только летом, и теперь эти пестрые вояки, сгибаясь в три погибели, перебегали через улицу с видом коровы, попавшей на лед. Иногда пробегал по снегу халабудистый закоченелый плащ мрачного тона, который еще вчера, под осенними дождями, казался таким эффектным, а сегодня выглядел жалко и смешно. Ноги у вояк для первого дня зимы обуты были более или менее сносно: кто в ботинках, кто в добротных сапогах, иногда можно было увидеть даже белые бурки у тех, у кого были шинели с меховыми воротниками; но на головах, что называется, творился смех и грех. Чванливые картузы напоминали теперь решето, полное холода; к пилоткам прикрепляли круглые суконные латочки, чтобы прикрыть ими уши, но уши не вмещались под этими латочками, из-под зеленых суконок торчали большие немецкие уши, покрасневшие от мороза, будто у утопленников. Лучше всех чувствовали себя, наверное, те, у кого были картузы с длинными козырьками и откидными наушниками. Но, держа уши в тепле, они страдали с носами, ибо мороз со всей силой набрасывался на все незащищенное, а нос под длинным козырьком оказывался, что называется, на сквозняке, и уж тут мороз потешался вволю, а хозяин носа, сгорбленный, как калека, с какой-то завистью поглядывал на тех, у кого мерзло все в одинаковой степени, но сам не решался подвергнуть и себя такому испытанию, а только хватался за нос то одной рукой, то другой, словно перебрасывал из ладони в ладонь горячую печеную картошину. Наибольшую зависть, ясно, вызывали все те, кто катил по улице в закрытой машине, а когда тем нужно было выглянуть наружу и они открывали дверцу и высовывали на свет божий нос или всю голову, то это длилось недолго — нос или голова мгновенно прятались, дверца хлопала, машина ехала дальше, так, будто стремилась поскорее примчаться к

тому месту, где зима сразу закончится и наступит тепло, не будет снега, а главное же — не будет этого проклятого мороза, который свалился с неба в одну ночь такой жгучий, будто заключил договор о военном сотрудничестве с большевиками.

И весь этот пестрый поток пришельцев, очень похожих на разноцветных гадюк, бежал, торопился, подпрыгивал, вытанцовывал по киевской улице, и все козыряло, тянулось в струнку одно перед другим, выстукивало каблуками, на заснеженных улицах Киева происходил огромный спектакль марионеток, который был бы смешным, если бы не стояла за ним ужасная трагедия оккупированного города.

Ефрейтор Оссендорфер смутился еще больше после своей ссылки на зиму, которую Гордей Отава оставил без внимания. Борис же, притаившийся в углу между книжными шкафами и большим окном, выходящим на улицу, не принимался во внимание, да он и не собирался излагать перед ординарцем фашистского офицера свои утренние наблюдения, а тем более — мысли.

— Профессор Шнурре приносит свои извинения, но...— снова начал было ефрейтор, но тут Гордей Отава уже не смолчал, не дал ему закончить, прервал на полуслове.

— Профессор? — удивленно поднял он брови.— Вы хотели сказать: штурмбанфюрер Шнурре?

От раздраженной наглости ординарца, с которой он еще несколько дней назад встречал Гордея Отаву на пороге квартиры академика Писаренко, занятой Шнурре, не осталось и следа. Сама вежливость и смущение, доведенное до полного самоуничижения.

— Да, да,— охотно согласился он с Отавой,— профессор Шнурре действительно — штурмбанфюрер, но это просто для удобства, поскольку таковы требования времени, точно так же как и я — ефрейтор, хотя это для меня абсолютно не присуще, я просто обыкновенный ассистент профессора Шнурре еще из Марбургского университета, и мне в высшей степени приятно, что я познакомился с герром профессором, о котором много наслышан еще до начала военных действий, то есть я хотел сказать — нашей освободительной войны...

— Вы хотели что-то передать от штурмбанфюрера Шнурре? — снова прервал его Отава.

— Собственно, да. Профессор Шнурре приносит свои извинения, но сегодня неотложные дела вынуждают его... Ваше свидание временно откладывается, вы можете не ходить, хотя если желаете просто для прогулки или в своих

научных интересах, то пожалуйста, все договорено, вас пропустят в собор, вы можете бывать там, когда захотите... Что же касается профессора Шнурре, то, как только он освободится от своих неотложных служебных дел, он сразу поставит вас в известность...

Хотя в помещении было не топлено, однако ефрейтор-ассистент аж взмок от длинной путаной речи и поспешил раскланяться, натянул на голову пилотку, щелкнул каблуками.

— Кстати,— вдогонку ефрейтору сказал Отава,— передайте штурмбанфюреру, что я и не собираюсь сегодня ни к нему, ни к кому бы то ни было вообще. И не имею намерения и в дальнейшем. Так и передайте, прошу вас...

Оссендорфер топал сапогами по длинному коридору с древнерусскими иконами, он как будто убегал от слов профессора, не хотел их слышать, чтобы не навлечь беды на неосмотрительного профессора; он продолжал оставаться вежливым, предусмотрительным, деликатным в обращении ассистентом из старинного немецкого университета.

— Ну-ка, что ска́жете, товарищ Отава-младший? — обратился отец к Борису, проводив ефрейтора и по́тирая руки то ли от холода, то ли от нервного возбуждения.

— Не связывался бы ты с ним,— сказал Борис.

— К сожалению, меня никто не спрашивает, хочу ли я связываться или нет. Точно так же никто не спрашивал всех, кто жил в Киеве, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Ты слыхал, что уже бои идут под Москвой?

— Я уже слыхал, что они сто раз заняли Москву, а потом почему-то снова ведут бои за нее,— отрезал Борис.

— Если они возьмут Москву, нам всем конец.

— А почему ты считаешь, что они возьмут Москву? — спросил сын.

— Я не считаю, говорю лишь, что будет, если они возьмут.

— Ты как хочешь, а я не верю, чтобы они взяли Москву! — воскликнул Борис.

— Мученики всегда мудрее тиранов, потому и становятся мучениками,— тихо сказал Гордей Отава.— К сожалению, мудрых никогда не слушают те, в чьих руках сила. Но зачем нам спорить? У нас с тобой одинаковые убеждения. Давай лучше подумаем, что делать дальше.

— Бежать,— сказал Борис.— И как можно скорее.

— Хорошо. Куда бежать?

— Ну... В лес... к партизанам...

— Они оставили тебе свой адрес?

— Найдем! Что мы — уже не сможем найти партизан?

— Если это так легко, тогда фашисты уже давно их обнаружили.

Борис не знал, что отвечать. Ему хотелось спасти отца, он отдал бы все за это спасение, он выступил бы против всей фашистской армии, если бы мог защитить отца, но что он мог, если всерьез разобраться? И что мог теперь его отец, который и в мирное время не отличался излишним практицизмом, а скорее демонстрировал почти детскую наивность во всем, что касалось будничной, простой жизни, не связанной с научными теориями и размышлениями. Он уже пробовал через бабку Галю расспросить ее куму из села Летки на Десне, не смогла бы она случайно через знакомых односельчан связать его отца с партизанами, но кума — дебелая, сварливая молодица — делала большие глаза, открещивалась от самого упоминания о партизанах, говорила: «Свят! Свят! Свят! Отстань от меня!» Бабка Галя тоже махала на Бориса, словно на домового,— возможно, они и в самом деле так дрожали перед немцами, а может, просто не доверяли профессору, которого, вишь, сами фашисты освободили из концлагеря, не трогали его квартиры, снабжали продуктами, так, будто он был для них своим человеком, их прислужником.

Но сегодня, после всех вчерашних событий, после ночного разговора с отцом, после того как он, собственно, изложил сыну свое научное завещание, передал все незаконченное, так, словно должен был идти на казнь, Борис почувствовал такую безнадежность в сердце, такое отчаяние, так что-то рыдало в нем, подступая к самому горлу, что он не удержался и снова решил просить тетку из Леток хотя бы вывести их с отцом из Киева, спрятать где-нибудь в селе, или в лесу, или у черта в зубах, лишь бы только не оставаться больше в Киеве, в этом большом мертвом городе, где человек чувствует себя будто в тесной западне, из которой есть единственный выход, да и тот — на смерть.

Как назло, в тот день кума из Леток не прибыла к ним. То ли снег ей помешал, то ли не пропустили ее на заставах, которыми были закрыты все выезды из Киева, потому что военный комендант города издал приказ о запрещении под страхом смертной казни отдавать, принимать, продавать, покупать или менять мясо, молоко, масло; всех, кто пытался провезти в Киев (вывозить никто не пробовал, ибо нечего

было вывозить) какие-либо продукты, задерживали, у одних забирали все и гнали их в шею, других бросали за проволоку Дарницкого концлагеря, а третьих просто расстреливали; кума из Леток прикрывалась аусвайсом, выданным ей самим штурмбанфюрером Шнурре,— штурмбанфюрер любил свеженькое молочко, иногда за кумой в Летки посылали даже машину, но сегодня не было ни молока, ни кумы, штурмбанфюрер, возможно, и проживет этот день без молока, а вот Борису тетка из Леток нужна просто-таки до зарезу, но сделать он ничего не мог, кроме того, что очень осторожно намекнул бабке Гале о своих хлопотах, но она отделалась лишь воздыханием — и дело с концом.

А вечером пришел штурмбанфюрер Шнурре и наконец раскрыл свои карты. Он принес с собой бутылку рому, сам уже был малость выпивши, ром, видно, больше предназначался для Гордея Отавы, но тот сказал, что пить не будет.

— Может, вы привыкли к русской водке? — улыбаясь, спросил Шнурре.— Так я прикажу принести водки. Мы имеем в своем распоряжении все.

— Благодарю, но я не пью водки,— спокойно ответил Отава, а сам подумал, что Шнурре ошибается, считая, что уже все имеет в своем распоряжении.

Шнурре все же налил рюмочку и для профессора Отавы, сам выпил, немного посидел, глядя в угол, где утром сидел Борис, а теперь залегла лишь темнота, поскольку в кабинете горела на столе одна-единственная свеча — электричества в Киеве не было, как не было воды, тепла, хлеба, не было жизни.

— Вы можете не экономить свечей,— сказал Шнурре,— я распоряжусь, чтобы вам их доставляли.

— Благодарю, не нужно,— ответил Отава, удивляясь, как он может еще отвечать этому фашисту, почему не умолкает совсем, пускай пришелец разговаривает с самим собой, пускай изведает всю глубину и силу презрения, которое испытывают к нему все те, к кому он пришел не как ординарный профессор провинциального немецкого университета, а как захватчик и палач.

— Я понимаю ваши чувства,— словно бы угадывая мысли Отавы, вздохнул Шнурре.— Но война есть война и жизнь есть жизнь, от этого никуда не уйти, мой милый профессор. Если вам не хочется поддерживать со мной разговор, вы можете молчать. Но выслушайте меня до конца, выслушайте внимательно. Я скажу вам все. Сегодня такой день, когда я

должен сказать вам все, не откладывая на дальнейшее. Когда-нибудь потом вы поймете, почему именно сегодня, хотя, вообще говоря, это не играет роли в том деле, которое меня интересует и в котором должны быть в конечном счете заинтересованы и вы. Итак, следите за ходом моих мыслей, прошу вас. Вы хорошо знаете о моем к вам отношении как к ученому. Мы с вами коллеги...

— Враги,— напомнил Отава.

— Ну так. По условиям военного времени. Но как ученые...

— Вы эсэсовский офицер,— опять напомнил Отава, которому доставляло удовольствие вот так прерывать фашиста в самых неожиданных местах, донимать его хотя бы этим.

— Согласен! — почти весело воскликнул Шнурре.— С вашего разрешения я выпью еще рюмочку. Хотя, пожалуй, не буду. Чтобы между нами не было неравенства: один пьяный, другой трезвый. Пусть каждый будет поставлен в одинаковые условия.

— Если это можно сказать о том, кто набрасывает петлю, и о том, на кого набрасывают петлю,— снова вмешался Отава.

— Не нужно смотреть на вещи слишком мрачно, не нужно. Если я разыскал вас среди арестованных...

— Почему-то мне кажется, что вы просто играли спектакль,— непонятно, почему вы искали меня именно на Сырце, а не в Дарнице, скажем, где концлагерь намного больший, следовательно, больше шансов, что я мог оказаться именно там?

— Интуиция. Это была в самом деле игра, в которой единственной ставкой было спасение профессора Отавы.

— Зачем?

— Сейчас дойдем до сути дела, одну лишь минутку, мой дорогой профессор. Терпение, терпение... Как часто людям не хватает именно этого драгоценного качества, из-за чего происходят вещи непоправимые. Взять к примеру ваш Крещатик. Он взорван...

— Вами же самими...

— Не играет роли — мы его взорвали или ваши. Но почему? Только потому, что у кого-то не хватило терпения разминировать один или два дома, проще показалось взорвать их, а когда уж взорвал два или три здания, то хочется превратить в развалины и еще сотню... Или Успенский собор... Я еще успел полюбоваться этим чудом... Кажется, конец одинна-

дцатого столетия, серебряные царские врата, серебряные гробницы, парчовые плащаницы с дарственными надписями русских царей и украинских гетманов, старинные евангелия в драгоценных оправах, алтарь и жертвенник, украшенные резными массивными серебряными досками,— где еще можно такое увидеть! Но вот приезжает посмотреть на это славянское чудо наш союзник, вождь словацкого народа Тиссо, и ваши партизаны...

— Вы уверены в этом? — спросил Отава, который об Успенском соборе не мог и слушать — уж лучше бы его самого этой взрывчаткой разнесло на части.

— Уверен ли я? Не знаю. Трудно сказать, кто виноват, чья взрывчатка. В конце концов, все, что попадает в район военных действий, может быть уничтожено, однако необходимо же все-таки какое-то терпение, требующееся хотя бы для того, чтобы максимально использовать объект, подлежащий неминуемому уничтожению...

— Возможно, в ваших планах София тоже подлежит этому...— Отава боялся повторить страшное слово, но Шнурре выручил его:

— Не надо говорить об уничтожении. В особенности же когда речь идет о Софии. Но вы угадали, что речь пойдет именно о ней. На ней совпадают наши с вами интересы.

— Не вижу,— сказал Отава.

— Сейчас объясню. Но перед тем должен сказать вам со всей откровенностью, что мы все могли бы сделать и без чьей бы то ни было помощи. Вам не нужно лишний раз подтверждать мою квалификацию,— стало быть, если бы я захотел и взялся сам, то... Но я подумал так: а почему бы не сделать доброе дело, почему бы не помочь своему коллеге профессору Отаве, почему бы не предоставить ему возможности приложить и свои усилия?..

— Я не просил у вас ничего,— напомнил Отава.

— Точно. Вы не просили, профессор. Но представьте себе: я прошу вас. Не приказываю, не заставляю, не принуждаю, а именно прошу. И прошу, учитывая ваши научные интересы,—ни более ни менее. Мы с вами люди, находящиеся на одном и том же умственном уровне...

— Психологи утверждают,—насмешливо заметил Отава,— что между людьми, находящимися на одинаковом уровне, господствуют отталкивательные тенденции...

— Можете убедиться, что психологи тоже ошибаются. Ибо

я не только не отталкиваюсь от вас, наоборот... Нас с вами объединяет София, точнее, ее фрески, быть может единственные в мире фрески одиннадцатого столетия, прекрасно сохранившиеся...

— Что вы хотите с ними сделать?! — испуганно воскликнул Отава, вскакивая с кресла и чуть не бросаясь на Шнурре.

— Успокойтесь, мой дорогой профессор, вашим фрескам ничто не угрожает. В особенности если учесть, что почти все они скрыты под слоем позднейших записей. Ваши предшественники, к сожалению, не отличались пиететом к старине. В свое время пренебрегли даже указанием императора Николая Первого, который, осматривая открытые в Георгиевском приделе Софии древние фрески, сказал митрополиту Филарету: «Фрески эти следует оставить в таком виде, как они есть, без обновления». Но такова уж художническая натура: во что бы то ни стало, даже вопреки строжайшему запрету, проявить свои так называемые способности, оставить после себя след, если даже это будет след бездарный, варварский. Сквозь столетия вижу я протоиерея этого собора Тимофея Сухобруса, представляю, как этот обыкновенный ключник собора, присмотревшись к тому месту на малом своде, где отвалился кусочек штукатурки, заметил изображение звезды, а ниже — лики ангелов и серафимов и греческие буквы. Это был благородный человек! Он сразу понял, что встал на путь великого открытия... Русский император тоже оказался человеком высокой культуры... Но что же дальше? Какой-то подрядчик нанимает обыкновенных поденщиков, и те железными стругами соскребают с фресок штукатурку. Варвары!

— Кстати, фамилия этого подрядчика была Фохт,— сказал Отава, не выражая своего удивления осведомленностью, проявленной Шнурре в отношении истории открытия в Софии старинных фресок.

— Фамилия здесь не играет роли,— отмахнулся Шнурре,— меня как ученого возмущает только варварство этих людей, их дикость, если хотите... Но еще больше возмущают меня так называемые художники, которые потом «подрисовывали» фрески: какой-то богомаз Пошехонов, иеромонах Иринарх из Лавры, священник собора Иосиф Желтоножский...

— Даже их можно оправдать,— снова заговорил Отава,— потому что они все-таки по-своему заботились о сохранении произведений искусства. Это не то, что взорвать Успенский собор...

— Я уже сказал, что это — трагично... Однако София цела, и вы должны нам помочь... Вернее, мы вам поможем... Вы не спрашиваете, в чем именно? Я вас понимаю... Вы не хотите спрашивать, вы не хотите сотрудничать с нами. Но поймите, что тут наши интересы совпадают.

— Никогда! — Отава снова подскочил.— Слышите, никогда!

— Вы еще не слыхали моего предложения.

— Все равно я отвергаю его!

— И все же выслушайте.— Шнурре отпил из рюмки, вытер губы, он теперь не торопился, у него был вид человека, у которого в распоряжении вечность, зато Отава весь напрягся, будто готовился к прыжку, но штурмбанфюрер сделал вид, что не заметил состояния своего собеседника, снял со свечи нагар, подул на обожженный палец, продолжал говорить спокойно и рассудительно: — Вы немного отреставрировали фрески... Нужно сказать, что сделано это прекрасно, именно так я только и мог представлять вашу работу... Можете не говорить мне, я и так знаю, что реставрационными работами руководили вы... Но разрешите и одно замечание... Вы проводили эти работы без определенного плана. Не отделяли главного от второстепенного. Не вели поиска самого ценного в первую очередь, а уж потом что останется. Вы пренебрегли главнейшим принципом всех открытий: прежде всего открывать нужно великое! Только тогда прославишься.

— Я не привык зарабатывать славу на чужом труде,— спокойно произнес Отава, отходя в тень,— да и какая может быть еще слава рядом с гениальным художником, творившим девятьсот лет назад?

— Слава первооткрывателя — разве этого мало? Иероглифы без Шамполиона так и остались бы бессмысленными картинками. Троя без Шлимана считалась бы выдумкой пьяного неграмотного Гомера, любившего побасенки... Но речь идет не об этом... Я слишком много сегодня говорю, но у меня был очень трудный день. И все же, видите, я не забыл о вас и пришел, чтобы довести наш вчерашний разговор до конца. Короче: мы вам создадим все условия, чтобы вы прославились открытием чего-то великого в соборе. Представьте себе: гениальная, неповторимая фреска, уникум!

— Можно подумать, что целая немецкая армия вступила в Киев только затем, чтобы создать, как вы говорите, мне надлежащие условия для великого открытия в Софийском соборе.— Отава уже откровенно насмехался над Шнурре, но тот

игнорировал насмешки, не обращал на них внимания, он был настроен на серьезный, даже торжественный лад, он встал и провозгласил, будто полномочный представитель перед иностранным посланником или корпусом журналистов:

— С завтрашнего дня в вашем распоряжении будет все необходимое, и вы должны сразу же начать реставрационные работы с таким расчетом, чтобы открыть только самые ценные росписи в кратчайший срок.

— Это нужно вам для молниеносного окончания войны? — поинтересовался Отава.

— Еще раз повторяю: забочусь о вас, профессор Отава. Поверьте мне: мы и сами смогли бы провести все необходимые работы. С нашей точностью и терпеливостью, с нашим непревзойденным художественным опытом...

— Что же вас сдерживает? — Теперь Отава уже знал, чего от него хотят, он мог спокойно вступить в спор с Шнурре.— Начинайте хоть завтра, но без меня. Конечно, мне тяжело так говорить о соборе, но я ничего не могу поделать. Вы завоеватели. Вы могли уже давно уничтожить и меня, и собор, и город... Если бы я был великим полководцем, если бы я был главнокомандующим, очевидно, все сделал бы для того, чтобы не отдать врагу Киева, который для меня лично является величайшей святыней нашей истории, но раз уж так случилось... Я в состоянии лишь отказаться от какого бы то ни было содействия врагу — вот и все.

— Я все-таки советовал бы вам обдумать мое предложение,— сказал Шнурре.

— Если вы предполагаете, что у меня не было времени для анализа своего поведения еще за колючей проволокой, а потом вчера в гестапо, то вы глубоко ошибаетесь. На все ваши и чьи бы то там ни было вражеские предложения — только «нет»! Больше ничего.

— Никогда не нужно выражаться категорично, всегда нужно оставлять хотя бы узенькую тропинку для отступления.

— Не привык.

— Вы еще не выслушали меня до конца.

— Не вижу в этом необходимости.

— И все-таки. Не думайте, что я буду угрожать лично вам. Это было бы тривиально и недостойно даже. Но вы правы в одном: в том, что все могло уже быть уничтожено. Да, вы не ошиблись. И если сегодня еще не все уничтожено, то завтра

это может случиться. Мы не скрываем своих планов. На месте Ленинграда, по приказу фюрера, будет создано большое озеро для наших яхтсменов. На месте Москвы мы посадим бор. Кажется, там хорошо растет сосна. Можно будет развести там березовые рощи. Это так прекрасно: белые березы как воспоминание о бывшей Руси. А на месте Киева? Что ж, очевидно, мы не станем тратить зря ни единого клочка плодородной украинской земли. Лучше всего, если здесь заколосится золотая пшеница. Что вы на это скажете?

— Наконец вы заговорили настоящим своим языком.

— Так вот: Украина должна будет стать для нас поставщиком хлеба, сырья и рабов. Жизнь аборигенов, которые тут уцелеют, будет низведена до однозначности, до примитива. Никакой истории, никаких воспоминаний о прошлом величии. Только погоня за куском хлеба насущного, повседневного, только работа. Что вы на это скажете?

Отава молчал. Он и сам это уже передумал сотни и тысячи раз, не верил, что такое может быть, но перебирал наихудшие предположения, готов был ко всему. И все-таки не стерпел:

— Врете! Не удастся!

— Вашего народа уже нет. Украина вся уже завоевана войсками фюрера. Но зачем нам политические дискуссии? Мы с вами люди искусства и истории. Может, я нарочно сгустил краски, чтобы вас напугать. Может, слишком далеко заглянул в историю. Нас ждут дела неотложные. Само провидение послало меня, чтобы я не только спас вас от простого физического уничтожения, но еще и дал возможность реабилитации духовной. Открою вам еще одну большую тайну, о которой тут не может знать никто. Мы создаем невиданно большой музей мировой культуры на родине фюрера, в городе Линц. Там будет собрано все созданное высочайшим проявлением германского духа и все лучшие достижения варваров. Две или три наиболее показательных фрески Софийского собора мы тоже поместим в музее, а под ними напишем: «Открыта профессором Отавой в Софийском соборе в Киеве». Вы прославитесь на весь мир. Поймите! Художники, которые строили этот собор, неизвестны. Весь мир наполнен анонимами, великими и никчемными. Но вы подниметесь над всеми!

— Более всего я поднимусь в тот день,— медленно произнес Отава,— когда всех вас вышвырнут с моей земли, из моего города, из моей жизни.

— Я советовал бы вам подумать, профессор Отава. Армия фюрера непобедима. Все ваши упования напрасны. Вас ждет либо слава вместе с нами, либо...

— Я не боюсь ничего,— сказал Отава.

— У вас есть сын. Вы должны позаботиться и о его будущем.

— Не нужно трогать ребенка.

— К сожалению, в зоне военных действий...

— Прошу вас прекратить этот разговор,— устало произнес Отава,— все равно вам ничего не удастся добиться от меня. Никакими угрозами!

— Ну что же,— развел руками Шнурре,— я очень сожалею, профессор Отава, я сделал все, что мог. Проявил максимум терпения.

— Да. Вы в самом деле проявили терпение, достойное удивления.

— Надеюсь все-таки, что мы еще увидимся,— уже направляясь к двери, как-то вроде бы гмыкнул Шнурре.

— Возможно. Только при других обстоятельствах.

— До свидания,— сказал немец.— Вы слышите: я говорю «до свидания».

— Возможно.— Отава провожал его так, будто сила здесь была на его стороне, а не на стороне штурмбанфюрера.

Когда он, закрыв за немцем наружную дверь, возвращался в комнату, в темном коридоре Борис обнял его за шею и горячо зашептал:

— Правильно ты ему дал, отец! Во как правильно отшил ты этого наглого фашиста!

— Ты что — подслушивал? — строго спросил его отец.

— Немножко.

— Разве я учил тебя подслушивать?

— Но я боялся, что этот тип причинит тебе зло.

— Ну ладно, ладно. Иди спать. Две бессонные ночи подряд — это уже слишком даже для такого неугомонного парня, как ты.

— Что ты хочешь теперь делать? — спросил сын.

— Подумаю. У нас с тобой уйма времени, чтобы подумать. А пока — в постель! Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, отец.

А утром к ним наконец все-таки пробралась кума из Леток. Они долго о чем-то шептались с бабушкой Галей на кухне, потом бабушка Галя просунула голову в комнату, где спал Борис, и спросила:

— Не спишь?

— Давно не сплю.

— Ну, так пойди скажи профессору, что кума говорила... Разбили этих бусурманов под Москвой...

— Что-о? — закричал Борис, соскакивая с кровати и подбегая к двери, но бабушка Галя, зная его бурный характер, предусмотрительно спряталась, да так быстро, что парень не нашел ее уже и за дверями. Тогда он помчался в кабинет, зная, что отец если и поспал малость, то уже все равно там, сидит, что-то читает или просто думает, так, будто ничего не случилось, будто Киев не оккупирован, будто нет на свете войны... Но ведь он не знает самого главного!

— Отец! — изо всей силы закричал Борис, влетая в кабинет.— Отец, наши разбили их под Москвой и гонят, гонят!..

Сам выдумал, что гонят, сам догадался, потому что жаждал этого всем сердцем, еще не постиг законов военной логики (если разбили, то должны гнать и преследовать),— просто руководствовался своим страстным мальчишеским желанием, представлял, как где-то в глубоких снегах беспомощно барахтаются все эти ничтожества в разноцветных шинелях, в чванливо-смешных фуражках, в пилотках с прицепленными к ним наушниками-заплатками, со всеми их позументами, нашивками, погонами, знаками различия, с их орлами и черепами.

— Откуда ты взял? — охладил его пыл отец.— Что это — выдумка?

Только после этого Борис немного успокоился и рассказал о бабушке Гале и ее куме, после чего приступ радости охватил уже и профессора; оба они, не сговариваясь, вылетели из кабинета и побежали на кухню, чтобы расспросить куму из Леток, услышать лично от нее эту весть, лучше которой не могло быть нигде на свете.

Кума сидела, развязав все свои платки, раскрасневшаяся, несмотря на холод в нетопленной кухне, настроение у нее было такое, словно это она сама разгромила фашистов под Москвой, а теперь села немного передохнуть, чтобы гнать их дальше, и из Киева, и со всей нашей земли.

— А эти подлые души фашистские,— говорила она,— забрали у меня бидон и аусвайс свой паскудный забрали, говорят: больше уже никс, уже в Киев нельзя, сиди дома, потому как в Киеве устанавливается, мол, новый порядок, а я же знаю, сто чертей ему в пуп, какой это порядок, знаю ж, что

уже наши всыпали им как следует под Москвой, а оно мне врет, что в Киеве порядок, так ты, баба, сиди в своих Летках из-за этого... Похоже, даже бабы теперь боятся. Детей не пускают в Киев. По первое число задали им наши под Москвой! Хотела я этому бандюге фашистскому сказать, что врешь ты, собака, о «новом порядке», это тебя под Москвой трахнули... но подумала: ежели скажу — посадят в гестапу... А дома ж корова недоепая... Да и корову еще заберут... Это ж я потому только и выкручиваюсь, что немецкому коменданту молоко ношу, чтоб он им захлебнулся и подавился!

Все трое стояли, смотрели на куму из Леток, никто не прерывал ее, никто не спрашивал, не интересовался, откуда она узнала о событиях под Москвой, никто не подвергал сомнению ее весть, потому что кума из Леток воспринималась как посланница от широкого свободного мира в этом растерзанном оккупантами, умирающем городе; они поверили бы даже выдумке, лишь бы только эта выдумка поднимала их дух, усиливала веру в будущее, а тут же была чистая правда, профессор Отава вспоминал события вчерашнего дня, для него теперь стала понятной занятость Шнурре утром, вежливость Оссендорфера, внезапная поспешность штурмбанфюрера в стремлении склонить его, Отаву, на выполнение их гнусного плана ограбления Софии. Да, да, они уже забегали, засуетились, как волк в облаве, они уже готовятся к бегству и отсюда, теперь они особенно опасны, потому что, удирая, будут пытаться забрать с собой самые дорогие сокровища и причинить ужасные разрушения; вот теперь как раз и нужно сделать все для того, чтобы встать на их пути, поломать их планы, не дать им ничего, защитить наши святыни. Сделать это должен каждый на своем месте. И он тоже! Так, как защищал соборы от зажигательных бомб. Но тогда было легче, проще. Там нужен был только песок да еще бессонные дежурства, все это в человеческих возможностях. А как быть теперь? Как?

— Теперича уже им скоро конец,— сказала кума из Леток,— ежели не поморозятся тут ко всем чертям, то перебьют их наши. Вот увидите, товарищ профессор, да вспомните мое слово...

А профессор бился над решением одного и того же вопроса: как, каким способом противодействовать Шнурре? Действительно, как? Если даже оккупантов выгонят отсюда через неделю (а почему бы и нет!), то и в этом случае они в своей бессильной злобе успеют взорвать, разрушить весь Киев, ни-

чего не пожалеют, не дрогнет их рука, как не дрогнула та рука, которая закладывала взрывчатку под Успенский собор. Им в высшей степени наплевать на нашу историю, наше искусство, душу народа нашего!

Но как же предотвратить самое страшное? Как?

И вдруг пришло решение. Он будет дежурить возле Софии. Днем и ночью. Сколько сможет. Чтобы не дать им завезти туда взрывчатку. Для такого собора нужно много взрывчатки. Быть может, десяток, а то и сотня машин. Он не даст!.. Как именно? Ну, встанет перед машинами и не пустит их. Пускай едут через его труп. Ну и что? Разве этим чего-нибудь добьешься? Над твоим трупом взлетит в воздух София. Нужно придумать что-нибудь другое, более действенное. Например, сообщить кому-нибудь, а потом... попросить чьей-то помощи. Партизаны? Но где они? Да и есть ли они здесь?

Где-то кого-то расстреляли, кого-то повесили. Но партизаны ли это? Теперь расстреливают и вешают без всякого разбора, запросто тысячи и сотни тысяч. Взорван мост на Соломянке, взорвана водокачка на станции. Кто это сделал? Партизаны или диверсанты-одиночки? Да и кто знает, быть может, под Софией уже дремлют разрушительные заряды? Сколько времени прошло с тех пор, пока он сидел за колючей проволокой на Сырце? Проверить все это можно только в соборе. Он примет предложение Шнурре только для того, чтобы проверить, нет ли в соборе взрывчатки. А если есть? Или начнут завозить? Что тогда? Обращаться за помощью к куме из Леток? К этой добродушной разговорчивой женщине? Но ведь это же безумие — допускать, что тетка, снабжающая штурмбанфюрера Шнурре молоком, имеет связь с партизанами!

И все же.

— Скажите, пожалуйста,— обратился Отава к молочнице,— я мог бы, в случае необходимости конечно, прислать к вам своего Бориса? Парень еще совсем мал, а тут, сами видите, все может случиться...

— Да боже ты мой! — всплеснула ладонями кума из Леток.— Да вы только бабе Гале скажите, так она его прямо ко мне... Чего ему здесь сидеть? Да и вам бы, товарищ профессор, если бы из Киева да в наши леса, потому как тут же и голод, и холод, и хвашистюры эти.

— Нет, нет,— торопливо произнес Отава.— Я должен быть здесь, я останусь в Киеве, что бы там ни было. А за Бориса благодарен заранее...

Так профессор Гордей Отава принял решение создать свой собственный фронт против фашизма, чуточку наивное, но честное, возможно, единственно правильное в его безнадежном положении решение; никем не уполномоченный, кроме собственной совести, никем не посланный, никем не поддерживаемый, должен был стать он, никому не известный, на защиту святыни своего народа перед силой, превосходившей его в тысячи и миллионы, быть может, раз, но не пугался этого, как не пугался когда-то великий художник, создававший Софию, затеряться во тьме столетий со своим именем и со своими страданиями.

Отава сразу же бросился на лестницу, начал стучать в помещение академика Писаренко, занятое теперь Шнурре, но никто ему не открыл; видимо, штурмбанфюрер и его ефрейтор куда-то уехали, у них теперь «работы» хоть отбавляй, они торопятся награбить в Киеве как можно больше; профессор Отава, кажется, догадался теперь о настоящей миссии Шнурре: наверное, его, как специалиста, послали сюда либо экспертом, либо и просто начальником специальной команды грабителей, которая должна была вывозить в Германию все художественные ценности, найденные в оккупированном Киеве.

Чтобы не терять зря времени, Отава направился к Софии. Возможно, Шнурре там. Возможно, именно в этот момент разнюхивает, в каком месте прежде всего нужно сдирать штукатурку в поисках еще не открытых шедевров, возможно, уже расставляет своих немецких реставраторов...

Но во двор Софии Отаву не пропустили. Не смог он проникнуть туда ни с Владимирской, где стояли два мордатых автоматчика, ни с площади Богдана, под колокольней, где также торчали два охранника. Отава пошел вдоль стены, окружавшей софийское подворье, хотел было возле ворот Заборовского по-юношески взобраться на стену, но по ту сторону послышалась немецкая речь, там, кажется, маршировали солдаты,— всюду, по всему Киеву теперь маршировали солдаты; он снова вышел на площадь Хмельницкого, гетман замахивался своей булавой, картинно вздыбливая над Киевом коня, а неподалеку от него, не боясь ни черного гетманского жеребца, ни взмаха булавы, маршировала сотня немцев, одетых в шинели лягушачье-зеленого цвета, и, чтобы хоть малость согреться, горланила глупую песенку:

Warum die Mädchen lieben die Soldaten?
Ja, warum, ja, warum!

Weil sie pfeifen auf die Bomben und Granaten.
Ja, darum, ja, darum!

По площади двигалось разноцветное воинство, ехали машины с берлинскими регистрационными знаками, козыряние, вытягивание в струнку, выстукивание каблуков — ни малейших признаков того, что под Москвой им нанесено ужаснейшее поражение, что вскоре им придется сматываться и отсюда. Неужели они могут еще долго продержаться? Если бы только он мог кого-нибудь спросить об этом, кто б мог ему ответить. К сожалению, он был один. Избрал добровольное одиночество и теперь должен был искупать этот выбор. Человек в конце концов платит за все.

С Шнурре он увиделся только вечером. Тот метался по Киеву со своим ординарцем-ассистентом весь день, был утомлен, но профессора Отаву впустил в свое помещение охотно, даже с радостью.

— Так будет лучше, мой дорогой профессор, так будет лучше,— мурлыкал Шнурре, пропуская Отаву впереди себя, а тот шел по знакомым некогда комнатам академика Писаренко и не узнавал здесь ничего. Не было книг, не было привычной простой мебели, всюду теперь сверкала бронза, стояла мебель в стиле Людовика XVI (где и набрали в Киеве такого!), дорогие вазы датского фарфора спокойных тонов приморского неба; в серебряных княжеских трехсвечниках истекали воском высоченные свечи, в кабинете — письменный стол в стиле рококо, словно бы привезенный из самого Версаля, за ним — деревянный стул со спинкой, вырезанной в форме двуглавого орла, из мебели русского императорского дома, а с этой стороны — для посетителей — два кресла, глубокие, спокойные, с тусклым отливом темно-вишневой кожи.

— Сигары? Сигареты? — гостеприимно спросил Шнурре.— Ах, я забыл: вы ведь не курите. Тогда — шнапс, коньяк, ром или водка? Прошу садиться. Рад вас видеть в добром здравии...

Он еще хотел, наверное, добавить «с добрыми намерениями», но Отава не стал слушать его до конца, не садясь, не отходя от порога, мрачно произнес:

— Я пытаюсь обдумать ваше предложение, но прежде, чем сообщить о своем решении, я должен осмотреть Софию, чтобы убедиться, что там не причинено никакого вреда.

Не сказал «прошу», вообще ничего не просил — требовал,

и Шнурре то ли сделал вид, что не замечает императивного тона, то ли просто решил не обращать внимания на то, как выражался профессор Отава, для него важна была суть слов профессора, он обрадованно развел руками, шагнул к Отаве, как будто хотел его обнять,— тот даже попятился испуганно,— однако штурмбанфюрер вовремя остановился, воскликнул:

— Завтра утром вы будете иметь пропуск для прохода в собор днем и ночью и можете приступать, профессор! Я рад за вас. Это прекрасно.

— Пропуск также и для моего сына Бориса,— точно так же хмуро произнес Отава,—он мой помощник. Без него я не могу.

— Хорошо, хорошо, все, что скажете. Но присядьте, профессор! Я не могу вас так отпустить! Мы послушаем с вами музыку! Сегодня из Вены передают Гайдна! Ведь вы, наверное, давно слушали музыку, профессор.

— Я слушаю ее теперь каждый день,— сказал Отава и, не прощаясь, направился к выходу, давая штурмбанфюреру возможность ломать на досуге голову над вопросом, какую же именно музыку слушает советский профессор: то ли солдатское пение на улицах, то ли скрытую, приглушенную музыку собственного сердца, жаждущего свободы, или, быть может, подпольное радио, которое в эти дни передает для всех советских людей высочайшую и желаннейшую музыку — музыку первой большой победы под Москвой. Но у Шнурре было полно своих хлопот, чтобы задумываться еще над случайно брошенным словом человека, который все равно ведь завтра станет сообщником.

— Оссендорфер! — позвал он бодрым голосом.

...В соборе было холодно, темно и тихо. Тут можно забыть о суете и неуютности окружающего бытия, замкнуться в своих раздумьях, потому что собор сам по себе представляет идеальную замкнутость, гармонизированную очерченность простора. Собор живет собственной жизнью, обставленный толстенными каменными стенами, он внутри остается вечно подвижным, из тесных придавленностей тектонические массы как бы высвобождаются — тянутся вверх, все выше и сильнее, до тех пор, пока не взлетают в центральном куполе в безграничность, необозримую глазом, от центральной навы вправо и влево отбегают навы боковые, навы гармонично соединяются, сообщаются, незаметно сливаются, переходят одна в другую, их чередование ритмично, будто мелодия элеги-

ческого стиха, опирающаяся на постоянно длящуюся изменяемость; в этом соборе можно ходить без конца точно так же, как вокруг замкнутой в своей вечной красе мраморной колонны, и смотреть тоже без конца, как тот легендарный Нарцисс на свое отражение в незамутненной воде; камни вышли из простора, и простор вышел из камня, мозаики в тихом сиянии смальты мерцают-струятся, будто звезды на небесном куполе, тяжелый сумрачный блеск золота на резном иконостасе подпирает Евхаристию с апостолами, которые в нервной торопливости направляются к святому хлебу, и только Мария Оранта с руками, приподнятыми то ли в благословении, то ли в стремлении защитить людей от беды, кажется неподвижной под сводчатой конхой центральной апсиды, но потом замечаешь, что и она тоже стремится вырваться из-под тысячелетней тяжести, спуститься к людям, влиться в это вечное самодовлеющее движение, которое (единственное) может спасти от мелких, будничных, ничтожных хлопот повседневности, от преступности, грязи, измены, позора.

Этот собор уже с первого дня его существования, наверное, мало кто считал жильем для бога — он воспринимался как надежное убежище человеческого духа, тут сразу обосновался, укоренился дух гражданства и мудрости тех, кто созидал государственность Киевской Руси,— быть может, именно поэтому и не боялись обвинений в богохульстве все те ханы, князья, короли, которые налетали в разные времена на Киев и прежде всего опустошали и оскверняли собор Софии, и каждый пытался стереть его с лица земли, но собор стоял упорно, непоколебимо, вечно, так, словно он не построен был, а вырос из щедрой киевской земли, стал ее продолжением, громким ее криком, ее пением, мелодией, краской.

Диво!

«Заложи же Ярослав град великий, у него же града суть врата златые, заложи же церковь святыя Софии»,— это летописец.

Возможно, строился этот собор в слезах, проклятиях и крови, возможно, с торжественным пением и радостью,— как бы там ни было, но поднялся он в той земле, которая не знала каменных строений, в земле, которую называли землей многих городов, но были это города деревянные, горели они так часто, что не успевала потемнеть еще и стружка на новых строениях; и вот над этими деревянными городами, над при-

вычной непрочностью и временностью вознеслось розовое каменное диво: невиданного величия и красоты храм, который размерами уступал лишь константинопольской Софии, а своим внутренним и внешним убранством, своей пышностью и многокрасочностью не имел равных во всем мире.

«Украшен златом, серебром и камением драгим и сосуды честными, был дивен и славен всем окружным странам, яко же ин не обрящется во всем полунощи земном от востока до запада»,— это Илларион, при котором строилась София, единственный участник, голос которого дошел до нас через века.

Собор был красочен, как душа и фантазия народа, создававшего его.

И стоял он среди темноты, раздоров, бедности и несчастий того времени, стоял неприкосновенный сто тридцать два года с момента его первого освящения, то есть с тысяча тридцать седьмого года, каждое поколение старалось чем-то украсить Софию, каждый князь, мудрый или глупый, щедрый или скупой, стремился показать свою благочестивость и обогащал собор драгоценной посудой, дорогими ризами и редкостными книгами.

Впервые подняли на собор руку князья, вышедшие из той же самой Суздальской земли, где когда-то княжил творец Софии Ярослав Мудрый. В 1169 году Андрей, который впоследствии — о ирония! — назван Боголюбским, послал против Киева ополчения одиннадцати северорусских князей во главе со своим сыном Мстиславом. Лишь два дня длилась осада Киева, а на третий день, двенадцатого марта, после приступа Киев пал, чего не бывало до этого никогда. Карамзин в своей «Истории Государства Российского» с болью написал об этом дне: «Победители, к стыду своему, забыли, что они Россияне; в течение трех дней грабили не только жителей и домы, но и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный, похитили иконы, драгоценныя ризы, книги, самые колокола» (т. II, стр. 316).

Впоследствии предпринимались попытки оправдать этот грабеж стремлением Боголюбского сосредоточить наибольшие святыни в основанной им столице Владимире (так и украденная из Киева знаменитая икона божьей матери вошла в историю под названием Владимирской). Так, словно не один бог для всех князей.

Но нужно называть вещи своими именами. Если ограбил

«мать городов Русских» и самый дивный собор нашей земли один князь и его еще похвалили и назвали Боголюбским, то почему бы не попытаться сделать то же самое и другим?

Через тридцать два года, в январе 1202 года, Киев был взят князем Рюриком Ростиславовичем, который привел себе в подмогу еще и половцев с ханами Кончаком и Данилой Кобяковичем. Горько плакал летописец над судьбой Киева: «И сотвориша велико зло в Русской земли, якого же зла не было от крещения Русской земли... Митрополию святую Софию, и Десятинную святую Богородицу разграбиша, и монастыри все, и иконы одраша, и иные поимаша, и кресты честные, и сосуды священные, и книг, и порты блаженных первых князей, еже бяше повешали на память собе, то все положиша себе в полон».

В 1240 году Киев был снесен с лица земли Батыем. Обрушилась даже Десятинная церковь, в которой пробовали найти свое последнее спасение от татарской орды старики, женщины и дети. И только София, опустошенная, ободранная изнутри, уцелела, стояла над пожарищем, над пеплом и развалинами, и поднимала богоматерь свои руки в молении за Киев на стене, поставленной древним зодчим так прочно, что не взяли ее татарские тараны. Тогда и назвали эту стену Нерушимой, ибо поверили люди, что вечно будет стоять этот великий и предивный собор, вечно будет поднимать, защищая их, свои руки созданная великим художником древних веков женщина со скорбными глазами.

Стоял собор и при князе литовском Гедимине, занявшем Киев через восемьдесят лет после Батыя, и при татарском хане Едигее, который грабил Софию уже в 1416 году, не коснулся его и пожар в Киеве, который оставил после себя крымский хан Менгли-Гирей, подговоренный Иваном Грозным выступить против польского короля Казимира.

Когда уже нечего было грабить, остались одни лишь стены с еле заметными под наслоениями веков фресками и мозаиками, выдалбливать которые никто не стал,— наверное, потому, что высоко или же слишком мешкотно, грабители ведь всегда торопятся (доказательство чему и нетерпение Шиурре, который хотел бы за месяц найти под старинными записями самую драгоценную фреску в соборе и, поскорее вырезав ее, отправить в свой фатерлянд),— тогда настали времена, когда одни стремились как-то надстроить собор, другие же стремились во что бы то ни стало оставить в нем свои следы.

Так, униаты, владевшие Софией тридцать шесть лет, не придумали ничего лучшего, как забелить известью все фрески, и мозаики, и греческие надписи, раздражавшие их глаз, привычный к латыни.

Владыка Молдавский Петро Могила, ставший киевским митрополитом через шесть лет после униатов, был первым, кто восстановил и укрепил собор, подвергавшийся в течение веков стольким опустошительным нашествиям и грабежам. Он поддержал древние стены контрфорсами, возвел новые арки в западной части храма, поставил несколько новых куполов и фронтонов, починил старые купола, надстроил верхние галереи, при нем собор вновь засиял своими мозаиками и фресками изнутри, хотя, кажется, наружные росписи к тому времени были уже уничтожены.

Семи лет не дожил Петро Могила до великого дня. Он умер в возрасте всего лишь пятидесяти лет. Семь последних лет своей жизни он отдал восстановлению и украшению Киева, прежде всего — великой Софии, словно бы предчувствуя день шестнадцатого января 1654 года, когда в соборе митрополит Сильвестр Косов при гетмане Богдане Хмельницком и послах царя Алексея Михайловича свершил торжественную службу в честь воссоединения Украины с Россией.

Еще сто лет — и уже последний великий зодчий и украшатель собора митрополит Рафаил Заборовский поставил в Софии этот вот резной позолоченный иконостас, сделанный карпатскими дуборезами, среди которых прошло детство самого Рафаила, поставил серебряные царские врата (где они теперь?), построил великую Софийскую колокольню с колоколами, самый крупный из которых весил восемьсот пудов.

Можно было бы вспомнить, сколько политических страстей и интриг разбилось о стены этого собора, скольких видел он правителей, скольких грабителей и молельщиков. Много рук строило и защищало собор, еще больше рук, наверное, покушалось на него, но, пожалуй, никогда еще не нависала над Софией такая угроза, как ныне, ибо и войны, кажется, такой не знала ни наша земля, ни все человечество.

Когда-то были просто неумелые, примитивные грабители, теперь вторглись вооруженные всеми достижениями науки и техники каннибалы, которые, грабя, тотчас же заметают за собой все следы своей подлой деятельности, да еще и подводят под свои зловещие грабежи теории о так называемом превосходстве немецкого духа.

Гордей Отава долго стоял, придерживая за руку Бориса, посредине собора, потом они медленно пошли между каменными столбами, пошли по самому дну причудливого цветисто-каменного моря, двое людей, затерянных среди молчаливой пышности, среди вечного излучения гармонии, их шаги отзывались гулким эхом где-то далеко позади, эхо гремело и звучало, как ни осторожно старались они ступать по железным плитам пола; собор показался бесконечным для этих двух, они ходили долго и упорно, до тех пор, пока старший оставил младшего там, откуда они начали свое хождение, велел ему охранять вход от неожиданных посетителей, которыми могли быть теперь только враги, а сам отправился в свои странствия, ради которых, собственно, и прибыл он в собор.

Он поднялся на хоры, постучал там о каждую подпору, проверил каждый известный ему тайник, осмотрел помещение, где сохранялись фрески, вырезанные из стен разрушенного по его вине Михайловского монастыря; фресок там не было, вообще ничего не осталось: герр Шнурре уже побывал здесь, уже вывез для музея фюрера первые свои трофеи. Что ж, Отава и не удивился, утрачено значительно больше, теперь шла речь о том, чтобы не потерять, быть может, самого главного.

Он забрался под самые купола, осмотрел все чердаки собора, не боясь дикого холода и пронизывающих сквозняков, ощупал каждый подозрительный предмет, разрыл каждую кучу лохмотьев, царапая руки, разбросал завалы строительного хлама.

Он проник в подземелье собора. Вероятно, фашисты побоялись сунуться сюда, быть может опасаясь спрятанных мин здесь мог свободно продвигаться только он, ибо на его глазах происходили раскопки, прерванные войной, он сам упорно вырисовывал планы софийских подземелий, стараясь воссоздать их в первоначальном виде и тем самым хотя бы немного приблизиться к разрешению загадки о книгохранилище Ярослава Мудрого. Пусть даже оно давно уже очищено грабителями, пусть он опоздал на несколько столетий, как опаздывали на целые тысячелетия все археологи, раскапывавшие гробницы египетских фараонов, находя в них только следы пребывания ухватистых доисторических воров. Но как знать? Быть может, как тому англичанину, который в конце концов нашел в долине царей запечатанную всеми царскими печатями неприкосновенную гробницу Тутанхамона с ее золо-

тыми саркофагами, ему тоже могло бы повезти и его лопата тоже ударилась бы о камень тысячелетнего свода, под которым лежат спрятанные по велению Ярослава первые книги Киевской Руси, и первая, единственно правдивая подлинная летопись, и все записи, касающиеся сооружения собора и загадочного художника, о котором у Отавы был лоскут пергамента с надорванным именем и недописанным словом?

Он стоял в темном, холодном, сыром подземелье перед беспорядочным завалом глины, за которым, быть может, скрывался тот вожделенный вход, который вел в святая святых. В такой глине много лет назад, еще будучи молодым, Гордей Отава нашел засмоленный горшок, который врос между корнями старинного, бесчисленное количество раз ломанного бурями дуба. Дуб стоял у самой кромки глинистого киевского обрыва, половина его корней уже беспомощно свисала с кручи, он ждал своего конца, и этот конец прилетел с ураганом и ливнем, из-под дуба вымыло остатки земли, за которую он держался, дерево тяжело свалилось набок, выворачивая из глубины новые массы глины, и тогда кто-то увидел эту посудину, зажатую цепкими черными корнями, словно старческими, но еще крепкими в своем упрямстве руками, а поскольку в институте Отава был самым младшим и в такую непогоду никому не хотелось бежать через весь город за перепуганной девушкой, прибежавшей с криком, что нашла что-то «очень историческое», то и послали именно Отаву.

Почти девятьсот лет пролежал этот кувшин, ожидая молодого аспиранта Гордея Отаву, нес к потомкам великую тайну, которой пренебрегла история, капризная и привередливая; благодарение тому далекому предку, который руководствовался в своих действиях ветхозаветной установкой пророка Иеремии: «...возьми сии записи... и положи их в глиняный сосуд, чтоб они оставались там многие дни». Продержались, да не совсем. Влага проникла даже сквозь обожженную глину, испортила половину пергамента, уцелело мало, но и этого оказалось достаточно, чтобы дать Отаве работу на всю жизнь. И все для того лишь, чтобы теперь перечеркнуть всю эту работу, все его поиски, сопоставления, догадки, и — самое страшное — уничтожить собор!

Но он не даст это сделать! Теперь, когда он убедился, что София еще не начинена разрушительной взрывчаткой (видимо, они и в самом деле озабочены были сейчас только тем,

чтобы найти здесь для себя что-то необыкновенное), Отава мог спокойнее и рассудительнее обдумать свое намерение сохранить собор. Прежде всего, не следовало утрачивать контакт с Шнурре, повернуть все дело так, чтобы штурмбанфюреру только казалось, будто он использует советского профессора, на самом же деле — самому использовать фашиста, превратить его в своего невольного помощника и сообщника.

Снова был вечерний визит к штурмбанфюреру, в квартиру академика Писаренко, забитую украденными в киевских музеях уникальными вещами, но на этот раз Отава уже не торопился, разрешил уговорить себя сесть в одно из удобных кожаных кресел, с наслаждением прикасался к скрипящей коже; кожа пахла старой привычной жизнью, в комнате было тепло, потому что немцы наконец отремонтировали обогревательную систему для этого дома, заселенного высокими функционерами, найдено топливо, и вот сегодня с утра эта квартира стала одним из очагов блаженного тепла в замерзшем, голодном, вымирающем Киеве. А кресло так приятно холодило в теплой комнате, хорошо было бы посидеть здесь, закрыв глаза, подумать о своем. Шнурре включил «телефункен», из приемника текла светлая моцартовская мелодия, еще где-то в Европе находились не тронутые войной музыканты, и дирижер встал за пульт в неизменном фраке, постукивал палочкой, призывая к вниманию и сосредоточенности, и скрипачи подсовывали под свои подбородки сложенные вчетверо белые платочки, чтобы не вытиралась дека скрипки, а в конце дирижер благодарно пожимал руку первой скрипки, кланялся оркестрантам...

— Так вот,— сказал Отава, потому что Шнурре молчал, делая вид, будто весь заполонен музыкой, на самом же деле выслеживал каждое движение Отавы и, весь внутренне напрягшись, ждал, что он скажет,— я осмотрел собор...

— И? — не удержался все-таки Шнурре.

— В самом соборе ничто не разрушено и не задето, но исчезли...

— Вы о некоторых вещах, которые там сохранялись? — прервал его Шнурре.— Мы их просто перепрятали в более надежное место...

Отава не стал уточнять, что это за «надежное место», потому что и так хорошо знал, да и не это его сейчас интересовало в первую очередь.

— Как вы, очевидно, понимаете,— осторожно продолжил

Отава,— мне нужны работники. Опытные реставраторы. Люди, знающие свое дело...

— Непременно, непременно,— покачал головой Шнурре.

— Я не знаю, удастся ли мне разыскать моих сотрудников, с которыми я вел реставрационные работы перед войной, потому что у меня нет никаких данных, где и кто из них сейчас находится. Остались ли они в Киеве, отправились ли на фронт или, быть может, убиты, арестованы...

— Я об этом подумал уже,— сказал Шнурре.

— Несколько преждевременно.— Отава не имел намерения уступать в чем-либо.— Людей должен подбирать я сам. Раз я отвечаю...

— Мой милый профессор,— Шнурре снова перехватил разговор в свои руки, снова стал хозяином положения, считая, что советский профессор уже положен на обе лопатки,— разрешите напомнить вам, что отвечаю все-таки я. Конечно, в свою очередь за непосредственное выполнение отвечаете и вы, но есть высшая ответственность, тяжесть которой ложится на мои плечи. Поэтому я должен был заранее позаботиться обо всем. Вы уже завтра будете иметь необходимое количество людей,— это опытные, высококвалифицированные реставраторы, вы не разочаруетесь в их умении и в их трудолюбии...

— Кто эти люди? — встревоженно спросил Отава.

— Это прекрасные немецкие реставраторы,— правда, на них солдатские мундиры, но тут уж ничего не поделаешь, да это и не играет роли, в каком мундире тот, кто выполняет свою работу умело и старательно.

— Но мои помощники...

— Об этом не может быть и речи. Кроме вас, в собор не будет пущен ни один из местных жителей! Это святыня искусства, и мы не можем рисковать!

Отава молчал. Они не могут рисковать... Он метался в безвыходном тупике. Что делать? Снова отказываться? Плюнуть этому эсэсовскому профессору в харю? Броситься на него? Ну и что? Разве этим спасешь собор? Представил себя во главе бригады ефрейторов-реставраторов. Если в Киеве есть подпольщики, они должны выследить его в первые же дни работы и убить, как шелудивого пса. Профессор Отава возглавляет группу высокоопытных немецких реставраторов в Софийском соборе! Открытия уникальных фресок, сделанные профессором Отавой при помощи группы высокотехничных немецких реставраторов! Теперь все его усилия казались ему

точно такими же наивными, как перетаскивание мешков с песком в первые недели войны. Пока он таскал песок, ожидая фашистов с воздуха, они вошли в Киев с земли. Он пытался спасать соборы с крыши, а враги заложили тонны взрывчатки в подземельях, и Успенский собор взлетел в воздух, остался лишь обломок стены с печальными фигурами фресковых ангелов.

Но отступать было некуда. Он останется упрямым хотя бы в своей наивности!

— Хорошо,— сказал он, вставая с нагретого кресла,— не скрываю, что мне горько, неприятно, я привык работать со своими людьми, но все равно не мне принадлежит право решать, я могу лишь соглашаться или нет, а раз уж я в начале разговора дал согласие, то не стану нарушать свое обещание.

— Вы нравитесь мне больше и больше, мой дорогой профессор,— встал со своего императорского стула и Шнурре.— Может, еще побудете у меня? Мой Оссендорфер готовит холостяцкий ужин...

— Благодарю, мне хотелось бы отдохнуть.

— Я благодарю вас, профессор. Итак, работы можете начинать завтра утром. Все будет к вашим услугам.

Когда утром Отава вместе с Борисом пришел в собор, он оцепенел. Если и вырисовывались когда-либо в его представлении апокалипсические видения конца мира, то вот одно из них! Посредине центрального нефа, перед резным иконостасом семнадцатого столетия, полыхал огромный костер, а вокруг него подпрыгивали одетые в длинные, широкие, будто поповские рясы, зеленоватые шинели немецкие солдаты; протягивая к пламени руки с растопыренными пальцами, они беспорядочно напевали:

Warum die Mädchen lieben die Soldaten?
Ja, warum, ja, warum!

Раскрасневшиеся морды, мертвенный блеск вытаращенных на огонь глаз, черная копоть вырывается из подвижного круга, создаваемого этими зловещими фигурами; весь собор замер, в нем нет того вечного гармонического движения, которое еще вчера охватывало здесь профессора и его сына,— все застыло и притихло, даже эха звуков сегодня здесь нет, и слова бессмысленной песенки, только что произнесенные, как бы снова падают назад, в открытые черные рты, в эти идиотские

солдатские глотки, и глотки давятся словами и выталкивают их снова и снова:

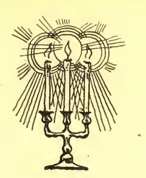
Ja, warum, ja, warum!

— Кто здесь старший? — воскликнул Отава, пересиливая визгливые напевы солдатни.

Какая-то фигура отделилась от круга.

— Я профессор Отава,— сказал Гордей,— отвечаю за все работы. Требую абсолютного послушания. Немедленно погасить костер и не сметь больше творить здесь подобных безобразий! Это — собор, запомните! Здесь не жгли костров даже самые дикие люди в истории.

По-немецки слово «собор» звучало многозначительно: «Дом». А может, это так показалось Отаве? Может, он уже тогда предчувствовал, что это будет его последний приют, его последнее убежище, последний и вечный дом?



Год
1015
СЕРЕДИНА ЛЕТА. НОВГОРОД

Но Бог не вдасть дьяволу радости.

Летопись Нестора

Высокие свечи в серебряном трехсвечнике горели в княжеской опочивальне до глубокой ночи.

Ярослав читал привезенную ему за большие деньги из Болгарии книгу святого отца церкви Иоанна Дамаскина. «Нет ничего выше разума, ибо разум — свет души, а неразум — тьма. Как лишение света творит тьму, так и лишение разума затемняет смысл. Бессмысленность присуща тварям, человек же без разума — немыслим. Но разум не развивается сам собою, а требует наставника. Приступим же к единому учителю истины — Христу, в котором заключаются все тайны разума. Приблизившись же к дверям мудрости, не удовольствуемся этим, но с надеждой на успех будем толкаться в нее».

Князь отодвинул книгу, долго смотрел в светлый огонь свечи. Ждал, что, пробужденные книжной премудростью, придут собственные мысли, но в голове стояла какая-то тяжелая, колеблющаяся стена, сердце князя билось ускоренно, будто после длительного бега, он с трудом удерживался от того, чтобы не вскочить и в самом деле не побежать куда-нибудь. Куда же? Жил в последние месяцы в душевном смятении, ощущал растерзанность сердца. Прикусив губу, снова взял книгу в руки.

«Хотя истина не нуждается в пестрых украшениях, но они необходимы для отрицания тех, кто опирается на ложный

разум. Истину надлежит исследовать не празднословием, а смирением».

Если бы кто-нибудь да мог возражать ему в чем-либо! Вокруг было только послушание и угодливость — повсеместные спутники княжеской власти. Разве лишь Забава? Но прочь, прочь! Речь идет о делах куда более высоких. Ему нужна только мудрость, только просветленность разума, а все, что мутит, затемняет, сбивает с толку,— прочь!

«Что есть философия? Философия есть страх божий, добродетельная жизнь, избегание греха, удаление от мира, познание божественных и людских речей, она учит, как человек делами своими должен приближаться к богу».

Книга умудренного инока из иерусалимского монастыря святого Саввы состояла из семидесяти глав, и князь долго бился над трудными словесами, осиливая в себе бурление крови, пока не уснул сном тяжелым и беспокойным после позднего чтения.

Уже ударили первые морозы, наладился санный путь в Новгород, князь ждал вестей, но вестей не было ни из Киева, ни из варяг, зато, словно бы в предчувствии возвышения Ярослава, двинулись к нему паломники, странствующие иноки, святые люди, которые побывали в далеких заморских землях, а теперь разносили по всей Русской земле чудеса, видеть которые они сподобились. Видели же они в Иерусалиме на месте распятия Иисуса Христа расселину, сквозь которую пролилась его кровь на голову Адама. Видели столб Давида, где он сложил псалтырь. Видели колодец Иакова, возле Сихема, где Иисус беседовал с самаритянкой. Величайшим же чудом была в Иерусалиме светлость, которая нисходит с неба в час вечерний в великую субботу и зажигает кадила. Светлость эта похожа на киноварь, багряна она, как кровь, а кадила загораются от нее только православные. Подносили свечу, зажженную от этого небесного свечения, к бороде, но борода не горела.

Паломников приглашали на княжеские пиршества, место для них отводилось рядом с Ярославом. Подавали им множество грибных блюд, мясо, жаренное на огне, дичь, выставляли кубки и ковши с пивом, медами, фряжским вином; но святые люди довольствовались одним лишь хлебом да водой, клали смиренно на дубовый стол свои никогда не мытые руки, скрюченные от ломоты в костях, с потрескавшейся, похожей на воловью кожей, ворочали медленно гигантскими, как медвежья шуба, бородами, отращиваемыми нарочно, чтобы противопоставить настоящую мужскую красоту бесовскому женскому

безбородству. Не живи для себя, а для бога, заботясь о жизни вечной. Ум, отдаляясь от всего внешнего и сосредоточиваясь во внутреннем, возвращается к тебе, то есть соединяется со своим словом, которое пребывает в мысли по естеству, через слово соединяется с молитвой, и молитва восходит в разум божий со всей силой любви и усердием. А молиться нужно ежечасно. Как святой Павел, совершавший ежедневно по триста молитв и, чтобы не сбиться со счету, закладывавший за пазуху триста камешков, выбрасывая по одному после прочтения молитвы. А чтобы соединиться с богом в помыслах своих, нужно избегать рынков, городов и людского шума, ибо нет на свете большей пагубы, нежели людской гомон, игрища, смех и кощунства. Беги от них. Возлюби молчание, живи в пещерах, как святые отцы-пещерники, или в дуплах деревьев, как иноки-дендриты, кто и на столбе стоял, как Симеон-столпник, и никакие соблазны земли не вынудили его спуститься оттуда, а иные ходят нагими, еще другие лежат на земле и не поднимаются, ибо подняться можешь только для греха, а те носят железные вериги с медными крестами на голом теле, и не было мук, которых не вынесли бы они ради очищения от греховности. Святого Макария, когда он занимался рукоделием, укусил комар. Макарий задавил комара, а потом, раскаявшись в своей нетерпимости, осудил себя на шесть месяцев сидения голым возле болота. Комары искусали его так, что люди могли узнать Макария только по голосу, думали — прокаженный.

Иноки переносили столько скорби и печали, что людскими устами это даже выразить невозможно.

Человек — образ божества, поэтому должен стремиться к красоте первозданной, а она дается лишь уничтожением плоти. Был святой человек, который носил, не снимая, каменную шапку. А другой оковал себя девятисаженной цепью. Один не спал вовсе, не ложился и не садился, а для большей бодрости держал в руках камень, чтобы тот своим падением будил его, не давал уснуть. Пищу принимали только самую простейшую и в самых малых количествах. Один или два раза на неделю. Если же одолеют хворости, то и вовсе не употребляй еды, а питайся лишь водой и соком. А был святой человек, который ел только сырую землю. Ибо еда, слава, богатство, красота, как весенний цвет, приходят и исчезают. А человек создан для небесных благ, поэтому должен испытывать отвращение ко всему земному.

А у князя перед глазами стояло только земное, о чем бы

там ни рассказывали монахи. Не слышал он смрада от немытых странников, ибо думал о запахе свежей стружки, доносившемся оттуда, где новгородские плотники строгали доски для челнов и насадов[1]. Ярослав сам ежедневно пересчитывал новые суда, ибо знал очень твердо: идти на Киев, против могучего князя Владимира, нужно с силой великой, а если сумеет посадить все свое войско на кораблики, то выйдет навстречу Великому князю нежданно и негаданно. До слуха его доносился звон молотов в задымленных кузницах, и сквозь этот звон прорывалась славная и бодрая песенка:

Кували мечі два ковалі,
Гей, два ковалі да три помагали,
Да од неділі да й знов до неділі...

А мечи ковались для простых воинов за день, а для воевод — и по семь дней. Один кузнец с помощником выковывал меч начерно, а другой помощник точил на точиле. Кузнец второй руки выравнивал и выглаживал меч, закалял его, наводил блеск, а на рукоятях дорогих мечей рядом с яблоком и перекрестьем чеканил еще зверей или птиц.

А потом вспоминался вдруг Ярославу чудский божок Тур — медный идол в образе человека, имеющего конское срамное тело, бесовские игрища вокруг Тура среди снегов, в затаившихся пущах. И какое им было дело в их сладких утехах до тех, затерявшихся среди палестинских пустынь, которые не имеют рядом с собою женщины, отбрасывают плотскую любовь и живут среди пальм!

С детства ненавидя свое несовершенное тело, прикованный к постели, Ярослав сквозь окошко всматривался в окружающий мир, видел его буйность, его неудержимость в развлечениях, его жажду к радостям и наслаждениям; быть может, именно тогда, в зависти, возненавидел он все это и возрадовался, прочтя в старой книге о древних зсеях: «Хотя в это и трудно поверить, на протяжении тысяч поколений существует вечный род, в котором никто не рождается, ибо отвращение к жизни среди других людей способствует увеличению их количества». Но потом встал на ноги, сам изведал прелести жизни, для него стало открытым и доступным все сущее, почувствовал себя человеком, желания пересиливали в нем чистые размышления, желания умножались с каждым днем, княжеская власть сопряжена была с множеством забот, но дарила она и множест-

[1] Насад — речное судно с поднятыми бортами.

во наслаждений, от которых он не в силах был отказаться. И вот демоны противоречия разрывают ему душу. Приученный к сладкому яду книжному, тянется и дальше к святым людям, которые несут с собой божью мудрость. А одновременно, жаждая радостей жизни в простейшем их проявлении, подталкиваемый горячей кровью, рвался к ним дико и неукротимо — так, что даже самому становилось страшно, и тогда он пытался замолить грехи свои. Так и вертелся в дьявольском заколдованном кругу. Ибо не зря ведь сказано у самого бога: «Не будет дух мой перевешивать в человеке, ибо он — плоть».

После той дождливой ночи, проведенной в хижине Пенька, князь несколько дней постился и молился горячо и ревностно, а потом, когда на дворе была еще бо́льшая непогода, словно бы подталкиваемый холодными небесными водами, сорвался среди ночи прямо из церкви, потихоньку вскочил на коня и один, без охраны, без сопровождения и соглядатаев, помчался за Неревский конец, в Зверинец, за речку Гзень. В темной хижине еле теплились остатки костра, Забава спала у глухой стены, Пенька не было дома, он, как обычно, болтался где-то по лесам или же пробовал свежесваренное пиво на Загородском конце. Ярослав молча схватил Забаву, начал закутывать в привезенное с собой огромное корзно, она спросонку негромко вскрикнула, смеялась приглушенно и волнующе; окинув взором хижину, князь снял с шеи тяжелую золотую гривну заморской работы, положил на видное место, чтобы Пенек догадался, куда исчезла дочь, понес Забаву на руках к коню, посадил ее впереди себя в седло, сказал хрипло: «Держись за меня крепко».

Она прижалась к нему, он ощутил жар ее молодого тела даже сквозь промокшую одежду, кровь у него в жилах гудела и клокотала темно и отчаянно, он боялся не столько уже за девушку, сколько за себя, попросил ее снова: «Обними меня за шею!» Она точно так же молча обхватила его шею рукой, прижалась к нему еще сильнее, а ему и этого было мало, попросил еще: «Обними обеими руками». Забава засмеялась еще тише; сказала сквозь этот бесовский смех: «А у меня нет двух рук». Ярослав сначала не понял, о чем она говорит. «Как это нет?» — «А так. Однорукая я. Имею только левую руку. Медведь еще маленькой искалечил». Он не поверил. «Как же так? Ты ведь была с двумя?..» Забава смеялась заливисто и насмешливо. «Слепой был, княже. Ослепленный и сдуревший».

Он аж отпрянул от нее. В самом деле, бесовское зелье! Обманывает или, быть может, так задурила ему голову, что он

и впрямь не заметил тогда? Но ведь обнимал же ее! Билось у него на груди ее могучее, молодое, как весенние листья на березах, тело! И ее сердце постукивало рядом с его сердцем. «Ну, обними меня крепче, хоть одной рукой»,— попросил он. Забава послушалась. «С одной рукой ты тоже мне люба. Назову тебя однорукой». Она продолжала смеяться. Конь осторожно ступал между темными деревьями. «Назову тебя Шуйца,— сказал князь,— ни у кого не будет такого имени!» — «А мне все равно»,— засмеялась она. «Будешь всегда рядом со мной»,— пообещал Ярослав. «Почему бы это я должна быть возле тебя?»— «Потому что полюбил тебя».— «Ой, врешь, княже. Куда везешь меня?» — «А куда бы ты хотела?» Лучше бы не спрашивал. Не знал, что вызовет в ней этими словами адский взрыв, который сотрясет ее тело, нальет его твердой холодностью. Забава качнулась, чуть не упав с коня, смех ее прервался вмиг. «Что?— крикнула она гневно.— Никуда! Никуда, слышишь, княже!» — «Ну, что ты,— попытался он угомонить ее, будучи не в состоянии понять, что с ней стряслось,— если не хочешь на княжий двор в Новгород, поедем в Ракому, там никто, никто не будет ведать, будешь там...» — «А не буду же, нигде не буду твоей наложницей!» — крикнула она почти в отчаянии, почти сквозь слезы, которые тоже оставались непостижимыми для князя. «Буду всегда собой, свободной, не хочу ничего от тебя!» Она выскользнула из корзна, проворно спрыгнула с седла, утонула во тьме, будто в черной пропасти.

— Шуйца!— испуганно как-то крикнул Ярослав.— Забава! Куда ты?

Она исчезла, будто ее и вовсе не было на свете.

— Возьми хотя бы корзно, простудишься!— крикнул он еще в безнадежность тьмы.

В ответ — ни шороха, ни звука.

Тогда он, озверевший, поскакал на Неревский конец к усадьбе посадника, яростно стучал в высокие деревянные ворота, поднял всех, вызвал под дождь перепуганного насмерть и пропахшего теплыми лебяжьими перинами, разнеженного Коснятина, сказал с понурой твердостью:

— Вели построить для меня дворище в хорошем месте за Зверинцем в далекой пуще, и как можно скорее и лучше. А еще: чтобы никто не ведал, окромя тебя и меня.

Не было на свете таких плотников, как новгородские! В скором времени возник в лесной глуши, словно бы по волшебству, просторный двор, окруженный дубовым частоколом,

с привратной и угольными башенками в деревянных узорах, а в том дворе — дом богатый из бревен светлых и звонких, с просторными подклетями, и кладовки, конюшни, варницы, и погреба, и двенадцать берез белых как снег, во дворе,— старались плотники, еще больше старался Коснятин, чтобы угодить князю, но не угодил, ибо, когда привез Ярослава, тот ничего не сказал, лишь спросил недовольно:

— А церковь?

— Думал, не ты тут будешь жить, княже,— доверчиво сказал Коснятин.

— Делай, что велят.

Церковь ставили стрельчатую, высокую, выше берез, но не просторную — лишь бы хватило помолиться одному или двоим, и хотя никто и не знал, зачем возводится таинственная усадьба, все равно хитрые плотники, помахивая блестящими топорами у самой бороды бога, напевали похабные песенки, но и на это князь не обратил внимания и снова сорвался с молитвы и ночью по припорошенной снежком дороге летел одиноко к убогой хижине, растормошил сонного Пенька, а Забава-Шуйца, словно бы ждала князя еженощно и не спала, сразу же согласилась выйти с ним, чтобы не тревожить далее отца, и они остановились на морозе, возле запаленного быстрым бегом коня, снова Ярослав утратил речь и разум, снова гудела в голове у него темная, тяжелая кровь, а Шуйца смеялась порывисто, манящее, он схватил ее в свои медвежьи объятия, так, что все у нее затрещало, но девушка не вскрикнула, не вырывалась, тогда он посадил ее в седло; все повторялось точно так же, как и в дождливую осеннюю ночь, с той лишь разницей, что теперь стояла над землей морозная прозрачность, а внизу белели снега и деревья черно и зелено обозначали им дорогу, вели, звали дальше и дальше; быть может, потому Шуйца и не спрашивала, куда он везет ее, сидела молча, прижималась к Ярославу, обнимала его за шею своей шуйцею, иногда изгибалось ее молодое тело в смехе, князь шалел больше и больше от ее чар, как вдруг снова, будто вселился в нее нечистый, отпрянула она от Ярослава, крикнула с ненавистью:

— Опять везешь меня куда-то?

— Одна там будешь,— сказал он чуть ли не нищенским тоном,— клянусь тебе всеми святыми! Одна, сама себе хозяйка. Хочешь — боярыней сделаю тебя, хочешь — как хочешь...

— Никем не хочу — только собой.

— Собой будешь...

— А куда?

— И сам не знаю.
— Это уже лучше.
— А я уже сам не свой.
— Еще лучше.
— Не князь, и не Юрий, и не Ярослав.
— Это...

Она не спрыгнула с коня, снова прижалась к Ярославу, потом еще раз отпрянула, попыталась заглянуть в его темные глаза.

— Только не подумай обмануть. Как только замечу — убегу сразу.

— Не убегай,— попросил он,— не обману, поверь мне..

— Ежели не князь то молвит, поверю.

— Не князь. Человек.

Шуйца обняла его за шею, так и ехали дальше.

Уже начинало светать, когда добрались они до новой усадьбы. Сонные плотники, в своей рабочей спешке, готовились подниматься под небо, щекотать богу бороду топорами, а еще больше — скабрезными припевками. Белые березы возвышались за дубовым частоколом, белые березы подступали отовсюду и тут, на вольной воле. Князь остановил коня, Забава смотрела на это чудо, которое — теперь уже знала это точно — сделано лишь для нее, еще неизведанное чувство властности мало ее заботило, спросила лишь:

— Там кто-то есть? Слуги?
— Плотники. Достраивают церковь.
— Зачем она?
— Для бога.
— Обошелся бы твой бог и без церкви.
— Грех.
— А я?
— И ты грех.

— Тогда заверни меня в ведмедно, чтобы никто не узнал, что ты везешь.

— Все равно будут знать.
— А я не хочу.
— Рот людям не заткнешь.

— А ты ведь князь — заткни. Скажи: оторвешь язык каждому... И еще лучше: вели сразу же отрезать всем им языки.

— Велю.

— Так поскорее заворачивай меня в ведмедно, а то я еще чего-нибудь возжажду в дурости своей!

Он поцеловал ее в губы, впервые отважился на это, поце-

луй был — словно упал в терпкое море и утопает в нем, будучи не в состоянии вынырнуть. Потом сгреб Шуйцу в охапку, завернул в медвежью шкуру, положил поперек седла, словно что-то неживое, и так въехал в ворота, предусмотрительно открытые сторожем: ему хотели помочь снять ношу с седла и внести в терем, но Ярослав прикрикнул строго:

— Посторонитесь, сам. И не пускать ко мне никого.

Неужели это было в самом деле? Неужели с ним?..

Ничего не мог припомнить, кроме тихого свечения ее тела, да еще — как в изнеможении отбрасывала она голову, и шея ее вытягивалась нежно-нежно, и на устах жила лукавая улыбка, и тело светилось так, что он со стоном закрывал ладонями глаза, но сквозь пальцы било светом ее тело, снова и снова, без конца, свечение поющее, омрачающее разум, сводящее с ума.

Оторвавшись от нее, он побежал в недостроенную церковь, ревностно молился под насмешливые песни плотников с горы, там его и нашел Коснятин, который привез известие о том, что пришла варяжская дружина с Эймундом во главе, но князь, похоже, и не слушал и не слышал ничего, не приглашая посадника в дом, прямо на морозе передал ему свои повеления:

— Останусь еще здесь. Убери всех отсюда, и без промедления.

— Не закончили еще церковь.

— Так пускай стоит. И всех убери мужчин. Поставь женщин. Одних лишь женщин. И прислужниц, и на работу, и для стражи.

— Невиданное диво!— Коснятин не скрывал улыбки на своих сочных губах.

— Делай, что велят.

— А варяги?

— Какие варяги?

— Прибыла дружина. Эймунд-воевода.

— Похлопочи. Дай пристанище, еду. Вернусь — начнутся сборы.

— На Поромонином дворе их поселил.

— Быть посему. Жди меня.

— Долго тут будешь, княже?

— Не знаю. Бог знает, всевидящий и всезнающий.

А возвратился он не к богу, а к ней, к Шуйце, застал ее в слезах; быть может, почувствовала она в одиночестве весь страх содеянного с этим чужим, совсем неведомым ей челове-

ком, пугалась завтрашнего дня, а может, это были слезы злости на самое себя и на него. Ярославу стало жаль девушки, он закутывал ее в беличьи одеяла, утирал ей слезы сильной своей рукой, рукой мужа, которая одинаково умело держала меч и писа́ло.

— Женился бы на тебе,— сказал он, вздохнув,— но княжество требует от человека больше, чем ему хочется.

— Да и не нужно мне твое княжество,— ответила она сквозь всхлипывания.

— Многое стоит между людьми, преодолеешь — тогда радость, но не всегда есть возможность устранить то, что разделяет. Может, я тоже княжеству не рад, но ждут меня еще дела большие.

— Нудный ты и никудышный, когда князь,— сказала она злобно.

— А кого ж ты приветила во мне? Не князя разве?— спросил он чуточку с обидой.

— Мужа приветила. Помрачение твое и на меня нашло.

— Будешь всегда со мной. В походах и в городах.

— Останусь тут. Ладно выдумал это подворье. Далеко от всех. Не люблю, когда суетятся вокруг люди. Тишину люблю, а с тобою — тоже не хочу.

— Если бы ты только могла стать моей женой...

— Не стала бы никогда. Не хочу разувать никого. Волю жажду...

Тогда он сказал ей о своем повелении. Чтобы жила здесь с одними женщинами.

— Чтобы их немного было. И не назойливых,— сказала она.

— Госпожой над ними будешь.

— Не знаю, что это такое.

— Когда узнаешь, понравится.

— Кто ж это знает...

— А не заскучаешь здесь?

— Ежели заскучаю, убегу к своему Пеньку. Там мне любо. Там — самая большая воля. Среди деревьев и зверей.

— Будешь ждать меня?

— Приедешь — тогда увижу. А теперь еще не ведаю.

Она отталкивала его от себя своей непокорностью, на самом деле еще сильнее привлекая, опьяняя. Он снова махнул на все дела в Новгороде, и снова было то же самое мутное опьянение и оцепенение, пока, стиснув зубы, нагнал себе в сердце гнева на самого себя и собрался с силами оторваться

от Шуйцы. Оставил незаконченную церковь (да и будет ли когда закончена она!) и недолюбленную Шуйцу (да и можно ли долюбить до конца женщину, милую твоему сердцу!).

В Новгороде Коснятин встретил его со свитой, князь велел сразу же ехать к варягам, на Поромонин двор, что в Славенском конце. Питал он слабость к варягам, едва ли не такую, как к странствующим инокам, знал ведь, что в путешествиях человек обогащается умом, впитывает в себя мир, как и святые люди, только и разницы, что одни замечали божьи чудеса, а эти вечные вои не знали ничего, кроме серебра-золота, сытной пищи, доброго пития да еще прекрасных женщин, ибо зачем же тогда и живет на свете воин и за что ему класть живот свой, если не испытать земных соблазнов, не зачерпнуть их полными пригоршнями!

Поромоня был простым плотником, как и отец его, и дед, как и весь род испокон веков. Не знал он ничего, кроме хорошо наточенного топора, тесал умело столбы и обаполы, ставил клети, сколачивал насады, но вдруг осенила его мысль соорудить в Новгороде невиданную палату с несколькими печами и высокими кирпичными дымницами над крышей; и вот у Поромони начали останавливаться сначала купцы, захваченные в Новгороде зимними метелями, а потом начали нанимать его двор для дружины Ярослава, ибо лучшего помещения и не найти было нигде; Поромоня разгадал еще и то, что варяги любят быть всегда совместно, не делятся на воевод и рядовых, не верят чужим. А потому хитрый плотник получал немалую прибыль от своего дома, а князю было вольно призывать варягов о любой поре.

Ярослав предполагал, что на этот раз варяги разделятся, потому что должны были прибыть с дружиной мужи вельми славные, бывалые и известные, но Коснятин сказал, что все остановились у Поромони и что Эймунд привел еще не всю дружину, а только ее голову, чтобы порядиться с князем, а уже весной призвать и остальных. Этим нарушался заведенный обычай, но князь смекнул, что осторожность Эймунда вызвана не совсем обычным делом, на которое их вербовали (сын должен был идти против родного отца), хотя если подумать толком, то не было на свете такого черного дела, в которое не встряли бы варяги, лишь бы им только заплатили так, как они желают.

Длинное низкое помещение, потолок из дубовых толстых матиц, толстые дубовые столбы-опоры, всюду затянутые рыбьими пузырями подслеповатые окошки, в которые пробивается

тусклый свет зимнего дня. У растопленных печей бородатые, все, как один, русые и светлоокие варяги сушат одежду; тяжкий дух стоит под низким потолком, во всех углах, и, словно бы стремясь развеять эту духоту, сидят за длинным столом десятка полтора плечистых, светловолосых и ясноглазых, сидят, отложив мечи в сторонку, расстегнув сорочки, наливают из бочонков вино, цедят в кубки мед, черпают ковшами из кадушек пиво. Клокочущий, беспорядочный гомон бьется над столом, каждый из пьющих рассказывает словно бы самому себе, ибо никто его не слушает, каждый говорит, не заботясь о слушателях; те, которые сушат свою одежду, хотя и молчат, но понять что-либо из застольного гомона совершенно неспособны; дальше, во второй половине помещения, на поставленных в два этажа, одни над другими, деревянных полатях спят несколько то ли пьяных, то ли просто утомленных от прогулок по Новгороду, но они и вовсе к разговору не прислушиваются.

Увидев князя, застольники вяло раздвигаются, уступая ему место, но ни один не встает, потому что, во-первых, лень, а во-вторых, чрезмерная учтивость сейчас и вовсе ни к чему, нужно набивать себе цену. Но набивает себе цену каждый. Князь тоже знает, что к чему, он и не думает располагаться рядом с этими выпивохами, он стоит, будто у невесты на смотринах, спокойно поглядывает туда и сюда, он не гневается на непочтение, ибо здесь его гнев пропадет напрасно, для этих людей он не князь, для них и сам господь бог не бог, а черт не дьявол, они идут за своими мечами, а кличет их только блеск золота.

— Ну так что? — не выдерживает наконец князь, ибо варяги нужнее ему, чем он варягам, для них на белом свете немало найдется и князей, и королей, и василевсов, для него же выбора нет, да и привык он иметь дело с этими суровыми северными людьми, на которых можно положиться, коли уж они пообещают, то действуют без коварства и вероломства.

— Вон тот Эймунд,— указывает Коснятин на плечистого, быстроглазого бородача в простой сорочке из простого полотна. Рядом с бородачом с одной стороны сидит стройный красавец, небрежно накинув на плечи плотно вытканный толстыми золотыми нитками плащ, наверное такой тяжелый и крепкий, что не прорубить сквозь него и мечом, а с другой — круглобородый здоровила с нашитым на кафтане нагрудным кругом из настоящего золота, посредине же этого золотого круга — эмалью сделанные, будто живые, два глаза, только не го-

лубые, как у варяга, а ореховые, с отливом, будто у ромеев. У Эймунда же — никаких украшений, только на левой руке на пальце — золотое кольцо, с которого свисает огромная, просто невероятных размеров, с голубиное яйцо, бело-розовая жемчужина.

— Ну так что,— повторил князь, теперь уже обращаясь к Эймунду,— по рукам или как?

Эймунд поднялся. Был он немного выше Ярослава и наверное, старше, тоже вошел уже в тот мужской возраст, когда колебания отброшены, когда движешься только вперед, полагаясь лишь на собственные силы и на свою обретенную жизнью ловкость, и если были в тебе зародыши хитрости, то разрастутся они об эту пору до предела, а ежели коварством отличался ты смолоду, то закостенеет оно в тебе теперь, и хищность тоже станет беспощадной, чем бы она ни прикрывалась.

У варяга все прикрывалось размашистостью движений и бегающим взглядом. Бодро подхватил он ладонь князя, начал пожимать пальцы Ярослава, все сильнее и сильнее, одновременно как-то странно поводя глазами, поглядывая на князя то с одной стороны, то с другой, то вроде бы снизу, то словно бы сверху, и все это — не склоняя головы, совершенно неподвижно держа голову, а орудуя одними лишь глазами. Князь выдержал первое пожатие Эймунда, стиснул как следует и сам, тот ответил новым пожатием, Ярослав прибавил тоже, бегающие глаза варяга закружились еще неуловимее, еще чуднее, но Ярослав знал, что не собьют они его с панталыку: немало видел он таких очей, стояли и до сих пор перед его взглядом дикие глаза непокорной Шуйцы, светились столь же загадочно и странно, как все ее тело,— то что уж тут хитрые заморские глазищи.

— Не тужься, воевода,— сказал спокойно князь,— не пересилишь меня в руках, в чем ином — не знаю, но не в руках.

— А если выпущу на тебя Гарду-Катиллу? — вкрадчиво спросил Эймунд неожиданным для его тела тонким голосом и кивнул на своего соседа, здоровяка в кафтане.

— Кого хочешь выставляй, руки у меня крепкие, как железо,— не выпуская его ладони, сказал Ярослав.— Так как? Рядиться будем?

— Успеем,— сдался Эймунд,— не убежит от нас ряд, а ты, княже, садись с нами да выпей, как заведено... А вот мои люди. Гарда-Катилла, который служил у самого императора ромеев и имеет за ревностную службу вознаграждение — всеви-

дящие глаза. Это — Хакон, снявший золотую луду[1] с германского вождя в битве, где полегло более шести тысяч, а что это за битва такая, ты сам знаешь, княже: после такой битвы становятся новые короли и императоры. Хакону же достаточно было и золотой луды, потому что и так о ней сложены песни. А дальше, там — Торд-старший, брат того Торда-младшего, который служит тебе, княже, а там дальше сидят Рагнар и Оскелл, а еще Бьёрк...

Ярослав сел межу Эймундом и Хаконом, в золотой луде. Расположился и Коснятин, распрямляя ладонью усы; он всегда был готов вкусно поесть и выпить как следует.

Князь свободно говорил по-варяжски, и это воинам, которые уже немало были наслышаны о Ярислейфе, как называли они Ярослава, вельми пришлось по душе. Беспорядочный гомон за столом сам по себе затих, воцарилась тишина, сомкнулись в круг кубки, поставцы и ковши, к столу подошли возившиеся у печей, кое-кто из спящих пробудился, подошел ко всем, молча выпили, повторили, еще помолчали, потом Эймунд сказал:

— Перед тобою, княже, воины, лучшие на всю Европу. Вот Гарда-Катилла. Служил ромейским императорам, а это — нелегкая служба. Всегда нужно знать, куда прибиться, чью сторону занять, потому как там...

— У ромеев нынче твердо сидят василевсы: Василий и Константин,— прервал его не совсем вежливо, как-то словно бы сердясь, Ярослав, видимо намекая на то, что и в Киеве довольно твердо и давно сидит его отец князь Владимир.

— Слыхивал я, что у хозар есть хороший обычай,— улыбнулся Эймунд,— согласно этому обычаю, их каган не может править больше сорока лет, потому как разум от столь длительного управления ослабевает и затмевается рассудок...

— А ежели каган да не уступит власти? — хитро подбросил Коснятин.

— Тогда связывают его волосяным арканом, вывозят в степь и бросают там на волчье угощение...

— Хозары от нас далеко,— степенно произнес Ярослав, спасаясь, как бы беседа не перебросилась на дела киевские.— А вот был ли кто из вас у наших соседей? Польский Болеслав вырос в могучего владыку...

— Хакон знает,— сказал Эймунд,— говорю же тебе, княже, что побывали мы повсюду, без нас нигде ничего...

[1] Луда — блестящая наволока.

— Болеслава не люблю,— сказал Хакон голосом капризного, избалованного подростка.

— А не любит Хакон польского властелина за то, что он не нанимает наших в свою службу,— засмеялся Эймунд.

— Пока мы стояли в Иомсборге, наслышались немало про Болеслава,— добавил кто-то из товарищей Хакона,— а поляне[1] называют его властителем с голубиной душой...

— Не люблю! — стукнул поставцом о стол Хакон.— По мне, так власть нужно завоевывать в честном бою! Кулак — на кулак, меч — на меч, грудь — на грудь! — Он выпятил свою широкую грудь, повел плечами, варяги одобрительно загудели, им нравился этот молодой ярл[2] своей прямотой. Эймунд пострелял туда и сюда своими быстрыми глазами, сказал с плохо скрываемой насмешкой:

— Хакон, мальчик мой, я похлопал бы тебя за твои слова по плечу, но ведь у тебя очень жесткая луда.

— Я добыл свою золотую луду в честном бою! — крикнул Хакон.— Пускай бы так Болеслав добыл свое королевство! Его отец Мешко, наверное, знал, какого сыночка породил, а потому после смерти своей завещал государство сыновьям от второй жены Оды, дочери маркграфа Дитриха,— Мешку, Святополку и Ламберту. Земля полян была разделена на три части. И что? Не миновало и трех лет, как Болеслав, не имевший ничего, с лисьей хитростью сумел объединить державу в своих руках, изгнав мачеху с ее сыновьями...

— Старший сын наследует власть. Таков обычай,— солидно добавил Коснятин.

— Обычай? — повернулся к нему Хакон.— А что скажешь, посадник, ежели добавлю еще, как отплатил Болеслав своим ближайшим помощникам в захвате власти — Одилену и Прибиво́ю? Может, наградил их щедро? Дал им земли во владение? Просто ослепил, да и все!

— Эта кара не была суровей, чем, скажем, повешение или отсечение носа, языка и ушей,— разгладил ладонью усы Коснятин.

— А потом Болеслав возжаждал присоединить к своим землям еще и Чехию.— Хакон разжигался больше и больше, видимо, он и впрямь был сильно обижен на Болеслава Поль-

---

[1] Полянами в старину назывались племена поднепровские, а также привислянские. Самое название государства Польского происходит от слов «поле», «поляне»: Польское, то есть Полянское.

[2] Ярлами в древней Скандинавии называли военных предводителей — от мелкого воеводы до короля.

ского, который выбился из ничего на такую высоту без помощи варягов, не израсходовав, следовательно, на чужеземных наемников ни шеляга [1]. А может, вспомнил, что его мать Добравка происходила от чешских князей.— Лестью заманил властелина Чехии Болеслава Рыжего в Краков и там ослепил его. Правда, этот Рыжий тоже был негодником изрядным. Перед тем оскопил одного из своих соперников, другого попытался задушить, потом зарубил мечом собственного зятя, убил своих воевод. Да еще и в великий пост, не боясь греха. Может, чехи потому и приняли польского Болеслава, но уже через месяц он должен был бежать из Праги, потому что оказался еще кровожаднее собственного их Болеслава Рыжего... А с германским императором? Сколько раз польский Болеслав заключал договоры с германцами, чтоб на следующий день коварно ударить в спину...

— Слышал, что Болеслав еще шестилетним ребенком был заложником своего отца в Кведлинбурге у германского императора, поэтому имел свой счет с германцами,— сказал Ярослав. Ему стало неприятно выслушивать все эти истории, в которых многое перекликалось с событиями в его родной земле. Ибо разве самый старший сын Святополка Ярополк не пытался в свое время расправиться с братьями? Пошел на брата своего, который сидел в Древлянской земле, и погубил его. То же самое учинил бы, видно, и с Владимиром, но тот взял верх и отплатил Ярополку его же мерой. А он сам, Ярослав? Проявил непокорность родному отцу. Оскорбил Великого князя Владимира, которого знает и боится весь мир, перед которым заискивают даже ромейские императоры. С помощью этих вот бравых забияк Ярослав намеревается теперь столкнуть отца с Киевского стола, чтобы засесть там самому. На все божья воля. Хорошо сказал Эймунд о хозарах и их кагане. Ибо разве это не похоже на то, что происходит у них? Что ныне Великий князь в Киеве? Походы его неудачны. Земель больше не собирает. Погряз в разврате, повсеместно идут пересуды о его женах и наложницах, хотя крест целовал и знает закон божий. Киевский люд, развращенный и обленившийся, толпится на княжьем дворе, возле полных столов, по всему городу пароконные телеги развозят для дармоедов хлеб, мед, мясо и овощи, дружина пирует на серебре и золоте. Не такой властелин нужен ныне Руси. Как сказано в Святом письме: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и разли-

[1] Шеляг — старинная мелкая монета в Польше.

чать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?»

— Еще распутством своим известен Болеслав,— не унимался варяг,— да и то сказать: рожденный не от чистого брака, а от соединенных между собой княжескими интересами отца его Мешка и чешской княжьей дочери Добравки. А Добравку Мешко взял уже не девицей, да в том бы еще не было беды, но вот что примечательно: было Добравке уже под тридцать лет, а от таких поздних родов дети вырастают забияками и развратниками. Будучи семнадцатилетним, Болеслав взял в жены дочь маркграфа Рикдага, через год отправил ее назад. Сразу же женился на дочери паннонского князя Гейзы — и снова через год отправил ее к родичам.

— Не подходила ему, видать! — подбросил кто-то из варягов.

— Ну! — разжигался Хакон так, будто речь шла о его собственных дочерях.— Тогда по отцовскому примеру женился на Эмнильде, дочери чешского князя Добромира, и уже эта родила ему множество детей: сыновей, дочерей. Но и этого мало! Прослышал он о твоей сестре Предславе, княже, и возжелал, старый бабник, положить ее себе в ложе!

— Много слыхивал я про Иомсборг [1],— переводя разговор на другое, сказал Ярослав,— дивный, сказывают, город...

— Вольный город,— Хакон повел плечом, поправил свою золотую луду,— все в нем есть. Оружие, меха, дичь и рыба, обученные соколы для охоты, кони всех пород, сукно, шелка, золотая и серебряная посуда, женские украшения, благовония восточные... А золота купцы собирают столько, что и остров мог бы от тяжести утонуть... Потому что Иомсборг стоит на острове, там, где река впадает в море, доступ к нему открыт отовсюду...

Эймунд решил, что появилась добрая зацепка к разговору с князем о плате для дружины, стрельнул глазом на Ярослава.

— Да и Новгород не хуже Иомсборга умеет собирать золото... Правда, княже? Или посадник лучше это знает?

Ярослав поднялся.

— Тешусь вельми, что пришли на мое приглашение,— сказал он Эймунду, который тоже встал, потому что пустые разговоры закончились, нужно было выставлять свои условия.

---

[1] Иомсборг — шведское название старинного польского города Волин, который принадлежит к древнейшим торговым славянским пунктам на берегах Балтийского моря.

— Послужим тебе, княже.

— Верю,— наклонил Ярослав голову.— Но понадобится бóльшая дружина.

— Имею шестьсот воев,— посмотрел выжидательно на князя Эймунд,— опытные, но...

— Понадобятся все шестьсот,— твердо промолвил Ярослав.

— Ежели о деле,— быстро окинул глазами всех своих Эймунд,— то условия наши таковы: харчи, одежда и весь припас и по пол-эрэ серебром на человека ежедневно. А уж за битвы — счет особый.

— Вот заломил! — не удержался Коснятин, который тоже порывался встать из-за стола, чтобы включиться в разговор, но сдерживался, потому как обычай не велел совать поса в дела княжеские.

Ярослав даже не взглянул в сторону посадника.

— Кто хочет вершить дела великие, не должен быть мелочным,— промолвил он, казалось, скорее для самого себя, чем для других, и протянул руку Эймунду.

Тот пожал правую руку князя, на этот раз не испытывая его силы; пожатие было коротким. Эймунд мгновенно отскочил к столу, схватил свой ковш, высоко поднял его.

— Славим тебя, княже! — воскликнул он. И все варяги вскочили с мест и тоже подняли кубки, поставцы и ковши, закричали что-то по-своему, весело и беспорядочно.

Хорошо это было или плохо? Все равно у Ярослава не было иных путей. Возврата нет. Теперь он должен идти только вперед.

Всю зиму шли большие снега. Горели ясно печи в княжеских покоях, но Ярослав не сидел дома, метался то по одному, то по другому берегу Волхова, сам смотрел за подготовкой к летнему походу, потому что уже дошли до него вести, что и князь Владимир решил выступать против непокорного сына, как только солнце высушит дороги и вода в реках и озерах потеплеет. В дальних борах ловили дичь, вялили, коптили и засаливали мясные припасы, чтобы хватило для войска хотя бы и на сорок тысяч; с Ладоги везли бочки засоленной рыбы простой, ведерки просоленного лосося и осетрину для копчения. Никогда еще не приходилось Ярославу снаряжать такое большое войско, хлопот у него был бы полон рот, если бы не помощь Коснятина, но все равно изматывался от каждодневных смотрин по Новгороду, от молитв и чтения книг, от длинных разговоров со странствующими иноками. Часто заез-

жал к варягам на Словенскую сторону, жаждал хотя бы на один вечер стать этаким гулякой, слушал хвастливые рассказы варягов, пение скальдов о славных походах, напивался вина и, плюнув на все хлопоты, мчался за леса к Шуйце.

А Коснятин с подарками и нарядной свитой отправился в посольство к шведскому конунгу Олафу просить руки его дочери для князя Новгородского, сына Великого князя Киевского, в скором времени, быть может, и победителя над собственным отцом, Ярослава, мужа мудрого вельми и книжного, многоязычного сызмальства, человека, который умел сосредоточивать в своих руках и власть, и разум, и богатство, и мощь, а уж что касается хитрости, столь необходимой во всяком властвовании, то Коснятин мог ему прибавить и своей. С такими мыслями и направился новгородский посадник за море, и мысли эти были его собственные, ибо от Ярослава после того осеннего короткого разговора у лесного озера с березками только и услышал еще:

— Поезжай и привези.

К началу весенней ростепели в Новогороде, собственно, все было заготовлено к походу на Киев, но воды весна пригнала такие высокие, что снова, как и осенью, город был отрезан от всего мира, не приезжали сюда ни купцы, ни охотники, ни гонцы, даже Ярослав не мог добраться к своей Шуйце, которую за всю зиму видел два-три раза, а теперь между ними раскинулись мутные бурные потоки, пробудились топи, выпустив наверх много влаги; от Коснятина слухи не доходили,— наверное, готовил он милую неожиданность для князя, где-то, видно, уже перебирался через море, везя с собой нареченную для Ярослава, а может, и не вез, может, все сложится не так, как хотелось, но об этом князь не очень-то и заботился, чаще всего в мыслях своих он обращался к главному своему делу, к задуманному, а то и не задуманному, ибо как-то так нашло на него затмение, когда он проявил непокорность отцу своему; теперь же мог бы, правда, еще повиниться, хотя и поздно было, все поднято и с одной и с другой стороны, приготовлено войско, а он сам тоже приготовился к высокому полету, надоело ему блуждать по лесам да болотам, управляя княжеством в северной стороне,— не такой имеет разум, он еще потрясет весь мир, склонятся перед ним императоры и короли, темные и бездарные убийцы, развратники, примитивные захватчики.

Ярослав чувствовал в себе такую силу, что всему миру мог бы крикнуть отважно и горделиво, как это сделал когда-то его

дед Святослав, великий воин: «Иду на вы!» Да и так, вишь, крикнул, и то — против кого? Против родного отца!

Ждал тепла. Написал доверительные грамоты ко всем братьям своим и родичам. Как это заведено было у ромейских императоров, с обычаями которых он хорошо знаком был по греческим книгам Константина Багрянородного, Льва-философа, придворного Филофия, велел Золоторукому вырезать княжескую золотую печать с изображением Юрия-змееборца, и по этому образцу изготовлялись потом печати свинцовые и золотые, которые Ярослав сам прикреплял к грамотам, собственноручно написанным на пергаменте. Обращался он к братьям своим, которые были в северных землях. Прежде всего к Борису, который сел в Ростове на месте Ярослава, и должен бы во всем слушать брата старшего и более опытного. Потом — Глебу в Муром, обещая, если сядет на Киевском столе, дать ему другую волость, потому как муромские язычники не пустили князя в город, и Глеб, отклоненный ими, вынужден был отъехать на целых двенадцать поприщ за речку Ишмо, да и ждать там, сам не ведая чего. Писано было и к Судиславу, который сидел во Пскове под рукой у Ярослава и должен был делать все так, как велит князь Новгородский, но Ярослав не хотел выставлять здесь старшинство, ибо речь шла прежде всего о том, чтобы объединить вокруг себя хотя бы половину братьев,— тогда дела пошли бы лучше. Не было у него сомнений также, что отклинется на его грамоту и племянник Брячислав Полоцкий, который заменил своего отца Изяслава, умершего слишком рано и внезапно, так что и ненамного пережил свою мать Рогнеду.

Пригрело солнце, просохли дороги и тропинки, появились у новгородских вымолов первые купеческие суда, разъехались во все концы нарочные люди Ярослава. Киев молчал зловеще, не было слухов от Коснятина, напрасная это была затея — в такое время отпускать от себя посадника; князь злился, сам не зная на кого, в ярости своей вспомнил о Шуйце, думал хотя бы немного отдохнуть возле нее, но поехал с молчаливым Ульвом, никому не сказав ни слова, в Задалье и с проклятиями возвратился через день, потому что во двор под белыми березами их не впустили. Незнакомая красномордая баба выглядывала из надвратного окошечка в башне, разукрашенной будто пряник, и смеялась князю прямо в глаза:

— А не велено пускать сюда никого. Откуда притащились, туда и путь держите.

Ульв с любопытством посматривал на это бабское убежи-

ще, потому что не был еще здесь никогда; наверное, где-то в глубине своей спокойной души немало удивился он нахальной крикунье, посмевшей самого князя держать у ворот, но сидел спокойно на коне, ожидал, чем все это закончится.

— Я князь! — крикнул Ярослав, багровея от такого униженья, когда уже вынужден был назвать себя, почти выпрашивая, выходит, милости быть пропущенным во двор. Но и это не произвело на бабу никакого впечатления.

— Много вас тут болтается, козлов окаянных,— сказала она лениво.

— Позови Шуйцу! — снова крикнул Ярослав.

— Не велено тревожить госпожу.

Окошко закрылось, переговоры на том и закончились. Князь постучал еще в ворота, хотел было приказать Ульву, чтобы проник во двор через частокол, но потом передумал и скомандовал трогаться в обратный путь. Сначала придерживал коня, ожидая, что его позовут, надеясь, что это была просто Забавина шутка, затея, но никто его не звал, подворье стояло неприступно запертое, дымилось дымком над теремом, словно бы стреляло в князя пренебрежительно и насмешливо: «А вот тебе!»

Он подумал, что, видно, чует сердце Забавы о его женитьбе, а может, и так кто-нибудь принес ей весть, догадывается она уже заранее, в то время как он и сам еще не знает, как все обернется, с чем приедет Коснятин; хотя Шуйца и не требовала от него ничего, хотя предоставляла ему полную свободу в обмен на свободу для себя, все же, видно, когда дошло до решительного момента в жизни князя, не смогла она преодолеть в своем сердце то женское, что толкает людей подчас на дикие, необъяснимые поступки. Женщина — как бог: она хотела бы властвовать над своим мужем безраздельно, а муж напоминает язычника: ему всегда мало бога одного, а женщин и подавно... Странно, почему этот языческий обычай пробудился в его душе именно в такое сложное время? Все слилось воедино: и единоборство с отцом, и намерение жениться на дочери варяжского конунга, чтобы утвердиться среди властителей всей Европы, и эта пагуба с Шуйцей. Если бы только кто-нибудь знал, если бы только кто-нибудь ведал, на что решился князь в своих затаенных поступках! Обманывал людей, себя самого, обманывал даже господа бога, перед которым грешил, а потом замаливал грехи, даже в недостроенной церкви после самого большого греха с Шуйцей, после той незабываемой светлости, которая струилась от ее молодого тела.

Тем временем начали поступать ответы на его грамоты. Раньше всех ответил Судислав. Прислал бересту с нацарапанными костяным писалом каракулями: «Делай, как знаешь. Судислав». Молод еще. Против отца идти боялся, но и старшему брату супротивиться не отважился. Хорошо уже и это: лишь бы не служил помехой.

От Брячислава из Полоцка тоже пришла береста, хотя и сам бы мог прибыть к дяде, все-таки одна кровь струилась у них в жилах, и обиду на деда своего Владимира должен был бы унаследовать еще от отца, который лучше всех знал мучения матери своей Рогнеды. Но этот выродок, хорошо зная, что Ярославу нынче не до него, не только не прибыл на зов, а еще и поглумился, нацарапав в грамотке витиеватые и хитрые отговорки: «А се мы, полочане, все добрые люди и малые не смеем...» Дескать, пускай старшие дерутся, а мы, малые, посмотрим, нельзя ли там будет что-нибудь урвать да потащить. Ярослав растоптал эту грамоту, долго кипел в тот день, но, наконец, успокоился в молитве, ибо гнев ничем ему помочь не мог. Он понял только, что затея его провалилась: раз уж сам-один проявил он непокорность отцу, то, видать, так и суждено идти одному до конца, а каким он будет, этот конец, покажет время, да еще его умение и усилия.

От Бориса и Глеба он теперь уже и не ждал ничего, даже отказа, потому что далеко к ним и от них, кроме того, оба они всегда милы были Владимиру-князю, знали об этом, поэтому надеялись после отцовской смерти получить в завещании наилучшее определение для себя, так, будто когда-нибудь вершилось по завещанию, а не по тому, у кого какая сила!

Сам выдумал объединение с северными братьями, сам же и опозорился. Уж лучше было бы вести переговоры со Святополком. Тот обижен Владимиром, у него есть все причины восстать против Великого князя. Но Святополк сидит где-то в Вышгороде, в порубе[1]. Владимир самолично следит теперь за тем, чтобы не выскочил этот Ярополков сын, которого младенцем приютил, причислил к сыновьям своим, вырастил, женил на дочери Болеслава Польского, дал княжество Туровское. Но, судя по всему, Ярополк мстил и из могилы. А может, это сам Святополк в гордыне духа вознамерился забрать стол Киевский не только у родных сыновей Владимира, считая себя самым старшим, но и у самого Великого князя, ибо чувствовал за собой силу своего польского тестя? А еще: был, видно, оби-

[1] **П о р у б** — яма со срубом, погреб.

жен на Владимира, ибо тот долго держал Святополка заложником своим у печенегов, никто не знает, сколько настрадался там Святополк, но никому ничего не говорил по возвращении из печенежской степи в Киев, лишь хищно посверкивал своими окаянными черными глазами, которые стали словно бы еще чернее. Хотя Святополк считался самым старшим Владимировым сыном, княжество определено ему было позже всех, к тому же — на окраине, тощая пинская земля, одни лишь болота, никто и не ведал, есть ли там люди, а еще смеялись, что если и живут там люди, то все маленькие да головастые. Однако Святополк не терял времени зря, он быстро сговорился с великим своим соседом — королем польским Болеславом, и тот выдал за него свою младшую дочь от Эмнильды, последней своей жены. Девочке тогда исполнилось шестнадцать лет, была она тоненькая и бледненькая, тяжко и говорить, что это был за брак, но браки между властелинами обусловливаются лишь государственными интересами и намерениями, о чувствах не заботится никто; не спрашивал никто о согласии или несогласии этой девочки, почти ребенка, хотя шестнадцать лет для девушки считались зрелым возрастом. Дочь Болеслава прислана была с капелланом — епископом католическим Рейнберном, который сразу же принялся переводить пинчан и туровцев в свою латинскую веру, что не могло понравиться в Киеве, а еще разгневался Великий князь Владимир на Святополка за то, что женился тайком, не спросив отцовского благословения, быть может, заключив какой-нибудь тайный договор с Болеславом,— кто ж об этом знал?

Можно было надлежащим образом наказать непослушного сына, пойдя на него войной, но Киевский князь хорошо знал, что Святополк потому и выбрал себе жену в близлежащем государстве, чтобы иметь возможность спрятаться у тестя в случае опасности. Поэтому Владимир прибег к хитрости. Передал через посланных вельможных свое благословение непутевому сыну и пригласил его с молодой женой погостить в Киев. Имея в лице Болеслава могучую защиту, Святополк поехал в Киев, епископ Рейнберн тоже направился вместе со своей духовной дщерью, видимо, надеясь и в стольном граде продолжить свое богоспасенное дело в пользу святейшего папы римского, в особенности же принимая во внимание, что четыре года назад католический епископ Бруно, посланец германского императора, был у князя Владимира и получал от него содействие в своих делах и намерениях. Однако все они просчитались. Князь Владимир не допустил их в Киев, еще по пути задержали их

возле Вышгорода и бросили в яму всех: Святополка, его молодую жену и Рейнберна. Каждому велено было сидеть в одиночестве, или, как сообщал епископ через верных людей, подосланных к нему Святополком, «In custodia singularis».

Узнав о таком недостойном поступке Владимира, Болеслав пошел войной на Русь, а на подмогу взял с собой печенежскую орду, ибо печенеги, наверное, благоволили Святополку, никто не знал, что он делал там среди них, будучи заложником,— обычаи этих людей таинственны и недоступны, лазутчиков в своем стане они сразу разоблачают и карают смертью, дикие и жестокие в своем поведении, но, видно, проявляют благосклонность к тем, кто сумеет понравиться им; Святополк на такие дела был мастак, потому что текла в нем кровь русского князя и красавицы гречанки, и это, видимо, сказалось на его характере, помогло Святополку войти в доверие к печенегам.

Болеслав захватил несколько Червенских городов, но тут у него в лагере пошли раздоры: поляне перессорились с печенегами, не разделив добычу, тогда король велел тайком, ночью, перебить печенегов — своих союзников,— что и было сделано, а к тому времени подоспели послы от князя Владимира, предлагавшие Болеславу мир. Король забыл и о дочери, и о зяте, согласился на условия, поставленные Киевским князем, вывел свое войско, а Святополк со спутниками продолжал сидеть в Вышгороде, с той лишь разницей, что его с женой подняли из ямы и заперли в горницах, охраняемых неусыпной стражей, а Рейнберна же, как наиболее опасного, и дальше продолжали держать в яме, где он в скором времени из-за старости и немощности переселился к отцу небесному, который никогда не ошибается, принимая к себе сынов своих.

У Ярослава почти все повторялось точно так же, как и в событиях со Святополком. Разница лишь в том, что он сначала проявил непокорность отцу, а уж потом решил жениться на дочери соседнего властелина. Да и в Киев если и собирался идти, то не на поклон к отцу, а на битву, которая должна была решить, кому из них управлять дальше своей землей — Великому князю Владимиру или сыну его, перечень достоинств которого был бы очень длинным.

Быть может, Ярослав и не собирался объединяться со Святополком, считая, что превосходит его во всем, но не хотел иметь соперника, младших же братьев пытался поставить себе под руку не столько для подмоги самому себе, сколько для отвода глаз.

Однако же не вышло, как ему хотелось.

Новгород уже выставлял князю своих воинов. Каждый конец готовил тысячу воинов. Присылали воинов и волости — пеших, бедных, вооруженных дубинами, самодельными луками. В Новгороде становилось тесно, шумно, воины прибывали и прибывали, такое войско в городе не могло долго находиться, оно не должно стоять на месте.

Ярослав велел выслать часть людей для исправления волоков, испорченных за зиму и весну, ладить мосты и укладывать дороги, пора бы и ему самому выступать из Новгорода, но должен был ждать Коснятина, привезет ли тот ему жену или нет — все равно́.

Дождался гостя и вовсе неожиданного. Прибыл к нему с горсткой людей брат Глеб из Мурома. Был он ещё совсем юным, не отрастил даже бороды, лик у него был нежный и продолговатый, как на ромейских иконах, были у него нежные, словно у девы, глаза, а голос имел он звонкий и сильный.

И вот тут события стали нарастать.

Пока Глеб мылся в баньке, а потом они вместе с Ярославом отстаивали обедню в княжеской церкви, ибо Глеб не уступал старшему брату в богомольстве, к князю Новгородскому прибыл гонец. Гридник шепнул об этом Ярославу еще в церкви, князь прогнал его прочь, братья вместе вошли в палаты, старший провел младшего в отведенные для него горницы, пригласил на вечер к братской трапезе и уже только после этого, без спешки, хотя у самого горело все внутри, направился туда, где ждал его гонец. Должно быть, от Коснятина, ибо сколько же можно молчать! Князь приготовился увидеть воина или пышного боярина, а встретил его невысокий оборванец, со светлой, кольцами, бородой, со старыми, истертыми, словно бы и побитыми малость гуслями в руках,— Ярослав даже отпрянул от него.

— Ты что? — спросил он.— Калика перехожий?

— С гусельным звоном да с песней всюду пройдешь без препоны,— ответил тот голосом молодым да звонким, как у брата Бориса.— Имею к тебе грамотку, княже.

— От кого же? — насупился Ярослав.

— Сестра твоя Предслава велела кланяться.

— Сестра? Из Киева-града? Иди за мной!

Повел его в гридницу, посадил на скамью, налил серебряный ковш меду.

— Пей!

Того не нужно было просить дважды. Умакнул бороду и усы в густой мед, наслаждался долго и умело.

— Долголетен будь, княже.

— Грамота где?

Посланец засунул руку за пазуху, достал оттуда сверток, вынул из него свернутый в трубку пергамент.

Грамотка от Предславы была скупой: «Отец наш, Великий князь Владимир, упал в недуг крепок, но полагаемся на Бога, что выздоровеет, благодаря слезам и молитвам с многих сторон. Молись и ты, любимый брат мой...»

Ярослав свернул грамотку. Не так поразило его известие о болезни отца, как заболело сердце за сестру. Два лета назад, когда тот развратник Болеслав шел на Русь, освобождать зятя своего с дочерью, ставил он перед Владимиром непременное условие, чтобы выдал тот за него дочь свою Предславу. Благодарение отцу, что он не согласился с прихотью никчемного бабника, ибо страшно было даже подумать, чтобы их единственная сестра, их красавица стала четвертой женой у этого толстопузого Болеслава! Среди всех детей Рогнеды Предслава выделялась необычайной красотой, была словно бы не из их гнезда, не похожа была ни на отца, ни на мать, а уж между нею и братьями и вовсе никто не замечал ни единой черточки сходства. Мстислав — огромный, черный, пучеглазый, будто грек; Изяслав был слабым, болезненным, золотушным, пожелтевшим с самых малых лет; Ярослав — с грубым лицом, сердитыми глазами. Она же вся — ласковость, вся — просветленность, вся — нежность, только и было в ней темного, что нелюбовь к отцу, переданная матерью Рогнедой, точно так же как и всем сыновьям; однако теперь вот, когда Владимир впал в недуг, дочь пересилила враждебность и молит за него перед богом и шлет словно бы упрек возлюбленному брату, который, быть может, во многом и повинен в том, что он тяжко занемог. Но грамотка Предславина стала очень уместной для беседы с Глебом, которая началась за трапезой и которую повел не Ярослав, как он сам того желал, а Глеб.

Первым заговорил Ярослав, но дальше ему пришлось лишь оправдываться перед младшим братом, который сразу же перехватил разговор в свои руки и уже не выпускал до самого конца и закончил тоже в свою пользу, ибо чувствовал на своей стороне силу и справедливость.

— Получил ли ты, брат, мою грамоту? — спросил Ярослав после первого ковша, выпитого в честь встречи.

— Негоже чинишь, брате,— стараясь придать суровость

своему ломкому голосу, сказал Глеб.— Приехал я к тебе, чтобы сказать не от себя лишь, а и от брата нашего Бориса, ибо должен был ехать через Брянские леса на Брянск, Карачев, Чернигов, прямо в Киев, как поехал туда Борис, вызванный отцом нашим Владимиром. Но просил и Борис, да и я говорю тебе: тяжкую провинность учинил ты, проявив непокорность Великому князю. Никто не выступит вместе с тобой, все братья собираются у отца нашего. Пока не поздно,— покорись, Ярослав.

— Уже поздно,— мрачно сказал Ярослав,— да и отец сам велел мосты мостить и направлять дороги, чтобы идти на меня войною. Не я первый.

— Ты отказался платить дань.

— А нужно было спросить, почему отказался. Может, недород, может, мор прошел по земле Новгородской. А он ничего не спрашивает, сидит в Киеве, раздувает чрево, рассылает мздоимцев по всей земле, гребет золото, а потом разбрасывает его во все стороны, как мякину. Да и зачем это?

— Только в негодном сердце могли зародиться такие нечестивые мысли про родного отца своего,— встал, не закончив трапезы, Глеб.— Как знаешь, брат, а только горько мне слышать от тебя такие слова. Ты же книжную мудрость изучал, превзошел всех нас знакомством с разными науками.

Ярослав хотел крикнуть: «Потому и восстал против князя Киевского, ибо я там должен сидеть, только я — и никто больше!» — но смолчал, насупленно следя за гибким и красивым князем Глебом, который еще не терял надежды на удачное завершение своего посольства, не уходил тотчас из трапезной, обращался к старшему брату с последними уговорами.

— Трудно сопротивляться бурному потоку,— сказал Глеб,— а еще труднее — мощному человеку, такому, как наш отец. Помни, брат мой, что побежденные редко, а то и никогда не добиваются прощения. Покайся, пока не поздно.

— Поздно уже,— повторил Ярослав.— И там и тут приготовлены войска. Кроме того, князь Владимир в тяжком недуге. Быть может, пока мы тут беседуем, он распрощался с миром сим.

— О горе нам! — закрыл руками лицо Глеб и быстро вышел из трапезной.

Ярослав пошел за ним, хотел спросить, долго ли тот пробудет у него, но Глеб шел слишком быстро, гнаться же за ним старшему брату было не к лицу. Велел лишь: если молодой князь захочет на рассвете уезжать, то не открывать ему воро-

та, пускай еще побудет здесь день или два, как-то легче ему, когда хотя бы один брат, даже не согласный с тобою, все же здесь, и люди видят и знают, и уже и у них веселее на душе.

Глеб, словно угадав мысли старшего брата, остался без принуждения, быть может в надежде на то, что удастся ему уговорить Ярослава, целый день молился он ревностно в церкви, а Ярослав тем временем ездил по Новгороду, осматривал, быть может в последний раз, все приготовленное к войне против отца и страшно злился на Коснятина, который так долго задерживается за морем.

И этой своей злостью Ярослав словно бы вымолил прибытие Коснятина, да еще и счастливое прибытие!

Князь был на торговище, жаловались ему новгородцы, что купцы захожие дерут с них три шкуры за всё, и уже за кадь ржи запрашивают по пять гривен, а воз репы — неслыханное дело! — продают за гривну, хотя что такое репа? Вода! Уже бывали случаи, когда черный люд громил богатые дворы и купеческие заезды, расползались злые слухи, появились знамения, предвещавшие беду. Так, кто-то видел после первых петухов исчезающую летучую светлость на небе, в той стороне, где лежит Киев, а еще были такие, кто наблюдал на небе три солнца, три луны, а также звезды, которые взаимно уничтожались.

Ярослав велел править молебны в храме Софии, но знал еще и то, что одни молебны не помогут, ибо язычества в Новгороде было намного больше, чем христиан, да и не одними молитвами жив человек, ему нужна и рожь, нужна и одежка. Поэтому Ярослав ездил по торговищу, сопровождаемый тысяцкими и своими варягами, чинил скорый суд и расправу над хапугами и обдиралами, хотя нарушал тем право новгородское, которое воспрещало князю самочинные суды в городе, но ему это прощалось по причине военного положения; да и нужно признать, что суды Ярослава были справедливыми, потому что руководствовался он единственным желанием: хотя бы в малой мере добиться успокоения в голодном, набитом войсками, стянутыми из волостей, городе.

И вот здесь, на торговище, нашли Ярослава нарочные, охранявшие подходы к Волхову, прискакали верхом, в несколько голосов сразу закричали еще издалека, нарушая обычай и порядок: «Княже, плывут лодьи!»

Так и оказался Ярослав на главном вымоле, одетый в простую полотняную одежду, еще не согнав с лица усталости и забот повседневных, княжеского только и было на нем что

богатый пояс с драгоценным оружием да еще сапоги из мягкого тима, зеленые, шитые желтым шелком, потому что любил князь удобную обувку.

А по Волхову, огибая острова, плыл корабль — паруса шелковые, палуба муравленая, сходни золотые, за кораблем длинные варяжские лодьи числом четыре и несколько стругов новгородских. Королевский штандарт развевался над корабликом — желтый с синим, и на вымоле в ответ было поднято знамя Ярослава — архангел Гавриил на голубом фоне, а воевода Будий, который знал обычай, тотчас же распорядился украсить пристань зелеными ветвями, приготовить жито, чтобы посыпать его под ноги королевне чужеземной, пришлой их княгине, а также привезти из княжеских хором меха, чтобы прошла по ним невеста, ибо всегда должна мягко ступать по этой земле.

Так было и сделано. Ярослав сошел с коня и стоял, чуточку расставив ноги, словно боялся, что возвратится давняя болезнь и не удержится он, упадет; на кораблике звенела оружием небольшая, но дьявольски лихая варяжская дружина, потом показалась и невеста: высокая, русоволосая, чистолицая, одетая в длинное дорогое одеяние, голубое и желтое, как королевское знамя у нее над головой; возле невесты вырос пышный и улыбающийся Коснятин, повел ее к сходням, придерживая край ее одежды, а с другой стороны, точно так же держа за край длинного наряда, тяжело шагал высокий варяг, видно ватажок дружины, они провели Ингигерду на вымол, остановились перед Ярославом, который до сих пор стоял, расставив ноги и нерешительно хлопая глазами; Коснятин поклонился князю, прокричал своим громким, сочным голосом:

— Сама дочь Олафа, конунга свейского, Ингигерда перед тобою, княже!

— Приветствую тебя, Ингигерда, на земле Русской,— сказал Ярослав по-варяжски и шагнул навстречу своей невесте, будучи вынужденным смотреть на нее немного вверх, ибо был ниже Ингигерды; ее это, видно, потешило малость, она улыбнулась одними губами,— губы эти, как сразу заметил Ярослав, были очень выразительны и красивы,— но глаза оставались невозмутимыми, они были пронзительно прозрачны, будто холодная зимняя вода, глаза не улыбнулись, не потеплели, и ничего не ответила она, так что пришлось князю сказать и вовсе уж простые слова:

— Здорова будь, Ингигерда!

— Здоров будь, княже,— ответила она голосом глубоким и

красивым и снова улыбнулась, кажется, и глазами, но князь мог и ошибиться, потому что ему не дали больше присматриваться к невесте, с кораблика двинулось посольство шведское; кланялись, что-то говорили, несли какие-то дары, а с другой стороны мгновенно все заполнилось зеваками, которым только дай поглазеть, а тут еще такое зрелище, какого в Новгороде, кажется, и не знали вовсе. Ярослав подал руку невесте и повел ее к выезду, уже приготовленному Будием, под ноги им сыпали жито, бросали зеленые ветки, доски мола были устланы бобрами, черными куницами, белыми горностаями. Ингигерда высоко поднимала ноги, ей непривычно было ступать по такому богатству: шведские короли, хотя и рассылали во все концы земли своих добытчиков — варягов, сами большими богатствами похвастать не могли, в Упсальском замке, в голых каменных палатах, гулял ветер; более всего хлопотали об оружии: чтобы вдоволь его было, добротного и навостренного как следует,— жизнь же была простая и непритязательная, ели из деревянной посуды, в крепчайшие морозы спали в нетопленных опочивальнях, лишь для детей перед сном согревают постель, засовывая под одеяла медные тазы с раскаленным углем, даже — стыдно сказать! — подходящего отхожего места не имели в замке, была лишь возле самой королевской опочивальни на возвышении дыра, к которой бегали малые и взрослые, все это летело с большой высоты вдоль каменной стены вниз, во двор, а утром приходил туда слуга, сметал на лопату и швырял королевское «добро» в озеро.

Но Ярослав еще не знал об этом, для него Ингигерда была прежде всего королевской дочерью; видимо, гордилась она этим в душе и пренебрегала Ярославом. Ибо кто он есть? Неизвестный князек какого-то там русского города? Вспоминал о своем брате Всеволоде, тоже сыне Рогнеды (какими же неодинаковыми все они вышли от одной матери и одного отца!), которого Великий князь послал в шестнадцать лет княжить во Владимир на Волыни, а тот, прослышав о необыкновенной красоте Сигриды, вдовы только что умершего Эрика Шведского, бросил все и помчался в Скандинавию, добиваться руки этой неземной красавицы. Что он тогда думал? Откуда в нем пробудилась тогда такая дикая кровь? Может, от отца, который стягивал для себя женщин со всего мира (но сам ведь не мчался к ним, а умел сделать так, чтобы добыть себе новую жену, даже пальцем не пошевельнув)? Самое же удивительное, что Всеволод оказался не одиноким в своей слепой страсти к женщине, которую никогда не видел. С другого конца

мира прискакал к Сигриде Гаральд, король гренландский, муж твердый и грозный, не ровня тонкостанному юноше Всеволоду. Похоже было на то, что к Сигриде, будто к воспетой древним поэтом Пенелопе, соберутся женихи со всех концов, только не найдется на них Одиссея, воскресшего из своих смертей и странствий, жестокого в своей мести за пренебрежение к его дому и жене. Эрик Шведский не мог сравниться с Одиссеем, не возвратился из своего вечного плавания по рекам и морям преисподней, зато его Сигрида оказалась куда тверже Пенелопы. Усадив своих женихов за угощение, залив их медом и вином до самых ушей, велела она запереть их и собственноручно подожгла палату. Даже и по тем временам поступок Сигриды показался жутким, и прозвали ее Сторрада — то есть убийца. И хотя варяжские воины и разнесли повсюду песню о красавице Сигриде и гордом величии северных дев, но после случая с Гаральдом и Всеволодом что-то не слышно было охочих искать себе за холодным варяжским морем невест. Кажется, он, Ярослав, был первым после своего несчастного брата, и это должно было свидетельствовать либо о его отваге, либо, что хуже, о таком же самом безрассудстве, что и у брата Всеволода.

Пока проводил Ингигерду, она, видимо немного обескураженная сотнями любопытных, которые, в отличие от холодных скандинавов, проталкивались друг перед другом, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на заморскую деву, ошеломленная пышностью невиданно богатых мехов, промолвила несколько слов по-славянски, чем как-то сразу утешила Ярослава, развеяла его печальные воспоминания о Всеволоде; уже князю не казался таким безумным его поступок, почему-то подумал он, что все идет как нельзя лучше, а страшные приметы предвещают несчастье не ему, а его супротивникам, все задуманное им покамест осуществляется, стоит ему лишь протянуть руку — и все вкладывается в нее: собрано войско, пришла варяжская дружина, и прибыла из-за моря невеста, хотя до этого и обещана была королю норвежскому, и даже Шуйца, несмотря на всю ее дикость и необузданность, подчинилась ему, и должен он теперь...

Ярослав вместе с Коснятином, послами и дружиной сопровождал Ингигерду в отведенные для нее покои, потом принимал послов, рядился с ними; выговорили у него приданое для Ингигерды — Ладогу с околицами, волости и села с приселками и лов на зверя и рыбу ценную; доверенные невесты получили грамоту пергаментную с золотой княжеской печатью,

что и вовсе было в диковинку для них; когда же поставлено было условие взять к Ингигерде в прислугу прибывшую с ней дружину во главе с Рогволодом, то и тут не стал противиться князь, ибо это было ему на руку: дружина пригодится в его походе, а там видно будет, там Ингигерда станет княгиней, его женой, а жена да покорится во всем мужу своему.

После того как были отправлены послы и договорено о венчании в церкви и свадьбе без промедлений, Ярослав оставил у себя Коснятина, сказал ему недовольным голосом:

— Долго ездил.

— Зато хорошо привез,— причмокнул своими жадными губами посадник.

— Не давал вестей из похода.

— Торопились быстрее всех вестников.

— Невеста словно бы и не по мне. Больно высока.

— От высоких женщин — красивые дети,— засмеялся Коснятин.

— Молвит она немного по-славянски. По дороге научил?

— Мать у нее славянка. Дочь князя ободритов.

— Как ехала сюда? С охотой или по принуждению?

— Слыхивали о тебе, княже, много гадали они на копье, священный конь их тоже показал, что ждут тебя великие дела и слава.

— Не верь языческим приметам,— пробормотал Ярослав.

— Олаф крещеный, но сберег все от деда-прадеда. О тебе же молва расходится по свету...

— Не через тебя ли?

— Знаешь же, княже, как люблю тебя.

— Готовь свадьбу,— подобрел Ярослав,— ибо уже в поход пора.

— Свадьбу сыграем по нашему новгородскому обычаю. Княжескую.

— Брат мой здесь, Глеб,— сказал невесело Ярослав.

— С тобой идет?

— Нет, супротив.

— Чего ж сидит возле тебя?

— Заехал сказать про волю свою и Бориса. Не сегодня-завтра отправляется на Киев. Я уже послал приготовить ему кораблик на Смядыни, возле Днепра.

— И на свадьбе не будет?

— Не хочет. Говорит, что не было князей своих в Новгороде, а у меня, мол, отцовского благословения нет на брак, то какая же свадьба, княже?

— Угадал он: в самом деле, не было еще князей только новгородских, и ты в скором времени будешь Великим Киевским! — воскликнул Коснятин.

— Грех так молвить.

— Хоть грех, да святая правда!

— Ежели все обойдется, оставлю тебя князем в Новгороде,— сказал, поднимаясь, Ярослав,— ибо род у нас с тобой один через отца моего и твоего да мою бабку Малушу, сестру твоего отца Добрыни.

Коснятин стал на колени, схватил руку Ярослава, поцеловал.

— Буду служить тебе верой и правдой.

— Встань,— недовольно промолвил Ярослав,— негоже так. Одной крови мы. А дело великое великого разума требует, а не целованья и поклонов. Кланяться только господу нужно, как Соломон, да просить мудрости у него всечасно. Иди.

В тот же вечер пришел прощаться Глеб. Разговор был коротким. Расставались братья не по-братски,— каждый был углублен лишь в свое, ведь оказались они на таком рубеже, где люди либо идут навстречу друг другу, либо расходятся в разные стороны, и нет такой силы на свете, которая могла бы их соединить.

На рассвете Глеб выехал, еще темнота стояла на дворе, моросил холодноватый, словно бы привезенный северной невестой дождик, Ярослав молился в церкви и подумал еще о том, как все-таки негоже учинил младший брат, что на дорогу даже не пришел поклониться богу. Или только потому, что боялся еще раз встретиться с братом отступником, каким считал Ярослава? Но пусть!

А Коснятин уже ладил свадьбу по княжескому чину, как его понимал новгородский посадник. У самого Волхова, на торговой стороне, где княжеский двор, поставили длинный-предлинный стол, такой длинный, что не виден был его конец, а уж кто там сидел, что говорил — не видно и не слышно было с главного места, где посажены были жених и невеста. Со стороны невесты — послы королевские и Рогволод с дружиной, со стороны Ярослава — Коснятин за посаженого отца, тысяцкие и старосты новгородские, дружина, бояре со своими пышнозадыми женами, наряженными в тяжелые богатые наряды, далее купцы свои и приезжие, еще дальше — ремесленный люд, кто побогаче, кто мог поклониться князю подарком на женитьбу, а подарков было неисчислимое множество; дарилось так, чтобы с одной руки — княгине, а с другой — князю, складыва-

ли меха и украшения, золото и серебро; Коснятин поднес Ярославу богато украшенную, в золотом окладе Библию греческую, между пергаментными листами виднелась закладка из перегородчатой эмали, а на закладке — Юрий-змееборец, святой, в честь которого назвали Ярослава. Подарки увозили от стола возами, в то время как бедным и нищим от княжеских щедрот раздаривали милостыню, которую Ярослав велел раздавать, как только выйдут они из храма после венчания и до тех пор, пока усядутся за стол и поднимут первые кубки за здоровье молодой княгини, за его здоровье, за землю Русскую.

Подавали вина фряжские и меды настоянные, гусей и поросят запеченных, солонину и копченые колбасы, бараньи бедра и ребрышки, осетров и карпов, зайцев в черном соку и зажаренные на огне оленьи туши, лебедей черных и белых на серебряных подносах, а для князя и княгини привезена, ради такого случая, из полуденных краев царская птица павлин, зажаренная целиком, украшенная невиданной красоты пером, птица, мясо которой не гниет и не портится, а сохраняется вечно, и тот, кто будет есть его, тоже будет иметь вечную жизнь, и богатство, и красоту, и счастье.

За спинами у приглашенных на свадебный пир, с обеих сторон стола, не приближаясь слишком, чтобы не нарушать торжественность, но и не слишком далеко, ибо тогда исчезло бы ощущение близости между всеми, стоял новгородский люд, стоял двумя стенами, подвижными и веселыми, там была толчея, давка, крики, визги, невидимая борьба за лучшие места; более сильные проталкивались вперед, но и слабые старались от них не отставать; с серого новгородского неба моросил холодный дождик, но никто не обращал внимания на него, каждый нарядился в самые новые и праздничные одежды, а в толчее толпы дождик, собственно, и вовсе не замечался, те, которые сидели неподвижно за столом, должны бы испытывать большее неудобство, нужно было протягивать руки за кубками, чтобы пить за здравие и за благополучие, да за кусками мяса, ворохами наваленного на столе; руки их лоснились не столько от жира, сколько от дождя, на бородах тоже сверкала водяная пыль; а те, которые стояли позади, могли, по крайней мере, прятать руки за пазухи или в карманы, а уж бородами трясли вдоволь, ибо только и забот у них было, что весело толкаться да сопровождать каждую здравицу раскатистым, могучим гоготаньем: «Го-го-го!» Так научил Коснятин кричать десятка полтора заводил, а известно, что толпа легко подхватывает то, что ей незаметно покрикивают в самое ухо.

Вот так оно и началось, да и продолжалось чуть ли не весь день.

— За здоровье княгини светлейшей! Будем здравы!

— Го-го-го!

— Да славится наш добрый князь Ярослав! Будем здравы!

— Го-го-го!

— За победы наши грядущие и сущие! Будем здравы!

— Го-го-го!

— За вольности новгородские! Будем здравы!

— Го-го-го!

— Да не оскудевает земля наша! Будем здравы!

— Го-го-го!

— Народ новгородский, разрастайся и укрепляйся! Будем здравы!

— Го-го-го!

— За веру христианскую! Будем здравы!

— Го-го-го!

— Возлюбим, братие, друг друга! Будем здравы!

— Го-го-го!

— Молодым горько!

— Го-го-го!

— Горько-о-о-о!

Князь и княгиня вставали с места, целовались на виду у всех, не было в этом поцелуе никакого вкуса, не разжигало Ярослава и выпитое за день, а княгиня тоже сидела со своими прозрачно-холодными глазами, чужая и невозмутимая, только щеки ее покрывались пятнами то ли от утомительного пиршества, то ли от многолюдия, к которому она, наверное, не привыкла в своей северной стороне. А Ярослав хотя и одобрил про себя надлежащим образом выдумку Коснятина с этим бесконечным столом, за которым вместилось пол-Новгорода, и с этими крикунами, которые подгоняли пиршество своими восклицаниями, но в то же время и отчетливо видел: не получается у него так, как это получалось всегда у князя Владимира в Киеве. Прежде всего, тот никогда не полагался бы на чью-то выдумку или порядок — он сам бы велел, что делать и как, ибо хорошо ведь знал: все неудачные дела, причастен к ним князь или нет, бьют в конце концов по князю, ложатся на него провинностью и убытком. И уж если бы князь Владимир затеял такое пиршество и созвал столько люду (а у него бывало и больше, это знал и Ярослав, да и Коснятину было известно, потому он, видимо, и попытался чем-то приблизить Новгород в своих обычаях к Киеву), то все

равно не сел бы за стол так, чтобы по сторонам стояли толпы. Он велел бы настрогать столов для всех, и всем бы подавалось питье и еда, и было бы такое веселое и безудержное пиршество, да похвальба, да ухарство, что к концу дня забывали уже, кто смерд, кто боярин, кто воевода, а кто дружинник, и сам князь окружен был то одними, то другими, то воинами, то гуляками, то женами своими и чужими, которые ему понравились, которых он приметил, быть может, в эту лишь минуту.

А тут — этот холодный завистливый крик черных людей, поставленных ради высокомерия, этот смутный дождик, да еще и чужая, неприступная в своей гордыне женщина, которая вроде бы стала княгиней, его женой, но кто его знает, стала ли, ибо не замечает Ярослав, чтобы понравилось ей ее новое положение.

Гулянье продолжалось еще и при свете факелов, ибо не годилось отправлять людей при свете солнца, варено и жарено всего столько, что пир должен был длиться, быть может, и неделю, самым большим обжорам и пьяницам возле этого стола (а то и под столом) надлежало и ночь заночевать, но кто-то все же помнил о главнейшем — о князе и княгине, и, когда темнота уже плотно опустилась на землю и крики толп доносились словно бы из-за черной стены ночи, поданы были к столу новгородские просторные сани, застланные мягким персидским ковром, запряженные четверкой белых коней, в богатой сбруе, убранных зеленью и цветами, и сам Коснятин выхватил у возницы скрипучие вожжи, изукрашенные серебряными наклепками, развернул сани так лихо, что даже комья грязи разлетелись во все стороны, и пригласил молодых садиться.

И как только князь подвел княгиню к саням и она прилегла на ковер, потому что сесть там было невозможно, а Ярослав прижался к ней, Коснятин отпустил вожжи, и кони рванули с места во весь опор, грузному посаднику пришлось сразу подпрыгивать на своем сиденье,— и тут обе, невидимые уже почти, стены люда разрушились, рассыпались, с двух сторон ринулись к саням, смешались вокруг них с криком, визгом, восклицаниями, диким хохотом; над князем и княгиней нависали и мигом исчезали длинные бороды, разевались на них с неразборчивыми криками черные рты, горели любопытные глаза, люди толкались, наваливаясь прямо на сани, кто-то пытался отломить от саней хотя бы щепку, еще кто-то догадался отполосовывать огромные куски драгоценного ковра, кто-то

попробовал жечь ковер полыхающей лучиной; Коснятин с трудом пробивался сквозь столпотворение, кони, фыркая и мотая головами, тянули сани медленно, потому что перед ними толпилось множество возбужденных людей, посадник начал уже сожалеть, что не выставил на пути князя дружину двумя рядами, зато Ярославу хоть теперь понравилось то, как поворачивалась его свадьба, он рад был, что люд сломил запретную незримую межу, отделявшую его от князя; Ярослав чувствовал: вот где его сила — в этих ошалевших, ослепленных глупым любопытством людях; приятно было ощущать, как пугается холодная королевна этих забияк, прижимаясь к нему, ища у него защиты.

И уже на княжеском дворе по-молодому соскочил с саней, бодро взмахнул, почти дружески, беспорядочному сопровождению и людской толпе, которая уже заполнила и весь двор, взял княгиню на руки, и хотя она была огромной и неудобной в ноше, но пронес ее немного, пробиваясь сквозь толпу, а княжьи люди криком освобождали перед ним дорогу, все шире и шире, пока все-таки не наведен был какой-то порядок и не создался свободный проход к крыльцу княжеских палат; тогда Ярослав поставил жену на землю, будто огромную деревянную куклу, Ингигерда молча подала ему руку, и он повел ее на первое возлегание, ибо только телесно дополненный брак может считаться свершившимся.

А белые кони с санями исчезли куда-то, точно так же незаметно, как и посадник Коснятин, да Ярославу не было теперь ни до чего дела, он оставался наедине с молодой женой, впервые в жизни с глазу на глаз, рука в руку, и мир замкнулся между ними обоими, не существовало больше ничего, все исчезло, все забылось, полыхали в притемненной ложнице свечи, а им казалось, что только они полыхают и сгорают на огне, который жжет человека, пока он живет, дает ему наибольшую силу и одновременно отделяет его непроходимой стеной от всего окружающего.

Так и Ярослав на некоторое время отдалился от дел всего мира и не мог хотя бы краешком сердца почувствовать, что, быть может, именно в эту ночь, в дальней дали, возле Киева, на Берестах, отправлялся в свой последний путь его отец — Великий князь Владимир.

Бересты стояли уже тогда, когда Киев еще не был большим городом, они привлекали тишиной и покоем, и князь Владимир так полюбил их, что велел построить себе двор в Берестах даже лучше того, который был в самом Киеве. Отды-

хал там, после охоты в Зверинце, держал самых любимых наложниц также в Берестах; когда же занемог, собравшись идти в поход на непокорного сына Ярослава, тоже слег в своих палатах берестовских, надеясь на скорое выздоровление, но так уже и не поднялся — умер от колик в боку или же от божьего гнева. В те времена люди редко жили более шестидесяти лет, все равно Великому князю недолго пришлось бы жить, но во многом ускорили смерть князя события явные и тайные. Ибо если сын Ярослав открыто шел против отца, то другой сын — Святополк, до сих пор еще пребывая в заточении в Вышгородской крепостце, снова задумал дело, еще более страшное, чем князь Новгородский. Через верных людей Святополк известил печенегов о том, что князь Владимир выступает с войском против Новгорода, и позвал их ударить на Киев, как только покинет его князь со своей дружиной. А чтобы не проходить через крепостцы, поставленные Владимиром вдоль Роси, печенеги должны были переправиться где-то возле Переволочны через Днепр, пройти по Залозному шляху и приблизиться к Киеву с левого берега, откуда их никто никогда и ждать не будет. Так оно и случилось, да только хворости Владимира разрушили все намерения Святополка, снова послал он своих верных людей к печенежскому хану, предупреждая его, чтобы остановил орду, ибо и князь, и дружина, и огромное множество войск — все еще в Киеве, и ничего, кроме погибели, не добьются здесь печенеги.

Но к тому времени князю Владимиру было уже донесено о том, что зашевелились печенеги, поступали вести, что степняки движутся по левому берегу, тогда больной князь позвал к себе сына Бориса, прибывшего из далекого Ростова, чтобы встать возле отца в тяжкую годину, велел ему брать войско и выступать на Альту, чтобы преградить путь печенегам.

Борис выступил на Альту, выбрал просторное широкое поле, где мог бы дать битву печенегам, но они, своевременно предупрежденные Святополком, ушли в свои степи и исчезли там бесследно.

Пока Борис стоял с войсками на Альте, Великий князь Владимир ушел в небытие.

Он лежал в большой горнице, выходившей четырьмя окнами на Днепр. Окна не закрывались ни днем ни ночью, князь хотел вдохнуть в грудь как можно больше свежего днепровского ветра, но все равно задыхался все больше и больше, горница поднята была высоко над землей, над двумя подклетями, в которых толпилась придворная челядь, варились для

князя излюбленные его яства и напитки, всегда наготове сидели гусельники и скоморохи, шуты и красивые девчата, которые одной своей молодостью могли бы возвратить Владимиру здоровье, ибо часто бывало перед тем, что во время болезни Великий князь, стоило ему лишь отдохнуть взглядом на сладком личике, поднимался снова и снова вершил свои державные дела, большие и незаметные. Но на этот раз не пускал князь к себе никого, не хотел никого видеть, ничего не ел, лишь пил настоянные меды и воду из священного колодца, холодную и чистую, не велел беспокоить его, никто не смел появляться в горнице, пока сам князь не позовет, не подаст знак, а знак тот был — звук серебряного колокольчика на длинной ручке из слоновой кости. Колокольчик стоял на столике в изголовье князя. Звонок был слабым, почти неслышным, но по ту сторону дверей круглосуточно дежурили молодые отроки, они улавливали малейший звук из княжьей опочивальни, немало удивляя своей чуткостью дружинников, которые стояли на страже у тех же самых дверей, но не слышали ничего, так, будто кто-то заткнул им уши воском.

Но настал день, когда и отроки не смогли услышать никакого звука из княжьей горницы. Как ни прислоняли уши к толстым дубовым дверям, как ни замирали, как ни сдерживали дыхание,— ничего. Даже слышно было, как днепровский ветер влетает в открытые окна и со стоном врывается под двери, сквозь невидимые щели, но от князя не было ни знака, ни звука. Ждали целый день и целую ночь. Могло ведь случиться так, что Великий князь одолел недуг и впервые уснул спокойно и сладко и набирается сил во сне? Когда же и наутро снова не доходило из опочивальни никакого звука, тогда напуганная гридь известила воеводу дружины, а тот позвал двух бояр из Берестов, и вот они втроем боязливо подступили к высоким дубовым дверям, которые давно уже можно было беззвучно открыть, потому что петли смазывались гусиным жиром, чтобы не раздражать князя ни шумом, ни скрипом, но никто не отваживался приоткрыть двери хотя бы на палец, ничей глаз не заглянул в великую горницу, и только теперь эти трое впервые сделали это, осторожно вошли в палату, и в лицо им ударил тяжелый сладковатый дух покойника.

Князь лежал мертвый. Эти трое побоялись и прикоснуться к покойнику, хотя следовало бы поправить его на постели, потому что лежал он с перекошенной шеей, как-то неуклюже

свесив голову с подушки; борода оттягивала его челюсть вниз, на усах запеклась кровь. Позвали поскорее священника, а тем временем начался совет: что делать?

Князь умер без причастия, без исповеди, что самое плохое — не известив о своей последней воле, не назначив преемника своей власти. Правда, он звал к себе сына Бориса и дал ему войско, чтобы выступить против печенегов, но этого еще недостаточно, чтобы провозгласить Бориса Великим князем Киевским, потому что есть братья и постарше — есть самый старший Святополк, есть Мстислав, есть Ярослав, который своим дерзким отказом подчиняться отцу уже довольно откровенно заявил о своих притязаниях на Киевский стол.

В Бересты позвали киевских бояр и воевод, а тем временем верные люди из гриди тоже не дремали, дали знать: одни — Предславе, а другие — Святополку в Вышгород о кончине Великого князя, и эти уведомления мгновенно опередили все то, что родилось в тугих головах киевских бояр, ибо Предслава тотчас же снарядила гонцов с грамотой к Ярославу, призывая его как можно скорее двигаться на Киев, а вышгородские бояре, выпустив Святополка на волю, со всеми почестями, надлежащими только Великому князю, повезли его через боры в Киев, оттуда — в Бересты, и, хотя добрались туда уже поздней ночью, княжий сын велел не откладывая похоронить Владимира; бояре и воеводы собственноручно проломили помост в горнице, чтобы скрыть от смерти привычный ход, которым пользовался покойник, завернули тело Великого князя в ковер, спустили на вожжах на землю и положили в сани, запряженные восемью парами белых волов, как велел старый полянский обычай.

Так на белых волах въехал в последний раз князь Владимир в Киев, и в ту же самую ночь был похоронен в церкви Святой Богородицы в приделе Святого Климента, в мраморной корсте, под молитвы, слезы, рыдания и печаль всего Киева.

А еще в ту же самую ночь, когда повел Ярослав свою жену на первое возлегание и выехали с его двора белые кони, а где-то в Киеве белые полянские волы отвозили тело его отца к месту последнего покоя, отправился тайком из Новгорода большой отряд всадников. Не очень уверенно держались всадники на конях, слышна была варяжская речь; если бы кто-нибудь мог прислушаться, сразу бы услышал хвастливые рассказы одного из варягов о его прелюбодеяниях с новгородскими молодками, из чего легко было узнать Торда-младшего,

а уж тогда выплыл бы из темноты и молчаливый Ульв, и мрачный Торд-старший, который, кажется, командовал этой странной поездкой; варяги, хотя и чувствовали себя увереннее пешими, ехали довольно быстро, кто-то подобрал им всем коней одинаковой гнедой масти, так что сливались они с ночью, и видно было, что едут на дело нечестное.

Варяги не брали с собой в дорогу ничего обременительного — ни украшений, ни снаряжения, одно лишь оружие да харчей на два перехода. Но хотя отправились они из Новгорода налегке и гнались ночь и день без передышки за тем, за кем надлежало им гнаться, все же не удавалось им настичь беглецов; уже и кони притомились, уже и Торд-младший умолк и стал похож своей молчаливостью на Ульва, уже ясно было, что едут они по днепровским лугам, вскоре будет и сам Днепр или какой-нибудь из его притоков; варяги безжалостно гнали коней: если они опоздают и насад на Смядыни отчалит и окажется в Днепре, тогда им придется возвратиться назад, не исполнив порученного, а это означает нарушить свое слово и — что хуже всего — не получить обещанного, а обещано было вельми щедро.

Когда же наконец за негустыми перелесками увидели варяги впереди себя короткую цепочку всадников, впереди которой ехал на белом коне молодой князь Глеб, кони варяжские еле передвигались, они спотыкались в густых и высоких нежарах[1], а у князя и его сопровождения кони были свежие, словно бы только что из конюшни или с пастбища, шли размеренно, красиво, и видно было, как легко и уверенно отдаляются от преследователей, еще и не зная об их существовании. Что же будет, когда они узнают? Торд-старший сразу же смекнул, что нужно действовать умением, а не силой, и молча указал Ульву на его лук, остановил отряд, чтобы дать лучнику спокойнее прицелиться, сказал хрипло:

— Бей сразу в князя, на белом коне.

И то ли Ульв, измученный утомительной погоней, не попал в цель, то ли и вовсе не понял, куда стрелять, и, услышав последние слова Торда о коне, в коня и целился,— стрела, посланная рукой варяга, ударила коню в переднюю ногу, под самую грудь, конь споткнулся, упал на всем скаку, а Глеб не успел выдернуть ноги из стремян, его придавило конской тушей, но он сам сумел вывернуться, высвободил придавленную ногу и только тогда почувствовал дикую боль в этой но-

[1] Нежары — прошлогодняя трава на корню.

ге, а когда попытался встать на нее, она не подчинялась. Его люди остановили своих коней, кони испуганно вытанцовывали, храпели, прядая ушами; наперед выехал со своим конем любознательный повар князя, по имени Торчин, ибо и в самом деле происходил то ли от турок, то ли из агарян, знал лишь несколько слов по-русски, зато готовил дивные блюда для княжеского стола, а еще отличался огромным женолюбством и неутолимой любознательностью. Наверное, любознательность толкнула его и сейчас вперед, но это не привело к добру, потому что князь, увидев первого всадника, крикнул:

— Подай мне коня!

Торчин подъехал к князю, но с коня еще не сходил, ибо и не понял толком, чего от него хочет князь. Тогда Глеб дернул его за ноги, посиневшими от боли и злости губами уже не прокричал, а прошептал:

— Слезай с коня! Мигом!

Торчин снова не понял.

— А я? — спросил он, увидев наконец стрелу в ноге княжьего коня и с ужасом ожидая, быть может, точно такой же стрелы и себе в спину.

— Слазь! — прокричал князь и потянулся к мечу.

Тогда Торчин слетел с коня, но не на ту сторону, где стоял обезумевший князь, а на противоположную, и не слез, а просто скатился, упал, мигом вскочил и, пригнувшись, побежал за деревья.

Глеб с огромным трудом взобрался в седло, махнул рукой, погнал во весь опор. Боль была такой невыносимой, что пришлось перевести коня сначала на рысь, а потом и вовсе на медленный шаг, но за это время они уже отъехали от того проклятого места, где, видно, засели бродники, грабившие купцов. Глеба окружила его дружина, поддерживали побледневшего князя и тихо поехали дальше, потому что тропа вывела их как раз к берегу Смядыни.

Дорогой ценой пришлось заплатить князю Глебу за вынужденное промедление. Когда он вот так, неторопливо, приближался к насаду, который ждал их с сонными гребцами возле берега, сбоку, перерезая им путь, полетели между деревьями темные всадники, и только тогда понял князь, что это не бродницкая стрела летела в него, что не грабителям понадобился его конь или богатство, а послано за его головой. Снова пересилив боль, Глеб пустил коня намётом, подскочил со своими людьми к насаду, крикнул, чтобы помогли ему слезть на землю, князя поддерживали под руки, повели как

можно скорее на суденышко. Глеб шептал: «Скорее, скорее, скорее». Один из дружинников мечом перерубил веревку, которой насад был привязан к прибрежному черному, с обнаженными лапчатыми корнями вязу, сонные гребцы, проснувшись, готовились отталкиваться от берега длинными тяжелыми веслами, но тут приспела погоня, варяги слетали с коней на скаку и прыгали в беззащитный насад с обнаженными мечами, и мечи их сверкали, словно вода, и смывали кровью все, что попадалось на пути, а между варягами завертелся княжий повар, страшный в своей ненависти к князю, которого перед этим столько лет кормил и который так коварно бросил его в чужом лесу на произвол судьбы. Повар подскочил к Глебу и прежде, чем тот успел выхватить ослабевшей рукой свой меч, загнал ему в грудь широкий нож. «Но дейте[1] меня, братия моя милая и дорогая, не дейте!» — заплакал-закричал по-детски юный князь, но тут ударили еще и варяги, Глеб упал мертвый; тогда Торчин прыгнул ему на грудь и двумя взмахами отполосовал князю голову.

Торд-старший взял голову и старательно вложил ее в кожаный мешок, висевший у него за плечами.

События, в особенности же страшные, имеют особенность повторяться, даже совпадая при этом во времени. Опять-таки, быть может, именно тогда, когда таинственные варяжские всадники по мхам, брусничникам и нежарам гнались за князем Глебом, из Киева на Альту тоже отправились всадники, с той лишь разницей, что первые снаряжены были без ведома князя Ярослава, а вторых послал сам Святополк, и велено было этим последним привезти в Киев молодого князя Бориса добровольно или силою, живого или мертвого, ибо кличет его к себе старший брат, который сел на отний[2] стол и требует покорности от всех братьев младших. Это были отчаянные вышгородские бояре Путьша, Талец, Еловит и отрок Святополка, прозванный Ляшком, потому что привез его князь от своего тестя Болеслава, хотя был этот отрок неизвестной крови, скорее походил на дикого степняка, обладал неугомонным нравом и отличался глупой отчаянностью. И если варяги, отправляясь в погоню за Глебом, не боялись, в сущности, никакой опасности, то посланцы Святополка ехали, возможно, и сами на верную смерть, ибо Борис стоял на Альте не один, а с огромным войском, которое еще не присягнуло

[1] Не дейте — не трогайте *(древнерусск.)*.
[2] Отний — отцовский *(древнерусск.)*.

Святополку, да и неизвестно, станет ли на его сторону или же, быть может, перейдет на сторону Бориса, поскольку всем было известно, какой чести удостоил князь Владимир Святополка и каким доверием у отца пользовался Борис.

Тем временем Борис напрасно ждал на Альте появления печенегов. Дозоры, посланные далеко в степь, не обнаружили никаких следов врага, до князя дошли слухи, что печенеги отошли от Киева и слоняются где-то неподалеку от дорог и переправ; князь хорошо знал, что войско необходимо его отцу прежде всего для того, чтобы выступить против непокорного Новгорода; лето уже достигло середины, стало быть, наступила наилучшая пора для похода, но возвращаться в Киев без веления князя Владимира Борис не смел, напоминать Великому князю о походе на Ярослава тоже не мог и потому, растерянный и нетерпеливый, продолжал стоять в поле перед Альтой, целыми днями не выходил из своего шатра, ревностно молился, вел благочестивые беседы с отроком своим — угрином Григорием, которому за тихий нрав и верную службу подарил тяжелую шейную чепу из чистого золота; так что, когда посланные Святополком люди подъехали к шатру Бориса с княжеским флажком, навстречу им вышел Григорий, и они сначала приняли его за самого князя из-за этой гривны и малость даже опешили, несмотря на все свое нахальство, но сразу же опомнились, как только Григорий поклонился им низко, увидев их дорогие одежды, и сказал, что спросит князя, сможет ли тот принять посланцев. Сбежались отроки, прислуживавшие князю, стали подходить и воины; Путьша дал знак своим людям, чтобы были наготове, а сам, еще и не званный, пошел в шатер, оттолкнул Григория, преградившего ему путь, направился дальше, прямо в княжескую опочивальню. Борис, свесив босые ноги с ложа, сидел в одной сорочке, потому что имел обыкновение после обеда немного подремать, а он только что пообедал, самим ведь богом определен полудневный сон: испокон веков в полдень отдыхает и зверь, и птица, и человек; теперь Борис немного недовольно поглядывал на боярина, который не дождался даже, пока князь натянет порты, но одновременно старался он и подавить свой гнев, ибо посланец, наверное, был от Великого князя и принес вести о возвращении в Киев.

Путьша не поздоровался, не дал князю одеться или хотя бы малость опомниться. Подошел к самому ложу и, сверху вниз поглядывая на худенького, еще совсем юного, только-только бородка начала прорастать, князя, сказал толстым басищем:

— Отец твой умер, царство ему небесное, а в Киеве сидит князь Святополк и велел тебе без промедления ехать с нами к нему.

Князь растерянно смотрел на толстое лицо Путьши,— видно, его страшно поразила весть о смерти отца, а уж что касается Святополка, то он, наверное, и не услышал, а если и услышал, то ничего не понял, еще меньше понял он о требовании старшего брата ехать к нему с поклоном. Борис хотел что-то промолвить, но губы его шевелились без малейшего звука, испытывал лишь неодолимый страх, панический, безудержный страх перед этим грубым, незнакомым боярином, перед его жестокой вестью, перед его наглостью, с радостью убежал бы сейчас куда-нибудь, не был бы ни князем, ни воеводой, уже жалел, что не послушал брата Ярослава и не поехал на его призыв, теперь был бы далеко отсюда, от отцовской смерти, от всех ужасов, которые принес ему, сонному и растерянному, этот чужой человек с нахальным голосом; более же всего обескураживало князя то, что сидит перед зловещим боярином почти голый, без портов, без оружия, имея только крест на шее, но что крест, когда на человека внезапно обрушивается столько горя.

— Григорий,— отважился наконец князь на какое-то решение,— Григорий, где ты?

В голосе Бориса было столько отчаяния и боли, что Григорий, которого придерживал на дворе Еловит, не пуская его в шатер, рванулся внутрь, чуть не сбил с ног Еловита, лихорадочно выхватил из ножен широкий свой меч, в один прыжок очутился возле расшитого полотна, закрывавшего вход в княжескую опочивальню, но за его спиной гибко вывернулся Еловит и длинным своим копьем ударил почти вслепую вслед угрину, попал ему между лопаток, Григорий упал. Тогда Еловит выдернул копье из тела отрока, влетел туда, где вел переговоры с князем Путьша, увидел там тонкого безбородого юношу в одной сорочке, и быть может, не разбираясь толком, князь это или еще кто-нибудь из его отроков, взмахнул копьем и ударил юношу в грудь. Тот молча, спокойно, без единого стона, заливаясь кровью, упал на ложе.

— Наделал же ты,— приглушая голос, сказал Путьша.— Режь шатер, заворачивай князя — и айда!

Еловит не растерялся, его не испугало восклицание Путьши. Не из тех был, чтобы пугаться. От деда-прадеда передавалось Еловиту разбойничье ремесло, выслеживали они проходящие мимо Вышгорода нагруженные товарами купеческие

челны, нападали на них темными ночами, молча отправляли купцов и гребцов на тот свет, забирали все с челнов, топили и челны, так что где-то на дне собирались целые кладбища из людей и челнов, а Еловиты богатели, богатство их росло, словно верба из воды, все концы своих преступлений тоже умело прятали в воду; теперь же Еловит прятался в своих поступках за князя Киевского Святополка — так чего же было бояться? Он выхватил нож, полоснул по шатру, вырезал огромный кусок полотна; когда сворачивал ткань, споткнулся об отрока Григория, заметил на его шее золотую гривну, наклонился, попытался снять чепу, но она заперта была довольно прочно. Однако жаль было оставлять такую драгоценность. Тем самым ножом, которым полосовал шатер, Еловит умело отрезал голову убитого, снял гривну, бросил ее себе за пазуху, а уже после этого начал заворачивать Бориса, еще и не зная толком даже, умер тот или только потерял сознание.

Так начал свой кровавый и окаянный путь к княжескому столу Святополк. Впоследствии брат его Святослав, узнав о страшной смерти Бориса, попытается бежать от Святополка к своему тестю в угры, но наемные убийцы догонят Святослава в Карпатах и убьют безжалостно и жестоко.

Но одна злая воля натолкнулась на другую, тоже злую, хотя и невольно, ибо Ярослав, тоже стремясь к нераздельной власти, не мог пользоваться средствами, применяемыми Святополком, он еще не знал, какой жестокой и лишенной каких бы то ни было угрызений совести будет борьба, в которую он включался в своем стремлении сесть на Киевском столе, он с возмущением отбросил бы подсказку прибегнуть к устранению смертью братьев своих, пускай и рожденных от разных матерей, но все же от одного отца. Но Ярославу покамест пришла на помощь сила посторонняя, и называлась эта сила — Коснятин, посадник новгородский.

Коснятин был старше Ярослава и по возрасту, и по опыту, он хорошо знал, что к власти легче всего идти тогда, когда ничто и никто не стоит меж тобой и властью. Между Киевским столом и Ярославом стояло слишком уж много людей: все его братья. Одни были далеко, другие, как Судислав, сидели тихо, а этот юный заехал в Новгород лишь для того, чтобы заявить старшему брату, что выступит против него вместе с Владимиром, погрозился и уехал, считая, будто так оно и заведено. Коснятин же убежден был, что такую дерзость нужно покарать, и покарать немедля и без сожалений. Вот и подговорил он Торда-старшего с небольшой дружиной отпра-

виться на это темное дело в ту самую ночь, когда князь Ярослав впервые уединился со своей молодой женой.

Молодая княгиня должна была разуть своего мужа и найти в одном сапоге золото, а в другом хлыст — пускай ждет достатка, но не забывает о постоянном подчинении мужу. Ингигерда, которую князь стал называть по-своему Ириной, неопределенно как-то улыбаясь, стянула с него один тимовый сапог, обшитый жемчугами, потом стянула и другой и отбросила его далеко, а еще дальше — арапник. Стояла на коленях, выпятив грудь, распростерши согнутые в локтях руки, загадочная улыбка блуждала у нее на устах, такая похожая на улыбку Забавы-Шуйцы в первый день их сближения, что князь, забыв про торжественность минуты, не стал ждать, пока княгиня встанет и пойдет на ложе, не подал ей руки, как это, наверное, надлежало, а двинулся к ней как-то неуклюже, боком; наверное, сказалось опьянение от целодневной гулянки,— он навалился на Ирину с коротким, нетерпеливым всхлипом, и уже не были они князем и княгиней, не было в ней ничего от холодной загадочной королевы; подхваченные яростной жаждой телесной, вмиг стали они обыкновенными людьми, смертными и грешными, и утонули в темной сладости, забыв про все дела на свете. Когда же, немного погодя, Ярослав снова, как тогда, из саней, взял жену с пола, неуклюже и неумело, отнес ее на ложе и при мерцающем свете свечей на миг заглянул в ее пронзительно-прозрачные глаза, горячей ненавистью ударило ему в сердце, он стиснул ей руки так, что она застонала, и этого уже было достаточно для него, он почувствовал себя хотя бы немного отмщенным, отошел в темноту, подальше от ложа, встал спиной к жене, сказал глухо:

— Почему не цела?

— Потому что далека дорога,— ответила она сразу, словно бы ждала подобного вопроса.

Ярослав почувствовал себя пораженным еще больше. Оказывается, она ехала к нему и не ждала даже встречи со своим будущем мужем, не уважила его никак.

— Как это так? — допытывался он, хотя и знал, что об этом не стоит больше говорить.

— До тебя далеко... не далеко — долго.— Она, видно, путалась в словах, и он наконец понял, что речь идет о давних временах, когда она еще, возможно, и не слыхала о нем и когда, следовательно, он не имел и не мог иметь над нею ника-

кой власти. Да и сам тогда разве сохранял себя в неприкосновенности?

— Бьют ли у вас короли своих жен? — попытался перевести разговор немного в шутку, но Ирина истолковала его вопрос прямо.

— Кто сильнее, тот того и бьет,— сказала она, не шевелясь, с полнейшим ощущением своего превосходства над князем, который первую брачную ночь разменивал на столь мелочные разговоры.— Жены у нас тоже сильные. Выбирают у нас тоже не всегда мужчины. Бывает так, а бывает и иначе.

— Тебя выбрал я,— твердо сказал Ярослав, благодаря бога, что окутывал его сейчас темнотой.

— Захотела я поехать к тебе, вот и имеешь меня здесь. А послать меня никто не смог бы.

Он знал теперь точно: будут они жить в постоянной вражде, никто не уступит ни в чем, только и преимущества его было — в княжении (где оно еще?) да в мужской своей силе, хотя ни над телом ее, ни над духом повелевать ему не удастся. Это открытие глубоко поразило Ярослава, он не хотел бы иметь у себя под боком жену, которая сохраняла бы свою личность и жила бы независимо от его воли, недоступная и настороженная. Но что он мог поделать?

— Иду на Киев, и ты со мною тоже,— сказал он, стараясь хоть чем-нибудь ей досадить.

— Вельми охота мне посмотреть на Киев,— не сдавалась Ирина,— много слышала про этот город, скальды слагают о нем песни.

— Не смотреть идем — княжить,— напомнил Ярослав, хотя вдруг сам засомневался, утратил веру в достижимость цели после сегодняшнего вечера, когда все у него ускользало из-под ног.

— Потому и приехала к тебе,— холодно улыбнулась Ингигерда,— верю в тебя, знаю, что будешь князем в Киеве.

— Веришь? — Ярослав не удержался, вышел из темноты, вспугнутые тени заметались позади него, свечи торопливо обнимали его лицо теплыми ладонями лучей.— Знаешь?

— Да.— Она улыбнулась с невыносимой горделивостью, он ненавидел ее за эту улыбку; если бы на ее месте была какая-нибудь другая женщина, возможно, задушил бы ее, растерзал, уничтожил, но перед ним была его собственная жена, княгиня Ирина, которая, еще и не став, собственно, как следует даже княгиней Новгородской, уже с уверенностью говорит про стол Киевский. Опьянение снова нахлы-

нуло на Ярослава, пошатываясь он подошел к ложу, порывисто наклонился над Ириной, с жаркой жестокостью впился губами в ее уста, забил ей дыхание, она глухо застонала, тяжело повернулась всем своим крупным телом, чтобы вырваться от него, но Ярослав обнял ее руками, ибо отступать ему было уже некуда; мгновенно открылось перед ним, что ничто не будет даваться ему в руки, может, всю жизнь придется бороться вот так со всем на свете, начиная от родного отца и родной жены и кончая самыми яростными врагами, ибо что такое жизнь людская, как не бесконечная борьба с темными силами, с греховными страстями, с собственной слабостью, с дуростью, с чрезмерной доверчивостью?

С утра, после святой службы в церкви и раздачи милостыни нищим и убогим, Ярослав велел рядом с длинным столом вдоль Волхова поставить еще столько столов, сколько нужно, чтобы поместились все желающие, и свадебный пир продолжался уже по-новому; теперь князь пировал со всем Новгородом и был люб сердцу новгородцев, и жена его смотрела на князя уже не такими пронзительно-холодными глазами, было в них ожидание, и настороженность тоже была; Ярослав ждал еще хотя бы малейшего признака пугливости в этих глазах, боязни, но еще, наверное, не настало время для этого, не могла Ирина покориться так быстро и легко, зато люд новгородский отдал сердце своему князю, и в беспорядочном гомоне то тут, то там удавалось услышать ему отдельные восклицания:

— А побьем киевлян с нашим князем!

— Мздоимцев надутых!

— Обдирал днепровских!

— Меча держать не умеют!

— Грабители!

Коснятин доброжелательным ухом прислушивался к этим восклицаниям, шел туда, поднимал чару за здравие князя, за успехи киевского похода, за Новгород Великий, а сам в мыслях имел прежде всего самого себя, и дерзость его неутоленных замыслов поднималась до размеров небывалых. Князья всегда любят окружать себя людьми смирными, которые легко поддавались бы их прихотям, ни в чем не перечили. Такими чаще всего являются люди темные и бездарные. Коснятин же считал, что превосходит Ярослава во всем; выражая показную смиренность и послушность, он тем временем поворачивал князя в выгодном для себя направлении. Отступать Ярославу было уже некуда, да если бы даже он и

пожелал отступать, то посадник позаботился, чтобы отрезать и последнюю тропинку, послав варягов в погоню за Глебом. Когда упадет на Ярослава вина за убийство брата, у него останется одно-единственное спасение: добывать Киевский стол, ибо только властью можно покрыть тягчайшее преступление.

С нетерпением ждал Коснятин Торда-старшего из его таинственного преступного похода. Бодрился на целодневных пиршествах, на продление которых подтолкнул Ярослава,— дескать, для поднятия духа новгородцев,— прислуживал князю верно и неусыпно, первым стоял у дверей княжеских палат, когда Ярослав с молодой женой шел почивать, первым стоял у тех же самых дверей утром, встречая князя после ночи, так, словно бы сам и не спал, и не ложился. Казалось, бесконечные тревоги, волнения и тайные замыслы должны бы подорвать здоровье любого человека, но только не Коснятина. В его огромном могучем теле хватало сил на все: и на питье, и на суету, и на прислужничество князю, и на то, чтобы следить за порядком, не забывал он и про подготовку к походу, в короткие ночные часы еще ублаготворял и свою жену, чтобы не забывала она мужа и естества его; когда же средь ночи прозвучал условный стук в ворота двора посадника, то Коснятин — словно и не спал все эти ночи — вмиг накинул на себя одежду, сам выбежал во двор, открыл ворота, впустил трех темных всадников, сам проследил, чтобы привязали они коней, потом пригласил в горницу, засветил одну тоненькую свечечку, хрипло спросил у Торда-старшего, который стоял перед посадником вместе с Тордом-младшим и Ульвом:

— Ну?

Варяг молча развязал кожаный мешок, выкатил из него под ноги Коснятину что-то темное и круглое, посадник взял свечу, наклонился, присветил, всматривался недолго, но пристально, снова поставил свечку, потом погасил ее, велел:

— Убери.

— Это можно и на ощупь,— сказал Торд-старший,— но золото считать привыкли мы при свете.

Он пошуршал мешком, тогда Коснятин снова зажег свечку, на этот раз уже более толстую, сказал оживленно:

— Я тоже люблю присматриваться к золоту, даже отдавая его!

Варяги приняли шутку посадника, засмеялся даже молчаливый Ульв. Они еще не знали, на что способен Коснятин, да

и кто бы распознал за веселой внешностью этого мужчины-красавца мрачную, мстительную душу. Даже Торд-старший, обладавший немалым опытом в выслеживании значительных людей и устранении их с пути, незаметно и умело, и привыкший к таинственной серьезности, которой всегда сопровождались разговоры о таких делах, был малость обескуражен поведением Коснятина, который все мог обратить в шутку. От такого человека приятно было получать плату за любое дело. Посадник, выдав варягам обещанное, похлопал их по плечам, они ответили посаднику тем же, расстались друзьями еще большими, чем были раньше, варяги поехали на Поромонины дворы, которые занимали площадь уже, кажется, большую, чем княжий двор и купеческие стойбища, а Коснятин возвратился к разоспавшейся своей жене с белым, сладким телом и поцеловал ее так крепко, как давно не целовал, потом они доспали ночь в пестрых и желанных для обоих снах, а на рассвете посадник уже стоял в почтительном поклоне, ожидая выхода князя и княгини на молитву. И еще был последний день свадебного пира, потому что Ярослав уже начал проявлять нетерпение, велел созывать воев, каждого в свою тысячу, чтобы вскоре отправиться в поход; пир выдался на славу, черный люд в этот последний день должен был довольствоваться одной лишь милостыней, потому что за столом засели воины новгородские и из волостей. Коснятин ходил между ними, знал, кажется, чуть ли не всех поименно, многих обнимал за плечи, многим бросал что-то шутливое, тому улыбался, с тем пил, с тем обнимался, с другим целовался, а между делом шепнул воеводе Славенской тысячи Жировиту, что жена Тверяты, воина их тысячи, женушка небольшая, но охочая на мужские ласки, кажется, возлежит сейчас с одним варягом, известным всем своими успехами у новгородских жен, а потом еще и посоветовал Жировиту взять немного своих воинов да потрепать дружков этого варяга; сказано было совсем мало, казалось, Жировит ничего и не понял бы из этих нескольких слов, брошенных мимоходом посадником, но, видно, слова здесь были ни к чему: между Коснятином и Жировитом все уже было договорено заранее, нужен был лишь только знак, последнее веление. И вот воевода Славенской тысячи это повеление уже имел. И он обошел своих доверенных людей и каждому что-то там шепнул, а они, тоже, видно, заранее предупрежденные, где и как собираться, поодиночке выходили из-за столов и незаметно исчезали, не нарушая пиршество.

Все произошло, как пожелал посадник. Тверята с товарищами застал Торда-младшего, когда тот крепко обнимал его жену, можно было бы довольно легко убить обоих в тесной хижине, не дав им и опомниться, но для неверной жены смерть от меча была бы слишком почетной, на варяга же нападать из-за спины было негоже; его выманили из хижины, приказали защищаться, пошли на него с мечами сразу впятером, чтобы у того не оставалось никаких надежд на спасение; но Торд-младший оказался хватом не только против женщин, но и против воинов. Он легко и смело отбил наступление, даже сумел отогнать от себя нападающих именно так, что открыл себе дорогу для побега. В этом побеге ничего позорного не было, ибо он — один, а их — много, поэтому Торд мчался по извилистой улочке быстро, как молодой олень, и направлялся, разумеется, к своим, на Поромонин двор, надеясь найти там защиту, вовсе выпустив из виду, что вся Эймундова дружина пирует с князем и княгиней и только его товарищи, возвратившиеся поздней ночью из тайного похода, спят где-то там, не ведая, какая беда постигла его и что ждет их самих. Вышло так, что Торд-младший сам накликал погибель не только на самого себя, но и на всю дружину Торда-старшего. Новгородцы ворвались следом за ним на Поромонин двор, их стало словно бы еще больше, чем там, у хижины, куда заманила сегодня утром чертовски сладкая бабенка Торда-младшего, а теперь выходит, что он заманил новгородцев на стоянку, и если бы это был не такой день, то новгородцам не поздоровилось бы на Поромонином дворе, но нынче получилось так, что десяток сонных, раздетых, невооруженных людей стали жертвой нападения разозленных новгородских мужей, которые уже давно вострили зубы на пришельцев, сыпавших во все стороны золото, завлекавших чужих жен, затевавших драки на улицах, насмехавшихся над простыми людьми. Как все те, кто часто ходит к чужим женам, Торд-младший обладал метким глазом, он мог потягаться в этом, видно, и с самим Эймундом; так вот, вскочив в Поромонин двор, варяг мгновенно смекнул, что тут ему тоже несдобровать: оглянувшись, он увидел, что воинов с настоящим оружием за ним гонится не так уж и много и держатся они чуточку словно бы позади, а вперед вырываются разъяренные великаны с дубинами в руках, и ему впервые стало страшно; он что-то крикнул по-своему, побежал дальше, крикнул еще; видимо, кто-то из его товарищей уже не спал, ибо двое или трое варяг выглянули из двери их огромного

дома, тотчас же скрылись, затем по одному, не совсем еще одетые, начали выскакивать с оружием в руках, но было уже поздно чинить какое бы то ни было сопротивление: всех их вместе с Тордом-младшим смяли, растоптали, уничтожили в один миг. Конечно, это не был честный бой, как его понимают настоящие воины. Новгородцы врывались к варягам без мечей и копий в руках, с одними лишь тяжелыми дубинами, молотили ими накрест, размахивали, будто топорами или молотками (сказано ведь — плотники!), вскакивали в избу, находили спящих, били без разбора, как попало, заботясь только лишь о том, чтобы ни один из варягов не ушел живым.

Расправа чинилась скорая и негромкая, но слух о ней прокатился, как это часто бывает, почти вмиг по всей Торговой стороне. Прежде всего донесся он к свадебным столам, кто-то прибежал, кто-то выкрикнул одно лишь слово, но это слово сразу же было истолковано как то, чего давно уже ожидали, вылилось в первое восклицание: «Наши варягов бьют!» — восклицание ненависти, расплаты за долголетнее унижение, за топтанье чести вольного люда, за чужеземное презренье к хозяевам этой зеленой тихой земли, которые привыкли работать много и тяжело, добывать зверя, рыбу, тесать дерево, торговать заработанным, а не украденным и награбленным с помощью грубой силы, когда же нужно, то умели и противостоять любой силе; но для этого нужно было назвать эту силу вражеской; варяги же топтались в их огороде словно бы на правах дружелюбной силы, а на самом деле вели себя хуже всяких захватчиков; и вот наконец слово брошено, слово произнесено, слово упало: «Бить!»

— Наши варягов бьют!

И уже брошены напитки и яства, поднялся крик и суета, выскакивали из-за столов, забыли про князя и княгиню, про порядок и обычай, не боялись ощетинившейся копьями княжьей дружины, ибо что теперь дружина, что теперь князь с княгиней, когда раздалось великое слово «бить»!

И хотя никто не говорил, где и за что бьют, все бежали в направлении Поромонина двора, вооруженные изготовлялись к бою, безоружные на бегу что-то там норовили схватить в руку; ни посадник, ни тысяцкие, ни старосты, ни десятники не могли сдержать людской ярости; Коснятин только беспомощно развел руками, возвратившись к князю, немного помятый и ободранный в заварухе; его жена кинулась к нему со слезами, ибо не привыкла видеть его в таком состоянии,

но Коснятин оттолкнул глупую бабу: речь шла не о нем, прежде всего следовало защитить князя с княгиней; дружина уже выстраивалась вокруг них, прикрывшись непробиваемыми щитами, но посаднику показалось и этого мало, с детских лет он перенял от новгородцев все плотницкие хитрости, поэтому имел наготове крепко сбитый из дубовых брусьев и кольев переносный довольно просторный вор[1], который и был поставлен теперь перед князем и княгиней, чтобы они вошли туда и так, защищенные от любого посягательства на жизнь, проследовали спокойно в палаты.

Но Ярослав сверкнул гневным глазом на Коснятина за эту выдумку, он боялся стать посмешищем в этом дубовом воре, зато Ирине понравилась затея посадника, она первой вошла в вор, подала руку князю, тот, дабы не суперечить жене, послушно пошел за нею. Коснятин дал знак носильщикам, вор немного подняли над землею, и он поплыл, окруженный кольцом варяжских дружинников, тихо и величественно, прилаживаясь к походке молодой княгини и князя, который вынужден был подавлять свою ярость, до поры до времени не выказывая ее. Едва ли не более всего злился князь на Ирину. Висела теперь у него на шее, словно жернова. Если бы не она, бросил бы он все это, взял бы коня и поскакал бы за леса к Шуйце, и никто бы не знал, где он и что с ним, на коленях умоляли бы князя возвратиться в город, ибо народ без князя — что отара без пастуха, беззащитный и неустроенный, а он наслаждался бы себе со своей неугомонной Забавой, и снова бы светилось ее молодое, незабываемое тело, и сам он помолодел бы сердцем, переживал бы то, чего никогда не пережил в своей жизни, сразу постаревший и посолидневший от своего княжения и великих книжных мудростей.

Коснятин шел по ту сторону дубовой ограды, старался уловить княжий взгляд, но Ярослав упорно отворачивался от него, злой на весь мир. Коснятин не унимался: просовывая сквозь щели нос и свои пшеничные усы, он сказал смиренно:

— Клянусь тебе, княже, что найду всех виновников.

Но тут впереди движущейся клетки появился кто-то из варягов и воскликнул испуганно:

— Торд-старший убит, и Торд-младший, и Ульв, и еще много наших...

— Всех убийц поставлю перед тобою,— снова сказал Коснятин.

[1] Вор — деревянный переносный сруб.

— Что убийцы? — горько улыбнулся князь.— Не воскресить уж мне теперь ни Торда, ни Ульва, ни кого-либо из погибших...

Коснятин отошел от вора. Хотел покинуть князя на полдороге и сразу броситься выполнять свое обещание, чтобы утешить Ярослава хоть немного, но он должен был еще сопроводить княжескую чету целой и невредимой в палаты и только после этого принялся за дело.

Еще и день не закончился, не утихомирился еще Новгород, который кипел теперь во всех своих концах, далеких и близких, а посадник, посвежевший, в новом одеянии, улыбающийся и торжественный, подвел к воротам княжеского двора точно таких же торжественных Жировита, Тверяту и еще десятка полтора воинов Славенской тысячи, всех тех, кто сегодня утром был виновником небывалых столкновений в Новгороде.

— Князь давно хотел проучить нескольких варяжских гуляк, чтобы не сеяли они вражды между дружиной и Новгородом,— говорил Коснятин Жировиту и его товарищам,— потому что выступать в такой поход нужно единодушно, сообща. А паршивую овцу — вон!

— Убрали! — пробормотал Тверята, успевший посчитаться со своей беспутной женушкой, а теперь, правда, и сожалел уже, ибо трудно было представить ему, как дальше будет жить без нее, но все равно, дело сделано, у него было с чем предстать перед князем.

Жировит молчал, он без особой охоты согласился на уговоры посадника идти к князю за вознаграждением, как-то не очень верилось ему, чтобы Ярослав, еще вчера души не чаявший в своих варягах, сегодня готов был давать золото людям, которые убрали несколько его верных дружинников, а среди них даже ближайших охранников князя, известных всему Новгороду. Но Коснятин улыбался так ласково и ослепляюще, что не верить ему было бы просто грех.

Коснятин улыбался и тогда, когда они проходили в ворота, охраняемые мрачными варягами, которые подозрительно смотрели на вооруженных бравых новгородцев, с улыбкой следовавших за своим веселым посадником; Коснятин нес свою улыбку и в княжеские палаты, вынес ее и оттуда, появляясь на крыльце вместе с Ярославом, и даже понурое лицо князя словно бы озарялось тем сиянием, которое окружало посадника, и новгородцы еще больше поверили в желание князя не только увидеть их, но и достойно вознаградить.

Только Жировит, воин опытный, снова почувствовал в сердце покалывание и тяжело переступал с ноги на ногу, но молчал, ждал, что будет дальше, попытался даже выдавить улыбку, перенимая ее от посадника, и Ярослав уловил, кажется, его стремление присоединиться в своем веселье к Коснятину, наклонил голову, взглянул на новгородцев исподлобья, направил на них свой тяжелый, набрякший от многодневной пьянки нос, коротко спросил:

— Эти?

— Они,— радостно промолвил Коснятин.

— Взять их в мечи,— точно так же негромко и спокойно сказал князь, и несколько варягов, которые стояли внизу на ступеньках крыльца между князем и новгородцами, мгновенно обнажили свои широкие обоюдоострые мечи и ударили по обескураженным новгородцам, а со всех сторон двора повалило огромное множество варягов, и закипела кровавая баня перед глазами у князя и у посадника. Ярослав был по-прежнему хмур, а Коснятин улыбался светло и беззаботно. Быть может, стер он свою улыбку только тогда, когда вечером выбрался в город и сказал там кому-то про побоище на княжеском дворе, а может, и не он это сказал, а просто слух выкатился с княжеского двора, потому что у злых слухов есть способность выбираться отовсюду, и теперь уже по Новгороду звучал не тот приподнятый выкрик, что над Волховом во время пира, а тяжкий вопль: «Наших побито!»

— Воинов славенских князь побил!

— Варяги убили воинов Славны у князя!

— Жировита с товарищами убили!

— Князь убил Жировита!

— Варяги бьют наших!

Вот так оно и перевернулось: «Наши бьют варягов!» — «Варяги бьют наших!» Толпы собирались вокруг княжеского двора, горели костры, люд яростно бился в ворота, а средь ночи протолкались к воротам трое измученных всадников, начали молча пробираться вперед. Толпа, почуяв недоброе, стаскивала всадников с коней и, быть может, разнесла бы несчастных в клочья, если бы один из них не крикнул голосом, пересиливающим весь шум и гам:

— Люди, угомонитесь! Вести несем князю! Горе великое! Князь Владимир...

Тогда толпа начала постепенно затихать, и посланец воскликнул еще громче, так, что услышали не только стоявшие рядом, но и те, что вдали:

— Великий князь Владимир преставился в Киеве!

Откуда и взялся Коснятин, расчистил вмиг проход для посланцев, окружил их своими верными людьми, достучался в ворота и без преград провел гонцов к князю, а за воротами снова забурлило и заклокотало, но теперь уже этот гомон не докучал Ярославу, не боялся он ни криков, ни огней, сказал Коснятину:

— Созывай утром вече на Софийской стороне.

И прибыл на вече без варяжской охраны, лишь с несколькими отроками и хранителями стяга, ибо княжий стяг — это честь. Свой стяг Ярослав выбирал, применяясь к отцу, князю Владимиру. У того — архангел Михаил, у этого — архангел Гавриил на голубом поле. Словно бы продолжал отца своего, не оставлял другим братьям высокого знака, ибо первых архангелов было лишь два — Михаил и Гавриил; получалось, что оба уже присвоены, оставались еще Рафаил и Уриил, но из-за своей малой известности вряд ли они могли послужить кому-нибудь из князей символом русской государственности.

У Ярослава на поясе был короткий нож и меч для похода; одет он был тоже в походную одежду, простую и удобную, без всяких украшений. Вече гудело и бурлило, порядок царил только в самой середине, на возвышении, где стоял посадник Коснятин, стояли посадники ветхие, с длинными седыми бородами, стояли старосты конецкие, тысяцкие, старосты ступенные, воеводы и бояре, богатые торговые люди, верные люди Коснятина; Ярослав поклонился вечу, поднял руку, подавая знак, что хочет говорить. Постепенно шум затих, князь глубоко вздохнул, словно бы обнимая всех, простер руки, воскликнул:

— Новгородцы мои возлюбленные, дружина моя, опора и надежда земли Русской! Отец мой умер, Великий князь Владимир! Хочу на Киев идти, чтобы не перешел стол Киевский в руки недостойные! В безумстве своем побил вчера воинов новгородских, а теперь их и золотом не вернуть! Смерть каждого моего воина буду воспринимать как свою собственную смерть! Помогите мне! На нас смотрит вся земля Русская!

Долго шумело вече после княжеских слов. Трудно собрать все восклицания, прозвучавшие там, всю ругань, проклятия, насмешки и угрозы, сыпавшиеся на князя. Но он все стерпел, стоял непоколебимо у всех на виду, и, наверное, эта его покорность, а может, люди Коснятина, умело расставленные посадником повсюду, подействовали на вече успокоительно,

и из отдельных недовольных выкриков стало постепенно выделяться одно общее, твердое и непоколебимое:

— Пойдем с тобой, княже!

Звучало громче и громче, несогласные сначала попытались было и дальше выкрикивать свое, однако постепенно умолкли, потому что вече имело свой жестокий закон, по которому всех несогласных избивали палками до тех пор, пока они не примыкали к мнению большинства или же испускали из себя дух. И когда уже было наконец достигнуто главное согласие, Коснятин выступил вперед и зычным своим, красивым голосом воскликнул от имени всех собравшихся:

— Пойдем с тобой, княже, хотя и причинил ты обиду новгородцам!

— Пойдем! — загудело вече.

— Но пообещай, княже, для Новгорода первейшую правду! — воскликнул Коснятин.

— Обещаю! — крикнул Ярослав.

— Поклянись! — требовало от князя вече.

— Крест кладу святой! — ответил Ярослав и перекрестился на виду у всех торжественно и размашисто.

— Потянем твою руку! — снова воскликнул Коснятин.

— Потянем! — закричали отовсюду.

Ярослав снова поднял руку, подавая знак, что хочет говорить.

— Идучи на Киев,— промолвил он в наступившей тишине,— ставлю вам князем Новгородским...

Князь умолк на минуту, тишина стояла такая, что даже в висках ломило, все ждали, кого же назовет Ярослав, только Коснятин, казалось, обеспокоен был меньше всего, с его красивого лица не сходила прежняя улыбка, он стоял возле Ярослава, высокий и могучий, напрасно было и искать лучшего и более видного князя для этого великого вольного города; но все на свете бывает, в последний миг князь мог назвать первое попавшееся имя, которое пришло ему на ум, быть может, имел уговор с кем-нибудь из своих младших братьев, о судьбе которых еще никто ничего не ведал, быть может, пришлет им брата своего Судислава, который сидит в близлежащем Пскове; затаило дыхание все вече, следило за князем, а тот, выдерживая торжественность момента, положил руку на яблоко меча, уперся покрепче ногами в вершину вечевого холма, крикнул громко и звонко помолодевшим голосом:

— Коснятина, сына Добрыни!

И Коснятин, словно подкошенный, упал на колени перед князем, поцеловал руку Ярослава, которая держала наголовник меча, оросил свое крупное красивое лицо слезами верности и умиления, промолвил в тишине, которая все еще царила над вечем:

— Клянемся тебе, Великий княже, быть верными во всем!

— Клянемся! — заревело вече.

Кажется, никто и не заметил обмолвки Коснятина относительно «Великого князя», не обратил внимания на нее и князь Ярослав, ибо ни в чем не изменилось его лицо, лишь прикоснулся он зачем-то левой рукой к усам так, будто смахнул с них слезы, которые, незамеченные, скатились у него по щекам, но разве же могли быть не замеченными они тысячами глаз!

Но нарек теперь Коснятина князем и, согласно княжескому обычаю, должен был обнять и поцеловаться с ним на виду у всех, как с равным себе по-братски, и Ярослав обнял Коснятина, и они поцеловались, и теперь в самом деле заплакали оба, растроганные торжественностью момента, заплакали беспричинно, как это делают всегда мужчины в минуты, которых не могут понять ни женщины, ни дети.

На рассвете следующего дня отплывали от Новгорода лодьи с воинством.

Уже на волоках подоспели навстречу князю новые печальные вести о том, что стол Киевский коварно захватил Святополк, что убивает он родных братьев в недостойном своем устремлении к самоличной власти, наученный, видно, всему злому своим тестем в западных краях, названных так вельми уместно, ибо, как говорится, заходят там вместе с солнцем и всякая правота, и послушание, и любовь людская. Оплакивали смерть Бориса и служили молебны за упокой его души, плыли дальше, новые слухи встречали их, теперь уже о смерти Святослава в далеких Карпатах от рук Святополка, а там и об исчезновении Глеба, который поехал в Киев, чтобы увидеть отца своего, а увидел только смерть, опять-таки от рук окаянного брата, неосмотрительно когда-то пригретого их покойным отцом.

Был еще где-то в далекой Тмутаракани старший брат Мстислав, но сидел он там безвыездно, в стороне от главных схваток, видно, не очень хотелось ему вмешиваться в перепалки за Киевский стол,— приученный к теплому солнцу тмутараканскому, к греческим винам и восточным пряностям, не хотел он, наверное, возвращаться в киевские морозы

и дожди; следовательно, Ярослав был словно бы божьим мечом, который должен был покарать братоубийцу Святополка,— он шел на Киев быстро и уверенно, по дороге присоединялись к нему все, кто раздобывал хоть какое-нибудь оружие, выходили ему навстречу из волостей бояре, приходило и из Чернигова, и из Дерев, и из других земель русских столько людей славных и богатых, что было бы слишком долго называть их всех поименно.

Если бы Ярослав выступал против родного отца, то, наверное, убегали бы от него по ночам воины, которым сам платил, опасаясь кары за дело недостойное, но теперь все повернулось так, что шел он на Киев чинить расплату, и за него вставала вся земля, а Святополк неведомо чем и держался, разве лишь мизерной силой своих вышгородцев, да еще печенегами, четыре колена которых, кажется, всегда были готовы поддерживать его, а колена эти суть: Гиазихопон, Гила, Харов и Явдиертим.

Так и сошлись в конце лета две силы, два брата на Днепре, возле Любеча, но не будет здесь описания битвы, сказать стоит лишь о том, что победил Ярослав, а Святополк бежал к тестю своему в Польшу; воинов же погибло там бесчисленное множество, да и опять-таки не о них речь, ибо кто там вспоминает, в своем величании павших, об именах и душах которых, как сказал летописец тех дней, пусть помнит в своем милосердии бог всемогущий...



1966
год.
ВЕСНА. КИЕВ

Убей его, сдери с него шкуру, утыкай всего перьями, научи петь.

П. Пикассо

Весь мир залит кровью...

Почему именно здесь, на Днепровском спуске, в этот, быть может, самый счастливый в его жизни день снова пришло к нему то, чего не мог забыть никогда: кровь отца на плитах собора? Видел, как падает отец, не слышал его последних слов (ибо, возможно, и не было их, возможно, умер он мгновенно, как только пуля ударила в мозг), видение смерти отца шло за ним неотступно все годы, потому что не каждому в двенадцать лет выпадает стать свидетелем такого ужаса.

— Куда теперь? — спросила Тая, спросила для приличия, потому что привыкла за эти два дня без конца задавать ему один и тот же вопрос, наслаждаясь ролью женщины, которая не должна выбирать, которую ведут куда-то, которую заставляют, которой велят, которую укрощают.

— Мне нужна твердая рука,— сказала она Борису, когда они встретились вторично, после той безумной встречи у здания Совета Министров,— во мне пробуждаются иногда какие-то элементы атавизма, и я мечтаю... о рабстве. Хотя бы на один день. Быть угнетенной. По-настоящему ощущать мужскую власть. Но где ее найдешь? Мир полон бесхарактерных мужчин. Иногда в мелочах они и ограничивают женщин,

но не больше. Сама жизнь ограничивает людей так или иначе, но чтобы кто-нибудь высвободился из повседневных законов бытия, поднялся над всем, таких мало. Куда пойдем? Командуйте.

Он не любил командовать. Ненавидел бесхарактерность, ползание, но и той твердости, которая приводит к трагедиям, тоже не принимал.

Весь мир залит кровью...

Войны, войны, войны. Гибнут люди, гибнут города, даже камень раздробляется, бесследно исчезают творения человеческого гения, которому суждено бессмертие. А его отец, профессор Гордей Отава, который всю свою жизнь отдал изучению и раскрытию тайны сооружения Софийского собора, был убит в том же самом соборе, погиб одиноким, никому не известным бойцом, нигде не записанным, не занесенным ни в какие партизанские реестры, не принадлежа ни к какой подпольной организации, потому что действовал открыто, смело, возможно, наивно, но иначе не мог, не умел, уж такой у него был характер.

И когда маленький Борис увидел, как падает отец, с залитым кровью лицом, на плиты собора и средневековый мрак окутывает его одинокую фигуру, показалось тогда парнишке, что рушится весь мир: города, горы, каменные соборы, старинные пущи падают прямо на него, давят на грудь, и он тоже умирает вместе с отцом, но не может умереть так быстро и легко, как профессор Гордей Отава, тогда он пробует оттолкнуть от себя слабыми руками своими города, горы, древние пущи, каменные соборы, но камень тяжелый и холодный, будто горе, будто несчастье, будто сама смерть.

— Так куда же пойдем? — снова спросила Тая.

Конечно же он хотел пройти с нею по Крещатику и по Владимирской. И возле университета. И возле своего дома. Заходить в него Тая не хотела ни за что на свете.

— Это все равно, если вы пошли бы ко мне в номер в гостиницу.

— Я мог бы зайти и в номер,— сказал Борис.

— Это если бы мы не целовались.

— Тогда перед гостиницей нужно сделать вывеску: «Поцелованным вход строго воспрещен»,— засмеялся Борис.

— Хорошо, а куда же мы пойдем? — не унималась она.

— На мой взгляд, мы все время ходим.

— Поэтому я и не отстаю от вас, интересуясь, куда же мы идем?

— А никуда,— беззаботно сказал он, потому что хотел во что бы то ни стало побыть беззаботным в этот день, который почему-то омрачался воспоминаниями о давно пережитой трагедии. Если бы она поинтересовалась, о чем он думает, возможно, ему стало бы легче, но Тая не спрашивала ни о чем, у нее сегодня был один-единственный вопрос: «Куда пойдем?»

Где-то они обедали. Даже не в ресторане, а в самообслуживании, каждый брал алюминиевый поднос, выбирал для себя какой-нибудь там язык, салат, стакан кофе.

— А знаете, как назывался язык во времена князей? — спросил Борис.

— Вот этот, который мы едим?

— Ну да.

— Просто не могу себе представить.

— Лизень. Еще и до сих пор у нас говорят: «Чтоб тебя лизень слизал!»

— Вы профессор, вам нужно все это знать,— засмеялась Тая, и глаза у нее были счастливые и искрились больше, чем обычно.

Потом они пошли в кинотеатр. Нарочно выбирал банальнейшие занятия. Слоняться по улицам, перечитывать вывески, рассматривать витрины, толкаться в кафе самообслуживания, сидеть в затемненном зале перед мерцающим экраном, на котором бородатые юноши ходили туда и сюда, высоко поднимая ноги, обутые в огромные грубые туфли, ибо только у настоящих мужчин большие ноги, которыми они твердо стоят на земле, маленькая ножка у мужчины — это уже элемент женственности, это вырождение, это упадок, и юноши время от времени высоко поднимают свои туфли, так, чтобы зритель мог некоторое время рассматривать всю подошву; подошва, испещренная гвоздями, толстая, черная, огромная, торчала с экрана, ее тыкали в глаза тем, которые сидели в зале, она заполняла весь экран, впечатление было такое, будто топчутся у тебя по голове. Борис сказал Тае:

— Вот вам! Вы хотели почувствовать себя рабыней хотя бы на миг. Когда-то подданные падали ниц перед владыками и ставили себе на голову ногу своего повелителя. Католики целуют туфли папы. А все это не требовало никаких затрат, кроме морального унижения. Мы пошли дальше. Чтобы потоптались по нашим головам эти бородатые детки своими грубыми туфлями, нужно приобрести билет за сорок копеек.

— Не пытайтесь испортить мне настроение,— засмеялась

Тая,— ничего не выйдет. Меня интересует сегодня только одно.

— Куда мы пойдем, да?

— Именно так. Куда мы пойдем?

От Днепровского спуска в сторону ответвляется узкая тропинка. Она врезается в зеленые заросли, ведет словно бы на самое дно яра, над которым возвышается Лавра, но когда пойдешь по ней, заметишь, что она полого поднимается на склон, потом незаметно расширяется, образует небольшую полянку, в центре которой стоит колодец. Кажется, вырыл его девятьсот с лишним лет назад первый печерский инок Антоний, а может, еще и до него был он здесь, случайно открытый кем-то, а уже монахи создали легенду, провозгласив, что вода в колодце обладает целебными свойствами. В самом деле, уже в наше время было установлено, что вода содержит в себе серебро, что она обладает лечебными свойствами, но это не была заслуга монахов, ни тем более их бога, привезенного князем Владимиром из Византии,— просто такой уж богатой была испокон веков Киевская земля, что и вода в ней текла серебряная.

В первые послевоенные годы, в бедные, холодные и голодные годы, студентам очень пришлась по вкусу история с серебряной водой, колодец тогда пользовался незаурядной популярностью как... место для свиданий. Борис Отава тоже однажды договорился с девушкой о свидании у колодца с серебряной водой; студентка была с другого факультета, изучала точные науки, познакомились они случайно в каком-то научном обществе, где стояли в списке докладчиков рядом, но девушка стояла первой, а еще не была готова, поэтому разыскивала Бориса, чтобы попросить его поменяться с нею очередностью; он, конечно, охотно принял ее предложение. Студентка была маленькая, с малеванным херувимским личиком. Она была благодарна Борису. После конференции подошла к нему, чтобы сказать несколько слов; вышло как-то так, что он предложил проводить ее домой, ибо уже было поздно, а ей нужно было добираться на Шулявку; когда прощались, она подпрыгнула и чмокнула его в щеку, так, совершенно по-дружески, но он потом шел домой, прикладывал ладонь к этой щеке, которая почему-то словно бы пылала все время, думал, следует ли придавать этому поцелую более глубокое значение или забыть. Он привык ко всему относиться слишком серьезно. Товарищи по факультету часто смеялись над ним за это, но таким уж он родился, а может, вернее

было бы сказать, таким его создала сама жизнь, ибо хотя в те годы не было ни одного беззаботного студента, не задетого войной, но у Бориса с войной были особые счеты, и наследство от нее получил он слишком уж тяжелое, чтобы быть легковесным; поэтому после долгих размышлений и колебаний Борис все-таки пришел к выводу, что не имеет права пренебречь, быть может, даже и случайным поцелуем маленькой покорительницы точных наук, ибо девчата никогда не разбрасываются своими поцелуями понапрасну. На следующий же день он нашел свою знакомую и, краснея и запинаясь, спросил, не согласилась бы она провести свободный выходной день на природе. Девушка, наверное, только и ждала этого,— сразу же восторженно воскликнула, что мечтает побыть хотя бы часок где-нибудь на зеленой полянке, тогда он, совсем уж глупо, буркнул, что будет ждать ее у лаврского колодца с серебряной водой, что тоже было принято с не меньшим восторгом, и молодой Отава имел возможность убедиться, что и сторонники точных наук способны понимать легенды. Правда, точные науки привели к маленькому неудобству для Бориса, ибо он на несколько минут опоздал к месту свидания. Девушка же пришла туда минута в минуту. Но взаимоотношения их не были еще в той стадии, когда за малейшую провинность сыплются упреки. Борис еще больше покраснел, переживая свою неаккуратность, а девушке это дало право на роль лидера.

Они обошли вокруг колодца, достали из него воды, напились, подождали, не ощутят ли чудодейственной силы серебра, но серебро, кажется, не действовало, а может, просто происходило это незаметно; Борис охотно променял бы все серебро мира на какую-нибудь порцию железа, точнее, стали, к тому же самых прочных сортов, ибо ему во что бы то ни стало нужна была твердость, он знал совершенно точно, хотя и не проходили этого ни в школе, ни в университете, что раз уж ты пригласил девушку на свидание, да еще девушку, которая тебя один раз поцеловала, ты должен теперь ее поцеловать, не откладывая, еще до окончания вашего свидания, поцеловать по-братски, или дружески, или как там угодно, но непременно выполнить этот великий и важный акт, а для этого нужна решимость, нужна твердость почти стальная или еще большая, когда речь идет о таком неопытном и далеком от обычных проявлений жизни Борисе Отаве. Хорошо было девушке, когда она целовала его тогда вечером, целовала стихийно, не думая, наверное, ни о чем, подчиняясь какому-

то мгновенному импульсу, а ему теперь предстояло осуществить поцелуй заранее обдуманный, поцелуй, так сказать, запланированный, тщательно подготовленный, и вот, пока Борис терялся в своих размышлениях, пока он искал где-то там, куда боялся взглянуть, руку маленькой студентки, пока примерялся, с какой стороны удобнее наклониться над ее херувимским личиком и в какую щеку чмокнуть так себе, слегка, и наконец выбрал и стал наклоняться, но делал это, наверное, слишком медленно, так медленно, что прошло очень много времени,— из кустов возле колодца появилась огромная, вся в черном, старуха с суковатой палкой в руках, застыла вначале, увидев парочку, потом замахнулась палкой и закричала басом:

— А, безбожники, бесстыдники, поганцы окаянные! Нашли себе место возле святой воды, негодники!

Девушка вывернулась из-под руки Бориса, взмахнула перед ним своими светлыми волосами, быстро промчалась через полянку и исчезла в зарослях. Борис хотел еще защитить свою подругу перед старухой, но передумал, бросился за девушкой, а необходимое время уже было утрачено бесповоротно, девушку он не догнал, она исчезла в неизвестном направлении,— очевидно, нужно было бы ее искать, но он прошелся по тропинке туда и сюда, потом вышел на Днепровский спуск и возвратился в город один.

Студентка потом избегала встреч с ним. Да он и рад был, что она избегает.

Теперь, через много лет, Борис вспомнил о колодце, решил повести туда Таю. Захотел, чтобы и с нею повторилась та же самая история, что и со студенткой, изучавшей точные науки.

Увы, все повторилось в точности. Тая бежала от Бориса, несмотря на все его попытки задержать ее, выскочила на Днепровский спуск, встала на распутье, не поправив ни прически, ни одежды, стояла, смотрела на Днепр в утренней мгле. Было уже светло, мимо них вверх и вниз пролетали машины. Машин становилось все больше, Борис хотел было уговорить Таю уйти отсюда, отойти хотя бы немного в сторону, чтобы не рассматривали их все те, которые едут в машинах, потому что утром люди особенно любознательны, но она молча махнула рукой, не соглашаясь с ним, уже не спрашивала теперь: «Куда пойдем?», прятала от него глаза, а может, просто смотрела на Днепр, вообще забыв о существовании

Бориса, не заботясь о том, есть возле нее кто-нибудь или нет.

Ночь была длинной и короткой одновременно. Кажется, он рассказал Тае все об отце. Отрывками. Выбирал самое существенное, то есть самое страшное. Как-то само собой так получалось. Тогда она прерывала его, целовала.

Весь мир залит кровью...

Отец отважно вышел на поединок с Шнурре, со всеми фашистами, которые были в Киеве,— неравная борьба, без единого шанса на победу со стороны профессора Отавы. И все равно он не отступил. Единственным сообщником, который у него тогда был, было время. Ждать, ждать, тянуть дни, недели, продержаться, выиграть время. Он каждый день ходил в Софию. Следом за ним приходили его «помощники». Несколько раз еще хотели приспособить в соборе костер для согревания. Профессор заявил, что скорее согласится быть распятым в соборе, чем допустит подобное кощунство.

— За девять столетий в Софии не горел никакой огонь, кроме свечей,— сказал он штурмбанфюреру Шнурре.— Только благодаря этому сохранились здесь фрески и мозаики. Почему же ваши солдаты во что бы то ни стало пытаются тащить сюда если не дрова для костра, то хотя бы какую-нибудь жаровню, украденную ими не знаю уж и где.

— Я скажу им,— пообещал Шнурре.

Между ними теперь установились взаимоотношения чисто официальные. Визиты прекратились. На доме появилась надпись: «Реквизировано для немецкой армии. Вход запрещен. За нарушение расстрел». Профессора, Бориса и даже бабку Галю каждый раз задерживали охранники и требовали пропуск. Это были ужасные дни. Жили в полнейшей изоляции. Все равно что в тюрьме. Профессор Отава замечал, что за ним следят чьи-то невидимые глаза даже тогда, когда он утром идет в собор и вечером возвращается домой.

Зато в Софии чувствовал себя хозяином. Поставил перед собой цель — тянуть время. Что-то там измерял, осматривал, велел солдатам построить леса в приделе святого Георгия, потом передумал, велел разобрать и перенести в другую часть собора. Солдатам нравился неторопливый профессор. Считалось, что они на службе, на Восточном фронте, принимают участие в зимней кампании, за которую полагается специальная ленточка, установленная самим фюрером, на самом деле они сидели за этими толстыми стенами, ничего не

делая, ничем не рискуя, не боясь даже тех подпольщиков и партизан, о которых так много говорят в Киеве. Они тоже не торопились. Да и куда? Все равно Советский Союз будет уничтожен. Вопрос времени. Фюрер сказал — так и будет. Этот большевистский профессор что-то там вынюхивает под непроницаемыми наслоениями столетий на стенах собора. Ищет шедевры в дар доблестным воинам фюрера? Ну что ж, пускай себе ищет. Вот только проклятый холод. Как могли эти дикие русские молиться девятьсот лет своему богу при таком холоде? Правда, они укутывались в свои знаменитые меха. А солдатская шинель — это не то. Солдаты вытанцовывали и вытанцовывали в холоде, пробовали петь свою «Warum die Mädchen», пробовали развлекаться губными гармошками, но мерзли даже губы, а тут еще появлялся штурмбанфюрер Шнурре со своим равнодушным ефрейтором Оссендорфером, покрикивал на солдат за то, что ничего не делают, отчитывал профессора, устанавливал для него какие-то там последние сроки. Профессор молча слушал, смотрел на штурмбанфюрера такими глазами, что тот, покрутившись, повертевшись по собору, исчезал, а профессор после этого визита точно так же неторопливо ходил себе и дальше да рассматривал фрески и, видимо, о чем-то думал. Солдаты из реставрационной команды считали себя интеллигентами, но интеллигентами того уровня, когда человек признает это право только за собой, поэтому для них этот загадочный, молчаливый человек, хотя и назывался профессором, не был никаким интеллигентом, потому что жил в этом холодном, заснеженном мире, а они прибыли сюда прямо из Европы Девятой симфонии и если и поют «Варум ди мэдхен либен ди зольдатен», то только для того, чтобы согреться, но и в этой бодрой солдатской песенке выражали они свое превосходство над миром, который они призваны покорить и исправить по-своему, ибо даже в Девятую симфонию великий Вагнер внес поправки, удвоив звук труб, что придало совершенно неожиданное звучание музыке Бетховена. Правда, был еще Шиллер:

Allen Menschen werden Brüder,
Wo den Sanfter Flügel welt.

Но есть тексты для запоминания, а есть — для забывания. Братство может быть между солдатами, но не для русских! Этот народ от природы не обладает творческими способностями и должен подчиняться приказам других. Он будет превра-

щеп в инертную массу крестьян и батраков, лишенную интеллигенции, руководства, национального престижа. И этот профессор, который с важным видом ходит по похожему на холодильную камеру собору, не что иное, как смешной пережиток прошлого.

Со временем солдаты почувствовали что-то похожее на симпатию к этому чудаковатому, обреченному на уничтожение профессору, который принадлежит эпохам отдаленным, стершимся в памяти, ибо каждый день войны отбрасывал эту страну на тысячи лет назад — такая это была великая, могучая, славная война. Симпатия возникла вот по какому поводу. Штурмбанфюрер Шнурре покрикивал на профессора Отаву и заявил при всех, что если тот не приступит завтра, буквально завтра к реставрационным работам, то будет безжалостно и немедленно уничтожен как саботажник и большевистский агент. Тогда профессор Отава, который, наверное, не хотел быть уничтоженным, по крайней мере не так быстро хотел бы умереть, сказал, что ему нужно освещение, без которого он не может хотя бы приблизительно определить места вероятных поисков того, что так интересовало штурмбанфюрера Шнурре; штурмбанфюрер сердито ругнулся, но ничего не ответил профессору, а на следующий день в собор была завезена осветительная аппаратура, которую обычно используют при киносъемках. На улице стоял дизель, а в соборе ярко горели юпитеры, собор заиграл такими дивными красками, что реставраторы оторопели от этого славянского дива; краски звучали, словно могучие гигантские колокола, это не уступало и Девятой симфонии, даже сдвоенным вагнеровским трубам не уступало. А если еще принять во внимание тот факт, что солдаты могли теперь вдоволь греться возле раскаленных юпитеров, то казус советского профессора надлежало подвергнуть пересмотру; солдаты охотно записались бы в сообщники этому непостижимому человеку, хотя если подумать, то и их штурмбанфюрер Шнурре тоже чего-то стоит, если в Германии уже знал об этом соборе и, видимо, рвался к нему не меньше, чем генералы ко всем важным коммуникационным сплетениям и стратегическим пунктам.

А тем временем пришло известие о Харькове. Уже была весна, но еще не закончились морозы и метели бесновались над Украиной, и вот в самую большую вьюгу из этих удивительных майских снегов родились под Харьковом советские армии и, кажется, даже овладели этим огромным городом, са-

мым большим после Киева на Украине и на всей оккупированной территории. Тогда у профессора Отавы появилась и вовсе твердая надежда, что он спасет собор, хотя сам, быть может, и не спасется, то есть наверняка не сможет спастись, но разве же его жизнь идет в какое-нибудь сравнение с Софией!

Еще немножко, еще! Так казалось Гордею Отаве, однако вскоре пришло трагическое сообщение, что Харьков снова в фашистских руках, весна была безрадостная, холодная, ужасная весна. Профессор Отава чувствовал, что вот-вот с ним будет покончено, но не отказывался от своего замысла, безнадежно смелого, упрямого плана спасти Софию, он продолжал молчаливую борьбу с Шнурре, ставил и разрушал на второй день леса, несколько раз начинал даже работы, но тут же и прекращал их, ссылаясь на то, что ищет не там, где следует, что ничего не получается, что реставраторы работают недостаточно осторожно и не так квалифицированно, как надлежало бы в соборе, который относится к ценнейшим художественным памятникам цивилизованного мира.

Тогда в квартире профессора появился Бузина.

Тот самый Бузина, с которым профессору приходилось сталкиваться еще до войны. Бузина появился в той же, что и раньше, позе, даже с не меньшей, чем раньше, почтительностью к профессору, а в речи его появилось нечто и вовсе смешное: каждое длинное слово Бузина разделял пополам, вставляя между этими двумя частями извинения. Получалось примерно так: «Плат — извините! — форма», «Натура — извините! — лизм», «Популя — извините! — ризация».

— Откуда вы? — спросил профессор Отава не то чтобы удивленно, а просто для приличия.

— Извините, мы из Харькова,— сказал Бузина, располагаясь в кресле.

— Но ведь вы же... кажется, эвакуировались? — профессору трудно было произносить это слово. Спасительное, прекрасное теперь слово «эвакуация». Выехал бы он — и ничего бы не было. Главное — Борис. Но ведь собор, София!.. Ее не эвакуируешь! И Киев не эвакуируешь. Заводы? Что ж! Заводы счастливее городов, они счастливее даже отдельных людей, ибо заводы нужны многим, а тот или иной человек может быть и никому не нужным. Города же люди покидают часто. Столицы засыпаны песком. Ниневия, Персеполис, Вавилон... Но Бузина и столицы — вещи несовместимые.

— Раз — извините! — бомбили! — спокойно сказал Бузина.

— А институтские сейфы? — с ужасом спросил Отава, ибо знал, что там — самое ценное: старинные пергаменты, раритеты, и тот кусок пергамента, который он двадцать лет назад извлек из засмоленного кувшина,— тоже там, в институтских сейфах.

— Раз — извините! — бомблены,— беззаботно произнес Бузина.

— То есть как? Сейфы разбомблены? Но это же невозможно!

— Извините, профессор, но теперь все возможно,— самодовольно потянулся Бузина.— Вот и вы со — извините! — трудничаете с немцами. Разве это возможно? Но факт!

— Я не сотрудничаю,— твердо сказал Отава.— Я не предатель. Я...

— Не бойтесь меня,— милостиво разрешил ему Бузина.— Я человек свой. Все знаю. И целиком разделяю ваши взгляды. В Харькове я работал в газете «Новая Украина». Печатался под псев — извините! — донимом. Угадайте — под каким? Никогда не угадаете! Паливода! Тот самый профессор Паливода. Помните, его уничтожили, а я вос — извините! — кресил. А как платили!.. Четыреста рублей в месяц, а килограмм хлеба на рынке — сто пятьдесят. Паек хлеба — двести граммов. Разве это хлеб? Слезы! И это — на Украине!

У Бузины, кроме бесконечных извинений, в языке появилась еще непривычная для него энергичность. Чудовищное сочетание: энергичность выражения с трусливостью мыслей.

— Но ведь, кажется,— презрительно произнес Отава,— вы тогда по требованию презираемых теперь вами «большевиков» согласились присвоить труд профессора Паливоды, поставив свое имя под его статьей.

— Только потому, что в этой статье были анти — извините! — советские мысли. Профессор Паливода прославлял старинные фрески и мозаики, противо — извините! — поставляя эпоху княжескую эпохе боль — извините! — шевистской, которая ничего подобного не создала. Я же был настроен в анти — извините! — советском духе уже тогда, но из определенных соображений...

— Что касается меня,— подошел к нему Отава,— то я по соображениям, которых не стану раскрывать перед такой жалкой душонкой, как вы, выгнал вас из своей квартиры тогда, сделаю это и ныне. Вон!

Он указал рукой на дверь. Но Бузина даже не шелохнулся.

Он расселся еще удобнее, улыбался беззаботно и нагло, надул щеки, сделал «паф-паф!».

— Все известно,— сказал он, фамильярно подмигивая профессору.— Аб — извините! — солютно! Вас не излечила даже война, профессор Отава. Но! — Бузина поднял палец.— Времена роман — извините! — тики миновали. Не романтики и фантазии требует теперь наш народ, а упорного, напря — извините! — женного труда. Все не — извините! — обходимые условия для этого труда создают нам наши немецкие друзья и руководители.

— Вон! — воскликнул Отава.

Бузина встал. Сбросил с себя напускную шутовскую маску, сказал твердо, без малейших словесных выкрутасов:

— Немцы не знают, кто вы, профессор Отава. Нянчатся с вами слишком долго. Я случайно узнал о вашем саботаже в Софии. От такого большевистского прислужника иного и ждать не приходилось. Вы думаете, я забыл про Михайловский монастырь? Сколько вам тогда заплатили большевики? Завтра я продам немцам это сообщение еще дороже! И сам возглавлю работы в соборе!

Он пошел к выходу, а Отава даже не закрыл за ним дверей, сделал это Борис и с радостью запустил бы в широкую спину этому негодяю какой-нибудь тяжелый предмет, если бы он был под рукой. Когда Борис прибежал к отцу, тот плакал.

— Ты должен презирать меня, Борис,— сказал он сыну.

— Не нужно, отец,— прижался к нему сын,— я тебя понимаю, не нужно...

— Нет, ты ничего не знаешь. Я только прикидывался всегда твердым и последовательным, делал вид, а на самом же деле был бесхарактерным и трусливым существом. Моя жизнь — это сплошная ошибка, она никому не нужна, потрачена напрасно...

— Отец! — испуганно воскликнул Борис.— Что ты возводишь на себя поклеп...

— Ты ничего не знаешь,— снова повторил профессор,— но должен знать... Твой отец... Это было, когда ты был еще совсем маленьким... Тогда был объявлен конкурс на проектирование нового центра Киева. На конкурс поступило несколько проектов. Одни предлагали создать новый центр на Зверинце, чтобы с Наводницкого моста сразу въезжать на новые, социалистические участки, а эту часть города оставить как архитектурное воспоминание о прошлом. Другая группа авто-

ров предлагала перепланировать площадь в конце Крещатика перед филармонией и вынести новый центр на днепровские берега, прямо в парки. Третьи настаивали на том, чтобы разрушить все, что осталось от княжеских эксплуататорских эпох и на месте древних городов Владимира и Ярославля создать памятники новой эпохи. Ломать нужно было с Михайловского монастыря, потому что он занимал выход на днепровскую кручу, откуда должен был начинаться монументальный ансамбль. Вспыхнули споры вокруг Михайловского монастыря, нашлись отважные и умные люди, защищавшие монастырь, в особенности же его собор, где были бесценные мозаики и фрески, но сила была не на стороне этих людей... В спор вовлекли и меня. Сначала я занимал нейтральную позицию, но потом на меня нажали, дали мне понять, что речь идет не только о создании нового центра Киева, но и о создании, быть может, целой школы новых искусствоведов, в числе которых, кажется, желательно было бы иметь также имя Гордея Отавы. Нужна была моя подпись под письмом, в котором опровергались доводы профессора Макаренко о крайней необходимости сберечь Михайловский монастырь. Я не подписал письмо в категорической форме, я добавил к нему, что следует непременно снять в соборе самые ценные мозаики и фрески. Но разве это изменяло суть дела? Потом, подписав, я понял, какую непоправимую ошибку совершил. Придя на лекцию к своим студентам, я не стал им в этот день читать курс, а лишь сказал: «Сегодня я совершил ошибку в своей жизни, к сожалению, самую страшную и неотвратимую». И не удержался — заплакал в присутствии всех. Так, будто чего-нибудь стоят слезы человека, разрушившего собор! Слезы имеют ценность лишь тогда, когда орошают строительство... Потом я ошибся вторично, приняв предложение Шнурре...

— Ты спасаешь Софию! — воскликнул Борис.

— Я ничего не спасу, я никогда не докажу, что не стал предателем, не пошел в прислужники к оккупантам.

— Ты делаешь патриотическое дело,— с прежней уверенностью произнес парнишка.

— Они уничтожат и собор, и меня, и тебя. Этот Бузина... Ты должен немедленно бежать из Киева, Борис...

Тогда стреляли в каждого, кто выходил из города не по шоссе, но Борис сумел подцепиться на грузовую машину, которая ехала через мост; завезла она его, правда, не на черниговскую, а на харьковскую дорогу, но это уже были мелочи. Два дня потратил он на то, чтобы найти куму бабки Гали

в Летках, еще день ушел на расспросы да на оханья кумы, Борис умолял тетку, чтобы она помогла ему, боялся, что уже ничем не поможет отцу, ему мерещились страшные сцены; наконец ночью в хату кумы пришли несколько мужчин. Один из них, почему-то необыкновенно бледный, внимательно выслушал путаный рассказ Бориса про Софию, про отца, про Бузину, про Шнурре, немного подумал, сказал:

— Софию знаю. Возил туда перед войной своих школьников на экскурсию. А вот с профессором Отавой не знаком. Хотя и слышал о нем. Да и он, наверное, меня не знает?

Трудно было понять, шутит он или говорит всерьез.

— Наверное, не знает,— решил быть откровенным Борис, потому что этот мужчина с бледным, обескровленным лицом и вдумчивыми черными глазами располагал к себе, вызывал на откровенность.

— Ну так придется познакомиться,— теперь уже шутливо подмигнул мужчина Борису,— вот мои хлопцы поедут с тобой, а ты проведешь... Только там не очень чтоб к немцам, потому как хлопцы у меня горячие, пальнут из автомата — и дело с концом!

«Хлопцы» были два сильных, краснощеких полицая. И не только в форме, но и с настоящими аусвайсами, которые не вызывали никаких подозрений на контрольных пунктах по пути в Киев, потому что служили эти хлопцы, будучи одновременно партизанами, в местной районной полиции, что давало возможность использовать их там, где прямой силой партизаны не могли ничего сделать.

Благополучно переехали они на своей телеге через мост, добрались в центр города, до самого Евбаза, там распрягли коней, подложили им сена и спокойно направились в Софию, хотя Борис готов был лететь туда, охваченный ужаснейшими предчувствиями. На территорию Софии решили войти через ворота колокольни, потом «полицаи» со скучным видом слонялись возле дома митрополита, а Борис, пользуясь своим пропуском, вошел в собор, часовой у входа знал его, равнодушно пропустил в здание. Борис чуть было не упал, споткнувшись одеревеневшими от непонятного страха ногами о высокий порог, в глаза ему ударил свет юпитеров, направленных как-то наискосок к двери, вырывая из тьмы столбы, поддерживавшие хоры, а выше — фрески, на которые Борис не стал смотреть, не заметил даже их цвета, все его внимание

сосредоточилось на небольшой группе людей в центре собора: двое в гражданской одежде, двое в военной форме, еще дальше были солдаты-реставраторы, но они были оттеснены в сторону, будто зрители этой ужасной драмы, разыгравшейся перед их глазами и перед глазами Бориса, ибо один из тех, в гражданской одежде, был его отец, профессор Гордей Отава, а другой — Бузина, и профессор душил Бузину за горло, а тот беспомощно вырывался из крепких тисков Отавы, двое же в униформе — штурмбанфюрер Шнурре и его ординарец, а также, кажется, ассистент Оссендорфер — тоже готовились к участию в том, что происходило рядом с ними. Шнурре всем корпусом подался к профессору и к Бузине, а Оссендорфер с черным огромным парабеллумом в руке прыгал вокруг, что-то высматривая. Все это Борис заметил в один миг, но казалось ему, что длится это целую вечность, а потом загремел голос Шнурре, разнесшийся эхом под высокими сводами, покатившись по всему собору:

— Стреляйте же, черт вас возьми!

И Оссендорфер прижал свой пистолет чуть не вплотную к голове профессора Отавы — и раздался выстрел, и увидел Борис весь мир в красной крови, весь мир залитым кровью, рванулся было к отцу, который упал на плиты, но потом его оттолкнуло назад, он побежал к своим хлопцам, махнул им рукой, куда-то бежал, видел, как садится в машину на шоферское место Оссендорфер, как спокойно выходят из собора штурмбанфюрер Шнурре и Бузина, закричал неистово:

— Вот они, вот!

Хлопцы подбежали прямо к штурмбанфюреру. Тот еще ничего не мог сообразить, ничего не понял и часовой у дверей собора, только Бузина, видимо, почувствовал что-то неладное, потому что попытался было спрятаться за Шнурре, но оба партизана выстрелили одновременно, глаз у обоих был точен, Шнурре упал первым, рядом с ним свалился Бузина, Оссендорфер тем временем успел завести мотор и рванул наутек. Еще раз выстрелили хлопцы — один в часового, другой — вдогонку машине, но Оссендорфер все-таки удрал, теперь нужно было бежать и им. Борис повел их в глубину софийского двора к хозяйственным пристройкам, там он знал, где можно перелезть через стену и очутиться в тихой улочке. Они бежали спокойно, выбрались из района собора еще до того, как там поднялась тревога, но профессора Отавы с ними не было. Он навеки остался в Софии.

Весь мир залит кровью...

— Ты можешь требовать от людей очень много и сурово,— сказала Борису Тая.— У тебя есть на это право. Страдания всегда дают человеку права. Не понимаю только, почему же ты тогда... в выставочном зале... почему ты отрицаешь право художника выбирать в жизни страдания для своих произведений...

— Потому что жизнь не состоит сплошь из страданий,— сказал Борис.

— Но сколько боли, терпения... Кто же это заметит, если не художник?.. А если он покажет — тогда родится протест. Искусство — это вечный протест...

— Нельзя отделять искусство от людей. Иногда не стоит писать картину или роман или ставить фильм только для того, чтобы показать, что куда-то там своевременно, скажем, не завезли строительных материалов. По-моему, лучше позвонить по телефону и добиться, чтобы эти материалы были завезены; я такого искусства не признаю, его выдумали журналисты или кто-то там, я не знаю кто...

Она вдруг обиделась на эти его слова.

— Кажется, нам больше не о чем говорить. Страусиная болезнь. Спрятать голову и считать, что уже нет ни опасности, ни угроз. Так время от времени в нашей печати поднимается разговор о том, что кто-то написал о том или другом «не так», что художник изобразил «не так», как нужно, не с той стороны, не главное, не полностью и так далее. При этом некоторыми критиками замалчивается существование изображенного явления: было ли оно на самом деле? или нет? В точности как у Горького: да был ли мальчик? Это обходят каким-то стыдливым молчанием. Зато кричат: «А у нас еще есть и то, и это, автор же ничего этого не заметил!» Следовательно, речь идет не о созданном, а о том, что кому-то хотелось бы видеть созданным. А не лучше ли, вместо подобного шума, да позаботиться об упразднении всего огорчительного, всего, что дает материал для критического глаза художника? Ведь замолчанное зло не исчезает само по себе, не перестает быть злом, зато зло названное сразу же теряет половину своей силы. Как вы не можете этого понять?

— При чем здесь я? — пожал плечами Борис.— Мне вовсе не хотелось бы вступать в дискуссии... вот здесь...

— Ах, вот здесь? Хорошо! — Она быстро пошла от него, поднялась на тропинку, не поправила даже прически, рассерженная и обиженная, будто маленький ребенок.

Борис смотрел ей вслед, пока не скрылась она между ветвями.

— Тая,— позвал Борис.

Тая не откликнулась. Тогда он пошел за нею, почти побежал, но все равно не догнал. Увидел ее уже на Днепровском спуске, у поворота на остановку метро, что расположена прямо на мосту через Днепр. Утро было только для самых счастливых людей, и все, казалось, складывалось для величайшего счастья Бориса Отавы, но заканчивалось почему-то, как всегда у него, во всем, неудачей. Он подошел к Тае, остановился возле нее, помолчал немного, спросил:

— Я тебя обидел?

— Нет, нет,— быстро возразила она.

— Но какая-то причина все-таки была,— настаивал он.

— Никакой причины. Просто...— она умолкла. Расхождение в вопросах об искусстве? Но об этом можно спорить без конца. Рафаэль считал бездарным Микеланджело. Лев Толстой не признавал Шекспира. Писарев перечеркивал Пушкина. Но, несмотря на все споры и мнения, настоящее искусство живет вечно. Но люди... Вот он носит в себе страшную историю о жизни и смерти своего отца. Молчит о себе. Только об отце говорит и думает. Весь мир для него залит кровью. Если его собственная жизнь и не удалась до сих пор, то для этого есть веские причины. А что она? Есть ли у нее о чем рассказать Борису? Банальная история избалованной женщины, если все это изложить словами. Никто не станет сочувствовать. В особенности же он, с его неутешным горем, которое он носит в сердце. А она? Словно балерина в вальсе Равеля. Мистические страдания, которых никто не понимает. «Суждены нам благие порывы». Молоденькой студенткой она влюбилась в своего будущего мужа, который проводил в их институте какое-то там собрание. Выступил на нем, красивым жестом отбрасывал волосы, артистически модулировал голосом. Из министерства, что ли. Позднее узнала: тоже учился когда-то в институте, подавал надежды, но художником не стал, пошел по административной линии, как говорят, смешался с теми врачами и инженерами, которые из студентов выскакивают в служащие. Но на это она не обратила внимания, ей импонировала его солидность, нравились его манеры; как оказалось впоследствии, он был на десяток лет старше ее, у него была уже семья, но что-то там расклеилось, и на это она не обратила внимания; они поженились и в первое время были, кажется, даже счастливы, жизнь летела мимо нее с бе-

шеной скоростью, она попыталась что-то там схватить, надеялась, что муж ей поможет в этом, но он был занят своим, у него было довольно банальное увлечение, присущее многим мужчинам двадцатого столетия: он любил собрания, заседания, ничего больше не знал, и не умел, и не представлял, что кто-то там может ломать голову над тем, как провести кистью по полотну линию или мазок, ибо разве же от этого изменится мир, а вот от заседания, от правильно поставленного и решенного вопроса — это уже другое дело. Входил в старость, должен был стать мудрее, кажется, но и в дальнейшем любил заседания и, если их не было, сам начинал организовывать, благодаря чему всегда где-то бегал, суетился, сидел в накуренных до седого угара комнатах и приходил домой с чужим дымом в карманах, в волосах, в каждой складке одежды, в каждом рубце. Чужой дым надоедал ей еще больше, чем страсть мужа к заседаниям. Но все это она поняла лишь с течением времени, начала рваться от мужа совершенно неосознанно, стихийно и упорно, а у него не было ни времени, ни характера, чтобы удержать ее рядом с собой. Но в конечном счете она и возвращалась к нему снова, как речка возвращается в старое русло, пометавшись по руслам новым, да так и не найдя ни одного лучшего и более удобного. Надрывно, по-женски, плакала, никому не показывая этих слез. Ах, как хотела бы она, чтобы кто-нибудь вырвал ее из этого неопределенного положения, заставил что-нибудь делать! Женщина, которой хочется рабства! Ненормальность! Но с течением времени она все больше убеждалась, что никому нет дела до нее, что у каждого свои тревоги, свои боли, свои хлопоты, каждого жизнь загоняет в какой-то круг необходимостей и обязанностей, из которых просто невозможно вырваться, а если кто и сумел бы это сделать, то не для нее, а для чего-то высшего, чрезвычайного.

В один из таких приступов тоски по настоящему мужчине, который мог бы повести ее по жизни, заставить что-нибудь сделать интересное и полезное, встретила она совершенно случайно в санатории Бориса Отаву.

Тая ненавидела санаторные встречи и знакомства. Вокруг нее всегда увивалось множество мужчин, которых она чем-то привлекала, сама не зная чем. Всех она ненавидела. Если и выбирала когда-нибудь кого-нибудь, то выбирала совершенно неожиданно для них. Ибо никто из них не умел увидеть то, что открывалось ей. Открылось и в Отаве. Не сказала с ним ни единого слова, но уже понимала, что это — необычный че-

ловек. Мог быть кем угодно: космонавтом, академиком, чабаном с Херсонщины, лесорубом из Вологды, мыловаром и парикмахером. Это не играло никакой роли. Но он удрал. Позорно и смешно бежал от нее. Она тоже попыталась бежать от него. Не бросилась следом за ним, не поехала в Киев или куда-нибудь еще на Украину. Даже в Москву не стала возвращаться. Написала мужу короткую открытку и направилась через «всю карту» аж на Курильские острова. Перед тем она уже несколько раз побывала в Сибири, на Камчатке, верхом пересекла монгольские степи, с альпинистами штурмовала Эшбу — все равно не помогало. Теперь плыла на Шикотан. Остров посреди штормящего в течение всего года океана. Ни единое судно не может пришвартоваться к берегу. Тогда делают плашкоут. Что это такое? Обыкновенный деревянный плот, который спускают с судна, потом погружают на него то, что нужно переправить на берег, и несколько сумасшедших, таких, как она, пускаются на волю волн, и их несет к скалам и ударяет о камни, а уж там как получится — кто уцелеет, а кто и... Однако ей повезло, волна была не очень большая, обошлось без плашкоута, суденышко подпрыгивало у причала, правда, трап поставить не удалось, выгружали все, в том числе и людей, при помощи лебедок, она тоже совершила это путешествие в ящике, зацепленном лебедкой, впечатление было очень непривычное, однако для искусства не представляло, кажется, никакой ценности. Картины не напишешь. Да и рассказать кому-нибудь... Навряд ли произведет впечатление...

Но там ей открылась наконец одна вещь. Она поняла, что̀ ей мешало все время, от чего она бежала. Бежала от благополучия. Не создана была для этого. Не любила устроенности, покоя, уюта. Опять-таки сказать об этом невозможно. Будет слишком пышно и неправдоподобно.

— Знаете что̀? — наконец нарушила молчание Тая и посмотрела на Отаву своими разноцветными острыми глазами.— Мне почему-то показалось, что вы, при всей своей трагичности, которую носите в себе... не знаю, как точнее выразиться...

— Говорите прямо,— подбодрил ее Борис, не догадываясь, о чем она поведет речь.

— При всем этом вы...— она снова умолкла, подбирая надлежащие слова,— все-таки вы не из тех людей, которые могли бы отказаться от какого-нибудь своего... ну, я бы сказала, благополучия.

— Благополучия? — удивился Отава.— Какое же благополучие?

— Ну, скажем... Ваш Киев, ваша работа, ваше профессорство, ваша София, в которую вы меня так и не повели почему-то, а почему именно — я теперь лишь догадалась: вам тяжело туда идти с женщиной, которая, возможно, немножко понравилась вам как мужчине, но не как профессору Отаве, сыну профессора Гордея Отавы...

— Какая-то бессмыслица,— пробормотал Борис.— Тая, вы несправедливы ко мне.

— Слушайте, слушайте, имейте мужество хотя бы настолько, чтобы выслушать, что вам скажет женщина... Вот мы с вами стоим тут без свидетелей, никто ничего не знает о наших с вами отношениях, не об этом речь... Итак, вы можете говорить прямо и открыто. Скажите: вы могли бы бросить все это ради... Ну, в данном случае — ради меня? При условии, конечно, что я именно та женщина, которая вам может понравиться, которую вы искали всю жизнь и наконец нашли. Пускай это была бы не я, пускай другая женщина. Но смогли бы вы?

— Смог ли бы?

— Да, да, и не думайте долго, отвечайте сразу, потому что только ответ без колебаний можно считать искренним, речь идет о человеческих взаимоотношениях, здесь не торгуются, не рассчитывают с холодным сердцем, говорите: да или нет?

— Видимо, нет,— твердо сказал Борис,— потому что это просто бессмысленно.

— Правильно. Я так и знала. Мотивировки не нужны. Не нужно ссылаться на ваш долг перед памятью отца, перед наукой, перед родным городом, все это правильно. Я только хотела знать.

— Но ведь это напоминает опыт, который проводят на собаках, или что-то в этом роде,— обиделся Борис.

— Нужно знать, с кем имеешь дело. Вы думали, чем мне понравились? Что профессор? Начхать! Фресками? Сама нарисую все ваши фрески...

— Они неповторимы,— напомнил, еще больше обижаясь уже и за свой собор, Отава.

— А я — повторима? Еще будет когда-нибудь такая? Или, может, была уже? Нигде и никогда! Человек появляется один раз и исчезает, и это самое неповторимое и самое прекрасное из всего, что может быть. Но вы еще не дослушали до конца.

Вы понравились мне еще там, у моря,— она окинула его взглядом с головы до ног, словно убеждаясь,— вы понравились мне только потому, что у вас... длинные мышцы...

— Что? Какие мышцы?

— Ну есть люди с короткими мышцами, есть с длинными. Волокна мышц... Собственно, это анатомия... Но у меня своеобразное суеверие: верю только тем, у кого мышцы длинные.

— Послушайте,— он не находил слов от неожиданности,— это... это же расизм! Да нет, просто какой-то идиотизм... Мышцы... Но я ведь не борец, не боксер, даже не молотобоец! Голову вы у меня заметили или нет?

— Только потом. Голова как раз вам мешает.

— Чтобы я пожертвовал всем ради вас, любительницы... этих длинных волокон мышц? В таком случае я тоже отплачу вам тем же самым... Враждовать — так враждовать до конца.

— Я не собиралась с вами враждовать.

— Я тоже. И то, что вам скажу, не будет таким прямым и острым, как ваше... Просто, если хотите, расскажу вам одну небольшую новеллку.

— Вы еще и пишете новеллы?

— Нет, это Андре Моруа. У нас ее не переводили.

— Даже так? Вы так милы? Хотите сделать для меня сюрприз?

— Да нет, просто рассказать хочу. Довольно прозрачная мораль. Но написана хорошо.

— Что же, если хорошо...

— Речь там идет о парижском юноше, который полстолетия назад задержался перед витриной торговца картинами на улице Сент-Оноре. Юноша был студент, бедный и так далее. На выставке он увидел картину Моне «Собор в Шартре». Моне тогда еще не был популярен, но студент обладал метким глазом и врожденным чувством красоты. Зачарованный картиной, он отважился войти в помещение и спросить о цене. «Боже мой,— воскликнул торговец,— картина у меня висит уже с каких пор! Могу уступить ее за каких-нибудь две тысячи франков». У студента не было двух тысяч франков, но он имел весьма зажиточных родственников в провинции. Его дядя прямо сказал перед отъездом в Париж, чтобы он, если будет трудно, обращался к нему без колебаний. Так вот, студент попросил торговца в течение недели никому не продавать картину, а сам послал письмо дяде.

У студента в Париже была любовница. Муж у нее был старый, и она скучала. Была глупа, как гусыня, вульгарна, но красива. Бывает и такое. Вечером в тот день, когда студент заинтересовался картиной «Собор в Шартре», она сказала: «Завтра ко мне приезжает из Тулона приятельница, вместе с которой мы были в пансионе. Муж мой занят, у него нет времени на сопровождение, рассчитываю на тебя».

Приятельница приехала не одна. Привезла еще свою приятельницу. И вот три дня студент вынужден был водить по Парижу сразу трех женщин, платить в кафе, в театре, оплачивать фиакры, давать чаевые. Финансы его не выдержали такого напряжения, пришлось одолжить деньги у коллеги. Когда пришло письмо от дяди из провинции, студент облегченно вздохнул. Немедленно возвратил долг, а на оставшиеся деньги купил подарок любовнице. А «Собор в Шартре» приобрел какой-то коллекционер и через некоторое время в завещании оставил его Лувру.

Студент, который со временем стал известным писателем, теперь уже старый человек. Но сердце у него по-прежнему молодо и точно так же учащенно бьется, когда ему повстречается хороший пейзаж или красивая женщина. Выходя из дому, он часто встречает старую женщину, которая живет напротив. Это — его давнишняя любовница. Лицо ее утопает в жире, глаза, некогда такие чудесные, теперь лежат на двух мешочках отвисшей кожи, над верхней губой торчит седой мох. Дама с трудом передвигается на своих больных ногах.

Встречая ее, великий писатель кланяется и идет дальше. Никогда не останавливается. Знает, что это просто старая женщина, наполненная ядом и злобой. Мысль о том, что он любил ее когда-то, теперь для него огорчительна.

Часто заходит он в Лувр, в зал, где висит «Собор в Шартре» Моне. Долго смотрит на картину и вздыхает.

— Какие мы оба дураки! — засмеялась Тая.— Ты можешь меня поцеловать здесь, перед этими безумными машинами, над вашим спокойным Днепром — средь...

Он не дал ей договорить, они стояли и целовались, машины сигналили им, нарушая постановление горсовета о запрещении звуковых сигналов.

— Ты не сказал мне, что любишь меня,— напомнила она потом.

— А ты?

— В этом, конечно, нет никакой логики, но я ради тебя тоже ничего не покинула бы и ничем не пожертвовала бы, хотя... позавчера я прогнала прочь всех тех дураков, которые приехали за мной аж из Москвы... Но и без тебя, наверное, не смогу теперь... Это — опять-таки, наверное, говорят все женщины, поцеловавшись с мужчиной, но...

— Хочешь, я скажу то же самое? Не боясь банальности.

— Не нужно, тебе не к лицу слова обычные... Но как мы с тобой только что грызлись! Хочешь — расскажу тебе сказочку, услышанную мною в тайге? О зверях.

— Как грызутся? Не нужно. Давай хоть немножко продолжим эту минуту мира, который установился между нами. Если бы мог, я бы остановил время хотя бы на миг. Так, как останавливаются стрелки на больших электрических часах перед тем, как совершить очередной перескок.

— Счастье между двумя прыжками минутной стрелки? — Тая засмеялась.

— Но потом стрелка все-таки перескакивает, гонимая неумолимым течением времени. А мы пытаемся если уж и не догнать или опередить ее, то хотя бы не отстать от нее. Например, я через два дня еду в Западную Германию.

— Куда? — Тая решила, что он шутит.— А почему бы не в Патагонию?

— В самом деле, я еду в Западную Германию.— Борис был совершенно серьезен.— Уже все готово, все документы оформлены, у меня есть билет на самолет Киев — Вена, оттуда — поездом.

— Туристская поездка? Но это же не обязательно.— Она еще надеялась найти какое-нибудь спасение. Потерять его вторично означало, быть может, потерять навсегда. Абсолютная бессмыслица.

— Нет, не турист. Дело моей жизни. Еду на месяц, а может, и больше. В ежегоднике одного западногерманского университета появилась публикация о Софии. Автор публикации — профессор Оссендорфер ссылается на никому не известные документы, которые, мол, находятся в его распоряжении... Короче: отрывок пергаментной хартии, найденный когда-то моим отцом и во время войны отправленный им в институтском сейфе в тыл. Но Бузина и сам туда не доехал и сейфов не довез... Он продал их или подарил фашистам — все равно. Профессор Оссендорфер, очевидно, тот самый ефрейтор Оссендорфер, который убил моего отца. Вот такая

история. Война продолжается... И снова София. Снова отец. Снова я... Удивляюсь, что они так долго молчали. То ли ждали, пока минет двадцать лет со дня окончания войны, чтобы, ссылаясь на установленный ими самими закон, объявить невиновными убийц и своим собственным все украденное и награбленное. Логика убийц и грабителей. А возможно, этот Оссендорфер хотел приурочить свою публикацию к какой-нибудь круглой дате, что он, кстати, и делает, заявляя, якобы Софию Ярослав построил в тысяча шестнадцатом году, потому что в летописях есть свидетельство, что уже в следующем, тысяча семнадцатом году, во время нападения печенегов на Киев, София сгорела. А раз сгорела — выходит, уже стояла до этого. А поставить ее Ярослав мог только между тысяча пятнадцатым и концом шестнадцатого, когда он сражался за власть со Святополком и сел в Киеве на престол. Раз так, то Софии — девятьсот пятьдесят лет. Очень простая логика. Оссендорфер обходит молчанием предположение ученых о том, что первую Софию — деревянную — поставила, вероятнее всего, Ольга примерно в девятьсот пятьдесят седьмом году для сохранения креста животворного дерева, которым благословил княгиню константинопольский патриарх. В тысяча семнадцатом году деревянная София сгорела. Это натолкнуло Ярослава на мысль построить каменный собор, потому что ремонт ничего, собственно, не давал. Если даже предположить, что Ярослав в самом деле между шестнадцатым и семнадцатым годами поставил деревянный собор, а затем на его месте соорудил каменный, то ученый не может отождествлять эти два сооружения. Но, видимо, этого господина профессора интересует лишь стремление опередить нас, потому что в шестьдесят седьмом году мы отмечаем девятьсот тридцать лет со дня окончания строительства Софии, так вот, как говорится, получайте — девятьсот пятьдесят лет, которые открываю для вас я, профессор Оссендорфер!

— Ты читаешь мне лекцию? — поинтересовалась Тая.

— Прости! Увлекся.

— Поцелуй меня на виду у всех этих машин.

— Может, мы поедем уже в город?

— Пойдем. Только пешком! Но что ты будешь делать с этим профессором?

— Я должен с ним встретиться. Мне нужно убедиться, что это именно он. Это военный преступник, а не профессор! И грабитель. Я должен установить, располагает ли он старинным пергаментом. И забрать у него!

— Не думай, что это будет так просто.

— Это государственное дело. Мне будет помогать посольство, вмешается правительство. Я не выеду оттуда до тех пор, пока не добьюсь своего! Хватит с меня того, что я опоздал помочь отцу! Если бы я тогда успел на день раньше, даже на несколько часов,— отец был бы спасен.

Она смотрела на него с болью в странных своих глазах. Стрелка на огромных часах времени перескочила. Их разделяло мертвое пространство между двумя ступеньками судьбы. Как он уедет от нее? Как расстанется? Не подумает ли он про нее: вот женщина, которая под предлогом бесед об искусстве и гражданских достоинствах ищет себе легких развлечений? Перед этим ей показалось, что Борис подумал о ней нечто подобное. Это было бы страшно!



Год
1026
ЛЕТО. КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Якоже бо се некто землю разореть, другый же насееть.

Летопись Нестора

Не выбираешь себе людей, с которыми должен жить. И ничего не выбираешь. Все дается тебе так или иначе, и никогда тебя не спрашивают, а когда и спрашивают, то не слушают ответа, ведется так всегда. И вот он попал к людям, которые в своей работе, казалось бы, имели возможность выбирать формы, краски, попал к творцам, украшателям, к художникам; но оказалось, что и они закованы в железные путы канонов и послушания, ими тоже управляет та незримая и всемогущая сила, которая определяет жизнь каждого смертного на земле, а если и не на всей земле, то уж в этой державе холодного Христа и безжалостных императоров — наверняка.

Треть своей жизни Сивоок провел среди тех, кого дал ему в желанные или нежеланные (у него не спрашивали о согласии или несогласии) товарищи Агапит, выкупив у императора Константина, на самом же деле казалось — жил здесь всегда. Было еще далекое, невыразительное полувоспоминание, полузабытое: темная дождливая дорога и маленький мальчик, залитый слезами на этой дороге. Да и было ли? Может, приснилось? Как дед Родим, Величка, Лучук, Ситник, Какора, Ягода, Звенислава, снова Какора. Впечатление было такое, что всегда жил в этой земле, чуждой и враждебной для него,

боялся, что так и истратит жизнь на выслушивание небывалых имен и названий, неслыханных глупостей людских, а то и божьих.

Агапит подбирал для себя людей так, чтобы внешностью своей они были такими же необычными, как и он сам: все что-то огромное, мохнатомордое, с медвежьими лапами,— Агапит любил силу, сам не обладая ею; как потом оказалось, в душе своей он стремился наверстать недостаток внутренней твердости хотя бы твердостью телесной. Их так и называли — Зверинец Агапитов. Были среди них, помимо ромеев, агаряне, болгары, было два грузина и славянин из Зеты, был посланец из Германии от епископа Гильсгеймского, открывавшего у себя школу мозаик и дорогого художественного литья. Жизнь их проходила в тяжкой работе по сооружению храмов и монастырей. Но невозможно замкнуть людскую жизнь в ограниченный круг однообразия. Часто они вырывались кто куда мог: одни — в дикие развлечения, другие — в иератические молитвы, веря в спасение души, третьи — в книжность, четвертым мало еще было того, чему они научились у Агапита, и они стремились превзойти своего учителя в непрестанном совершенствовании своего умения. Сивооку пришелся по душе Гиерон, грек из Кикладов, гигантский громкоголосый детина, который мог часами по памяти читать писанные когда-то (или же напевавшиеся) дивные стихи о путешествиях Одиссея-Улисса; лилась речь чистая и звучная, совершенно непохожая на ту смесь из слов греческих, латинских, агарянских, армянских, славянских, которая бытовала среди ромеев под пышным названием «греческой», волнистый ритм стихов напоминал покачивание корабля на морских гребнях, корабль этот нес Улисса дальше и дальше, к новым и новым приключениям, приключения и подвиги нанизывались в бесконечные связи. Все было прекрасно в этой великой поэме странствий, но странствующей душе Сивоока более всего нравилась, более всего очаровывала его сцена встречи Навсикаи и Одиссея на берегу моря. Двое обнаженных, свободных от условностей мира, от нарядов и украшений на берегу моря. Несчастный после разгрома, еле живой и пышная, будто Артемида, феакская принцесса, дочь Алкиноя. Она сверкает, будто фарос, и ее протянутые руки идут сквозь мглу снов, будто лучи маяков.

Возможно, Гиерону тоже нравились именно эти стихи из поэмы, и он охотно выполнял просьбу Сивоока и читал по ночам, в короткие часы их отдыха; возможно, он и сам уно-

сился мыслью на свой остров, омываемый пурпурным морем Гомера, и видел на берегу девушку, которая простирает навстречу ему тонкие нежные руки, но стихи заканчивались, видение исчезало, Гиерон на несколько дней становился мрачным и раздражительным, и если к нему очень уж настойчиво приставал Сивоок или кто-нибудь другой из товарищей, Гиерон, что называется, обрушивал на них целые вороха ужасов из книг о приключениях Александра. О дивьих[1] человечках, высотой в двадцать четыре локтя, и тихих да мудрых «яблокоедцах». О волосатиках, которые имели тело вроде бы людское, а лицо — львиное, и о хлопах, которые наклоняли деревья, ломали их на оружие, швыряли во врага. А этих хлопов окружали звери, похожие на псов, только в двадцать локтей вышиной и трехглазые, и блохи там прыгали величиной с лягушку, и звери в странах, куда шел Александр, были о шести ногах, трехглавые и пятиглазые, были там и люди безголовые, косматые, рыбоеды. Было там дерево дивное, которое росло до шести часов, а потом пряталось снова в землю; черные камни, от прикосновения к которым каждый сам становится камнем; рыбы и змеи, которые не горели в огне, а выползали из него, будто из воды.

Оттуда начиналось царство тьмы. Чтобы найти дорогу назад, Александр велел взять с собою одних только кобыл, а жеребят оставить позади. Во тьме наткнулись на поток, сверкавший, будто молния. Александр захотел есть, велел повару приготовить что-нибудь, повар очистил соленую рыбу, помыл ее в потоке, но рыба внезапно ожила и уплыла от повара. Повар испил воды, стал бессмертным, но не сказал про чудо своему властелину. Тот, узнав об этом, разгневался и велел убить повара, но сделать это никому не удавалось. Тогда Александр приказал опустить его в озеро с жерновом на шее, и повар стал морским демоном.

Загорелся свет, но без солнца и без луны. Две птицы с людскими лицами появились перед Александром и велели ему возвращаться, ибо это уже была земля божья.

Из этих темных чудес вырисовывалось в представлении Сивоока то, что он пережил на самом деле: гигантские туры, дикую силу которых еще никому не удавалось приручить; замерзший Дунай, черный от миллионов крыс, перекочевывающих с одной земли в другую; табуны волков, окружающих купеческие обозы или обнаглевших до предела, слоняющих-

[1] Д и в и й — лесной, дикий.

ся даже возле многолюдных торжищ; темные тучи ненасытных пруг[1], незримость безжалостного голода, страшные грозы, безбрежные наводнения.

Он знал журавлей и лебедей, знал ласточку, которая приносила на своих острых крыльях весну в его землю, а теперь читал или же слушал рассказы Гиерона о птице Феникс, одинокой, как солнце, солнечной птице, которая живет пятьсот лет, а потом углубляется в древа ливанские, наполняет крылья свои ароматом, летит в город Илиополь, возносится на приготовленное для нее иереями города требище и, вспыхнув, сгорает. Утром чиститель требища обрящет в пепле червя, который на третий день возлетит птицей в прообразе Спаса. Феникс имеет крылья цвета сапфира, изумруда и других драгоценных камней и венец на голове.

А еще был таинственный единорог, была сладкозвучная птица — Сирин, похожая на тех сирен, которые очаровывали спутников головами, а то грифоны — с туловищем льва, с крыльями и головой орла, грифоны когда-то стерегли золото Азии; скифское племя аримаспов вступило с грифами в борьбу за золото и драгоценные камни, это были бесстрашные варвары,— быть может, именно поэтому ромеи присвоили одежду с изображением грифов начальникам варварских дружин.

С рассвета и до поздней ночи они ворочали и обтесывали камень, варили разноцветную смальту, гнулись на лесах до окостенения шеи и позвоночника, укладывая мозаики или расписывая фрески; с течением времени каждый из них становился все бо́льшим мастером, перенимая от Агапита высшие и высшие тайны украшательства священных храмов, но одновременно все более ощутимым становилось их унижение как людей, они словно бы самоуничтожались в своем искусстве, с каждой новой краской, которую клали на стены, с каждым узором, с каждым новым изгибом апсиды, выдуманным кем-то из них, будто отлетала от него частица его жизни, его существа, потерянная среди земного могущества недоступных императоров и среди чудес, враждебных человеку. Как было сказано у пророка: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его: ибо что он значит?»

---

[1] Пругами во времена Киевской Руси называли саранчу. В летописях каждый раз наталкиваемся на страшные сообщения: «Быша прузи мнози», «...прузи, и хрустове, и гусеница, и покрыша землю и бе видети страшно, идяху к полунощным странам, ядуща траву и проса».

И сам Константинополь был наполнен чудесами, перед которыми будничная жизнь людская казалась ничтожной. В монастыре Спаса хранилась чаша из белого камня, в которой Иисус якобы превратил воду в вино. Каждый вторник носили по городу икону богородицы, написанную, как утверждалось, самим евангелистом Лукою. Можно было увидеть топор, которым Ной построил свой ковчег. В монастыре Продром лежали волосы богородицы. А еще стояла там София — нерукотворный храм, самый большой и прекрасный в мире, творение, быть может, и не людских рук, а божественных, потому что император Юстиниан, при котором сооружена святыня, похороненный в саркофаге из зеленого мрамора иеропольского, при жизни признан был не только императором и первосвященником, но и самим богом, а его жена Феодора, куртизанка из цирка, дочь укротителя зверей, вырезала сто тысяч павликиан, которые чтили Добро, но не признавали бога.

— Да помнит каждый из вас, мохнатомордых и оборванных,— гремел на них Агапит,— да запомнит навсегда, что все видимое и все, чем живете,— это лишь бледное отражение настоящего, высокого, недоступного, а ваше умение должно стать лишь средством для напоминания о божьем мире, о божественной драме господа нашего Иисуса Христа и заселяющих небо бессмертных святителей.

Питались они хлебом, оливками, еще давал им Агапит красное виноградное вино, которое постепенно убивает мужскую плоть. Но в каждом из них собралось столько дикой силы, что не действовали ни красное вино, ни тяжкий труд; часто взрывалось это в них неутолимой яростью, они схватывались между собой, и хорошо, если все заканчивалось только перебранкой и не доходило до настоящего побоища, а бывало и так, что били друг друга долго и беспощадно, сгоняли свою злость, свою неволю, свои несчастья. Потом мирились, снова становились рядом на высоких лесах, задирали головы вверх, задыхались от жары или же коченели от холода, когда в высокий монастырь вплывали зимой облака и обволакивали их своими хлопьями.

Агапит никогда не торопил их. Сам медленный и величественный в жестах, будто фигуры святых, которых учил изображать, он любил это же и в своих учениках. Мищило в совершенстве заучил все требования Агапита, наслаждался медлительностью в работе, будто тем самым мог продлить свою жизнь. А Сивоок набрасывался на работу ожесточенно,

ему каждый раз хотелось выложить все, что умеет, на что способен, над его горячностью смеялись все; Мищило укоризненно покачивал головой, а потом первый же доносил Агапиту, как недостойно вел себя его товарищ и как пострадало от этого дело, ибо из-за его неудержимости нарушен был канон об изображении верхнего женского убранства, в котором не должно быть ни единой складки, ибо складки создаются только поясами, которые, как всем известно, присвоены одежде нижней, перепоясанные патрицианки имеют их лишь в парадной одежде, но носят через плечо, а не на талии, чтобы не вводить мужчин во искушение сатанинское.

Удивительно занудливым был этот Мищило, и Сивоок никак не мог понять, почему наслан был на него такой единоземец, какой силой. Зато Агапит души не чаял в Мищиле.

— Э-э,— воркующе говорил он Сивооку, который вовсе не чувствовал себя виновным и небрежно сидел в присутствии своего попечителя, слушал и не слушал его,— в нашем деле нужны этакие вот неторопливые, рассудительные люди, которые могли бы подумать не спеша и провести рукою так, чтобы не ошибиться. Ты думаешь, ты сделал эту мозаику? Торопился, рвался, а куда и зачем? Все равно ничего бы не сделал, если бы задолго до тебя не созрело это в моей голове и душе, а еще раньше — в душах многих достойных людей, которых уже нет и на свете. Думали они об этой мусии, вынашивали по камешку каждую краску, каждый изгиб. А твое дело — сделать. Нести традицию. В этом — устойчивость и вечность державы и ее люда. Кто придерживается традиции, тот может надеяться, что его тоже когда-то будут ценить. А ежели плюешь сам, плюнут и на тебя. Только варвары живут без строя и порядка, а у богочтимых ромеев все установлено точно: и в жизни, и в службе божьей, и в деяниях царственных императоров. Что есть искусство? В нем точно установлены средства изображения и композиции, точно так же, как, скажем, заранее расписан порядок одевания и переодевания императоров и их приближенных, а также священников. А что может быть главнее для простого человека, нежели лицезреть своего светского или духовного повелителя в одежде, которая сразу свидетельствует, кто перед тобой? Император Константин Багрянородный в тридцать седьмой главе своей первой «Книги церемоний» говорит, какие облачения надевают цари на праздники и выходы торжественные. Кто еще не знает, должен запомнить твердо и непоколебимо, как все, что касается вашего умения. Это великая наука. Ибо что

есть жизнь? Это переодевание, умение подобрать для определенного случая соответствующие одежды.

И точно так же как каждый знает, когда и по какому поводу и какие одежды надевают вельможные, искусство наше в каждом случае может пользоваться только заранее определенными и твердо установленными канонами, и тот, кто их усвоит и будет нести в себе и сможет передать через себя и свое умение, этот нам нужен. А все остальные — отступники. Отступников же следует изгонять, как нечестивых из храма.

— Можешь изгнать меня хоть сегодня,— мрачно говорил Сивоок.

— Нет, нет, человече! — самодовольно смеялся Агапит.

Сивоок пропускал все эти поучения мимо ушей. Земля ромеев? Никогда не забудет болгарских своих братьев, тяжкий переход через македонские горные дороги, Амастрианский форум и душераздирающие крики: «Майчице моя! Оче ми изгорях!»

Земля ромеев? В этой земле, сухой и черствой, всех богов спровадили с неба и поселили в храмах, сами непрестанно возносясь молитвами на небо, а его боги жили в деревьях, водах, в земле, а на небо никто никогда и в помыслах не имел добираться, ибо оно было таким высоким, что не взойдешь на него даже по радуге.

Земля ромеев? Жестокость, коварство, лицемерие на каждом шагу. С одной стороны — закостенелые каноны. Ни на шаг нельзя отступить от них. Все святые в одинаковых одеждах и положениях. Куда бы ни поехал византиец, он непременно встретится с привычными для его глаза образами. И сердце его должно наполняться высокомерием. Свои, наемные и купленные художники рисовали апостолов, императоров, воинственных императорских жен и кобыл, и целые рисованные фаланги Византии отправлялись на покорение мира, чтобы засвидетельствовать порядок и непоколебимое единство, которые, дескать, царили в этой державе. А с другой стороны — незатихающие споры о том, как верить, как спасти душу свою, о благочестии и бесчестии, и о том, как складывать персты, сколько раз говорить «аллилуйя», сколько просвирок употреблять при богослужении, сколько концов должно иметь изображение креста, как писать имя Иисуса, какими должны быть архиерейские клобуки и жезлы, как звонить в церквах, не учетверить ли святую троицу, выделив четвертый престол для Спасителя; яростные анафемы друг другу, перебранки на торжищах и в корчмах — никчемность и

суета, похвальба своими порядками, своим первородством, древностью своей державы. Все равно как если бы дед хвалился перед юношей: «Я родился первым». А тот должен был бы сказать: «Зато я проживу дольше. Ты умираешь, а я только набираюсь силы и мощи».

Хотя Агапит на первый взгляд считался вроде бы свободным в своих поступках и выборе работы, на самом же деле все зависело от патриарха, от сакеллария[1], церковь выступала и их работодателем, и их кормильцем, и их судьей. Церковь держала в руках все каноны, она не уступала ни в чем, она требовала послушания и покорности не только в молитвах, но и в украшении храмов, художники для нее должны были стать первыми рабами, призванными воспевать могущество божье, прославлять бога и его апостолов в красках.

Так повелось издавна. Пошло еще из Египта: жрец — фараон и раб — художник. И у древних греков, наверное, точно так же. И у римлян, наследниками которых считали теперь себя ромеи. Искусство стало служить пышности. Подавляло человека, вместо того чтобы возвеличивать его дух, поддерживать в нем силу и веселье. Русичи не знали такого искусства. Резная ложка, вышитая сорочка, ковшик, украшенный цветами, выжженными жигалом, посуда со спокойным узором, миска с изображением рыбы или птицы, красный щит (может, и называли их греки русскими за эти щиты, потому что по-гречески красный — русий), кольчуга с блестками. А потом пришел суровый, бесплотный, рожденный без зачатия и уже потому непостижимый и чужой бог, с аскетизмом, схимой, с жестокостью,— и нет веснянок, нет зеленых праздников, нет солнцеворота.

Двенадцать и двенадцать, а то еще и больше — вот сумма лет Сивоока, в течение которых он должен был сталкиваться с этим новым богом, под крестовидным знаком которого давно, в темную мрачную ночь, был убит дед Родим.

Двенадцать лет отдано Агапиту. Забываются мелкие повседневные случаи, жизнь протекает, будто вода сквозь песок, удерживается в человеке только знание и умение, входит в него незаметно, так, словно всегда было в нем, в особенности же умение, ибо никто не сможет научить тебя различать и выбирать краски и класть их так, чтобы вздрогнуло самое мрачное сердце, если сам ты не умел этого чуть ли не со дня

[1] Сакелларий — высокий патриарший чиновник, ведавший в Византии монастырями.

своего рождения, если не подарили этого высокого дара твоя родная земля, твои первые учителя, среди которых ты вырастал и поднимался на ноги.

Он охотно принимал то, что отвечало его непокорности, и сопротивлялся яростно, изо всех сил всему тому, что считал враждебным для себя. А что же он мог найти для себя более враждебное, чем христианские боги, причинившие ему столько зла?

Его пытались убедить в том, что только христианство дало человеку высокую духовность, а без всесильного его действия в сердце людском, в котором произрастают лишь тернии грехов, не могут появиться любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Не вранье ли?! Его предки имели все это в избытке. А пришел новый бог — и началось на его земле: раздоры, преследования, исчезла радость, веселие, добрые, умные люди уступили место таким проходимцам, как Какора, возвысились слюнтяи и паскуды, подобные Мищиле...

Сивооку кололи глаза его дикостью, дикостью и варварством его земли. Чванливые ромеи, хотя и разносили христианство повсеместно, настоящими и подлинными христианами считали только себя, остальных называли «окропленными», намекая на обряд крещения с кропилом и священной водой.

Однажды он хотел нарисовать апостола Павла без меча. Уже заканчивал фреску на свой лад, ибо никак не мог принять бессмысленного обычая давать Павлу в руки оружие. Воин-язычник Савл из Тарса, обращенный в христианство, взял имя Павла и стал апостолом — проповедником христианства и милосердия. Канон требовал изображать Павла непременно с мечом. Странное милосердие с мечом! В конце концов, если подумать, то какое Сивооку дело до всех этих глупых канонов, но ему надоело послушное повторение, он всегда пробовал что-то изменить, вот на этот раз и решил обойтись без меча.

Но именно в этот момент появились вдруг Агапит и синкелл [1] в лиловой хламиде, с драгоценной панагией на груди и высоким посохом черного дерева с серебряным чеканным набалдашником.

— Почему святой Павел без меча? — закричал синкелл, и его шея под тщательно расчесанной черной бородой налилась темной кровью.

[1] Синкелл — один из высших чинов византийского клира.

— А потому, что я так захотел,— ответил со своих лесов Сивоок и уставился на чванливого синкелла с такой ненавистью, что тот невольно даже отпрянул.

— Это рус,— примирительно сказал Агапит.— Он немного дикий, однако...

— Молчать! — велел ему синкелл и теперь уже смелее шагнул снова к лесам, на которых возвышался грозный Сивоок.— А ты! Что ты? Смердючий рус! Язычник! Земля твоя — сплошной срам! Как смеешь?

Сивоок ответил синкеллу словами одного из семи мудрецов Эллады, скифа Анахарсиса:

— Если моя отчизна срамота для меня, то ты, во всяком случае, срамота для своей земли!

Последние слова Сивоок прокричал изо всех сил и яростно полетел вниз с лесов прямо на голову синкеллу и, возможно, убил бы этого холеного патриаршего прислужника, если бы Агапит, хорошо зная нрав Сивоока, не оттащил своевременно чиновника и с проклятьями и извинениями не вывел из храма.

Потом он возвратился и хохотал вместе со всеми над выходкой Сивоока, хлопал Сивоока по плечу, заглядывал ему в глаза, а тот отворачивался, сопел, яростно и возбужденно, ненавидел все на свете, презирал и ненавидел Агапита за его подхалимскую натуру, за способность признать себя ниже каждого, кто хотя бы намеком напоминал о своей знатности или просто силе. Гадко было смотреть, как гнется его дебелая шея и как изготовляется к ползанию его могучая фигура, крепкая как стена. Сивоок давно бы убежал от этого человека в широкие миры, но было в Агапите и какое-то очарование, привлекавшее к нему. Обладал он словом, объединявшим всех, в минуты душевной растроганности он не называл их антропосами, а ласково говорил: «Друзья мои». А еще умел покорять их своей одаренностью. Когда сыпал в клокочущую массу расплавленного стекла какой-нибудь порошок из широкого своего рукава и получалась потом смальта неземной расцветки! Или же когда одним движением своей дебелой десницы выводил такую округленно-совершенную линию, что не сыскать ее даже в очертаниях фигуры самой совершенной красавицы.

Но не мог понять Сивоок, как можно гореть талантливостью в глазах и на лице и одновременно быть лицемером, готовым безоговорочно подчиняться всем догмам, всем повелениям, всем переменам веры, лишь бы только дали ему воз-

можность жить, а следовательно — творить. Ибо, дескать, хитрость тоже сила вещая. А что он создаст с душой приспособленца, шута власть имущих, скомороха для чужих настроений? И еще не мог простить Сивоок Агапиту его жестокого самолюбия. Возможно, художник и должен обладать самолюбием, чтобы утвердиться в своем таланте, но утверждаться за счет других, топтать других — лишь бы только возвеличиться самому? Или: как можно сочетать в себе поистине легендарную леность и огонь одаренности, валяться целыми днями в постели, ходить с сонной физиономией, заплывшими глазами и сохранять в глубинах души такой огонь вдохновения, которого не найдешь ни у кого? Чудеса, да и только!

Агапит напоминал сытую и самодовольную Византию, где благодать божья сошла с небес и блуждает среди людей, и уж кто ее поймает, тот будет держать крепко, несмотря на все попытки отобрать ее для других. На Агапита благодать упала в его способностях, и он цепко держался за данное ему высшей силой, точно так же как держалось ромейское государство за все свои привилегии и права, установленные им самим.

Занятия художественными ремеслами регулировались в Византии чрезвычайно сурово. В «Книге епарха» [1] только мастерам золотых дел, скажем, посвящалось двенадцать параграфов. Не мог ты стать мозаичистом или златоковцем только потому, что владел умением: это еще нужно было доказать. Только член золотницкого еснафа [2] допускался к ремеслам, а чтобы вступить в еснаф, требовалось поручительство пяти известных еснафлиев. Умелец мог работать только в ергастерии, и ни в коем случае — дома. Употреблять должен был только те благородные металлы, на которых стояло служебное клеймо. В случае нарушения этого правила виновного бичевали и карали на один фунт золота. Если же кто-то осмеливался употреблять благородный металл с посторонними примесями, ему отсекали руку. Кроме предметов для собственного употребления, художник должен был покупать только необходимое ему для работы, но не для перепродажи. Кроме того, он не имел права приобретать материалы для работы у женщин, а также — под угрозой немедленной конфискации всего имущества — что бы то ни было из церковной собственности.

---

[1] «Книга епарха» — своеобразный свод законов, которые регулировали внутреннюю жизнь Константинополя, прежде всего деятельность ремесленников и торговцев.

[2] Еснаф — византийский прообраз профессиональных цеховых объединений средневековой Европы.

Законы были жестокими и непоколебимыми, как и церковные каноны, повелевавшие рисовать одних святых в хитонах, других — в стихарях, третьих — в скарамангиях и лорах, и для каждого была своя краска и свое положение, и все это было заранее заданным, навеки закостеневшее, кичившееся своей неизменностью, своей непохожестью на то, что было, и, возможно, на то, что где-то будет, хотя ромейское искусство и не допускало возможности, чтобы где-то что-то появилось, кроме него, ибо они, ромеи, вершина всего сущего, они просветили всех варваров: все были дикими, а ромеи принесли им Христа, и его учение, и его храмы, и его законы.

Вот так оно, видимо, и ведется в истории. Все были дикими, а кто-то приходил и просвещал их. И те племена Малой Азии, которые строили корабли, определяли ход небесных светил, открыли заблудницы[1], были дикими, а пришли ассирийцы и их просветили.

И те, кто населял Египет, были дикими, а фараоны их просветили и заставили строить для себя каменные гробницы.

И этруски были дикими, а римляне их просветили, похитив у них и жен, и искусство, и города.

Не есть ли это величайшая ложь истории? Быть может, под натиском примитивных головорезов погибли бесценные сокровища человеческого духа, а потомкам осталась только хвала и слава, которой окружили себя завоеватели; того же, что было когда-то на самом деле, так никто и не знает.

Кто были те люди, которые пилили у берегов Нила твердый камень Мокатама, тащили его через реку и складывали рукотворные горы — пирамиды? Быть может, это их отчаянье, и их горе, и их память на земле — эти пирамиды? Быть может, это знак грядущим поколениям, которые должны прочесть все скрытое в строгих линиях поставленных на краю пустыни молчаливых каменных гробниц?

Никто не знает. Так через тысячи лет будут говорить о его земле. Соберут целые хранилища греческих книг, напишут еще тысячи своих книг так, будто от количества книг зависит количество правд. Правд всегда будет мало, и для их усвоения и освещения их нужно очень мало книг и писаний. Быть может, где-нибудь ныне последний на его земле мудрец, такой, как дед Родим, старательно собирает сокровища берестяных грамот и свитков, исписанных старинным письмом русов, где первой буквой была П — поле, правда, путь, а может, пер-

[1] Заблудницами называли в те времена планеты.

вой буквой была Ж — жизнь, жито,— и имела она форму предивного эллипса, как зернышко, как солнце, как луна, как детское личико или женский глаз? Но все будет уничтожено и сожжено в угоду новому богу, как сожгли на глазах у Сивоока Радогость с его невиданным храмом, с весталкой Звениславой, с Ягодой, с людьми, которые не покорились. И теперь плодятся там молитвы, псалмы, апокрифы. А что изменилось? Солнце точно так же всходит и заходит, и трава растет, и листья шелестят, и зверь спешит на водопой, и мать кормит дитя...

Но люди неуклонно будут обрастать новыми вещами, новыми предметами, навязанными им чужой волей, установленными кем-то вверху, неизвестно зачем, люди будут задыхаться от этих предметов, сами превратятся в предметы, бездушные и окаменелые, подобно тому как жены Содома и Гоморры превратились в соляные столбы. Вещи когда-нибудь уничтожат человека. Пока их мало — человек их любит, украшает, они служат человеку и не мешают, а, наоборот, помогают жить. Потом их станет чрезмерно много. Делать вещи не хватает времени. Украшать — и тем более. Искусство исчезает, оно отступает на второй план, в глубины прошлого, а вместе с ним отступает и время, и человек остается одиноким на берегу океана вечности, и горы ненужных, бессмысленных вещей громоздятся вокруг него.

Такой представлялась Сивооку Византия после очаровательной простоты лесных озер и зеленых полей с сочным житом и пением птиц в небесных высотах над родной землей.

Свободу могло дать одно лишь искусство, но и тут заковывали его в железные цепи ограничений.

— Главное,— говорил ему Агапит,— это обуздать в догматы веры твою дикую варварскую душу. Бог ловит тебя на цвет, а ты должен научиться улавливать в цвете бога. Избегай в искусстве всего, что в жизни не есть прекрасное. Не может быть фигур из самой жизни, ибо тогда ты можешь представить природу оскверненной, а ты должен прославлять совершенство божьего творения. Брань же не может быть совершенством, потому-то и избегай всего, что за пределами хвалы всевышнего. Даны человеку земля и небо, деревья и цветы, воды и травы, четыре времени года — и каждое прекрасно, дана разная погода — и каждая из них прекрасна.

— Ага,— отвечал ему Сивоок,— а ежели я раздет в холодную погоду?

— О тебе нет речи. Не тебе служит высокое умение, а бо-

гам. Ибо что ты есть? Ничтожество! Помни, всегда было и будет так: люди делают, а слава — богу.

Спрашивать у Агапита, почему он забирал себе не только славу, но также и деньги за их работу, не хотелось. Агапит всегда найдет ответ, позовет в свой маленький дворец на Влахернах, посадит на целый день перед красиво переписанной и украшенной Библией, заставит читать апостольские послания или же опять-таки этот опостылевший псалтырь. А что из этого? Будешь ты знать или нет, был ли у Евы пуп, и мог ли заговорить змей-искуситель, и что слово «олива» повторяется в Святом письме двести раз,— от этого еще не станешь хорошим художником. И дел земных не поправишь чтением этой великой, хорошо написанной, но одновременно и невероятно запутанной священной книги. На небе — высохшие, благостные святые великомученики, а на земле — логова дьяволов, ведьмовский шабаш предательств, отравлений, убийств, подлости. Как это все совместить? И можно ли это совместить?

— О, темный антропос,— сказал Агапит,— запомни, что двести лет назад Никейский собор постановил: искусство принадлежит художнику, но композиция — святым отцам. А что есть композиция? Композиция — это метод, благодаря которому элементы предметов и элементы пространства слагаются в творимом в единое целое. Выразительность передается через фигуры, фигуры разлагаются на члены, члены — на поверхности, соединяющиеся будто грани алмаза, однако без присущего ему естественного холода. Поэтому главное в работе — только проведение кистью по доске или стене. Оно может быть плохим или хорошим.

Это Сивоок запомнил с первого дня своего появления у Агапита, когда подавал камень на сооружение монастыря, когда строгал доски для икон, когда резал котных овец, обучаясь по виду определять, какого ягненка носит овца в своей утробе. Ибо когда это еще только зародыш, то шкура его слишком нежная, чтобы из нее получился пергамент. Переношенный же ягненок дает пергамент слишком грубый, и книга из него не годится для продажи людям знатным, а простой люд, как известно, книг не покупает из-за своей несостоятельности. А писание икон? Это не то, что свежевать нерожденных ягнят для пергамента. Выстрогать доску из негниющего кипарисового дерева или из светлой, столь милой сердцу Сивоока липы — это было только начало. Далее эта доска проходила через руки нескольких умельцев, каждый из которых в совершенстве владел своей частью работы, и Сивоок с течением времени

тоже прошел все эти работы, повторяя путь выстроганных им в свое время досок.

Поверхность доски левкасилась, то есть покрывалась белилами, а уже на залевкашенную поверхность наносился рисунок будущей иконы. Точно так же поступали и с фресками, с той лишь разницей, что контуры будущей фрески прочерчивались чем-нибудь острым по свежей штукатурке (Сивоок в дальнейшем писал без прорисовки, одних удивляя, а других раздражая легкостью своей руки). Рисунок делал «знаменщик» кистью или припорашиванием и закреплял графьей. Фон чаще всего был золотым, но золото не наносилось прямо на грунт, а сначала покрывали грунт полиментом. Полимент изготовляли из тонко натертой красной краски, высушенной и разведенной на протухшем яичном белке с уксусом. Полимент придавал позолоте красноватый оттенок, а чтобы золото имело настоящий блеск, его еще полировали собачьим зубом или агатом.

Только после этой подготовки иконописец-доличник красками, разведенными на яичном желтке с квасом, писал одежду, палаты, деревья, травы. После доличника брался за дело личник, который писал лицо и обнаженные части тела. Это требовало наибольшего умения. Существовала точная последовательность работы личника.

Прежде всего была санкирь, то есть накладывание подрисовок смешанной краской из охры, умбры и сажи. Далее художник делал «опись» сажей, намечая контур, а белилами наносил «движки» для обозначения черт лица. После этого начиналась обработка охрой тремя плавями, то есть разведенной до прозрачности краской трижды подряд наводили рисунок, достигая удивительной нежности, особенного внутреннего свечения красок. Первая плавь наводилась светлой санкирью. Ею поправлялись выпуклые места на лице: нос, скулы. Второй — наводился румянец. Третьей — «подбивали», то есть объединяли, предыдущие плави. После этого шла «сплавка» — тон, который объединял все предыдущие тона так, что они пронизывали друг друга.

И пока ты усваивал всю эту сложность приемов, неуклонно совершенствуясь в своем умении, Агапит приучал тебя к мысли, что искусство — обыкновенное ремесло, которое вызывается к жизни повседневными людскими интересами и потребностями.

«Как же так?— думал Сивоок.— Ведь это существует вне всего! Из ничего появляется вдруг целый мир. Разве тут до-

статочно проведения кистью? Необходимо вложить все свое сердце, всю свою жизнь, да еще и добавить кое-что сверх этого — вот настоящее искусство!»

Однако он понимал, что обо всем этом никому не скажешь, тут нужно ощущать самому, а кто не ощущает, того не убедишь никаким красноречием, только вызовешь насмешку над собой.

Гиерон под большим секретом рассказал Сивооку о существовании енохов — темных книг, в которых скрыто много мудрости, недоступной ни ромеям, ни агарянам, никому на свете. Книги эти уничтожались жестоко и последовательно уже тысячу лет, но все равно уничтожить все их не удается, ибо они живут в людях, книги могут быть уничтожены только со всеми людьми, а это — невозможно. В таких книгах есть и о художниках. Не так, как у Аристотеля. Аристотель просто перечислял составные части искусства художника, как это делал Агапит. Темные книги связывают деятельность художника с существованием самой материи. Материя возникла в результате излучаемого богом света на его наиотдаленнейшей меже. Она сама есть не что иное, как тот угасший свет. Занимая самую нижнюю область света, называющуюся Асия, она являет собой, как угасший свет, область тьмы. Следовательно, свет есть добро, а материя — это принцип и сфера зла. Во мраке живут все злые духи и их владыки. Стало быть, роль художника — задержать свет в материи или хотя бы остатки света. Художник выше бога и законов природы: он создает новый мир уже после сотворения его богом!

Досаждал им нездоровый южный ветер в Константинополе. Разносил над всем городом смрад нечистот, которые сваливались на узких боковых улочках и в глухих закоулках под стенами, запах морской гнили из Пропонтиды, еле уловимые ароматы далеких южных стран: цветы, пряности, загоревшие упруготелые женщины, неземные плоды. И все постепенно шалели от этого ветра, голоса становились раздраженными, движения — резкими, все валилось из рук, перепутывались краски, не туда ставились кубики смальты, и приходилось разрушать только что выложенный кусок мусии; кто-то бранился, кто-то порывался в драку, не было иного выхода, как бросить работу; и они бросали ее и разбредались по Константинополю: одни просто слонялись по Месе, другие шли к гулящим женщинам на полого спускавшуюся улочку возле форума Тавра, третьи напивались в корчмах, четвертые тол-

кались на торговищах или слушали бродячих музыкантов, ввязывались в драки или перебранки.

Вот живописный голодранец, прибывший, видно, из пустыни, окруженный развеселенной, жадной к развлечениям толпой, выкрикивает в потные равнодушные лица что-то свое, потом обращается на нескольких неизвестных Сивооку языках, пока не доходит до ромейского, до обезображенного греческого языка, который пригоден, видимо, только для нудных прославлений бога, ибо тому все равно, он не вслушивается в слова, его удовлетворяют сама гнусавость молитв и поклоны, но этот оборванец что-то там кричит о первой букве своего письма, об эль Алеф, или же альфе по-гречески:

— Эль Алеф — начало всех начал, змееподобная первая буква арабского алфавита, след змеи на обожженном солнцем песке, тень, брошенная на землю веткой цветущего дерева, указание солнечных часов, знак жизни и смерти, линия, соединяющая восток и запад и соединяющая север и юг, мера всех мер, единица и бесконечность, прошлое, настоящее и грядущее в одном начертании. Эль Алеф!

Сивоок мог бы рассказать этим болванам о всех буквах своего языка. И первой мог бы поставить любую из них: Дитя ли, Жито ли, Поле ли, Траву ли. Он проталкивается в середину толпы, кричит на голодранца с голодным блеском пустыни в остром взгляде:

— Тогда послушай про русское А. Про человека, который стоит на двух ногах, вот так, как стою перед тобою я. Прочно стоит, расставив ноги, творя треугольник между собой и землею, точно так же, как создают в земле треугольники корни всех деревьев: могучих дубов русских, врастающих в землю в десять раз глубже, чем выступают на земле, и алепских сосен, которые держатся только за поверхность приморской каменистой земли, питаясь одними лишь брызгами моря. «Аз»,— сказал человек и встал на ноги, чтобы иметь внизу под собою целый мир, чтобы иметь в своем услужении все плавающее, ползущее, прыгающее. Далеко видно с этой башни бытия — в будущее и прошлое, на все четыре стороны, и в небо, где Солнце, Луна и Земля тоже создают огромный треугольник Вселенной. А и есть бесконечность, которая открывается с двух закрытых сторон треугольника, еще больше бесконечности со стороны открытой. Вот что такое А.

— Какие же слова начинаются с этой буквы в твоем языке?— пронзительно закричал нищий.— Может, аллах?

— Адамас! [1]

— Аргир! [2]

— Атраватик! [3]

— Апокомбий! [4]

Сивоок подумал: как же так? Ни одно слово в его языке не начинается на А!

— Да ну вас!— разозленно воскликнул он.— Потому и не начинаются у нас слова на А, что это самая первая буква. А нужно будет, позаимствуем слова!

— Заемщик! Заемщик!— заревела толпа, и уже чьи-то руки схватили Сивоока за одежду, уже кто-то ударил его по спине, нужно было поскорее выскакивать из толпы, ибо за малейшее промедление здесь приходится платить слишком дорого, иногда ценой жизни.

У Агапита был маленький дворец на Влахернах, над самым Золотым Рогом, среди апельсиновых садов, куда не доносились дуновения гнилого константинопольского ветра, где все было напоено ароматами цветения или зрелых плодов, где стояла тишина, нарушаемая разве лишь птичьим пением, которое, как сказано, прибавляет человеку лет и красоты.

Превыше всего Агапит любил свое тело. Нежился в теплой купели, пронизанной ароматами. После купания натирался оливой, ходил в свободной белой одежде, чтобы легко дышало тело. Любил все телесное... Чувствовал, что с течением лет все больше разрастается в нем дикий грязный зверь, но не сдерживал этого зверя, а с каким-то даже наслаждением следил за его разрастанием.

Похоже было на то, что силы еще не покидали его, но вместе с тем замечал в себе зависть к младшим, завистливость переходила в ненависть, он умело сдерживал ее, а сам знал, что это — признак приближения старости. Уже в этом возрасте должен был бы признать правоту руса, этого могучего скифа, который за короткое время превзошел всех его учеников, да, может, и самого Агапита, в совершенстве всех

---

[1] Адамас — бриллиант.

[2] Аргир — буквально серебро, серебряный. В Византии это придворные кассиры.

[3] Атраватик — византийская одежда скромных притемненных тонов, цвета сушеного винограда.

[4] Апокомбий (апокомвий) — буквально: выдача. Так назывались в Византии своеобразные императорские или патриаршие чеки, по которым можно было в сокровищницах получить обозначенную в апокомбии сумму золота.

искусств,— должен был согласиться с ним в его несогласиях с догматами христианства, смело отбросить те ограничения, которые святые отцы чинили в отношении его искусства, ибо искусство принадлежало художнику, и только художнику. Но с течением времени он еще сильнее и крепче цеплялся за установившееся, его бронзоцветная и бронзовой твердости выя не гнулась и не должна была согнуться. О высокомерие Византии! Золотые одеяния, роскошь и окостенение идолов, засохшие на солнце глиняные идолы обретают каменную твердость; их можно разве лишь разбить, согнуть же, склонить — никогда и никому!

Агапит теперь знал, что христианство — это преклонный возраст. Оно возникло, чтобы потрафлять и угождать старым, уничтоженным, обессилевшим людям, тем, у кого уже окостенели суставы. Кто с трудом передвигает ноги. Кто забыл о резких жестах и резком голосе. Величественность, медлительность, неторопливость, мрачность, нелюбовь ко всему яркому, равнодушие к наслаждениям — все это общее у христианства и у стариков. Ибо они управляют миром. Вера всегда подлаживалась к тем, кто правит миром! И почти всегда она была верой старых людей. Как же согласовать это с тем, что старость приносит с собой мудрость? Может, хитрость? Старые деды только и умеют, что спать, а один юноша может перевернуть весь мир.

Теперь Агапит часто сердился. Серпики бледности появлялись у него у ноздрей. Голос становился визгливым и резким, как у жирного барана. И смердел Агапит, несмотря на все натирания благовонной корой и сандаловым маслом, то ли старым козлом, то ли немытым бараном. Никого не пускал к себе домой. Даже Сивоок за последнее время едва ли был там несколько раз.

Но вот однажды нужно было обговорить с Агапитом одно неотложное дело, потому что он не появлялся на строительстве несколько дней, а любил все держать под надзором, запрещал что-либо делать самим, без его ведома. Они сооружали небольшую церковь возле стены Феодосия, в противоположном от Влахерн конце Константинополя. Поэтому Сивооку пришлось проехать верхом на осле весь город, где-то у него в отчизне такой ездок вызвал бы насмешки и улюлюканье, но тут осел был обычным и удобным животным, он обладал своей мудростью, скрытой, правда, так глубоко, что человек никогда не мог ее постичь; быть может, именно поэтому человеку больше подходил конь, охваченный страхом, в сущности глупое и

забитое создание, привыкшее бежать туда, куда его гонят, подчиняться каждому движению повода, каждому окрику всадника, каждой прихоти; осел же если уж соглашался на то, чтобы куда-то тебя везти, то делал это не из услужливости и не из страха, а просто из любезности, он выслушивал тебя или и не слушая понимал, куда и чего тебе нужно, и шел себе без спешки, так, как хотелось не тебе, а ему, и сколько бы ты ни убивался от злости — ничто не могло вынудить его изменить свой шаг, и он привозил тебя туда, куда хотел; чаще всего это совпадало с твоим намерением, иногда и не совпадало, но изменить ничего было невозможно, потому что упрямство — это, в конечном счете мудрость, а кто же станет отрицать мудрость?

Сивоока осел довез благополучно на Влахерны, там у него где-то, видно, были свои дела, ибо по крутой улочке вверх к усадьбе Агапита Сивооку пришлось взбираться уже самому — осел остался стоять у куста с красивыми фиалковыми цветами; ворота были заперты, Сивоок долго стучал, пока появился заспанный женоподобный евнух, обладавший, кажется, единственной ценной особенностью: запоминал всех Агапитовых антропосов с первого посещения. Евнух кивнул Сивооку, открыл ворота, потом сказал:

— Агапита нет дома.

— Зачем же ты открывал?— удивился Сивоок.

— Агапита нет,— повторил евнух, отупевший от сытой пищи и безделья.

Сивоок заподозрил какой-то обман, оттолкнул евнуха.

— Нет, так я подожду, а ты смотри себе здесь.

И направился к дому.

Сводчатые окна, закрытые красивыми решетками, белый камень. Пышный сад. Дорожки, выложенные греческими мозаиками с изображением деревьев и птиц. У себя Агапит не соблюдал ограничений, как в храмах. Высокие белые цветы вдоль стен. Зеленые батоги плюща на стенах. Белое, зеленое, отдохновение для глаз.

Вот и дверь, изукрашенная медными кругами из заклепок, с медным кольцом; толкнув дверь, Сивоок вошел в дом. В просторном атриуме пол тоже был выложен мозаикой. Разноцветные круги движения небесных светил, античные божества неба и пространства.

— Эгей!— крикнул Сивоок.

Никто не отозвался. Может, евнух и впрямь сказал правду? Сивоок пошел дальше, толкнул еще одну дверь, попал в

какой-то узкий проход с высокими белыми стенами, откуда проник в комнату, остановился на пороге, потому что комната была затемнена; когда же присмотрелся, увидел, что почти все помещение занимает широкое ложе, а на ложе — женщина.

Она лежала, подложив одну руку под голову. Улыбка блуждала по ее полным устам, застывшая улыбка встревоженного ожидания. Лукавство проглядывало из глубины ее черных глаз. Он увидел заманчиво изогнутые ноги на твердом ложе, ноги непередаваемого цвета (человеческое тело, в особенности женское, всегда непередаваемого цвета, как пшеничный хлеб), ноги сверкали, впадая, будто две пшеничные реки, в обольстительность, ноги заманчиво изгибались, но он засмотрелся на ступню, залюбовался ее совершенством, ее мощью; женская ступня, чистая, гибкая, будто мост радуги, была прямо у него перед глазами, он что-то пытался вспомнить, но не мог, ему мешала эта ступня, тогда он с маху отбросил ее куда-то в неизвестность и полетел, пропал, исчез, взорвался и рассеялся в пространстве навсегда.

Потом его тело собиралось, словно дождь в облаке, из мельчайших частиц, постепенно, неохотно, пока не обрело снова свой вес и объем; оно еще и до сих пор пылало огнем, приведшим к взрыву, а женщина лежала рядом, холодная как лед, лишь небрежно ерошила его припорошенный пылью Константинополя чуб да прикасалась пальцами к бороде его, тоже грязной, потной, но мягкой.

— Ты кто?— спросила она.

— Сивоок,— сказал он, как когда-то давно отвечал всем, и ранее всего, кажется, Величке, о которой грех теперь было и думать.

— Варварское имя,— промолвила она с напускным пренебрежением, но руку не убрала, продолжала щекотать его бороду.— Агапита знаешь?

— Почему бы не знать?

— Боишься его?

— Никого не боюсь.

— Я приду к тебе.

— Хочешь — приходи.— Ему теперь было все равно. Откуда взялась эта женщина, какая нечистая сила наслала ее на него?

— Где ты живешь?

— А нигде. В храме.

— Ты, что, священник?

— Художник.

— Антропос Агапита?
— Художник,— упрямо повторил он.
— Ну так найду. А теперь иди, чтобы не застал Агапит.
— Не хочу,— сказал он и повернулся к ней, разъяренный и неистовый в своем вожделении.

Обратно возвращался тоже на осле, на том сером, упрямом и сообразительном животном, которое, словно бы почувствовав потребность Сивоока как можно быстрее убежать в свою церквушку, оживленно трусило рысцой; но Сивооку и этого было мало, он то и дело подгонял осла, кричал на него: «Чох! Чох!», его раздражали настороженные высокие ослиные уши, поднятые словно бы для того, чтобы улавливать всю его обескураженность от неожиданного события, случившегося в белом дворце Агапита. Он тяжко ненавидел и осла, и улицы этого большого чужого города, и толпы обленившихся бездельников вдоль эмволов, ненавидел Агапита, которому приспичило куда-то отлучиться сегодня с утра, ненавидел молодую ромейку, повстречавшуюся у него на пути, не знал ее имени, не знал, кто она и что,— была ромейка, и этого уже достаточно, старался теперь оправдать свою несдержанность, ромейка казалась ему отплатой за все, что испытал он в этой земле, это была его месть кичливой и жестокой Византии; женщина кичилась своей красотой, своим бесстыдством, ослепляла своим телом, как ослепляет Византия своими награбленными богатствами, и он отомстил, он иначе не мог. Вот его вызов, пускай они теперь знают.

Но женщины не обращают внимания ни на какие опасности, когда речь идет об исполнении задуманного ими. Через несколько дней ромейка была уже возле церкви у стен Феодосия, приехала тоже на осле, словно бы стремясь походить на Сивоока; была она одета не в клейменую желтую одежду византийской блудницы, а в скромный складчатый атраватик цвета сушеного винограда, и глаза у нее горели хищным, глубоко притаенным блеском, прятали в себе тот блеск, как до поры до времени прячется сладкий густой сок в привяленных виноградных гроздьях. Она не боялась столкнуться здесь с Агапитом, никого не боялась и не стыдилась, приехала и смело крикнула, чтобы позвали ей Сивоока.

Церквушка была небольшой и небогатой, ее не украшали мозаикой, здесь рисовали только фрески, да и то лишь на самом верху, под сводами купола; Сивоок, с каждым днем все больше утверждавшийся в звании лучшего мозаичиста среди Агапитовых антропосов, на этот раз изъявил желание распи-

сать церквушку фресками; в момент, когда приехала ромейка, он находился на самом возвышении и разрисовывал бога-отца в образе огромной летящей птицы, обнимающей своими крыльями-руками, своим благословением и землю, и небо, и архангелов с ангелами, и богородицу с Иисусом, и апостолов с пророками, но все это должно было идти ниже, кругами спускаясь до самого низу, а главное творилось здесь, на самом верху. Сивоок просил помощников не торопиться с укладыванием извести, потому что штукатурка высыхала очень быстро, а фреску нужно было писать по сырой основе. Он же не хотел спешить, он сидел на самой верхотуре, возле самого неба, хотел видеть сквозь продолговатые окна тучи, слышать ветер — и только.

И вот тогда его и позвали, но он отказался спуститься, выкрикнул, что если кому-нибудь нужно, пускай поднимаются к нему, ибо кому он там мог быть нужен, кроме Агапита или же какого-нибудь иерея, пожелавшего высказать художнику свое новое назидание, предостеречь от какой-нибудь новой вольности.

Сивоок не знал, на что способна женщина. Поэтому, видно, не удивился, когда увидел рядом с собой, на лесах, чуточку запыхавшуюся, но решительную и неотступную ромейку. Он узнал ее сразу, несмотря на ее скромный атраватик, несмотря на все ее стремление скрыть прелести своего греховного тела, узнал и разозлился еще больше, чем тогда, когда бежал на осле через весь Константинополь.

— Чего пришла?— спросил он грубо, не отрываясь от работы.

— К тебе,— сказала она, рассматривая его и, видимо, любуясь его гибкими движениями.

— Не просил,— сказал Сивоок.

— Поедешь со мной.

— Не мешай работать.

— Поедешь со мной,— упорно повторила она.

— Отойди от окна, заслоняешь свет,— с прежней резкостью сказал Сивоок.

Она посторонилась, но продолжала стоять, не садясь и не выказывая ни малейшего намерения спуститься с этого поднебесного пространства без него, без пленника ее привлекательности.

— Не смотри мне под руку,— закричал Сивоок.— У тебя злой глаз!

Она засмеялась, тихо, зловеще, победно.

— Уходи прочь,— уже спокойнее попросил ее через некоторое время Сивоок.

— Только с тобой,— был ответ.

В нем вновь нарастала неутолимая потребность мести. Он швырнул свои орудия, грубо схватил женщину за руку:

— Ну? Чего хочешь?

Она не испугалась.

— Тебя.

Он мог бы свалить ее прямо на мостки, взять грубо, в спешке, будто лесной зверь, но не была она теперь для него просто самкой, стоял за нею ненавистный мир, торжествующий в своей чванливости, мир, привыкший произносить одно лишь слово — «мое»,— и вот случай бросить им это слово назад, пускай они подавятся им, хотя бы один раз прокричать «мое» над тем, что тебе не принадлежит или же принадлежит лишь по прихоти судьбы или случая.

Сивоок дернул женщину за руку, грубо сказал:

— Айда!

Они быстро спускались вниз. Никто не спросил, куда Сивоок идет, никто не остановил его. Возле осла у них возник спор. Сивоок намерился идти пешком, она уступала ему осла, готова была ради своего любовника шагать через весь Константинополь.

— Поезжай сама,— сказал Сивоок.

— А я хочу, чтобы ехал ты.

— Поезжай, а то осел прислушивается.

— Ты темный варвар,— засмеялась она.

— Поезжай, а то убью!— подошел к ней Сивоок с угрожающим видом.

— Не боюсь тебя, медведь, буйвол, дикий конь!— Глаза у нее засверкали, скрытый огонь вырвался наружу, она пылала теперь вся, но Сивоок твердо взял ее за плечи, подвел к ослу и силком посадил.

— Поезжай. Пойду следом.

— Словно раб!— засмеялась она.— Мой русский раб!

— Поезжай!— в последний раз прикрикнул он, и осел, разбиравшийся в людском гневе лучше, чем его хозяйка, рванул с места и пошел рысцой подальше от разъяренного человека, а Сивоок, немного переждав, пока уляжется в его душе вспышка гнева, двинулся следом, стараясь быть в отдалении от женщины; но осел уже почувствовал, что человек смягчился душою, и потому, видимо, начал постепенно замедлять ход, и,

как Сивоок ни старался отставать, осел двигался медленнее и медленнее, хитрость человека была сведена на нет, осел все-таки перехитрил его, и уже шли они рядом — осел и человек, потому что так хотелось хозяйке осла, этой женщине, теплой и мягкой, как это чувствовал осел своей спиною,— такая ноша была приятной для осла, не то что твердый, как кость, мужчина; смышленый осел желал угодить женщине, для этого у него был один лишь способ — идти медленно и тем самым заставить мужчину догнать их. И осел достиг своего: мужчина, сам того не желая, уже рядом, а женщина, наклонившись в его сторону, говорит ему приглушенно-ласковым голосом:

— Меня зовут Зеновия.

— Все равно!— буркнул Сивоок.

— Знаешь ли ты, кто так назывался?— спрашивает Зеновия.

— Все равно кто,— отмахивается Сивоок.

— В древние времена такое имя носила царица Пальмиры. Она никому не покорялась и выступала даже против всемогущего римского императора.

— И что?— насмешливо смотрит на нее Сивоок.— Может, скажешь, что твоя Зеновия победила римского императора? Но тогда она должна была бы называться Клеопатрой.

— Не слишком ли много для тебя еще и Клеопатры, темный варвар!— воскликнула она с напускным гневом.

— Может, и маловато.

— Знай же: женщина, даже побежденная, страшна. Когда император Аврелиан взял Зеновию в плен и повез в Рим, чтобы показать в столице, то вынужден был заковать ее не в обыкновенные, а в золотые цепи. Так и прошла Зеновия по Риму в императорском триумфе, закованная в золотые цепи. Чей же это был триумф, как ты думаешь, мой медведь?

Но вопрос ее прозвучал в пустоту: Сивоока уже не было рядом с ней. Даже осел не услышал, когда человек исчез. Слово «триумф» толкнуло Сивоока в грудь: он вспомнил пережитое им унижение, вспомнил ромейское чванство и жестокость, вспомнил тесный Амастрианский форум; все отступило перед этим воспоминанием, все стало мелким и жалким, лишенным какого бы то ни было смысла: и эта распутная женщина, и ее осел, и работа, которую он бросил, не дождавшись вечера, и Агапит, который где-то, наверное, беснуется от ярости, узнав о поступке Сивоока. Он сам не знал, что должен сейчас делать, куда податься, хоть бейся головой о стены, хоть прыгай в море, хоть живым ложись в землю,— невыносимое

воспоминание о жестоком унижении, которому подвергался Сивоок, гнало его все дальше от того места, где он услышал ненавистное слово «триумф». Что-то кричала ему вдогонку удивленная Зеновия, пыталась гнаться за ним, но осел, спокойно рассудив, что мужчине необходимо одиночество, раз он так внезапно дал деру от его хозяйки, не поддавался ни на какие понукания, дал возможность мужчине и вовсе скрыться с глаз; разъяренная Зеновия соскочила с осла и попыталась было броситься вдогонку за Сивооком, но запуталась в своей длинной одежде, с проклятьями вернулась назад, снова села на осла и дернула за повод, направляя его домой.

А Сивоок, убегая от видений давнего позора, попал прямо на глаза оторопевшего от ярости, забрызганного слюной Агапита, у которого из-под носа была украдена первая и самая лучшая любовница, а вместе с нею и самый одаренный умелец. И это в то время, когда он получил от самого патриарха две тавлии на праздничный скарамангий. Одна тавлия — парчовая, с вышитым по ней круглыми жемчужинами образом богородицы Влахернской с поднятыми в молитве руками, а другая — перегородчатая на золоте эмаль с изображением креста; тавлии эти были вознаграждением за служение Агапита святой церкви своим строительством и украшением святых обителей; к тавлиям приложен был еще и значительный апокомбий, но все эти вознаграждения показались Агапиту ничего не стоящими, когда он обнаружил, что во время его отсутствия у него похитили самое ценное и дорогое.

— В конце концов,— закричал он, брызгая слюной,— я отдал за тебя золота больше, чем в тебе требухи! Но!.. Ты думаешь, вонючий болгарин, или кто ты там есть, что я буду терпеть твою неверность?! Твое прелюбодеяние? Нет, не-ет! Я сегодня же отдам тебя палачам епарха! Пускай они отрубят всю нижнюю часть твоего тела и бросят ее собакам, сожгут, развеют пеплом! Ну? Чего молчишь? Отвечай, проклятый антропос!

Сивоок стоял напротив Агапита, нависал над ним, более высокий и грузный, чем сам ромей, и как-то снисходительно посматривал на него.

— В конце концов!— затопал ногами Агапит, и голос его сорвался на бараний рев.— Ты ответишь наконец! Ты должен мне ответить за все твое проклятое прелюбодейство!

— Человек может творить разные грехи,— сказал со спокойной ненавистью Сивоок,— он может богохульствовать, врать, кривить душой, красть, убивать, но грех прелюбодеяния

так велик, что творить его одному не под силу, нужна еще женщина...

— Ты!— заревел Агапит.— Я отдам тебя, я... Я загоню тебя... Ты будешь у меня!.. На остров!.. Вот!! Я покажу тебе! На остров!..

Об этом острове тогда никто еще, наверное, и не знал, Агапит тоже услышал об острове впервые от патриарха, когда тот дарил ему тавлии с апокомбием, или же от сакеллария — речь шла о сооружении на далеком острове, заселенном то ли агарянами, то ли вообще каким-то разноязыким людом, уединенного монастыря; быть может, именно потому и поддабривался патриарх к Агапиту, ибо кому же хотелось бы бросать полный развлечений и наслаждений Константинополь и отправляться в далекое море, на забытый богом и людьми остров, у которого не было, кажется, ни названия, ни божьего благословения.

— На остров!— в последний раз прокричал Агапит и исчез.

И уже не видел его Сивоок ни в тот день, ни тогда, когда садился на диеру[1] в Золотом Роге; старшим на остров был послан Гиерон, надоевший Агапиту своей книжностью и задумчивостью, из-за которой губил любую порученную ему работу: смальта переваривалась у него; раствор под мозаики затвердевал, пока Гиерон вспоминал, что нужно класть его на стену; фрески оставались недорисованными. Однако Гиерон был ромеем, и потому он и назначался старшим и над Сивооком, и над всеми другими, кому выпал тяжкий жребий, а все повеления свои Агапит передавал им через Мищилу, который ухитрился настолько войти в доверие к хозяину, что оставался теперь в Константинополе, в сущности, первым помощником Агапита.

Где-то в Киеве у Мищилы был отец-торговец. После смерти отца Мищило не занялся торговлей, а поскорее бросился прожигать отцовское добро. Промотал он его довольно быстро, и, когда уже ничего не оставалось, он, чтобы не подохнуть с голоду, потому что не приспособлен был ни к какой работе, поехал в Византию, намереваясь прокормиться хотя бы возле иноков или еще каким-либо образом. Там охотно принимали таких добровольных предателей и беглецов, их терпеливо, будто цирковых зверей, дрессировали и обучали, чтобы впоследствии они возвращались к себе домой и везли дух христи-

[1] Диера — морское судно с двумя рядами гребцов.

анства. Но Мищило своевременно сообразил, как это будет хорошо, когда привезет он с собой не один лишь дух церковных канонов, а еще и драгоценное искусство, которое обеспечило бы ему благосклонность властелинов. Поэтому он поставил своей целью пробраться к антропосам Агапита и достичь своего, несмотря на все трудности и собственную бездарность.

Когда у Агапита появился Сивоок, Мищило не на шутку испугался. Он завидовал своему единоземцу, ненавидел его, пакостил как только мог, ловил на мелочах, а уж случая с Зеновией не мог пропустить и первым побежал к Агапиту в тот день, когда Зеновия приехала за Сивооком, не прячась от людей.

Сивоок удивлялся непостижимому христианскому богу. Ибо если уж тот берет себе в прислужники такую заплесневевшую нечисть, как Мищило, то что же это за бог! Быть может, он сам — такая же дрянь, да простят меня мои предки!

Сивоок сидел на диере, отвернувшись от берега, от Константинополя, от Мищилы, который пришел провожать их еще с кем-то там, век бы не видеть ни этого проклятого города, ни людей, которые не стали ему ближе за годы, проведенные здесь. Вот Гиерон — прекрасный человек, но он едет вместе с ним; еще был обез Дамиан, великий мастер варить разноцветные смальты и жарить баранье мясо; плыли на остров еще десятка полтора Агапитовых антропосов, все огромные, с неукротимой силой в руках и во взглядах, а среди них — маленький, высохший, как финик, игумен-эремит[1], который, кажется, должен был следить за строительством монастыря, чтобы собрать потом в нем охочую к уединенной жизни братию.

Собственно, несколько монахов там уже было, имели они и свой евктирий[2], слепленный кое-как из неотесанных камней, но рыбаки, жившие на острове с давних пор, относились к святым отцам довольно враждебно, каждый раз забрасывали иноков камнями, как только они где-нибудь появлялись, неоднократно даже разрушали и евктирий,— видимо, рыбаки считали, что тем самым они создают невыносимые условия для иноков; но получалось наоборот — ибо разве может испугаться испытаний тот, кто решил посвятить свою жизнь служению богу? К тому же и игумен, которого звали Симеоном, призывал к твердости и непоколебимости, обещая поставить на ост-

[1] Эремит — отшельник, нелюдим.
[2] Евктирий — молельня.

рове настоящую обитель, которая прославится своей мощью и святостью на всю округу.

До прибытия на остров Симеон много лет был игуменом одного из самых больших константинопольских монастырей. Считался он наставником деятельным и суровым. Монастырь богател и разрастался, Симеон держался с братией довольно круто. Это еще полбеды, что он требовал послушания почти невероятного, ни один инок не мог даже воды напиться без дозволения духовного отца. Всячески попирал достоинство своих подопечных, да уже не просто человеческое, они ведь были почти начисто лишены всего человеческого в обычном смысле слова, но добирался и до душевных святынь. Так, например, однажды на трапезе у игумена были светские гости, одному из которых подали жареных голубей. Кто-то из иноков осуждающе взглянул на это блюдо, игумен заметил его взгляд, швырнул иноку жареного голубя и заставил есть. Мясная пища в монастыре считалась греховной, но еще большим грехом было бы непослушание, поэтому инок, со слезами на глазах, начал жевать ненавистную птицу, и тогда, когда демоны искушения разрывали ему нутро и он готов уже был проглотить первый соблазнительный кусок, Симеон закричал изо всех сил: «Довольно, выплюнь все, обжора! Ибо не хватит голубей всего Константинополя, чтобы насытить твое чрево!»

Потом Симеон решил ввести в монастыре культ своего духовного отца, блаженного монаха, у которого некогда учился. Он написал его житие, сложил гимны в честь его, велел нарисовать множество икон, установил два ежегодных праздника в честь нового святого и до такой степени измучил иноков новыми и новыми выдумками, что они, при всей своей покорности и терпеливости, все же возмутились и восстали против игумена. Во время утренней службы, когда игумен начал читать катехизис, иноки разорвали на себе одежды, со страшным криком бросились на Симеона, угрожая растерзать его; игумен едва успел спрятаться в ризнице, тогда иноки взломали запоры монастырских ворот, помчались в Софию, где силой прорвались к патриарху и начали жаловаться, но патриарх, конечно, встал на сторону игумена; иноков сурово покарали, однако и Симеону после этого пришлось покинуть Константинополь. Так очутился он на острове.

Остров так и назывался: Пелагос, то есть остров, кое-кто называл его еще и Пилы, что означало — ворота, хотя, кажется, никакими воротами он не служил, не закрывал никакой проход, лежал в открытом море, вдали от привычных путей,

одинокий и дикий. И если согласиться с утверждением, что бог создал мир, то этот остров должен был появиться в конце третьего дня творения, когда разделялись суша и море, и бог использовал это место для того, чтобы сбросить сюда все камни, которые не поместились на суше; здесь были камни черные и серые, розовые и белые, были острые и колючие, будто зубы невиданных хищников, были похожие на поднебесные соборы, на гигантские столы, за которыми, быть может, засядут черные ангелы в день страшного суда; огромные глыбы камней громоздились прямо из морской воды, повсюду нависали смертельной угрозой над каждым, кто отваживался сунуться в это каменное царство; одни камни были криком раскаленной солнцем земли, другие — болезненным стоном разбиваемого об острые скалы моря, а третьи — зловещим, таинственным молчанием... Все было напрасно среди этих камней: зеленые растения, журчащие ручьи, людская речь. Да и не росло на острове ничего. Только смоковницы цеплялись своими корнями в малейшую щель среди камней да одиноко возвышалось гранатовое деревцо, кажется начисто лишенное листьев и на протяжении всего года покрытое одновременно и плодами и чарующей красоты цветами,— удивительная прихоть природы, созданная словно бы в противовес мертвому камню. А вода выступала в двух местах, будто чьи-то слезы,— возможно даже, это слезились сами камни, такая мертвая неподвижность была в этой воде. Что же касается людей, то, подавленные камнями, они и не осмеливались произнести хотя бы слово за день, а если все же произносили, то почти неслышно, так, что можно было угадать значение их по движению губ; в большинстве же довольствовались простыми жестами, ибо и сама жизнь была здесь простой и не требовала сложностей, для улаживания которых, собственно, и создано ведь слово.

Рыбацкий поселок тоже был — сплошной камень. Серые домики, неизвестно кем и когда поставленные, плотно прижавшиеся один к другому: чтобы погладить дочь соседа по плечу, достаточно было протянуть лишь руку; к морю домики обращены были глухими стенами. Узкая улочка спускалась из поселка вниз, к окруженной высокими отвесными скалами бухте, где хранятся рыбацкие челны, длинные, черные, очень древние, невесть как и сделанные, словно бы подаренные рыбакам чуть ли не самим богом, ибо никто не слыхал, что на острове когда бы то ни было росло хотя бы одно дерево, пригодное для изготовления челна; никто также не помнил, чтобы когда-нибудь появился здесь новый челн; челны суще-

ствовали всегда, они были вечны, как остров, количество их не увеличивалось, но и не уменьшалось; если кто-нибудь из рыбаков погибал далеко в море, то волны со временем пригоняли перевернутый челн к берегу, люди ловили его, и он продолжал служить новым поколениям. Так между людьми и морем установился постоянно действующий обмен; время от времени люди отдавали в жертву морю чью-то жизнь, и море, удовлетворившись ненадолго, возвращало людям их челн, давало рыбу для еды и водоросли для подстилок в хижины и для одежды.

Не было здесь богов, потому что первейшей святыней для людей становились камень и море, а потом уж — челны; из живых существ здесь чтили только рыбу, о ней слагались гимны, песни, рыбам поклонялись, их вытесывали из камня и ставили вдоль моря, будто указатели для направления ветров, которые должны были пригонять к острову косяки рыб живых; между ветрами и рыбой существовала естественная мистической силы связь, поэтому ветры тоже уважались, а еще в почете были дожди, которые наполняли сладкой мягкой водой вместительные чаши, вырубленные людьми в камнях.

Если бы не дикость и суровость (а может, именно благодаря им), остров мог бы быть причислен к живописнейшим уголкам мира. Даже больше: остров без колебания нужно было бы назвать красивейшим в мире,— по крайней мере, так считали рыбаки, и следует признать их правоту, ибо мир для них ограничивался только островом. Иного они не знали.

Казалось бы, антропосы Агапита, заброшенные в каменное одиночество, должны были бы искать защиты в согласии между собой. Но оказалось, что камень делает людей твердыми и разобщает их тем больше, чем дольше они здесь живут.

— Дружба?— потрясал своим посохом маленький игумен Симеон.— Жажда к болтовне и совокупному обжорству, от которого человек становится свиньей!

В своей душевной очерствелости и ненависти ко всему живому он готов был даже кормить тут людей камнем, если бы только это было в его силах. Монастырь представлялся ему не вознесенным над островом под небеса, а углубленным в каменные недра. Игумен отверг и то, что предложил Гиерон, и то, что передал Агапит, и то, что советовал обез Дамиан; тогда за дело взялся Сивоок, он вспомнил дерево, живое, теплое, доверчивое дерево своей родной земли, он подумал, что можно было бы сооружать монастырские строения из камня, в то же время считая, будто строишь из дерева. Никто не мог раз-

гадать этот замысел Сивоока, даже персы и сирийцы, на что уж привычны были к строительству под землей; они только пожимали плечами, когда их заставляли вгрызаться в глубь острова. Они привыкли из малейшего строения получать пользу, в их землях, скупых на воду, подземелья приспосабливали прежде всего для водоводов, царские дворцы, святилища сооружались всегда так, что под ними пропускалась целая река или, по крайней мере, ручеек или подземный ключ, лишь где-то в слепых закоулках подземелий строились каменные мешки для опасных государственных узников, но это не было главной целью строительства; тут же игумену взбрело в голову ставить монастырь словно бы на сплошной каменной тюрьме, или же, быть может, хотел он все загнать в глубину: келии иноков, трапезную, кладовые, только церковь должна была немного возвышаться над запутанными катакомбами; но и церковь по своему виду выходила за пределы привычных представлений — в противовес суровости и аскетизму загнанного в камень монастыря, она представлялась Сивооку легкой, красивой, словно писанка[1], вся в каменных узорах, как это обычно делалось на деревянных церквах в его краю. Там углублялись в теплый материк, а сверху ставили сооружение из дерева, состязаясь с самой природой в выделке узоров. Там не было суровости камня, дерево объединяло людей. Сивооку захотелось перенести в камень душу дерева, пигде больше ему этого никто б не разрешил, а тут все складывалось благоприятно: чудаковатый игумен, отсутствие Агапита, каменная пустынность острова, требовавшая украшения,— быть может, не столько для суровых иноческих душ, сколько для бога, которому они согласились здесь служить.

Быть может, это была хитрость Сивоока, быть может, хотел он возвести святыню, похожую на сожженный князем Владимиром языческий неповторимый храм в Радогосте, каменный намек на далекое прошлое, утраченное, наверное, навсегда, напомнить самому себе про землю, которую топтал детскими еще ногами, землю иногда и суровую, холодную; но все невзгоды теперь были забыты, вспоминалась она всегда теплой, мягкой, ласковой, снилась по ночам, грезилась в приморской мгле, в раскаленном мареве над камнями; он чаще стал петь свои русские песни, вызывая удивление ромеев, понимал, что тоска по родной земле вызвана одиночеством, от которого здесь все страдали, но спастись от которого никто не

[1] Писанка — расписанное пасхальное яйцо.

мог, и даже хуже — каждый становился все большим нелюдимом.

Подобно своим товарищам, Сивоок часто бродил по пустынному острову, слонялся вдоль моря, обдумывая свой углубленный в камень монастырь и узорчатый храм над ним, украшенный мозаикой двух основных цветов: зеленого и синего — цвет моря и неба, цвет двух стихий, в поединке с которыми жил остров; мозаическую композицию утвердил сам игумен, для него искусство не значило ничего, он действовал в твердом убеждении, что ту или иную композицию требует не он, бедный и ничтожный червь, рекомый Симеоном, а всемогущий бог. Но тут Сивоок имел уже свое мнение, свои намерения, в нем, как всегда перед началом работы, рождалось непоколебимое упорство, он ходил вдоль берега моря, подсознательно подбирал новые и новые оттенки зеленого, синего, голубого, грезился ему цвет травянистый, хотя ни одной травинки не было среди камней; высвечивалась из предвечерних глубин моря лазурь, холодная зеленоватость мягких мхов приходила на смену серокаменному цвету, затоплявшему остров, будто мягкий дым; он ощущал в себе удивительную силу: вот, собрав все краски моря и неба, он выплеснет их на вознесенный над островом камень — и камень оживет, засверкает, в него вселится душа, как в зеленое дерево, совершится чудо, которого не смог осуществить сам всевышний в день творения,— столь могуч художник! Так славься же умение художника, с которым ничто в мире не сравнится никогда!

В своих странствиях Сивоок неожиданно натолкнулся на девушку. Увидел ее сначала издалека. Она ходила вдоль тех же обрывов, что и он, точно так же спускалась к воде, взбиралась на отвесные скалы, видимо занятая каким-то делом (ее намерения не могли совпадать или хотя бы перекрещиваться с намерениями Сивоока), промелькнула перед ним и исчезла, а он не стал ни догонять ее, ни ждать возвращения; но вскоре случилось так, что встретил он девушку в тех же самых местах и не мог уже избежать встречи с нею, их тропинки все же пересеклись, они встретились у самой воды, возле увлажненной дыханием моря серой скалы; встреча должна была походить на встречу Одиссея и Навсикаи, но девушка не протянула навстречу ему рук, она прошла мимо Сивоока, словно он был одним из множества камней, она шла, будто слепая, ступала осторожно и медленно, потом снова, как слепая, простерла руки к морю, глубоко вздохнула и тихо произнесла:

— Ис-са!

На ней было совсем мало одежды: грубо сплетенный из морских выбеленных водорослей мешок, державшийся у нее на одном плече; голорукая, голоногая, тонкая, с длинной шеей, с сухой тонкой спиной, которая угадывалась даже под широким травяным мешком, черные волосы волнисто опускались на плечи, грязное, наверное никогда не мытое, лицо, трудно даже сказать — красивое или дурное, грязные руки, еще более грязные, в струпьях и ранах, ноги, на которых девушка не имела даже деревянных сандалий, чтобы защитить их от ударов о камни.

— Здравствуй!— сказал ей Сивоок.— Кто ты такая?

— Ис-са!— не слушая его, продолжала шептать девушка.

Он подошел к ней, прикоснулся к руке:

— Кто ты?

— Ис-са,— сказала она, обращаясь к морю, потом взглянула на Сивоока, улыбнулась то ли ему, то ли самой себе, то ли камням под ногами, ибо улыбку свою сопроводила каким-то болезненно-покорным наклоном головы.

— Хотя бы умылась,— в шутку сказал Сивоок,— море у ног, а ноги грязные. Как не стыдно? Девка ведь!

— Ис-са!— сказала девушка, не переставая улыбаться.

— Да ты что: не в своем уме, что ли?

Сивоок подошел к ней ближе. Будь он богомольным, нужно было б сотворить молитву, потому что в девушку явно вселились дьяволы, раз она молчит. Так-то оно так, а что же тогда можно сказать об игумене и его иноках, от которых тоже никогда не дождешься слова, разве лишь им захочется выбранить тебя?

— Ну ладно,— мирно сказал Сивоок,— раз не хочешь умываться, дело твое. Ступай себе, а я малость искупаюсь.

— Ис-са!— прошептала девушка и полезла в гору на раскаленные камни.

Через неделю встреча повторилась. Был праздник середины Пятидесятницы, день, когда за работу приниматься грех, зато не грех было Сивооку лежать у своей скалы, погрузив ноги в ласковую воду, смотреть на небо и спокойно думать. Собственно, он и не думал ни о чем. Иногда окружающая пустыня вызывает точно такую же пустоту и в тебе самом. Просто он испытывал удовольствие от неподвижного лежания, от игры волн, от тишины, от мыслей о том, что в тени под камнем лежит хорошая краюха ячменного хлеба и кувшин с красным вином — вещи, о которых Одиссей не мог и мечтать, когда был выброшен на берег к ногам феакской царевны. Потом

Сивоок заметил легкую тень, упавшую на него, тень передвинулась немного, остановилась у него на лице, снова передвинулась чуть-чуть, он скосил глаза и увидел девушку.

— Ты снова тут?— сказал Сивоок.— Не иначе, я захватил твое место?

— Ис-са! — сказала девушка. Но обращена она была лицом не к морю, а к тому затененному камню, у которого лежал хлеб и стоял кувшин с вином.

— Ты, может, голодна?— догадался Сивоок, хорошо зная, что рыбаки на острове не только не имеют хлеба, но, кажется, даже не представляют, что это такое. Он ползком дотянулся до камня, взял хлеб и подал его девушке:— Бери ешь!

Отломил и для себя кусочек, бросил в рот, принялся жевать, чтобы показать ей, как надо делать. Но девушка, наверное, знала, что такое хлеб, потому что не стала присматриваться к жестам Сивоока, а поскорее вонзила в краюху ослепительно белые зубы и, пугливо поглядывая на него, стала есть быстро и жадно.

Сивоок ждал, пока она утолит голод. С хлебом было покончено в один миг.

— Плохи же твои дела,— сказал он,— видать, не сладко живется тебе на острове.

— Ис-са!— покорно улыбаясь, промолвила девушка. Кажется, она больше ничего и не умела говорить. Немая или безумная?

— Где ты живешь?— спросил Сивоок.

Она, молча глядя на него, снова стала улыбаться. И такая боль была в ее улыбке, что слезы выступили у Сивоока на глазах.

— Вот горе,— пробормотал он.— Что же мне с тобою делать? Может, ты заблудилась? Давай я отведу тебя туда, где люди!

Она без сопротивления дала повести себя, несколько раз произнося свое загадочное «Ис-са!», шла за Сивооком, в селении не отступала от него ни на шаг; они ходили от хижины к хижине, ходили среди людей, заточенных камнем, людей твердых и серых, как камень; люди неохотно откликались на расспросы Сивоока, равнодушно посматривали на девушку, никто ее не признавал своей, никому она здесь не была нужна, никто не показал ее пристанища, а сама она тоже его не знала, а может, и не имела вовсе; из отдельных слов и обрывочных намеков Сивоок наконец сложил себе кое-какую историю этой девушки. Напоминала она историю его собственного детства:

точно так же исчезли где-то, наверное в море, ее отец и мать (как исчезли они когда-то и у него), точно так же оказалась одинокой среди жестокой жизни, точно так же, видно, не имела имени, блуждала тяжело и долго, и никто не протянул ей руку. В этой истории не хватало начала, да, собственно, самой истории тоже не было, Сивоок выдумал ее сам, ему хотелось найти в мире еще одну судьбу, похожую на его собственную; наконец он не чувствовал себя одиноким, мог стать спасителем для этой несчастной, тем самым словно бы спасая и самого себя.

— Раз ты ничья,— сказал он девушке,— так, может, пойдем к нашим? Там у нас добрые люди.

— Ис-са,— сказала девушка.

— Буду звать Иссой, ладно?

— Ис-са! — Она упорно не говорила больше ничего, хотя казалось маловероятным, чтобы она не знала никакого другого звука. Даже немые на большее способны.

— Пошли, что ли? — спросил Сивоок.

Снова, как и на берегу, она послушно пошла за ним. Когда некуда идти, человек всегда послушен.

Игумен Симеон встретил Иссу криком возмущения.

— Не позволю святотатства в божьем пристанище! — набросился он на Сивоока.— Ибо сказано же...

Исса с неизменной покорно-болезненной улыбкой смотрела на маленького старого человека в чрезмерно широком одеянии. Сивоок отстранил игумена широкой ладонью в сторону.

— Будет пристанище, когда построим,— сказал он Симеону,— а пока не вмешивайся. Пошли, Исса.

Он показал ей, как нужно умываться, помыл ей руки и ноги. Хотел дать ей что-нибудь из мужской одежды, но ничего не вышло. Гиерон посоветовал сшить для Иссы что-нибудь из паруса. Иноки плевались, увидев женщину на близком расстоянии. Симеон похвалялся отправить Сивоока в Константинополь на патриарший или императорский суд за произвол и непокорность. Но это были напрасные слова, поскольку весь монастырь, с его запутанными каменными катакомбами и будущим каменным собором, был в голове у Сивоока, больше никто здесь не мог бы быть старшим на этом строительстве, без Сивоока все б остановилось. Знал это и игумен, но не мог сдержаться в своей ненависти к приблудной девушке, которая угрожала внести беспокойство в уединенную жизнь иноков; он каждый день принародно бранил Сивоока за его греховные дела,чем немало раздражал того. Противно было слушать из

уст святого отца слова о том, о чем Сивоок никогда и не помышлял: для него Исса так и осталась несчастной девочкой, которую он встретил в темноте и должен был вывести на освещенный путь. Он терпеливо обучал ее всему простейшему, что необходимо человеку,— захотел услышать от нее хотя бы несколько слов, но не достигал в своих стараниях ничего, Исса знала лишь свою горькую улыбку с покорно наклоненной головой да еще непостижимое, протяженное, тихое, будто молитва, «Ис-са!». Чтобы не вызывать насмешек, Сивоок обращался к Иссе на своем родном языке. Тогда все равно никто ничего не понимал, и могли они думать, что девушка своим «Ис-са» отвечает на его слова. Потом он верно рассудил, что учить ее нужно с самого начала, так почему бы не попытаться и в самом деле обучить Иссу своему языку? Быть может, окажется он легче, быть может, ромейские звуки ненавистны девушке, ибо среди людей этого языка постигли ее все несчастья, о которых она не умеет рассказать. Так начал он создавать на каменном острове две странные и удивительные вещи: собор из каменных узоров и девичью душу в звуках своего далекого прекрасного языка, где хлеб называется житом, как жизнь, а вода имеет в себе нечто от вождения, ибо только попробуй пойти за водой, то уже и вернешься ли; свет же связан с бесконечностью мира, пронизывая его насквозь, а дружиной называют жену и вернейших стражей земных владык.

Трудно сказать, смогло бы дойти до сознания Иссы это богатство языка, при всем том, что девушка с течением времени научилась произносить слова, подсказываемые Сивооком, но повторяла их, видно, лишь бы отвязаться от своего назойливого учителя. Для нее полным глубокого скрытого значения осталось только ее «Ис-са!», она каждый раз убегала в свою каменную пустыню, блуждала там целыми днями голодная, снова покрывалась грязью, которая, как это ни странно, была ей к лицу. Сивоок вынужден был искать ее, приводить в свое пристанище, кормить, приносить воду, чинить изодранное в клочья одеяние Иссы; так продолжалось очень долго; девушка сопротивлялась, наверное, сильнее, чем твердый камень, но как резчик не отступает даже перед самым твердым гранитом, так и Сивоок, решившись возвратить Иссу в жизнь, не жалел ни усилий, ни терпенья, ни внимания, но неизвестно, удалось бы ему настоять на своем, если бы события не изменили вдруг неторопливое, однообразное течение жизни.

Из Константинополя раз в месяц, а иногда и реже приплывал корабль с едой и всем необходимым для продолжения ра-

бот; для Гиерона каждый раз привозили новую книгу, взамен которой он отправлял назад ту, которую уже имел; он умел выменивать нужные ему книги, даже находясь вдали от столицы: где-то в монастырских книгохранилищах у него были хорошие товарищи; иногда он давал некоторые книги и Сивооку, а чаще всего рассказывал о прочитанном своим антропосам. Однажды Сивоок попытался привести на такую беседу и Иссу, но антропосы зарычали, как тигры, они боялись женского тела, эта девушка пробуждала в них воспоминания о столице, о тайных наслаждениях, о диких оргиях, когда уходило с дымом все заработанное за долгие месяцы тяжелого труда у Агапита, тут об этом не следовало и вспоминать. Девушка же, хотя и одетая в грубую парусину, прикрывавшую в ней все женское, все же была девушкой, женщиной прежде всего, только прядь волос, длинных и волнистых, упадет ей на плечо — и уже она женщина, уже соблазн. Так разве же не лучше не видеть ее вовсе, не вспоминать так, как это делают святые отцы? Антропосы загалдели, задвигались с угрозой, Гиерон умолк, и Сивооку стал ясно, что для Иссы тут не место. Он подал ей руку и увел ее подальше, не пытаясь больше рисковать.

Пришла весть о смерти императора Василия, который прожил отмеренное богом. Теперь единственным императором ромеев был Константин, бывший на два года моложе своего воинственного брата, и если Василий исчерпал себя в войнах и походах, то, как говорили по секрету, Константин ровно столько же потратил в гульбищах, и уже занесен над ним, как над Иродом, божий меч, и трудно сказать, надолго ли он переживет своего старшего братца.

Но островитян теперь не волновало то, что происходило в столице. Им было все равно — два императора или один. Умер ли там кто-то своей смертью, или ему помогли, ибо редко кто из византийских императоров отдавал богу душу без посторонней помощи.

Кажется, единственным преимуществом для антропосов, очутившихся на острове, была их полная независимость от столицы и от Агапита, о котором они стали даже забывать.

Но вот дромона[1] привезла от Агапита харатью[2] к игумену и Гиерону с суровым повелением немедленно отправить в Константинополь руса Сивоока, несмотря на все его упорство и

[1] Дромона — большой корабль, чаще всего — военный.
[2] Харатья — записка на пергаменте, лист пергамента.

несмотря на величайшую потребность в нем на острове, ибо присутствия этого варвара в столице требуют царственные интересы. Харатья была загадочной для игумена и для всех антропосов, но не очень волновала Сивоока: один переход через море — и он узнает обо всем. Жаль было, правда, расставаться с незавершенной своей каменной мечтой, только теперь он понял, как тяжело здесь жить его товарищам, но и недостроенный монастырь, и антропосы, и каменные нагромождения не имели такого значения в последний день пребывания его на острове, как Исса. Он вдруг увидел и осознал, что не может бросить девушку здесь снова в каменном одиночестве; она тоже, наверное, знала, что погибнет уже окончательно без этого доброго человека со сверкающей бородой и мглистыми загадочными глазами. Все дни молчала, не произносила даже свое «Ис-са», лишь улыбалась горько с покорно наклоненной головой, ни разу не пробовала убежать, не отходила от Сивоока, казалось даже, тянется к нему в поисках защиты.

— Поедешь со мной? — спросил однажды Сивоок.— В Константинополь.

Она молча улыбалась.

— Там тебе будет лучше,— сказал Сивоок.— Константинополь — большой город. Я куплю для тебя хорошую одежду, у тебя будут украшения, будешь жить в доме, будешь слушать звон колоколов, увидишь ипподром.

Она послушно пошла за ним на дромону. Игумен Симеон плевался и посылал анафемы на Сивоока. Гребцы, считая плохой приметой пребывание женщины на корабле, начали кричать Сивооку, чтобы он оставил свою «нечесаную козу» на берегу. Исса испуганно дрожала, прижималась к Сивооку, тот молча прошел к своему месту на носу дромоны и крикнул:

— Кто прикоснется к ней хоть пальцем, тому голову снесу!

Если бы не высочайшее повеление немедленно доставить варвара в столицу, с ним не стали бы цацкаться, а так приходилось закрывать глаза на его капризы.

Однако, как только дромона отчалила от берега и закачалась на волнах, как только полоса воды, отделявшая корабль от острова, стала разрастаться,— Исса кинулась к одному борту, другому, испуганно заметалась по судну, побежала к корме, которая была все-таки ближе к берегу, чем нос. Сивоок попытался ее задержать, но она выскользнула у него из рук, он догнал ее только на корме в тот миг, когда девушка чуть было не ринулась в воду.

— Ты чего? — грубо крикнул он, с трудом удерживая ее. А она молча вырывалась из его рук, тяжело дышала, волосы у нее разметались, закрыли лицо, лишь один глаз поблескивал сквозь пряди черных волос, и в этом глазу было полно ненависти, ненависти тяжкой, необъяснимой,— то ли к морю, то ли к кораблю, то ли к нему, Сивооку.

Но нет, она не видела Сивоока, не узнавала его,— наверное, все для нее сосредоточилось в стремлении во что бы то ни стало покинуть дромону и либо утонуть, либо добраться на свой остров; но гребцы дружно налегли на весла, корабль отплывал все дальше и дальше от каменного берега, прыгать в море было бы не совсем безопасно даже хорошему пловцу, а об Иссе же Сивоок даже не знал, умеет она плавать или сразу же пойдет на дно, как только окажется за бортом, поэтому он не стал нянчиться с непокорной, сгреб ее в охапку, отнес назад, туда, где было отведено им место, усадил на скамью, сам сел рядом, чтобы успокоить ее хоть малость; она еще немного порывалась бежать, потом, видно исчерпав все силы, затихла, прижалась к Сивооку, теперь он не мог оторвать ее от себя, она боялась оставить его хотя бы на мгновенье, словно бы приросла к нему; внезапно — впервые с момента их знакомства — открылось ему, что это женщина, он понял, что сближает его с Иссой не просто жалость, необычное сочувствие людское, а, наверное, прежде всего — нежность. Он долго шел к этому открытию, не всегда и не каждый может признаться себе в нежности к кому-то, но вот рядом с ним была прекрасная, испуганная, единственная в мире девушка, для которой он тоже был теперь единственным после того, как отнял у нее ее каменный остров. Наступила уже ночь, сменялись гребцы, дромона медленно продвигалась во тьме по путям, обозначенным одними лишь звездами, а эти двое, брошенные морем друг к другу, сидели, тесно прижавшись; Сивоок с испугом прислушивался к тому, как в нем пробуждается неугомонное и неудержимое, из-за чего боялся шевельнуться, а Исса, наверное, вовсе и не ведала того. До сих пор еще блуждал в ее теле ужас перед стихией, защита была лишь в этом сильном человеке, она искала спасения непроизвольно, каждый новый удар воды о борт дромоны толкал Иссу ближе и ближе к Сивооку; теперь уже обоим отступать было некуда, и в темном стоне, в счастливых слезах, в притаенном смехе они соединились между собой, и только тогда ушел от Иссы страх, вызванный морем.

В Золотом Роге, на пристани, дромону встречал сам Агапит с несколькими своими антропосами, среди которых выделялся

и Мищило. В голубом скиадии, обшитом жемчугами, в голубом же хитоне поверх тонкого шелкового дивитисия, в красных чагах, с дорогой золотой гривной на шее (с крылатыми грифонами на концах) — в самом ли деле это был Мищило, или это его двойник?

А с дромоны сходил ободранный, еще сильнее заросший светлой золотистой бородой Сивоок, да еще и вел за собой какое-то неистовое существо, увидев которое все стоявшие на берегу закрестились, бормоча молитвы. Мищило сплюнул, Агапит же нахмурился, наверное вспомнив Зеновию, о которой, собственно, уже давно забыл, сменив за эти годы множество своих любовниц, но снова проснулась в его душе обида на руса, который когда-то из-под носа сумел перехватить такую лакомую женщину. И вот теперь, когда он, Агапит, стал и вовсе старым человеком, Сивоок еще только входит в силу, варварская мощь дико бурлит у него в жилах, и вот он вывозит себе девку даже с проклятого богом острова. Агапит нахмурил брови, недовольно махнул рукой.

— Антропос! — вместо приветствия крикнул он навстречу Сивооку.— Мы звали тебя сюда одного, а ты привез еще какую-то, в конце концов...

— Это моя жена,— не дал ему закончить Сивоок.— Поклонись, Исса, нашему Агапиту.

И — о чудо! — Исса покорно склонила голову и улыбнулась горестно и ласково, и старый Агапит смягчился душой от этой улыбки, а может, тут причиной было что-нибудь иное, потому что еще никогда не был Сивоок в объятиях у своего повелителя, а тут вдруг оказался. Иссу же Агапит, со всей возможной для толстого туловища грациозностью, одарил учтивым поклоном, добродушно хлопнул Сивоока по плечу, отправляя его здороваться с теми, кого давно не видел. И каждый протянул Сивооку правую руку, показывая в знак приязни открытую ладонь; лишь Мищило подал руку согнутой, словно бы для поцелуя. Сивоок посмотрел на него с удивлением, Мищило горделиво раздувал ноздри, тут что-то, видимо, произошло за эти годы, но Сивоока это мало интересовало,— сделав вид, что он ничего не заметил, Сивоок вывернул ладонь Мищилы, пожал ему руку, как единоземец единоземцу, и снова возвратился к Агапиту.

— Позвал меня, а там еще много работы.

— Ждет тебя новая работа,— солидно молвил Агапит, и уже стоял рядом с ним Мищило, тут в самом деле что-то произошло, антропосы остались антропосами, только кое-кто из них

состарился, а некоторые и вовсе не изменились, а вот с Мищилой что-то происходит: и одежда, и гривна дорогая, и рука, протянутая для поцелуя...

— Поедете на Русь,— продолжал Агапит,— князь Киевский зовет умельцев наших. Мищило будет старшим над вами.

— И я поеду? — забыв и про Мищилу, и про черта-дьявола, тихо спросил Сивоок.

— Для того тебя и вызвал.

— Исса, мы поедем на Русь! — крикнул Сивоок своей жене.— Слышишь? Мы поедем!

— Негоже везти в святой Киев поганых наложниц,— солидно промолвил Мищило.

— Не твое дело! — отрезал Сивоок.

— Я старший над вами всеми!

— И будешь старшим, а я сам по себе!

— Велю повиноваться.

— Токмо не мне!

— Антропосы! — развел руки Агапит.— Друзья! Зачем же пререкаться?

— Послы русские в Константинополе,— сказал Мищило,— на завтра все приглашены в Большой дворец, пред очи самого императора. Одеться должен как следует, чтобы не опозорить нашего звания.

— Одеться? — пробормотал Сивоок.— Да кто бы не хотел одеться, было бы лишь во что?

Исса стояла позади него и улыбалась горестно и пугливо.

— Сказано у Ксенофонта,— не унимался Сивоок, раздраженный чванливостью Мищилы,— хорошо одетые друзья — лучшее украшение мужчины. Ты же нарядился раньше сам, а теперь тычешь мне в нос моей ободранностью.

— Друзья мои,— прервал их снова Агапит,— зачем же препираться? Всем вам дарована одежда из царского вестиария...

— А свою наложницу одевай на свои деньги,— мстительно подбросил Мищило.

— Жена! — крикнул Сивоок.— Слышишь, Мищило, она мне жена!

— Имею христианское имя — Филагрий,— сказал важно Мищило,— так и зови меня.

— А я — Божидар,— засмеялся Сивоок,— от болгар имею, кроме Сивоока. Христианское тоже имею. Человек может иметь множество имен. И что же? Разве ценность его в именах? Делами только можно возвеличить себя иль опозорить.

— Зиждители храмов постоянно возвеличиваются перед богом,— сказал Агапит.

— Возвеличивают Агапита,— снова засмеялся Сивоок.

— Ошалел ты на острове,— вздохнул Мищило.

Но Агапит прикинулся, что не понял шпильки Сивоока.

— Повезете и на Русь мой помысел,— самодовольно сказал он Сивooку,— нашему другу Филагрию поведал я мысль, какой нужно возвести собор в Киеве, вы же должны слушаться его во всем, тем исполните мою волю, а награда же вам — от архонта Киевского.

Тот же самый разговор, только более спокойно и торжественно, состоялся на следующий день между антропосами и послами Киевского князя в ожидании приема во дворце.

Их посадили ждать в портике Августея, послы здесь были уже в третий раз, они уже преподнесли императору богатые дары от Киевского князя, или архонта, как его называли ромеи; теперь должен был состояться прием, последний перед отъездом послов вместе с мастерами на Русь. Послы изо всех сил старались казаться важными, расспрашивали ромеев о здоровье императора, ромеям любопытно было знать про Киев и про загадочного архонта в нем. Правда ли, что у него четыреста прислужниц? И что он никогда не сходит с престола? И даже естественную надобность справляет в чашу? А послы в свою очередь допытывались: своей ли смертью умер император Василий или же помогли ему? Ибо где же это слыхано, чтобы два брата да мирно делили престол? Рано или поздно станет брат против брата, об этом же и в Святом письме сказано... И правда ли, что император Константин настолько злоупотреблял женскими утехами, что теперь не может сесть на коня, а уж коли ему нужно это сделать, то поддерживают его с двух сторон евнухи, а по всем улицам, где должен проехать василевс, подбирают каждый камушек, чтобы не попал под ноги коню, не встряхнул священную особу, не причинил ей новых болей?

Потом послов позвали во дворец скилы, что рядом с Триклином Юстиниана. В Триклине, на возвышении, покрытом багряницами, был поставлен большой трон императора Феофила, василевса Константина провели на трон, по бокам расположились чины кувуклия, в соседнем зале заиграли два серебряных органа димов, живые картины задвигались, в Триклин Юстиниана ввели магистров, патрикиев, протоспафариев, чины входили один за другим, перед появлением новых чинов поднимался точно определенного цвета пышный занавес, старшие

шли впереди младших, за сенатом были чины гвардии, потом были допущены димы; все располагались в ряды и группы, подобранные по рангам и цветам одежды. Вот тут и начинался торжественный парад византийских обычаев, который должен был свидетельствовать о господствовании великой империи над всем миром, ибо наученные придерживаться порядка и последовательности в движениях и словах, в деле и искусстве тем самым приучаются к подражанию, а подражание ведет к устойчивости, послушанию, к закостенению. Известно же, что закостенение есть твердость. А что может быть лучшего для великой империи, чем твердость ее власти?

Русским послам, вошедшим в Триклин Юстиниана, открылась величественная и красочная композиция византийских вельмож, которые стояли вокруг императорского трона, будто восковые куклы, наряженные в богатые одежды; послов приветствовали, задали через препозита вопросы о здоровье и благополучии архонта Киевского Георгия, а также о здоровье послов, а также сообщили волю императора всех ромеев, после чего послы сели беседовать с василевсом, а все, кто их сопровождал, перешли в соседний зал; Сивоок, стесненный длинной, неудобной одеждой, шел рядом с Мищилой, который, казалось, рожден был для дворцовой роскоши, горделиво задирал свою редкобородую физиономию, пытался вытянуть короткую свою шею, чтобы увидеть как можно больше, а возможно, чтобы показать себя, хотя и без того он возвышался над всеми на целую голову; они с Сивооком были почти одного роста, только Сивоок был гармоничного сложения, а Мищило напоминал Агапита: короткие ноги, короткая шея клеветника, туловище такое длинное, что когда Мищиле приходилось садиться, он чувствовал себя страшно неловко, ему все время хотелось куда-то упрятать хоть часть своего туловища. В конце концов, не имеет значения, у кого какое тело; хуже то, что Мищило в душе своей не отличался ничем добрым, а это особенно теперь тревожило Сивоока в связи с тем, что Мищило был назначен старшим над ними. Утешало Сивоока лишь то, что он возвращается на родную землю. Как там все будет? Что будет? Что бы там ни было, но увидит он сочные травы, навестит пущу, встанет над Днепром возле Киева, вспомнится ему все лучшее, что было когда-то, плохое тоже вспомнится, наверное; но пусть, лишь бы только была под ногами мягкая, теплая — родная! — земля. Он пройдет по ней босиком, как ходил когда-то в детстве, весной и летом будет он ходить там босиком и будет носить мягкий легкий мех и белую льняную одежду, а не эти

жесткие шитые золотом одеяния, которые напялили на него, чтобы провести во дворец, допустить к величайшим святыням, не спрашивая, хочет он видеть их или нет.

Потом был обед в Триклине девятнадцати акувитов. Царь возлежал с чинами за акувитами, а послы стояли сбоку. Когда же вошли все, кому надлежало здесь присутствовать на трапезе, и было совершено поклонение василевсу, послы расположились за отдельным столом. Певчие храма святых Апостолов и Софии пели «многая лета» императору, музыканты и потешники развлекали василевса и его гостей. А в Золотом Триклине обедали люди русских послов, русские купцы, находившиеся к тому времени в Константинополе, и художники, которые должны были ехать в Киев, направляемые по высочайшему велению самого василевса, и во время обеда раздавались драгоценные блюда с апокомбиями и выдавались каждому по его чину: послы получали в два раза больше священников и толмачей, а остальной люд — вчетверо меньше послов; для Киевского же архонта от василевса даровано золотое с драгоценными камнями блюдо. Константин радовался случаю показать свою щедрость, которая считалась первым признаком настоящего императора. Он расценил послов от Киевского князя как признание своего истинного величия; приятно было сознавать, что властелин земли, едва ли не большей, чем Византия, по своим размерам, обратился именно к нему, василевсу всех ромеев, попросил прислать мастеров для сооружения божьего храма. 49 лет сидели на троне два императора, но все это время Василий заслонял собой Константина, главой царства считался старший брат, он ходил в походы, вел войны, принимал послов, а на долю Константина все время оставались лишь развлечения, гульбища, всякие прихоти, еще и теперь, состарившийся и обессилевший, думал он о том, как хорошо было бы покинуть Константинополь и умчаться куда-нибудь на охоту. Но изболевшаяся плоть не разрешала баловства, окаменело сидел он на торжественных цермониях, с горечью думал иногда, напрягая свой затемненный, опустошенный мозг, что после брата не сумеет свершить ничего благородного или достойного воспоминаний.

Но вот подвернулся случай показать свой государственный ум и превзойти даже покойного брата. Когда-то отец нынешнего Киевского архонта Владимир вынудил императоров выдать за себя их сестру Анну. Когда же они вместе с сестрой хотели послать на Русь еще и митрополита, Владимир отказался и самолично освятил на этот пост епископа-болгарина.

Теперь Киевский князь еще только утверждается на престоле, следовало бы воспользоваться его неопытностью и шаткостью его положения. Император долго советовался с премудрыми своими евнухами, и решено было послать в Киев не только константинопольских умельцев каменных и художнических дел, не только щедрые дары, но еще и императорский хрисовул к князю, предлагая принять митрополита земли Русской, рукоположенного в этот чин константинопольским патриархом.

Хотя русские послы и не имели таких полномочий от своего князя, отказаться от императорского хрисовула и от чуть ли не силком посаженного на их корабль митрополита они не могли. Бывали же случаи, когда послов, проявлявших непослушание воле императора, ослепляли или казнили,— тут не действовали никакие законы, тут правили василевсы, да славится могущество ромеев!

Отправлялись в путь, оставляя солнце справа от себя. Сивоок был на корабле с Иссой. Она диковато жалась в непривычной пышной одежде, приобретенной на Месе, снова прижималась к Сивооку, но теперь уже не от темного страха перед морем, а, очевидно, от неизвестности и от злых взглядов Мищилы, который вел себя довольно нагло и чванливо. Сивоок же думал об их дороге. Выйдя из Босфора, они должны были достичь области Мессемврии, напротив реки Дичины, далее, придерживаясь берегов, придут в Констанцию на реке Варне, от Варны проляжет путь в Коноп, от Конопа — к Дунаю, где смешиваются желтые воды реки с морской прозрачностью, там протянутся пологие песчаные берега и крутые глиняные, и нигде не смогут они пристать к берегу уже до самого входа в Днепровский лиман, потому что будут подстерегать их на этих берегах печенеги, готовые мгновенно напасть на неосмотрительных; да и на самом Днепре еще не конец опасностям: еще будут подстерегать их дикие кочевники в самом узком месте у порогов, где убит был князь Святослав, еще придется им перебираться через каменные шумные пороги, и только в киевских тихих водах закончится их многострадальное, страшное, трудное и тяжелое плавание.

Но тот, кто возвращается на родную землю, готов ко всему.



Год
1026.
ЛИСТОПАД. КИЕВ

Ярослав же седе Кыеве, утре пота с дружиною своею, показав победу и труд велик.

Летопись Нестора

Вепрь, затравленный собаками, загнанный на копья, истекая горячей кровью, в последней неистовости грыз железо паконечников, дробил держаки копий; его напряженное тело зловеще вскрикивало в тысячных огнях, оно вот-вот должно было взорваться красной кровью, но зверь, видно, чувствовал приближение последнего мгновения, он не хотел смерти, стремился избежать того конца, после которого не бывает уже начала; переполненный предсмертным рыком, наежившийся грязно-серой щетиной, с хищным сверканием клыков, он рванулся из круга уничтожения, его помутившиеся от боли глаза сделали еще одно усилие, чтобы увидеть свободный промежуток; задранное в яростном гневе рыло торопливо вынюхивало дорогу, мохнатые уши улавливали малейшие дуновения лесной свободы, кабан вмиг вырвался из той ложбины, где должен был погибнуть, оставил там людей, собак, острые длинные копья и помчался по склону вверх, туда, где одиноко следил за охотой князь Ярослав.

Все произошло с непостижимой быстротой. Никто не успел даже ужаснуться, раненый дик летел на одинокого человека — ни отступить, ни преградить ему путь; десятеро не сумели уложить зверя,— следовательно, одному теперь оставалось пасть жертвой беспощадных клыков разъяренного зверя; князь стоял

на горе, чтобы увидеть гибель дика, вышло же так, что сам должен был теперь погибнуть; зверь летел на него с отчаянным стоном, каждый его прыжок был словно бы черным криком, хриплое всхлипывание сопровождало этот неудержный бег: «Жох! Жох! Жох!» Ближе, ближе, ближе — уже весь лес и весь мир наполнен только этим звуком. Ярослав уже и не видел самого вепря, только слышал этот обезоруживающий звук. Сознание не успело овладеть руками, сознание было поглощено вслушиванием в зловещий бег дикого зверя, но тело действовало самостоятельно, согласно выработанной привычке; уже ноги уперлись в покрытую мягкими желтовато-красными листьями осени землю, вся тяжесть тела переключилась на левую, неповрежденную ногу, правая рука потянулась к ремням копья, располагаясь поудобнее и понадежнее; человек изготовился встретить дика, у него оказалось уйма времени для приготовления, он еще и успел втянуть ноздрями прохладный запах осенней листвы, влажной земли, набухшей от дождей коры деревьев, сладковато-тревожный запах погружения пущи в зимний сон — запах умирания. И от этого человеку еще милее стала жизнь, страх существовал теперь для него лишь в сознании, но ни в руках, ни в глазах, ни в едином мускуле страха не было. Но разве мог знать об этом вепрь? Он движим был одной лишь жаждой — устранить последнюю преграду на пути к избавлению, спасению, к жизни, и он пер на человека, чтобы поскорее сбить его, прежде чем опомнится он и опомнятся те, которые остались внизу вместе с их пугливыми собаками и холодным железом. Но человек, стоявший на дороге у дика, не принадлежал к простым людям. Еще с малых лет приучал свое тело в каждом его отдельном члене к действию точному и безотказному, и если сознание человека, несмотря на все его напряжение, не сумело справиться с неожиданной угрозой, зато плечи его налились упругой силой именно тогда, когда рука замахнулась копьем, а глаз направил эту руку так умело и безошибочно, что тяжелое копье прошумело и прорвалось к самому сердцу вепря, и зверь на полном скаку свалился на бок, судорожно загреб ногами, запенился, глаза его еще были повернуты на князя, стекленея, они еще всматривались в широкую волю, которая так и не открылась дику, огромные зубы его тоже еще были ощерены на Ярослава, но уже бессильно, не было в них прежнего блеска и мощи,— подернуты они были какой-то грязной желтизной, как всякая мертвая кость.

Ярослав через силу проглотил слюну, отвернулся от вепря, все в нем содрогалось то ли от пережитого испуга, то ли от

радости. Снизу набежали перепуганные ловцы, тяжело дышал позади них толстый боярин Ситник, бежал молодой новгородский воевода Иван Творимович, княжеский шут Бурмака сбивал шуршащие листья задранными носками своих не по ноге огромных сапожищ, бежали там еще какие-то люди, но князь никого не хотел видеть; припадая на искалеченную правую ногу, побрел сквозь заросли, махнул позади себя рукой, оставайтесь, мол, и займитесь добычей.

— Княже! — крикнул Ситник.— Куда же ты? На внутренностях погадаю!

Ярослав приходил в себя от недавнего испуга. Только теперь. Его тело сотрясалось от дрожи, стучали зубы, он весь взмок. Потянуло справить малую нужду. Стал под каким-то деревом, не разобрал, дуб это или береза. Господи, господи, никто не должен видеть, как властелин иногда становится простым смертным человеком. Женам лишь дано знать эту тайну, пускай они и знают, но больше никто и никогда!

— Князюшка,— хохотал позади Бурмака, жалкий карлик, препаскудный болтун, набитый дурак,— а свиное ухо? Князюшка! А хвостик! Князюсик!

Через силу Ярослав улыбнулся. С души у него скатывалась тяжесть страха, становилось все свободнее и свободнее на сердце. Собственно, что там такого — вепрь! А два лета назад был медведь. Когда восстали в Суздальской земле волхвы и начали бить старшин и жен старшинских за то, что прятали хлеб и повинны были в голоде, который охватил всю землю, тогда Ярослав пошел с дружиной на усмирение. Должны были бы ждать князя в надежде, что он спасет от голода, а случилось наоборот. Волхвы перебили старшин и их жен, не нашли много хлеба, ибо неурожай был для всех: и для старшин, и для простолюдия; тогда кинулись все по Волге к булгарам, привезли оттуда хлеб еще до прихода князя; от князя не надеялись ни на что, кроме наказания за бунт, поэтому и встречали его лодьи на Волге, на самом краю Ростово-Суздальской земли, не добром — донимали стрелами на мелких перекатах, валили поперек речки огромные деревья, создавая непроходимые преграды. Только князь вышел с дружиной на берег, невидимые противники подследили, когда слезет он с коня, и напустили на Ярослава гигантского медведя. Тоже вот так же внезапно для всех, как только что мчался на него дик. Должен был бы наступить там и конец князю, ибо зверь молча шел, поднявшись на задние лапы, вырос словно бы из-под земли прямо возле князя, уже дохнул Ярославу в лицо горячим смрадом

смерти. Точно так же тогда не успел опомниться князь, но его рука выхватила у дружинника топор и ударила с холодной безошибочностью, и зверь упал чуть ли не на самого князя, так что тому пришлось отскочить в сторону, неуклюже таща свою искалеченную ногу. Велел на том месте заложить город и назвать его своим именем. Место славы Ярослава: Ярославль. Разве что и здесь велеть построить город или хотя бы сельцо? Тогда, побив в Суздале волхвов, сказал народу: «Бог посылает за грехи на каждую землю голод, или мор, или непогоду, или другое наказание, а человек ничего не ведает и не может». Зато сам всегда мог и гордился этим. Что бы ни посылал на него бог, со всем сумел управиться князь. Сначала было тяжело, впадал иногда в отчаяние, но потом понял: все несчастья на него посланы для закалки духа. Чем больше ударов наносила ему судьба, тем прочнее утверждался он на земле.

Было с ним точно так, как с апостолом Павлом: «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».

Но кто хочет жить, должен побеждать, ибо победители отнимают жизнь у других, а те сами умирают...

Ярослав поправил одежду, разгладил бороду, смахнул с лица остатки растерянности, возвратился к своим. Его приветствовали радостно и искренне.

Ситник уже засучил рукава, подошел с огромным ловецким ножом к огромной туше вепря.

— Подожди,— остановил его князь,— взять вепря на бревно — и в Бересты.

— Бревнышко поломается,— выскочил к Ярославу слюнявый шут, растягивая свою и без того широкую, как голенище, морду в улыбке.

— Новое вырубим.— Будничные слова, он это отчетливо чувствовал, приносили душевное успокоение, поэтому Ярослав охотно включился в словесную перепалку с Бурмакой.— Или же тебя, Бурмачило, заложим вместо бревна.

— Ги-ги! — хохотнул шут.— А кто же понесет? Кони или люди?

— Люди!

— Лишь бы не кони, потому как жаль безгласной скотины, а люди вытерпят. Человек все вытерпит, а кони и князья терпеть не умеют.

— На том же месте, где ты болтаешь,— сказал почти торжественно Ярослав,— заложим поселение людское.

— И назовем Ярославец! — воскликнул тотчас же Бурмака.

— Ярославль Киевский,— взмахнул своим огромным ножом Ситник.— Чтобы всюду были Ярославли, по всей земле. Пусть славится имя твое, княже!

— Веприще — вот как назвать,— сказал князь,— потому что и впрямь кабан был огромный.

— Разве это кабан? — пырнул сапогом в вепря Бурмака.— Разве это вепрь? Так себе, веприк.

— Вот и назовем село Веприк,— улыбнулся князь.

Шут запрыгал, захлопал в ладоши:

— Веприк, веприк, хрю-хрю! Дурной был князь, да занял ума у Бурмаки!

— Что ты мелешь, шут! — зашипел на него Ситник.— Или ты уже и вовсе спятил с ума?!

— А князь наш глупый не потому, что глупый сам, а потому, что такими дураками, как ты, окружил себя! — подбочепился шут.

Ситника боялись все, ему принадлежали дела тайные и грозные, лишь Бурмака не проявлял ни страха, ни уважения даже к этому княжьему боярину, ему было все равно, на кого разевать свой ротище, он мог поднять перепалку между самыми близкими людьми Ярослава, а князь этим лишь тешился.

Бурмаку он нашел несколько лет назад в селе на днепровской переправе. Жили там перевозчики, рыбаки, косари, народ как на подбор, не пугливый и такой красоты, какую лишь Днепр дает тем, кто с малых лет засматривается в его воды и орошается его росами. И вдруг среди этих красивых и сильных людей родилось нечто отвратительное, какой-то недоносок, выкидыш появился на свет; пока он был мал, никто и не замечал, видно, его никчемности, а когда однолетки выросли, а он остался таким же малым, лишь покорченным в разные стороны, тогда все уже заприметили; сам же он налился злостью и обидой на всех людей, на целый свет белый, и вот прозвучала первая ругань, принесенная человечку слюной на язык, сболтнул он что-то злое и глупое, назвали его за это Бурмакой [1], по-

[1] Бурмака — ворчун, брюзга.

смеялись, кто-то там, наверное, накормил, чтобы отвязаться. Бурмака где-то кого-то там обругал еще и еще, его снова накормили и снова смеялись извинительно, покровительственно, как умеют смеяться сильные, уверенные в своем превосходстве люди, а карлик смекнул, что может удержаться на этом свете одним лишь своим языком, и распустил его, что называется, на всю губу, и уже не было на него управы.

Князь услышал проклятие Бурмаки на переправе. Карлик тащился за перевозчиками, мешал им делать свое дело, бранился на чем свет стоит.

Перевозчики посмеивались над глуповатым карликом, кто-то позвал его к чугунку с ухой. Бурмака побежал туда, начал хлебать уху и при этом ругал изо всех сил того, кто его кормил.

— Чтоб тебе кость поперек горла встала!

— А приведите-ка его ко мне,— велел Ярослав.

Бурмака не захотел идти к князю.

— Ежели нужно, пускай сам притащится ко мне,— выкрикнул Бурмака.— Или у него, может, ноги отнялись? Или ему покорчило? Или какая хворь напала?!

Ярослав никогда не стерпел бы напоминания о его несчастных ногах, но тут почему-то не обратил внимания на брань карлика, почти послушно пошел, прихрамывая, к Бурмаке, сказал ему примирительно:

— Хочешь ко мне в службу?

— А пускай тебе нечистая сила служит! — трахнул о котелок деревянной ложкой карлик.— Дураком ты был, дураком и останешься. Золота нацеплял на себя, как собака колючек. Сапоги зеленые. Не из жабьей ли кожи пошили тебе холуи?

— Будешь иметь и золото, и сапоги такие же, и все, как у меня,— пообещал Ярослав, сам еще не ведая, зачем ему этот слюнявый отвратительный крикун.

— Подкупить хочешь Бурмаку? — закричал карлик.— Так не дождешься же! Золота твоего не хватит для моей мудрости. Чтоб ты подавился своим золотом, награбленным и накраденным!

Смеялись все: перевозчики, княжеские люди, сам Ярослав. Князь подумал: вот такой пускай себе бранит. Никто всерьез не примет его брань, а перед богом оправдание: не вознесся в гордыне, выслушиваешь каждый день слова хулы. Лучше самому держать возле себя глуповатого хулителя, чем ждать, пока придет умный и укажет всем на твои настоящие прегрешения и преступления.

Так Ярослав взял с собой Бурмаку, выделил ему место возле себя, назначил княжью одежду, княжий стол, подкладывали карлику на пиршествах куски такие же лакомые, как и князю, наливали те же вина и меды в такие же ковшы,— все он имел, как у князя, с одной лишь разницей: всего чуточку больше. И одежда большая, и обувь, и украшения, и куски за обедом, и ковши с напитками. Вот так, имея все словно бы княжеское, карлик еще больше был осмеян за несоблюдение меры. А единожды утратив меру, он ни за что не мог найти ее и в своей речи: все, что он ни говорил, окружающим казалось бесконечно глупым и смешным. К проклятиям Бурмаки все привыкли, удивлялись вельми лишь те, кто слышал его впервые: карлик разрешал себе такие слова о князе, такие выходки, что другому на его месте давно бы снесли голову или же вырвали язык, а с этого как с гуся вода. Чудно ведется свет!

Но Ярослав за эти безмерно тяжелые двенадцать лет твердо убедился в том, что даром ничто не дается, все нужно нанять и купить: и воинов, и прислужников, и хвалителей, и даже хулителей. Он никогда не был щедр на пенязь [1], берег каждую куну [2], не любил расточительства, но в то же время видел, что на каждом шагу нужно платить.

Так было с наемниками Эймунда еще тогда, в Новгороде, когда Ярослав готовился выступать против князя Владимира, да и с самими новгородцами, которым обещал правду, писанную лишь для них, особую, выгодную. И когда столкнулся со Святополком возле Любеча на Днепре, все это помогло, окупилось сторицей — беспощадно были разгромлены дружины Святополка, не помогли им и печенеги, не помогло ни хвастовство киевлян Святополковых, ни глумление над новгородцами, которых киевляне обзывали плотниками, а Ярослава — колченогим (словно бы угадывая, что снова охромеет он через два года!). И когда сел Ярослав в Киеве, щедро заплатил и варягам, и новгородцам: старостам по десять гривен, а смердам по гривне, а новгородцам всем тоже по десять гривен. И дал им грамоту, чтобы по ней жили, строго придерживаясь того, что предписал им.

Однако Святополк не смирился со своим разгромом: уже через два лета стоял под Киевом с печенегами, которые шли к нему, будто собака на свист, привлекаемые обещанными гра-

---

[1] Пенязь — деньга, деньги.

[2] Куна — денежный знак, когда куньи и иные меха заменяли деньги.

бежами богатого стольного города. Эймунд посоветовал нарубить зеленых ветвей и воткнуть их в городские валы, чтобы не дать печенежским стрелам залетать в Киев. Потом уже сам князь надумал послать на валы киевских женщин в украшениях, чтобы заманить жадных биармийцев[1] броситься на штурм. Сверкали на солнце серебряные и золотые наголовники, сверкали драгоценные камни на одежде, а еще ярче сияли красотой своей киевлянки, равных которым по красоте трудно было где-либо найти; распаленные печенеги бросились на город, они обложили Киев такой силой, какой никогда еще и не видывали здесь, но Ярослав намерился все же дать им бой, его подбивали к этому варяги, обещая выстоять, да и сами киевляне предпочитали лучше стать на бой, чем молча ждать неизвестного; все городские ворота были закрыты, кроме двух: у верхних ворот остановился Эймунд с дружиной, а у тех, которые вели на Перевесище,— Ярослав во главе киевлян. Печенеги рванулись в ворота, они вскакивали в узкий и тесный проход по нескольку человек сразу, и их тут же рубили насмерть воины, ждавшие врага по ту сторону ворот. Но сила у печенегов была такая огромная и такое страшное нетерпение владело всеми теми, кто напирал сзади, что наконец дикие степняки прорвались в перевесищанские ворота, оттеснили дружину Ярослава, самому князю впилось вражеское копье в правое колено, Ярослав с огромным трудом выдернул из раны железный наконечник, но не отступил, рубил врага и дальше своим страшным мечом. Подоспели к нему варяги, кто-то догадался закрыть ворота, печенегов, прорвавшихся в Киев, вылавливали по одному и убивали на месте грабежа или насилия, которые те чинили умело и быстро. В городе запылали церкви и дома, загорелась деревянная София, сооруженная еще княгиней Ольгой для сохранения святынь, привезенных ею из Константинополя; запылал весь Киев, охваченный ярким пламенем, окутанный черным дымом,— страшное это было зрелище, но еще страшнее была месть киевлян, которые вышли за городские ворота и преследовали убегающих печенегов до самой Ситомли, рубили их, топили в Ручье, в Днепре, в Ситомле.

Вот тогда и допустил князь тяжелейшую ошибку в своих действиях. Считая, что навсегда покончено с набегами на Киев, он ответил отказом Эймунду, который требовал повышения

[1] Биармийцами в Киевской Руси называли иногда печенегов, а также все неизвестные племена, жившие на севере за Камой.

платы варягам; князь даже посмеялся над ярлом, когда тот начал запугивать князя. А требовали варяги и вовсе невероятного: вчетверо повысить им плату! Следом за варягами и киевская дружина пришла к князю с требованиями, им уже мало было, что по милости князя Владимира они ели на серебре-золоте. Ярослав отмахнулся. Он не любил войны, жаждал покоя и тишины. Он призвал к себе людей книжных, священников, странствующих иноков, с ними сидел во Владимировом тереме, ездил иногда в Бересты, молился там в церкви святых Апостолов, узнал там пресвитера княжьей церкви Иллариона, человека тихого, мудрого постника. Говорили о царстве небесном, о вечном блаженстве, о делах высоких и прекрасных; там был отдых для души, забывались горластые варяги и ненасытные дружинники, забывалась даже суровая и неприступная княгиня Ирина, которая в Киеве сразу прониклась холодной чванливостью, вспомнила, что она королевская дочь, собирала вокруг себя каких-то принцев и ярлов; съезжались к ней со всего севера искатели богатств и престолов, княгине уже мало было теремов, которые удовлетворяли когда-то и княгиню Ольгу и князя Владимира, забыла она о каменном доме своего отца с неуютной, промороженной проклятыми свейскими морозами лункой на верхотуре, заводила речь о сооружении нового двора, достойного ее высокого происхождения. Все вокруг требовали платы, так, будто князем Ярослав стал лишь для того, чтобы набивать и набивать в чью-то там глотку золото и серебро.

Собственная жена, обленившаяся и обнаглевшая до предела, отказывалась подчиняться; дружинники сидели на своем детинце в Киеве, грелись на солнце, играли целыми днями в кости и зернь, напевали каждый день одно и то же:

Покуємо собі човни, мідні та золоті весла
Та й пустимось на тихий Дунай,
а з Дунаю — та під Царгород.
Ой чуємо там доброго пана,
що заплатить щедро за службу молодецьку!

Варяги покинули Ярослава, пошли искать более щедрого хозяина. Дружина хотя и не пошла никуда, ибо была все-таки своя, но часть ее с воеводой Золоторуким тоже побрела куда-то, чуть ли не к ромейскому императору внаем, так что пришлось князю собирать дружину новую, частично из новгородцев, частично из киевских людей,— с тех пор он всегда вынужден будет окружать себя каждый раз новыми людьми, потому что трудно положиться на кого-либо, никто долго не выдерживает

в службе, каждый сам себе на уме, хлопочет прежде всего о себе, а уж потом — как захочет.

Чтобы доказать всем недругам и изменщикам свою мощь, Ярослав еще той же осенью после разгрома печенегов со свеженабранной дружиной поплыл по Припяти против польского Болеслава, чтобы ударить по нему в отместку за Святополка. Перед этим Ярослав заключил договор с германским императором Генрихом. Согласия достиг легко, потому что в Киеве у него была мачеха, последняя жена князя Владимира, немка, дочь графа Куно от брака его с дочерью императора германского Оттона Великого. Были они словно бы родичами с германскими императорами, свободно обменивались послами и гонцами, которые проходили через землю чехов; кроме того, император германский искал себе сообщника, чтобы ударить на Болеслава, потому что князь польский дошел уже до такого нахальства, что забивал железные столбы, назначая границы своей державы, уже и не в дно рек польских, а даже и немецких, наезжая к ним во время многочисленных своих победных вылазок.

Вот так и поплыл осенью Ярослав по Припяти с войском немногочисленным и еще молодым на службе у нового князя Киевского, окружил Бересты над Бугом, но город держался твердо, хотя помощь ему и не приходила ниоткуда. Да и какая могла быть помощь? Только неопытность Ярослава могла толкнуть князя к союзу с императором, который думал прежде всего о себе и своей власти (а кто ж не думает об этом?) и меньше всего занимали его чужие хлопоты. Ярослав отошел от Берестов и возвратился в Киев без потерь, но и без прибыли; он как-то не предполагал, что на его долю выпадет так много, быть может, еще больше, чем на долю его покойного отца, походов и стычек, его втягивали в войну вопреки его воле и желанию, уже и до этого он чувствовал отвращение к битвам, а теперь и вовсе возненавидел это напрасное дело; однако всю зиму готовился к отпору Болеславу, остался одиноким, брошенный всеми, даже Новгород присылал мало подкреплений, пришлось строго напомнить Коснятину. Снова призвал посланцев от варягов, но варяги теперь требовали плату большую, чем в Новгороде, в двенадцать раз, к тому же — не серебром, а только золотом.

Коварство со стороны властелинов, жадность и наглость наемников — вот с чем столкнулся тогда Ярослав, и уже до конца дней своих сам он не будет ни коварным, ни грабителем, будет пытаться быть по-своему прямодушным, хотя иногда и

слишком дорого придется ему платить за это. Покамест же платил собственным покоем. Снова искалеченный, так, будто бог обрушил на него давние, еще детские болезни, на ногах теперь держался не совсем твердо, поэтому отдавал предпочтение коню, а еще лучше — лодье, снова посадил свое войско на суда и поплыл по Днепру, а там по Припяти — навстречу Болеславу, который готовился на Буге к решительному удару.

Сблизились они в июльскую жару, Буг обмелел до неузнаваемости, поляки налаживали мосты для переправы, Ярослав велел мешать им, засыпать их стрелами, дразнить похвальбой. Он, как и в Новгороде когда-то, ездил всюду сам, ко всему присматривался, подбадривал воинов, смеялся над выкриками Будия, который угрожал полякам: «А вот мы прободем трескою толстое черево вашему Болеславу».

И снова, как и в войне с императором германским, везло Болеславу. Он стоял с войском возле укрепленного города Волына, получал подкрепления из Червенских городов, харчевые отряды отовсюду доставляли ему все необходимое, прибывали новые и новые отряды, пришли обещанные Генрихом триста саксонцев и пятьсот угров. Болеслав до поры до времени отсиживался в Волыне, пил себе да гулял с чужими женами, хотя сам же и ввел в своей земле наказание для похитителей чужих жен и развратников: выводить их на торговище, ставить на деревянный помост и прикреплять к этому помосту, вбивая — хотя и не годилось бы об этом говорить — в мошонку огромный гвоздь. Рядом клали острый нож, предоставляя обреченному трудный выбор: либо умереть позорной смертью на торговище, либо собственноручно отрезать эту часть тела.

Русские кричали с противоположного берега, обзывая Болеслава бабником и вонючей требухой, но тем дело и ограничивалось, потому что поляки не обращали на это никакого внимания, у них было все необходимое, в то время как противник питался пойманной дичью да выуженной в Буге рыбой, говорили, что даже сам князь Ярослав от безделья и отчаяния сидел с удочкой над Бугом, ожидая невесть чего.

По ночам жгли костры, отгоняли назойливых комаров, которые с довольным стенанием налетали из лесов и болот. Когда жара сменялась дождем, все мокли под злыми небесными водами — не было ведь никакого убежища и укрытия, лишь для князя разбили шатер, но Ярослав старался больше быть среди воев, стремился выказать свою доброту, свою мягкость и честность. И чего этим достиг? Болеслав был и такой, и сякой, и злой, и жестокий, и неправедный, а войско твердо стоя-

ло за него, и соседние властители пошли ему в подмогу, а русский князь, покинутый всеми, должен был довольствоваться лишь собственной честностью да мудростью, коими он превосходил всех императоров, королей и князей, но мудрость не дала ему ни силы, ни спокойствия. Так уж испокон веков заведено, что все решал меч.

Пока польское войско собиралось, разрасталось, наращивало свою силу, русские проявляли все большую и большую тревогу, то и дело прибегая к ложным попыткам переплыть Буг, хотя и опасались неизведанных речных быстрин; то тут, то там внезапно возникали стычки, раздавались боевые кличи, звучали рога, поляки лениво отстреливались, продолжая тем временем подтаскивать к берегу тяжелые бревна для сооружения мостов. Чтобы помешать Болеславу навести мосты, Ярослав расположил в этих местах опытные отряды своего войска, однако Киевский князь не мог еще сравниться в военной хитрости с умудренным Болеславом, которого боялись даже варяги,— польский князь перехитрил и Ярослава: подстрекнув его воинов к еще одному заплыву ради мнимого натиска, на поляков, он уже взаправду обрушился на них, выслав навстречу им сначала пеших воинов, а потом и конницу. Буг оказался не столь уж и глубоким, люди и кони вплавь легко пересекли середину, быстро и безжалостно перебили «наступающих» русских; усиливая натиск, Болеслав выпустил из засады отряд конницы и что было мочи ударил по слабым отрядам Ярослава, в то время как отборнейшие без дела стояли там, где предполагалось наведение мостов; страшная резня там учинилась, с убитых беспрепятственно срывали доспехи, сам Ярослав чуть было не погиб: внезапно захваченный чуть ли не у самого берега, он яростно отбивался от наседавших на него врагов и все-таки прорвался с двумя новгородцами и молодым киевским отроком, но все они были пешими, у них не было ни одного коня; с невероятными трудностями выбрались они с открытого места в близлежащий лес и там — о счастье! — наткнулись на возок медовара, что прикатил к войскам, наверное, в надежде на невиданную прибыль, а попал в кромешный ад побоища и теперь не знал, что делать, метался перед своими конями, хотел их выпрягать, но, видно, жаль было бросать и возок с медами, медовар тяжело дышал, вытирая пот, лившийся по мясистому лицу и промокшей насквозь бороде, но не в медоваре суть, а в жизни князя; отрок подбежал к коням, потянул одного за уздечку, и в это время прилетела откуда-то стрела, то ли чужая, то ли наша, угодила коню в шею, черная кровь

брызгнула прямо на отрока, какой-то миг конь еще стоял, не падал, но видно было, что вот-вот он рухнет; медовар смекнул наконец, что пахнет здесь отнюдь не медом, мигом выпряг второго коня, затянул его поглубже в лес, остановился, рассматривая своих неожиданных гостей,— наверное, узнал князя либо догадался, что перед ним человек не простой, потому что протянул повод в его сторону и сказал, запыхавшись:

— Бери коня!

Ярослав еще колебался. Ему хотелось броситься назад, туда, где схватка, но оттуда не доносилось ничего отрадного, вдали прошмыгивали одинокие беглецы, за которыми гнались враги. Разгром, полный разгром!

Тогда князь, тяжело прихрамывая, подошел к коню, отрок помог ему взобраться на него, медовар дернул за повод, побежал впереди, потянул коня за собой.

— Недолго ты так пробежишь,— сказал ему Ярослав.

— А ничего. Ты не смотри, что я толстый, у меня внутри все хорошо утрамбовано,— тяжело дыша, отвечал медовар.— А когда не в силах буду бежать впереди, то побегу, держась за твою ногу.

— За стремя годилось бы держаться, да нет его,— горько улыбнулся князь.

Те трое тоже бежали следом за князем немного поодаль, чтобы на случай угрозы прикрыть его отступление.

— Кто ты еси и как зовешься? — спрашивал тем временем Ярослав у своего богом посланного спасителя.

— Медовар, а зовусь Ситник. Из Деревя, до Киева от нас далеко, а это, думаю... к князю... такой ведь мед... Ох... не могу... А ты... В самом деле князь?

— Князь. Садись ко мне. Конь у тебя хороший, понесет и двоих...

— Тяжелый я, княже... Вельми... Требуха у меня... камень...

Ситник передал поводья князю, пристроился сбоку, держался за порты Ярослава, шептал через силу:

— Ох, смерть моя... Ой боже!..

— Никогда тебя не забуду,— сказал князь,— боярином тебя сделаю... Ближе всех к себе поставлю...

— Ох, смерть,— шептал из последних сил Ситник,— ох, ох!..

Бежали они не в Киев — что бы они там должны были делать? Болеслав шел на стольный град с войском, подступали уже к Киеву, кажется, и печенеги, вновь накликанные ненавистным Святополком, а у Ярослава только и людей было, что

трое воинов, да медовар со спасительным копем, да еще несчастные остатки, беглецы, собиравшиеся возле насадов на Припяти. Так и решил князь как можно скорее направиться в Новгород, а уже там велел мигом изготовить для себя суденышко, чтобы идти еще дальше, аж за море, к своему тестю, королю свейскому, просить у него помощи для отвоевания Киева, где осталась даже дочь его Ингигерда, княгиня Ярослава Ирина. Осталась там и сестра Предслава, на которую уже давно зарился распутный Болеслав, и мачеха, и самая младшая сестра Мария Добронега — да что там они, ежели князь едва унес ноги.

Но Коснятин сам поставил к вымолу суденышки для князя и сам же с новгородцами ночью изрубил их и имел нахальство прийти к князю с острым топором, заткнутым за пояс, и известить, что они не допустят бегства Великого князя Киевского, а еще раз станут за него, чтобы вернуть ему стол Киевский.

Обида была великая, но у Ярослава не было выбора, он должен был стерпеть и промолчать. Новгородцы немедля начали собирать новое войско и деньги для наема варягов и дружин, а собирали от мужа по четыре куны, а от старост по десять гривен, а от бояр по восемнадцать гривен, снова просили Эймунда с дружиной, ибо тот недалеко и зашел, отсиживался тем временем в Полоцке, у племянника Ярослава — Брячислава. Князь принял все условия варягов, речь шла теперь о самом главном,— по первому снегу хотел он ударить в Киеве на Святополка, которого, по слухам, киевляне встретили с открытыми воротами, видимо остерегаясь печенегов, обложивших город, а старый Анастас Корсунянин вывел всех своих попов навстречу новому князю, прослужил торжественный молебен, подарил Болеславу Польскому величайшие святыни церкви Богородицы — мощи святого папы римского, Климента. Болеслав же, забыв о своей брачной жене Оде, бесстыдно положил себе на ложе Предславу, захватил в плен княгиню Ирину, которая как раз была в ожидании, взял и семейство Владимира; рассказывали, что польский князь ударил мечом о киевские врата, и выщербил меч, и хвалился, что будет теперь этот меч для всех польских властелинов такой же ценностью, как священное копье германских императоров или венец императоров ромейских. С несметными дарами отправил Болеслав аббата Туни к германскому императору Генриху, велел ему в изысканных выражениях поблагодарить Генриха за поддержку и заверить его в искренней приязни. Взятие Киева вселило в

польского князя такую уверенность в своем могуществе, что он прямо из русского стольного града снарядил большое посольство к ромейскому императору Василию, призывая византийцев к верности и приязни, если не хотят они в его, то есть Болеслава, лице иметь последовательного и неодолимого врага, в чем свидетелем и посредником пусть выступит между ними сам всемогущий бог, который укажет ласково, что ему по душе, а земным владыкам на пользу.

Есть в человеке много непостижимого для него самого: Ярослав издавна был приучен к мысли, что все таинственное и высокое принадлежало богу, зато людям должен быть присущ здравый смысл. Но вот война, убийства, брат идет на брата, голод, неправда, коварство — разве это не поражения здравого смысла, разве это как-нибудь вяжется с ним? Как всему этому помочь? Чем победить? Где спасение?

Не помогало ничто: ни молитвы, ни благочестивые беседы, ни книги, ни даже ободряющие вести об успешной подготовке к новому походу против Святополка. Ярослав словно бы оцепенел телом и душою, перед его глазами и до сих пор стоял тот июльский день на Буге, позорное бегство по зеленому лугу, бесконечные провалы искалеченной ногой в рытвины и ямки, потом тяжелое дыхание и стон Ситника, потом горячее, мокрое тело Ситника позади на коне, екание конской селезенки, мягкий стук копыт, все реже и реже, ожидание погони, и тогда, на коне и на лодье, и даже тут, в Новгороде, тоже ожидание. Чего? Погони или посольства? Но Болеслав, захватив Киев, снаряжал послов к могущественным императорам — что для него какой-то там разбитый враг? Святополк же если и имеет намерение убрать своего самого опасного соперника, то сделает это тайком и внезапно. Кому верить? Ярослав не верил теперь даже Коснятину. Почему Коснятин изрубил лодьи?

Поверил в Ситника. Человек, который готов был принять смерть ради князя, не может предать. Ярослав укладывал Ситника спать в горнице, что вела в княжескую ложницу. Велел, чтобы тот сопровождал князя всюду по Новгороду: и в церковь, и на вымолы, и к плотникам, и к оружейникам. Сам обучал новоиспеченного боярина (который еще и богатством не владел — жили надеждами на победное возвращение в Киев) владеть мечом и копьем, велел тому постичь еще и грамоту, ибо на княжеской службе человек должен все уметь, поехал вместе с Ситником в основанную им еще во время княжения в Новгороде школу, где десятка полтора детей боярских и ку-

печеских, сидя на деревянных скамьях, выцарапывали на кусочках бересты костяными писалами неуклюжие буквицы и повторяли следом за худым черноризцем первые житейские истины:

— Курица разгребает мусор и выгребает из него зерно.

— Кот очищает дом от мышей.

— Конь, имеющий гриву, возит нас.

— Стиснутая рука называется кулаком, разжатая рука называется ладонью.

— Человек бывает сначала младенцем, дитятей, потом отроком, юношей, взрослым мужем, потом стариком.

Ситник был ошеломлен от удивления и возмущения, услышав эти детские распевания.

— И кто же кормит этого попа? — спросил он Ярослава.— Неужели ты, княже?

— Еще и отдельную плату выдаю ему за учительство,— степенно ответил князь.

— Да что же это за наука? Кто этого не знает? Кот ловит мышей!

— А попробуй-ка ты сказать что-нибудь так складно,— улыбнулся Ярослав.

— Ну...— Ситник запнулся.— Ну что тебе сказать, княже?

— А вот так, как дети. Скажем: огонь светит, жжет и превращает в пепел все, что в него кладут.

Ситник наморщил лоб, покрылся пóтом, но не смог выдавить из себя ни единого слова.

— Дивно вельми,— растерянно бормотал он,— будто ветром выдуло все из головы... Не иначе, какое-нибудь наваждение на меня. Не поп это, видно, а волхв... У меня сразу подозрение к нему...

— А что ты скажешь про князя Коснятина?

— Какой он князь? Ты — князь. А больше никого не может быть. Это он и выталкивает тебя поскорее в Киев, чтобы самому тут остаться. А ты не верь ему, княже. Никому не верь. Вот смотри на меня: я никогда никому...

— Надобно всегда иметь верных людей,— сказал Ярослав, и сам подумал: «Где же они, твои верные? Не Коснятин ли, который опозорил тебя, разрубая ночью твои лодьи со своими новгородцами? Вот три лета миновало, как отправился ты на захват Киевского стола, а никого возле тебя не осталось — одни убиты, другие погибли бесследно где-то, третьи предали, бежали, отшатнулись...»

Вот тогда наконец отважился вспомнить для себя прошлое, попытался ожить душой, взял для охраны небольшую дружину из варягов, взял Ситника и, прикрываясь оговоркой, что желает немного отдохнуть на охоте, помчался за леса к Шуйце. Что там с нею? Какой она стала?

И не узнал двора на Задалье. Новый дубовый частокол охватывал теперь в десять раз большую полосу леса, окружая старую усадьбу, на новом подворье выросли какие-то строения, не законченная тогда церковь уже давно, видно, была достроена, а в стороне от нее стояла еще одна церковь, большая, просторная. Неужели все это Шуйца?

Ситник застучал в деревянные ворота из дубовых бревен, сбоку приоткрылось окошечко, выглянуло, как и когда-то, женское лицо, молча взглянуло на всадников, спряталось, не промолвив ни слова. Ситник выругался:

— Аль не видишь, старая дура: князь перед тобой!

И после этого им не открывали очень долго; Ярослав уже подумал было, что повторится то же самое, что и три лета назад, когда Шуйца, видно прослышав о его сватовстве к Ингигерде, обиделась на него и не пустила к себе,— так он тогда и уехал, не увидев ее, уехал на битвы и славу, а может, и на смерть и позор, но ей было все равно. Всем все равно, никому нет дела до него, княжение делает человека бесконечно одиноким, окружают тебя только враги, чем больше у тебя побед, тем больше врагов, чем выше станешь, тем большая зависть окружает тебя,— может, зависть убивает великих людей даже чаще, чем войны. Уже хотел было сказать Ситнику: «Ох, правду молвил, никому не следует верить», но снова открылось окошко, выглянуло то же самое равнодушное лицо, сказало невозмутимо:

— Князю можно, а больше никому.

И загремели запоры.

— Тю, глупая баба!— крикнул Ситник.— Так я и отпустил бы князя одного!

— Поедешь со мной,— сказал князь, а варягам велел располагаться под деревьями.

Ворота открыли две довольно молодые женщины, но обе... в монашеском одеянии.

— Это что?— удивился князь.— Кто вы?

— Обитель божья,— сказала та, что первая выглядывала в окошко.

— Тю,— засмеялся Ситник,— бабы уже в попы полезли. Да еще молоденькие!

Он наклонился, чтобы ущипнуть одну из монахинь, но она нетороплнво оттолкнула его руку.

— Монастырь?— Ярослав осматривался по сторонам. Огороды, полоска озимых, какие-то фигуры в черном суетятся возле хлевов и коровников, гребутся куры возле вороха навоза. Вот оно и есть: «Курица разгребает мусор и добывает из него зерно».

— Как же называется монастырь?— спросил Ярослав.

— Шуйский.

Это уже было немного легче. Еще одна затея взбалмошной Шуйцы. Пусть будет так. Первая женская обитель на Руси. Под княжьей рукой. Пусть.

— Так ведите меня к Шуйце,— приказал вполне уверенно.

— Игуменья Мария на молитве,— получил в ответ.

— Что? Шуйца — игуменья? Мария?

Монахиня молча пошла впереди княжеского коня. Вторая закрывала ворота.

Ситник, которому Ярослав ничего не говорил, куда едут и к кому, с любопытством смотрел по сторонам, бормотал:

— Ну и бабье! Вот так да!

Князь оставил его на большом дворе, а сам поехал к малой церкви, поставленной еще при нем, доехал до самой паперти, там слез с коня, привязал его к березе и, прихрамывая, осторожно пошел по ступенькам, стараясь прикрыть свою хромоту. Церковь внутри была голой — ни единой иконы, ни единого рисунка, только три свечи горят в глубине, а перед ними — темная фигура на коленях, неподвижная, окаменевшая. Ярослав тихо подошел, опустился на колени рядом с фигурой, осенил себя широким крестом и лишь после этого взглянул на соседку, и она не удержалась, взглянула на него. И он и узнал и не узнал свою давнюю Шуйцу; благочестие было в ее глазах и на устах, вся закрыта была черным, нежно белела только щека, повернутая к князю, и излучался от нее тот же самый запах, что и тогда в лесу, свежий, пронзительный запах молодости.

— Шуйца,— прошептал Ярослав, словно бы боялся вспугнуть богов и их ангелов,— Шуйца!

— Зачем приехал?— тоже тихим голосом спросила она.

— К тебе.

— Поздно.

— Никогда не поздно к тебе.

— Обреклась я святому богу.

— А я?

— Покинул меня. Забыл.
— Никогда не забывал.
— Теперь поздно.
— Шуйца!
— Теперь я Мария.
— Мария-Шуйца...
— Не гневи бога...
— Так давай помолимся и уйдем отсюда...
— Куда?
— К тебе.
— Там теперь сестры.
— Ну, тогда в леса...
— А там грех...
— Я не счастливый,— сказал он жалобно.
— Знаю. Молись.
— Ты ж не верила моему богу.
— А кому верить? Нет выбора.

Она стала не только твердой, но и мудрой за эти годы. А может, и тогда была такой? Когда не хотела менять свою свободу, когда рвалась и к нему и от него одновременно, когда пускала и не пускала его к себе!

— Так оставишь меня?— горячо прошептал он.

— Молись.

Он подумал, что пришлет сюда из Киева умельцев для украшения церкви. Чтобы все здесь заиграло такими красками, как сверкало у него перед глазами, когда увидел Шуйцу. Пришлет, если дойдет до Киева, а дорога предстоит далекая и тяжелая. Как тяжко человеку жить на свете. Лишь любимая женщина может иногда облегчить твою ношу.

— Шуйца,— неистово прошептал он,— я поцелую тебя! Вместо иконы! Как богородицу!

И не дал ей возразить, быстро наклонился к ней, прикоснулся губами к нежной щеке, пахнувшей молодостью.

Остался в монастыре на ночь, утром Мария-Шуйца выпроводила его и строго наказала не посещать обитель, пока будет сидеть в Новгороде.

— Я приеду к тебе из самого Киева!— горячо пообещал Ярослав.

— Почто болтать пустое,— горько сказала она, потому что хорошо уже знала неверную натуру князя, знала, что забудет ее, как только снова сядет на Киевском столе и снова уйдет в высокие державные заботы.

— Приеду! — князь перекрестился.— Вот увидишь.

— Бог все видит,— Шуйца становилась недоступной игуменьей Марией. Благословила князя и его орошенного потом боярина, который, кажется, так и не опомнился в этом бабском царстве, не стала ждать, пока они выедут за первую ограду даже, пошла в свои покои.

— Твердая жена,— вздохнул Ситник,— пробовал я тут что-нибудь выведать — никто ничего!

— Кто тебя просил выведывать! — прикрикнул на него Ярослав.

— В привычку уже входит,— чистосердечно признался Ситник,— для спокойствия моего князя светлого стараюсь!

— Меды сытить разучишься.

— Что меды! Будет князь — будут и пиво, и меды, а не будет — зачем все это?

— Люблю тебя, Ситник,— растроганно промолвил Ярослав,— не встречал еще таких людей, хотя и всяких повидал.

Ситник молчал самодовольно. Обильно покрывался потом, вздыхал, казалось ему, что во чреве у него что-то даже ворчит, будто селезенка у коня на полном скаку. Ох, и начал бег, хороший взял разгон, только б не свалиться, держись, Ситник, ох, держись!

...С наступлением морозов повел Ярослав собранное войско и принятую на службу варяжскую дружину Эймунда на Киев, без помех дошел до самого стольного града, приветствовали его повсюду точно так же, как и тогда, когда шел на стол впервые. Видно, Святополк, несмотря на все свои уловки и метания, не нашел себе опору у киевлян, ободранных дотла его тестем Болеславом; опасаясь гнева горожан и мести Ярослава, Святополк, покинув свою жену Регелинду и все богатство, бежал ночью в степи и помчался снова — уже в который раз! — к печенегам, к этим странным степным людям, которые не помнили ни кривды, причиненной им Святополком и Болеславом, ни коварства, ни обманов и снова еще раз приняли окаянного князя, а потом летом еще раз пошли, по его наущению, на Киев, выбрав тот путь, который посоветовал он перед смертью князя Владимира; и Ярослав встретил их на Альте, там, где ждал орду когда-то молодой Борис, и была страшная битва с трех заходов, но не будет здесь речи о битве, а только о ее власти над людскими душами — печенеги не выдержали, разбежались по степям, а Святополк, с трудом собравший мизерную дружину, ударил-

ся в западные земли, верно рассудив, что, пока стоит Киев, за него можно драться, ибо Киев сто́ит и борьбы и даже самой смерти.

В Киеве в княжьих палатах сидела Святополкова жена Регелинда — родственница и враг одновременно. Ярославу никогда не приходилось ее видеть, и он представлял ее почему-то злой и ненавистной, а оказалось — ошибся. Регелинда, еще совсем юная, высокая, крепкая, отцовской, видимо, породы, вошла в гридницу, где ждал ее князь, и начала над всем смеяться: над своим мужем, что бегает как заяц, над самой собой и над отцом своим, который пытается перехитрить весь мир, и даже над Ярославом — за его мрачность и печаль в глазах.

— Печален, ибо жена моя и вся семья — в руках у твоего отца, в плену,— сказал ей Ярослав.

— Выменяй их за меня,— засмеялась Регелинда.

— Ты ведь одна, а их вон сколько. Бояр моих тоже завел в Польшу князь Болеслав.

— Ну, так хоть жену свою — за меня.

Потом и в самом деле прислал Болеслав своего епископа с предложением обменять на Буге дочь на княгиню Ярослава, и упрямо отстаивал святой отец волю своего властелина, добиваясь еще и довыкупа за княгиню, ибо та уже была не одна, а с прибылью: родила сына в начале сего года. Пришлось князю торговаться — и за жену, и за сына, которого не видел и не знал даже о его рождении. Крещен ли отрок? Но как же можно без отца? Позвал Ситника, велел собираться в дорогу.

А торг тем временем и дальше продолжался. Выгнал господь торгующих из храма своего, так они, выходит, засели на княжеских столах, что ли?

Пришел Эймунд, начал подговаривать Ярослава, чтоб снарядил его с надежными людьми в погоню за Святополком.

— Все едино, княже, пока жив твой брат, не знать тебе покоя,— пряча свои бегающие глазищи, промолвил варяг.

— Не зови его братом. Суть братоубийца.

— А кто убивает, тот сам достоин смерти.

— Не стану убийцей.

— На то есть люди,— улыбнулся Эймунд,— княжье дело — платить.

— Пошел прочь,— снова сказал Ярослав,— глаза б мои не видели тебя.

Эймунд спрятал улыбку в бороде, вышел из княжьих сеней. А ночью взял с собой десять конных варягов да еще коня в запас и тронулся из Киева на запад.

Ситник опасался более всего, чтобы его не обманули. Подсунут какую-нибудь бабу, назвав ее княгиней, а как узнаешь, ежели отродясь не видел Ярославовой Ирины? А от Болеслава можно ждать всего — коварный человек он. Вот почему долго размышлял боярин, кого бы взять ему с собой, и решил пригласить пресвитера Берестовской церкви Иллариона. Человек бывалый, набожный, семейство князя знает вельми хорошо, на него и положиться можно, хотя во всем мире, откровенно говоря, трудно положиться на кого-либо. К Бугу с той стороны первыми подъехали польские посланцы с русской княгиней. Ситник не торопился, потому что могли еще и не приехать, а он бы стоял над рекой как дурак. Точно так же не спешил он со своим посланцем и дождался все-таки с противной стороны человека на переговоры. Было решено, что с каждой стороны предварительно должны убедиться, в самом ли деле там княгиня Ирина, а тут дочь Болеслава. Когда и это сделали, и пресвитер Илларион возвратился с того берега, и, осенившись крестом, поклялся перед Ситником, что нет подмены, боярин дальше стал морочить голову супротивным посланцам, добиваясь, чтобы обмен прошел на середине реки таким образом, что два челна с высокими княгинями сблизятся, гребцы придержат челны вместе, а княгини перейдут каждая к своим, по возможности одновременно, хотя желательно, чтобы княгиня Ирина первой перешла, потому что она с дитятей, да и земля Русская — больше Польской, а сказано ведь: кто покорится перед высшим, тот заслуживает большой хвалы и добротой излучается его лицо.

Все это рассказывал Ситник потом самому князю Ярославу, и лицо его сверкало не столько добротой, сколько прозрачными капельками пота самовлюбленности и чванства, вызванных хорошо исполненным повелением.

— Хотели обмануть меня, да не тут-то было.

Болеслав, однако, обманул не Ситника, что было бы слишком мелким для такого великого и славного человека,— он обманул даже историю. От своей третьей жены Эмнильды он имел сыновей — Мешка, который впоследствии унаследовал престол (к сожалению, ничего больше, ибо не прозвали его Великим, как Болеслава,— а Гнусным), и Оттона, а также двух дочерей, одна из которых родилась со значительными телесными изъянами и, собственно, навеки бы осталась неза-

мужней, если бы не имела высокого происхождения, другая же была Регелинда. Первую дочь Болеслав выдал за немецкого маркграфа Германа, владения которого граничили с польскими землями и которому, следовательно, приходилось заискивать перед таким могучим властелином, как Болеслав. В свою очередь, Герман всегда выступал за своего тестя перед германским императором, хотя и упрекал иногда Болеслава за его дочь-калеку. Но польский князь хорошо знал, что разделил своих дочерей именно так, как нужно: худшую — для графа, ибо что такое маленький граф между двумя землями? А лучшую — для князя Киевского, который превосходит всех и славой, и богатством, и могуществом. Но когда со Святополком ничего не вышло и Регелинда возвратилась к отцу с пустыми руками, хитрый Болеслав предложил графу Герману отправить свою несчастную супругу в монастырь и жениться на ее сестре. Это устраивало всех, кроме той, которая должна была идти в монастырь, но ее не принимали во внимание. Регелинда же стала графиней, и когда позднее в Наумбурге сооружался собор, на его портале рядом с фигурой графа Германа была высечена также и фигура Регелинды. Граф Герман стоит задумчивый и чуточку печальный. А Регелинда и в камне осталась сама собой: с женской небрежностью придерживает на себе одеяние и смеется лукаво и соблазнительно. Так ее и прозвали — Смеющаяся Полька. Болеслав же распустил слух, что имел не двух, а трех дочерей, что Регелинда — это вторая, а за Святополком была лишь третья; никто не мог разобраться в обмане польского властелина, даже епископ из Мерзебурга Титмар, который стал участником похода на Киев и описывал каждый шаг Болеслава, а перед тем описывал жизнь польского князя, начав, кажется, еще до постригов [1],— и тот ничего не мог понять в запутанности таинственной семейной жизни Болеслава и не решился назвать имена дочерей...

Ясное дело, ни Ситник, ни даже Ярослав не могли об этом знать.

А через некоторое время поздней ночью прискакали в Киев варяги во главе с Эймундом, и тот пошел прямо в покои князя, попросился к Ярославу, оторвал его от чтения священной книги греческой, положил к ногам князя — так, чтоб падал свет от свечки,— что-то темное, круглое, страшное.

— Узнаешь ли, княже?

[1] Постриги — обряд, которым в древней Руси торжественно ознаменовывали переход мальчика в отроческий возраст.

Ярослав вздрогнул. На него смотрели мертвые окаянные глаза Святополка.

— Великий подвиг храбрости свершили мы,— гордо промолвил Эймунд.— Велишь похоронить брата с почестями?

— Сам займись. А я молиться буду,— ответил Ярослав и отвернулся.

Жаль, что Ярослав не выслушал Эймунда,— ему было о чем рассказать. Лихое было дело. Настигли они лагерь Святополка уже у самых Карпат. В старом дубовом лесу, прозрачном и бодрящем. Роскошный четырехугольный шатер князя, с высоким стягом Святополка вверху (на белом поле — две скрещенные золотые стрелы), стоял под развесистым дубом. Такие дубы когда-то посвящались богам, а этот дуб Эймунд посвятил смерти. Его люди, переодетые в такую же одежду, как и у свиты Святополка, не прячась, нагнули дубовые ветви над княжеским шатром, привязали крепко веревкой верх шатра и стяг, словно бы для укрепления от бурь или вихря. Когда вечером князь начал свою трапезу, Эймунд переоделся нищим, нацепил козлиную бородку, обошел весь лагерь, прося милостыню и присматриваясь к расположению. А ночью, когда все уснули, Эймунд с двумя варягами подкрался к шатру, перерубил веревку, дерево распрямило свои ветви, подняв при этом в гору сразу весь шатер, свечи в шатре погасли, варяги бросились во тьму прямо к постели князя и начали наносить удары вслепую, но безжалостно и метко. А потом, захватив голову убитого, бросились бежать...

Обо всем этом Эймунд мог бы поведать князю. Но зачем? Скальды сложат об этом сагу и будут петь ее долго и повсеместно, и прославится Эймунд еще больше, чем до сих пор, а от князя ему нужно лишь золото, и он его получит.

Странно устроено княжье ухо: оно слышит только то, что приятно слышать князю. Уже и раньше среди людей пронесся слух о невинно убитых юных князьях Борисе и Глебе, но только теперь, после смерти своего самого грозного соперника Святополка, стало известно Ярославу про чудеса в Вышгороде, где был похоронен Борис, и о нахождении тела Глеба на реке Смядыни. Страшным огнем обожгло ногу варягу, когда он наступил на могилу князя Бориса, другому варягу скрючило руки, потому что он хотел опереться о крест на Борисовой могиле, потом беспричинно вспыхнул верх Вышгородской церкви святого Василия, и церковь сгорела дотла, но все ее богатство сохранилось неприкосновенным. Тело же Глеба, которое лежало четыре года непохороненным, брошенным на

растерзание вороньё, сохранилось нетленным, и ночью над ним являлся столб огненный, будто пылающая свеча, и ангельское пение слышалось всем, кто мимо проходил,— и пастухам, и ловчим людям...

Конечно же убийцей братьев был Святополк, этот окаянный князь, который ради собственного блага готов был продать родную землю чужестранцам; однако чудесные знаки из могил невинно убиенных князей упорно связывались с варягами, а всем ведь было ведомо, что варяги крутились только в службе Ярослава, потому и вознамерился он отправить все их дружины из Киева, а потом позвал пресвитера Иллариона, заменявшего покамест епископа, поскольку Анастас Корсунянин бежал с Болеславом в Польшу да там уже и умер от глубокой старости, и поведал про братьев своих мучеников. Тело Глеба было перенесено со Смядыни и похоронено возле Бориса. Потом Илларион собрал весь клир киевский и всех попов, крестным ходом повел их на Вышгород; Ярослав тоже шел с ними, отказался от коня, весь этот дальний и нелегкий путь он перенес, несмотря на искалеченную ногу, и после молебна над невинно убиенными заложил князь клеть на место сгоревшей церкви святого Василия с тем, чтобы соорудить здесь храм в честь Бориса и Глеба.

И в Киеве все строилось после пожара, который свирепствовал здесь при Болеславе и Святополке; Ярослав не успевал восстанавливать церкви — пылал Киев во время нападения печенегов, только успели малость обновить церковь, как снова пришел Болеслав, снова напустил печенегов на стольный город, осквернил церковь Богородицы каменную, сгорели все деревянные храмы, были разрушены церкви и даже поруб; теперь Ярослав велел строить все без спешки, ибо уже уверен был в долговечности своего княжения, а сам намерился пойти с женою в Новгород, чтобы там, в соборе святой Софии, окрестить своего первенца, назвать его в честь отца своего Владимиром и провозгласить будущим князем Новгородским, потому что род Ярослава должен был теперь укорениться по всем русским землям. Хорошо ведал Ярослав, какой удар наносит он Коснятину. Но что поделать? Тяжкие годы бесконечной борьбы научили его все чаще думать о паследстве, об отчизне, не раз и не два, вспоминая о князе Владимире, Ярослав понимал: нужно делать все, как было. Ничего не нарушать, а если нарушишь — все уйдет из рук. Государство держится устойчивым порядком. Князь Владимир раздавал земли своим сыновьям — раздавай и ты. Чужих не допускай.

Сегодня он изрубит твои лодьи, как это сделал Коснятин, а завтра вознамерится и голову твою срубить...

Княгине понравилось намерение Ярослава. Неузнаваемо изменилась она после возвращения от Болеслава. Стала мягкой, ласковой, доброй, влюбленной в князя.

— Ты должна родить детей мне ежегодно,— обрадованно сказал Ярослав,— тебе это к лицу, от этого ты становишься словно бы святой.

— Все едино не народишь сыновей на все русские города,— засмеялась Ирина,— слишком много у тебя городов.

— Будет еще больше,— гордо пообещал Ярослав.

Из-за варягов между ними возникла стычка. Ирина требовала оставить в услужении хотя бы небольшую дружину, Ярослав же твердо решил отправить всех.

— Нужда возникнет — позовем,— сказал он твердо.

Тогда княгиня поставила свои условия. Молчала с момента приезда в Киев, но теперь наконец не стерпела.

— Если же так,— сказала с холодностью, знакомой Ярославу с их первых новгородских дней,— тогда послушай меня.

— Изволь,— Ярослав думал, что речь идет о каком-то капризе женском, и уже готов был сразу же удовлетворить, но она сказала совсем о другом, Ярослав никак этого не ожидал.

— Не хочу больше видеть твоего боярина на княжьем дворе.

— Какого боярина? — удивился князь.

— Этого... мокрого, который всегда отвратительно потеет...

— Ситника?

— Не знаю, как зовется, и ведать не хочу.

— Да чем он тебе?

— Страшный человек.

— Он спас мне жизнь,— сказал князь.

— Не хочу, чтобы он был здесь.

— Но ведь это же — единственный верный мне человек.

— У тебя есть жена.

— Не могу уважить твою волю,— твердо сказал Ярослав,— ты жена моя возлюбленная, но дела державы стоят всего превыше. Не мы делами управляем, а они — повелевают нами. Но обещаю: ты не увидишь больше боярина Ситника перед своими очами.

— Это уже лучше,— вздохнула Ирина,— чего не видишь, то для тебя не существует.

Она не изменила холодного своего тона, и Ярослав впервые, кажется, понял, какой жестокой может быть жена, а еще подумал, что, быть может, и лучше научиться жестокости у жены.

Ночью он долго не спал, читал, ходил по горнице, потом велел позвать Ситника, тот пришел сонный, взъерошенный, чесал под сорочкою грудь, удивлялся:

— Что-то стряслось, княже? Неужели проспал?

— Ничего не стряслось. Знай отныне: будешь приходить ко мне только ночью по делам, чтоб тебя на княжьем дворе никто днем не видел. Понял?

— Да, княже.

— Иди спи.

— Какой же теперь сон? Тревога не даст спать. Что-то, видать, случилось, да только ты не говоришь своему рабу, княже.

— Сказано же: ничего. Договориться с тобой хотел. Идем в Новгород. Ты чтобы был возле меня и чтобы не было тебя. Как дух святой. Понял?

— Ага, так.

— Иди.

Ситник наклонился, поцеловал руку князю, дохнул на Ярослава горячим духом потного тела. Ярослав стерпел. Все должен терпеть во имя дел державных. Не ты ими, а они тобой повелевают.

А потом сияли свечи в новгородском храме Софии, возносился сизый дым из кадил над Ярославом, над его женой и над сыном-первенцем Владимиром, новым князем Новгородским, гремели торжественные слова одетого в золотые ризы Иллариона: «Да продолжит бог твою жизнь, раздвинет пределы твоей власти, обречет на бесчестие и погибель недругов твоих. Да будет мир твоему владычеству и солнце покоя пусть озаряет подвластные тебе земли, и да будут уничтожены все твои враги, и да подарит тебе непреоборимую силу в руках всевышнего, ибо ты возлюбил истинное имя его и поднял руку на его врагов».

— Я ли тебе враг, княже? — допытывался Коснятин глубокой ночью, когда уже закончено было пиршество и величание новорожденного князя Новгородского Владимира. Посерел, осунулся, постарел сразу, куда девалась красота, куда девалась удаль.— Разве же не я был тебе первой опорой, первой подмогой во всем?

Ярослав молчал. Утомился за день, знал, что придется

объясняться с Коснятином, знал, что придется быть даже жестоким, но что же? Быть властелином мягким — вредная вещь, уже не раз и не два он убеждался в этом. Суровым будь, твердым, непоколебимым, каким был его отец князь Владимир, каким прослыл и польский князь Болеслав,— и тогда достигнешь великого, и народ забудет о твоей суровости и о жестокости не вспомнит, а возвеличит тебя за высокие дела.

— Родичи мы,— напомнил Коснятин,— должны держаться друг друга...

— Не стояли наши зыбки под одной крышей,— хмуро сказал Ярослав,— а держаться должен государства, его повеление выполняю, и выше этого нет для меня ничего. Первый сын — первый князь. Так повелось от отца и деда. Таков закон.

— Разве же мало земель? — Коснятин еще не утрачивал надежды уговорить Ярослава. Все равно ведь сын еще мал, младенец, не будет княжить до шестнадцати лет, кто-то же должен сидеть в Новгороде.— Все города вольны. Имеешь только братьев — Мстислава, но он ведь далеко, да Судислава, а этот сидит тихо в своем Пскове.

— Новгородская земля после Киева — первейшая. Отец мой сажал здесь сыновей своих, не отступлю и я.

— Забыл ты, княже, про все,— зловеще молвил Коснятин,— забыл, как отдавал тебе Новгород не только добро свое, но и честь, поддерживая твою сыновнюю дерзость и преступную непокорность супротив отца твоего.

— Твое то было наущенье,— спокойно напомнил ему Ярослав.

Но Коснятин не слушал. У него дрожали губы, он весь дрожал и, если бы мог, изрубил бы князя мечом, наверное; все в нем содрогалось, все плыло перед глазами, метались сюда и туда огни свечей, не было в них привычной золотистости и тепла — была темная кровь, черный дым, словно бы горели на том огне все надежды Коснятина.

— Забыл ты, княже,— повышая голос, уже гремел Коснятин,— как не спал я ночей, как угождал тебе, как наложниц твоих нянчил, отдавал им земли новгородские извечные...

— Про наложниц не бреши! — повысил голос и Ярослав.— Была одна девушка, честная и чистая, богу теперь служит, почто врешь!

— Забыл, княже, и про то, как побил варягов и новгородцев, чтобы покрыть злодейство тяжкое братоубийства, а люди ж все равно узнают...

— Про что молвишь? — Ярослав подошел к Коснятину, прихрамывая сильнее, чем обычно, наклонялся чуть ли не к земле, угрожающе, зловеще говорил тихо, почти шепотом: — Про какое братоубийство?

— Глеба кто убил? — хрипло спросил Коснятин, немного пугаясь своей откровенности, но уже не имея возможности отступать.— Скажешь, не ведал? Не знал? Не догадывался, куда бежали твои варяги, твоя ближайшая охрана?

— Какие варяги? — Вот оно наконец! Восторгался когда-то красавцем этим, этим человеком, который все умел, всегда был весел, потом прошел первый испуг после той ночи, когда он изрубил лодьи на Волхове, но это был лишь испуг неосознанный, когда князь лишь насторожился, первая лишь тень промелькнула между ним и Коснятином, и, выходит, не зря. Страшный это человек.— Что молвишь?

Теперь Ярослав уже дышал прямо в бороду Коснятину. Если бы не княжье достоинство, быть может, уцепился бы ему в горло, чтобы он не смог сказать ни слова, но одновременно и хотел услышать все до конца, испить горькую чашу до дна, ибо все равно ведь некуда деваться, дела сделанные — уже сделаны.

— Глеба убили твои варяги, а ты не воспрепятствовал тому! — крикнул Коснятин.

— Тихо! — зашипел Ярослав.— Что мелешь? Пьян или бесы в тебя вселились? Что бормочешь? Ведаешь ли, на кого напраслину возводишь?

— На тебя,— с ненавистью промолвил Коснятин.

— Не ведал я ничего. Впервые от тебя...

— А ведать и не нужно, догадывался ж все едино...

В самом деле, маловероятным казалось, чтобы Святополк успел наслать убийц на Глеба аж под Смоленск. Но кто, кто же тогда думал об этом? Святополк убил Бориса — все об этом знают, убил Святослава Черниговского, а кто поднял руку на одного и другого брата, тот мог поднять ее на всех. Где Борис, там и Глеб. Все покрыла гибель Святополка окаянного.

— Это ты его убил,— теперь у Ярослава не было сомнений,— убил брата моего, чтобы связать меня навеки и опорочить...

— А ежели и так? — процедил злорадно Коснятин.— Слову княжьему верить невозможно. Следует обо всем подумать, все предусмотреть...

— Поверишь моему слову,— думая над чем-то, казалось совсем другим, медленно промолвил Ярослав.— Еще поверишь.

— Угрожаешь? Покличешь свою гридь, велишь меня связать? — Коснятин выпрямился, стал самим собой, бледность исчезала с его лица и шеи.

— Поверишь,— повторил Ярослав и отвернулся от Коснятина.— Пошел вон! Не желаю видеть тебя здесь!

Коснятин не стал пререкаться. И так наговорил больше, чем нужно. Не сдержался. Но знал: раз князь не вызвал стражу, нужно поскорее уходить отсюда. За княжьим двором опасности не будет. Там Великий Новгород! Там все в его, Коснятина, руках. Еще видно будет! Еще увидим!

Пятясь к двери, неслышно выскользнул из горницы, быстро проскочил через просторные сени, торопливо спускался по ступенькам вниз, ступая на носки, чтобы меньше было шума в ночном тереме.

А Ярослав не спеша хлопнул в ладоши, из внутренних покоев показалась голова Ситника.

— Надобно, чтобы посадник не вышел за ворота,— спокойно молвил князь.

— Ага, так!..— обрадованно сказал Ситник, потирая руки.

— Почто ж стоишь? Делай, что велят.

— А уже,— весело глянул на него боярин.

— Как это? Кто дозволил?

— Догадался сам.

— Подслушивал?

— Само послышалось.

— Так все знаешь?

Ситник смотрел на князя ясными, собачьими глазами.

— Тогда запомни: трое людей на всей земле знают: я, ты и Коснятин. Коснятина уже не выпустим. Ежели узнает хоть один человек — головы тебе не сносить. Понял?

Ситник смотрел не мигая.

— Куда поденем посадника? — спросил князь.

— А в поруб,— весело промолвил Ситник,— я это знаю вельми хорошо. Был у меня поруб еще в медоварском доме.

— В Новгороде в порубе его не удержишь. Знают все, снюхался со всеми богатыми людьми, его имения вокруг...

— Заберем в Киев.

— Зачем же враг под боком?

— Так в порубе же...

— Не хочу и такого... Надобно спровадить его в землю

Ростовскую. Есть там у меня верные люди. А к порубу приставить из мери или чуди, чтобы никто не понял речи узника, чтобы слова его летели по ветру...

— Мудро придумал, княже...

— А отправь его еще сегодня ночью,— Ярослав не смотрел больше на Ситника, говорил размеренно, словно бы вычитывал из книги.— Забить его в колодку, дать надежную и верную стражу, запретить, возбранить молвить хотя бы слово, а ежели — сверх ожиданий — колодник станет изрекать непристойные слова, тогда положить ему в рот кляп и вынимать лишь тогда, когда харч будут давать. Кормить же — хлебом слезным да водою.

— Ага, так! — кивал Ситник, безмерно обрадованный первым державным поручением от князя.

— Иди! — велел Ярослав.

Ситник исчез. В низкой горнице долго еще разило его потом. Казалось, будто целая лужа этого смрада осталась там, где только что стоял боярин; Ярослав даже невольно двинулся, слегка прихрамывая, к тому месту, дабы убедиться, что это не так. Легко Ирине заявлять про свою брезгливость к Ситнику, а как быть ему? Каждый правитель вынужден терпеть холуев. Знаешь, что это подлый человек. Знаешь, что подхалим, любит не тебя — он любит лишь себя, лишь свою шкуру. Знаешь и... ничего не можешь поделать. Ибо нет у тебя по-настоящему близких людей, пугает тебя одиночество и пустота, создаваемая вокруг тебя властью, проклятый круг одиночества окружает правителя, никто не отваживается вступить в этот круг, лишь лакей вползает туда на брюхе. Скользкие животы у холуев, орошены холодным потом вечного страха и жиром подлости.

Был еще пресвитер Илларион. Человек верный, почтительный, мудрый, но слишком уж далекий от дел земных, все пытался просветить Святым письмом, а ведь не все в жизни укладывалось в это письмо — Ярослав теперь видел это очень отчетливо. Знал и другое: склонялся к нему сердцем Илларион не за его собственные заслуги и высокие качества, а за то, что опомнился после смерти отца и каждый день выражает почтение князю Владимиру, которого Илларион любил безмерно, потому что покойный князь поднял Иллариона из нижайших низов, снарядил на собственные средства в ромейские земли, обучил всему, поставил в своей дворовой церкви на Берестах — разве же этого мало, чтобы весь век молить бога за князя Владимира?

Так Ярослав и разделял свои заботы и досуг между делами духа вместе с Илларионом и тайными делами державными, в которые посвящал лишь Ситника. И Ситник оказывал князю неоценимую услугу.

Маленький князь Владимир заболел, Ирина побоялась отправляться с ним в дорогу, в далекий Киев, а поскольку Ярослав торопился туда на освящение вышгородского храма, поставленного в память невинно убиенным Борису и Глебу, то решено было, что княгиня останется в Новгороде на более длительное время, до тех пор, пока князь приедет за нею вновь. В Новгороде Ситник не говорил ничего, а в Киеве, в одну из ночных своих встреч с князем, сказал:

— Выведал я кое-что про Шуйцу-игуменью.

— Кто просил? — Ярослав не дозволял Ситнику вмешиваться в дела княжьи, семейные и личные, боярин знал это и придерживался запрета, но теперь почему-то вот нарушил.— Что ты там вынюхал?

— Дочь имеет.

— Что?

— Дочь имеет,— Ситник, видно, боялся говорить дальше, но Ярослав и не хотел от него больше ничего слышать.

— Иди с богом,— сказал неласково.

Ситник выскользнул из горницы, а князь горько улыбнулся: и эта таится от него. Встала между ними держава — и уже нет ни тех ночей, какие были в дождливом лесу, ни темного кипения крови, ни сверкания ее душистого тела. Дочь... Чья? Где? Наверняка же его дочь. Первая. Еще до Владимира. Но почему же промолчала? Ни тогда, ни в этот раз, когда не побоялся и Ирины в Новгороде, ездил в Задалье, якобы осмотреть околицы, а сам тем временем помчался в женский монастырь, к игуменье Марии-Шуйце, и казалось им тогда, что все оживает вновь, все возвращается, они становятся моложе и чище в своей близости, так, будто ничего и не случилось за это время. И, однако ж, промолчала. Ничего не сказала. Даже намека не было. А он торопился, у него не было времени на расспросы, у него нет теперь времени ни на что. Не волен был ни в своем времени, ни в деяниях. Да и кто волен? Даже бог — всеблагий и всемогущий — может быть одним лишь богом, и никем другим,— следовательно, и он ограничен в своих действиях,— так что уж тогда говорить про князя?

Пока Ярослав был в Киеве, его племянник Брячислав внезапно вырвался из своего Полоцка, пошел на Новгород, взял

его, разграбил, захватив в плен княгиню Ирину с сыном Владимиром, так, словно суждено ей то и дело быть жертвой налетчиков, и поскорее удрал в свое родовое гнездо. Но Ярослав имел теперь под рукой Ситника, а у Ситника были всюду верные люди; он получал вести без промедлений — канули в прошлое те времена, когда князь узнавал обо всем позже всех; Брячислав еще бесчинствовал в Новгороде, а Ярослав, взяв войско, что тысячами считать было нечего, быстрым ходом пошел ему наперерез и догнал коварного племянника на реке Судомир, разбил в коротком бою, вынудил заключить союз, сказал:

— Будь со мной един. Не караю тебя только в память моей матери, а твоей бабушки княгини Рогнеды, но это уже в последний раз. Запомни.

Был в Новгороде, был у Шуйцы, учинил ей допрос, но ничего не узнал о дочери.

— Не слушай вранья, княже,— сказала Шуйца.

— А ежели это такое вранье, что в нем есть и правда?

— Все едино не слушай, ибо далеко заведут тебя наговоры.

Снова уезжал от нее ни с чем, всегда уезжал от нее так, оставалось в ней что-то такое, чего не возьмешь, тянуло его потом к ней снова и снова, какое-то бесовское колдовство было в этой молодой женщине, господи, господи...

Старший брат Мстислав до поры до времени спокойно сидел в своей Тмутаракани. Именно тогда, когда между Ярославом и Святополком вспыхнула стычка за Киевский стол, Мстислав вместе с ромейским войском пошел на хозар, докучавших и ему и ромеям; императоры константинопольские называли его Твое Великородство, каждый раз посылали дорогие дары: украшенные жемчугами золотые кресты, золотые сундучки со священными мощами, сердоликовые чаши и хрустальные кубки, украшенные дорогой эмалью астропелеки[1] для княжеской одежды, цветистые влаттии и готовые одеяния из царских кладовых. Нрав у Мстислава был забиячливый, веселый, он сам часто ходил на соседей и воев своих посылал к ромейским императорам на службу,— дескать, и вам достанется слава и богатство, и князю кое-что перепадет. Когда в Южной Италии вспыхнуло крупное восстание во главе с богатым купцом Мелесом, на подавление восставших под начало византийскому катепану Василию Аргиросу

[1] Астропелеки — пряжки.

Мстислав дал несколько сот своих воинов; Мелес был разбит, и уже, наверное, был бы и конец этому восстанию, если бы не новый германский император Генрих да не римский папа, поставленный Генрихом, Бенедикт Восьмой. Вновь возродилась повстанческая армия, пошла на византийские твердыни, захватила большую часть Апулии. Император Василий завершал разгром Болгарского царства, войск у него было в обрез, поэтому снова прибыли послы к Мстиславу, и еще одна его дружина направилась за море и влилась в войско катепана Василия Бойоаннеса. Происходило это именно в тот год, когда Ярослав пошел на Брест, возлагая надежды на свой договор с императором Генрихом. А у Генриха были свои хлопоты: и с Болеславом, и не меньшие — с Италией. Он был убежден, что вся Италия должна принадлежать его короне. Много у него было связано с этой землей. Венчался там в Павии железной короной на императора. Там же, в Павии, напали на него забиячливые итальянцы; спасаясь от них, он выпрыгнул из окна дворца и повредил себе ногу. Его прозывали с тех пор Генрихом Калекой, не возлюбил он Италии, но и отдавать ее никому не собирался. Теперь, считая, что Киевский князь послал своих воинов на подкрепление враждебных ему ромеев в Италию, Генрих не только бросил Ярослава одного, но еще и примкнул к Болеславу в его бесчестном походе на Киев. Не знал император германский, что Ярослав ни в чем перед ним не виновен, что к ромеям посланы воины Мстислава: велика была Русская земля, и трудно было разобраться, что там происходит.

И вот пока Ярослав в трудах и крови добывал престол, Мстислав собирал золото, пировал в неведомой дали, склонный к гневу и любовным развлечениям, самовлюбленный властелин Тмутаракани, до которой, кажется, не дотянулся и сам князь Владимир, а Ярослав покамест и не помышлял покорять старшего брата, точно так же как и младшего — Судислава, который тише воды ниже травы сидел в своем Пскове.

Но вот однажды вполз в ночную княжью горницу Ситник, молча подал Ярославу свиток березовой коры, отступил в темноту.

— Что сие? — спросил Ярослав, приближая свиток к свету свечи.

— Грамотка от Коснятина.

— Что-о? Как это — от Коснятина?

— Не знаю. Перехватил по пути.

— Где?
— На Волге.
— Длинные руки имеешь. Кому грамотка?
— Князю Мстиславу.
— Читал?
— Разобрал, хотя и с трудом.
— Никак не научишься?
— Тяжело.
— Что написано?
— Прочти, княже.

Ярослав развернул бересту. Узнал твердую руку Коснятина. Сидение в порубе на хлебе и воде еще не забрало, вишь, сил. Буквы были круглые, крупные, складывались в безжалостные слова: «Расправился Ярослав с братией. Доберется и до тебя. Чего сидишь, княже?»

Не стал дочитывать, посмотрел на Ситника:

— Что посоветуешь?

Тот молча переступал с ноги на ногу.

— Говори.

— Княже,— почти жалобно промолвил Ситник,— зачем спрашиваешь, ежели всегда делаешь по-своему?

— Разве? — удивился князь.— А мне казалось, что ты подсказываешь.

— Только Илларион способен на такое. Его слушаешь.

— Не Иллариона — бога,— сурово промолвил Ярослав,— ну а Коснятин пускай попробует опровергнуть содеянное чудотворением...

— Каким же? — быстро спросил Ситник.

— Не знаю. Тебе знать.

— Раскаленным железом? — так же быстро спросил боярин.

— Не знаю.

— Коснятин богатый человек,— вздохнул Ситник,— подкупил, видно, всех в Ростове. Кому верить?

— Хвалился же своими людьми!

— Кто устоит перед пенязем? — снова вздохнул Ситник.

— Переведи его куда-нибудь еще,— сказал князь,— подальше. В Муром.

— Ага, так.

Страшное это было дело: княжение над всей землей. Сколько разбил он врагов, сколько построил городов и церквей, сколько раз отворял житницы княжьи для голодающих, обучал темных, водил праведные суды, карал сдирщиков, но

никто этого не замечал, о нем не пели песен, как про князя Владимира, не получались у него такие пышные пиры, как у отца-покойника, должен был бы еще что-нибудь сделать великое и дивное, но не знал что, мучился от мысли, от бессонницы, чувствовал, как стареет не по годам, а по дням, еще чувствовал, будто не мудреет, а постепенно словно бы глупеет; как стал княжить, так и начал бороться с собственной глупостью, которая, чувствовал это очень отчетливо, наползала на него, будто черная ночь на слепнущего или вода на того, кто не умеет плавать. Вот так стоишь и расталкиваешь руками две водяные стены. Сойдутся воедино — и ты погиб. Не дашь им сомкнуться над собой — останешься человеком мудрым.

На подставке у Ярослава постоянно лежала подаренная ему Коснятином в день свадьбы греческая книга Святого письма с дорогими эмалированными закладками; развернул книгу князь уже значительно позднее, тогда, когда уже впервые сел на Киевском столе, развернул и немало удивился тому, что закладки сделаны были Коснятином на тех местах «Книги царств», где речь шла про царя Соломона,— умышленно сделал это Коснятин или же вышло случайно, поскольку посадник, сдается, не умел читать по-гречески. Множество раз Ярослав перечитывал тогда полюбившиеся ему слова: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?»

Но с течением времени он все больше находил соответствующие слова к событиям, которые происходили вокруг него, происходили с ним самим и его княжением, и все это в местах, отмеченных закладками Коснятина, так, будто это сделал и не он, а высшая воля указала, куда положить украшенные эмалью пластинки.

Про Анастаса Корсунянина, епископа киевского, который отдал все богатства церкви Богородицы Болеславу, приветствовал приход польского властелина в Киев, бежал потом с ним, когда же попросился назад, Ярослав не пустил его в Киев и тот умер на чужбине:

«А священнику Авиафару царь сказал: ступай в Анафоф на твое поле; ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой».

Поставить на место Авиафара Анастаса, а на место царя Давида — князя Владимира — и все совпадает.

Про Святополка:

«Царь сказал ему: сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего. Да обратит господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его...»

Иоав — это Святополк, а двое невинно убитых — Борис и Глеб. Совпадает.

Про Брячислава:

«И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь; кровь твоя будет на голове твоей».

На Судомире так и сказано было Брячиславу. Совпадает.

Про самого Коснятина:

«Ныне же,— жив господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он,— ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон Ванею сына Иодаева, который поразил его, и он умер».

Адония — Коснятин. Ванея же — боярин Ситник. Совпадает.

И еще множество раз, как и у Соломона: «И послал царь Ванею, который поразил его, и он умер».

Откуда взялся Ситник? И зачем он? Не лучше ли было прислушаться к словам княгини в ее брезгливости к потливому боярину?

Сказано князю, что из Древлянской земли вышел старый волхв. Был на нем кусок берестяной коры, прикрывавший срам, да на плечах волчья шкура для подстилки; питался подаяниями, имел при себе тоболы, полные берестяных свитков, в которых записаны слова великие и ужасающие. Гибнет все старинное, сжигается, топчется, исходит кадильным дымом под облака, а на земле не остается ничего, земля стоит голая и ободранная, погибли древние боги, а которые и остались, то подкапывают их в пущах дики, хлещут дожди. Пересказать все сказанное святым было невозможно. Нужно было слышать от него самого. Он шел вдоль рек из диких пущ, направлялся на Чернигов, обходил Киев издалека, словно бы ловил его в петлю своих наговоров, люди отовсюду собирались послушать святого. Земля Древлянская испокон веков насылала из своих таинственных лесов всякие чудеса, но это было едва ли не самое большое чудо.

Среди людей пошел слух, что волхв — святой. Обуздывал

лютых зверей так, что хвосты у них закручивались собачьим бубликом, а головы становились ласковыми, как у женщин. Имел при себе отрока вельми мудрого, который подтверждал все слова старого волхва.

Лето стояло знойное, горели леса, травы, вспыхивали села и города. Появились знамения на небе. Надвигалась, судя по всему, беда.

Ситник долго крутился, пока отважился доложить князю про святого человека.

— Святой? — князь даже не удивился.— Как это?

Но Ситник был перепуган не на шутку.

— Смотри на меня, княже, взгляни мне в глаза. Молвлю правду. Все говорят: святой.

— А ты?

— Не знаю. Впервые в жизни не знаю.

— Святому не место среди людей,— спокойно сказал Ярослав,— зачем его к нам пускать?

— Ага, так,— Ситник умирал от духоты.— Так что же?

— Сказано тебе.

— Ага, так...

— Иди...

Тот исчез, а князь пошел молиться.

В порубе — непостижимость. Все дело в том, что уже не можешь остановиться, если посадишь хотя бы одного человека. Оказывается: это совсем просто и легко, ты не видишь его, он не видит тебя, и ты живешь себе дальше, будто ничего и не случилось, и княгиня тебя целует с прежним жаром, и подданные предупредительно заглядывают в глаза, и бог тебя не карает. Тогда ты пробуешь посадить еще одного и еще (а причину всегда легко найти, причина всегда одна и та же: ради государственного блага!) — и снова все идет по заведенному порядку, все хорошо, потому что государство всегда требует жертв и нужно его удовлетворять.

Кроме того, когда ты отнимаешь волю у других, тебе кажется, что прибавляешь ее себе. Тогда появляется дикая жажда лишить воли как можно большее количество людей, не разбираясь, виновны они или нет. А отмерено всегда каждому — лишь на одного. От рождения до смерти.

Спустя некоторое время Ярослав спросил у Ситника:

— Где святой?

— Тут, в Киеве.

— Где?

— Там, где следует. В порубе.

— Приведешь незаметно ко мне. На Бересты.

— Но там нет ведь поруба! — Ситник был немного обижен: как это так — не иметь на княжеском дворе поруба?

— Выррой пещерку в глине. Глина сухая, хорошая, успокаивает человека. Нигде нет такой глины, как киевская.

— Ага, так. Обоих?

— Кто там еще?

— Отрок с ним.

— Отрока приставь на услужение святому.

— Убежит,— сказал Ситник.— Как только выпущу из поруба — убежит.

— Тебя ли учить? Пещеру запри дубовой дверью. А отрок и так не отойдет от своего учителя. Ты же от меня никуда не удираешь?

— Так это ж я, княже.

— Все люди одинаковые.

— Но ведь ты, княже...

— И князь — человек. Ежели бы ты не был таким темным, то мог бы узнать кое-что про владык земных. Римский император Марк Аврелий, великий труженик и философ,— а что может быть выше властелина земного и философа? — так вот он сказал, обращаясь к каждому из нас на высоком месте: «Остерегайся, чтобы не сцезарился, удержись скромным, добрым, искренним, степенным, натуральным в умилении справедливостью и богобоязненностью, будь доброжелательным, милым, доступным, выносливым в исполнении обязанностей».

— Сова про сову, а всяк про себя,— чуточку высокомерно улыбался Ситник,— писано не про нас.

— Грамоте не обучен до сих пор? — спросил Ярослав.

— Счет мне мил.

— Меды продавать?

— Какие меды, княже! Теперь не продаю, лишь покупаю. А покупать тяжело: много нужно. Когда сам варил, только пробовал, теперь варить забыл, пить научился. В стольном граде никто ничего не умеет делать, только пьют да едят.

— Зачем такое говоришь? Собраны здесь наибольшие умельцы. Ценный люд в Киеве живет.

— А по мне — никто ни к чему не способен! Сидят сиднем да супротив князя заговоры ладят. И так по всей земле. Если бы моя воля, то дал бы я каждому человеку определенное число, чтобы знать, где, кто и как. И прибывает тогда к тебе воевода или тиун и докладывает, что Харько из Волчьей

пущи, имеющий число такое и такое, лихословил про всеблагого князя нашего. А уж что князь тогда велит — карать Харька или миловать,— тому и быть.

— Где же ты взял бы время на всех людей, ежели и с землями управиться не можешь? Велика наша держава. То там в ней что-то колотится, то еще где-нибудь кто-нибудь голову поднимает.

— Тогда, княже, так: доверенные люди. Посадить всюду таких, доверенных, проверенных, передоверенных.

Ярославу начинала надоедать говорливость Ситника. Не привык, чтобы тот долго задерживался в горнице, никогда не усаживал его, держал на ногах, чтобы тот знал меру, но сегодня, словно бы в предчувствии беды, боярин разболтался.

— Были уже такие, как ты,— сказал князь с нескрываемой насмешкой,— много лет назад в греческих городах Кротоне и Мегапонте возобладали философы, которые выше всего ставили числа. Под предлогом обожания счета философы объявили регистрацию всех мужчин, при этой оказии заточая всех заподозренных в бунтарских замыслах...

— Так вот и я...

— Тогда,— не слушая его, продолжал князь,— взбунтовался весь народ и прогнал философов. Неужели и ты этого хочешь?

— Что ты, княже!

— Ну ладно. Иди.

Рано ударили морозы, выбили всю ярь и озимые, надвигался и на этот год голод, а в северных землях уже и так пошел мор, неспокойно стало в Новгороде; Ярослав собрал дружину, пошел на усмирение, на всех пяти концах, даже на Неревском и на Славенском, блуждали по Новгороду почерневшие, опухшие люди, каждый день толпища голодных надвигались на княжьи житницы, угрожали, требовали, просили, умоляли, но стража стояла твердо, голодных отталкивали копьями, слишком назойливых били, люди падали возле житниц, наполненных тем самым хлебом, который был выращен руками этих людей, лежали тихо, будучи не в состоянии встать, умирали, так и не поняв странной вещи: как же так, что вон там, за толстыми деревянными стенами житниц, лежит хлеб, выращенный ими, а они умирают с голоду, почему это так и зачем?

Видимо, Коснятин перед самой смертью все же успел переслать из своего поруба грамотку Мстиславу, а может, старший брат и сам надумал потягаться с Ярославом за Киев

и уже давно выслеживал его действия, потому что, как только Ярослав кинулся на усмирение Новгорода, Мстислав собрал свою дружину, взяв в союзники незадолго до этого прибранных им к рукам касогов[1] и хозар, вышел из Тмутаракани, быстро добрался в Киев и начал требовать, чтобы перед ним были открыты ворота города.

Киевляне не пустили к себе Мстислава. Довольно с них было и Святополка с его тестем и дикими печенегами. У них был теперь свой князь, а большего они и не желали. Мстислав, привыкший к битвам в чистом поле, не стал задерживаться у киевских валов, переправился через Днепр и подался на Чернигов.

Снова пришлось посылать Ярославу гонцов за море к варягам, снова прибыла к нему дружина, но уже не Эймунда, а Хакона, который за это время вышел в соперники Эймунду, в особенности же в похвальбе своими подвигами и своим золотым плащом, и вся дружина его подобрана была словно бы не для битвы, а напоказ — высокие, сильные, красивые, все в дорогом одеянии, с драгоценным оружием, враг не выдерживал одного уже вида этой дружины, ослепляла она, обезоруживала своим блеском, своей чванливостью.

Но все это оказалось напрасным, потому что Мстислав время для битвы выбрал почему-то не дневное, как было заведено издревле, а ночное. Войска двух братьев сошлись в Сиверской земле, возле Лиственя, в черную грозовую ночь; Мстислав пустил на варягов сиверян, которым все равно было — днем или ночью биться, земля-то ведь им принадлежала, все для них было известно и привычно, они двинулись на варяг такой лавиной, что те не выдержали, а тут еще ударили из засад касоги, вылетали из дождевых потоков, быстрые, как черные змеи, распугивали варягов своими гортанными, непонятными криками; варяги не выдержали, отступили, бросились врассыпную, бежал и сам Хакон, потеряв при этом свой тяжелый золотой плащ; пришлось бежать и князю Ярославу. Не слышал он, как Мстислав стал на поле боя, освещаемом белыми молниями, и прогремел своим зычным голосом: «Как не тешиться! Тут лежит сиверянин, а тут варяг, а собственная дружина цела!»

Но все-таки человек Ситника каким-то образом услышал эти слова Мстислава, через Ситника стали они известны и

---

[1] Касоги — черкесские племена, жившие в низовьях Кубани.

Ярославу; быть может, из-за этого и побоялся Ярослав садиться в Киеве, снова подался в Новгород, долго собирал там воев, страшась уцелевшей дружины Мстислава, и лишь весной этого года пришел сюда и, заключив в Городке мир с братом, сел на Киевском столе — кажется, твердо и навсегда.

Ирина уже родила сына Изяслава, дочь Елизавету и снова была в ожидании, род Ярослава разрастался, князь утверждался на земле, стал единственным наследником своего отца Владимира — не было уже видимых соперников, но и невидимых хватало; нависали они постоянной угрозой над первым человеком в великой земле Русской: то мор, то голод, то непокой, то смута, а то и просто темнота и нежелание идти следом за своим князем, недоверие к нему,— а чем вызовешь доверие?

Большинство пробует достичь славы в битвах, ужасы и отвратительность которых впоследствии сменяются блестящей героикой песен и легенд. Но чего они достигают? Император ромейский Василий всю жизнь провел в походах, не нашел времени даже для женитьбы, по его повелению знамена побежденных повергались в грязь, привязанные к хвостам ослов, а многим тысячам пленников выжигались глаза,— во имя чего? Вот умер Василий, а на троне сидит его брат Константин, пьяница, развратник, позор не только для империи, но и для всего людского рода.

Или взять Болеслава Польского, прозванного даже Великим. В прошлом году в гордыне своей дошел до того, что короновался на короля (кажется, купив эту корону у папы римского, что ли), но едва лишь два месяца пробыл королем и ночью, неожиданно для своих придворных, а еще больше, наверное, для самого себя, закончил свою бурную жизнь, оставляя властелином Польши сына Мешка, которого германский император Конрад сразу же решил превратить в своего ленника [1]; этот Конрад недавно сменил умершего Генриха Калеку, который тоже огнем и мечом сделал, казалось бы, все для своего утверждения, а вот умер, и прервался его род: на съезде возле Рейна германские маркграфы и епископы избрали императором Конрада, тем самым начав новую императорскую династию...

Голова, накрытая шеломом, отвыкает думать. Ярослав за это время возненавидел походы и битвы, он никогда не любил военного ремесла, а теперь и тем более. Отстаивал, отвоевы-

---

[1] Ленник — вассал.

вал для себя право на спокойное княжение, на дела великие, а теперь имел наконец передышку и вот встал перед неизвестностью: что же дальше? Окружали его бояре, воеводы, шуты, священники, лакеи и пришлые умники, купцы свои и чужие, блестящие иноземцы, толпившиеся главным образом вокруг княгини, которая без ума была от нарядов и велеречивости захожих вельмож; все как-то усложнялось, не было уже тех простых, суровых, иногда, правда, хитроватых людей, все они либо погибли, либо отошли от князя, остался он с этим сборищем; мечтал возглавить народ земли Русской, собрать его воедино, сказать ему что-то особенное, услышать мудрое слово и от него, но народ продолжал и теперь оставаться где-то далеко, в лесах и полях, народ стоял в стороне таким же безмолвным и настороженным, как и во времена детства Ярослава; народ только и ждал, чтобы заявить о своем праве, о своих требованиях: дай мне мое, ибо имею на это право, ибо я живой, ибо я и швец, и жнец, и в дуду игрец!

Пресвитер Илларион, человек умный и начитанный, мог дать ответ на все, что касалось Святого письма, житий великомучеников и святых, но и не больше. Князь Владимир любил окружать себя людьми могучими, буйными, от самого созерцания которых хотелось жить долго, весело и беззаботно, из таких он выбрал и пресвитера своей церкви в Берестах. Илларион больше смахивал на здоровенного кузнеца, переодетого в одеяние священника, однако телесная мощь, видимо, мешала ему иметь гибкость разума, он способен был только на то, чтобы твердо овладеть уже существующим, в его голове вместились все святые тексты и догматы, он знал все хитрости ромейского красноречия и плетения словес, но только и всего. Он был слишком совершенным в своих знаниях, чтобы поддерживать постоянный интерес к себе, утомлял своими знаниями, своим красноречием, в нем ощущалось что-то — то ли назойливость от повторений, то ли уж и вовсе признаки упадка. Ибо разве завершение чего-либо на свете уже не знаменует начала его уничтожения? Так распадается только что заключенный союз между двумя или несколькими государствами. И дом построенный начинает разрушаться с момента окончания его сооружения. И весь город тоже живет в бодром и молодом развитии только до тех пор, пока очертится его ядро. Потом город начинает расползаться, боковые наслоения поглощают бывшее ядро, давшее наименование этому городу, и уже имеем нечто неуклюжее, квелое, болезненное. Не потому ли погибло так много столиц?

А разве мы не умираем, только родившись? Вопрос — в длительности. Никакие молитвы не помогут. Единственное спасение — наполнить свою жизнь высочайшими деяниями, и наполнить как можно плотнее. Тогда жизнь будет долгой и прекрасной.

А собственно, соглашался с князем Илларион, благочестивые поступки, благочестивые деяния — украшение всякого сущего, человек рождается, живет, работает лишь для бога, человек воздвигает храмы не для собственного жилища, а для бога, возводит над ними высокие купола, на которых есть место только для самого бога, и чем выше храм, тем ближе к небу, ближе к конечному назначению человека.

А кто же может возводить высочайшие храмы, если не владыки земли? Ибо разве же царь Соломон не построил дом во имя божье и не прославился во все века своим храмом, а когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его, потому что сотворил бог для этого дела каменного червя шамир, который и раскалывал камень.

Ярослав и не возражал, сам сооружал церкви, ставил их повсюду: и в Ростовской земле, и в Новгородской, и в самом Киеве, хотя тут пришлось прежде всего налаживать все после бесконечных пожаров. Но ведь и самый большой храм первокаменный уже поставлен в Киеве отцом его, князем Владимиром. Что же прибавится для него, если он поставит рядом еще один храм? В самом деле, Соломон был мудр, сказано ведь: «И дал бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря». Но он строил на голом месте. А если ты начинаешь не первым?

И в Константинополе, отвечал Илларион, первым был Константин Великий, а божественный Юстиниан после, но ведь поставил же Юстиниан с божьей помощью храм святой Софии, пригласив гречинов Исидора и Анфимия на это дело, и прославился на века.

Неожиданно на помощь Иллариону пришел Ситник. Правда, боярин знал лишь свое дело, никому, кроме князя, в помощники становиться не собирался, но вышло так, что именно во время продолжительных бесед князя с пресвитером, которого давно не видел и у которого надеялся найти ответ на свои колебания, известил Ситник Ярослава, что его доверенными задержаны подозрительные люди на Залозном шляху. Оказался и старший среди них, по имени Гюргий, как и сам князь,

а идут, сказал, аж из Иверии[1], кто его знает, где она есть, направлялись же к князю Мстиславу в Чернигов.

— Откуда узнал, кто они и что? — спросил Ярослав.

— Имею людей, на всех шляхах разбросанных. Пристают к путникам, выпытывают: кто? куда? зачем?

— Позови этого... Гюргия.

— Приготовил его на всякий случай.

— Зови.

Ситник ввел в горницу высокого, гибкого, чернобородого, белозубого. В черной суконной одежде, подпоясанный дивным серебряным поясом, на шее тоже серебряная цепь, на поясе — короткий меч — акинак.

— Кто будешь? — сурово спросил князь, но на Гюргия суровость не подействовала, он не поклонился князю, лишь еле заметно кивнул головой, не снял острой шапки, выпрямился еще сильнее, прогибаясь в пояснице, засмеялся белозубо, что-то промолвил быстро и непонятно.

— Не молвишь по-нашему? — сказал Ярослав.— Как же беседовать будем? Ромейский язык знаешь?

Гюргий снова засмеялся и снова заговорил на своем языке, взволнованном, будто орлиный клекот. Ярослав улыбнулся. Варяжский язык этот человек знать не мог, латинский — и тем более, может, персидский,— но сам князь тоже не знал персидского.

— Что же мы — перемигиваться с тобой будем, что ли? Ты что, к Мстиславу шел?

— К Мстиславу,— закивал Гюргий и снова засмеялся, видно, воспоминание о Мстиславе вызвало у него радость.

— В дружину к Мстиславу?

Ярослав жестами показал, как орудуют мечом, но Гюргий завертел головой. Он подбежал к стене горницы, встал на колено, показал ладонью правой руки, будто что-то вытесывает, потом начал класть к стене как бы камень на камень, бревно на бревно; Ярослав еще не верил догадке, быстро встал со стула, прошел к обитому серебром тяжелому сундуку, достал оттуда дорогую книгу греческую, развернул, позвал к себе иверийца, показал ему рисунок: на городской стене, за которой виднеются верхушки храмов, несколько веселых бородатых людей кладут камень, подаваемый им снизу простым блочным приспособлением.

Ивериец обрадованно закивал головой, снова что-то проговорил

[1] Иверией тогда называли современную Грузию.

ворил — длинное и жаркое, Ярослав разобрал несколько раз повторенное слово «Мстислав»; этого князю было уже достаточно, чтобы понять, какой славой пользовался его брат еще в Тмутаракани среди строительного люда,— видно, немало поставил там сооружений, если идут к нему из таких далеких краев умельцы. Может, задумал Мстислав превзойти Киев в строениях божьих и светских и сам позвал к себе зиждителей? Но вот случай вмешивается в дело, а может, зто божья воля на то, чтобы ему, Ярославу, стало ведомо про замысел брата, и вот теперь, идя навстречу божьей воле, он должен опередить своего брата и воздвигнуть что-то невиданное и неслыханное?

Ярослав дружески похлопал иверийца по плечу, звякнул в серебряный колокольчик, велел заспанному слуге принести два ковша меду; когда выпили с Гюргием, князь позвал Ситника и сказал ему:

— Найди толковина, чтобы мог я объясниться с этим человеком. Гюргия со всеми его товарищами держи зорко, давай все, чего хотят, важные люди вельми для нас.

А через неделю, когда узнал, что Гюргий и все его товарищи — каменных дел мастера, Ярослав снарядил посольство к ромейскому императору с заверением мира, а заодно и с просьбой прислать умелых украшателей и строителей, чтобы поставили в Киеве церковь великую и славную.

В повседневных хлопотах князь едва вспомнил про древлянского святого, посаженного еще несколько лет назад в пещеру на Берестах. Спросил о нем Иллариона. Тот молча подергал себя за бороду.

— Что так? — улыбнулся Ярослав.— Святые лучше на небе, чем среди нас?

— Злой вельми,— вздохнул Илларион,— не молвит ко мне ни слова.

— Жив еще?

— Жив и крепок.

— А отрок?

— Быстрый к учению и послушен, мягкая это душа.

— Вот и ладно. Пошлешь ко мне отрока, отче.

Но снова забыл или закрутился в повседневных заботах, а тут еще отправился на ловы, чтобы малость дохнуть осенним воздухом, походить по красному листу, вдохнуть пронзительных запахов леса, которые напомнили бы далекие теперь новгородские дни, вернули бы молодость, силу, желание, шум крови в груди, неуловимую, как божий дар, Шуйцу. Эх, Шуй-

ца, Шуйца! Отдаляешься ты от меня все больше и больше, огромные просторы пролегают между нами, и отчужденность все растет и растет, вот уже и мерзкий потный человек вклинивается между нами, выведывая-вынюхивая о нашей дочери, а сам я не знаю ничего, ибо ты не говоришь, ты не веришь мне и уже, видать, никогда не поверишь, господи, господи!

Всё на князя, всё против князя в этой великой и безжалостной земле: и необозримость просторов, и разливы рек весною, и люди в своем вечном недовольстве, и лютые звери.

Княжение — это дело, от которого человек старится быстро, а обессиливается еще быстрее. И когда бежал на Ярослава дик, то уже и не думалось, что найдется сила одолеть его. Да и никто, наверное, не надеялся на спасение князя, и каждый, видно, стоял и думал, кому придется служить завтра, перед кем гнуть спину, кому угождать. Но он живой, и сил у него прибавилось!

— Созывай людей на вепря! — весело крикнул Ярослав Ситнику и одиноко погнал коня в Бересты, опережая тех, которые несли убитого князем огромного вепря.

Никчемное это дело — тратить время на обжорство да на пьянку, когда человеку, чтобы жить, достаточно хлеба и воды, но ничего уж тут не поделаешь, раз повелось так издавна, и даже Спаситель наш превращал воду в вино, чтобы принести радость на пиршестве.

Людей собралось немало — с полсотни, если не больше, на длинных столах навалено было жареного и вареного; вепрь служил лишь зацепкой, была там и оленина, и медвежатина, были жареные поросята и дорогая рыба, озерная и днепровская, подавалась похлебка с почками и жирные ребрышки под подливой из хрена; для питья имели пиво, и мед, и вино; толстые свечи пылали по углам палаты и посредине стола, шум и гомон наполняли длинное помещение с низким потолком из бревен, со стен смотрели на людей головы вепрей, разинувшие икластые пасти; выставляли ветвистые рога головы оленей и лосей, в простенке поднималось на задних ногах огромное чучело медведя, а немного сбоку, у двери, скоморохи устроили забаву с живым медведем, приученным смешить князя и дружину на пирах; пьянели все быстро, переругивались между собой за лучшие куски, отнимали друг у друга то ребро, то бедро, вгрызались зубами в мякоть, обсасывали сладкие мослы; тяжелый людской дух стоял в гриднице, но застольники не чувствовали его, внимание их было приковано к дичи,— смертным пóтом убитого животного пронизано мясо

дичи, бьет запах воли в ноздри, хищно раздуваются носы, ходят ходуном тяжелые челюсти, подведенные черными тенями от свечей и каганцов; не переставая жевать, Ситник хвастал, как возили дичь под седлом, выдерживали в погребах, обложенную травами и кореньями, зарывали на ночь в холодные осенние листья, прихваченные первыми заморозками, как пеклось, жарилось, парилось во славу князя Ярослава; все кто сидел ближе к князю, подхватывали славословия, друг перед другом стремились как можно заковыристей провогласить здравицу в его честь; тем, кто сидел у двери, слово и не доставалось, ибо это были люди без значения,— состязание в верности шло лишь тут, вокруг Ярослава; он и сам принимал в нем внимательнейшее участие, ободряюще улыбался златоустам, одному кивал головой, другого похлопывал по плечу, тому подавал жирный кусок, другому протягивал ковш, чтобы чокнуться, одного благодарил, другому преподносил подарок за верность,— мудрыми были предки, выдумавшие пиршество, где люди сходятся плечом к плечу, как брат к брату прижимаются, где князь словно бы сливается с теми, кто ему подвластен, набирается от них бодрости и силы, а они, приближенные к нему, чувствуют себя увереннее, гордятся своей близостью к властелину, они готовы для него на все: выпить и закусить, в огонь и в воду, против супротивников и беды, вон они все какие взбудораженные, оживленные, с разгону вгоняют ножи в лоснящиеся от жирного мяса столы, стучат кулаками в толстые доски, рыкают по-звериному — да все за князя, все ради него и для него, и как тут не любить этих взлохмаченных, мохнатобородых, раскричавшихся, преданных, искренних мужей, хотя умом своим князь понимает всю ничтожность и неискренность своего окружения, знает, что славят они не Ярослава, не этого человека с набрякшим некрасивым носом и насупленными бровями, а князя, их владыку, и поставь вот сейчас на его место другого и назови его князем, они точно так же будут распинаться перед новым, ибо человек для них не значит ничего, значит только место, положение, власть; умом Ярослав презирал их всех, а сердцем тянулся к ним, ибо в одиночестве он ничего не значил, он ничего не мог поделать с собственным бессилием, со слабостью, с врагами, каких становилось не меньше, а, наоборот, все больше и больше.

— Славен будь, княже Ярослав! — ревели бояре и дружина.

— Долголетен!

— Счастлив!

Все здесь было со словом «самый»: самый могучий, самый мудрый, самый дорогой, самый справедливый, самый зоркий, самый ясный, самый милостивый и самый милосердный. Кто лицемерил сознательно, а кто и искренен был в опьянении своем, князь поощрительно улыбался каждому, знал истинную цену каждому слову и восклицанию, но и приятно было купаться в этом буйстве славы и хвалы, мог бы, ясное дело, встать, махнуть рукой, прикрикнуть так, чтоб заткнулись все со своим славословием, но довольствовался и тем, что всех их видел насквозь, сам оставался загадочным и недостижимым для их ограниченности.

Но вот во всеобщее величание князя вмешался княжий шут Бурмака, который слонялся между столами и молча выделывал разные пакости: то тянул у кого-то из-под руки ковш с медом, то макал в чей-то кубок конец своего длинного рукава, то пробовал поджечь кому-то бороду свечой, и все это сходило с рук шуту безнаказанно, ибо пользовался он высоким княжеским покровительством,— теперь шут изъявил желание говорить. Пошел чуть ли не к двери, к тем безмолвным и незначительным участникам пира, которых позвали сюда лишь для количества, взобрался на лавку, поднял вверх руку с ковшом, хлюпнул вниз напитком, крикнул:

— Тихо, говорю я!

Шум постепенно затихал, ждали от шута новой выходки, знали, что остер он на язык, каждый невольно поеживался, опасаясь, чтобы не задел Бурмака именно его, ибо вреда, быть может, это и не принесет, но смеяться будут; однако шут не стал задевать ни меньших, ни старших, смачно облизал свои толстые губы, захохотал:

— Великому черту — велика и яма! Наимилосерднейшему нашему князю — слава! Шел князь из Новгорода, а по пути во всех селах и волостях голод, люд повымирал, а где кто уцелел, то уже и голоса не подавал, а князь и говорит воинам: «Когда будете есть, то чтобы и кости закапывали, не давали этим издыхающим, чтобы сердца ваши не разжалобились, ибо что же вы за воины будете». Слава милостивцу нашему!

Мертвая тишина воцарилась между столами, никто еще не знал, следует ли обращать внимание на пьяную болтовню шута или пропустить ее мимо ушей, как делали всегда; более смелые смотрели на князя, чтобы по выражению его лица отгадать, как отнесется он к Бурмаке, но Ярослав сидел с заученной улыбкой на устах, смотрел на своего шута благоже-

лательно — дескать, мели дальше, разве мы не знаем, какой ты болтун.

— А тут,— кричал дальше шут, брызгая во все стороны слюной,— село на пути — и весь люд в нем вымер! Уже и проехал князь село, как вдруг выползает из-под его коня девочка — тень от девочки, а живая! «Почему она жива? — спрашивает милостивый князь наш.— Зачем она теперь, коли все здесь умерли? А уберите-ка девочку!» И затолкли ее насмерть, чтобы не было от этого села и расплоду, раз уж оно такое убогое и никудышное.

Ситник опомнился первым. Подскочил к Ярославу, наклонился к нему, прошептал:

— Дозволь, заткну ему глотку!

— Пусть говорит! — громко промолвил Ярослав, и все облегченно вздохнули, кое-кто даже потянулся к кубку, кое-кто стал дожевывать застрявшее в зубах,— в самом деле, пускай говорит, мало ли чего не принесет слюна на язык этому болтуну, все равно наш князь самый добрый, самый справедливый, самый милостивый, самый...

— А там вышел из Древ святой человек,— продолжал кричать Бурмака,— да поймали его по велению нашего князюшки и с веревкой на шее вели до самого Киева, а ведь аркан — не таракан, хотя зубов и не имеет, но шею грызет. Вот какой у нас князюсик!

— Иди, Бурмака, выпьем с тобой,— позвал Ярослав шута.

— А пускай с тобой лукавый пьет! — крикнул шут.

— Горло у тебя, вижу, пересохло,— спокойно промолвил князь,— может, кто-нибудь промочит его тебе. Эй, люди, помогите шуту!

Бурмаку мигом стащили с лавки, набросилось на него сразу с десяток человек, каждый тянулся с полным ковшом или кубком, силком заливали шуту в рот, в нос, в уши, лили в глаза, он захлебывался, пытался высвободиться, вот-вот мог задохнуться, но жалости к нему ни у кого не было, да он и знал это хорошо: все здесь зависело от одного лишь человека, от его слова. Бурмака все же изловчился перевернуться ничком, пополз между вонючими грязными сапогами по запачканному полу, извиваясь ужом, отплевываясь, отфыркиваясь, умоляюще простонал:

— Княже!

— Напоили уже, хватит,— засмеялся князь,— а теперь давайте выпьем и мы все за здоровье нашего Бурмаки, ибо что же мы делали бы без его шуток и смеха!

— Го-го-го! — заржали все вокруг.

Ой, князь, вот так князь, ну и князь! Пили, ели, жевали, давились, таращили глаза. Вот так-так, вот оно, ох и князь же у нас!

А Ярослав дал знак, чтобы не прекращали пира, поднялся, незаметно вышел в сени, за ним выскочил Ситник.

— Пускай проведут меня к тому в пещеру,— сказал трезвым голосом Ярослав.

— Поздно ведь, княже, а идти далеко. К самой круче днепровской.

— Сказано тебе!

— Позову сейчас отрока. Он тут недалеко.

Отрок прибежал заспанный и встревоженный. От него пахло теплым молодым телом; был высокий, тонкий, видно, красивый малый, хотя это и не имело значения.

— Зовешься как? — спросил его Ярослав.

— Был Тревога, а теперь Пантелей.

— Веди.

— И я с тобой, княже,— попросился Ситник.

— Иди на пир. Чтоб люд не расходился.

— Хоть свечку возьмите, потому как там нет,— сказал Ситник.

— Покажу я тебе когда-нибудь свечу,— сердито пообещал ему Ярослав,— прилепился ко мне, как клещ.

Тяжелый замок на дубовых дверях заржавел — наверное, не отпирался с тех пор, как посажен в пещерку святой человек; отрок Пантелей, чуть не плача, возился с замком, но отпереть не мог.

— Дай сам,— оттолкнул его Ярослав,— зажигай свечку!

Святой человек, то ли от грохота запоров, то ли от предчувствия встречи, а может, и просто по своему обычаю, не спал уже, встретил князя, сидя на глиняной завалинке, скрюченный, высохший до предела, огромная серо-желтая борода прикрывала все его тело, словно щитом, над бородой вверху сверкала круглая, будто большое яйцо, лысина, а между лысиной и бородой плавали в темноте два черных блестящих глаза, наполненных неизбывной тоской.

Один пришел из широкого мира, пришел с воли, хотя, закованный в железный обруч государственных обязанностей, и не умел ценить этой воли, а другой, рожденный не для послушания, не зная ограничений и притеснений, имел теперь лишь печаль в глазах и настороженность; наверное, он догадался, кто пришел к нему, потому что молчал и смотрел

на князя со спокойным равнодушием. Так длилось долго, один стоял, весь еще обвеянный свежим ветром с Днепра, с запахами вин и вкусных яств, а другой, скрюченный на глиняной лежанке, прикрывался бородой и посверкивал глазами, не имея охоты говорить первым. Однако заключенный был великодушен. Он заметил, как неловко переступал князь своей хромой ногой, всколыхнул бородой, подвинулся на завалинке, уступил место возле себя.

— Садись,— сказал тихо,— стоять тебе трудно.

— Откуда знаешь? — удивился Ярослав.

— Да уж знаю. Естеством нахрамываешь сызмальства, а может, и духом. Князь должен хромать.

— А может, я не князь.

— Кто бы еще сюда пришел? Разве убийца? Садись вот здесь. Не бойся смрада: смрад не так ударяет, как правда.

Князь примостился на самом краешке завалинки, дыша в сторону, чтобы винный дух не дошел к узнику, спросил:

— Почему думаешь, что правда только за тобой?

— Потому что страдаю,— сказал тот все так же негромко.— Худой и измученный. А с жирных, обленившихся уст правды не услышишь.

— Наши священники в постах пребывают, смиряют и плоть и дух. Разве ты считаешь себя лучше их?

— Не наши это служебники — чужеземные,— напомнил старик.

— По всей земле теперь новая вера завладела всеми душами.

— Не завладела и долго еще не завладеет, а может, и вовсе погибнет твоя новая вера.

— Об этом и люду молвил в своих блужданиях? — сурово спросил Ярослав.— Вышел ты из тьмы, и слова твои темны. Все людове наши прятались в лесах, а новая вера выводит их на широкий мир, прославляет по всем землям, ибо народ наш достоин прославления. Но не всегда люди выходят к славе добровольно. Иногда приходится прибегать к насилию.

— Отец твой сжигал наши храмы, а богов бросали в озера и реки, чтобы уплывали по воде. Но они не уплыли, а сели на дно и станут чернодубом, потом, в подходящую годину, вынырнут, и снова воцарится наше родное, запомни это, княже. Все можно изменить: дома, одежку, воям дать иное оружие, набить глотку заморскими яствами и напитками, но душу у народа не вынешь, не вставишь ему другую, чужую. Не удалось это сделать князю Владимиру, не удастся и тебе. Как

приходила с веснянками к нам весна, так и будет приходить, как встречали мы в игрищах солнцеворот, так и будем встречать, и зеленые ветки для наших богов будем приносить, как и раньше, и писанки будут радовать взор наших детей.

— Никто не измерит, чего больше у власти: созидания или разрушения,— прервал его Ярослав.— Отец мой сжег сколько-то там капищ языческих, зато какие дивные церкви поставил! За князем Владимиром и я, сын его, иду. Народ учить надобно, темноту изгонять...

— Темноту? — в голосе старика слышалась улыбка и превосходство, которые дают лета и страдания.— «Учить надобно». А чему учить-то будешь? Как избегать грехов да как от них избавляться? Богов наших уничтожаешь, а бесов оставляешь, грехи плодишь. Учению твоему токмо лишь начало, а грехов уже полно повсюду, уже отбиваетесь от них, отмахиваетесь, открещиваетесь в церквах ваших денно и нощно. Топчешь все, что было, и приближенных своих к тому же поощряешь.

— Не таков я есмь,— возразил спокойно Ярослав,— мало ты видишь из своей пещерки, в одну лишь сторону глядишь. А что грешен, так... не зря ведь в басне говорится: каждый носит по две сумки. Одну спереди для чужих грехов, другую сзади — для своих, так, чтобы не видно ее было. Что же касаемо княжьей власти, то всегда должон быть тот, кто учит разуметь самое возвышенное: свою державу, правду, честь. Ты ведь тоже ходил среди людей и обучал их чему-то?

— Токмо предостерегал. Ибо только тот народ мудр и спокоен, который трудится для себя и не зарится на чужое. Он спокоен и лишен гордыни, пока не разбогатеет и не рассобачится. А уж тогда плюет на целый свет, топчет люд иных земель и может того дождаться, что и сам растоптан будет... Ты же, княже, хочешь, дабы все было как у ромеев, а Киев чтобы стал еще одним Царьградом...

— Откуда ведомо тебе? — удивился Ярослав прозорливости старика. Он сам еще себе боялся признаться в этих мыслях, а этот заброшенный в яму человек, оказывается, все видит и знает. Не удивительное ли дело?

— Испокон веков так ведется: когда у соседа свинья большая, то и самому хочется выкормить такую, а то и еще побольше.

— Стольный город — не свинья.

— Еще прожорливее. Оглянись вокруг: сколько расплодил дармоедов твой отец, а ты их развел во сто крат больше, да

и еще разведешь. Церквей столько наставили, что в них псы бегают. А голод и мор точно так же ходят по нашей земле, беда не выводится, горя еще больше...

— Голод и мор все едино никто не сможет одолеть,— словно бы оправдываясь, рассудительно произнес Ярослав,— зато всегда можно найти способ дать угнетенным душам что-нибудь, чем они могли б гордиться. Прежние междоусобицы стояли преградой для дел великих, теперь собраны воедино все наши земли, весь народ может объединить свои усилия, свою работу, а самое лучшее применение для них — это сооружение и творение знамен державных. Отворить житницы и накормить тысячи голодных ртов, вымостить через трясины дорогу в Киев, чтобы везли на торжище и на обмен харчи и меха, мед и воск, или поставить среди болот златоглавый храм, проложив к нему лишь узкую тропинку, но вознеся этот храм над всем миром в сверкании и великолепии? Кто как хочет, а я выбираю храм, и каждый на моем месте должен был бы сделать точно так же, если бы бог наградил его мудростью.

— А ежели у человека и хижины нет, чтобы укрыться от зимней стужи? — еле слышно спросил старик.

— Когда у человека есть хижина, он должен строить храм. Ежели нет хижины — тоже должен строить храм,— твердо ответил Ярослав.

— Считаешь себя мудрым, а ты жестокий, да и только.

— А что такое мудрость? Это правда. Правда же милостивой не бывает. Она твердая и жестокая. Много прочел я книг, все века и все народы там описаны, всюду было много жестокости, но только она приводила народы к расцвету. Чтобы держава могла расцветать и подниматься выше всех, народ должен согласиться на некоторые тяжести и жертвы. По доброй воле он на это не пойдет — надобно заставить!

— Такова судьба великих народов,— грустно промолвил старик,— они либо становятся жертвой чужих захватчиков, либо же попадают в руки тиранов.

— Что же, по-твоему? Я — тиран? — обиженно спросил Ярослав.

— В речи своей. А от слова к делу — рукой подать. Научен ты жестокости. Чужой жестокости обучен.

— Разве можно учиться своему? Не было же письмен у нас, не передали нам мудрецы наши древние о прошлом, в темноте блуждали вслепую. Мой отец вырвался из тьмы, при-

зван носителей новой веры, которая победно идет по всей земле.

— Колотятся все земли от этой веры, не принимая ее, еще тысячу лет будут колотиться.

— Откуда ведомо тебе?

— Вижу отсюда все,— упрямо сказал старик,— а что касаемо мудрости, то живет она меж людом. Письмо же порождает смуты и войны. Бог не пишет никогда. Он молвит голосом ветра, грома, воды, леса.

— Не слышу его речи,— сказал князь.

— Глухой еси. А отверзнутся твои уши — поздно будет.

— Буду идти своей дорогой,— встал князь,— тебя же не могу выпустить отсюда.

— Отрока не трогай,— уже в спину князю сказал спокойно старик, продвигаясь по завалинке, чтобы расположиться поудобнее, потому что разболелись у него кости.

Пир был еще в разгаре, когда вернулся Ярослав. Гуляки радостно взревели, увидев князя, неистово захлопали в ладоши, переняв этот глупый ромейский обычай, потянулись к Ярославу с ковшами, поставцами, братинами двуухими. Он остановился на пороге, посмотрел на пьянчуг трезвыми злыми глазами так, что все мигом затихли, бросил им грубо и презрительно, словно собаке кость:

— Не пора ли и на молитву?

Отошел от двери, уступая им проход, и они, опережая друг друга, начали вылетать в темные просторные сени, спотыкались о длинные скамьи, падали, поскользнувшись, сталкивались в тесном пространстве дверей, молча сопели, тяжело дышали, торопились исчезнуть, убежать от княжеской ярости, бежали молиться богу, невнятно бормоча пьяным языком на бегу, и вот уже — никого, лишь Ситник стоит за спиной на страже да медленно обгладывает огромную кость, сидя за столом, Бурмака и нахально поглядывает на князя,— дескать, с глупого, как со святого, взятки гладки.

Ярослав, сильнее чем обычно прихрамывая, подошел к столу, сел напротив Бурмаки, придвинул к себе какую-то посудину, не глядя налил зелья, выпил, взял кусок мяса.

— Тяжела жизнь наша, Бурмака,— сказал он тихо и словно бы жалобно.

— Для таких дураков, как ты,— жестоко отрезал шут.

— Никто не пожалеет князя.

— А мало тебя били, негодник,— пользуясь своей безнаказанностью, продолжал разглагольствовать Бурмака.

Ярослав отвесил ему пощечину, шут молча покатился под стол, долго выбирался оттуда, заплакал, размазывая слезы по грязному лицу.

— Ты чего дерешься, дурак?

— А ты дай сдачи,— мрачно посоветовал ему князь. Он и сам не знал, чего хочет. Побыть хотя бы миг простым человеком, чтобы защищаться не княжеской властью, а собственными руками, как в тот раз против вепря или когда-то супротив медведя, пущенного мерями. Биться, полагаясь лишь на силу в руках, как бился когда-то в Киеве на Перевесище против печенегов, бился уже и раненный в колено вражеским копьем, стоял истекая кровью, нагнулся лишь для того, чтобы вырвать из раны острие копья, отбросил его прочь от себя и снова махал широким и тяжелым мечом и был страшен в своей окровавленности, так что враги не выдержали и бросились вниз.

Вот так биться, состязаться со всем миром, вечно идти на бой, ибо только тот, кто состязается, кто рвется, только тот прав.

А там, где пролилась когда-то его кровь, он и поставит самый большой во всех землях храм, ибо ни единого храма нельзя себе представить без пролитой крови. Никто не станет упрекать, что поставил он собор на крови чужой,— нет, на своей собственной!

— Ну что,— спросил Бурмаку,— боишься давать сдачу?

— Хоть глуп, да хитрый,— зло промолвил Бурмака, отойдя, пригнувшись, от князя подальше, и приник к ковшу с медом.

Ярослав поднялся и, прихрамывая, направился к двери, велел Ситнику, который из сеней наблюдал, удивляясь, за князем и его шутом:

— Седлай коней, поедем в Киев.

Ситник разинул было рот, о чем-то хотел спросить, но князь опередил его:

— Помолимся в пути,— сказал так, словно Ситник без молитвы и жить не мог.— Бог молитву к себе примет где угодно, лишь бы сердце было просветленным.

— Ага, так,— моментально согласился Ситник и побежал выполнять княжеское повеление.

Несколько дней ездил Ярослав с многочисленной свитой вокруг Киева. Останавливался на Перевесище, на поле за городом, где надумал соорудить церковь самую большую и славную, чтобы святое место было именно там, где ударили князя

копьем в ногу, где пролилась его кровь, упавшая на вражеские головы проклятьем и разгромом. Не годилось, чтобы храм возвышался вот так за городом, в одиночестве, храму всегда необходимо достойное обрамление, точно так же как драгоценному камню — мастерская оправа. Да и тесен уже стал Владимиров город, отовсюду под его валами лепились слободы и селения, толпился люд торговый и ремесленный, которому не хватило места на этой стороне; днем все торжища и улицы города наполнялись тысячами заезжих людей, на ночь стража выгоняла всех прочь, но у многих оставались незаконченные дела в городе, они далеко не отъезжали, ютились поблизости, из временных стойбищ и лагерей создавались потом целые селения, много там жило людей ценных, нужных для города, настало уже время взять их под защиту, оградить и их селение; чем больший город, тем больше поместится в нем воев, тем большую дружину может содержать возле себя князь, а значит — меньше опасений перед неожиданными налетами врагов, ибо не следует ведь забывать, что в степях слоняются еще и до сих пор печенеги, а за Днепром — в каких-нибудь трех днях езды от Киева — Мстислав; жить в тесном городе нельзя, строить на открытом месте тоже не годится. Так князь Ярослав пришел к выводу вести вокруг Киева новые валы, укреплять их дубовыми городнями, рыть рвы, ставить крепкие каменные ворота.

Владимиров город весь был на виду. Из княжеского терема можно было охватить взором все: и церкви, и дворы, и торжища. Теперь речь шла о большем. Тут недостаточно было проведение копьем, как это сделал когда-то Константин Великий, показывая, где ставить стены вокруг Константинополя. Ярославов вал должен был опоясать Перевесище, потом идти прямо до самого Копырева конца, оттуда — вдоль кромки горы, пока не соединится с валом Владимировым. Ярослав сам проехал по тем местам, где должен был пролегать вал, всюду его встречало огромное множество люда,— кажется, ни у кого не вызывало восторга намерение князя ставить новые валы, ибо знали, какое это проклятое, длительное и изнурительное дело; молча стояли, смотрели на богатых всадников, уступали дорогу, долго смотрели им вслед, и тяжелые взгляды эти ощущали на себе все, кто сопровождал князя. Бурмака тащился следом за цепью всадников на осле, кричал издали, обращаясь к Ярославу:

— От кого заслоняешься? От брата родного?

На Копырев конец князь и не думал тянуть валы, потому

что было далеко, да и город многое утрачивал в своих очертаниях, вытягивался неоправданно в один конец узким клином. Но вышли ему навстречу богатые агарянские купцы с Копырева конца, вышли армянские ремесленники и врачи, вышли жидовины с щедрыми дарами, встали на колени перед князем, умоляли, чтобы взял он их в свой город с их домами, женами, детьми, ибо уже много лет провели они здесь, под Киевом, поменяли свои родные земли на эту землю, полюбили ее, верно служили князю Владимиру, хотят служить и ему, Ярославу.

Ярослав улыбнулся, велел брать дары, обещал копырянам оградить валом и их, сказал, словно бы хотел оправдать свою жадность:

— Деньги у людей — что вода, разлитая, расплесканная. Кому-то надо собрать воедино, чтобы построить храм великий. А кому же, как не князю!

Бояре качали головами: да, да. А Бурмака сзади восклицал злорадно:

— Не наберешься ты, княже, этими дарами на свое строительство! Вели скорее дань собирать! Да пусть собирают днем и ночью в великой спешке и без недобора!

Услышав о княжеском объезде, выползали из подольских яров и останавливались на кручах молчаливые кожевники, быстроглазые гончары, кузнецы по железу и меди, шабельники, котельники, роговники, скорняки, сидельники, лучники, кушниры, выходили из яров, видно оставив только что свои работы, задымленные и запыленные, длинноусые, с бритыми бородами (еще не дошел до них ромейский обычай выращивать круглые бородки), эти даров не выносили, не просили оградить валом и их хижины, ибо все равно грабить там нечего, да и чувствовал себя человек вне валов как-то вольнее, легче дышалось, когда ты был подальше от князя, а князь от тебя.

Стояли у самого обрыва, с вызовом смотрели навстречу князю и его лакеям, ни приветственных возгласов, ни радостных улыбок на лицах,— холодная отчужденность и полное непонимание высоких государственных интересов, как и у придурковатого Бурмаки, который болтается сзади на осле и выкрикивает хулу на князя.

Ярослав ехал выпрямившись, гордо, холодно щурил свои умные, глубокие глаза. Вот так он идет сквозь жизнь и будет идти до конца — и всегда ему вечный вызов со всех сторон. Вечно должен заботиться о боевой мощи и защите. Эти кожевники и кузнецы не думают про державу. Не способны. И хле-

бороб, сеющий рожь и просо, тоже не способен. Поэтому пусть молча кормит тех, кто может позаботиться о его безопасности.

А ты верши задуманное!

Простой люд равнодушен к власти. Она ему ни к чему. Он бы и государственного единства и независимости не имел, если бы не князь. Так пусть же будет благодарен князю. Не князь будет благодарить кого-то там за напитки и яства, а пусть люди благодарят князя. Поучать их об этом денно и нощно.

Верши задуманное!

Чем бо́льшая земля, тем больше в ней беспорядка, смуты и безответственности. Устранить их может только сильный человек, который не знает страха ни перед кем и не нуждается в подсказках. Священники пусть уговаривают толпу, а князь знает все сам.

Верши задуманное!

Каждая земля позволяет себе какие-то излишества: то попов, то воев, то священных животных, то купцов, то холуев. Кто не хочет работать днем и ночью, должен стать либо проповедником, либо же льстецом. Льстец — это нечто среднее между человеком, который кое-что знает, и дураком. Князь должен всю жизнь вертеться между такими холуями и подлизами, как те, которые едут следом за ним, и между людьми, которые умеют что-то делать и делают молча и терпеливо. Должен пройти между ними осторожно и гордо, никого не поддерживая, никому не помогая. Если поможешь кому-то, один будет благодарен, а сто — недовольных. Если же причинишь зло одному, то недоволен будет только один, а сто будут радоваться, ибо у каждого непременно найдется сотня врагов.

Верши задуманное!

Дела твои должны быть огромными даже и тогда, когда и злодеяния огромны. В истории каждой земли есть изрядное число страниц позорных и жестоких. Кроме твоей земли. Ежели и был у нас когда-нибудь позор или жестокость, их надлежит предать забвенью. А тому, кто потщится вспоминать об этом, надобно отбить охоту.

Верши задуманное!



1966
год
ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ. ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ

Мы будем вынуждены — к тому же при абсолютно единодушном согласии — снять покровы с Молчания...

П. Пикассо

Третьего секретаря посольства звали Валерием. Был он москвичом, принадлежал к той эпохе, когда детей не называли ни Петрами, ни Василиями, ни конечно же Иванами. Имел и соответствующую внешность: русые, на пробор зачесанные волосы, дерзковато-наивные глаза, нейлоновый костюм, модные туфли — словом, парень, каких миллионы. Но вместе с тем он обладал несколько непривычным для юноши даром: железной выдержкой, вниманием к собеседнику, неторопливостью в принятии решений, точным мышлением. Так, будто было ему не двадцать с чем-то лет, а все пятьдесят, будто прожил он долгую и напряженную жизнь и научился всему необходимому для человека, работающего среди чужеземцев.

«Третий секретарь посольства» для уха неосведомленного звучало весьма звонко и многозначительно, однако Валерий сразу же положил конец наивности Бориса:

— Товарищ профессор, не утешайте себя надеждой, что к вам приставлен бог весть какой посольский чин! Третий секретарь — это не первый и даже не второй...

— Однако ж,— Борис Отава в самом деле малость растерялся, в этих вопросах он отличался совершеннейшей наивностью,— я полагал, что...

— Я прекрасно вас понимаю! Все едущие сюда по важным делам считают, что заниматься ими будет непременно сам посол. Поймите же, дорогой профессор: у посольства своих хлопот полон рот, выражаясь не дипломатично...

— Понимаю. Но мое дело... Речь идет о ценностях незаурядных... государственных... исторических...

— Все сделаем... Единственное, о чем я вас прошу: соблюдайте спокойствие. Мобилизуйте все свое чувство юмора...

— Чувство юмора? — Борис засмеялся.— Кажется, я утрачиваю это чувство. Ибо какое, в самом деле, отношение к моей миссии может иметь чувство юмора, которым, хвала богу, меня, кажется, не обделили.

— Эге,— потер ладони Валерий,— вы еще не знаете, с какими типами придется вам иметь дело... Тут уж если человек получает от государства марки, то он их отрабатывает полностью! Вы в этом убедитесь.

— Я должен попасть в Марбург,— сказал Отава.

— Мы там будем, поверьте мне,— заверил его Валерий,— но вооружитесь выдержкой... Езды в Марбург — всего лишь несколько часов, главное — проскочить здесь...

Нужного им чиновника Валерий нашел довольно быстро и договорился с ним о встрече еще в тот же день после обеда. На посольской «Волге» они подъехали к высокому модерному сооружению, скоростной лифт мигом выбросил их на двенадцатый или же на пятнадцатый этаж; они прошли по длинному коридору, наполненному сверканием пластика, алюминия и стекла, Борис попробовал перечитывать аккуратные таблички на полированных пластиковых дверях, но Валерий сказал, что он приблизительно знает, где сидит тот чиновник, с которым им придется вести переговоры; коридор неожиданно уперся в короткое боковое ответвление, там был еще один лифт, но уже не скоростной, маленький, скромный, чуть ли не персональный,— они с трудом вместились в тесной кабинке, поехали уже не вверх, а вниз, попали в какой-то тупик, а в этом тупике было свое самое глухое место, украшенное роскошной широкой дверью, на которой красовалась табличка с черными готическими буквами:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ПО ВОЗМЕЩЕНИЯМ ВАССЕРКАМПФ

Звонка здесь не было, стучать тоже не пришлось, потому что, как только они переступили незримую черту, за которой из простых прохожих превращались в посетителей герра Вас-

серкампфа, дверь беззвучно открылась сама собой, и в глубине просторного светлого кабинета с модерной низкой мебелью встал из-за длинного полированного стола им навстречу сам государственный советник, мужчина средних лет, одутловатый, рыхловатый, довольно высокий, в сером костюме из легкой ткани, которую называют «мачок». Кондиционер поддерживал в кабинете постоянную температуру, воздух здесь был свежий, однако Вассеркампф с напускным видом тяжело переводил дыхание, идя навстречу своим посетителям, и, еще не подпустив их к себе, не дав поздороваться или представиться, воскликнул панибратским тоном:

— Ну и жара — дышать нечем!

— Не заметил,— буркнул Борис, забывая о предостережениях своего спутника.

Чиновнику только этого и нужно было.

— Как же так? — воскликнул он.— Вы приехали из такой далекой холодной страны и не замечаете нашей жары? Или, быть может, я ошибаюсь? Ведь вы из России — нетва?

Он каждый раз повторял это свое «нетва», что должно было означать «не правда ли?», видимо нарочно искажая диалектом общегерманское «нихт вар». Но Борису в эту минуту было не до лингвистических тонкостей.

— Профессор Киевского университета Борис Отава,— воспользовался паузой Валерий.

Вассеркампф поклонился, пригласил садиться. Борис взглянул на Валерия довольно многозначительно. Первый бой был выигран отнюдь не благодаря сдержанности. Этого типа нужно атаковать и штурмовать сразу, с первого же слова. Вот они сели и сразу же приступят к делу. Однако Валерий, которому надлежало бы перехватить инициативу разговора в свои руки, почему-то молчал. Вежливо улыбался, начал пить какую-то бурду, предложенную немцем, пришлось пить также и Борису,— так, словно он ради этого ехал сюда из далекого Киева.

— Так, так,— промолвил Вассеркампф, щуря глаза,— еще день-два, еще несколько дней... Чистая случайность, что вы видите меня здесь за столом... Наступает то время, когда все мы разъезжаемся отсюда... Тут слишком жарко... Человек должен время от времени погружаться в море... Мы, немцы, отдаем преимущество Адриатике... Везем туда каждое лето свои полиартриты, подагры, одышки... На оба берега — на итальянский и югославский. Венеция, Дубровник, Черногория... Монтенегро... В Монтенегро, по мнению наших жен,

великолепнейшие любовники! Ночью они спускаются с гор на побережье, а утром снова исчезают в своих загадочных горах, это просто мистика какая-то, но наши жены... Ха-ха! Я называю это запоздалыми возмещениями, к тому же не по адресу. Ибо во время войны в Монтенегро, то есть в Черногории, стояли не наши войска, а итальянские, и эти итальянцы вдоволь развлекались с черногорскими девушками, поэтому соответствующие вознаграждения черногорцам надлежало бы получать именно с итальянских девушек, а не с немецких — нетва?

— Слушайте,— неожиданно спросил Борис,— ваши предки не из моряков?

— Ха-ха! — хохотнул Вассеркампф.— Вас сбила с толку моя фамилия! Не обращайте на это внимания! Мои предки — из воды, но из болотной. Померания, слыхали? Надо мной все смеются: как это так — занимаешься делами военных репараций, а свою Померанию возвратить не можешь, отдал ее Польше? Я вам скажу: с этими репарациями — сплошные недоразумения. Недавно был комический инцидент. Приехал ко мне капитан из Бремена. Да, да, настоящий капитан. У него дизель-электроход, вполне современное судно водоизмещением в четырнадцать тысяч тонн, можете себе представить. Ходит он в Индийский океан и дальше, в Малайю, в Японию. И вот. В Сингапуре или где-то там еще кто-то из членов команды подарил капитану обезьянку. Такое милое создание. Мы, немцы, любим все живое. А тут — дальний путь, одиночество, капитан, человек уже немолодой, обрадовался обезьянке. Устроил ее в своей каюте. Маленькая хозяйка, представляете? Ну, так... Утром капитан идет на свой мостик, обезьянку оставляет в каюте, но забывает запереть дверцу сейфа, а в сейфе толстенная пачка марок. Месячная плата для всей команды. Представляете? И хотя деньги не пахнут, как говорится, но обезьянка разнюхала эту пачку, схватила ее, а как только капитан скрипнул дверью, возвращаясь к себе, обезьянка шмыгнула в щель — на палубу. Капитан сразу же обнаружил пропажу, поднял тревогу, за обезьянкой погнались, но... Хотя о немцах и сказано, что они обезьяну выдумали, однако по ловкости обезьяна превосходит даже немцев. Так и тут. Вылетела обезьянка на самую верхушку мачты, принялась рассматривать деньги, сдирать с них банковскую упаковку, на нее кричат, посвистывают снизу, кто-то начал уже взбираться вверх по мачте, боцман приладил шланги, намереваясь сбить обезьянку струей воды, кто-то советовал снять проклятого зверька выстрелом из малоколиберной винтовки, но по-

ка растерявшиеся люди собирались с мыслями, обезьянка разорвала ленточку и начала швырять деньги вниз. Зрелище редкостное. Океан, прозрачность, синяя волна — и над нею кружат не чайки, нет — полноценные немецкие марки! Есть от чего схватить сердечный удар! Несколько банкнотов упало на палубу, и — нужно отдать должное честности команды — все было вручено капитану, но ведь это несколько банкнотов, а весь месячный оклад — целая пачка марок! — полетел в океан, и хотя были спущены шлюпки и матросы кинулись вылавливать деньги, не много им удалось выловить, ибо оказалось: немецкая марка тонет в морской воде! Так, будто она не бумажная, а в самом деле из чистого золота! Представляете! И вот капитан, беспомощный в своем несчастье, обратился ко мне. Дескать, раз у вас здесь возмещение, следовательно...

— Мы бы не хотели ошибаться так, как ваш капитан,— снова не выдержал Отава, возмущаясь молчанием Валерия. Так они просидят целую вечность, и этот тип будет развлекать их своими бессмысленными сказочками.

— Герр секретарь,— вежливый поклон в сторону Валерия,— предупредил меня, что речь идет о деле, связанном с военными возмещениями,— нетва?

Считая, что разговор направлен в главное русло, Борис имел неосторожность коснуться этого проклятого «нетва».

— Вы не ошиблись, герр Вассеркампф,— сказал он.— Хотя относить мою миссию к области чисто военных возмещений, видимо, не следует, ибо это не моя специальность, прошло уже много лет после окончания войны, остались, наверное, лишь те потери, которых уже не возместишь ничем.

— Прекрасно! — воскликнул советник, вскакивая со стула и помахивая на себя полами пиджака.— Герр профессор выразился удивительно точно! Ибо кто же, скажите вы мне, может возместить немецкому народу те семь миллионов и триста семьдесят пять тысяч восемьсот солдат, которые погибли...

Он чуть было не сказал за «фюрера», но вовремя спохватился, чем моментально воспользовался молчавший до сих пор Валерий.

— Думаю, герр советник,— сказал он сдержанно и тихо,— что в наши полномочия не входит обсуждение человеческих потерь в прошлой войне.

— Очевидно,— согласился Вассеркампф,— но я просто...

— Наш гость из Киева,— продолжал далее, не слушая, Валерий, и советнику пришлось сесть на свой стул, застегнуть

пиджак, принять вполне официальный вид и утвердительно покачивать головой, хотя, видно, в нем все так и подпрыгивало от избытка слов, которых он не успел обрушить на посетителей. Натренированность в разглагольствованиях у Вассеркампфа была доведена до невероятного совершенства.— Так вот... наш гость из Киева прибыл сюда, чтобы выяснить одно дело, касающееся некоторых исторических реликвий украинского народа...

— Даже не украинского,— добавил Борис,— а всех славянских народов, ибо речь идет о Киевской Руси... Эпоха Ярослава Мудрого...

— Ах, да,— наконец прорвался в разговор Вассеркампф,— герр профессор историк — нетва? Поверьте, я самого высокого мнения об истории. Настало время, когда нужно присваивать историю уже не целому народу, а отдельным людям, индивидуумам, социальным атомам... Наши философы... Хайдеггер, Ясперс... Надеюсь, вы знакомы с их работами...

— Прошу прощения,— вежливо произнес Отава,— но я прибыл не для того, чтобы обсуждать проблемы экзистенциализма...

— Нет, нет,— снова вскочил советник,— я только об истории. Представьте себе: мой шеф, министериаль-директор Хазе, не может слышать об истории. «Что? — кричит он.— История? В этой вашей истории есть только хронология и факты существования населенных пунктов. Все остальное — вранье!» Тогда я говорю ему: «герр Хазе [1] не верит в фамилии. И я понимаю министериаль-директора: имея такую фамилию, разве станешь симпатизировать истории? Но в одном мы с министериаль-директором сходимся: в современной истории уже не может быть открытий. Все открыто, все зарегистрировано.

— К сожалению, в наше время историки часто вынуждены заботиться действительно не о новых открытиях,— снова дал себя поймать на слове Борис,— а отвоевывать старые истины, часто совершенно очевидные...

— Не у меня, надеюсь, отвоевывать? Я — простой чиновник. Моя сфера — вполне материальные вещи. Истины — это не по моему отделу. Что же касается вещей... Мы работаем с возможной идеальной пунктуальностью... Я мог бы вам... Но лучше я вам расскажу одну историю — нетва?

Так они вынуждены были в тот день выслушать от Вассеркампфа еще одну историю.

---

[1] Хазе — заяц *(нем.)*.

Начинается с войны. Сорок первый год. Шестого апреля немецкие войска переходят границу Югославии, через двенадцать дней юный король Петр поручает генералу Недичу подписать акт капитуляции. Югославия отнюдь не такая страна, чтобы ее можно было покорить за двенадцать дней. За двенадцать дней там даже не облетаешь на самолетах всех гор. В Югославии есть уголки, куда за всю историю не мог проникнуть ни один завоеватель,— скажем, в той же Черногории, или, как вслед за итальянцами все называют ее, Монтенегро. Рассказывают, когда сам Наполеон после своих блистательных побед послал к черногорскому владыке требование, чтобы он пришел к нему с поклоном, черногорец ответил, что когда кому нужно, то пускай сам придет в Черногорию — причем не верхом, а пешком, ибо черногорские юноши все равно ссадят нежеланного гостя с коня. Ну так вот. Капитуляция сорок первого года была чисто условной. Бывает, что капитулирует народ, тогда как армия еще борется, а бывает и наоборот. Тут случилось так, что армия капитулировала, а народ продолжал борьбу, и все знают, сколь успешной была эта борьба, немецкому командованию пришлось посылать на Балканы генерала Рендулича, надеясь, что его сербское происхождение поможет им (дело в том, что небольшая часть сербов, какое-то из племен, еще в древние времена поселилась на территории современной Австрии; это было воинственное племя, из него выходили весьма умелые военачальники, эта война знает такие имена, как Браухич и Рендулич, если говорить о наиболее известных; теперь немного смешно вспоминать, что главнокомандующим армиями, которые шли по Европе, насаждая чистоту расы, был выходец из славянского народа Браухич, но тогда было не до смеха). Разумеется, Рендулич, несмотря на свое сербское происхождение, тоже ничего не смог сделать.

Сорок первый год. Королевская югославская армия капитулировала. Множество солдат и офицеров попало в плен. В их числе в плену оказался и молодой блестящий офицер Николич. Он был черногорец, в Черногории у него осталась молодая красивая жена, прекрасная актриса, которую он почти насильно вывез из Белграда, оторвал от театра, от сцены, повез в свои горы, в свою дикость, обещая взамен цивилизации свою страсть и вечную любовь. Но тут запахло войной, кто-то вспомнил, что дед и отец Николича были в свое время офицерами королевской армии, счастливого молодожена призвали в армию, выдали ему офицерский мундир. История, как видим, обыкновенная. В момент разлуки молодая жена надела Нико-

личу на палец золотое кольцо с крупным — чуть ли не на целый карат — бриллиантом. Это была фамильная ценность, талисман, который должен был охранять Николича от смерти.

В самом деле, то ли благодаря действию талисмана, то ли такой уж быстрой и некровавой была эта война (никто не успел даже и выстрелить как следует), но Николич не был убит, он попал в плен. Пленных нужно где-то держать. Вот и Николича тоже поместили в один из таких лагерей для офицеров. Вполне гигиеничный лагерь, достаточно сказать, что за всю войну там ни разу не вспыхнула эпидемия. Каждый пленный офицер имел свое отдельное место для спанья,— правда, постели не было, но где же их напасешься для миллионов пленных! В лагерях поддерживалась твердая дисциплина, что для людей военных не могло показаться чем-то необычным. Несколько маловато было продуктов для пленных, но не следует забывать, что весь немецкий народ терпел ограничения. Кроме того, у пленных просто был повышенный аппетит, ибо человеку, который сидит без работы, всегда очень хочется есть сильнее, чем тому, кто озабочен делом. Впоследствии были попытки обвинить весь немецкий народ за существование концлагерей, но при этом ссылались лишь на несколько концлагерей — Освенцим, Маутхаузен, Бухенвальд, Дахау и тому подобные, за это же отвечали СС и Гиммлер, а нужно точно различать лагеря уничтожения и обыкновенные лагеря, без которых во время войны не обойдешься. Тут Борис не выдержал. Различать? Устанавливать разряды и качества лагерей? А что от этого изменяется? Названий было много и разных: Kriegsgefangenenlager[1], Internierungslager[2], Durchgangslager, или Dulag [3], Arbeitslager [4], Firmenlager [5], Konzentrationslager [6], Straflager [7], Polizeihaflager [8], Judenarbeits-

[1] Лагерь для военнопленных.

[2] Лагерь для интернированных.

[3] Пересыльный лагерь, из которого пленных направляли в постоянные лагеря — шталаги и офлаги. Советских военнопленных часто уничтожали еще в дулагах.

[4] Рабочий лагерь, собственно филиал большого концлагеря.

[5] Лагерь принудительного труда при крупных концернах, заводах, фабриках. Можно было бы вспомнить о штрафных лагерях концерна Круппа, Дехан-шуле и Неерфельд-шуле или концерна Симменса в Берлин-Хасельторст.

[6] Концлагерь.

[7] Штрафной лагерь, где все заключенные были обречены на обязательное уничтожение.

[8] Полицейский лагерь на территории СССР для лиц, заподозренных в помощи партизанам.

lager [1], Arbeitserziehunglager [2], Kriegsgefangenenarbeitslager [3],— все эти названия не имели существенного значения. Практика была такая, что, независимо от их формального названия, каждый лагерь, хотя и применяя разные методы, существовал лишь для одного: для уничтожения заключенных. Расстреливали, морили голодом, сжигали в крематориях, душили в газокамерах и в душегубках. Девять миллионов человек! Генерал Кейтель заявил: «Человеческая жизнь на восточных пространствах не имеет никакого значения». Геринг в сорок третьем году сказал зятю Муссолини Чиано: «Нет необходимости морочить себе голову по поводу того, что греки голодают. Это несчастье постигнет еще многие народы. В лагерях, где находятся русские, начинаются случаи каннибализма. В России умрет еще в этом году от голодной смерти двадцать—тридцать миллионов людей. Возможно, это и хорошо, если так случится, ибо количество некоторых народов должно быть сокращено».

Ну так, война в самом деле была тяжелой и изнурительной, недостаток продуктов сказывался во всем, Вассеркампф не отрицал, что могли быть случаи даже голодной смерти.

Однако вернемся к Николичу. Николич тоже был голоден. Даже очень голоден. Однажды он очутился в интернациональном лагере. В соседнем секторе, отделенном от югославов двумя рядами колючей проволоки, находились французские офицеры. Французы пользовались помощью Международного Красного Креста, им ежемесячно давали посылки с продуктами, по ту сторону колючей проволоки ходили словно бы люди с другой земли: смеялись, содержали в порядке свои мундиры, играли в кегли. А с этой стороны — голод, подавленность, изнуренность. И вот тогда Николич вспомнил о своем золотом кольце, которое, быть может, спасало его до сих пор, держало на свете, а теперь могло сделать хотя бы на короткое время таким, как французы,— бодрым и сильным. Он снял кольцо с пальца, подозвал одного из французов ближе к проволоке, начал предлагать ему обменять драгоценность на хлеб.

[1] Лагерь для уничтожения евреев. Таким, например, фактически был Майданек, носивший сначала название рабочего лагеря для военнопленных.

[2] Лагерь для «перевоспитания» не очень послушных иностранных рабочих. Учрежден по приказу Гиммлера с 28 мая 1941 года.

[3] Рабочий лагерь для военнопленных. О его характере можно судить по тому, что это название имел и Майданек.

Француз сказал, что у него лишь полбуханки хлеба, больше нет, да и кольцо, собственно, за колючей проволокой ни к чему, но Николич согласился и на полбуханки, ему было все равно, он не отставал от француза, и тот наконец, уступил. Договорились, что француз бросит хлеб, а Николич одновременно с этим бросит ему свое кольцо, обмана никто не боялся, ибо среди заключенных существовали высочайшие законы чести; в самом деле, хлеб и маленькое золотое кольцо полетели с двух разделенных секторов почти одновременно, но ни черногорец, ни француз не могли воспользоваться своим обменом, ибо за их переговорами пристально следил немецкий часовой с ближайшей башни, он своевременно предупредил по телефону своих коллег, немецкая точность была продемонстрирована таким образом, что именно в тот момент, когда к Николичу долетел хлеб, а к французу — золотое кольцо, возле одного и возле другого уже стояли немецкие солдаты, хлеб и золото были немедленно конфискованы, оба нарушителя направлены в комендатуру, там был составлен соответствующий протокол, и оба — черногорец и француз — получили по месяцу карцера.

И вот война закончилась, Николич после множества приключений возвращается в свою Черногорию, происходит встреча с женой, которая верно ждала его столько лет, все прекрасно, но вдруг жена спрашивает: «А где мой подарок? Ведь это кольцо спасло тебя от гибели!» Николич начал рассказывать жене всю эту историю, однако есть вещи, которых женщина не в состоянии понять. «Ты отдал его полячке!» — категорически заявила жена. «Но почему же именно полячке? — удивился Николич.— Уж скорее немке или хотя бы француженке, поскольку я потом попал во Францию». Но жена упрямо стоит на своем: «Я знаю: ты отдал его полячке. Все вы, мужчины, одинаковы...» Ясное дело, потом о кольце было забыто, ибо живой муж все же ценнее самой величайшей драгоценности. А тем временем... Лагерь, где когда-то был Николич, заняли американские войска, после известных соглашений американцы передали в распоряжение правительства Западной Германии все, что осталось после войны, управление возмещений начинает знакомиться с документами, Вассеркампф наталкивается на протокол допроса француза и Николича, к протоколу же, как вещественное доказательство, приложено золотое кольцо с бриллиантом, сохранившееся в течение всей войны! Такова немецкая честность!

Вассеркампф сделал то, что на его месте сделал бы каж-

дый: узнал, жив ли еще Николич, раздобыл его адрес и нежданно-негаданно предстал перед супругами Николич в Титограде собственной персоной, вежливый, улыбающийся.

— Представляете? — засмеялся Вассеркампф.— Невероятно просто! Фрау Николич восприняла это как послание небес. На что уж Николич человек с нелегкой судьбой, но и он растрогался. Это было прекрасное зрелище! Такие минуты никогда не забываются, нетва?

Борис хотел было еще раз прервать восторги Вассеркампфа по поводу золотого кольца, спросил, не подумало ли их управление попытаться, скажем, возвратить тонны волос женщинам, сожженным в крематориях Освенцима, хотя бы одного лишь Освенцима! Но передумал. Все равно мертвых не воскресишь, а Вассеркампфа не вырвешь из его мелочных восторгов. Сказал другое:

— Надеемся, что нам вы поможете точно так же, как Николичу? Тем более что речь идет о вещи вполне материальной и, кажется, уцелевшей.

— Я поинтересуюсь этим вопросом,— пообещал Вассеркампф, — и если...

— Но для этого мы должны поехать в Марбург,— напомнил Борис.

Вассеркампф, словно не веря ему, посмотрел на Валерия.

— Да, нам нужно в Марбург,— подтвердил тот.

— Очевидно, это можно устроить,— Вассеркампф тер свою переносицу, он еще, видно, и до сих пор жил историей о золотом кольце (какая прекрасная история! Что может лучше свидетельствовать о немецкой честности?).— Если я не ошибаюсь, речь идет о каком-то старинном манускрипте...

— Просто небольшой кусок пергамента,— подсказал Борис,— но это чрезвычайно важный документ, который раскроет одну из величайших загадок о наших художниках времен Киевской Руси...

— Художников? — мгновенно ухватился за слово Вассеркампф.— Я расскажу вам, как одна немецкая женщина спасла от смерти русского художника. Невероятная история!

— Нам нужно в Марбург,— сказал Валерий.

— Да, мы должны быть в Марбурге и встретиться там с профессором Оссендорфером,— встал Борис.

— А по дороге вы расскажете нам историю о художнике,— улыбнулся Валерий, показывая Вассеркампфу свой безукоризненный пробор.— Итак, герр Вассеркампф, когда мы с вами встречаемся? Завтра утром?

— Я позвоню вам — нетва? Обещаю все устроить. Что же касается истории с художником, то вы упускаете прекраснейший случай, уверяю вас. Это был скульптор.

— До свидания, герр Вассеркампф.— Валерий и Борис были уже у двери, дверь автоматически открылась.

— Но вы еще услышите эту буквально потрясающую историю! — вдогонку им прокричал советник по вопросам возмещений.

— Ох и тип! — вздохнул Борис, когда они очутились в коридоре.

— Хайдеггер! — развел руками Валерий.— Хайдеггер и Ясперс. «Испытать маскарад, чтобы ощутить настоящее».

Отава шел мрачный. Все эти безлико-модерные коридоры, бесшумные лифты, сверкающие плоскости, отражавшиеся одна в другой и стократно повторяющие свое изображение во всех возможных и невозможных проекциях, вся эта таинственность, тишина и порядок, будто в разлинованной ученической тетради,— все это раздражало его, теперь он знал, что за этой пустотой кроется тоже пустота; казалось, малейшее округление в этом царстве прямых линий вселило бы хоть какую-нибудь надежду, но не было здесь ничего, кроме прямых линий, они либо пролегали параллельно, либо же пересекались под прямым углом, либо скрещивались, создавая целые пучки безнадежно прямых лучей.

— Я, кажется, готов признать резонность мысли экзистенциалистов о том, что человечество изнемогает под гнетом фраз,— раздраженно бросил Отава.— И тем удивительнее ваше молчание, Валерий, перед этим немецким словометом! Неужели для того, чтобы из третьего секретаря когда-то стать послом, нужно вот так молчать?

— Видите, профессор,— в голосе Валерия была полнейшая беззаботность, так, будто все шло самым лучшим образом,— не всякий третий секретарь мечтает стать послом. Мне, например, хочется только одного: возвратиться домой, в Москву.

— Все рвутся за границу. А вы?

— А я рвусь отсюда домой. Вы, наверное, думаете, молод. А у меня уже есть жена и дочурка в Москве. Почему не здесь, не со мной? Очень просто. Жена инженер-электротехник. Сюда приехала, посмотрела и сказала, что ни за что не останется. Слишком много глины, а на глине, прямо на голой глине, растет трава. Как на кладбище. Я, признаться, даже не замечал этого, а жена только эту траву да глину и заметила. Теперь она уехала домой, а я продолжаю смотреть вокруг себя

словно бы ее глазами. Существует между близкими людьми что-то невидимое, оно объединяет их даже в капризах или странностях. Да вам, наверное, это хорошо известно.

— Умгу,— неопределенно буркнул Борис, боясь, что Валерий начнет расспрашивать о его несуществующей жене.

— Что же касается моей терпимости в отношении к Вассеркампфу, то это чисто профессиональное. Мы уже здесь привыкли. Иначе нельзя. Нужно дать человеку выговориться. Вам еще не приходилось бывать на спорах идеологических, где речь идет о политике, философии, литературе, искусстве! Вот где потоки слов! Иногда нужно не менее недели, пока они исчерпают свои словесные запасы и не начнут вертеться вокруг того же самого, подобно человеку, который заблудился в лесу или в степи во время метели. Кстати, еще в студенческие годы я читал, как один наш критик доказывал, что буран в пушкинской «Капитанской дочке», где люди блуждают,— это, мол, образец критического реализма, а вот буран в романе советского писателя нужно изображать в стиле социалистического реализма, который требует, чтобы герои не блуждали, а вышли точно к цели.

— Разве мало еще дураков и у нас! — проворчал Отава. Он вспомнил историю с этюдом Таи на киевской выставке, захотелось вдруг спросить Валерия, не знает ли он такой московской художницы Таи Зыковой,— желание было бессмысленным и неуместным; чтобы не поддаться ему, Борис ускорил шаг и обогнал Валерия, но тот также пошел быстрее, они уже выходили из этого разграфленного холодного департамента, посольский шофер поехал им навстречу, Отава понял, что сейчас они оба окажутся в тесной машине, где уже никуда не убежишь от своего собеседника, и тогда он не в силах будет бороться со своим намерением спросить, во что бы то ни стало спросить (зачем, зачем?), поэтому остановился, взял Валерия за пуговицу, посмотрел ему в глаза и спросил, чтобы сразу покончить со своими комплексами и причудами:

— Вы знаете,— но в тот же миг опомнился от первых же звуков своих слов, ему стало стыдно и больно за свою невыдержанность, он растерянно умолк, а потом, чтоб уже не опозориться окончательно, присоединил к началу своего вопроса совсем другой, неожиданный для самого себя конец,— когда мы поедем в Марбург?

— Поживем — увидим,— уклончиво улыбнулся Валерий, открывая перед Отавой дверцу машины.— На всякий случай я закажу билеты на завтрашний поезд, но не гарантирую, что

мы туда поедем уже завтра. Вы убеждены, что ваш пергамент — в Марбурге?

— Оссендорфер — профессор Марбургского университета, я должен увидеться с ним. Если это тот самый ефрейтор Оссендорфер, который убил моего отца, профессора Гордея Отаву, я начну судебное дело. А пергамент принадлежал нашему государству, государственному институту. У меня все подтверждения...

— Пока мы с вами поговорим, Оссендорфер может стать уже профессором Гейдельбергского, скажем, или даже Гарвардского университета. Это во-первых. Прошу вас, садитесь. Во-вторых, даже оставаясь в Марбурге, он не захочет с вами видеться — и вы его не заставите. В-третьих, он скажет, что у него нет никакого пергамента, что он воспользовался фотокопией, владелец которой просил сохранить его инкогнито. Надеюсь, до завтрашнего дня герр Вассеркампф подготовит их нам, если не все возможные варианты, то по крайней мере с десяток. Так что запасайтесь терпением и выдержкой.



Год
1028
ТЕПЛЫНЬ. КИЕВ

...и уста усобица и мятеж и бысть тишина велика в земли.

Летопись Нестора

По новости дела, вмешиваться не буду,— так сказал тогда князь, принимая их в теремных сенях, где имел обыкновение принимать всех подданных, а со временем приспособился вести переговоры там и с иноземными послами, чтобы показать превосходство своей земли над всеми остальными, но послы, кажется, так и не понимали, что и к чему, ибо княжий терем был вельми запутанным в своих переходах, приходилось пересекать несколько сеней, в одних стояла большая стража, в других горели свечи перед сверкающими золотом иконами, третьи сени назывались кожуховыми, потому что там следовало оставлять верхнюю одежду — кожухи, корзна, тяжелые плащи, затем ступеньки — одни и еще одни — и просторное помещение: резное дерево, золотые и серебряные украшения, застланные невиданными мехами дубовые скамьи, окованный чеканным золотом княжий стол, высокая, сделанная умелым дуборезом из сплошного куска дерева подставка, на которой лежит развернутая пергаментная книга в драгоценном окладе, еще несколько книг, дивно украшенных, лежат на ярко разрисованном сундуке рядом с княжьим столом,— такого не увидишь нигде: ни у ромейского, ни у германского императоров, ни у восточных владык, ни у французского короля, ни у ярлов варяжских.

— По новости дела, вмешиваться не буду,— сказал князь ромейским умельцам, прибывшим из Константинополя,— для нас главное — размеры и украшения церкви, а остальное — ваша забота.

Он сидел на своем княжьем месте, они стояли далеко от него, стояли беспорядочной молчаливой купой. Мищило велел всем одеться в ромейские праздничные наряды, все на них сверкало, состязаясь с блеском княжеского золота и серебра, но на Ярослава, как видно, это не производило никакого впечатления. Его глаза с холодной внимательностью смотрели на всех сразу, никого не выделяя; эти глаза уже были знакомы Сивооку: они напоминали ему холодные и твердые глаза князя Владимира в Радогосте, только у Ярослава, кроме холодности и твердости во взгляде, светился глубокий разум, и от этого глаза его были словно бы теплее, не такими темными, как у его отца, напоминали цвет соловьиного крыла.

Князь, видно, считал их всех ромеями, поэтому и обращался к ним по-гречески. Мищило, надутый и напыщенный, тоже изо всех сил выдавал себя за ромея, начал разглагольствовать про Агапита, начал показывать князю пергамент, на котором было начерчено Агапитом, как должна выглядеть сооружаемая ими церковь. Ярославу, видно, понравилась деловитость Мищилы, он зазвонил в колокольчик, слуги внесли ковши с медом, по русскому обычаю было выпито; все молчали, Ярослав поднялся из-за своего стола, подошел, прихрамывая, ближе к художникам, посмотрел на пергамент. И тогда словно что-то толкнуло Сивоока. За всю долгую и тяжелую дорогу от Константинополя до Киева не думал о своей грядущей работе, равнодушно слушал разглагольствования Мищилы, но вот теперь...

Не просто возвратился он на родную землю, не для воспоминаний и не для растроганности, не для любования Киевом и Днепром, травами и пущами, право же, нет! Вот стоит возле него человек, который владеет огромной землей, князь, не похожий на других: наверное, замыслы у него тоже не как у других — великие и значительные, но сам он мало сможет, а если будет брать на помощь таких, как Мищило, то и вовсе ничего. Сказал, что не будет вмешиваться, но сам рассматривает пергамент и думает над чем-то — разве есть еще на свете такие князья? До сих пор Сивоок знал, что делами строительными ведают сакелларии или игумены, доверенные люди патриарха, епископа, иногда — императора; за много лет работы у Агапита не помнил случая, чтобы такой вот человек

пришел к художникам или позвал их к себе. Но, может, это была лишь короткая вспышка княжеского любопытства, может, выпьют они, по обычаю, этот мед, посмотрит князь небрежно на чужеземный пергамент, не смысля в нем ничего, махнет рукой, отпустит их с богом, и все перейдет в руки Мищилы, тупого исполнителя воли Агапита, и, пока престарелый и самовлюбленный Агапит будет утешаться где-то в своих садах влахернских, тут будут воздвигать в тяжком труде, средь бедности, недостатка, горя, проклятий и слез простенькую церквушку, может, даже хуже поставленной Владимиром церкви Богородицы, а что уж меньшую, то это Сивоок видел точно и не мог никак взять в толк, почему Агапит уполномочил Мищилу на такое строительство.

Сивоок испугался, что пропустит, быть может, единственный случай, торопливо протолкался вперед, стал возле Мищилы, смело глянул на князя, сказал на родном языке:

— Сделать нужно так, княже, чтобы весь мир удивлялся, а земля наша чтобы прославилась этим храмом.

— Молвишь по-нашему? — шевельнул бровью Ярослав и сделал шаг искалеченной ногой. Забыл об осанке, болезнь давала о себе знать.— Молвишь по-нашему? Разве не гречин еси?

— Русич. С Древлянской земли.

— Как же очутился среди ромеев?

— Путаные стежки у судьбы.

— Искусство знаешь? — допытывался князь.

— Мусию он кладет,— вмешался Мищило по-ромейски, но князь, казалось, не обратил внимания на то, что Мищило понял их речь. А может, князь знал об их происхождении, да только делал вид, что не ведает.

— Все делаю,— сказал Сивоок,— и мусию кладу, и фрески рисую, и зиждительское дело знаю.

— Почто ж гречины выдают тебя за своего? — спросил Ярослав.

— Выгодно им. Торгуют славою и своей и чужою. Все в свою мошну.

— Бог един,— насупился князь,— и слава вся идет богу. Кто тебя научил, от того и выступаешь.

— Художников не обучают,— смело промолвил Сивоок,— их укрощают. Так, как диких коней — тарпанов. Не учишь же их бегать: умеют от рождения. А чем больше укротишь, тем хуже, медленнее станет их бег. Красота в нем умрет, рас-

кованность исчезнет вместе с диким нравом. Вот так и художник.

— Так кто же ты: конь или человек? — улыбнулся князь.

— На него часто такое находит,— умело вмешался Мищило,— это, наверное, от дурноватой девки, которую с собой повсюду возит. Привез и в Киев, княже.

Князь взглянул на Сивоока как-то неопределенно. То ли осуждающе, то ли пренебрежительно, Сивоок не испугался ни разоблачения Мищилы, ни княжеского взгляда, но наползло на него тяжкое и непреоборимое; казалось, что мир разламывается, будто хрупкий сосуд, разрушаются, валятся все храмы, монастыри, дома, которые он ставил и украшал, и только он стоит посредине целый, невредимый, но весь в полыхании дикого огня и не может ни с места сдвинуться, ни слова произнести.

— Малая церковь, княже! — только и мог воскликнуть, опасаясь, что бросится на Мищилу и начнет его душить или швырнет его на землю, начнет топтать ногами. Сивоок был сам не свой, но никто не замечал его состояния.

Князь спокойно переступил с ноги на ногу, снова взглянул на пергамент.

— Мала? — переспросил.— Почему же мала?

— Потому что мала! — снова воскликнул Сивоок.

Мищило засмеялся. Его тешило детское упрямство Сивоока.

— Митрополит Феопемпт прибыл вместе с нами,— напомнил он князю,— церковь им також де утверждена. Смотри, княже, тут длина, тут ширина, как и церковь Богородицы, поставленная твоим отцом князем Владимиром. Три навы, над каждой купол, боковые навы меньшие, купола над ними ниже, камень можно класть всякий, ибо для божьего храма важен не наружный вид, а внутреннее украшение.

— Что скажешь? — обратился князь к Сивооку.

— Мала церковь,— повторил тот.

— Почему же не говорил об этом своему хозяину там, в Константинополе?

— Понял это лишь теперь. Когда увидел Киев. Увидел и не узнал. А что будет дальше, когда обведешь новыми валами, княже?

Ярославу понравились последние слова Сивоока, однако вывод из них он сделал несколько неожиданный.

— Сделаю Киев соперником Константинополя,— сказал он, возвращаясь к своему столу.— А для этого все сделаем,

как в ромейском стольном городе: церковь Софии, Золотые ворота, монастыри, храмы, игрища, палаты...

Сивоок молча отступил. В нем постепенно угасала вспышка, толкнувшая его вперед к князю, необычность Ярослава тоже словно бы сразу затмилась, как только промолвил он слова про Константинополь. Опять одно и то же! Опять повторение и подражание. Никто не думает о том, что высшая ценность быть самим собой. Нет, нужно заимствовать. Заимствовали бога у ромеев, теперь заимствуют все и к богу, даже способностей своих словно бы нету — нужно просить их у ромейского императора, и талант лишь тогда талант, когда привезут его с чужбины. Почему так?

Когда-то на этой земле жили настоящие художники, которые в тяжелом творческом напряжении из ничего добывали краски и образцы и украшали жизнь вот так хотя бы, как украшены эти княжеские сени, а теперь появились лишь распространители чужого умения, такие, как Мищило,— а они, выходит, и милы князьям? И этот, с умными глазами, со сдержанным, человеческим голосом, лишенным сытого чванства, как у всех властелинов, он тоже не может отойти от установившегося, ему тоже хочется позаимствовать уже готовое. Константинополь! В самом деле, великий и славный город, собрано там множество чудес. Но почему Киев должен быть похожим на него? Да здравствует неодинаковость, слава непохожести!

Но все это лишь промелькнуло в голове у Сивоока, выразить толком этих мыслей он не мог, поэтому побрел на свое место, позади других, понуро возвышался там, разъяренный не столько на Мищилу и князя, сколько на самого себя. Вдруг молнией мелькнуло у него в голове: уж ежели как в Константинополе, то почему же Агапит прислал рисунок такой церкви?

— В Константинополе строим лишь пятинавовые церкви,— сказал, не обращаясь, собственно, ни к кому,— а трехнавовые нынче — лишь в отдаленных провинциях. Может, ты сам этого хотел, княже?

Это уже были тонкости, каких Ярослав знать не мог, но Мищило испугался, что князь начнет допытываться и в самом деле пожелает для себя тоже сложного пятинавового сооружения, которое Агапит не мог доверить ставить никому, считая, что только он один во всем мире способен на такое. Мищило боялся уже не столько за себя самого, сколько за своего константинопольского хозяина, учителя и наставника,

он понимал, что будет иметь здесь независимость лишь до тех пор, пока будет прикрываться значением и превосходством Агапита; Сивоок, ясно, был человеком опасным в своей необузданности и в своем умении, которым он превосходил всех, но дурости в нем тоже было полно, поэтому Мищило снисходительно улыбнулся, поближе подошел к князю и вполголоса, как будто больше никого там, кроме их двоих, не было, начал, на этот раз уже пересыпая ромейскую речь словами русскими:

— Все главнейшие церкви в Константинополе, княже, построены точно так же на три навы, как и наша будет. И церковь премудрости божьей святая София имеет три навы, и церковь божественного мира святой Ирины, и церковь Воскресения господнего святая Анастасия. Когда же божественный Юстиниан ставил святую Софию, все великие города и земли — Афины, Делос, Кизик, Египет, — славные своими строениями, отдали все свое самое ценное: мрамор, золото, серебро, слоновую кость, колонны и резьбу. На острове Родос для возведения главного купола был вылеплен легкий кирпич, и на каждом кирпиче была надпись: «Бог основал ее, бог ей и поможет». Через каждые двенадцать рядов в камень укладывали священные реликвии, в то время как священники читали молитвы. Главный купол держится на четырех больших столбах каменных, имеет в себе сорок окон, и ежели посмотреть снизу изнутри, то кажется, будто нависает над человеком небо. Под куполом прицеплен голубь, изображающий святого духа, а в теле голубя хранятся святые дары. Стены изнутри все выложены дорогим мрамором всяких цветов и оттенков, карнизы покрыты золотом, купол изнутри тоже весь покрыт золотой мусией, по которой идут изображения святых. В святой Софии сто восемь колонн, восемь из которых взято из храма Дианы в Эфесе. Алтарь отделен от церкви серебряной преградой с двенадцатью колоннами, престол из настоящего золота, со вставленными в него драгоценными камнями, ночью в церкви зажигаются шесть тысяч золотых лампад...

Мищило пересчитывал далее: сколько в Софии дверей серебряных, сколько медных, сколько кедровых, сколько дискосов, чаш, потиров, каковы по весу евангелия. Будучи не в состоянии передать величие и красоту крупнейшего константинопольского храма, он пытался потрясти хотя бы перечислением, нагромождал камень, дерево, медь, золото, попытался бы еще подсчитать, сколько все это стоило, сколько пришлось

собрать Юстиниану податей со всех византийских фем, так, будто главное было в количестве колонн и рисунков, а не в том, как они поставлены, как оформлены, как подобраны друг к другу, и как там положена мусия, и как ковано золото и серебро. Но об этом Мищило не сказал ни слова. В своей душевной ограниченности не ведал он того, что одни лишь имена зданий и городов уже вызывают в чутком сердце их образ. Константинопольская София тоже имела свой образ. Для Сивоока это была зеленая просветленность, будто утренняя морская прозрачность. Так когда-то впервые попал он в церковь Богородицы в Киеве, и навсегда осталось у него в сердце вишнево-сизое воспоминание, и звон колоколов, и золотое мерцание свечей. Но разве же об этом можно рассказать? Человек может лишь ощутить красу, может лишь переживать, и только тот, кто ее почувствовал, может творить наново, только в этом человеке есть подлинный дар. Неужели и этот умный и мудрый князь не умеет отличить человека способного от бездарного?

— Верю, что построишь ты для нас церковь славную и великую, — сказал Ярослав Мищиле и поднял правую руку, как бы благословляя его на подвиг.

Мищило встал на колени, отвесил поклон князю, пробормотал:

— Помоги, боже, дабы при малом таланте дела великие одолел я...

Сивооку хотелось закричать: «Не верь ему, княже, не верь!» Но что крик! Так заведено было повсюду. Мищило знал, что нужно унижаться перед богом, и чем больше ты унижаешься, тем лучше. Кто же может ведать, какой величины талант у Мищилы на самом деле? Или эти безмолвные антропосы скажут об этом? Какое им дело? Чужая земля, они исправно сделают свое дело, возвратятся назад в Константинополь, к своему Агапиту. Но ведь он, Сивоок, не вернется. И земля эта не чужая для него, а родная, дорогая, единственная в мире! «Помоги, боже, дабы при малом таланте!..» Зачем же для такой земли да малые таланты! Держава всегда старается покупать таланты, но скупость мешает ей выбрать самое лучшее, а может, просто нет умения выбрать, потому-то в большинстве своем купленные бывают либо самыми худшими, либо же посредственными, которые умеют лишь своевременно выскочить вперед, все эти крикуны, ведущие себя так, будто имеют у себя в кармане грамоту на вечность. А настоящие великие таланты часто исчезают бесследно, предают-

ся забвению, неизвестные и неузнанные. Бойся посредственности, о княже!

Но все это болезненно билось лишь в мысли у Сивоока, а выразить это он не решался и лишь сжимал кулаки от отчаяния, — снова раскалывался и разламывался перед его глазами мир, снова вставала перед глазами дивная церковь, он видел ее всю снаружи и изнутри, стояла она яркой писанкой из далеких лет его детства; собственно, была это и не церковь, а образ его земли, который родился из давних воспоминаний и из новой встречи с Киевом, образ, пролетающий, будто дыхание ветра в осенней листве, будто наполненные птичьим щебетом рассветы, будто золотистая молчаливость солнца над белой тишиной снегов.

А князь тем временем снова зазвонил в колокольчик, вошли какие-то его люди, встали позади, начался ряд с Мицилой, говорилось о вещах мелких и несущественных: о праве свободного выполнения работ, найме каменщиков и челядников, привозе всего необходимого из Византии, подчиненности лишь княжескому суду, а какой этот княжеский суд — видно было уже теперь, для князя лучше покорный телок, чем бык, который мечется во все стороны и рвется куда-то в неизведанность. Еще молвилось о харчах для мастеров, о красном вине, рисе, фигах, миндале, изюме, никогда Сивоок не думал, что Мицило может зайти в своем измельчании аж так далеко, а тот старался проявить перед князем знакомство с самыми незначительными на первый взгляд делами, удивить Ярослава обширностью своих интересов — от дел божественных вплоть до какого-то там изюма для мастеров на праздничные и воскресные дни.

Князь тоже вошел во вкус, ему, видно, понравилась рачительность Мицилы, он живо обсуждал все требования мастеров, приятно было спустить этих загадочных людей из заоблачности и непостижимого умения на грешную землю, наблюдать их превращение в простых смертных, выставлять перед ними требования: где должны жить, сколько работать, какие праздники отмечать, а какими пренебречь, что они могут делать, а чего нет, какие развлечения допускаются, а какие запрещены, какая будет оплата, и как с одеждой, и что будет, ежели кто-нибудь из них заболеет неизлечимой болезнью или же утратит зрение на строительстве княжеской церкви, и как должны они соблюдать пост, и о запрещении охоты в княжеских землях, и о недопустимости блуда, и о том, как следить за строительством, и о молитвах...

Когда-то, еще в детстве, прикованный своими хворостями к постели, спасаясь от тоски и отчаяния, Ярослав лепил из хлебной мякоти неуклюжих лошадок и птиц, потом пробовал подаренным князем Владимиром ножом резьбить по черному дубу, веселый воевода Будий расхваливал эти детские затеи, говорил, что никто так не сможет, как маленький князь, дохвалился до того, что Ярослав во время одного из приступов бешенства начал кричать, чтобы к нему в спальню собрали всех киевских малышей, которые умеют лепить или заниматься резьбой; воевода пообещал уважить прихоть маленького князя, в самом деле несколько дней собирал по всему Киеву каких-то замызганных и ободранных малышей, где-то их долго отмывали в бане и переодевали, прежде чем допустить к Ярославу, они пугались пышных палат, вооруженной стражи, многочисленной челяди, сновавшей повсюду; в палате маленького князя они испуганно прижимались к двери, не произносили ни слова, но маленький князь тоже, кажется, не горел желанием вступать с ними в разговоры, спросил лишь воеводу: «Ну, что они там умеют?»

Будий молча стал показывать князю резьбу и лепку, были там вещи очень совершенные.

— Вранье! Обман! — мрачно взглянул на все это Ярослав. — Не могут малые такое...

— А вот увидим! — весело промолвил Будий.— Вот дадим им глину и дерево, и пускай кто что хочет, то и делает!

— И чтобы перед моими глазами, — сказал Ярослав.

Дали малышам глину, дали дуб и резаки, кто сел на скамью, а кто и просто примостился на полу, мальчишки взялись за работу горячо и самоотверженно. Ярослав решил покамест удержаться, посмотреть на то, что у них выйдет, он словно бы предчувствовал, что состязаться ему с этими маленькими киевлянами негоже и не к лицу; терпеливо ждал, пока появятся первые слепки и первая резьба; мальчишек накормили обедом вместе с князем; когда начало темнеть, зажгли свечи, чтобы работа не прекращалась, кто первым заканчивал свою игрушку, принимался за что-нибудь другое; Ярославу некуда было спешить, все равно он вынужден был лежать, и потому сказал им, что могут жить здесь хоть месяц, что в дальнейшем и он сам присоединится к ним, но чем больше носил ему в постель Будий вещей, сделанных на скорую руку, почти на бегу этими безвестными подростками, тем молчаливее и мрачнее становился маленький князь, тем с большим нежеланием поглядывал на своих соперников, ибо

смекнул, что если бы посадили его с ними, то был бы он среди них самым худшим, самым бездарным. Над его лепкой и резьбой можно лишь посмеяться.

В приливе ярости он выгнал всех их вместе со смеющимся воеводой прочь, возненавидел с тех пор всех, у кого есть способности к искусству, но с течением лет в глубине души он стал уважать дарованное богом умельство, ибо ведал теперь очень хорошо, как много душ можно завоевать искусством.

Вот почему сам он принимал теперь художников, вызванных из Византии, сам советовался с ними, на прощание даже вспомнил о Сивооке, похлопал его по плечу, сказал Мищиле:

— Не обижайте этого человека.

— Христоса ему лишь не хватает, — сердито промолвил Мищило. — Всюду и везде чего-то ищет!

Мищило ревниво заслонял от князя всех антропосов, и прежде всего — Сивоока, боялся, видно, что Сивоок снова заладит свое, но тот молча поклонился князю, пошел из сеней в толпе своих молчаливых товарищей, которые давно уже убедились, что в их деле слова напрасны, что главное здесь лишь умельство, да и Сивоок в глубине души придерживался того же мнения, — видимо, именно поэтому и прикипел навеки сердцем к Иссе, которая умела весь мир вместить в одно-единственное восклицание «Ис-са!».

Следуя новгородскому обычаю с содержанием варягов, в Киеве для византийских мастеров заблаговременно был выделен отдельный двор за валом, возле самого места сооружения церкви, но Сивоок хотел иметь для себя с Иссой отдельное жилье, пошел по Киеву, чтобы нанять хижину; долго искал, Исса ходила за ним тенью, закутанная в мех, который Сивоок купил ей на торгу, потому что мерзла она уже от осеннего ветра; наконец удалось купить у родственников умершего старого кузнеца наполовину зарытую в землю деревянную хижину возле Бабьего торжка; в хижине была надежно сложенная печь, и это обещало тепло на долгую зиму, хотя немного и страшновато было спускаться на три ступеньки в землю, так, будто шел в могилу, в особенности если принять во внимание, что вокруг возвышались новые боярские и купеческие дома на подклетях, с резными украшениями, с окнами в свинцовых рамах, затянутых прозрачным пузырем, или же и с вставками из заморского цветного стекла, но Сивоок тешил себя надеждой, что это жилье не навсегда, надеялся он со временем поставить себе в углу их двора новый домик; для Иссы и вовсе было все равно, где и как

жить, — ей нужен был только Сивоок, она пугалась, когда он уходил из дому, плотнее закутывалась в мех, огромные ее глаза сверкали тревожно и пугливо. Сивоок всегда заставал ее в той же позе, в какой и оставлял, она никуда не выходила, не отлучалась со двора, терпеливо ждала его возвращения, не спрашивала, где был, что делал, как там подвигаются их дела, он приносил домой еду, покупал Иссе киевские украшения, впервые в жизни приходилось ему приобретать все необходимое для жилья, а знал, что здесь не обойдешься, как на острове, самым простым, тяжелая зима загоняет человека в жилье, и оказывается, что необходимо и то, и се. Однажды он не застал Иссу дома. Обеспокоенно осмотрел подворье, заглянул к соседям, кого-то там спросил — никто не видел ее, да, в сущности, никто и не знал, что у него в хижине пребывало какое-то живое существо, — такой незаметной и тихой была Исса. Он пересек Бабий торг, слонялся у дворов, заглянул на детинец, проходил одни и другие ворота, спрашивал у привратной стражи. Никто не слышал и не видел. Охваченный тревогой, Сивоок вернулся домой, Исса сидела в углу и ежилась от холода.

— Где была? — спросил Сивоок, не надеясь на ответ, но удержаться от вопроса все-таки не мог, потому что испугался не на шутку за нее и впервые почувствовал, что бы это значило утратить эту молчаливую, но самую дорогую на свете душу.

— Вода, — сказала Исса, и что-то напоминающее темную улыбку промелькнуло в ее больших глазах, и печальное воспоминание засветилось в их черной глубине, слова, которым он ее когда-то обучил, теперь возвращались к нему по одному, и самым первым было слово «вода», без которой Исса, наверное, не смогла бы жить, она привыкла к ее вечному дыханию, к ее звонкой речи, к ее глубинной прозрачности и безграничности.

— Ты смотрела на Днипро? — догадался он сразу и мысленно укорил себя, что раньше не смог показать ей Днепр с валов, дождавшись, пока она сама отважилась выйти из хижины и непроизвольно потянулась на свободу, к безбрежности, которая открывалась с киевских холмов. На следующий день он пошел за Иссой следом, на расстоянии, не хотел, чтобы она заметила его, боялся вспугнуть родившееся в ней желание наблюдать воды днепровские, терпеливо ждал, пока Исса спустилась с вала и пошла к себе домой; тогда взобрался на то место, где она только что стояла, взглянул — и сам за-

дохнулся от безбрежности вод, где сливались Днепр и Десна; он попытался повторить жест Иссы — склонился над бездной с простертыми к ней руками и словно бы падал вниз, навстречу водам, которые расплеснулись вокруг высокого Киева, и в глаза ему ударило серебристо-синим, а потом красно-золотым, он несся в эту многоцветную глубину долго и сладко, будто птица, и казалось ему, что это парит его дух в просторе той самой церкви, которая привиделась тогда ему в княжеском тереме; он постиг теперь ее глубинность, ее оттенки, охватил разумом ее образ. Он положит мозаику так, чтобы смотрели люди не мертвым, тупым глазом, не оцепеневшие и бездумные, а чтобы охватывали созданное глазом подвижным, пытливым, чтобы доискивались в каждом образе людской (а не только божьей) сути, чтобы улавливали неповторимость красок и оттенков, чтобы плавали и парили в ней, будто птицы из-за Десны на Днепр в киевском поднебесье. Но для этого ему нужна не та церквушка, которую собирается слепить на Киевской земле Мищило, ему нужен размах, раздолье и такой простор, какой открывается с киевского вала, — вывести бы сюда князя Ярослава да показать бы ему!..

А тем временем в Киев согнали тысячи людей; ежедневно прибывали воловьи и конные возы, нагруженные пивом, медами, житом, пшеницей, просом, камнем, деревом — всем необходимым для строительства и пропитания. Среди языческих песен, христианских молитв греческих, каждения поповского, раскаяний в грехах и вспышках веселых гульбищ таскали землю, с речек Уж и Уборть на Припять и по Днепру доставляли в лодьях самый твердый камень, ставили первые городни под новый вал, начинали вкапываться в землю Перевесища, чтобы заложить основание под церковь святой Софии; ивериец Гюргий со своими товарищами колдовал над камнем, который он сам привез на лодьях из отдаленнейших глубин Древлянской земли, не подпускал к себе даже Мищилу, не хотел иметь дела с теми, кто будет строить видимое, тогда как он озабочен был лишь невидимым, похвалялся, что соорудит Софию подземную, каменную, сводчатую, на которой надземная церковь может стоять и тысячу лет и больше, сколько будет нужно, столько и будет стоять. Мищило пожаловался митрополиту Феопемпту, однако византиец до поры до времени не вмешивался в строительство, он ждал, видимо, начала украшения, чтобы точно указать на порядок и способ росписи в соответствии с догматами; Мищиле напомнили при этом, что даже константинопольская София, сооруженная славны-

ми мастерами Анфимием из Тралла и Исидором из Милета (последний был земляком Иктиноса, который ставил когда-то Парфенон в Афинах), покоилась на разветвленных подземных сводах, тайна которых до сих пор еще не раскрыта никем, поэтому нужно печься прежде всего о прочности, а больше не вмешиваться в дело иверийцев.

Сивоок почему-то почувствовал какую-то родственность с душой Гюргия-иверийца, — возможно, понравился он своей независимостью от Мищилы, возможно, надеялся иметь в нем сообщника для осуществления своих намерений; в один из дней, когда уже заложили основание церкви и начали прикидывать ее размеры, Сивоок пригласил Гюргия с его товарищами в корчму, завел с ними беседу, начал издалека, похвалив их работу и их высокое знание души камня, ибо кому же неизвестно, что суровый камень, благодаря умелым людским рукам, благодаря счету и мере, становится мягким и податливым, впитывает в себя тепло людское и сохраняет даже запах человеческого тела, в чем убеждался каждый, кому довелось жить среди камней на берегах теплых морей. Потом, словно бы между прочим, спросил у Гюргия:

— А не мала ли будет церковь?

— Мала? — воскликнул Гюргий. — Не мала — ничтожна! Камень мы подложили такой, что гору можно ставить! А этот ваш Мищило — что он ставит! Не сюда мы шли — к князю Мстиславу. Тому бы сказали — давай сделаем вот так! Он бы сразу согласился. Ярослав осторожен. Всех слушает. Ни с кем не хочет спорить.

— Почему же не пошли к Мстиславу? — поинтересовался Сивоок.

Один из иверийцев что-то быстро сказал Гюргию, тот засмеялся.

— Боится тебя, что ты подослан, — сказал Сивооку, — а я знаю, какой ты человек. Ты никого не боишься, таких люблю! Давай выпьем. Хочешь — мы споем тебе нашу песню?

Они выпили, потом иверийцы все поднялись, стали плечом к плечу, обнялись и запели что-то мужественное и гордое, как сами они в своей мужской, незаурядной красоте.

— А не убегаем к Мстиславу,— крикнул снова Гюргий,— потому что Ситник не спускает с нас глаз.

— Ситник!— Сивоок еще не слыхал здесь такого имени, откликнулось в нем давнишнее, с детства, дед Родим, потный медовар, Величка.— Кто же он?

— Не знаешь? Он тебя знает. Всех знает Ситник. Ночной боярин князя. Хочешь? Пойдем к князю про церковь скажем?

— Говорил я, еще когда приехал,— мрачно молвил Сивоок.— Князь не внял моим словам.

— Ночью нужно пойти. Через Ситника. Ночью князь добрый. Тогда уговорим князя. Можешь поставить большую церковь?

— Хочу!

— Тогда пошли!

— Через этого Ситника не хочу,— сказал Сивоок так, будто предчувствовал, что встретит своего давнего недруга, а может, просто испытывал отвращение к этому прозвищу, потому что жили теперь в нем, пробудившись, все самые лучшие и тяжкие воспоминания детства.

— Иллариона попросим, пресвитера,— не отступал Гюргий.— Не пробовал с Илларионом говорить?

— Илларион — поп, не хочу с ним ничего иметь...

— Для попов ведь строим!

— Для людей — не для попов!

— Ну, пойдем к князю вдвоем?

— Вдвоем — согласен.

А уже припекло солнце нового лета, камень высох, утратил лишнюю воду; закончили закладку основания, митрополит со всем клиром отслужил торжественный молебен, между камней вложили княжеские золотые печати и дорогие кресты из золота, серебра и кипарисового дерева для вечного стояния церкви, освященной водой окропили весь верхний камень, сам князь с княгиней и детьми, с дружиной, воеводами, боярами, с челядниками был на торжестве; одетые в сверкающие золотом ромейские одежды, стояли среди свиты и антропосы с Мищилой во главе, все было пышно и велелепно, и никто не ожидал, что поздней ночью Ситник тайком проведет к князю двух высоких, покрытых темным одеянием мужчин и тихо выскользнет из княжеской горницы, оставив там приведенных и самого князя, и будет гореть там только одна тоненькая свеча, лучи которой будут падать изредка то на одно лицо, то на другое; напрасно будут стараться отвоевать у темноты хотя бы одно из этих лиц, ибо темнота будет выступать там сообщницей таинственности, а все трое прежде всего хотели сохранить тайну, это для них было всего важнее, ради этого Сивоок преодолел отвращение и ненависть к Ситнику, которого узнал сразу, хотя тот сильно постарел и раздался вширь за

два десятка лет с момента их последней встречи; что же касается Ситника, то он, совершенно очевидно, не мог и в мыслях предположить, что перед ним тот самый отрок, что когда-то огрел его сыромятью по лицу и дал деру так, что и до сих пор никто не может разыскать. Выступал же Сивоок под своим христианским именем Михаил.

— Вот привел к тебе, княже,— сказал Гюргий, когда они остались одни.

— Дело говорите,— отрывисто бросил Ярослав.

Сивоок, казалось, не имел никакого намерения разглагольствовать с князем. Пришел с последним разговором, с последним предупреждением.

— Мала церковь,— сказал он из темноты.

Ярослав тоже пошевелился, чтобы избежать света, который падал ему на лицо, точно так же из темноты ответил Сивооку:

— Слыхал уже.

Теперь наступила очередь Гюргия. Все они играли в жмурки с темнотой, трое взрослых и солидных мужей, в их числе и князь, не было в этой горнице ничего, кроме тоненькой свечечки, темноты да их троих; князь имел преимущество перед своими двумя посетителями разве лишь в том, что где-то за темнотой притаились его верные люди с всемогущим Ситником, но это было где-то, а вот здесь они состязались лишь втроем, и каждый стремился взять в свои сообщники темноту, каждый заслонялся ею, отклонялся от острого сверкания свечи и бросал в противника слово или два. Гюргию не по душе была такая переброска одним-двумя словами, в нем всегда готовы были взорваться целые лавины слов, горячих, иногда даже беспорядочных, но тут он сдержал себя, отодвинулся подальше в темноту и коротко сказал, обращаясь к Сивооку:

— Покажи ему.

— Мала церковь,— снова упорно повторил Сивоок, будто мог этими двумя словами переубедить упрямого князя.

— Да покажи!— уже нетерпеливо воскликнул Гюргий.

— Ну, что там у тебя?— наконец полюбопытствовал и Ярослав.

Горела свеча, очерчивая светлый круг посредине горницы, пустой, можно бы даже сказать, убогой для князя; где-то, наверное, вдоль стен стояли неширокие скамьи, да еще, быть может, был стул для князя, да какая-нибудь книга на подставке, как это любил Ярослав,— и больше ничего, никакой роско-

ши, ничего ценного, так, будто проводит здесь долгие ночи не властелин, а простой человек, темнота и вовсе уравняла всех, они бесшумно и затаенно следили друг за другом, преимущество Ярослава испарилось, как только он промолвил свое «Что там у тебя?», теперь уже Сивоок овладел положением, он что-то припрятал здесь, в темноте, тогда как у Ярослава не было ничего неожиданного.

— Так что?— нетерпеливо повторил князь.

И Сивоок не стал больше испытывать терпение Ярослава, молча, незаметно достал из темноты какую-то огромную вещь, сам не показался, снова отшатнулся назад, а посередине освещенного круга прямо на полу оказался слепленный из желтого воска храм. Воск тихо светился, будто женское тело, и князь не выдержал, вышел из темноты, прикоснулся рукою к подобию храма, так, будто хотел убедиться, что это в самом деле воск, что это не колдовство, не обман; теперь Ярослав тоже был частично освещен, он утратил даже те остатки преимуществ, которые давала ему темнота. Сивоок и Гюргий сами оставались невидимыми, могли следить за княжеским лицом, имели возможность наблюдать, какое впечатление производит на него восковой храм с его тихим свечением.

А храм будто распростерся, наполнил весь освещенный круг, отталкивая князя на самый край, так что виднелся теперь лишь краешек одежды Ярослава да повисшая в неподвижности рука, лицо же спряталось совсем, храм рос и рос, из прекрасно вылепленных нижних его громад поднимались высокие круглые купола, словно бы увеличенные медовые борти из древних пущ; купола постепенно возвышались к середине, ступенчато, волнисто соединялись, чтобы потом вытолкнуть из своей среды самый высокий купол, самый близкий к небу, самый главный, а уж от этого купола все части сооружения словно бы ниспадали, снова ступенчато шли вниз, в неодинаковости куполов была скрыта гармоничность, беспрестанность движения каменных масс; церковь словно бы плавала между землей и небом, внизу она тоже растекалась, расплескивалась то волнистым бегом округлений — апсид, то длинной каменной галереей, связывающей все купола в неразрывное целое, то двумя огромными башнями, которые и вовсе отбегали от церкви, лишь подавая ей издалека тонкие каменные руки-переходы.

Князь смотрел на церковь сверху вниз, так, словно бы смотрел на уже построенный свой храм бог с высокого неба; во множестве куполов, в их нагромождении, в их поющей кра-

соте, Ярослав узнал отзвуки деревянного храма святой Софии в Новгороде; немало довелось видеть ему чем-то похожих на это сооружение деревянных языческих святынь в землях Древлянской, Сиверской и Полянской, тогда жгли все эти святыни, думали, что уже никогда не возродятся они из пепла, а получалось, что прав был заросший огромной бородой святой человек в пещерке: не умирают старые боги, возрождаются в новой ипостаси, в новой силе и красоте, не боятся всевластной силы византийского искусства, в силе и неодолимости духа своего поднимаются над ним — и от этого открытия князю стало одновременно и страшно и радостно; почувствовал Ярослав, что теперь вот, может, наконец сумеет одолеть свою раздвоенность, которая мучила его столько лет; рожденный под знаком Весов, он пытался уравновесить новое, чужое, со старым, своим, но ничего не получалось, старое бунтовало, новое зачастую шло вопреки видимой потребности, он был последовательным во введении новой веры, полученной от князя Владимира, но в церквах шли богослужения и на греческом и на славянском языках; он хотел вывести Русь на широкие просторы мира, но видел в то же время, что утрачивает многое из своего, родного, без чего показываться в мире нет ни потребности, ни славы. И вот перед ним — церковь, храм, собор. Завершение и сочетание всех его мечтаний, стремлений, надежд, разочарований и колебаний. Пускай родится из противоречий его жизни, борьбы и власти, пускай станет памятником этого смутного и великого в своем непокое времени, когда народ русский явил миру не только величие своей силы, но и величие духа. И пускай тогда говорят о князе Ярославе что хотят.

Но так князь только думал, а вслух не проронил ни слова, не пошевельнулся даже, с прежней загадочностью держался на грани света и темноты, ничего не могли заметить в нем ни Сивоок, ни Гюргий, напрасно ждали они от князя восторгов или осуждений. Он стоял, смотрел, а может, и не смотрел на слепленный из воска храм, равного которому никогда еще никто не видел.

— Кто слепил?— нарушил наконец молчание Ярослав, но спросил таким будничным и бесцветным голосом, что Сивооку не было охоты отвечать, и он смолчал.

— Кто?— повторил Ярослав, и теперь в голосе у него уже улавливался гнев.

— Он сделал!— выскочил на свет Гюргий.— Зачем спрашиваешь, княже? Он это сделал! Никто больше не сможет!

Князь отступил от света и трижды хлопнул в ладоши.

Гюргий замер возле свечки, удивленный и возмущенный. Что бы это могло значить?

Беззвучно открылась дверь, Ситник стал на пороге, подал из темноты свой голос:

— Я здесь, княже.

— Вели послать тому, в пещерке, дичи с княжьего стола и меду в серебряной посуде,— сказал спокойно Ярослав,— и посылать каждый день моим именем.

— Ага, так.

— Иди!

Ситник со скрипом закрыл дверь. Причуды князя неисповедимы. Не спросил даже, жив ли еще этот старикан, у которого вся сила ушла в бороду.

Но еще больше обескуражены были словами князя Сивоок и Гюргий. Не знали они ни о какой-то там пещерке, ни о каком-то человеке, а еще меньше вязалось все это с их разговором о церкви. Да Ярослав и не заботился о том, чтобы его собеседникам все стало ясно. Он приблизился к восковому храму, склонился над ним, рассматривая теперь уже пристально и внимательно, сказал тихо:

— Объясняй.

Касалось это Сивоока, в голосе князя было не столько повеление, сколько приглашение, но Сивоок молчал. То ли давал князю время изучить церковь во всех ее частях, то ли и вообще считал, что любые объяснения здесь напрасны и неуместны.

— Объясняй,— снова повторил Ярослав.

Тогда не удержался Гюргий. Наконец в нем прорвалась его естественная горячность и неудержимость. Он взмахнул возмущенно руками, крутнулся в освещенной полосе, едва не задевая князя, и закричал:

— Послушай, княже! Когда ты делаешь детей? Ты так все ночи проговоришь! Почему такой многословный!

— Тебя не стану звать на помощь делать детей,— улыбнулся князь,— а разговоры нужно вести, ибо не для меня — для державы делается все, для славы божьей и на веки вечные. Ты покладешь камень, да и пойдешь себе дальше еще где-нибудь класть, а церковь будет стоять на этой земле в веках. И будут говорить о ней всякое, ежели мы, прежде чем построить, не подумаем как следует и не скажем всего, что нужно и можно сказать. Объясняй.

— Скажи ему,— уже спокойнее попросил Сивоока и Гюргий,— скажи, пускай услышит.

— Ну что?— Сивоок тоже подошел к ним, теперь все сосре-

доточились на светлой полосе, а храм был между ними, прорастал сквозь них, будто древо жизни, неудержимо и тихо струился, такая таинственная сила в нем была, что князь не выдержал — перекрестился, тогда Сивоок сделал рукой движение круглое, будто обнимая будущий храм во всей его волнистой красоте, сказал просто:— Весь храм снаружи расписать в наши краски, чтобы стал средь Киева и посредь всей земли писанкой, людской радостью...

— Не будем думать про наружный камень,— прервал его князь.

— А внутри будет достаточно простора, чтобы вместить в храме целый Киев. Покладем в главном куполе мусии разноцветные, уже имею перед глазами весь их блеск и сверкание, знаю, где и как. А дальше пустим по стенам и сводам фресковую роспись, чтобы заменить дорогой заморский мрамор. У нас нет мрамора для украшения стен и колонн, а везти из заморья — долго и дорого, потому-то и применим вновь наше древнее умельство и возьмем ту середину в узоры...

— Не нужно думать и о внутреннем пространстве,— снова нетерпеливо прервал князь, видимо раздираемый какой-то тревогой или же колебанием.

— Тогда о чем же думать!— крикнул Гюргий.

— Кто построит такой храм?— спросил Ярослав.

— Я построю,— тихо ответил Сивоок.

— А кто украсит?

— Тоже я.

— Один? Не может один человек свершить такое великое дело.

— Помогут мне мои товарищи.

— А ежели взбунтуются, как ты вот взбунтовался супротив них?

— Не супротив них — только против Мищилы да против Агапита.

— А митрополит?— не унимался князь.— Что скажет митрополит?

— То, что князь,— подсказал Гюргий.— Разве князь боится митрополита?

— Бога боюсь,— вздохнул Ярослав.— Вчера святили основание церкви, а сегодня его разрушать?

— Оставим так,— засмеялся Гюргий.— Маленькая хитрость, пускай себе лежит тот камень. Положим новый. Будет церковь с двумя основаниями. Как у человека два имени: одно для бога, другое — для людей.

— Легкий ты человек, Гюргий,— снова вздохнул Ярослав.— А все на свете делается не легко, жизнь сложна людская, требует раздумий.

— Ах, хороша будет церковь!— прищелкнул языком Гюргий.— Велика и славна, как нигде!

— Почему молчишь?— спросил Ярослав Сивоока.

— А что должен говорить?

— Хвали свою церковь.

— Зачем ее хвалить? Еще нет ведь ничего. Один лишь воск. Поднесешь свечу — растает бесследно.

— То, что в человеке, бесследно не исчезает,— заметил Ярослав.

— Видел я, что и людей самих со свету сводят.

— А это и дальше живет,— посмотрел ему в глаза князь,— знаешь ведь хорошо! И знаешь, как замахнулся этой церковью! Знаешь?

Сивоок молчал.

— Упрямый ты человек, а князья упрямых не любят, князьям нужно подчиняться, им по душе люди как воск, не жди от меня милости и поблажек,— с нарочитой жестокостью промолвил Ярослав Сивооку.— Иль ждал чего-нибудь иного?

— Воск тебе дал. Делай из него, что хочешь.

— И что можешь,— крикнул Гюргий.— А сам не умеешь — попроси нас! Сам упадешь без опоры, долго не устоишь.

— Ну ладно,— устало произнес Ярослав,— мне пора к молитве, а вы идите.

— Не сказал нам ничего,— Сивоок вдруг стряхнул с себя нерешительность, в голосе у него появилась неожиданная твердость.— Не для тебя делали эту церковь — для нашей земли. Не хочешь ставить в Киеве — поставим где-нибудь в другом месте. А стоять она должна!

Кровь хлынула в лицо Ярославу. Он поднял было руки, чтобы хлопнуть в ладоши, но сдержался, немного помолчал, гневно раздувая ноздри, повел лишь перед лицами Сивоока и Гюргия ладонью:

— Идите. Буду думать.

А Ситнику, возникшему в темной двери после ухода тех двоих, сказал:

— Пошли за Илларионом в Бересты. Жду его завтра после заутрени.

Ситник не уходил, смотрел на вылепленную из воска церковь.

— А это, княже? Выбросить?

— Глуп еще еси вельми,— спокойно промолвил Ярослав.

— Не нравится мне этот... Михаил,— пробормотал Ситник.— Подозрительный он.

— Что же это за держава, где талант берут под подозрение?— горько улыбнулся князь.— Да не удивляюсь тебе, Ситник, потому как самому себе ты, видать, не веришь. Как же ты поверишь этому Сивооку?

— Сивоок?— Ситник оторопел от неожиданности.— Михаил ведь он?

— И Михаил, и Сивоок. Главное же — человек вельми способный.

— Ох, подозрителен он, княже, поверь мне!

— Ладно, надоел ты со своими подозрениями. Уже поздний час. Иди!

— Ага, так.

Никто еще ничего не знал, когда князь советовался и с Илларионом, не догадывались ни о чем и тогда, когда приглашен был к князю митрополит Феопемпт и тот в облачении из тройной негнущейся, шуршащей парчи, с высоким посохом, окованным тяжелым серебром, появился в княжьих сенях в сопровождении своей свиты из Десятинной церкви Богородицы. Но вот пришло от князя повеление прекратить все работы на строительстве, и там несколько дней ничего не делали. За это время старый Феопемпт снова побывал в княжеских сенях, но теперь уже князь выставил от себя пресвитера Иллариона, и было чуточку смешно наблюдать, как против высохшего, утопающего в дебелых, прошитых тяжелым золотом ризах митрополита встает светлобородый, мужиковатый русский священник в изношенной старенькой рясе, в пожелтевших сапогах-вытяжках из грубой кожи, только и было дорогого на Илларионе что драгоценная панагия с адамасами и изумрудами, подаренная ему князем Ярославом, когда сел тот на Киевский стол, победив Святополка. Митрополит настаивал на том, чтобы продолжали возводить церковь на освященном основании, ибо уже определены были всеми не только размер и вид этой церкви, но и утвержден им, что есть митрополитом, весь чин внутреннего убранства, расписано все, и теперь изменять негоже, божья церковь должна возводиться за одним замахом, без переделок и без изменений первоначального рисунка. Митрополит обращался к князю, но отвечал ему пресвитер Илларион, хотя и стоял ниже Феопемпта, подчинялся ему по чину, однако имел полномочия от Ярослава, который не хотел начинать споров с митрополитом, тем самым вроде бы не настаивая

на своем намерении во что бы то ни стало отказаться от начатых работ и приняться за сооружение какого-то нового храма, которого еще никто и не представлял себе.

В этой беседе не произнесено было почти ни единого собственного слова, густо сыпались словеса из Святого письма, из отцов церкви, из греческих книг. Илларион и митрополит старались пересилить друг друга в книжной премудрости, начинали еще с момента смерти Адамовой, когда умирал он на руках у старой девы и ангел, посланный всевышним, положил ему под язык зерно, из которого впоследствии выросло дерево креста. Дерево это росло до времен царя Соломона. Он велел его срубить и отдать на строительство моста через поток. Когда же Великий Константин завоевал Иерусалим, никто не знал, где спрятано дерево креста, знал об этом лишь человек по имени Иуда, но он не выдавал тайны, за что Елена, мать Константина Великого, велела бросить его в глубокий безводный колодец, и лишь после этого было найдено священное дерево. Через триста лет персидский царь Хозрой попытался завоевать Иерусалим, но император Ираклий разбил язычника и, босой, во главе процессии внес крест в Иерусалим на собственных плечах. Все священные императоры великих ромеев ставили храмы в честь бога, а все, кто принимал веру Христа, не должны отступать от священных ромейских обычаев.

— Не отступаем и мы от креста и от Христа,— сказал Илларион,— но помним и то, что ромеями взято от всех народов самое ценное в зданиях: и камень, и колонны, и украшения, и во всех ромейских церквах живет не только божья красота, но и людская. Еще древние греки измерили след человеческой ступни и сравнили с ростом человека. Утвердив, что стопа составляет шестую часть высоты тела, применили то же самое основание к колоннам храма, и таким образом колонна греческая стала отражением красоты человеческого тела. Наша же земля испокон веков имела свои строения, она тоже хочет послужить новому богу своим собственным, богатство наружного убранства церкви передаст богатство земли нашей, вознесенность куполов, которых больше, чем в ромейских церквах, покажет необозримость Русской державы, которую зовут землей многих городов повсеместно; каждая земля должна славить бога своим голосом, и чем могущественнее будет тот голос, тем большая хвала божья.

Митрополит угрожал, что отправит назад в Константинополь всех зодчих во главе с Мищилой, на что Илларион ответил ему, что найдут они в Киеве умельцев, которые смогут

построить дом божий лучше, чем кто-либо. Ни к чему не привели эти длинные разговоры, Илларион твердо стоял на своем, потому что был в восхищении от восковой церкви, показанной ему князем Ярославом. Феопемпт же, понимая, что пресвитер имеет княжеские полномочия, прикидывался, будто не ведает ничего и ни о чем не догадывается, спорил яростно и долго, чтобы выторговать себе как можно больше, в душе же он смирился с прихотями князя (ибо как иначе мог назвать такое странное решение?), но должен был отстоять свое право управления всеми работами по внутреннему оформлению святыни, ибо это беспокоило его прежде всего, было для него всего важнее.

Наконец пришли к соглашению, что надзор за строительством будет вести Илларион, но с разрешения и повеления митрополита, установив заранее весь порядок и последовательность росписей, как это дано в екфрасисе[1] патриарха Фотия при освящении церкви Феотокос Фарос.

А кто станет говорить что-нибудь супротив имени патриарха Фотия? Еще полторы сотни лет назад этот константинопольский патриарх послал на Русь первого епископа. Сделано это было, правда, после того, как русичи подошли к вратам Константинополя и нагнали страху и на самого патриарха, который именно в тот момент был в столице, да и на императора Михаила, который перед тем неосмотрительно отправился в военный поход, не позаботившись о стольном граде. Патриарх поскорее призвал императора в Константинополь; беспомощные против отчаянных русских, которые на легких суденышках пересекли море и вот-вот могли овладеть столицей, император и патриарх ревностно молились в храме Влахернской божьей матери, выпрашивая у бога несчастий для русов; бог им не помог — помогла буря, которая разметала русские суденышки, но патриарх отнес это в заслугу Христу и поклялся привести в веру Христову этот великий и загадочный в своей силе народ, для чего и снарядил за море своего епископа. Кого-то он крестил, этот епископ, но следа от него не осталось, ибо в такой великой земле трудно оставить след. И все-таки ромеи, когда заходила речь про Русь, каждый раз выставляли имя патриарха Фотия. Пускай выставляют! Ярослав научился за эти годы борьбы и терпения самому главному для державного мужа умению — ждать. Не суетиться, не бросаться вслепую, не нарываться на мелкие стычки, не раздражать могучих,

[1] Екфрасис — проповедь *(греч.)*.

а самому постепенно наращивать силу и могущество, ибо видел, что все это есть в его земле, а со временем и еще приумножится.

У князя заботы были державные, у Сивоока — людские. Внешне вроде бы ничего и не изменилось. Мищило не стал противиться воле князя и митрополита, стал послушным помощником Сивоока, иной раз даже слишком усердным. Перед тем как заложить новое основание, Сивоок принялся еще раз измерять расположение церкви, чтобы она стояла в точном соответствии к сторонам света. Использовано было греческое искусство измерения при помощи тени. Направление север — юг определялось кратчайшей тенью, которую солнце бросает в полдень. Теперь нужно было положить к этой тени прямую линию, и она даст святую ориентацию: восток — запад. Для этого брали шнур с тремя узлами, расположенными между собой на расстоянии, которое измеряется соответственно числам три, четыре и пять одинаковых отрезков, из шнура создавался треугольник так, чтобы более короткая его сторона была тенью север — юг, тогда другая сторона давала направление восток — запад[1]. Собственно, это уже было сделано во время закладки первого основания, и Сивоок мог бы выразить полное доверие Мищиле, о чем он ему и сказал, но Мищило настоял на том, чтобы перемерили еще раз, он был очень смирным, тихая улыбка блуждала на его устах, и Сивоок, ослепленный своим успехом, не смог разгадать под этой улыбкой угрозы.

Да, собственно, что мог причинить ему Мищило?

Гюргий задумал неслыханную затею: снял с себя серебряный чеканенный пояс и этим поясом измерил место для закладки нового основания. Затем попросил князя, чтобы тот велел поймать двух диких тарпанов, и в воскресенье торжественно выехали за Киев, в поле; Гюргий связал тарпанов за шеи своим поясом и отпустил их в поле, тарпаны с места взяли во весь опор, в дикой ярости изорвали пояс, разлетелся он в мелкие куски, так что и не собрать его никогда, пропал пояс, а вместе с этим поясом навеки пропала и тайна измерений церкви, задуманной Сивооком.

Всем понравилась эта затея, Гюргия хвалил даже князь, а Мищило подсказывал Ярославу, что такое выдумать мог разве что сам Сивоок, и снова смотрел с загадочной улыбкой на своего соперника, но Сивоок не придавал значения ни словам, ни

---

[1] Несознательное использование теоремы Пифагора о прямоугольном треугольнике.

улыбке Мищилы, ибо они для него не значили ровным счетом ничего!

Был у Сивоока враг куда страшнее и могущественнее, вызвал его к действиям сам, мог бы пробыть в Киеве хоть десяток лет и не повстречаться с ночным боярином Ярослава — Ситником, но после той ночи, когда ходили они с Гюргием к князю и когда Ситник услышал от князя имя «Сивоок», случайно оброненное имя, напомнившее бывшему медовару неотмщенную обиду от сморкача, боярин начал приходить на стройку, останавливался где-нибудь незаметно с двумя-тремя своими людьми, следил за Сивооком, старался опознать в этом огромном светло-русом великане черты того маленького мальчика, забранного когда-то им от покойного Родима. Много лет прошло, и теперь уже трудно было сказать наверняка, что это тот же самый человек. Но и отступать Ситник не привык. Хорошо ведь знал: что мое — отдай! Применил свой испытанный способ — выведывания. Кто, что и как этот Сивоок? Так набрел он на Мищилу, и так объединились они в своей ненависти к Сивооку.

Если бы Сивоок и дальше оставался незаметным антропосом, не выделялся бы из числа ромейских мастеров, не совался бы со своими выдумками,— никому бы до него не было дела. Легко было тому, кто, обладая сильной рукой и смелым духом, вил свое орлиное гнездо на недоступной скале, разрешая более слабым строить у подножья свои хижины. Без сопротивления идут в битву воины за своим воеводой, ибо он сталкивается лицом к лицу со смертью первым и накликает на себя больше всего врагов. Охотно уступают право на муки,— быть может, именно поэтому так много всегда великомучеников и так щедро выделяют для них место в истории. Но человек талантливый напоминает цветок, который поднимается очень высоко. Его хотят сорвать первым. А что же остальные цветы? А те наполняются завистью, для них достаточно собственной красоты, другой красоты они не хотят признавать.

Любой из антропосов, который замышляет подняться над своей средой, должен быть готов к отчуждению, к одиночеству. Вся его дальнейшая жизнь — это преодоление одиночества. Он пробивается назад к своей среде, к своему окружению, к тем, из числа которых возвышался, пробивается тяжело, безнадежно, неся свой труд, будто отступное, будто выкуп, будто искупление за свое преимущество, за свою талантливость. Часто так и остается одиноким. Его творение встает между ним и теми, среди которых начинал когда-то. Это стена, сквозь

которую не пробьешься. Апостолов всегда признавали лишь после их смерти. Если бы намерение ставить церковь, не похожую на ромейские, принадлежало не одному Сивооку, а всем, было намерением общим, тогда не возникло бы никаких осложнений. Если бы на место Мищилы дозволено было избрать кого-нибудь другого, то выбор упал бы на того, кто менее всего задевает самолюбие, кто ничем не выделяется, кто не пробует превзойти своих предшественников, а мечтает хотя бы сравниться с ними, пользуясь теми же средствами. Сивоок не был таким. Возвысился над всеми при помощи силы посторонней, непостижимой, этим мог только раздражать всех, с кем еще вчера был одинаково незаметен.

А он не замечал этого, он был с теми, кто копал землю, ворочал камни, носил заправу, он был с мастерами камня, плинфы [1], дерева, железа, олова, он сам ездил в пущи к дубогрызам и королупам [2] выбирать достаточно большие дубы для брусьев на скрепления; работали на строительстве от солнца до солнца, не делая перерывов ни на праздники, ни в воскресенье, церковь должна была быть поставлена за короткое время, ибо и храм Соломонов строился семь лет, и святая София в Константинополе — пять лет, и Десятинная церковь Богородицы в Киеве — тоже не дольше.

Князю оставалось теперь одно лишь: ждать завершения строительства. Он водил иноземных гостей, поглаживал бороду, скромно молвил: «Тут положу камень белый резной, а тут — овруцкий шифер сиреневый и красный».

А и впрямь-таки если бы не он, то и не было бы ничего. Важно не то, кто строил, кто выстрадал всей жизнью своей в великом творческом напряжении это сооружение, важен не талант и не труд, а только то, кто стоял над этим, под чьей рукой все свершилось.

Но не повсюду доставала княжеская рука. За свою одаренность Сивоок должен был платить сам, без чьей бы то ни было помощи.

Сначала он ничего не замечал. Поглощенный ежедневными хлопотами, пребывал в таком возбуждении, что не мог ни есть как следует, ни спать, дневная усталость не брала его, он похож был на гонца, который несет важную весть о победе

---

[1] Плинфа — тонкий плитчатый кирпич, старинный строительный материал *(греч.)*.

[2] Королуп — кто лупит, сдирает кору.

своих войск, торопится, бежит без передышки днем и ночью через горы и через реки, бежит из последних сил, не может остановиться. Людей на строительстве было столько, что не могли подступиться к стенам церкви, отправлялись в Киев в поисках хлеба и воли тысячи, приходили на строительство не только по принуждению, но и по желанию, не из набожности, а в надежде на заработки. В самом Киеве и по ту сторону валов целыми ночами светились теперь огоньки в корчмах, где пропивали дневной заработок, жалкие ногаты, выплачиваемые землекопам и переносчикам камня и плинфы; собирались там люди веселые и впавшие в отчаяние, заливали медом и пивом успехи и неудачи, за одним столом встречались самые незаметные рабочие и надзиратели, каменщики и мастера своего дела; Сивоок тоже шел туда, не спал ночей, в свою хижину наведывался лишь на рассвете; Исса молча смотрела на него, в ее огромных глазах был упрек и бесконечный испуг, но она молчала, ей всегда было холодно в этой странной, непривычной земле, даже в летний зной она закутывалась в меховое корзно; Сивоок что-то ей говорил, приносил ей вкусную еду из своих ночных блужданий, рассказывал, насколько продвинулась церковь, был пьян не так от выпитого, как от своей нетерпеливой радости, вызванной строительством. Почти то же самое было на острове, когда он распоряжался сооружением монастыря, но там все казалось меньшим, незначительным, там Исса имела свое море, перед которым забывалось все на свете; Сивоок тоже не терялся на острове так, как в этом великом городе, не исчезал и не отдалялся от Иссы, а тут он словно бы поглощался огромным неведомым делом, удалялся, становился все меньше, и когда приходил в хижину, то не он должен был утешать Иссу, а ей самой становилось жаль его, она молча гладила ему голову, и лишь от этих прикосновений наплывали на Сивоока короткие волны прозрения, он отдалялся мысленно от своего непосильного для одного человека дела, пугался огромности свершаемого, вернее же — задуманного, и плакал под этой ласковой, тихой рукой, под взглядом огромных испуганно-печальных глаз Иссы.

А вокруг все плотнее и плотнее окружала Сивоока враждебность. Не выступала открыто, рядилась в одежды доброжелательности, Мищило стал незаменимым помощником и первейшим другом настолько, что постепенно отодвигал от Сивоока даже Гюргия. На горе себе, Сивоок не знал, что с чрезмерным усердием дружеские чувства выказывают, как правило, тогда, когда хотят предать своего друга.

Ситник стоял в сторонке, до поры до времени он не хотел сталкиваться с княжеским зодчим, несмотря на огромное желание посчитаться с ним (что-то подсказывало боярину, что этот огромный, загадочный в своих способностях и в своем быту человек — его бывший раб, а уступать свое Ситник не привык и не умел),— ведь за Сивооком стоял князь, а это был единственный человек, которого бывший медовар боялся.

Сивоок тоже чувствовал, что Ситник ходит за ним по пятам, ему тоже иногда хотелось найти боярина и поговорить с ним с глазу на глаз, убедиться, что это в самом деле медовар из далекого детства, но у него не было для этого времени, а более же всего он боялся, что тогда возвратятся к нему все воспоминания, встанет перед глазами маленькая Величка, для которой с таким трудом разыскивал в пуще синий цветок. А где теперь Величка, где синие цветы? Нет ничего, все изменилось, а о давнишнем страшно и подумать.

Неожиданно к сообщникам двух врагов Сивоока присоединился третий, совсем посторонний, казалось бы, неспособный на подлость человек, тем только и приметный, что любил болтать языком. Но, как говорится, стрелой попадешь в одного, а языком — в тысячу. Часто речь бывает страшнее острейшего оружия.

Этим третьим оказался Бурмака, княжий шут и глумотворец. Не мог смириться с тем, что с каждым днем все дальше и дальше отодвигается от князя, из особы приближенной превращается в нечто словно бы лишнее, нежелательное. Искал причин такого оборота дела, искал причин княжеской немилости — и никак не мог найти. Малым своим умом не мог сообразить, что такие, как он, нужны не всегда, что они имеют свое время, как те или иные овощи в употреблении. Во времена жестокие, при власти твердой исчезает мудрость, предаются забвению науки, художества, остаются только дураки. Они всегда плодятся там, где угнетается свобода. Для свободы же дураки ненадобны. Но Бурмака размышлял иначе: раз он устранен от князя, следует искать, кто же занял его место, кто стал приближенным. А кто? Ясно: Сивоок с его церковью!

Бурмака тоже приходил на стройку, нахально лез повсюду, цеплялся к Сивооку с дурацкими загадками: «А что круглое, а посередине — столб?» Сам же и разгадывал: «Лужа! Ге-ге-ге!»

Позднее, присмотревшись или по наущению Мищилы, начал ездить на осле и возле самой церкви, и в глинищах, где выжигались плинфы, и на пристани, откуда погонщики волов

тащили с лодей камень, и среди торжищ — и всюду разглагольствовал про Сивоока:

— Посмотрите-ка, ничего человек не делает, а прибыль имеет! И не князь, и не боярин, и не купец, и на дуде не играет, а богатеет! Всякая птица своим носом сыта. А что же это за нос?

Сивоок четвертую часть своей платы жертвовал на строительство,— не помогло, не заткнул глотку Бурмаке. Многие начали сердитым глазом посматривать на главного зодчего. Ибо не могли взять в толк, как это, в самом деле, может такое быть, чтобы один копал землю и ворочал камень и имел три ногаты за день, а другой получал бы во сто крат больше, и только за то, что носит голову на плечах? Разве головы не одинаковы? Может, внутри и различаются они между собою, но кто же может заглянуть вовнутрь?

До князя все это, конечно, не доходило. Ярослав никогда еще не имел таких мирных и спокойных лет княжения, как эти, связанные с началом возведения великого Киева, считал это добрым предзнаменованием, часто вспоминалась ему ночь, когда двое неизвестных принесли в полутемную горницу вылепленную из сверкающего воска церковь, и тогда бросал все свои государственные дела, повелевал Ситнику найти Сивоока и Гюргия, затевал с ними трапезу на княжеском дворе, а иногда и сам шел к ним, и усаживались они где-нибудь в корчме, князь был без охраны, без прислуги, сидел простым человеком среди зодчих и художников, пил с ними, ел, похвалялся точно так же, как и они, чувствовал себя совсем молодым, приподнятым, это были неповторимые ночи.

В одну из таких ночей Ситник, будучи не в состоянии отомстить Сивооку, нашел все-таки способ, как выместить свою злость. Сначала послал Мищиле два бочонка меду, велел Бурмаке устроить там изрядную пирушку, для которой он, Ситник, обещает вельми незаурядное развлечение. А потом поздней ночью послал своих людей в хижину Сивоока, они силой вытащили оттуда Иссу, завернутую в корзно, принесли ее в корчму, где разглагольствовал Бурмака, вытряхнули из мехов, и она предстала перед одуревшими от питья мужчинами почти голая, перепуганная, беззащитная в своей наготе, душевной и телесной.

— Поговори с нею,— крикнул Бурмаке Мищило.— Она умеет по-нашему! Она такая разговорчивая!

Бурмака этого только и ждал. Он мигом подскочил к Иссе, дернул ее за руку:

— А ну-ка скажи! Скажи!

Исса смотрела на него своими большими глазами и молчала.

— Га-гав! — запрыгал вокруг нее Бурмака.— Почему молчишь? Сивоок!

Исса закрылась руками. Она подняла руку, будто молилась то ли за себя, то ли за Сивоока, которого не видела здесь и не знала, что с ним, а может, молилась и за этих никчемных людей — кто же это ведает?

— Скажи: Сивоок! — крикнул Мищило.

— Вода,— прошептала Исса.

— Тих-хо! — ревнул Бурмака.— Она что-то бормочет.

— Вода,— точно так же тихо повторила Исса.

— Га-га-га! — заржал Бурмака.— Отгадай загадку. А что длинное да закрученное, как собачий хвост?

— Жито,— думая о своем, сказала Исса.

— Ге-ге-ге! — хохотал Бурмака.— Вот девка! Ой, умру!

Теперь смеялись все. Смотрели на растерянную, несчастную, тоненькую, большеглазую девушку, уже не слышали, что она говорит, пошли на поводу у своей пьяной удали, смеялись, хохотали, ревели, размазывали по мордам слюну и слезы, раздирали рты до ушей, хохотали во все горло, до обалдения, до слез, до безумия, заливались, качались, надрывали животики, задыхались.

— Ой, лопну!

— Подохну!

— Тресну!

Чертом из ада носился вокруг Иссы Бурмака, брызгал слюной, плевался, ржал, как жеребец, а Мищило сквозь всхлипывания от смеха ревел из-за стола:

— Спроси еще!

— Пусть скажет! — разъяренно визжали пьяницы.

— Про воду!

— Про жито!

— Ха-ха-ха!

— Го-го-го!

И это несчастное, забитое, обезумевшее от страха создание решилось наконец на отчаянный шаг: с коротким горестным криком-стоном Исса оттолкнула распоясавшегося шута, одним прыжком добралась до двери и молча побежала по темной узенькой улочке, распугивая ночных сторожей с деревянными колотушками и случайных прохожих. И хотя казалось, что бежит вслепую, не разбирая дороги, все же Исса как-то словно

подсознательно направлялась к тому месту, на городском валу, откуда любила смотреть на широкие разливы днепровских и деснянских вод, и то ли кто-то заметил ее уже на валу, или догадался кто о ее страшном намерении, или же нашлась среди прихвостней Мищилы еще не до конца пропащая душа, или это был уличный сторож, или просто какой-то случайный человек, но появился неизвестный там, где князь Ярослав пировал с Сивооком, Гюргием и их товарищами, и крикнул Сивооку:

— Эй, там твоя агарянка сбежала!

Сивоок, не расспрашивая далее, метнулся к двери, а за ним, извинившись перед князем за такой не совсем учтивый перерыв в угощении, бросился Гюргий, которому послышалось что-то слишком уж тревожное и страшное не столько в этом выкрике, сколько в неистовом прыжке Сивоока из корчмы.

Сивоок побежал по тем же самым улицам, по которым совсем недавно пролетела Исса, он примчался на вал и взобрался на самую вершину одним махом, он рванулся к самому обрыву, к черной ночной пропасти, в которой где-то глубоко-глубоко шумели деревья и раздавался какой-то крик, как будто упало, провалилось туда все живущее на свете.

Гюргий подбежал в самый раз, чтобы успеть схватить Сивоока, который так бы и рванулся в эту пропасть, он крепко схватил товарища, дернул к себе, оттянул от обрыва, молча повел подальше от опасного места, а Сивоок в молчаливой ярости вырвался и снова метнулся туда, к пропасти, но тут Гюргий наконец понял всю опасность того, что может здесь случиться, и успел крикнуть:

— Прыгай, дурак! Я — за тобою!

Только это остановило Сивоока. Мир был не только там, внизу,— он оставался еще и здесь, за спиной, нужно было только обернуться к нему, и Сивоок обернулся к Гюргию, понуро, бессильно встал, спросил упавшим голосом:

— За что они ее так?

Гюргий молча обнял Сивоока за плечи, повел его с вала вниз, осторожно прошел с ним через торговище, затем они миновали темные дворы боярские и купеческие, вышли на поле, где среди камней, дерева, плинфов, среди разрытой земли, среди строительного хлама, среди возов, под которыми спали люди, среди фырканья коней и вздыхания волов, жевавших во тьме свою жвачку, поднимались в киевское небо еще не завершенные стены причудливого, дивного сооружения.

— Видишь? — горячо прошептал Гюргий.

Сивоок молчал.

— Они такого не могут! — горячо промолвил Гюргий.— Никто не может. Только ты! А они, как голодные шакалы, рвут у тебя, что могут!

Сивоок стоял словно окаменелый.

— Проклятье, проклятье им всем, бездарным, завистливым, никчемным! — воскликнул Гюргий, и голос его, отразившись от стен, громким эхом загремел над всеми строительными стойбищами, эхо перебрасывало грозное слово с ладони на ладонь, смаковало его: «Проклятье... клятье... ятье.... ятье!»

— Да разверзнутся небеса и поразят их громами и молниями! — неистовствовал Гюргий, надеясь вырвать своего товарища из тяжкого оцепенения обвалом слов, которые он обрушивал на головы притаившихся здесь злодеев.— Да проклянет их всяк входящий и выходящий! Да будет проклят харч их, и все добро их, и псы, которые их охраняют, и петухи, которые поют для них! Да будет проклят их род до последнего колена, да не поможет им молитва, да не сойдет на них благословение! Да будет проклято место, где они теперь, и всякое, куда перейдут или переедут! Пусть преследуют их проклятья днем и ночью, ежечасно, ныне и присно, едят они или переваривают пищу, бодрствуют или спят, стоят или сидят, говорят или молчат! Проклятие их плоти от темени до ногтей на ногах, да оглохнут они и ослепнут и станут безъязыкими все, проклятье им отныне и во веки веков до второго пришествия, им, трижды никчемным, мерзким и гадким! Аминь!

Сивоока это мало утешило. Если бы можно было благословением или проклятием возвратить чью-то утраченную жизнь! Но не поможет, ничто не поможет. Да Гюргий, отведя немного душу в словах-проклятиях, тоже понимал, что его товарищу нисколько не полегчало, но не такой человек был ивериец, чтобы беспомощно опускать руки, он снова подскочил к Сивооку, обнял его крепко за плечи рукою, сдвинул с места, повел вперед, прямо к стенам строящейся церкви, нашел там в темноте ступеньки, по которым можно было взобраться наверх, на самую верхушку волнистых апсид, проводил туда измученного Сивоока, казалось навеки утратившего интерес к жизни, и, когда встали они на широкой стене под покровом душистой летней ночи, когда ударил в их разгоряченные лица свежий ветер из-за Днепра и из дальних боров и пущ, Гюргий рванул из-за пояса небольшой бурдючок, в котором, по обычаю своей земли, всегда носил вино, поднес трубку к губам Сивоока, крикнул:

— Пей! Только жалкие души могут думать, что остановят

тебя, Сивоок! Пей, чтоб ты возвысился над всеми, чтоб утопил своих врагов!

Сивоок через силу шевельнул языком, сделал глоток, вино было пахучим и обжигающим, прокатилось по его внутренностям, будто клубок веселого огня; тело его встрепенулось, постепенно возвращаясь к жизни, сознание было еще омрачено, однако уже пробивалась мысль о том, что великое дело, которое он начал, должно превысить все: и боль, и горе, и несчастье!

— Пей! — кричал Гюргий.— Пей, и да будет с тобой сила наших предков — твоих и моих! Да будет огонь и страсть!

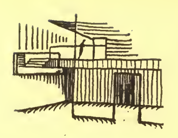
Вино из бурдюка содержало в себе полынную горечь степи и пронзительную прозрачность гор, искрометные лучи солнца отзывались в нем и влились прямо в кровь человека, Сивоок сделал еще один большой глоток, оперся плечом о Гюргия, крепче утвердился на стене.

— Брат мой,— сказал он, обращаясь к Гюргию и повторил: — Брат мой!

Тот обнял Сивоока, прикоснулся к его бороде своей иверийской бородкой.

— Дорогой,— промолвил он растроганно,— все-таки жизнь — величайшая роскошь! Пей!

«Да,— думалось Сивооку,— жизнь прекрасна. Нужно это понимать даже тогда, когда кажется, что все уже утрачено».



1966
ГОД
КАНИКУЛЫ. ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ

Выбрали мы свидетелей, и хорошо выбрали, черт побери!

П. Пикассо

В Марбург они не поехали. Зато имели от Вассеркампфа еще одну историйку. На этот раз — о лебедях. Происходило это на одном из островов Северного моря. Там, в прибрежной полосе, множество островов, больших и малых, в древние времена они были заселены фризами, людьми стихии, суровыми рыбаками и мореходами, обладавшими душами чуткими к красоте природы и ее чуду. Теперь там поселяются многие из тех, которые жаждут душевного покоя, которые хотят сменить ничтожную мирскую суету на тихие раздумья, на одинокую беседу с природой и высшими силами. Быть может, живет на тех островах особый «дух места», оставленный еще древними фризами, и этот дух передается в наследство новым жителям, и они, как никогда ранее в своей жизни, притуляются сердцем к жизни в ее первобытных проявлениях. Таково вступление к этой истории.

— Ну вот,— продолжал Вассеркампф.— На одном маленьком островке, в еще меньшем поселке укрылась от мирских тревог чета пожилых людей. Их можно было назвать эмеритами, то есть людьми на пенсии, а можно и эремитами, то есть монахами-отшельниками. Игра слов, а суть не изменяется. Будем откровенными: муж был ветераном войны, потерял на фронте руку, не под Москвой и не под Сталинградом, пус-

кай это вас не тревожит, человек этот вообще на Восточном фронте не был, потому что ранен был еще в сороковом году под Дюнкерком. Представьте себе: там были раненые также и среди немцев, были даже убитые, но не об этом речь.

Итак, заслуженный ветеран, имея небольшую пенсию от федерального правительства и соответствующие сбережения, как это умеет делать каждый порядочный немец, сумел купить себе на маленьком острове маленький домик и поселился там с женой. Двое пожилых людей, связанных с миром только, так сказать, общей экзистенцией, да еще и почтовым ведомством, которое ежемесячно присылало им небольшую денежную сумму.

Имея много свободного времени, супруги решили изучить остров, для чего ими были разработаны соответствующие маршруты, и так они и измеряли островок собственными ногами. Когда мы говорим «маленький остров», то выражаемся чисто географически, ибо маленьким он считался в сравнении с материками, с островами большими, с архипелагами, маленьким он казался для быстроходных лайнеров, проплывавших мимо него на Берген, Лондон или Антверпен; совсем как маковое зернышко был этот остров для реактивных самолетов, потому что при сверхзвуковой скорости такой лоскут земли просто не попадет в поле зрения, на него отводится даже не секунда во временно́м исчислении, а всего лишь доля секунды, время крайне малое, чтобы человеческий взгляд успел зафиксировать все вокруг с исчерпывающей полнотой. Но для двух пожилых людей, живущих на таком лоскуте земли, для людей, не имеющих ни автомобиля, ни мотоцикла, а имеющих всего лишь один велосипед на двоих,— следовательно, когда они хотят отправиться в дорогу вдвоем, то могут это сделать лишь пешком,— для таких двух людей понятие «маленький остров» обретает значение несколько иное, чем для тех, кто живет на материке среди необозримых просторов. Для этих двоих людей маленький остров был по-своему землей великой, почти необозримой, он таил множество секретов, на нем находили они новые и новые тайные уголки: небольшие озера, пригорки, бутры, деревья, цветы, ручейки, неожиданные изгибы берега, о которые с особым шумом разбиваются морские волны. Если подумать, то в самом небольшом просторе при соответствующем настроении и желании человек всегда может найти множество неожиданных открытий, благодаря чему этот простор обретет для него свойство безграничности.

В числе других открытий, сделанных супругами на остров-

ке, было небольшое озеро, неглубокое, тихое, и ничего в этом озере и не было бы интересного, если бы не застали наши путешественники однажды там двух белых лебедей. Была уже осень — время, когда птицы из этих суровых северных краев перелетают на юг в поисках тепла и пищи, давно уже должны были бы, кажется, отправиться в дальние края и лебеди, но что-то их задержало здесь; возможно, они полюбили этот остров точно так же, как эти двое уединившихся людей, возможно, и в лебединых душах родился сантимент к забытому всеми куску земли среди серых холодных волн Немецкого моря,— как бы там ни было, а между птицами и людьми возникло что-то общее, какая-то словно бы искра привязанности соединила их мгновенно, женщина сразу решила, что птицы голодны, что их нужно накормить, она раскрошила свои бутерброды, бросила крошки в воду, однако лебеди не хотели верить людям, они отплывали подальше от берега, сторожко вытягивали шеи, готовы были в любую минуту распрямить крылья и взлететь. Когда муж и жена появились утром на берегу озера, обнаружили, что лебеди, оказывается, не улетели, они словно бы даже ждали людей, хотя, правда, держались подальше от берега и на этот раз, но уже не так сторожко поглядывали на своих вчерашних знакомых и даже изъявили намерение взять предложенную пищу, правда, ограничились только намерением.

Самое удивительное было, однако, впереди! Лебеди оставались на озере и дальше. Они не улетали на юг, пропущены уже были все сроки, приближались холода, клубились густые холодные туманы над островом и морем, начались штормы, а лебеди продолжали плавать по озеру, немного смелее приближались к людям, начали уже принимать от них пищу, постепенно зарождалась дружба между людьми и птицами!

За зиму дружба стала настоящей, теперь жизнь для эмеритов обрела значимость, она наполнялась заботами, с материка были выписаны все возможные книги о лебедях, жена и муж готовили для птиц пищу точно так же, как родители готовят пищу для детей; лебеди надлежащим образом ценили человеческую заботу, они стали почти ручными, за зиму они пополнели, на них выросло новое перо, они заметно покрасивели, стали такими прекрасно-величественными, что навряд ли и могли бы стать такими после длительных перелетов на юг и снова назад, в края летних гнездовий.

На лето лебеди тоже не покинули озеро, наоборот, они приманили к себе еще одну пару, а под осень на озере уже собра-

лось несколько лебединых пар, и для супругов наступила зима, и вовсе насыщенная большими хлопотами. Пищу лебедям пришлось возить на велосипеде, прикрепляя к нему специальную тележку; каждому лебедю была дана кличка, муж и жена разговаривали с птицами, и те их слушали, грациозно вытягивая шеи; весной часть лебедей направилась куда-то на другие острова и озера, однако осенью их стало еще больше на озере,— казалось, что лебеди со всего моря намереваются поселиться на зиму здесь, чтобы не лететь бог весть куда, им понравилось здесь, было сытнее и лучше, чем в дальних краях извечных странствий; муж и жена теперь не имели ни отдыха, ни хотя бы минуты свободного времени, днем и ночью они работали на своих лебедей, отдавая птицам все, что могли и что имели, но настал такой день, когда люди вдруг вынуждены были признаться самим себе, что уже ничего не имеют, что отдали птицам все, истратили все сбережения, продали все, что могли продать, взяли кредит под свою пенсию, но все равно не хватило и этого кредита, в будущем теперь людей не ждало ничего, кроме голода и безнадежности; но они за себя не боялись — им страшно было подумать, что случится с птицами, которые доверились людям, а теперь должны будут тяжко расплатиться за свое доверие.

Тогда муж вспомнил, что где-то на материке у него должно быть несколько камрадов со времен войны, старых, добрых солдат с чуткими душами, он написал им; не все получили эти письма, потому что кое-кого уже не было и на свете, но кто-то там переправил это письмо в какую-то газету, на остров примчался репортер, газета мигом подняла кампанию, за неделю было создано добровольное общество в защиту североморских лебедей, посыпались пожертвования на содержание птиц, самые бедные посылали несколько своих марок или пфеннигов. Ибо лебеди не должны утрачивать веру в людей, причем — добрую веру!

Вот такая история.

— Ну хорошо,— сказал Борис Отава,— но герр Вассеркампф, кажется, обещал нам, что еще сегодня мы поедем в Марбург?

— Вы нам обещали,— напомнил со своей стороны и третий секретарь посольства.

— Господа, не волнуйтесь, все будет, полагаю, хорошо, хотя, не стану скрывать, возникают некоторые компликации, но это уже касается работы нашего управления, поэтому, думаю, лучше прежде времени вас не беспокоить, нетва?

— Приятно узнать о людях, встающих на защиту птиц,— Борис изо всех сил пытался приглушить иронию,— но хотелось бы надеяться, что с не меньшим сочувствием отнесутся ваши соотечественники к тем, кто встает на защиту истории. Поэтому нас немного удивляет ваша нерешительность, герр Вассеркампф. Ведь все так просто. Очень важный старинный документ, принадлежащий нашему народу, во время войны злодейски был вывезен из Киева и сейчас находится в Марбурге.

— Это еще не доказано,— быстро подбросил Вассеркампф.

— Во всяком случае, в Марбурге есть человек, который знает, где и в чьих руках этот документ, человек, который, очевидно, изрядно провинился перед моим народом, перед моим городом, перед... Я не буду продолжать, ибо еще не имею доказательств в отношении Оссендорфера и о старинном пергаменте времен Киевской Руси, содержание которого профессору Оссендорферу известно, известно об этом и вам, вы имеете научный журнал с публикацией профессора Оссендорфера, имеете наши подтверждения о том, что пергамент до войны хранился в киевском институте.

— Кстати, майне геррен, в Марбурге в свое время учился ваш великий поэт Пастернак,— улыбнулся Вассеркампф.

— А еще раньше — Лютер, а также Ломоносов и братья Гримм,— точно так же многозначительно улыбнулся и Борис,— а сейчас там нас ждет тайна киевского пергамента, который просуществовал, несмотря на все мировые события, девятьсот двадцать девять лет, а вот теперь не может быть возвращен в руки настоящих хозяев только из-за...

— Прошу прощения,— быстро произнес Вассеркампф,— но я напомню вам, майне геррен, что существовал пергамент еще более древний, и там тоже шла речь о Киевской Руси, о самом Киеве, о ваших князьях.

Вассеркампф схватил со стола заранее подготовленную бумагу, начал быстро читать, по возможности пытаясь придать своему голосу торжественную риторичность:

— «Тем временем Ярослав занял силой один город, принадлежавший его брату, и увел всех жителей. Зато необычайно могучий город Киев по наговору Болеслава стал жертвой упорных налетов со стороны печенегов и огромные понес потери в результате больших пожаров. Его жители защищались, однако вскоре открыли ворота перед неодолимыми чужеземцами. Брошенный своим властелином, который бежал, Киев при-

нял в день 14 сентября Болеслава, а также изгнанного много лет назад князя Святополка, который овладел всем этим краем, используя страх перед нашими. Когда вступали в город, тамошний архиепископ приветствовал их торжественно реликвиями святых, а также другими разнообразными драгоценностями из храма святой Софии, сгоревшего в прошлом году вследствие несчастного случая. Здесь присутствовали: мачеха упомянутого князя, его жена, а также девять его сестер, одну из которых, издавна облюбованную, этот самый развратник Болеслав захватил бесстыдно, забывая о своей брачной жене. Одновременно подарено ему бесчисленное количество денег, из которых огромную часть разделил между своих сообщников и любимцев, определенную же часть отправил на родину. Среди подкреплений, которые были у упомянутого князя, насчитывалось от нас триста, от венгров пятьсот, от печенегов, наконец, тысяча людей. Всех этих людей отослал тамошний властелин домой, когда смог убедиться с радостью, как жители края тянутся к нему и свою верность ему выражают. В этом большом городе, который является столицей государства, насчитывается свыше четырехсот церквей и восемь рынков, количество жителей не поддается учету.

Пускай бог всемогущий будет посредником во всех делах и укажет ласково, что ему нравится, а нам пользу принести может».

— Вы узнаете, профессор, этот текст, нетва? Это харатья Thietmari Merseburgensis Episcop Chronicon — из хроники Титмара Мерзебургского, немецкого епископа, который в тысяча восемнадцатом году был в вашем Киеве вместе с польским князем Болеславом,— нетва? Вы не назовете его завоевателем — нетва?

— Нет, мы называем Титмара очевидцем,— сказал спокойно Борис,— это — один из старейших очевидцев, который оставил нам описание Киева без позднейших исправлений, дописок и выдумок, как это, к сожалению, наблюдается в летописях и в исторических произведениях.

— Прекрасно! — воскликнул, вскакивая со стула, Вассеркампф.— Вы не отрицаете ценности и важности работы мерзебургского епископа Титмара! Эта книга пережила девятьсот тридцать семь лет. Сто девяносто две харатьи древнего пергамента. Не один листик, а сто девяносто два! Это была собственность Саксонской библиотеки в Дрездене, и эти сто девяносто два листа пергамента, который просуществовал девятьсот тридцать семь лет, сгорели в мае сорок пятого года вместе с

Саксонской библиотекой, вместе с Дрезденом, в результате, как сказал бы сам Титмар, огромной бомбардировки американской авиации. Нетва?

— Вы сообщаете нам об этом таким тоном,— не удержался Борис,— как будто хотите сказать, что мы должны благодарить за спасение нашего пергамента, хотя бы той одной страницы, которую я сейчас разыскиваю.

— Возможно, даже так,— пожал плечами Вассеркампф,— все возможно, если подумать. Я вам уже говорил о вашем художнике. Представьте себе: его выкатили из вагона, он превратился в обледенелую глыбу. Получилось так, что американцы круглосуточно бомбили город, люди вынуждены были сидеть в укрытиях, а на станции в это время стоял эшелон с пленными. Был большой мороз, кое-кто из пленных, имея не очень теплую одежду, страдал от холода, хотя и известно, что русские весьма привычны к холоду, кое-кто и вовсе замерз насмерть. Пришлось высвобождать от них вагоны, для этого было мобилизовано население, то есть старики и женщины, женщины выкатывали замерзших из вагонов, и вот у одного замерзшего в камень одна немецкая женщина совершенно случайно увидела уголок какой-то бумаги на груди. Она расстегнула на мертвом одежду, достала эту бумагу и сразу узнала в ней диплом Флорентийской академии искусств, потому что точно такой же диплом имел и ее муж, которого взяли на Восточный фронт в саперные части и где он погиб. Женщина прислонилась ухом к груди русского и услышала, что у него еще бьется сердце. Оно билось еле слышно, жизнь держалась, как говорится, на волоске в этом теле, но женщина решила спасти эту жизнь! Она украла, буквально украла замерзшего пленного, привезла к себе домой, возвратила его к жизни, втайне от соседей прятала художника у себя в квартире до самого конца войны. Потом он возвратился к себе домой.

— Труднее было бы сосчитать и рассказать о тех, кто не возвратился и никогда не возвратится,— сказал Борис.

— Мы стараемся возвратить все,— торжественно заявил Вассеркампф,— и надеюсь, что никому не даем оснований сомневаться в немецкой честности. Мог бы привести вам пример, касающийся исторических документов. Речь идет о «Кодексе Супраслиенсис», проще говоря — Супрасльском кодексе, который до войны был собственностью Варшавской государственной библиотеки. Герр профессор слыхал об этом кодексе, нетва?

— Это моя специальность,— подтвердил Отава.

— И герр профессор знает, какую ценность представляет собой кодекс. Десятое, а может, и девятое столетие. Писано кириллицей, возможно, где-нибудь в Прикарпатье, то есть на территории современной Украины. Двадцать четыре менаэум, то есть житий святых, гомилии [1], приписываемые Иоану Крестителю, Епифанию Кипрскому и патриарху Фотию. Рукопись эта была спасена кем-то из наших солдат во время пожара Варшавы в сорок четвертом году, в противном случае ее постигла бы точно такая же участь, как хронику Титмара.

— И чтобы спасти эту рукопись, пришлось взорвать в воздух всю Варшаву! — саркастически заметил Борис.

Вассеркампф сделал вид, что не заметил сарказма в тоне своего собеседника, он был целиком увлечен своим рассказом.

— Но американцы, занимая наши города, к сожалению, не всегда были разборчивыми в средствах, иногда они прибегали и к примитивнейшему грабежу, так Супрасльский кодекс очутился в США и недавно был представлен на одном из аукционов и был продан за большие деньги. Хорошо, что нашлись порядочные люди из американской фирмы, которая импортирует из Польши продовольственные товары. Они выкупили кодекс и подарили его польскому народу. Это было благородно — нетва?

— А все-таки, герр Вассеркампф,— сказал Валерий, молчавший до сих пор,— когда мы поедем в Марбург? Спрашиваю вас совершенно официально.

— Завтра,— торопливо ответил Вассеркампф,— надеюсь, что завтра мы сможем поехать, несмотря на некоторые компликации. Но еще сегодня я попытаюсь все устроить...

Назавтра Вассеркампфа вообще не оказалось в управлении. Он исчез и появился лишь через день, сразу же позвонил в посольство, пригласил к себе Валерия с профессором, встретил их точно так же радостно, как и раньше, казался даже помолодевшим, приподнятым, словно чиновник, который только что получил орден.

— Вы узнаете меня, майне геррен? — воскликнул он, обращаясь к своим посетителям.— Ставлю пять марок, что вы меня не узнаете,— нетва? Я потратил вчера целый день, но это не был напрасно потраченный день. Вы можете угадать, где я был?

[1] **Гомилии** — проповеди, послания.

— В Марбурге,— не задумываясь, сказал Отава.

— Ошибаетесь, герр профессор, глубоко ошибаетесь,— захлопал в ладоши советник,— не в Марбурге и не где-либо еще, а только в Кельне, в прославленном салоне Гейнца Кретена. Вы не слыхали о нашем Кретене? Но как же можно? Он дважды завоевывал мировое первенство среди парикмахеров: в Брайтоне и в Вене. На Всемирной выставке в Брюсселе он завоевал «Гран при» для Федеративной республики. Что касается меня, то я был клиентом Гейнца Кретена еще тогда, когда он работал помощником парикмахера в Клетенберге. Вот уже в течение многих лет я пунктуально, через каждые две недели, посещаю салон Гейнца. К нему теперь едут мужчины со всех концов Европы. Самолетами, поездами, машинами. Из Италии, Греции, Франции, Швейцарии, Югославии, Австрии, о Германии я уже и не говорю. Гейнц Кретен изобрел специальную косметику для мужчин: стрижка волос, массаж лица, маникюр. Каждый должен показывать публике всегда то же самое лицо, каждый старается утвердить свою личность, выработать какой-то эталон внешнего вида для себя. Обо мне должны сказать: «Вот государственный советник Вассеркампф». Та же самая прическа, тот же самый цвет лица, та же самая форма ногтей. Для нас это имеет колоссальное значение. Люди Востока не придают этому значения. Там огромные просторы. Нет такой тесноты, как на Западе. Человек к человеку не присматривается так внимательно, как у нас. Ибо в конечном итоге нет ничего более отталкивающего, чем человеческая неаккуратность, грязь. Мы стараемся замаскировать это. Моды, прически, парфюмерия... хотя если разобраться, то имеют ли значение в истории немытые ноги или небритая борода — нетва?

— Главнейшую роль в истории играет чистая совесть. Да и не только в истории.— Борис сдерживался с огромным трудом. У него никогда не было таланта к полемике, он ограничивался в острых разговорах едкими замечаниями, но, к сожалению, не все одинаково к этому относились. На Вассеркампфа, например, никакие замечания не действовали. Он отряхивался от них, как гусак от воды, и продолжал свое. Это был законченный тип бюрократа новейшей формации, который, как видно, умел простейшее дело похоронить под нагромождением слов. Сыпал слова в глаза собеседнику, будто мякину, швырял их на вас, вытряхивал, засыпал с головой.

— Кстати,— воскликнул Вассеркампф, сделав вид, что не расслышал слов Отавы,— в Кельне же мне рассказали просто колоссальную историю! О ласточке. Ласточка забыла улететь

в теплые края. Осень, холод, а ласточка — еще в Кельне. Ее ловил весь город. Сам бургомистр...

— Послушайте, герр Вассеркампф,— поднялся Валерий, который решил, что уже наступил конец всем дипломатическим выдержкам и ожиданиям, но Вассеркампф тоже вскочил, подбежал к нему, лез прямо в лицо.

— Ее вывезли специальным самолетом в Неаполь! Ласточку самолетом.

— Я уже читал об этом в газетах,— улыбнулся Валерий,— несколько лет назад. Кажется, это случилось в Хельсинки...

— Повторилось! — воскликнул Вассеркампф.— Повторилось в нашем Кельне!

— А как же все-таки Марбург? — не слушая его, спросил Валерий.

— Марбург будет,— мгновенно пообещал Вассеркампф.

— Мы слышим это уже несколько дней, но...— Борис пытался подать знак Валерию, чтобы тот штурмовал до конца.

— Нам кажется, что вы недостаточно активно способствуете в нашем деле, герр Вассеркампф,— сухо произнес секретарь посольства,— и поэтому хотя мне и не хотелось этого делать, но я вынужден буду... Нам придется, наверное, обратиться за поддержкой к министериаль-директору Хазе... Покамест к министериаль-директору, а там, возможно, и выше...

— Герр секретарь шутит,—с напускным оживлением засмеялся Вассеркампф,— ибо кто же не знает афоризма о том, что чиновники как книги на библиотечных полках: чем выше поставлены, тем реже используются в деле. Раз вы обратились к государственному советнику Вассеркампфу, то уж положитесь на него до конца. Ибо если вам не поможет государственный советник Вассеркампф, то вам не поможет никто, нетва? Как говорит фрау Бурке, когда я раз в неделю прихожу к ней отведать какого-нибудь сыру: «Если вы не съедите настоящего сыра у фрау Бурке, то вы не съедите его нигде!» Пятнадцать сыров на одну лишь закуску! И к ним вина: мискаде, сансер или кенси! У фрау Бурке вы всегда найдете настоящие французские вина и настоящие французские сыры. Если вы видите вино розовое, то непременно получите к нему лукулл или ослиное ухо, если вы предпочитаете божоле или другие черные вина, фрау Бурке предложит вам сыры крепкие: минстеры, ливароли, шатонеф ди пап. Или же представьте себе: суп из

сыра, бифштекс из сыра, салат из сыра по рецепту из Берна, яйцо в пармезане...

— Так как же с Марбургом? — прервал Валерий.

— При этом фрау Бурке не забудет предупредить вас, чтобы вы дома у себя никогда не клали сыр в холодильник. Ибо сыр на льду теряет свой нерв!

— Мы воспользуемся советами фрау Бурке,— уже не скрывал насмешливости в тоне Борис,— но нас прежде всего интересует Марбург. Уж если вы так щедро рассказываете нам различные истории, то я мог бы вам напомнить одну литературную историйку. Совершенно краткую. Из Чехова. У него есть где-то дневник надзирателя зверинца. Сторож писал так: «Понедельник. Приходили офицеры. Дразнили зверей. Вторник. Приходили студенты. Дразнили зверей. Среда. Приходили офицеры. Дразнили зверей. Четверг. Приходили студенты. Дразнили зверей. Пятница. Приходили офицеры...»

— И снова дразнили зверей, нетва? — Вассеркампф смеялся охотно и искренне.— Прекрасная история, герр профессор. Как часто мы не знаем, что среди нас умный человек, потому что слушаем глупость,— нетва? Я, кажется, понял ваш намек...

— Поймите, что я приехал сюда не для намеков и не для историй... В данном случае мы официальные лица, каждый из нас отстаивает интересы своего государства, свидетельством чего служит присутствие здесь работника нашего посольства, да и вы, герр Вассеркампф, принимаете нас не у себя дома, а в государственном помещении... Но вот неделю мы повторяем вам о Марбурге, а вы...

— Майне геррен,— глядя на ручные часы, прервал Бориса Вассеркампф,— майне геррен, я могу вам наконец сообщить совершенно официально и со всей ответственностью, что...—он поднял палец, выждал паузу, произнес дальше почти торжественно,— необходимость в поездке в Марбург отпадает...

— То есть как? — удивился Валерий.— Объясните, пожалуйста.

— Мы не поедем в Марбург, потому что...— Вассеркампф снова выдержал паузу, он играл, как опытный актер, свою роль до конца,— потому что, майне геррен, именно в эту минуту приземлился самолет из Вены и этим самолетом... этим самолетом прилетел профессор Оссендорфер...

— Значит, мы увидимся с Оссендорфером здесь? — спросил Борис.

Если бы Вассеркампф просто ответил на этот вопрос, он не был бы Вассеркампфом. Потерять такую блестящую возможность поговорить на этот раз уже не на посторонние темы, а по сути дела? Никогда!

— Профессор Оссендорфер не остановился перед тем, чтобы прервать свои каникулы, которые он проводил на берегу Адриатики в Монтенегро, курорт Будва, отель «Авала», номер-люкс с лоджией в сторону моря.

— Когда мы с ним встретимся? — снова спросил Борис.

— Но профессор Оссендорфер понял, что без его присутствия невозможно будет разрешить это дело, одновременно он, несмотря на всю его гуманность, не мог также оставить это дело из прошлого на суд божий, то есть предать забвению, и прибыл сюда, чтобы передать государственному прокурору Штуммелю обвинение против профессора Отавы...

— Который не дал профессору Оссендорферу докупаться в Адриатическом море? — въедливо заметил Борис.

— К сожалению, майне геррен, речь идет о более важных вещах. Профессор Оссендорфер намеревается обвинить вас, профессор Отава, в том, что вы зимой сорок второго года в Киеве принимали прямое участие в убийстве выдающегося немецкого ученого, профессора Адальберта Шнурре.

Вассеркампф скрестил на груди руки, отошел за свой стол, прищурил глаза, чуточку задрал голову, наслаждаясь эффектом от своих слов.

— Что ж,— сказал Борис,— со своей стороны я благодарен вам, господин государственный советник, за то, что вы помогли нам установить личность Оссендорфера. Теперь я твердо знаю, еще и не увидев его, что профессор Оссендорфер — это бывший денщик штурмбанфюрера Шнурре, а также ассистент профессора Шнурре. И что это именно он вместе с штурмбанфюрером Шнурре и специальной командой грабил культурные и исторические ценности Киева. И что это именно он убил известного советского ученого, профессора Гордея Отаву.

— Еще сегодня против вас, герр профессор, будет выдвинуто обвинение,— напомнил Вассеркампф.

— Этим обвинением Оссендорфер выдал самого себя, и со своей стороны мы будем ставить вопрос о том, чтобы его судили как военного преступника и грабителя,— сказал Борис.— Ваше же управление по возмещениям поможет нам возвратить важный исторический документ, который где-то скрывает воен-

ный преступник Оссендорфер. Желаю вам успеха, господин государственный советник.— Отава поклонился и направился к двери.

Валерий задержался на одну лишь минуту.

— Наше посольство будет действовать через официальные каналы,— сказал он немного растерявшемуся чиновнику,— извините за беспокойство, господин государственный советник.

— Однако же, майне геррен! — успел крикнуть вдогонку Вассеркампф.— Я не все...

Автоматическая дверь бесшумно закрылась за посетителями.



Год 1032 КИЕВ

> Аще бо поищеши в книгах мудрости прилежно, то обрящеши великую пользу души своей.
>
> *Летопись Нестора*

Собор стоял среди снегов в холодном белом одиночестве. Розовая громада его возносилась к самому небу, и низкие облака задевали о самый высокий купол, беспомощно запутывались между куполов, расположенных ниже, мгновенно останавливались в своем беге, и тогда казалось, будто начинает лететь над землей сам собор, и сплошная его удивительная розовая окраска заслонялась желтизной кованого золота, которым покрыты были купола, и весь собор внезапно засвечивался, будто соты, полные меду, и даже в самых мрачных душах становилось яснее от этого зрелища.

А ведь строили его в спешке, так, будто сооружался храм для покорения и заточения духа людского. Ворочали камни, тащили дерево, везли плинфу, все это нужно было поднять, сцепить в невидимые для непосвященного глаза связи, из ничего создать невиданное, из суматохи, из сумятицы родить гармоничность. Камень и заправку носили на плечах. Деревянных лесов не ставили, потому что тогда не было бы доступа к стенам тем неисчислимым тысячам люда, которые стремились подставить свои плечи под тяжесть. Мастера по камню повисали в деревянных гнездах вокруг стен, стояли плотно на самой верхней части строения, все необходимое для них пода-

вали при помощи журавлей, блоков, крутилок; применялись не только ручные, но и большие круги, приводящиеся в движение ногами. Князь торопил своих строителей. Не трудились только в день рождества, во все остальные дни работали при огне с вечера до второй стражи, а с утра — начиная со стражи четвертой. За спешку строители платили князю своим высоким умением издеваться над княжеской казной, так что Ярославу приходилось обращаться за помощью к боярам, купцам и даже к простому люду, с которого ранее было уже содрано все, что только удавалось содрать силой. Князь просил о пожертвованиях, и тогда несли кто что мог, а еще в зависимости от того, кто какой грех или какую провинность хотел искупить перед новым неизвестным, но всемогущим, как об этом молвилось повсеместно, богом: несли золото и серебро, оружие, украшения, несли кто корец ржи, кто поросенка, кто пару кур, кто десяток яиц. Все принималось; тут же, рядом с возводящейся церковью, были поставлены княжеские торговцы и менялы, которые помогали сбывать кое-что из пожертвований, давая взамен деньги или драгоценности; остальные пожертвования сразу же шли в дело: поросят жарили и съедали строители, они же резали кур, варили кашу, пекли хлеб.

Так вырастала эта огромная церковь, и так ее завершили и покрыли кованым золотом еще до того, как были насыпаны в полную высоту новые валы Ярослава и определены границы великого Киева. Когда Ярослав увидел готовую церковь святой Софии во всем ее величии среди людского муравейника, занятого возведением новых валов, и представил, что вскоре весь этот люд, а вместе с ним и еще столько, осядет по эту сторону валов навсегда, лишь тогда понял, что народ, собранный в городе вместе, намного страшнее правителю, чем рассеянные по всей земле одинокие ратаи, пастухи, ловчие, бортники и просто бродяги и беглецы. Но дела государственные, однажды начатые, уже не удается остановить. Великое государство требовало и большого города. А Русь была теперь великой державой и должна была быть еще большей. Византия одним лишь своим существованием должна была вызвать к жизни еще хотя бы одну точно такую же великую и могучую землю. В мире не может существовать только одна великая держава, необходимо соперничество, необходимы взаимные опасения, постоянная предосторожность, в противном случае — конец человечеству. Разве же история не подтверждает это? Во времена Александра Македонского мир находил-

ся на грани полного подчинения, а следовательно, и уничтожения в рабстве, только просторы Индии проглотили и распылили всемогущее войско Александра, и так продержался мир дальше. Римские легионы, наверно, смогли бы уничтожить все сущее, если бы не разбились в конечном итоге о дикие орды германцев, и уже Византия возникла перед концом Римской империи, словно ее обломок и одновременно — соперница мрачного Рима. Но как только Византия возникла, она сразу же родила себе в противовес новые державы: то агарян, то персов, то болгар, то германцев, то, наконец, державу Русскую, которая выросла в самого грозного соперника и, кажется, неодолимого, ибо императоры византийские даже не пытались посылать свои войска в эту великую и загадочную страну, боялись ее бесконечности, ее холодов, ее многолюдья. Даже Василий Македонянин не отважился выступить против Руси, хотя, казалось, мог бы воспользоваться ситуацией, которая возникла в период соперничества сыновей Владимира.

Император Константин был незначительным соперником для Ярослава. Однако Ярослав действовал осторожно, он пошел даже на то, чтобы стать зависимым от Константинополя еще больше, чем его покойный отец, ибо Киевскому князю нужно было утвердиться, прежде чем вступать в настоящее соперничество с ромеями. А еще считал он: перед тем как выступать против кого-нибудь, следует взять от него все, чем тот держится, чем славен и велик,— проще говоря, выбить из рук противника его оружие, овладеть им самому и уже затем броситься на врага. Приняв в Киеве митрополита греческого и пустив в русские церкви наряду с богослужениями болгарскими, как это велось от князя Владимира, также богослужения на языке греческом, Ярослав тем самым возобновил в народе старую вражду против греков. Ромейские императоры думали, что, навязав русским своего бога, они завладеют не только душами этого великого народа, но и всей державой; на самом же деле получилось так, что князь Владимир, а за ним и Ярослав охотно приняли этого бога не для подчинения ромеям, а только потому, что давал он силу и славу другим племенам и народам, открывал настежь дверь во все страны мира,— следовательно, надеялись и они заявить о себе миру голосом этого бога, не жалели сил для сооружения храмов в его честь, пошли даже на огромные жертвы и на еще бо́льшие преступления против дедовского наследия. Иногда Ярославу становилось страшно, когда он думал об уничтожении и осквернении душ своего народа. Прошлое представля-

лось ему в образе тех девчат, которые прощаются со своим девичеством. В лунную ночь где-нибудь у озера или речки они расплетают косы, ходят вдоль берега, взявшись за руки, в длинных белых сорочках, предивные и пречудесные, будто из самой древности, грустно поют:

Ох, прошло-ушло,
Ох, ушло уже
Красно лето,
Уж не вернется.
Идет осень
Желтолистая,
Нету цветиков —
Только ягодки...

Быть может, в песнях и верованиях древней Руси таилась та чистота и мощь, которая должна прийти на смену тому миру, в котором агонизировала, будто издыхающее чудо-юдо, Византия? И, быть может, ошибся князь Владимир, а за ним еще тяжелее ошибся он, Ярослав, перенимая от Византии то, что, казалось, приносило ей могущество, а на самом деле сулило лишь гибель? Никогда ведь не замечаешь скрытых опасностей. Как морское чудище кит, плавающий в море-океане, всегда ощущает опасность высокого крутого берега и, чтобы не разбиться о скалу, отплывает на глубины; если же берег пологий, чудо-юдо не замечает его и следом за приливной волной слепо направляется туда, чтобы застрять на мели и беспомощно погибнуть в глупой своей великости.

Словно в подтверждение мыслей и наблюдений Ярослава, Византия после смерти императора Василия расшатывалась все больше и сильнее. Император Константин царствовал бесславно и недолго. Он был моложе своего покойного брата на три года. Пережил его тоже только на три года. Словно бы почувствовал приближение смерти, забеспокоился о наследнике на троне, ибо Василий, будучи холостым, вовсе не оставил после себя продолжения рода, у Константина же не было сына, он имел лишь трех дочерей: Евдокию, Зою и Феодору. Евдокия, будто в стремлении искупить хотя бы частичку грехов своего гулящего и распутного отца и жестокого дяди, давно уже ушла в монастырь, Зоя и Феодора жили в императорском дворце под боком у своего отца, старшей, Зое, было уже пятьдесят лет, Феодоре — сорок семь. Внешностью своей Зоя была похожа на своего дядю Василия: большие черные глаза, густые брови, слегка орлиный нос, удивительно светлые во-

лосы, белотелая и холеная, она в пятьдесят лет не имела еще ни одной морщинки. По характеру своему Зоя походила на Василия в ненасытной жажде власти и твердости характера. И одновременно на Константина — с его тягой к разгульной жизни, роскоши, разнеженности и слащавости. Любила духи, парфюмерию, мази, которые привозили ей из Эфиопии и Индии, сама их смешивала, колдовала над ними, ее платья всегда были опрысканы благовониями, она без конца употребляла то одну, то другую мазь, стремясь удержать молодость в теле, любила, чтобы восхваляли ее красоту и свежесть, любила лесть, ибо кто же ее не любит! Зато ее младшая сестра Феодора от рождения была рябой и некрасивой, это наложило отпечаток на ее характер, не любила она, кажется, никого и ничего, не любила, наверное, и самое себя, жила во дворце тихо и уединенно; император Константин иногда даже забывал о существовании младшей дочери, точно так же как давно уже вычеркнул из жизни дочь-монахиню Евдокию, оставалась для него только Зоя; стало быть, империя должна была перейти в ее руки,— но удержат ли такую огромную державу женские руки, приученные разве лишь к смешиванию ароматов? Константин решил выдать Зою за человека, который стал бы впоследствии императором. Чтобы не ходить далеко, выбрал он для этого епарха Константинополя Романа Аргира, опытного и верного шестидесятилетнего императорского прислужника, позвал его к себе и сообщил ему о своем решении. Аргир попытался сослаться на то, что он давно уже женат, что у него есть дети, но для императора не могло существовать никакой причины для отказа; Константин предложил епарху на выбор: немедленный развод с его женой или ослепление и изгнание из Константинополя. Чтобы Аргиру лучше думалось, его заковали в кандалы и бросили в одну из дворцовых тюрем, возможно даже в ту, которую сооружали под непосредственным надзором того же самого Романа Аргира, когда он был епархом столицы. К узнику пришла его жена, в слезах умоляла послушать императора, сказала, что охотно жертвует собой и идет в монахини. Роман женился на Зое. А через три дня Константин умер, и Роман Аргир стал императором ромеев. Этот человек, который был некогда патриаршим сакелларием при храме святой Софии, а потом епархом столицы, не проникал своей фантазией дальше стен Константинополя, в душе он так и остался епархом столицы, а поскольку тело его уже требовало отдыха после многолетней хлопотной службы, он истолковал императорский престол

как возможность провести конец жизни в приятном безделье, все государственные дела охотно передал жене и евнуху Иоанну-паракимонену, родом из Пафлагонии; хитрый пафлагонец мгновенно начал стягивать в императорский двор своих многочисленных родичей, среди которых особенно по душе стареющей Зое был юный брат Иоанна Михаил; Михаила полюбил и добродушный Роман, дело дошло до того, что император, лежа возле царицы, звал Михаила, чтобы тот почесал ему ноги, потому что у Романа почему-то очень чесались пятки и не помогало ничего, лишь Михаил мог так почесать царственные пятки, что император всех ромеев спокойно засыпал, а юный пафлагонец перемигивался в это время с белотелой императрицей.

Именно тогда закончена была в камне София Киевская, и собор стоял розовым дивом среди белых снегов, а невидимый христианский бог ждал, чтобы его нарисовали на стенах, уверенный в своей незаменимости. Митрополит Феопемпт, посиневший от мороза и от злости на Сивоока, обходил с Ярославом храм, боязливо ступал по скрипучему снегу, беззвучно шевелил тонкими злыми губами; глаза у него слезились на морозе, покрылись коркой льда промокшие, пожелтевшие от старости усы. Злые киевские собаки, не страшась блестящей княжьей и митрополичьей свиты, налетали со всех сторон, норовя ухватить зубами за дорогую одежду; киевляне лишь лениво поводили плечом на собачье нахальство, а греки пугливо метались, кто-то из них попробовал схватить камень, чтобы швырнуть его в пса, но не мог оторвать примерзший камень от земли, растерянно чертыхался: «О, проклятая земля! Тут привязывают камни и отвязывают псов!»

Митрополит высвободил негнущуюся руку из теплых мехов, крестился часто и отрывисто. Его пугала и раздражала непохожесть этого киевского храма на церкви византийские. Не было в нем простоты и суровости, завещанной христианским богом, языческое буйство криком кричало из этих столпившихся куполов, число которых не поддавалось счету, с золотых крыш, с розовой галереи и стен, что-то скрыто языческое, пренебрежительное к ромейскому богу было и в двух каменных башнях, поставленных перед храмом, похожих на обрубленные стволы старых дубов; эти башни, которые должны были служить входами в храм для князя и княжеской семьи, особенно раздражали митрополита, ничего похожего он никогда не видел у себя в Византии, ни один ромей-

ский строитель не решился бы поставить возле церкви подобное безобразие; это воспринималось как вызов храму, башни были как бы соперниками рядом с церковью, их пренебрежительная независимость от святыни подчеркивалась еще и тем, что переходы от них к галерее были сделаны не из камня, а из дерева.

— Почему и зачем? — гневно спросил Феопемпт то ли у строителей, то ли даже у самого князя, хотя Ярослав тоже, кажется, не мог понять целесообразности деревянных переходов, потому что человек в его положении всегда должен был стремиться к вещам прочным, устойчивым, всячески избегая всего временного.

— Объясни,— велел князь Сивооку.

— Неравномерность тяжести,— сказал тот.— Сам, княже, видишь: церковь намного тяжелее башен.

— Ну и что?

Сивоок улыбнулся несообразительности княжьей.

— Вот тебе для примера, княже. Поставь на льду двух людей — тяжелого, как твой боярин Ситник, и легкого, как отрок Пантелей, и соедини их крепкой деревянной колодкой. Тяжелый проломит лед и начнет тонуть, а за собой потянет и легкого, потому что тот скован с ним колодкой. А замени колодку чем-нибудь гибким, как ремень или веревка, или же поставь между ними что-нибудь хрупкое, неустойчивое, чтобы могло поломаться или порваться. Тогда Ситник твой утонет, а Пантелей будет стоять на льду.

— Не трожь боярина,— буркнул князь.

— Молвлю для примера, сказал уже. Точно так же и строения. Из-за своего неодинакового веса по-разному вдавливаются они в землю. Потому не следует соединять накрепко строений легких и тяжелых, ибо разрушатся между ними крепления, одновременно повреждая и сами строения. Нужно выждать некоторое время, пока войдут каждая по своей тяжести в землю, тогда можно и соединить их навечно. Покамест же оставим деревянные связи. Понял ли, княже?

— Митрополиту объясни,— кивнул Ярослав в сторону Феопемпта, но тот так продрог на морозе, что уже и перекреститься не мог.

Но оттаял он в княжьих палатах, когда речь зашла про порядок и способ внутреннего убранства храма святой Софии.

Был он в своей стихии. За его спиной стояла тысячелетняя церковь с ее догматами, с пророками, патриархами, апостолами, мучениками — и в этом старческом, отжившем теле

рождались необоримые силы; митрополит напоминал теперь своей окостенелостью все те изображения святых в византийских храмах, где все кажется закаменевшим: и фигуры, и одежда на них, и даже небесные тучи над ними. Митрополит понимал, что битву, ради которой послали его сюда из Константинополя, он проиграл, неосмотрительно пойдя тогда на уступки, и вот стоит среди Киева чуть ли не языческий храм в певучей своей многоглавости, но еще оставалось главное, была еще внутренняя часть церкви, жилье божье, за которое Феопемпт готов был хоть и костьми лечь, как делали это в течение веков мученики. Ибо что такое церковь? Церковь — это небо на земле, место, где отец небесный обитает и движется. Предопределенная пророками, основанная патриархами, украшенная апостолами, укрепленная мучениками,— бог внутри нее, она не пошатнется.

От тепла в княжьей горнице синие щеки митрополита стали багрово-сизыми, хищно посверкивали черные глаза среди пожелтевших зарослей, при малейшем движении Феопемпта зловеще шуршала парча фелони, хотя митрополит и старался сохранить закаменевшую неподвижность, чтобы этим подчеркнуть свою неуступчивость душевную. Сидел он напротив князя будто воскресший мертвец, и Ярослав думал с раздражением: «Чего ему нужно?»

Разве мог этот старый, далекий от жизни человек, глухой к языку великого народа, к которому он был брошен по воле константинопольского патриарха, а то и самого императора,— разве мог он постичь извилистые пути державной мудрости? Когда речь идет о храме Софии, митрополит знает лишь канонический гимн, который хорошо известен и князю: «Она — дыхание и чистое излияние славы вседержителя. Она — отблеск вечного света. Она прекраснее солнца и выше сонма звезд, в сравнении со светом она яснее, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превосходит злоба. Бог никого не любит, кроме того, кто живет с мудростью».

А знает ли митрополит, что такое мудрость? И вообще — кто знает? Вот, чтобы утвердиться на столе Киевском, пришлось ему, Ярославу, пойти на уступки ромеям, не только принять митрополита в Киеве и его священников, но и пустить их в церкви, вести богослужение на греческом языке, которого никто из простых людей не понимал, и вышло так, что в Киеве звучала в церквах греческая речь, в землях более отдаленных — русская. Ромеям казалось, что князь навсегда пришел к убеждению, что все богослужебные книги испокон

веков писались только на греческом языке и что так оно должно быть повсюду и вечно, а князь тем временем хорошо ведал, что ничей язык не может присваивать себе никаких истин, ибо и священные книги разве не были писаны на языке гебрайском, а потом, во времена Константина Великого, переведены на латынь, по-гречески же в Византии зазвучали только после Ираклия, а в Болгарии при царе Симеоне заговорил христианский бог по-болгарски, сам Симеон и его экзарх Иоанн переводили священные книги на родной язык, столь близкий к языку русскому; ведал Ярослав вельми хорошо и то, что пресвитер Илларион в Берестах уже давно начал собирать людей смышленых, чтобы переписать по-русски греческие священные книги, не чинил ему сопротивления в том, имел намерение со временем взять зто дело под свое покровительство, но зто — потом.

Покамест же должен был изо всех сил прикидываться дружелюбным и уступчивым перед ромеями. Предчувствовал приближение перемен и послаблений в Византии, но еще не мог откровенно выступить против грознейшего врага. Тот, кто сделал один шаг, должен сделать и другой. Пускай митрополиту кажется, будто все идет как следует, будто ромейский дух все больше и больше начинает господствовать на Руси; он, Ярослав, знает свое, он идет к своему медленно, осторожно, но упорно и уверенно. Уверенность в себе умеют сохранять люди, которые в совершенстве срослись со своей средой, глубоко убеждены в ее высоких качествах. Они не нуждаются в том, чтобы играть чью бы то ни было роль, никакие внешние принуждения не толкают их к этому. Они остаются собой даже в уступчивости. И если Ярослав допустил ромеев на какое-то время в Киев, то всячески противился он распространению их влияния на другие города; если следом за своим отцом подчас жестоко боролся с богами старыми ради бога нового, то одновременно помнил и о необходимости сохранения старинных обычаев, ибо ни один мудрый властелин не должен стремиться к искоренению всех местных обычаев, отличий и склонностей: ведь они господствуют над людьми сильнее, чем самая могущественная власть.

Наверное, никто не понимал князя. Удивлялись, что пустил он ромеев в Киев, никого, кажется, не увлекало намерение Ярослава превратить Киев в новый Константинополь. Чужой бог, чужие слова среди безбрежного моря певучего родного языка — зачем все это?

Даже на печатях Ярослава, где стояли некогда, еще из

Новгорода, слова русские, теперь было написано по-гречески: «Господи, помоги рабу твоему Георгию-архонту». Уже и не князь — архонт? Зачем же так?

Потянули от греков на Русь бессмысленную одежду: хламиды, лоры, гранацы. Везли паволоки, влаттии, фофудии, за кусок ткани иной раз погибали десятки людей, пока довозили ео до Киева. А зачем? Все эти одежды возникли в теплых краях и не годились для морозов и холодов русских, но князья почему-то потянулись к этим одеждам,— быть может, любо было их сердцу все то, что шло от могущества ромейских императоров? Быть может, надеялись вместе с этими нарядами перенять и величие? А может, вычитал обо всем этом князь Ярослав в книгах? Ибо страшно суесловие, всегда найдутся велеречивые умельцы убедить и самую гордую выю незаметно заставят согнуться в поклоне перед чужим.

Так, видно, думали о Ярославе, да совсем иначе сам он думал о себе. Знал, что никто ему не поможет, не верил никому, замкнулся в своем упорстве даже перед самыми близкими, ибо жизнь научила его, что все люди в конечном счете — враги между собою. Никогда не забывал своей первой ночи с княгиней Ириной, помнилась ему и Шуйца, мог бы пересчитать вот так сотни, казалось бы, людей самых близких, но была всегда межа, за которую ступить не удавалось. Человеческую разобщенность не в силах был одолеть даже во взаимоотношениях с женой, он смирился с этим и теперь действовал, полагаясь исключительно на собственные силы и на собственный рассудок. Никто никогда не должен знать, что князь скажет завтра, какое слово будет произнесено им после уже сказанного.

Ярослав смотрел на митрополита, его забавляло ослиное упорство Феопемпта, князь смеялся в душе над тем, как обманул ромея при закладке церкви, пообещал ему не вмешиваться во внутреннее убранство, наслаждался в предчувствии нового поражения этого старика, чуждого, начисто ненужного в этой земле человека.

Были приглашены все мастера и художники, они принесли греческие книги и свитки, на которых показано было, как сделана была та или иная церковь в Византии; все стояли вдоль стен, сидели только князь и митрополит, говорить разрешалось тоже лишь князю и митрополиту, так, будто дальнейшая судьба собора зависела не от умения и рук молчаливых людей, подпиравших плечами стены, а от наставлений и решений двух мужей в дорогой одежде.

Митрополит направлял на князя свой узкий, будто рыбья кость, нос, говорил быстро, давился словами, захлебывался, он обеспокоен был прежде всего тем, чтобы выговориться; с тупым упрямством фанатика, которого долгие годы отучивали думать, Феопемпт снова бормотал о патриархе Фотии, о его наставлениях и повелениях, в надоедливых ссылках на церковные авторитеты улавливалось не столько упрямство митрополита, сколько растерянность; он не знал, как заполнить огромный внутренний простор собора, его пугала необычность и многообразность внутренней части церкви, точно так же как и наружной; привыкший к расписыванию обычного храма, где все сосредоточивается в серединной наве, византиец плохо представлял теперь, как применить канонические картины из истории Христа к многочисленным притворам, к переходам, к неестественной, почти мистической подвижности внутреннего пространства сооружаемой неистовыми зодчими киевской церкви; в то же время он не хотел уступать хотя бы один лоскут свободного места, опасаясь, что непокорный Сивоок сразу же воспользуется этим для того, чтобы нарисовать там что-нибудь языческое.

— Церкви нужны смиренные,— бормотал митрополит,— смиренные, смиренные...

— А державе еще и даровитые,— добавил Ярослав, наслаждаясь растерянностью Феопемпта.

— В церкви святой Софии в Константинополе есть надпись, которая читается одинаково и обычно и сзаду наперед: «Нифон аномимата ми монан офин» — «Омойте не только тело ваше, но омойтесь также от ваших грехов». Такое кругообразие необходимо и в росписях на священные темы.

— «Ясарак усон втеемн ясак»,— вдруг высунулся из-за художников шут Бурмака, с нахальным хохотом прерывая митрополита.— Звучит вроде бы по-ромейски, а если наоборот читать, получается: «Кася имеет в носу карася». Го-го!

Князь махнул рукой, приказывая шуту исчезнуть, но торжественность минуты уже была испорчена, митрополит застыл с раскрытым ртом, глаза его заслезились, теперь он особенно был похож на человека в предсмертной агонии. «Одной ногой стоит в могиле, а за свое держится крепко»,— подумал Ярослав.

Наконец Феопемпт очнулся от оцепенения, заговорил снова. В храмах византийских богатство мусий гармонически сочетается с блеском мраморов карийских, родосских, итальянских, без мрамора не обойтись и тут.

— Мешкотно,— сказал князь,— в такую даль возить камень — мешкотно и невыгодно.

— Имею весть, что уже везут для храма две мраморные колонны.— Митрополит самодовольно задвигался на лавке.— Греческие купцы везут для твоего храма белые и высокие колонны, а еще — корст мраморный с узорами македонскими.

— Рановато возжелали укладывать меня в корст,— хмыкнул Ярослав,— я еще не собираюсь переселяться к отцу небесному, должен пожить для его славы и могущества. А чтобы колонны твоих купцов ромейских зря не пропадали, мы поставим их возле храма,— так оно и будет. Внутри же обойдемся нашим камнем и росписями.

— Не хватит мусии на весь храм — займем лишь средину, а по бокам оставим так,— митрополит жевал тонкими губами,— будут голые стены.

— Непривычен наш народ к голым стенам,— возразил Ярослав,— святое место не должно отпугивать. Святыня суть то, что людей объединяет, собирает воедино. Как же мы соберем их голыми стенами?

Князь обращался уже не к митрополиту — слова его направлены были, кажется, к Сивооку, молчаливому и хмурому, еще и до сих пор потрясенному неутешным горем от гибели Иссы. Феопемпт и разгневался, и испугался княжеского невнимания, он тотчас же перехватил нить разговора, подозвал к себе Мищилу и двух антропосов, они развернули свитки на полу между князем и митрополитом. На пергаментах были изображены украшения константинопольской придворной церкви Феотокос Фарос, той самой, что была освящена патриархом Фотием и служила образцом для нескольких поколений художников, которые должны были возвеличивать своим трудом бога.

В самой верхней части подкупольного свода в большом кольце сверкало разноцветной мусией изображение Христа Вседержителя, или Пантократора по-гречески. Правой рукой Пантократор благословляет собранный внизу люд, а в левой держит закрытую книгу Нового завета, которую откроет в день страшного суда. «Небо служит мне троном, и земля — подножье для ног моих».

Пантократора подпирает небесная стража из четырех архангелов — Гавриила, Михаила, Рафаила и Уриеля. Архангелы одеты в далматики, поверх далматиков — золотые лоры. В руках у архангелов — сферы и лабары. На лабарах трижды выписано слово «агеос», то есть святой.

На огромной вогнутой поверхности конхи главной апсиды — изображение Марии, молящейся за род людской. Всеславная, быстрая на помощь всем христианам. Она — превыше небес. В ней и мудрость, и защита, она словно бы небесный град, из которого вышел Христос на борение и смерть за род людской, она — и церковь земная, она — все. А над нею — в трех медальонах — Деисус: Мария и Иван Предтеча обращаются к Христу с молитвой за всех сущих.

Далее идет церковь земная. В простенках между окнами барабана — апостолы, в парусах — сидячие евангелисты. Под Орантой — Евхаристия. Шесть апостолов с одной стороны и шесть с другой направляются к престолу, к дважды представленному Христу за причастием, Христу с двух сторон престола прислуживают два ангела с рипидами в руках. Христос один раз преподает хлеб («се тело мое»), другой — чашу с вином («се кровь моя»).

Иоанн Дамаскин утверждал, что вся церковь стоит на крови мучеников. Поэтому на подпружных арках располагалось сорок медальонов с изображениями сорока севастийских мучеников, которые погибли в Севасте при императоре Лицинии. В Цезарее впоследствии была сооружена церковь в их честь, император Феодосий часть мощей великомучеников перенес в Константинополь, а Василий Первый построил для сохранения мощей храм. Уже один лишь перечень имен мучеников весьма обременителен: Ангий, Акакий, Александр, Аэтий, Валерий, Вивиан, Гаий, Горгоний, Саномий, Екдикий, Иоанн, Ираклий, Кандид, Ксандрий, Лисимах, Леонтий, Мелитон, Приск, Сакердон, Севериан, Сисинний, Смарагд, Феодул, Флавий, Худион,— и так вплоть до сорока!

А нужно же было для каждого подобрать цвет туники и хламиды, по возможности позаботиться, чтобы усатый сердитый Аэтий не был похож на удивленного юного Екдикия, а седоглавого Ангия чтобы не спутать с довольно-таки глуповатым Северианом, добродушный же старенький Иоанн, имея точно такую же заостренную бороду, как и Худион, не должен был повторять выражением своего лица жесткость и презрительность Худиона.

Нижний пояс апсиды отводился под святительский чин: отцы церкви Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Григорий Чудотворец, великомученики архидиаконы Стефан и Лаврентий, святой Епифаний и папа Климент, как первый христианский покровитель Киева, мощи которого привез сюда из Корсуня еще князь Владимир.

И, наконец, последняя большая мозаика — благовещение на столбах триумфальной арки, ведущей в алтарь. Фигуры архангела Гавриила в белом одеянии и Марии-богородицы. Гавриил прибывает к Марии с благой вестью о грядущем рождении Христа. В руках у него — красный жезл, символ путника. Войдя к Марии, Гавриил промолвил: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой!» Мария во время прихода архангела с вестью сучила пурпурную пряжу, символ бесконечности жизни, она отвечает Гавриилу: «Се рабыня Господня, да свершится со мною по слову твоему».

На пергаментных свитках был обстоятельно воспроизведен весь порядок украшения и росписи мусийной; здесь не жалели ни дорогого пергамента, ни золотых и иных красок, для каждого чина митрополит по памяти прочитывал соответствующие места из Святого письма и из книг отцов церкви, так что книги, принесенные свитой Феопемпта и разворачиваемые каждый раз, были, в сущности, излишними, зато не излишними были греческие надписи, которые тоже предусмотрительно были заготовлены прислужниками митрополита и раскрывались перед князем по мере того, как развертывались по полу новые и новые свитки с рисунками.

И то ли бормотание митрополита, то ли греческие надписи, которыми что-то слишком уж пестрели все изображения, то ли просто дневная усталость толкнула Ярослава на то, что он, еще и не досмотрев, собственно, до конца, неожиданно встал со своего стула и заявил, что дальнейшее рассмотрение следует перенести на завтра, и делать это не здесь, в княжьих палатах, а в самой церкви, чтобы на месте стало виднее и отчетливее для всех. Митрополит съежился, вспомнив о седой холодине в нетопленном и не высохшем еще храме, не хотелось ему и откладывать рассмотрение, однако он смолчал о своем нежелании и своем неудовольствии и тоже встал, благословил князя и с важным видом прошелестел к двери, потянув за собой длиннющий хвост клира.

— Не спеши, княже,— прежде чем идти, сказал негромко от двери Сивоок,— церковь должна как следует высохнуть.

— Или уже надумали, чем заменять ромейские мраморы? — спросил князь.

— Говорил когда-то тебе, княже; распишем весь собор изнутри и снаружи фресками. Дивно будет.

— Митрополиту сумел бы рассказать.

— В нашем деле лучше показывать, а не рассказывать. Слово не все обнимает. Для слова остаются книги.

— Ну ладно,— улыбнулся князь,— в церкви придем к согласию.

Не усталость вынудила Ярослава прервать ряд с митрополитом: тот, кто правит державой, должен забывать про усталость. Еще множество дел, значительных и небольших, почетных и хлопотных, ожидало его. Он должен был в тот день принять своих воевод и бояр, должен был также выслушать людей, которые пришли из западных царств и принесли вести о том, что происходит в Европе; имел также беседу с узнавателями-купцами, прибывшими из Византии, где все приметы свидетельствовали в пользу князя Киевского; империя, лишенная твердой руки, с каждым днем все больше и больше утрачивала силу и значение, хотя пренебрегать ромеями, ясное дело, еще никто не мог, нужно было выжидать удобного момента; может, хорошо было бы приготовить, скажем, достаточное количество людей, укрыв их где-нибудь в низовьях Днепра, втайне от византийских доносителей, среди которых самым первым Ярослав считал митрополита Феопемпта, да при случае пустить сильное войско по морю прямо на Константинополь? Но все это были замыслы на более отдаленные времена, а сейчас надлежало позаботиться о порядке и тишине в земле собственной, должно быть осторожным с братом Мстиславом, который сидел в Чернигове покамест тихо и мирно, довольствуясь гульней и охотой. Перед глазами Ярослава была вся Европа. Не было устойчивости ни в границах между отдельными державами, ни в отношениях между ними, а еще меньше было порядка и покоя внутри отдельных держав. Король французский Роберт, возмущенный произволом и наглостью своих феодалов, попросил епископа из Бове, чтобы тот выработал присягу для крупных вассалов, и написано было следующее: «Не украду ни вола, ни коровы, ни какой-либо скотины; не буду хватать ни холопа, ни холопки, ни слуги, ни купца; не буду отнимать у них денег и не буду вынуждать их к выкупу; не буду стегать их кнутами, чтобы отнять их добро; со средины марта до середины ноября не буду воровать с королевских пастбищ ни коней, ни жеребят, ни кобыл; не буду жечь и уничтожать жилищ; не буду разрушать и уничтожать виноградники».

Новый император германский Конрад, во избежание вспышек вражды между своими маркграфами и епископами, попытался внедрить начало божьего мира в своих землях. Императорское повеление было такое, чтобы от захода солнца в среду до утра следующего понедельника никто не смел

обнажать меч и учинять раздоры. Совершенно ясно, это не могло касаться земель соседних, на которые можно было нападать в течение всей недели, особенно же на Польшу, ненависть к которой Конрад унаследовал от своего предшественника Генриха Калеки. Германские императоры не могли смириться с тем, что Болеслав Польский, а за ним и его сын Мешко вступили в соперничество с императорами, надев на себя королевскую корону. Придворный хроникер Конрада с нескрываемым презрением писал: «Отрава высокомерия залила душу Болеслава до того, что после смерти императора Генриха отважился он перехватить королевскую корону для принижения императора Конрада. Внезапная смерть покарала его за эту дерзость. Сын его Мешко такой же бунтовщик, как и отец».

Свои счеты с Болеславом имел и Ярослав, перенеся их теперь на Мешка. Вообще Польша вынуждена была расплачиваться за неразумность действий своих первых владетелей, которые почему-то решили склоняться в своих претензиях к Западу, забыв о том, что по языку и обычаю народ их принадлежит к славянскому Востоку. Запад же, дав им веру, послав папских миссионеров и апостолов, в то же время всегда твердо помнил об извечной принадлежности поляков к Востоку — и вот отсюда и шли все беды и сложности для существования польской державы. Папско-императорский Запад хотел проглотить надвислянских полян без остатка, растворить их в своей стихии, не оставив ничего существенного, а Восток, в свою очередь, не хотел отдавать родного, считал это своим, тоже рвался к польским землям, стремясь освободить их. Для Востока Польша была всегда выдвинута слишком далеко на запад, Запад считал, что она слишком далеко отодвинута на восток. А тут еще случилось так, что во главе польской державы оказались в последнее время люди мужественные и сильные, умели они расставить локти, пробовали растолкать своими локтями врагов западных, а заодно отвадили и своих родичей восточных, превращая во врагов также и их. Когда-то Болеслав отдал свою дочь за Святополка, ходил на Киев и брал его, но добился только того, что теперь Ярослав ненавидел и Болеслава и его наследника Мешка.

Мудрости, мудрости не хватало властителям ближним и отдаленным; Ярослав пристально следил за всеми, принимал во внимание ошибки, находил в книгах образцы для подражания в управлении государством. В княжьей горнице стоял

ларь с книгами, переплетенными разноцветным сафьяном, сукном красным и синим, украшенными самоцветами, жемчугами, серебром и золотом; Ярослав собственноручно запирал его, никому не доверял ключа.

В киевских церквах еще звучало слово греческое наряду со словом русским, а князь уже мечтал о временах, когда повсюду будет слышаться только свое, родное, неповторимое: и дома, и на забавах, и на торгу, и в церкви, и на битве. И чтобы мудрость книжная тоже была своя. Он велел Иллариону учить втайне от митрополита не только таких, которые могли бы списывать книги греческие, но чтобы умели и переводить на свой язык. Был для него далеким образцом Климент Охридский, который еще сто лет назад, не боясь могущества Византии, собрал в Охриде около трех тысяч учеников, и вся наука там была болгарской, вопреки греческой.

Еще задумал Ярослав посадить возле себя умелых писцов, которые бы прослеживали каждый день его княжения и оставляли бы в назидание потомкам описание его деяний. Выбрал для этого отрока Пантелея, который проявил незаурядную сообразительность в письме, дал ему доступ ко всем важным делам, частенько звал к себе для бесед, обучая, как нужно вести записи. Сегодня, отпустив всех служилых людей, тоже позвал Пантелея, посадил его на скамью так, чтобы свет падал на лицо отрока, ибо любил наблюдать по глазам, как его слова доходят до человека.

Сколько пресвитер Илларион ни приучал Пантелея к послушанию и почтительности, он ерзал перед князем, скучал, не любил поучений, каждый раз хотелось ему спросить князя, когда же тот выпустит из пещеры на свободу святого человека, который гниет где-то в земле, но не отваживался на такую дерзость, только двигался и двигался на твердой скамье, поглядывая на Ярослава то ли чуточку насмешливо, то ли даже пренебрежительно. Но князь истолковывал это как любознательность, ибо не мог допустить других чувств в душе послушного отрока; он вел беседу с Пантелеем, словно бы с родным сыном, ибо собственные сыновья были еще слишком маленькими для серьезных поучений,— самый старший, Владимир, больше тянулся к оружию, чем к науке, Изяслав, Святослав и Всеволод забавлялись игрушками больше, чем грамотой.

Пантелей уже прочел несколько больших книг, в том числе произведение Иоанна Малалы, антиохийца, написавшего подробную хронику от Адама.

Кроме Малалы, Пантелей, по наущению Иллариона, читал еще также хронику Георгия Амартола, то есть грешника, византийского монаха, который, подобно Малале, тоже давал изложение истории человечества начиная от Адама, однако с особым вкусом сосредоточивался на повествованиях о великих людях языческого мира, что вельми привлекало Пантелея.

Значительная часть хроники Амартола заполнена была повествованиями о страшных явлениях природы, о землетрясениях, знамениях небесных, вихрях и бурях, насылаемых на землю за грехи людские. Чудеса бывали непостижимые и ужасающие. При императоре Маврикии родился человек с рыбьим хвостом, а то был человек, который умел предвещать события, не молвля голосом своим, не шевеля губами, а выпуская из чрева чьи-то чужие голоса. А то из земли вышло отвратительное чудище, названное меском, и людским голосом предрекло нашествие на Палестину аравитян. А то родился шестиногий пес. А то появилась на небе заря в виде копья.

Но разве только это знал Пантелей? Он читал также старинные книги, в которых объяснялось, например, что стихиями управляют и повелевают особые духи: есть духи туч, мглы, осени, весны, лета, ночи, света, дня. Происхождение дождя объяснялось тем, что ангелы собирают морскую воду при помощи труб, спрятанных в облаках, а уже из этих труб вода выливается на землю. От шума же, который возникает при накачивании воды, бывает гром. Точно так же объяснялось движение солнца по небу: его качали триста приставленных для этого ангелов.

Пантелей знал также о небесных сферах и о том, что солнце в восемь раз меньше земли, благодаря чему и помещаются все его лучи на земной поверхности; и о том, что существует где-то, за великим океаном, еще одна земля необетованная, но переплыть этот океан живым людям не под силу,— переплыл его когда-то только Ной на своем ковчеге, теперь туда лишь после смерти могут добраться праведные души, ибо там расположен на восточной стороне рай, из которого вытекают четыре реки, проходящие под землей и текущие уже тут в виде Ганга, Нила, Тигра и Евфрата.

Пантелей набирался знаний так, как учил Василий Великий: «Посвятив себя изучению письмен внешних, потом уже начинаем слушать священные и тайные уроки и, словно бы

привыкнув видеть солнце на воде, обратим, наконец, взгляды на самое светило. Если между учениями есть какая-нибудь взаимная сродственность, то познание их будет для нас уместным. Если же нет сей сродственности, то следует изучать разность учений, сопоставляя их между собою, что поможет утверждению учения лучшего... Позаимствуем в них те места, где они восхваляли добродетель и осуждали порок, ибо как для некоторых наслаждение цветами ограничивается запахами и пестротой красок, а пчелы собирают с них еще и мед, так и тут: кто гоняется не за одной лишь сладостью и приятностью произведений, тот может из них запастись в душе некоторой пользой».

Ярослав всегда смотрел на Пантелея с чувством радости и удовольствия. Отрок был для князя чем-то похожим на вещь, сделанную собственными руками. Вот сидит перед ним юноша, которого он оторвал от старого языческого мира, разъединил его с могучим представителем мира прошлого, склонил к себе, обогатил его душу. Если бы даже этот Пантелей был один на всю Русскую землю, то и это немалая гордость для владетеля, если подумать, что где-то короли заботятся лишь о том, чтобы подвластные не воровали у них на пастбищах коней, или же предпочитали заменять пышными одеяниями мудрость собственную, а уж о мудрости подданных они и в помыслах не имеют.

Но князь был твердо уверен также и в том, что беспокойно ерзает перед ним на скамье отрок Пантелей не из-за холодного зимнего ветра с Днепра, прорывающегося сквозь хлипкие стены и сквозь окошечки (княгиня Ольга любила посматривать на узвозы, чтобы видеть, кто и с чем едет в Киев, поэтому во дворце было множество окошек, обращенных в сторону Днепра. Дворец не нравился Ярославу из-за своей неуютности, князь уже решил ставить себе новый дворец, как только все будет завершено на сооружении Софии),— душевная сумятица от избытка знаний лишала Пантелея покоя, сверх той мудрости, которую юноша впитал в себя из книг, нужна была еще и другая мудрость — ею же мог владеть лишь он, Ярослав. Это была мудрость поучений, наставлений и повелений. Делай вот так, а не так, думай об этом так, а не иначе.

— День миновал,— Ярослав взглянул в тусклое окошечко, увидел за ним ночь, ощутил с той стороны холодные удары днепровского ветра. Не поворачиваясь к Пантелею, велел: — Прочти-ка про день вчерашний.

Пантелей достал жесткий лист пергамента, лежавший между двух деревянных досок, скороговоркой прочел:

— «Пускай никому не покажется странным, если напишем что-то памяти достойное про суд Ярославов. Князь же судит еженедельно утром на торгу, определяет наказания, уроки вирникам и платы осьминникам при мощении мостов в Киеве.

За малейшее непослушание князь Ярослав вводит новые и новые виры, чтобы увеличить порядок в державе, а княжьей казне увеличить прибыль. В народе же об этом молвится: «Рука руку чешет, а обе зудят».

Опускаем множество вещей, о которых в соответствующем месте можно будет вспомнить, и опишем скромными словами церковь святой Софии, поставленную Сивооком и Гюргием-иверийцем, ибо церковь уже стоит и ждет украшения своей внутренней части. Как говорится: «Лоб чешется, да кланяться некому». Вельми удивляется весь люд церкви невиданной, но пока князь не побывал возле Софии с митрополитом Феопемптом, боярами, воеводами, священниками и челядью, пока не промолвил: «Быть по сему», никто вроде бы и не замечал церкви великой посреди Киева, так, будто родилась она лишь после княжеских слов. О мир тревожный и злой! Почему же так происходит всюду и всегда? Человека простого никто не слушает, какие бы великие истины он ни вещал, даже дела его величайшие умаляют; когда же человек занимает высокое положение, то даже молвленные им глупости становятся историческими».

— Что ты понаписывал? — недовольно буркнул князь.— Зачем все это?

— Все — правда.— Пантелей говорил тихо, невозможно было понять, испугался он или хотел скрыть насмешку в голосе.

— Нужна не правда, а вера,— Ярослав, тяжело прихрамывая, прошел от окна, сел на скамью напротив Пантелея, так что теперь и его лицо попало в полосу слабого света.— Вера же не требует подробностей, ограничивается сутью. Не пиши слов всех — и так поймут. При писании дорожи временем, а еще больше — пергаментом, ибо куплен он в самом Константинополе.

— Хотя пергамент купленный, зато письмо домашнее,— не выдержал отрок, и теперь уже стало совершенно очевидным, что не до конца удалось князю оторвать хлопца от того заросшего бородой древлянского мудреца, который успел

передать отроку свое упрямство. Но Ярослав тоже принадлежал к терпеливым и упрямым: однажды начав какое-нибудь дело, он уже никогда не отступал.

— Писать нужно,— словно бы ничего и не заметив, говорил князь мягким голосом,— только про великое, опуская второстепенное. Нужно стремиться к старательности в изложении событий, как это делалось когда-то в каролингских пергаментах, которых ты не читал из-за своей темноты, но которые я дам тебе хотя бы посмотреть. Ромейские хронисты с сухим перечислением годов и дел неважных для тебя не образец. Были у них и летописцы, которым пробуешь следовать, но отличались они пышным многословием и не имели силы в мыслях. Не поддавайся искушению сосредоточиваться только на неполадках и ошибках. Недостатки великого человека могут быть столь же поучительными, как и достижения, но значение имеют лишь последние, первые же следует оставлять без внимания, чтобы не стали они когда-нибудь оправданием для правителей ленивых и бездарных. Не уподобляйся византийскому историку Прокопию, который днем писал о высоких деяниях своего властелина императора Юстиниана, а ночью, запершись в келье, тайком записывал в тайные тетрадки сплетни и паскудства о придворных и императорской семье.

Пантелей молчал. Ерзал на скамье, языческой хитростью сверкали его светлые глаза, в них было трудно разобраться, точно так, как трудно бывает иной раз человеку заглянуть в затаившиеся лесные чащи, в зеленые шумы, в широколистные папоротники.

А на следующий день уже в новой церкви, стоя впереди огромной свиты рядом с митрополитом, Ярослав снова вспомнил о Пантелее, ибо, бросая взор через левое плечо, видел тяжелую фигуру Сивоока, чувствовал, что тот ждет решения справедливого и мудрого, точно так же как отрок ночью ждал, когда князь перестанет поучать его и отпустит описывать события нового дня, вставляя между ними свои упрямые умствования. Упрямые, упрямые люди окружают его со всех сторон! А может, так и нужно? Может, и князю следует заимствовать у них упорства? Может, князь точно так же должен быть похожим на свою землю, как этот великий умелец Сивоок: взгляд из-под бровей, глаза будто из седых туманов, неизведанной таинственности глубин.

Дабы задобрить князя, а может, чтобы поскорее закончить с переговорами на морозе, в этой невысохшей, неприветливой

и страшной в своей обнаженности церкви, митрополит прежде всего повел речь об изображении в храме его ктитора, то есть основателя. На западной стене должен был быть изображен сам Ярослав, который в сопровождении богородицы преподносит сооружаемый храм Христосу. А на боковых стенах изображение всей княжеской семьи: с одной стороны сыновья, с другой — дочери с княгиней Ириной во главе.

Места для этого было предостаточно, могло создаться впечатление, что строители заблаговременно заботились именно о прославлении ктитора-князя: под хорами над западной тройной аркой как раз напротив алтаря.

— Кто же это сделает? — заинтересовался князь, оглядываясь на Сивоока, ибо надеялся, что именно он должен был бы взяться за такое почетное дело.

Однако Сивоок молча отошел чуточку назад и выпустил из-за себя Мищилу. Тот развернул перед Ярославом длинный свиток пергамента, почтительно склонился перед князем, принялся длинно и нудно что-то объяснять, собственно, и не объяснял, а велеречиво воздавал хвалу князю, не забывая и о себе, показывал, где и как будет укладывать различную мозаику, обращал внимание на важность уметь подобрать наиболее подходящие цвета для княжеской одежды и вообще для мельчайших вещей. Ярослав невольно подумал, что чем меньшим талантом обладает человек, тем значительнее относится он к самому явлению творчества, своему труду, хотя там иногда искусства может и не быть. Ему очень хотелось спросить, почему же все-таки не Сивоок берется изображать княжескую семью и его самого, но сдерживался. С художниками никогда не знаешь, как лучше вести себя. Они всегда остаются загадочными для властелина. Становятся между властью и народом словно бы самозванно,— или же они предназначены для этого высшими силами? Собственно, и народ для князя — что такое? Князь всегда знает не весь народ, а лишь ту часть, к которой принадлежит сам. Остальные же — либо враги, либо просто темная толпа, не заслуживающая внимания. Даже все ситники, высовывающиеся из толпы в прислужники, в конце концов не что иное, как примитивные блюдолизы, которых можно ценить за верность, но сравнивать которых следует с обыкновенными послушными псами. Однако ни один художник, даже самый бездарный, не потерпит такого обращения.

— Хорошо, делайте как знаете, вмешиваться не буду,— отмахнулся князь от Мищилы, готовый согласиться со всеми

домогательствами митрополита, лишь бы только не иметь дела со всеми художниками вот здесь, в присутствии людей, в не украшенном еще храме, который трудно было себе представить в грядущей красоте, в блеске, похожем на сияние украшений и драгоценностей на одеянии митрополита, епископов, бояр, наполненный тысячами богомольцев, в кадильном дыму, в тихом сверкании свечей, в многоголосье пения и молитв.

Митрополит, еле шевеля посиневшими от холода губами, почти умирающий, шамкал что-то возле Ярослава. Он напоминал о литургийном календаре, о праведниках, на которых держится церковь, о необходимости согласовать росписи стен церкви с богослужением, для чего из евангельских событий следует выбирать лишь те, которые отражены в величайших церковных праздниках Империи, праздников же таких — двенадцать: благовещение, рождество, сретение, крещение, преображение, воскресение Лазаря, вход в Иерусалим, распятие, сошествие в ад, вознесение, сошествие святого духа, успение.

Князь взглянул теперь уже через правое плечо, где надеялся увидеть пресвитера Иллариона. Тот возвышался над священниками точно так же, как Сивоок — над художниками, одет был в длинный темный мех, на голове тоже имел простую меховую шапку, снова о его священническом сане напоминала лишь драгоценная панагия, наброшенная поверх корзна; Илларион перехватил взгляд князя, покачал отрицательно головой — дескать, не соглашайтесь с ромеем.

— Что-то хочет сказать нам пресвитер Илларион,— князь пытался выразить надлежащую учтивость к митрополиту, ждал, пока тот умолкнет, и лишь после этого напомнил об Илларионе, да и то не настаивал, а словно бы спрашивал у Феопемпта, согласен ли тот выслушать пресвитера, если же не захочет, то пускай так оно и будет. Митрополит кивнул в знак согласия. Дрожа от холода, он слушал громкий бас Иллариона, лишь глаз у него подергивался,— видимо, от того, как немилосердно калечил пресвитер греческие слова. Но это подергивание глаза было предвестником взрыва. Так посверкивает еле заметный огонек под ворохом сухого лозняка перед тем, как внезапно вспыхнет высоким пламенем и мгновенно охватит весь хворост. Казалось бы, пресвитер говорил вполне уместные вещи. О том, что киевский люд еще не привык к новым праздникам, еще не постиг их всех ни разумом, ни сердцем во всей надлежащей сложности и сути,

поэтому не следует перегружать росписи главной церкви многообразием, лучше будет упростить их, скажем, к трем основным, взяв тему голгофской жертвы, евхаристии и воскресения для главной навы, а все боковые приделы отдать отдельным святым, к примеру апостолам Петру и Павлу как проповедникам христианского учения, святому Георгию, чье имя взял себе князь Ярослав, родным богородицы Иоакиму и Анне, ибо все, что связано с семьей, для русских людей близко и доступно. Если посвятить один придел Георгию — покровителю ратного люда, то другой тогда следует отдать архангелу Михаилу, который, взятый еще князем Владимиром на свое знамя, воспринимается русичами как защитник в борьбе с силами супротивными. Да и по духу своему этот князь ангелов близок своим благородством сердцу русскому, ибо это же архангел Михаил боролся с дьяволом ради тела Моисеева, исполчился на персидского царя, защищая волю людскую, оказал покровительство еврейскому народу, отвернул осла Валаамова от погибельного пути, обнажил меч перед Иисусом Навином, повелевая ему этим примером помочь против врагов, уничтожив в одну ночь сто восемьдесят тысяч ассирийских воинов, перенес по-над землей пророка Аввакума, чтобы тот кормил пророка Даниила, который обретался во рву львином...

И вот тут митрополит не выдержал. И неизвестно, чем вызвана была его ярость: ведь Илларион называл только византийских святых, кроме того, хотел, чтобы церковь была расписана не в одной лишь главной наве, но и в остальных приделах, ибо что же это за святыня с голыми стенами? Еще не было речи о намерении Сивоока, в отличие от всех византийских храмов, расписать Софию еще и снаружи всю фресками, но то ли Феопемпт уже знал об этом, или догадывался, или вкралось в его старческую голову подозрение, что неспроста пресвитер так старательно хочет заполнить весь серединный простор храма изображениями, чтобы в конце концов выплеснулись они и наружу и превратили чистую и строгую христианскую церковь в разукрашенное варварское капище, дополняя еще и красками языческую буйность бесчисленных куполов под золотыми крышами...

— Не быть тому! — воскликнул внезапно митрополит и попытался топнуть ногой, но из этого ничего у него не вышло, закостеневшие члены плохо повиновались ему; нога митрополита лишь еле заметно дернулась, заколебав на нем несгибаемые блестящие одежды.— Не допущу язычества в

христианский храм! Негоже делаешь, княже, разводя язычество! Ведомо нам, откуда все идет. Кормишь в пещере отступника. Нечистые намерения. Проклянет господь, княже!

Митрополит не обращался к пресвитеру, будто того и не было рядом, говорил лишь князю, сразу же бросился обвинять; проявляя свою осведомленность, подтверждал предположение, что поставлен здесь ромеями для выслеживания. Ярослава охватывала ярость. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не выдать в присутствии многих людей своего презрения к митрополиту, сказал тихо и смиренно:

— Святый отче, не требуй слишком много от моего народа. Народ и так пошел на великие жертвы. Забрали у него веру отцовскую и дедовскую, обнажили душу. Нового бога он принимает добровольно или по принуждению, праздников ваших ромейских еще не понял,— может, они и не понравятся ему никогда, точно так же как ты никогда не привыкнешь к нашим снегам и морозам. Пресвитер Илларион, кажется мне, говорит дело.

— Не отдам господа нашего в руки язычникам! — упрямо пробормотал митрополит.

— Знай, святый отче, также и то,— Ярослав подошел вплотную к нему, чтобы никто больше не слышал его слов,— что если уж народ наш и вынужден идти на жертвы и уступки, то князь на уступки не пойдет! А теперь милостиво прошу в сани, велю отвезти тебя в твои палаты, ибо замерзнешь от нашего холода, а я не хочу брать греха себе на душу!

Сказав это, князь направился к выходу. Он не заботился о том, идет ли митрополит за ним или нет. Заведено же было так и в Константинополе, что владыка земной выходил из собора впереди сановника церковного, даже в алтарь императора вводил патриарх, держась позади.

Феопемпт, с трудом шевеля посиневшими губами, старческой походкой бессильно пошаркал за князем.

В тот день Ярослав не принимал никого. Играл с детьми, обедал со всей семьей, не допустив на трапезу никого постороннего, потом перешел на половину к княгине, делая вид, что ему это очень интересно, рассматривал ее новые заморские наряды, привезенные из Византии, из Германии, от франков и от варягов. Появилось ощущение, что стареет, боялся, что не увидит завершенной церкви святой Софии — главного дела своей жизни, а как выйти из положения — не ведал. Проще было в битве с врагом, распоряжаться государ-

ством, несмотря на все трудности и сложности, тоже знал как, изучая по книгам опыт многих своих предшественников, великих и незначительных, и набираясь опыта в жизни, умел обуздать дикого зверя и подавить восстание самых яростных забияк; знал множество способов, как сделать понятливыми простаков, а вот теперь растерялся, будучи не в силах охватить умом всей огромности предстоящего творения в соборе. Да и кто бы не растерялся? Разве же те самые ромеи, при всем том, что государство их насчитывает уже несколько сот лет и рождалось знамением бога, заимствованного ими у палестинских пастухов-голодранцев,— разве же они сразу все восприняли и все постигли? Сколько жили, столько и грызлись между собою то за одно, то за другое. Дошли и до того, что уничтожали все изображения Христа, Марии, ангелов, апостолов, патриархов, императоров. Даже в императорском дворце, сооруженном при Константине и Юстиниане, выколупывали все мозаики. Возможно, и держится теперь митрополит Феопемпт за эту построенную и освященную патриархом Фотием церковь Феотокос Фарос потому, что была она первой значительной церковью после смутных времен иконоборчества? Но почему мы должны искупать чью-то сумятицу и дурость, повторяя сделанное уже давно, и не на поддержание душ народа нашего, а для укрепления расшатанной веры самих ромеев?

Ночью Ярослав позвал Ситника. Ситник тоже заметно постарел за эти годы, стал еще толще, потел, как и раньше, обильно и неудержимо, но уже понял наконец, что не к лицу в его положении излишняя суетливость, поэтому сшил себе по ромейскому образцу охабень с длинными, до самой земли, рукавами, которые перебрасывал через плечи и засовывал за пояс, а руки выставлял в прорези под рукавами, будто огородное чучело; неуклюжий, бездарный, кто не знал, принял бы его за первого бездельника в державе, взглянув на эти заткнутые за пояс длиннющие рукава, но Ярослав по-прежнему продолжал верить в Ситника, не обманул тот князя еще ни разу, выполнял все повеления быстро, точно, главное же — без лишней огласки, что в государственных делах иногда имеет первостепенное значение.

— Что, этот святой в пещерке живой? — спросил князь своего ночного бояринa.

Ситник, не поняв, куда князь клонит, торопливо ответил:

— Живой, княже! По твоему велению...

— Постой,— махнул Ярослав рукой,— я не просил тебя

напоминать о моих велениях. Спрашиваю тебя: почему до сих пор живой?

— Почему живой? — Ситник моментально растерялся, ему стало жарко, он уже улавливал княжий гнев, только никак не мог угадать, откуда он нахлынул.— Ну... живучий старикашка. Такой шустрый, как рак на суше.

Боярин хрипло засмеялся, чтобы скрыть хотя бы смехом свою растерянность, но Ярослав не склонен был сегодня к веселью.

— Раз спрашиваю,— сказал сурово,— не нужны мне объяснения.

— Однако ж, княже...

— Говорю, почему живой? — упорно повторил Ярослав.— Не нравится твоя несообразительность, Ситник. Если бы умер человек, а я спрашивал, почему он умер, тогда бы ты и объяснял, кто виноват. А ежели спрашиваю, почему живой, то найди, кто повинен в этом.

— Ага, так,— послушно молвил Ситник, подавляя глупое желание воскликнуть: «Да ты же, княже, виновен, что он живой! Ты же велел носить ему дичь с княжьего стола, и напитки в серебряных бокалах, и меха для теплоты...»

— А в пещерке той пусть молится пресвитер Илларион,— словно о деле уже давно решенном, говорил Ярослав,— передай ему от меня...

Все-таки Ситник, видно, старел быстрее князя: стал тугодумом. Он еще только размышлял, как убрать старика из пещерки, а князь, вишь, уже и забыл о нем, старик уже не существует для него, властелин уже хлопочет почему-то о пещерке, стремится как можно скорее поместить туда кого-то другого...

— У Иллариона уже своя пещерка есть,— несмело сказал Ситник.

— Пещерка? — Ярослав прошелся по горнице, остановился перед поставцом с толстой пергаментной книгой, потрогал пальцем лист.— Какая пещерка? Что он там в ней делает?

— Молится с Лукой Жидятой. Лука там и пребывает, а пресвитер ходит к нему, и они в два голоса напевают молитвы.

— Что ж они поют?

— Господи милосердный, прими с земли этой молитву на языке земли нашей... Такое что-то напевает... А у обоих — басы вельми могучие...

— Не спрашиваю о басах. Лука этот — кто таков?

— Жидятой прозван, потому как малым еще его хозары забрали в плен, и там продержали много лет, и склоняли к вере своей, и на язык свой переворачивали. Испробовал он чужбины, и когда прибежал к своим, то теперь ни о чем чужом слышать не может. И христианскую веру признает только на языке нашем, а не греческом. Илларион прячет его от митрополита и от ромеев. В пещерке.

— Почему не сказал мне?

— Не спрашивал ты, княже.

— Знаешь хорошо, что и о неспрошенном должен говорить.

— Знаю, но пресвитера обходил ты в своих подозрениях.

— Обхожу и ныне. Передай, пусть приведет ко мне этого Луку завтра ночью тайно. А пещерку одну пускай засыплет. Хватит ему для молитвы и одной.

— Ага, так.

Было единственное убежище для Луки Жидяты в Киеве, где бы о нем не смог узнать митрополит: княжеский дворец. Ярослав уже отдал одну комнатку для Пантелея и еще для двух писцов; жили при дворце священники, монахи, послушники, канторы, ублажавшие слух князя и княгини сладким церковным пением, полно было придворных, ключников, замочников, стольников, чашников, спальников, жил Бурмака, становился тесноватым уже Большой дворец, построенный еще при княгине Ольге, однако в следующую ночь привезли туда еще одного жильца, вошел он, закутанный в старенький, изорванный мех, в сени вместе с пресвитером Илларионом, вместе поднялись они в сени верхние, прошли в сопровождении Ситника в горницу князя Ярослава; долго, запершись там, о чем-то беседовали, а на рассвете князь вместе с пресвитером спустился в церковь на молитву, а Лука Жидята, яснобородый, коренастый человек с крепкими руками и какой-то особой цепкостью во взгляде, очутился в комнатке отрока Пантелея, искал у него иконку или крестик, чтобы помолиться по-своему, но у Пантелея такого добра не водилось; отрок, лукаво поглядывая на своего нового соседа, сказал, что он приставлен к князю не для молитв, а для жизнеописания; Лука обозвал отрока дураком и варваром, хотел сгоряча избить его, но пожалел, пообещал обратить его языческую душу в христианскую веру, на что Пантелей чмыхнул тихонько себе под нос, чтоб не дразнить ухватистого дядьку, и рассказал Луке о святом человеке, который собрал в себе всю мудрость Древлянской земли.

— Убит твой учитель,— жестоко сказал Лука, который после многих лет, проведенных у степняков-хозар, не умел скрывать от человека ни хороших, ни плохих вестей.

Пантелей не поверил.

— Врешь! — крикнул он Луке.— Сам князь ходил к нему на беседу. Посылал ему в серебряной посуде пить и есть! Берег его! Князь наш мудрый — не только книги любит, но и людей, которые дороже сотен книг!

— Князь его кормил, князь и убил,— спокойно промолвил Лука.

— За что же?

— Не все ли равно? Так нужно.

— Не может того быть,— прошептал Пантелей,— не верю я тебе! Сам сбегаю на Бересты!

А через день возвратился в Киев, сел за выданный ему Ситником лист пергамента и, заливаясь слезами, написал черными чернилами, настоянными на дубовой коре, желудях и черном железе: «Князь-бо Ярослав муж богобоязливый и к книжной премудрости вельми охочий. Велика-бо бывает польза от учения книжного; книгами значим и постигаем пути к покаянию, обретаем мудрость и воздержание от словес пустых; это реки, утоляющие жажду вселенной, это истоки мудрости; книгам не найти глубины, ими утешаемся в печалях, они же и от грехов и прегрешений нас сдерживают». Сбоку, наискось, мелкими буквицами вывел: «Ох, слезы мои, слезы горькие!»

Ситник приходил ежедневно в определенный час, протягивал руку, говорил:

— Отдай телятину!

Пантелей подавал ему исписанный пергамент, при этом надлежало выражать боярину необходимую учтивость, но древлянский отрок не способен был к этому: вместо того чтобы застыть перед всемогущим боярином, он как-то неуклюже ерзал на месте, хитрая улыбка проносилась по его устам, вспыхивая то в одном, то в другом уголке губ, в бегающих глазах скрывалось лукавство. Ситник не мог терпеть такого поведения и кричал на Пантелея:

— Смотри мне в глаза!

Но во взгляде отрока была прежняя неуловимость, его светлые глаза метались туда и сюда, хотя и смотрел он словно бы на сурового боярина.

— Скользкий ты, хлопче, но от меня еще никто не уходил! — зловеще грозил Ситник.

И наконец он выследил Пантелея, схватил его за руку. Долго вертел пергамент так и этак, смотрел на харатью сбоку, переворачивал ее так, что отроку даже смешно стало. Ситник не обращал внимания на эту смешливость Пантелея, поплевал себе на палец и принялся считать строчки на пергаменте. Пересчитал в одном столбце, потом и во втором.

— Ага,— промолвил он зловеще.— А это что?

И ткнул послюнявленным пальцем в дописанные строчки о слезах.

— Не поместилось все,— забегал глазами Пантелей.

— Так,— Ситник запер харатью в деревянный сундучок, который носил с собой на этот случай,— я покажу тебе «не поместилось». Жидята где? Должен сидеть тут и не рыпаться.

— Не знаю.

— Будешь знать. Ты у меня будешь все знать! — пообещал ему Ситник и быстро направился на княжью половину.

А у князя была поздняя и совершенно неожиданная гостья. Княгиня Ирина. Пришла одна, без свиты, без прислужниц, где-то по дороге растеряла всю свою холодную неприступность и степенность, почти влетела в палату князя, растрепанная и распатланная, бросилась к Ярославу в каком-то отчаянном движении близости, он быстро встал ей навстречу, протянул руки. Когда-то на новгородском вымоле встретились они как жених и невеста, потом была первая брачная ночь, когда они стали людьми отчужденными, почти врагами, а для людей — князем и княгиней, потом много лет без любви отбирал у нее женское, а она давала ему детей,— и вот впервые, кажется, средь темной зимней ночи встретились эти два человека, объединяемых уже не княжеством, не гордыней, не холодным расчетом, а чем-то человеческим. Чем?

— Чего тебе надобно, княгиня? — спросил Ярослав и тотчас же поправился: — Ирина...

Она взглянула на него ошалелыми глазами, первая вспышка уже миновала, она могла, по крайней мере, удержаться, чтобы не упасть мужу на грудь, как падают все простые женщины, а она ведь была не простой от рождения, не могла и не имела права быть простой.

— Ты сядь,— стараясь быть ласковым, сказал Ярослав.— Садись вот на мое место. На княжеское. Ты ведь — княгиня.

Она послушалась. Оцепенело села. Смотрела на Ярослава полными ярости глазами, но он понимал: не видит она его,

ничего не видит. Погладил ей руку. Молча. Ласково. Ирина заговорила, глядя все так же сквозь своего мужа:

— Сама берегла нашу дочь. Ей становилось хуже и хуже, и я прогнала от нее всех. Она такая маленькая и горячая. Ловила мою руку своими ручками. Я запела ей песню. Не знаю песен русских — потому запела нашу старую песню викингов. «Мы плывем к новым и новым берегам, плывем без страха, но с надеждой, плывем, плывем...» При первых словах ребенок уснул. Вздохнула глубоко сквозь сон, как-то жалобно вздохнула, так что мне сдавило сердце слезами. И мои ладони... Ладони, под которыми чувствовала теплое тело девочки, вдруг стали холодными как лед... Я крикнула отчаянно и страшно... Но уже не могла отогнать смерти от нашего ребенка...

Ярослав молчал. Это была их четвертая дочурка. Родилась лишь несколько месяцев назад.

— Бог дал — бог взял,— вздохнул он после небольшой паузы.

— Она вся пылала — и вдруг как лед.— Ирина плакала, не скрывая слез от князя.— А ты... жестокосердный... Такое говоришь...

— Дети ко мне приходят тогда, когда могу обращаться к их разуму,— сказал он, обнимая жену,— а души их — в твоих руках... Не удержала детской души — плачу вместе с тобой, милая моя княгиня и жена... А что твердый — держава требует того...

Она молча подвинулась, княжий стул был достаточно широким, чтобы вместиться обоим, так и сидели они продолжительное время, прижавшись друг к другу, будто молодые, впервые сидели как люди, убитые горем людским, а не выдуманным, быть может, и в последний раз.

Потом князь проводил княгиню к двери, подал ей свечу, Ирина шагнула в темный переход, казалось, что свеча бессильна рассеять тяжелую тьму, а только бьет в глаза княгини, бледно озаряя ее лицо, однако, как ни слаб был огонек, он вырвал внезапно из темноты еще одно лицо, бородатое, залитое потом страха и растерянности, мгновенно стала видна вся фигура, беспомощно приплюснутая к стене, отвратительная фигура толстого мужчины, лишенного рук. Ирина вскрикнула, уронила из рук свечу, покачнулась и, наверное, упала бы, если бы Ярослав, вырвавшись за порог, не подхватил жену под руки. Свеча угасла. Ситник, который, подобно сычу, видел в темноте и без света, никак не мог вы-

свободить из-под своего охабня рук, чтобы помочь князю и княгине. Ярослав от неожиданной растерянности тоже не знал, что делать дальше, почему-то решил, что самое главное — найти свечу, выставляя хромую ногу, опустился на колено, шарил по полу, свечи не нашел, а наткнулся на ноги княгини, как-то не задумываясь в ослеплении и растревоженности, обнял эти ноги, прижался к ним лицом, терся бородой, кажется, даже целовал ноги жены, захлебываясь все больше и больше неизведанным чувством к женщине, которая дарила ему наслаждение и детей, детей и наслаждение.

Ситник наконец просунул сквозь прорези охабня свои коротенькие руки, метнулся в горницу, схватил новую свечу, торопливо понес ее к князю и княгине, непрошеный и незваный. Тайное становилось явным. Ярослав растерянно поднимался, поправлял свою всклокоченную бороду, княгиня смотрела на него то ли с преданностью, то ли с высокомерием, у него не было времени разгадывать ее настроения, ему нужно было без промедления делать что-то такое, чтобы стереть, уничтожить, предать забвению тот миг его слабости, когда он беспомощно ползал у ног своей жены и искал эти ноги, чтобы прижаться к ним лицом, он должен был вот здесь, сразу же показать свое непоколебимое превосходство и боярину, и самой княгине, потому что за ним стояла целая держава, великая держава, с великими делами; поправляя взлохмаченную бороду, Ярослав думал напряженно и лихорадочно, но надумать ничего не успел, его рука сама собой оторвалась от бороды и величественно проплыла короткое расстояние к лицу Ирины, и княгиня, еще, наверное, тоже полностью не осознав значения и последствий этого жеста, послушно встретила губами эту руку, поцелуй был сухой, короткий, еле заметный, но он был, этого было уже вполне достаточно, чтобы у Ярослава отлегло от сердца, он вырвал у Ситника свечу и повел княгиню в ее покои, освещая темные переходы.

Возвратился он не скоро, но Ситник терпеливо ждал на том же самом месте, где увидела его княгиня, раскрыл было рот для оправданий, хотел просить у князя прощения за то, что не уберегся и все-таки попал на глаза княгини, но Ярослав остановил его небрежным жестом руки,— сегодня он был просветленный и добрый.

Боярин умел пользоваться такими настроениями князя, он мгновенно вбежал в палату, плотно прикрыл за собой дверь и сказал придавленным, но выразительным голосом:

— Княже, не тем веришь, кому следует! Не тем!

Ярослав посмотрел на него немного удивленно, но одновременно и с раздражением.

— Молвил я не раз тебе, княже,— не уловив перемены в настроении властелина, доверчиво бормотал Ситник,— всегда следует смотреть, откуда человек пришел и что он за человек... Вот Пантелей, отрок... Откуда пришел? Из Древлян. С кем?

— Постой,— устало сказал князь, и в голосе у него еще было полно доброты,— не тарахти. Говорено же тебе многажды: для державы в человеке важны прежде всего способности. Пантелей умудрен письму, а ты — не способен. Так кого я должен выбирать для дел летописания?

— Верно молвишь, княже великий, о способностях,— склонил голову боярин.— А душа? Душа должна быть чистой и преданной. Так? А ежели у человека душа, будто у дикого коня — тарпана: так и рвется, так и рвется? Тогда что? Тогда нужно присмотреться к человеку пристально: кто он, откуда, как, почему?

— Надоел,— прервал его князь.— Говори, что там у Пантелея? Почему цепляешься к отроку?

— Пишет не то! — выпалил боярин.

— Откуда знаешь? Ты ведь в письме темен.

— Для князя все сделаю!

— Говори толком!

— Не то пишет! — снова воскликнул Ситник.— Каждый день принимаю у него исписанные харатьи, он и заприметил, видно, что я в письме не смыслю. И вот пишет, пишет — да и писнет!

— Что же?

— Супротив князя, видит бог.

— Ведомо тебе откуда, спрашиваю?

— А я хитрый! Заметил, что на каждой харатье слова пишутся в два столбца — по двадцать и пять строчек, и устав одинаковый, так оно заведено, так этому Пантелей пресвитером Илларионом и обучен. Но нет! Дописывает он между столбцами еще что-то, сверх этих узаконенных строк. Лишние? Лишние. И устав там маленький, словно бы прячет в нем отрок греховные мысли. Что-то там есть, княже, что-то бродит в душе отрока! Да и у одного ли отрока!

— Ну, вот что,— сказал Ярослав,— вот я хотел просить тебя, да забыл. Наверное, придешь завтра.

— А как же с Пантелеем?

— Кто князь — ты или я? — тихо спросил Ярослав, и лицо его начало наливаться гневом.

— Ты, княже, ты, а я раб твой преданный,— Ситник отступил до самого порога,— грешен я, но слабость имею к тебе, княже. Хочу как лучше. Стараюсь денно и нощно, хотя и тяжко. И с иконами, и с попами тяжко, и со смутьянами, и с этими письменами, и с Софией да Сивооком. Не доведет до великого добра наука и письмо, но ради тебя, княже, все делаю... Все богатство свое отдал за книги... Купил у гречинов несколько книг, уже имею... целый сундук...

— В голове нужно, а не в сундуке,— мрачно улыбнулся Ярослав.

— Семью забросил... Доченька у меня была Величка... Умерла от хворости, а я с тобой тогда в походе был, не смог спасти...

— Ну, ладно, ладно,— Ярославу стало не по себе. У всех горе, все перед смертью бессильны. Не знал князь, а Ситник не говорил, что Величка не просто умерла от мора, а сбежала из дому еще тогда, когда он отвез малого Сивоока с намерением продать его кому-то. Сбежала и исчезла. Никогда не вспоминал боярин о дочери, а сегодня подслушал разговор князя с княгиней, смекнул, что может пригодиться и смерть Велички. Ждать не довелось. Пригодилось.

— Я там принес эту харатью. За дверью она у меня, в сундучке,— заторопился Ситник, улавливая перемену в настроении Ярослава. Не стал ждать, что скажет князь, метнулся за дверь, внес сундучок, достал пергамент, подал Ярославу.

Ярослав сразу же увидел дописанные отроком слова про слезы. Догадался, наверное, почему дописал это отрок, но Ситнику не сказал, вместо этого вслух прочел ему место, в котором речь шла о книгах. Боярин слушал оторопело.

— Понял? — спросил у него по прочтении князь.— Мудрость нам нужна. И люди для мудрости — тоже. Понял?

— Ага, так,— захлопал глазами Ситник, хотя ничего не понял и не сообразил, только обливался потом от страха перед князем и глубоко затаенного недовольства на него за то, что он отдает предпочтение какой-то там мудрости перед делами государственного значения, делами первостепенными, сравнить которые можно разве лишь с краеугольным камнем в здании. Вынь этот камень — развалится все здание.



1966
год
ЛЕТО. КИЕВ

Изгибы твоих бровей могут довести до бешенства... твой упругий живот — словно арена для боя быков в Ниме.

П. Пикассо

Уехал — приехал. А что изменилось? Киев точно так же нежился под ласковым солнцем, утопал в буйной зелени своих парков и скверов; по его улицам, новым и старым, с лихорадочной скоростью мчались куда-то машины, гудели мосты; под летним светло-голубым небом сверкали белые соборы,— никто и ничто не замечало отсутствия Бориса Отавы в этом большом городе, не произошло никаких изменений за то время, пока он изнывал в стеклянных канцеляриях Запада; каждый день рождались дети, каждый день во Дворце бракосочетаний (кроме выходных) происходили торжественные свадебные церемонии, каждый день умирало какое-то количество жителей — вот так и мы приходим в этот мир и так уходим, незаметно и бесследно. А? Незаметно и бесследно? Неправда! Он поехал и приехал в самом деле незаметно, без духовых оркестров и речей на перроне, без фоторепортеров, но вскоре все газеты написали о результатах его поездки, о том шуме, который он поднял на Рейне, откликнулись живые свидетели, нашлись очевидцы мрачных событий зимы сорок второго года в Киеве; оказалось, что сотням людей близка и небезразлична была судьба Гордея Отавы, а еще более

важной была судьба всего, что принадлежало им, что составляло народную собственность.

Возможно, впервые Борис Отава почувствовал необходимость своей специальности не только для отдельных любителей старины, но для всех. Его приглашали к студентам, на заводы, в клубы, он встречался с городским активом, и всюду его расспрашивали, интересовались его выступлениями, принимали резолюции.

И хотя Борис впервые оказался в центре внимания всего Киева, это не приносило ему радости, им все больше овладевало какое-то беспокойство, он сам не знал, что с ним происходит, объяснял это своей научной миссией на Рейн, потому что, в сущности, он ничего там не добился, лишь потревожил всех этих оссендорферов, а потом поехал себе домой, оставив все хлопоты на долю работников посольства, прежде всего на симпатичного Валерия, которому тоже осточертели рейнская глина и болтливые чиновники, умеющие утопить в потоке слов любое дело.

Своего состояния Борис еще как следует не осознал, и тогда, когда садился в вагон московского поезда, он еще цеплялся мыслью за какие-то там неотложные дела, которые, мол, гонят его в Москву, мысленно клялся прямо с вокзала позвонить в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, нет ли новостей с Рейна; в самом деле, побежал сразу же к автомату, бросил двухкопеечную монету, долго прицеливался пальцем в круглые отверстия над номерами, подсознательно ткнул в один кружок, в другой, диск прокручивался туго, со скрипом и скрежетом, раздавались длинные гудки, долго и болезненно отдаваясь в висках у Бориса; наконец на другой стороне раздался голос, голос этот был знакомый уже тысячу лет, он существовал для Отавы вечно.

— Тая,— почти шепотом сказал он,— Тая, это я приехал.

— В самом деле? — насмешливо спросила она.

— Я стою на Киевском вокзале.

— Очевидно, все-таки не на вокзале, а на тротуаре.

Он не улавливал насмешливости в ее голосе и словах, возможно, впервые в жизни так терялся перед женщиной, которой, в сущности, и перед глазами не было,— находилась она где-то далеко, на том конце телефонной линии.

— Я должен тебя увидеть,— сказал Борис хрипло,— сегодня же.

— Снова едешь за границу?

— Не в этом дело. Я понял... Но об этом — не по телефону. Мы должны непременно увидеться и непременно сегодня...

— Я не люблю этого слова.

— Какого слова? — он растерялся.

— «Непременно». В нем есть что-то неприятное. По крайней мере для женщины. Возможно, для такой женщины, как я.— Тая, кажется, не могла отрешиться от насмешливости, а может, просто хотела выиграть время в этих рассуждениях о словах. Но что для нее время, когда речь сейчас идет о самом важном для них обоих?

— Тая, где мы увидимся? — почти ультимативно спросил Борис.— Не пытайся отказываться. У меня очень серьезные намерения. Ты даже не можешь себе представить, какие серьезные. Итак: где?

— Ну...— она заколебалась,— раз уж ты так настаиваешь... в одиннадцать...

— Хорошо,— тотчас же согласился он.

— Нет, наверное, не выйдет,— быстро сменила она прежнее решение,— давай в четырнадцать.

— В четырнадцать. Согласен.

— Манеж знаешь?

— Да.

— Вот там между Манежем и Александровским садом есть остановка. Не помню, троллейбусная, или автобусная, или, быть может, для такси...

— Найду.

— Я буду ждать тебя там.

— Нет, это я буду ждать!

— Не смей,— сказала она,— если ты придешь хотя бы на минуту раньше...

— Я буду точно в четырнадцать...

— Тут ко мне пришли.— Трубка звякнула в неведомой дали. Борис застенчиво улыбнулся своей вдруг онемевшей трубке.

А потом произошло.

Ровно в четырнадцать он шел от Исторического музея по тротуару вдоль высокой железной ограды Александровского сада. С одной стороны было величественное спокойствие Кремля, с другой — гремела тысячами машин Москва, впереди — Борис уже видел ее — одиноко стояла на остановке Тая, в белом платье, тонкая, гибкая, словно девочка; казалось ему,

что смеется она, хотя лица ее еще не различал, но, когда подошел ближе, убедился: в самом деле, улыбается. Представил ее лукавые губы, приближенные к его лицу, ее разноцветные глаза, чуть не бежал к Тае, попутно готов был творить молитву в честь тех неведомых сил, которые в многомиллионной Москве, в самом центре, средь бела дня давали возможность двоим встретиться без единого свидетеля, без малейших помех. И именно тогда Борис заметил человека. Их могло тут быть десять, и сто, и тысяча одновременно, потому что такое ведь место и такое время! Был лишь один, это не давало никаких оснований для тревоги, но что-то словно бы ударило Бориса в грудь, какое-то словно бы предчувствие беды ощутил он вдруг, хотя никогда и не верил в предчувствия. Высокий мужчина быстро шел по тротуару прямо на Таю. Откуда он взялся и когда? Белокурый, волосы зачесаны на пробор, красивое, кажется, лицо. Мужчина опережал Бориса. Вроде бы его и не было только что, а теперь вот вынырнул неизвестно откуда и уже приближался к Тае. Сейчас он пройдет мимо нее и пойдет навстречу Отаве, минует его и пойдет дальше, так всегда бывает в большом городе, так должно было случиться и на этот раз.

Однако нет...

Мужчина дошел до Таи, обернулся. Кажется, имел намерение ждать троллейбуса или какого там беса — ну что ж.

Однако нет!

Мужчина не остановился! Он продолжал свое движение, это уже был какой-то кошмар, такого не выдумал бы для Отавы даже самый заклятый враг,— мужчина как-то сноровисто повернулся, оказавшись теперь к Борису спиной, подцепил согнутой в локте правой рукой Таину руку и, не останавливаясь, пошел себе снова туда, откуда появился, только теперь уже не один, а забрав с собой Таю, то есть ту женщину, которая ждала его, Бориса Отаву, и к которой торопился он, то есть Борис Отава,— собственно, единственную женщину на свете, которая сумела вырвать Бориса из заколдованного круга одиночества, для того чтобы снова бросить его в одиночество!

Он не мог опомниться. Насилие? Совершено насилие над Таей? Нужно бежать и спасать ее? Хотел бежать следом, хотел... Но те двое шли спокойно и дружно, женщина не вырывалась, не оглядывалась, не призывала на помощь Бориса, хотя знала, что он сзади, видела его только что. Светловолосый мужчина наклонился к ней доверительно, интимно, что-

то говорил, задрав голову в смехе. Тая тоже смеялась, Борис видел это по ее спине, это было ужасное зрелище — видеть, как смеется любимая тобой женщина, как смеется... ее спина! Безумие!

Он шел за ними. Понимал, как это позорно и унизительно, однако ничего не мог поделать, шел будто привязанный. Почему-то думал, что они свернут к Боровицким воротам и пойдут в Кремль, и там он их где-нибудь догонит, и... И что?

Но они не свернули, пошли дальше по тротуару, в самый водоворот машин, в бурление Москвы, и этот светловолосый молодой человек снова говорил что-то смешное, а Тая смеялась уже не только спиной, но всем телом, смеялась неудержимо, буйно, не было сил дальше терпеть этот смех. Борис повернулся и ушел в гостиницу.

Он не пытался звонить, не ждал звонка, не хотел ничего знать, не жаждал объяснений. Испокон веков Отавы отличались упорством и твердостью. Даже когда эта твердость ранит собственное сердце.

Свершилось!

И в Киеве не ждал теперь ничего. Студенты разъехались на каникулы. Из посольства сообщили, что с делом Оссендорфера придется подождать до осени, ибо все чиновники убежали к морю и на воды. Отава каждое утро садился за свою привычную работу, писал, рвал написанное, снова писал. Потом шел прогуляться, по Владимирской доходил до Софии, смешивался с группами экскурсантов, прячась за их спинами, слушал привычные голоса экскурсоводов.

— Собор сооружен в эпоху княжения Ярослава Мудрого... Точная дата строительства неизвестна...

Известна, известна... Вскоре станет известной всем. Он докажет это на фактах. Отец жизнь свою отдал, чтобы доказать это, а он...

— ...Неизвестны также имена строителей...

Станут известны... Рано или поздно все становится известным на этом свете! Не играет роли, каким образом и кто открывает людям тайны и какой ценой. Где ты бродишь, моя доля?..

— Этот собор относится к ценнейшим памятникам архитектуры...

Не так! Зачем употреблять слово «памятник»? Его нужно называть просто: «диво». И как родился свыше девятисот лет

назад в мыслях Сивоока, и как сооружался, и как украшался, и как продержался единственный во всей Европе с того столетия целый и прекрасный — разве не диво?

Быть может, был иногда жестоким этот собор. Требовал пожертвований не только драгоценностями, но даже человеческими жизнями. Разве профессор Гордей Отава не пожертвовал своей жизнью? Видимо, так нужно.

А потом Борис выходил во двор, в лицо ему било солнце, вдали виднелся собор — белый, добрый, ласковый, в окружении золота и зелени, и все в груди Бориса кричало и протестовало: «Нет, нет, нет! Человек должен жить как человек, а не превращаться в жертву! Нужно жить, как живут все люди!»

Когда уже и не ждал, нашел в почтовом ящике письмо из Москвы.

Она писала:

«Борис!

Все эти дни моя совесть отягощена, будто у плохого врача детских болезней. Тогда получилось так некрасиво и неприятно для тебя. Поверь: это просто случайное совпадение, а не мое сознательное намерение. Я ждала там только тебя. Зачем ждала? Сама не знаю. Возможно, это и к лучшему, что появился именно он. Если уж быть искренней до конца, то скажу, что мы с ним часто назначали свидание на этом месте. Не в тот день. Нет. В тот день я назначила тебе. Клянусь! Но так вышло. Ты подумаешь с негодованием: вертихвостка. Наверное, вообще выбросил меня из головы и из сердца (если я там была). Но будь великодушен. Порадуйся, если и не за Тайку, то просто за еще одного человека, который что-то интересное нашел в жизни. А это не такая уж малость. Нет ничего ужаснее, чем искать и ничего не найти. Помнишь ибсеновского Пер Гюнта? Искал всюду и везде, искал в самом себе, снимал с себя наслоения и случайные маски, как снимают кожуру с луковицы. И — ничего. Пустота. Абсолютнейшая пустота. Это самое ужасное. А жизнь сокращается с каждым днем, с каждым произнесенным словом, с каждым брошенным взглядом. Никто не замечает этого так, как женщина. Поверь мне, Борис. Говорю это для тебя, потому что ты считаешь, что жизнь давно уже остановилась, где-то в десятом или одиннадцатом столетии...»

Он читал и невольно ловил себя на мысли, что не углубляется в суть слов, не понимает почти ничего, покамест он про-

сто по-глупому, как-то дико обрадовался самому факту получения письма от Таи,— так должен бы, наверное, радоваться дикий человек красиво оформленной бомбочке со скрытым в ней часовым механизмом, не ведая о том, что бомба эта вскоре разнесет его в куски.

«...Тот человек, которого ты видел (и как хорошо, что ты увидел его и теперь не нужно объяснений!),— композитор. Он понял меня. И как женщину, и как человека. Что он сделал? Ты улыбнешься, услышав, но для меня — это чрезвычайно важно. Он взял все мои рисунки (разумеется, те, которые нравятся мне самой) и сделал что-то наподобие музыкальных гравюр из этих рисунков, а потом все это соединил в целостную картину. Получилась оратория на тему моих рисунков, что-то неслыханное, невероятное, все, кто слушал, восторгаются, хвалят. Ты не можешь представить, какое это чудо! Каждый хочет что-то сказать миру. Каждый хочет, чтобы его услышали. Тогда задерживается время — и жизнь становится почти вечной! Ты слышишь, Борис? Вечность — не в твоих соборах, а в каждом из нас, нужно лишь уметь ее обнаружить и добыть. Этот человек...»

Этот человек... этот человек... Наконец Борис заставил себя сосредоточиться, он теперь не просто прочитывал слова — складывал их вместе, формировал из них предложения,— он понял, наконец, что это последнее (!) письмо Таи к нему, к тому же, кажется, письмо не с комплиментами, и не с раскаянием, и не с извинениями, а полное обвинений, незаслуженных и жестоких для человека в таком положении, как Отава.

Первым его чувством после того, как стал осознавать содержание этого жестокого письма, было возмущение. Нет, просто какая-то снисходительная ироничность. Читал дальше, но снова лишь скользил глазами по строкам, ничего не понимал, потому что перебросился мыслями в это время далеко-далеко, вел бессловесный спор с неприступной и несуществующей ныне для него Таей, бросал ей коротко и насмешливо, как она тогда ему в телефон: «Что? Еще один мужчина? Ах, ах! Взяться за ручки — и так идти. Голубушка! Жиэнь — это не детский садик! Здесь за руки берутся совершенно условно, ибо каждый должен делать свое дело».

«Но тебе знать это неинтересно,— писала дальше Тая.— Ты даже имеешь право меня высмеять. Я жалею, что написала так, будто хотела перед тобой оправдаться тогда, когда уже никакие оправдания не помогут и не имеют для тебя

никакой цены (если, конечно, я была для тебя хоть немножко дорогим человеком, в чем не хотелось бы мне сомневаться, потому что высоко ставлю твою порядочность). Это письмо я написала не о себе — я не стою этого. Просто эгоистическая особа, которая переоценивает свое место в жизнь, захвачена своим талантом, зачарована собственными женскими качествами, о которых мужчины прожужжали мне уши,— нет, не ради самой себя написала я это письмо, а ради тебя, Борис!»

Он споткнулся на этой строке, на этом обращении «ради тебя, Борис», решил лучше не читать дальше, чтобы хоть немного успокоить в себе такое, чего до сих пор еще никогда не испытывал; ему хотелось и плакать, и смеяться одновременно, ему словно бы и вовсе ничего не хотелось: ни двигаться, ни видеть, ни слышать, ни дышать, ни жить.

— Вот ерунда! — произнес Борис вслух и протянул руку к телефону, чтобы позвонить товарищу, с которым давненько уже не обменивался своим бодрым паролем «е2—е4». Но отдернул руку и снова всмотрелся в письмо. Писалось оно долго, тяжело, разными чернилами, беспощадно перечеркивались одни слова и на полях дописывались другие; многие места и вовсе неразборчивы, извилистые строчки наползают одна на другую...

«Ты необыкновенный, Борис. Я увидела это сразу, тогда, в санатории. Хотя писать про санаторий не следовало бы здесь, потому что знакомства санаторные — бррр! — не буду о месте. Просто я увидела тебя и поняла, что это человек настоящий. Независимый. Уверенный. Твердый. В твоей ироничности я вычитала знание современных болезней (не общества! Общество хорошо знает, куда движется и что ему следует делать, но отдельные его члены, к сожалению, не все и не всегда обладают этой уверенностью). Ты скажешь: «Вот дуреха! Влюбляется в ироничных мужчин». Нет, я не влюбляюсь. Поверь мне, что умею видеть дальше, чем это кажется на первый взгляд. Массовая образованность привела к тому, что теперь чуть ли не каждый интеллигентный мужчина при первой же встрече, во время первого знакомства в состоянии мобилизовать все наличные резервы и бросить их на вас, чтобы ошеломить сразу! Сколько можно вот так встретить эрудитов, краснословов, остряков, тонких натур, вольнодумцев! Но в подавляющем большинстве добра этого хватает на один лишь раз. Это словно бы вывеска, за которой ничего нет. Сказка про соломенного бычка. Внешне вроде и бычок, а на

самом деле — напихан соломой. Куда ни повернись — соломенные бычки. Эрудиции хватает на один день, острот на один вечер, вольнодумства — для разговора наедине с женщиной, которой хочется понравиться. А нужно ведь жизнь прожить. А жизнь длинная. Попробуй запастись на всю жизнь своими душевными сокровищами.

Мне понравилась твоя ироничность, ты не выпячивал ее специально, нарочито ни перед кем, я поняла, что в тебе невероятные запасы душевных сил,— и не ошиблась...»

— Хотел бы я знать,— пробормотал Борис, растерянно потирая переносицу,— хотел бы я знать, какое это имеет отношение к тому дню, когда я шел вдоль решетки Александровского сада... И когда видел твою спину... А ты смеялась... Смеялась...

Он снова отодвинул письмо, решительно встал. Так можно сойти с ума. Посмотрел на ворох свежей почты. Среди газет, журналов там был толстый пакет. Небрежно разорвал его. Кто-то прислал только что изданные открытки по мотивам картин художника, который всю жизнь посвятил изображению Киевской Софии. Борис рассыпал открытки по столу, они легли пестрым веером на Таино письмо, закрыли его, отгородили. Так лучше.

Собор лежал у него перед глазами. В синеве первых дней весны. И в теплой тишине летней ночи. Седые брови заснеженных куполов, а рядом — языческая роскошь первой зелени, и все на свете имеет цвет и оттенки зелени: травы, листья на деревьях, сами деревья, крыши собора, его стены, даже позолоченные купола и шпили. Зеленое золото. А вон рука реставратора выпустила на волю из-под многовековых наслоений несколько кусков первобытной стены. И сразу обрели рельефность апсиды, могучая сила проглянула в их розовой выпуклости, когда-то в кладке стены применялась известь, которая от влаги изменяла цвет, становилась совершенно розовой, поэтому собор в первые годы после строительства изменял свою окраску при всякой погоде, вызывая удивление и восторг у древних киевлян и всех гостей этого праславянского града. Художник именно и стремился, как видно, уловить эту давно уже утраченную под воздействием времени розовость, и он придал своим апсидам такую яркость цветов, которая, быть может, мерещилась лишь первому зодчему этого храма. Так через века передается стремление к вечной красоте. Человек идет к красоте, он творит ее, этим и отличается человек от всего сущего.

А что же пишет ему эта женщина, с которой у него теперь нет и не может быть ничего общего? К сожалению. Что? К сожалению?

«Но потом увидела тебя вблизи. Это случилось так неожиданно, так быстро. Очевидно, есть глубокий смысл в том, чтобы люди сходились постепенно и медленно. Собственно, я ничего не открыла в тебе нового, сознательно шла на все, надеялась на твою силу. Ибо принадлежу к женщинам, которых не выбирают, а которые выбирают сами. Я выбрала тебя, нашла, распознала, я не могла отдать тебя кому-либо, не могла утратить, могла только отказаться добровольно, лично, без принуждения, точно так же как и нашла. И я это сделала. Вероятно, ты назовешь меня несправедливой. Ну что ж! Справедливость не имеет сердца. Она уравновешивает, а сердце всегда перевешивает в одну сторону, оно, как тебе известно, слева. У меня есть сердце, и я не собираюсь забывать о нем. Наоборот. В своих художнических амбициях я никогда не заходила настолько далеко, чтобы выставлять их впереди своего сердца. Понимаешь? Хочу оставаться женщиной. Быть ею прежде всего, а уж потом — художницей, мыслящим человеком и т. д. И еще открою тебе тайну: мечтала я, что своим сердцем завоюю тебя, разгромлю, разрушу все твои бастионы увлечений и углублений, вырву тебя из-за толстенных соборных стен, вытащу из далеких веков, верну дню сегодняшнему, теплому, зеленому, как молодая отава (ведь твоя фамилия — Отава!). Почему-то перед глазами у меня стоял Петрарка. Он был человеком одной идеи. Всю жизнь посвятил совершенствованию стиля латинских писателей, никогда не расставался с виргилианским кодексом, сидя над которым так и умер; когда Боккаччо прислал ему свой «Декамерон», написанный на итальянском языке, Петрарка перевел на латынь последние новеллы и отправил своему другу, чтобы показать ему, как нужно было писать, на что тратить жизнь, а тем временем, тайком от всех, сочинял на итальянском языке свои сонеты к Лауре, бессмертные песни любви, равной которой не знает человеческая история».

— Кажется, с Петраркой у меня общее только рост,— хмыкнул Борис,— сто восемьдесят три сантиметра, больше ничего, стихов не писал, сонетов не слагал. Латинский, правда, знаю, но не так совершенно, как великий флорентиец. Не был изгнанником, как Петрарка и его предшественник Данте. Обоих недальновидная Флоренция лишила гражданства. Впо-

следствии, через триста лет после смерти Петрарки, какой-то святой отец Мартинелли отбил стенку саркофага в Арка, где похоронен поэт, и выкрал правую руку Петрарки, желая подарить ее Флоренции, которая не могла снести многовекового позора за то, что два великих поэта были изгнаны из родного города и лежат теперь среди чужих. Но глубокоуважаемая Тая Зыкова! Магнифициа! Зачем мою скромную особу да сравнивать с Петраркой!

«Почему-то думалось мне, что в тебе должна таиться большая страсть, о существовании которой ты и сам не подозреваешь. Я должна была открыть ее в тебе, показать!

Но... Но... Ты оказался человеком только одной идеи, одной линии в жизни, одного дела, а одно лишь дело, даже великое,— этого для человека мало. Оно угнетает, оно уничтожает человека, превращает его в жертву. Ты принес себя в жертву собору. Точно так же, как твой отец. Вспомни. Отец твой погиб. Собор раздавил его. Ты сам говорил: «Невозможно представить себе ни одного собора без пролитой крови». Казалось бы, я как художница должна любить все, что связано с музейностью. В музее, как и в жизни, всегда вдоволь свободных мест. Но в музеи можно ходить. Жить в них невозможно. Ты рассказывал мне, как твой отец мог просидеть месяц или даже больше, протирая на старинной иконе дырочку в патине столетий и заглядывая в десятый или в одиннадцатый век, любуясь его красками, его навеки утраченным светом, его дивами. Ты тоже способен на это. Это прекрасно. Но хуже, что ты способен т о л ь к о на это. Тебе достаточно одного собора на всю жизнь, за пределами собора для тебя не существует ничего. Я поняла это, когда ты сказал мне там, над Днепром, среди невиданной еще мною языческой зелени Киева, что покидаешь меня, что тебе нужно ехать. Оставлял меня, только еще найдя. Этого я не могла понять и никогда не пойму. Даже теперь, когда прочла в газетах, что ты борешься за какие-то государственные дела, за дела нашего престижа, отвоевываешь у фашистских бандитов, ограбивших всю Европу, одну из драгоценных реликвий нашего народа. Конечно же ты прав, и все это подтвердят. Все, кроме меня. Ибо между мною и тобой замешан еще один элемент, невидимый, интимный элемент, не подлежащий разглашению и описанию в газетах,— человеческий. Я не могу забыть, как ты, оттолкнув меня своим твердым плечом, пошел в свой собор.

Борис! Человеку мало одного лишь собора! Человеку нужен весь мир! Услышь меня и пойми!»

Ему почему-то вспомнилось вдруг литургическое восклицание: «Вонмем!» Это звучало только на старославянском языке, не поддавалось для перевода ни на один другой язык. Вонмем! Не к этому ли призывала и она его? Вонмем! Голосу чего?

«Мне страшно осознавать, что я тебя утратила навсегда, но... ты выбросишь это письмо, забудешь о нем, но... Борис! Пойми, что людей объединяет ныне бесчисленное множество вещей! Когда-то, ты это знаешь намного лучше меня, людей объединяли торжественные гробницы и первые храмы над ними. Это был пункт сбора людей вместе и, быть может, самая первая собственность, принадлежавшая всем, даже тем, кто ничего не имел. Или мы должны еще и сейчас стеречь своих великих покойников, забывая о живой жизни?»

«Чего ей от меня нужно? — с болью думал Отава.— Ведь это так просто: сровнять с землей все могилы прошлого, разрушить все храмы и строения, чтобы не мозолили глаз и не мешали «жить живым», выполнять планы, строить панельные дома, есть из пластмассовой посуды... Исторический парадокс: люди получили такое богатое наследие, что не ведают теперь, что с ним делать. Их угнетает величие прошлого, ибо из прошлого мы замечаем лишь великое, они пытаются отплатить за свою мизерность вандализмом, разрушением, уничтожением. Женщины тоже любят уничтожать все вокруг себя, оставляя лишь то, что им необходимо. Возможно, именно поэтому из царства амазонок до нас не дошло ни одного памятника. Видимо, они ничего не имели, только носились на конях по степям...»

Не было смысла читать письмо до конца. Собственно, прочитано главное. Ему вынесен приговор. Возможно, и справедливый, кто знает. До сих пор не думал о женщинах. Женщина несет свет нежности или же становится камнем преткновения. Для него — камень преткновения. Собора мало для человека... Но и человека тоже мало для целого собора — вот в чем беда.

Борис достал рукопись, над которой работал всю жизнь его отец, а теперь вот уже столько лет и он сам, положил толстую папку на стол, опустил на нее ладони, вздохнул. Собиралось по крошке, воссоздавалась история по мельчайшим ее обломкам, казалось, вот работа, достойная уважения и благодарности величайшей и высочайшей. А пришла женщина и...

Он вспомнил, как бросил все и метнулся в Москву. Чув-

ствовал тогда себя мальчишкой, но иногда много можно отдать за такое ощущение.

Еще вспомнил: начало войны в Киеве. Почему-то более всего запомнилось, как вывозили отовсюду, грузили на машины сейфы. Их выносили с огромным трудом, вокруг них всегда толпилось много мужчин, но подойти к ним не могли, потому что стальные несгораемые сундуки были слишком маленькими. Так когда-то обтекали волны человеческого муравейника строившуюся Софию в Киеве. Каждому хочется подойти поближе, а места не хватает. Но почему эти люди так жаждали вывезти из Киева прежде всего сейфы, маленький Борис тогда не мог взять в толк. Оставляли Киев, оставляли соборы, музеи, памятники, Богдана и Шевченко, а тащили какие-то неуклюжие, угловатые железные сундуки; наверное, и те люди тогда толком не знали в своей озабоченности, что они делали, везли что-нибудь, лишь бы везти, а потом, возвратившись в родной город и увидев в нем уцелевшие соборы и памятники, обрадовались им, как родным людям, и только тогда поняли, что́ является высочайшей ценностью, и это было святое чувство в их душах. Ибо разве же во время войны не обратили взгляд всего народа в глубину столетий и не напомнили ему великих имен, чтобы еще больше укрепить у всех чувство патриотизма, которое вырастает и формируется в сердцах поколений на протяжении веков и веков, а не прививается одним махом, как оспа.

Все это было так, и все это звучало теперь неубедительно. Потому что на столе лежало письмо от женщины, которую он полюбил по-настоящему впервые в жизни, а за письмом вырисовывалась высокая решетчатая ограда Александровского сада... И его позор, его унижение, и спина, и смех, и уже никогда не возвратится она к нему, как никогда не может воскреснуть человек, который умер, и прожить еще одну жизнь на земле, никогда, никогда...

Он решительно развернул свою папку, достал последнюю страницу рукописи, не взглянув даже, на чем там оборвана фраза, решительно дописал с нового абзаца:

«Тут я прекращаю рассказ о забытых событиях древности, давая возможность всем желающим следом за мною разыскивать и дописывать остальное».

Связал рукопись. Вот так он и отнесет ее в издательство. Не хватает завершения, но не беда, не беда.

Отошел от стола, со стороны долго смотрел на рукопись. Целая гора исписанной бумаги. Если бы просто исписанной!

Там была уже не только жизнь его отца и его собственная — жили там люди забытые, неведомые, но великие. Должны были ожить. Он человек одной идеи? Ну да. Он нудный? Согласен. Чудак? Но именно такие вот чудаки держат на своих плечах один из краеугольных камней здания современности.

Иероглифами было выписано у него из египетского папируса и помещено под стекло шкафа: «Те, которые строили из гранита, сооружая прекрасное творение... их жертвенные камни точно так же пусты, как и тех утомленных, которые упокоились на берегу, не оставив после себя наследников...»

Никто за тебя не дособерет и не закончит, не завершит!



Год 1037
ОСЕННИЙ СОЛНЦЕВОРОТ. КИЕВ

...святей Софьи, юже созда сам...

Летопись Нестора

У Сивоока было такое ощущение, будто он умирает безостановочно и неудержимо каждой частицей своего тела, каждой жилкой, умирает мыслями, стремлениями, надеждами. Собор поднимался все выше и выше, вырастал из земли гигантским розовым цветком, лишенным стебля, взбунтовавшимся против известных сил и стихий природы, против людей, против самого строителя, и Сивоок никак не мог отрешиться от ужасного впечатления, будто эти камни и плинфы, будто розовая цемянка, которой скреплялись стены,— это частицы его собственного существа, будто он перевоплощается в это сооружение, сам исчезая незаметно, постепенно, неуклонно.

Когда же здание вознеслось среди киевских снегов и отовсюду торопливо потянулся люд, чтобы взглянуть на это диво, еще и не законченное, тогда вдруг снова словно бы ожил Сивоок для нового дела; долгие годы невероятного напряжения вмиг отлетели прочь, словно их и не было вовсе, и этого изнурительного умирания души и тела тоже не было,— родились в нем новые силы, новая мощь. Так, видимо, бывает с той смелой птицей, которая, размахавшись, взвивается в непостижимую высь и в самом стремительном

взлете вдруг начинает опасаться, что у нее не хватит сил, и летит чем выше, тем все тяжелее и тяжелее, кажется, вот-вот упадет камнем вниз, но потом, достигнув все же наивысшей точки, неожиданно для самой себя открывает в себе новые безграничные запасы легкой летучести и неудержимо парит в лазурном поднебесье, пронизанном солнцем.

Такая птичья летучесть и легкость появилась в душе Сивоока, когда выбрался он на высоченные леса в главном куполе храма и начал выкладывать самые большие софийские мозаики.

Он был равнодушен ко всем спорам между пресвитером Илларионом и митрополитом Феопемптом, менее всего заботило его мнение князя теперь, когда им с Гюргием удалось настоять на своем и построить церковь не по ромейскому образцу, а именно такую, какой представилась она Сивооку в часы его первой встречи с родной землей после долгой разлуки. Теперь появилось в нем что-то как бы растительное; подобно тому как растения цветами и листьями, он теперь жил и разговаривал с людьми только красками, и все для него укладывалось в язык краски, он снова начал свое умирание в творении, истекал сквозь концы пальцев на свои мозаики невиданными цветами, он хотел бы поймать в краске и показать людям все на свете: девичье пение, птичий полет, мерцание звезд с чистого неба и солнце. Солнце было всюду, оно двигалось в соборе, собор поворачивался следом за ним, мозаики словно бы выступали из своих углублений, они свободно располагались между стеной и людьми, которые смотрели на них снизу, они двигались по кругу, поворачивались следом за солнцем, и все поворачивалось вместе с ними в торжественной тишине и нечеловеческой красе. Главное для него теперь заключалось не в том, что̀ он должен был изображать, а как. Важно само искусство, а не фигуры, которые оно передает. Фигуры изменяются, одним нравятся такие, другим — иные, а живопись, если она есть, остается навеки.

Неважно, как будут называться те или иные мозаики. Пантократор, Оранта, Евхаристия с дважды нарисованным Христосом и апостолами, которые бежали к богу за его телом и кровью,— так представляли украшение собора сами попы. А для Сивоока там было только солнце в тысячных отблесках смальты золотой, синей, зеленой: зеленое солнце древлянских лесов, желтое солнце рассветов его детства,

белое в раскаленности болгарских планин и свинцовое солнце в эмволах константинопольской Мессы перед тем, как его должны были ослепить, и тихое солнце над вечерними садами, и певучесть лучей на женских волосах...

Вот почему Пантократор, которого Сивоок нарочно наделил чертами Агапита, с горечью во взгляде, вызванной старостью и бессилием, имел в себе что-то от сизой свинцовости безжалостного ромейского солнца над пленными болгарами, а гигантская фигура Оранты представлялась Сивооку, будто тихий синий вздох матери, которой он так никогда и не знал; Евхаристия же была криком красок багровых и синих, малиновых и фиолетовых, золотых и зеленых; цвет и движение, неудержимое, жадное, вечное движение — так человечество вечно торопится куда-то, жаждет чего-то,— а ведает ли хорошо, чего именно? Хлеба? Крови? «Се творите в мое поминание»,— завещал бог. И вот гонят куда-то людей (то ли сами они бегут), и уже никто не в силах их остановить, а на долю художника выпадает воссоздание этого неустанного движения — устремления, которым так потрафила христианская церковь человеческой натуре.

Сивоок сам следил за тем, как варилась смальта для больших мозаик, которые он должен был выкладывать. Подбирал подходящие цвета. Колдовал над красками. Варил, проваривал, растирал. Для золотой смальты златоковцы ковали тончайшие листочки золота, потом оно закладывалось между двух пластинок стекла, навечно заваривалось, иногда, когда нужна была тончайшая смальта, золотой листик просто припаивался к низу стеклянного кубика. Чтобы как можно больше разнообразить оттенки золотой смальты, Сивоок применял не только золото, но и электрон, или же белое золото, то есть сплав золота с серебром, иногда использовались даже листики меди, которая давала более спокойное сияние. Смальту варили долго, многих людей перепробовал Сивоок на этом деле, шли к нему охочие, босые, без шапок, бедные, ободранные, несмелые, он учил их, работал вместе с ними, жил с ними в нужде и заботах, рассказывали они ему о нужде еще большей, о том, как было голодно когда-то, а еще голоднее стало нынче, ибо все поглощает церковь, люди бросили поля и борти, пошли на строительство, а тем временем их хижины где-то разваливаются, зарастают бурьяном поля — и что же это будет, что же это будет? Даже в лучшие времена хлеб ели не каждый день, а теперь только и видели что жиденькую затируху, да

капусту, да репу. Соль была лакомством, ее не употребляли в пищу, а лизали кусок после обеда, о мясе даже не упоминали. Сивоок делился со всеми своими помощниками тем, что ему доставалось от князя, но понимал, что, накормив десятерых, все равно не накормит тысяч. Повторялось то же самое, что видел он много лет в Византии: чем больше и роскошнее строили, тем беднее и ободраннее становился окрестный народ, потому что должен был вынести все на своих плечах, своим трудом, своей нуждой и ограничениями заплатить за высокомерие и славу божью.

Антропосы спасались от мрачных видений и от отчаяния в молитвах, старшие из них, не имея больше надежд, постригались в монахи, вот уже и тут, в Киеве, основали они возле самой Софии, на месте своего поселения, монастырь святого Георгия в честь князя Ярослава, и Мищило пристроился туда игуменом, но Сивоок остался со своими людьми; не мог он признать этого жестокого бога, от которого всю жизнь лишь страдал и скитался; собственно, после гибели Иссы утратил он способность восхищаться малейшими радостями и удовольствиями, жил теперь только великим делом своей жизни, жил в красках, в их свечении, в их музыке.

Теперь наступило то главнейшее, ради чего, по мнению Сивоока, принесены все жертвы и усилия: начиналось таинственное и непостижимое даже для того, кто стоял у самых его начал и истоков. Из ничего ты творишь еще одну вещь для мира, добавляешь к нему то, чего свет не знал и никогда бы не смог создать сам в своем равнодушии и беспорядке. Ты вносишь высокую гармонию в запутанность вещей, ты — творец, ты — выше бога!

Мищило укладывал мозаику на стене под хорами — во славу основателя храма князя Ярослава. Работал медленно, старательно, подгонял кубик к кубику с такой тщательностью, что готовая мозаическая поверхность сливалась в сплошной блеск, этот блеск ослеплял, не давал возможности разобрать, что там изображено,— только сияние, блеск, чтобы знал каждый поднимающий глаза: перед глазами у него бог, богородица и князь, а все — сплошь свет, пылание, огненность.

Князь побывал в соборе, и ему понравилось, как Мищило укладывает смальту, чувствовалась рука мастера сноровистого, хорошо обученного, беда только, что работал Мищи-

ло больно уж медленно, в особенности же если сравнить с Сивооком.

Тот сидел в своем поднебесье, помощники носили ему раствор для накладки на стену, этот раствор также изготовлялся по советам Сивоока, к извести добавлялся толченый кирпич и мелкий угольный порошок, и в эту серовато-розовую накладку русокудрый великан, как-то словно бы не думая, броском вгонял кубики смальты и разноцветных камней, не заботился о приглаженности, не вылизывал, как Мищило, торопился, будто гнали его в шею, разноцветные кубики торчали из накладки и так и сяк, казалось, никакого порядка нет в этих нагромождениях смальты и камешков; Мищило на удивленный взгляд князя лишь беспомощно разводил руками — дескать, дуракам закон не писан.

Ярослав на первый раз смолчал, но снова приходил в Софию и снова наблюдал удивительную картину: один, высунув язык, прилаживает кубик к кубику так плотно, что не просунуть иголки, а другой, вверху, швыряет смальту беспорядочно и произвольно, и пока этот внизу хлопочет до сих пор над одной лишь фигурой, тот вверху уже закончил Пантократора и принялся за его небесную стражу — архангелов, и все это у него — корявое, шероховатое, взъерошенное, растрепанное, как и он сам, и снова Мищило пожимал плечами и шептал что-то осуждающее. Дескать, разве мы не можем уложить всю смальту гладенько и ровненько?

Князь полез к Сивооку. Нелегкая это была дорога, никогда ему еще не приходилось взбираться по таким лесам, но он знал: властелин не должен отступать ни перед чем, должен испытать все.

Но когда он остановился позади Сивоока и глянул на его работу, он просто ужаснулся. Снизу был виден Пантократор в огромном медальоне, снизу архангелы (два уже готовы, третий еще не завершен) поражали своей тяжестью (о боге нечего и говорить: он и вовсе был какой-то тяжеленный, словно бы выложенный из большущих каменных квадратов, а не из легеньких сверкающих кубиков), снизу были краски, они сливались воедино, хотя и не так, как у Мищилы, а тут князь не видел ничего, кроме серого раствора, наложенного толстым слоем на стену, и беспорядочно натыканных в этот раствор неодинаковых стекляшек и камешков, гранями своими повернутых в разные стороны, как попало, в диком хаосе; самое же страшное заключалось в том, что Сивоок при появлении князя работы своей не прекратил, а

продолжал и дальше втыкать свои камешки, молча протягивая к подручным то одну руку, то другую, работал молча, быстро, лихорадочно и сосредоточенно, словно бог во время сотворения мира.

— Ты что же это вытворяешь? — гневно спросил князь, запыхавшийся от изнурительного карабкания в это поднебесье и возмущенный непочтительностью Сивоока, а еще больше непохожестью его работы на то, что показывал ему внизу Мищило.

— Что зришь, княже,— буркнул мастер.

— Ничего не вижу.

— Непривычен глаз имеешь, княже.

— А ты не учи меня! — топнул ногой Ярослав.

— Окромя того, на эту мусию смотреть надо лишь снизу,— успокаивающе промолвил Сивоок,— вельми велика она, чтобы обнять ее оком вблизи.

— Почто кладешь не так, как Мищило?

— За солнцем иду. Хоть где будет солнце, найдет себе отражение, и мусия будет весь день светиться одинаково глубоко. А у Мищилы — сверкает один лишь раз на день. Да и что это за блеск? Без тепла, без глубины, что лед холодный. А еще — будет класть твой Мищило свою мусию десять лет и не закончит. Люди рождаются разно: одни для работы мелкой, другие — для великой...

Сивоок говорил, не поворачиваясь к князю, продолжая укладывать смальту, делал это умело, быстро, как-то даже вроде бы весело.

— Считаешь, что так и нужно? — мягче спросил Ярослав.

— Вот это, что делаю? А как иначе? Никто не взялся за большие мозаики. Мало таких людей на земле. Меня когда-то отчаяние загнало в эту высоту, теперь слезать не хочется. А слезу — так тоже для дел великих.

— Чванишься или шутишь?

— И то и другое. Думаю, как скорее закончить церковь.

— Угадал мою мысль, Сивоок.

— Но с Мищилой, княже, не закончишь до скончания века.

— Недостроенный храм не хочу оставлять сыновьям и потомкам,— сказал Ярослав, видно, встав уже на сторону Сивоока в его дивно хаотичном и непостижимом, но уверенно решительном творении.— Не хочу!

— Я тоже,— весело сказал Сивоок.

— Ты еще молод.

— Но и не имею ничего. Ни сына, ни жены, ни крыши над головою.

Князь промолчал. Неустроенность людская его мало занимала. И не о себе пекся — о державе. Всегда и прежде всего.

— Сыновья у тебя хорошие, княже,— снова заговорил Сивоок.— Про дочерей не говорю, негоже мне молвить про княжьих дочерей, а сыновья вельми хороши. Есть у меня мысль. Хочу помочь Мищиле в его работе.

— Своей же имеешь эвона сколько! — удивился князь жадности этого человека к хлопотам.

— Закончу свое в пору. Мищило же будет мешкать там невесть как долго. А чтобы поскорее — можно объединить с его мусией фресковые образы твоих сыновей и дочерей с княгиней. Вот и взялся бы я и сделал бы вельми быстро и охотно.

— Прилично ли будет? Князь — в мусии, а семья его — в простой росписи.

— Роспись тоже можно сделать так, что не уступит мусии. На все есть способ. Когда-то жена карийского царя Мавзола Артемизия поставила ему после смерти надгробный памятник, и стены были украшены фресками такими гладенькими, что казались прозрачными и блестели, как стекло. И у эллинов и римлян были такие мастера. В заправу добавляли порошок мраморированный, поверхность накладки разглаживали горячим железом, а писали яичной краской, которая в обычной фреске не употребима. После окончания живописи ее покрывали пунийским воском и водили около самой поверхности раскаленным железом, не прикасаясь. А после чего еще натирали сукном — и вот блеск, как у отполированного мрамора или даже смальты.

— У меня державных дел хватает,— сказал князь,— чтобы забивать себе голову твоим пунийским воском и еще чем-то. Ты мастер — тебе и знать надлежит.

— А сам вмешиваешься в то, как мне укладывать смальту,— напомнил Сивоок.

— Ибо непривычно кладешь.

— Только тогда и есть искусство, когда непривычно. Власти это не по вкусу. Власти мило упрочившееся, она жаждет, дабы все на свете было одинаковым, ибо только тогда может уповать на свою незыблемость. А краса — лишь

в неодинаковости. Возьми такое, княже: каждое растение имеет свой цветок, не похожий на других. А ежели бы все цветы да стали одинаковыми?

— Глаголешь много,— попытался свести разговор к шутке Ярослав.

— Ибо много работаю.— Сивоок в течение всего разговора ни разу не взглянул на князя и не прервал своей работы. Стоял на помосте, широко разметав руки, так, будто подпирал изогнутую стену купола, голова, задранная кверху, прочно лежала на плечах, срослась с ними навсегда от этого напряженного всматривания вверх, на свод; князь попробовал сосчитать, сколько дней, недель и месяцев стоит тут Сивоок, укладывая мозаики, вышло так много, что он ужаснулся, а впереди ведь было еще больше! И этот человек думает не об отдыхе, а ищет для себя еще работы, берется за новое, и кипят в нем какие-то непостижимые страсти, мигом нарывается на споры с самим князем.

Отрок, сопровождавший Ярослава, раздвинул для князя переносный стульчик. Ярослав махнул ему, чтобы убрал. Не привык рассиживаться и вести разговоры с кем-либо при свидетелях. На всю жизнь запомнилось ему новгородское вече, перед которым выворачивал свою душу после расправы над воями Славенской тысячи, возненавидел после того все публичные радения и обсуждения, всегда, когда возникала потребность кого-нибудь выслушать, звал его к себе в палаты, слушал, с решением своим не торопился, оставаясь для собеседника загадочным, а следовательно — мудрым.

Поэтому неуютно чувствовал он себя здесь, под самым сводом главного купола собора. Создавалось впечатление, будто воздушный столб, наполнявший купол на всю высоту, вдруг опрокинулся и начал давить на людей снизу, угрожая приплюснуть их к грозно уставившимся безнадежно черным глазам Пантократора. Ярослав ощутил недостаток воздуха в груди, истому, он поднял руку, чтоб расстегнуть ферязь, поскреб пальцами по золотому шитью, облизал пересохшие губы. Почувствовал себя вдруг немощным и очень старым. Неразумная затея: взбираться на такую высоту, чтобы встревать в перебранку с этим строптивым человеком. Да и зачем? Художники — люди, властители — тоже люди, но у каждого своя жизнь, своя цель и свое назначение. Может, следует предоставить возможность делать свое и не вмешиваться? Но ведь государство держится на князе, а поэтому должны подчиняться ему люди в державе. Кто не

подчиняется — враг или подозрительный человек. Тогда кто же Сивоок? Один раз склонил князя на свою сторону, теперь снова, так, видно, метит чинить так и дальше. Может, правду молвил Ситник?

Ярослав откашлялся.

— Дышать у тебя тут нечем,— сказал Сивооку.

— А я не дышу,— ответил тот.

Непокорный. Дерзкий.

— Пришлю к тебе бояр своих, лучших людей.

— Почто они мне? Прислал бы, княже, утраченные годы, людей дорогих, навеки утраченных, но не можешь.

— Все в божьей воле.— Князь отошел от Сивоока, мысленно браня себя за неосмотрительность и за то, что так по-глупому решил вдруг бодриться да приосаниваться. На старости лет взбираться на такую высоту! Заманулось, вишь, побыть возле самого бога, прикоснуться рукой к божьей деснице! Бессмысленная привычка самолично все проверять и осматривать. Все едино ведь земля столь велика, что не хватит жизни на то, чтобы все увидеть,— наверное, надобно верить и чужим глазам.

Но каким, чьим?

— Оставайся с богом,— сказал Сивооку.

Тот молчал. Не повернулся к князю. Как и прежде, продолжал стоять к нему спиной, с неестественно задранной лохматой головой, прикипевшей к плечам, неутомимо укладывал смальту и камни, и только теперь заметил Ярослав, что художник не разбрасывает разноцветные кубики как попало, что есть четкий и гармонический порядок в разбеге смальты по вогнутой поверхности, смальта шла как бы кругами, полудужьями, в ней было что-то от формы небесных сфер, было вращение, от которого кругом шла голова. Князь покачнулся, тяжело оперся о плечо отрока, сказал глухо:

— Сведи меня отсель.

Потом стали приходить бояре, городские старцы, мужи лучшие и нарочитые, степенно вплывали в церковь, путались между лесами, спотыкались о доски и обаполы, задирали головы, всматриваясь в работу молчаливых антропосов Агапита, которые, прислонившись повсюду, писали фрески; Мищило спускался каждый раз вниз и давал объяснения, умалчивая о своей мусии, которая подвигалась слишком медленно, более всего показывал вверх, где трудился невидимый Сивоок, где посверки-

вало синим и золотым в прогалинах между лесами, что-то говорил шепотом то ли гневно, то ли извинительно, а почтенные гости стояли, задирали головы, вздыхали.

Что же это будет перед ними? Необычное, дивное и нужное ли? Ибо как живут люди, чем? Тот воюет. Тот выкорчевывает лес. Тот охотится на зверя, а тот сеет хлеб или варит сталь. Каждый что-то делает и считает, что это — единственно необходимая работа, и так оно и есть на самом деле. А тут какой-то человек годы истратил на то, чтобы наготовить разноцветных стеклышек и камешков, а теперь укладывает их на стене. Зачем? Кому от этого польза? Князю? Но сам ведь князь молвил: идите, смотрите. Церкви, богу? Но что говорит им этот человек, облаченный в хламиду слуги божьего?

И так смотрели, слушали Мищилу, покачивали головами, вздыхали:

— Зачем все это? Грехи наши тяжкие... Ох-ох!..

Сивооку сверху видны были их головы, а под головами — руки-клешни и расставленные ноги; лишенные туловищ, в причудливо срезанном измерении, бояре напоминали что-то паучье, хотелось плюнуть туда вниз, невзначай сдвинуть тяжелое ведерко с заправой или сбросить на паучьи головы деревянное корыто, но и этого было жаль, и мастер лишь изредка поглядывал презрительно на распластанных внизу и продолжал делать свое дело.

Зачем им это? А для них ли он творит? Для вон тех мелких душой, спесивых, мстительных, темных, как стоячая вода, в своих помыслах. Знал каждого из них. Один кичился силой. Похвалялся, что одним взмахом может мечом отрубить голову лютому вепрю, а на самом деле мог разве что отрубить домашнему поросенку, да и то привязанному к колу. Другой показывал всем свое здоровье. Двор его стоял у Бабьего торжка, и каждый день, в любое время года, боярин высовывался утром в окошко голый до пояса, ждал, чтобы его увидели покупщики, гоготал: «О-го-го-го!» Третий все богатство вкладывал в одежду, выписывал себе из Византии дорогие ткани, ходил в шитых золотом и шелками кафтанах, на правой поле у него было вышито знамя княжеское, на левой — персона самого Ярослава, люди всегда собирались, чтобы посмотреть, а он шел или ехал среди них — босых, оборванных, с голодным сверканием ненависти в глазах,— что ему до бедных и униженных? Еще один поставил свой двор напротив княжеского дворца, каждый день с самого рассвета простаивал у ворот — а вдруг да появится князь, и ему первому удастся сказать: «Здрав будь, княже!» —

и потом можно хвалиться целый день, а следующую ночь снова спать урывками, беспокойным, краденым сном, чтобы на рассвете поскорее вскочить и встать у ворот настороже, ибо что же может быть лучше, чем первым поклониться владетельной особе! Еще стояло, возможно, там внизу несколько таких, которые отличились в битвах, выпало им укоротить жизнь многим людям, именуемым врагами, когда-то в этом, вероятно, была польза князю и державе, но все это осталось в далеком прошлом, теперь они не размахивали мечами, не способны ни к чему из-за старости, зато всюду совали свой нос и на все имели особое решение: «А я говорю так, а не этак!» Невежды всегда такие: начинают с поучений, кончают расправой.

Гудели их голоса внизу, не касалось это Сивоока, не обращал он ни на что внимания. Леший с ними!

Сивоок жил в соборе, на самой верхотуре, со своими помощниками. Спали на помостах, делили между собой хлеб и квас, одежда и обувь у них были так изношены, что и на праздники им не в чем было показаться.

Ночью собор замирал. Антропосы, помолившись, как темнело, шли в монастырь, рабочий люд расползался куда-то по щелям и закоулкам большого Киева, оставались только эти наверху, безвестные и невидимые, ночная стража, охраняя по велению князя и митрополита строящуюся святыню, забредала в церковь, тогда Сивоок бубнил что-то по-гречески или запевал греческий же ирмос, сторожа испуганно замирали.

— А цыц! — говорил один.— Слышишь?

— Голоса. А откуда — не раскумекаю.

— С неба, дурень!

— Что же это?

— По-гречески молвит. Бог.

— А разве бог по-гречески?

— А по-какому же?

Гюргия в Киеве не было. Заложил новый дворец для князя, а сам наконец подался в Чернигов, к князю Мстиславу. У того, простудившись на охоте, умер единственный сын-наследник Евстафий, и Мстислав задумал поставить собор во спасение души сына, а заодно и своей, выпросил у Ярослава строителей, послал Киевский князь и Гюргия — смотрите, мол, какой я щедрый, ничего не жаль мне для родного брата.

Сивоок остался один. Много у него было за эти годы людей близких, были ученики и помощники, но есть межа, через которую не перешагнешь, чувствовал эту межу в работе, где не было ему равных, чувствовал и тогда, когда из-за темноты при-

ходилось работу прекратить, хотя если бы мог, то укладывал бы мозаику днем и ночью.

Торопился, будто перед смертью. Так, словно отмерено ему жизни именно на этот собор, и давно это известно, и должен он уложиться в отпущенное ему время, ибо иначе незавершенным останется главное да, собственно, единственное дело, отмеченное его именем и дарованием. Возмещал людям долг за свое умение и талант. Потому что когда есть у тебя одаренность, то принадлежит уже не тебе, а миру. Пускаешь свои произведения в люди, как детей. Умираешь постепенно в своих произведениях, ибо никто никогда не задумывался, чью песню поет, никто не поверит, что икона, перед которой все молятся, написана твоей рукой, что эти лучезарные мусии, которые будут сиять сквозь века, уложены тобою. Да и важно ли вообще, кто именно сделал? Все едино принадлежит всем, а тебе нет. Человека забывают. О нем вспоминают мало и неохотно. Из человека выжимают только то, что кому-то нужно, будто из рыбы икру. Или кровь на поле боя, или пот на ниве, или красу, когда ты художник. А потом имя твое забудут. Да и что такое имя? Князь, когда крестился, назывался не так, как раньше. Когда кто-нибудь постригается в монахи, тоже изменяет свое имя — наверное, чтоб обмануть на том свете бога. Не все ли едино разве — Сивоок он или Михаил, как назвали его когда-то добрые болгарские братья? Что имя! Главное — твои деяния на земле.

И через много веков, когда зазвучат для кого-то эти старые краски, оживет тогда в них, быть может, и взгляд, и сердце Сивоока, будто в лучах солнцеворота. И не нужно долго стоять перед этими мозаиками, ибо ничего они не скажут, а только утренняя заря может прошептать его имя, скрытое столетиями, или прозвенит оно в золоте лучей неугасимого солнца над древним Киевом.

За Сивооком шли буквенники-антропосы. Укладывали мозаические надписи возле Пантократора, на рипидах, у архангелов, в большой дуге над Орантой, над Евхаристией. Евангелистские тексты ромейским письмом, на языке ромеев. Для Сивоока это уже не имело значения. Он жил своими красками, имел свои намерения для осуществления, Пантократора сделал похожим на Агапита. Но кто там в Киеве знал этого Агапита? Оранте дал испуганные глаза Иссы, а еще — всю ее фигуру сделал болезненно-неравномерной, ибо именно такой увидел когда-то Иссу, лежавшую под киевским валом мертвой. Оранта словно бы падала с конхи, словно бы срывалась лететь

на гибель, как летела в ту проклятую ночь Исса; это не была самодовольная, невозмутимая богоматерь с византийского иконографического канона. Когда кто-то заметил Сивооку, что у Оранты слишком велика голова, он ответил: «Не смотри на нее снизу, а попытайся взглянуть с лету, поднявшись на один уровень с нею. Увидишь, что летит, падает. И руки у нее — не руки, а крылья».

Но разговоров не было много: видно, князь после стычки с Сивооком под куполом храма велел не трогать художника, а может, просто отнимало речь у каждого, кто наблюдал всю огромность созданного этим человеком. Еще и не открытые, заставленные деревянными лесами, мозаики главного купола горели таким огнем, что простые люди, попадая в церковь, закрывали глаза, немели от чуда, и никто не верил, что такое могут создать человеческие руки, в особенности же — руки одного-единственного человека.

Сивоок прекрасно понимал это ощущение: если созданное тобой казалось сделанным кем-то другим — намного одареннее тебя, когда сам удивлялся и не верил, что это твой труд,— вот тогда и был настоящий успех.

Но не об этом успехе заботился он, когда обдумывал *свою Софию*, не для прославления христианского бога потратил здесь так много лет своей жизни,— волновало его совсем другое; великие мозаики, хотя создавал их со всем напряжением и в их краски вкладывал всю свою душу, все равно считал словно бы выкупом за те настоящие минуты раскованности и свободы, которым заранее радовался, думая об оформлении башен перед собором. Он и башни эти задумал как бы в подарок самому себе, представлялись они ему, наверное, давно, слышал он их яркий языческий выкрик, там было его сердце, беспокойное, изболевшееся, измученное скитаниями в странствиях, эти башни обозначали всю его жизнь, от маленького плачущего мальчика на темной неведомой дороге до зрелого мастера, за которым все признают талант, но у которого никто не спрашивает, счастлив ли он.

Сивоок долго совершенствовался, каждый раз вступал в единоборство со своими неизвестными предшественниками, используя те же самые средства, не имея возможности нарушить хотя бы одно предписание. Это было искусство, окостеневшее в своем вечном повторении. Семьсот лет, начиная с времени Константина Великого, византийское искусство жило мыслью о том, что зримый мир живых людей — это лишь химера, видение, наваждение. Настоящая же, мол, жизнь — на небе. И все

достойно внимания только там, все страсти, вся красота, все трагедии, вся глубинная сущность: Иисус, матерь божья, апостолы, Евхаристия, благословение, чудеса, проклятия и поклоны.

А здесь — ничего.

И вот Сивоок поставил перед храмом две башни, чтобы украсить их наконец не богами и их прислужниками, а нарисовать людей, которые утверждают свое бытие на земле. Охотятся, играют на свирелях, водят хороводы, любят женщин, смотрят конские скачки и состязания силачей... Он бросит вызов всему устаревшему, закостеневшему в своем пренебрежении ко всему живому миру. Неправда! Мы есть! Мы живы! Не одни лишь боги, но и люди! Нам не дают еще много места. Мы отброшены в темень, в тесноту. Но мы выбьемся оттуда любой ценой.

Сивоок бунтовал не против природы, ибо жил среди нее, рожденный ею, и верил в ее силу, ничего другого не желая видеть и знать. Он протестовал против установившегося порядка, при котором для человека не осталось места на свете, ибо всё заняли боги и их прислужники: апостолы и пророки, кадильщики и славословы. Не знал, кто его создал, но добивался места для себя на земле. Если меня сотворил бог — все равно пускай подвинется и даст мне место. Иначе отказываюсь от существования, и тогда конец всему, прежде всего — богу.

Видел схимников, которые отказывались от земных соблазнов и от деяния. А чего достигли? Все равно жили — с той лишь разницей, что жили мизерно. Прозябали. А так жить негоже.

Жизнь научила его ни с чем не соглашаться, протестовать, возмущаться. Он понимал, что лишь те достойны уважения, кто борется. Мало замечать несправедливость — нужно найти способ, как ее устранить, преодолеть. Пускай эти его мозаики будут последней данью прошлому, к которому он больше не вернется. Не хочет больше рабства! Хочет воли!

Нетерпение у Сивоока было такое, что он выложил одну лишь половину Евхаристии, другую отдал антропосам и обученным им помощникам из башковитых киевских отроков. А сам поскорее кинулся к своим башням. Тут, под низким сводом, по-настоящему наслаждался раскованностью таланта и разума. Тут творил! Был независимейшим человеком на свете! Мир его детства стоял перед глазами, запах извести и красок напоминал запахи глины в хижине деда Родима,— и вот уже и сам Родим на своем сером конике охотится на хищного зверя,

и не беда, что и коник кажется слишком малым, и зверь мелковат,— пускай знают потомки, каким был Родим, какие великие и могучие люди жили в этих лесах, и у этих рек, и в полях, равных которым нет во всей Европе, ведь и то сказать: славяне поселились на самых богатых и живописных землях. Взять ли русичей, или болгар, или сербов, поляков, чехов. Горы, равнины, реки, шумные леса — где еще такое найдешь?

В фресках, которыми украшал башни, Сивоок стремился не просто к свободе творения — подсознательно жаждал передать свои суждения о мире и людях, поэтому считал все остальное мелким, не заслуживающим внимания и был крайне недоволен, когда его отрывали от любимой работы, дергали то на то, то на другое, то на подсказывание, то для помощи, то для исправления чьих-то огрехов, то для торчания между митрополитом и пресвитером Илларионом, которые еженедельно прибывали в церковь для надзора и часто затевали новые и новые споры, верх в которых все равно брал незримо присутствующий князь или просто одолевало художническое упрямство.

Только в одном, возможно и в самом главном. Илларион уступил митрополиту без видимого сопротивления: в том, чтобы все надписи в храме были сделаны на греческом языке. Это был язык половины мира. Отрекаться от него открыто — значило бы отрекаться от общей со всем тогдашним миром культуры, а этого Ярослав не хотел, вернее, не отваживался сделать. Выбора не было. Вера вела за собой язык.

Пресвитер Илларион был уверен, что вера не ограничится одной церковью — пускай даже и такой пышной, как София,— он был осторожно-мудрым, чего никто не мог бы сказать про Луку Жидяту.

Тот, вопреки княжескому запрету болтаться по Киеву и вести крамольные разговоры против Византии, прискочил в собор, когда Сивоок еще работал над Орантой, начал взбираться к нему на помосты, топал ногами за спиной мастера, бегал по зыбким доскам, бормотал, неизвестно к кому обращаясь:

— Не грек ты и не варяг. Говори, пользуйся своим естественным языком. Не ты его вознесешь — он тебя.

— Не гарцуй так—доски проломятся,—спокойно посоветовал ему Сивоок, не отрываясь от работы. Он не любил никаких попов. Считал, что молоть языком человек идет лишь тогда, когда не способен ни к какой работе.

— А, не возьмет меня леший! — отмахнулся небрежно Лука и по-прежнему бегал туда и сюда за спиной у Сивоока, мешал ему работать, раздражал своими выкриками.

— Не привык я, чтоб за спиной была возня,— уже сердито произнес Сивоок.— Ты, поп, знай свое, а у меня тоже дело есть. Как говорится: каждому свои сопли солоны.

Жидята остановился. Замер за спиной Сивоока, потом громко расхохотался.

— А ведь это правда: бегаю,— перестав смеяться, признал он,— это во мне медвежий жир колотится.

— С медведями был в берлоге? — Сивооку уже начинал нравиться этот крикливый и суетливый поп. Он прекратил работу, вытер руки.— Кажется, время и мне пообедать. Может, разделишь трапезу, поп? Или привык к жирной еде? У меня хлеб да квас. Ибо я ведь под небом сижу, а к небу имеют право молвить только худые. Жирные же пускай падают вниз и погибают под собственной тяжестью и жиром.

— Славно молвишь! — удовлетворенно крикнул Жидята. Он завернул полу изношенной ряски, присел возле Сивоока.— Давай твой хлеб и квас — это самая лучшая еда. Меня зови не попом, а Лукою, хотя зовут еще меня Жидятой, потому как у хозар жил в плену, а у них вера — жидовская.

— Как же ты переметнулся в христианство?

— Не принял я их веры. Да и христианской тогда не знал. Зачем это было? Пока молод, разве про веру думаешь? Научился стрелять из лука, ловить диких коней, бить зверя на полном скаку. Вырвался из неволи, прибежал в свою землю, а тут меня никто и не ждал. Охотился тайком на княжеских угодьях, бил зверя, бывало, и котного, брал грех на душу, потому как все равно ведь это — княжье. Научили меня старые ловцы, чтобы для крепости и здоровья употреблял медвежье сало. Убил я медведя, натопил из него жиру прямо в шапку, полную шапку еще горячего выпил, несколько дней тяжко болел, но потом будто смазало меня всего изнутри: никакая хворость не приставала. Пригодилось это мне, когда поймали меня княжьи прислужники да бросили в поруб холодный и влажный в земле, с червями да жабами. Ежели бы не промаслился раньше медвежьим салом, так бы и сгнил там, в земле. Ан нет — высидел. Тут у самого поруба церквушку деревянную поставили, службу правят, грехи замаливают. Слушаю, нравится мне пение, хотя и не понимаю ни единого слова. А поскольку голова у меня крепкая, то и схватил все эти пения, ирмосы эти чужестранные, да однажды и рявкнул из поруба по-медвежьи: «Кирие элейсон!» Вытащили меня, рассматривают, будто ромейское диво. Повезли в Бересты, так немытого и поставили перед пресвитером Илларионом. Спрашивает он: «Христиа-

нин?» Говорю: «Нет». Молвит что-то по-гречески. Я гляжу на него, что твой баран. «Не знаешь греческого?» — «Не знаю».— «Обучен письму или книгам?» — «Не обучен». Вот с тех пор и началось. Обучил меня пресвитер, а я ко всему человек башковитый...

— Так ты и не поп? — спросил Сивоок.

— Пока нет паствы, так не поп, но хочу учить. Стоять за свое родное хочу. Веру взяли у ромеев, а язык их нам ни к чему. Славянский должен быть. Отведал я среди чужих, знаю, что это, когда тебе твое слово забивают назад в глотку. Это — смерть человека. Да и научиться чужому языку разве можно толком? Лишь от своей матери возьмешь ту глубину и сущность, а чужой — одни лишь сливки. Про хлеб да воду еще спросить можно, в душу же — не проникнешь, не доберешься. Ты художник — должен знать это. Письмо знаешь?

— Ну и что?

— Книги читал, видел?

— Украшал, читал, переписывал — тебе и не снилось.

— Ежели так, зачем же отдаешь так легко свою работу? Пишут над твоими образами греческие словеса. А ты молчишь? Разве не ведаешь, что творение и название — едины суть?

— Боги греческие, значит, и словеса их,— пожал Сивоок плечами.— Скрижали нашел Моисей каменные на трех языках, наш там не значился, а только гебрайский, эллинский и римский.

— Так вот, мастер,— Лука поудобнее уселся, охотно включился в словесный бой,— знай: ни того, ни другого, ни третьего на скрижалях не было, а был язык сирийский, на нем же и бог глаголил. Ежели брать письмена эллинские и наши, то славянские письмена святее суть, ибо сотворил муж святой Константин, нарицаемый Кириллом, и брат его Мефодий во времена Михайлы греческого, и Бориса болгарского, и Растца — князя моравского, и Коцели — князя блатенского, им же слава, честь, держава и поклонение ныне, присно и в бесконечные века — аминь! Греческое же письмо сотворил эллин. Пускай он и тешится им. А раз наша святыня — наша и речь тут должна звучать!

— Зачем она еще и тут, в этом храме чужого бога? — тяжело подвинулся на Жидяту Сивоок.— Пустить сюда еще и речь нашу — будет значить признать этого бога своим до конца. А может, народу и не нужно это? Ибо всякий чужой бог — это еще ярмо на шею. Может, лучше тогда чувствовать его чужим, не допускать к источникам родным, глубочайшим — и тогда

этот собор так и останется загадкой напрасной попытки завоевать душу русского народа, попытки единственной, может, и великой, но напрасной? Ежели же подпишем здесь богов по-своему, признаем их и примем, тогда утратим малейшие надежды вырваться из-под костлявой руки чужого бога, и будет с нами то же, что и с Византией. Императоры тоже начинали с воздвижения храма в честь Софии-мудрости, но уже в скором времени растеряли и те крошки мудрости, которые могли иметь, забыли о мудрости и стали рабами этой удивительной и жестокой веры, рабами строительства для Христа, который в ненасытности строительства святынь не имеет себе, кажется, равных. Не знаю, видел ты или слышал, а мне довелось и знаю, в каких землях и краях установлены храмы в честь Христа и его апостолов, его мучеников и святых отцов, которые умножаются ежедневно. Да, может, и ты норовишь когда-нибудь вскочить в их сонм? Вся земля уже заставлена этими святынями, а конца-краю не видно. Повсюду в ромейском царстве: в городах и в пустынях, на горах и возле рек больших и малых, над озерами и средь моря на островах — всюду ставят храмы, монастыри, каплицы. Обдирают люд простой, накладывают новые и новые налоги, завоевывают новые земли, чтобы награбленное там снова обратить в строительство святынь. Рано или поздно рухнет ромейское царство, ибо не может человек терпеть такое небрежение, не может без конца приносить пожертвования — нужно же когда-нибудь и жить! А богу все едино — он ведь мертв.

— Что речешь, богохульник! — вскочил Жидята.

— Молвлю, что думаю. А к словам не цепляйся, хотя ты и поп,— тоже встал Сивоок.— Полжизни отдал твоему богу. Ставил церкви и украшал. Видишь это? Для славы бога твоего сделал я, может, больше, чем все попы нынешние и грядущие. Хватит ему. Спрашивал о языке — я тебе ответил. А теперь иди и не мешай мне делать дело. Можешь сказать пресвитеру, можешь идти к митрополиту, к князю — не боюсь никого. Моего умения никто не отнимет. И не передаст никому тоже. Оно мое и со мной останется. Запомни, поп!

Жидята сплюнул и полез вниз. Сам умел бить людей словами, но тут вынужден был признать себя побежденным. Ибо этот распатланный светло-русый великан с сивыми загадочными глазами, кажется, молвил слова не только гневные, но и мудрые. Про Византию хотя бы. Все знающие люди отчетливо видели, как все больше и больше расшатывается такое еще недавно могучее царство. Женившийся на дочери Константина

Зое Роман Аргир процарствовал едва лишь два года. Зоя сошлась с молодым пафлагонцем Михаилом, когда тот чесал императору пятки, и случилось наконец, что василевс, купаясь перед сном, имел неосторожность нырнуть в ванну, а слуга придержал его под водой ровно столько времени, чтобы тот захлебнулся. Когда императора немного погодя вытащили из ванны, он еще был жив, но длилось это недолго, отдал он богу душу, так и не придя в сознание; Зоя не прождала и дня после смерти мужа, скорее объявила имя нового своего избранника, которым был, разумеется, Михаил-пафлагонец,— и вот Византия уже имела своего императора. Этот оказался не лучше своего предшественника, ударился в святошество, а государственные дела препоручил своему дяде — евнуху Иоанну и его братьям Никите и Константину. В этой великой империи люд был до того обобранный и равнодушный, что уже, казалось, утратил желание и способность к восстаниям и протесту. Налоги выдумывались такие, что стыдно их и называть. Засухи, град, саранча, мор, землетрясения терзали великую землю. Нет пафлагонцам божьей милости, говорили в народе. По-прежнему Византия рассылала только своих священников во все концы, кичилась блеском своей роскоши, богатств и распутства. Еще длилось ослепление былым величием, даже в измельчании своем императоры константинопольские считались образцом для других властителей, для всех тех, для которых добро и зло в будничном значении не играют никакой роли, для тех, кто руководствуется в поступках своих не видимыми потребностями повседневности, а скрытыми, порой темными и запутанными причинами.

Жидята не раз и не два имел продолжительные беседы с князем Ярославом, хотел открыть князю глаза, призывал его к решительности. Самое время покончить с ромейскими прислужниками в родной земле, чтобы установилось свое, исконное, очиститься от чужеземцев. Князь молился осторожности, на князя не действовали уговоры, на него не действовали и доводы, на него не действовал крик. Он имел свою мудрость, ею жил, никого не подпускал к делам своим. «Царства стоят на терпении»,— любил он повторять. И умел терпеть и ждать сам.

Неожиданно умер князь Мстислав в Чернигове. Как и сын его три года назад, поехал на охоту, гнал оленя, разгорячился, потом напился холодной воды ключевой,— и уже никакие травы, никакие врачеватели не помогли. Да и то сказать: дожил до тех самых лет, как и отец его, князь Владимир, хотя и предполагалось при его здоровье, что переживет всех братьев сво-

их и сядет — хотя бы на старости лет — на Киевском столе. Не вышло. Умер — и семени не оставил. Не достроил и собора Спаса, стены которого выведены лишь на высоту поднятой руки всадника, когда тот встанет на коне.

Ярослав стал самодержцем всей земли Русской. Он пошел в Новгород, повез с собой старшего сына своего Владимира, чтобы посадить его князем земли Новгородской, взял Ярослав и Луку Жидяту, и вскоре пришла весть, что поставил князь Луку епископом в Новгороде, а Ефрема, который учил там вере погречески, устранил, ибо у того не было сана, потому что, как поговаривали злые языки, своевременно не дал митрополиту Феопемпту соответствующей мзды. Еще говорили, что Ярослав за что-то посадил в поруб последнего своего брата Судислава Псковского, и теперь уже целиком должен был господствовать только Ярославов род. Но все это мало касалось Сивоока, ибо он теперь горел новой своей работой, украшал башни, отводил душу, наконец творил не то, что кто-то велел, а свое, желанное, выношенное в мечтах!..

Шла последняя весна, имели еще лето для завершения своих работ — князь завещал после возвращения из Новгорода освящение храма, ему хотелось прежде всего как можно скорее открыть церковь, он, видимо, связывал с этим какие-то свои намерения, но об этом знать надлежало самому князю — на долю мастеров выпадало лишь одно: спешка.

В Софии были проделаны необозримые работы. Кроме мусийного убора, равного которому трудно было и подыскать еще где-либо в мире, написано фресок многоликих двадцать и пять, на них же фигур сто пятьдесят и четыре почти в полный человеческий рост, фресок единоличных во весь рост написано двести и двадцать, а поясных — сто и восемнадцать. Уложены во всем соборе полы тоже мусией из разноцветного камня, украшена, кроме того, вся внутренняя часть церкви узором мусийным и писаным, художественной лепкой, резьбой по червонному шиферу овруцкому. Теперь антропосы пристраивали еще своих ромейских святых с наружной части собора, выбирая для этого все выступы и площади, не пригодные для рисования. Сивоок велел, чтобы не трогали стен по сторонам главного входа в церковь, ибо имел намерение после завершения росписи своих башен размахнуться под теми пресными святыми безбрежностью славянского солнцеворота. Он нарисует с одной стороны осенний солнцеворот, в пышности златолистных лесов, щедрости полей, в богатстве человеческой плоти. Пусть костенеют в зависти высохшие христиан-

ские святые над этим вечно не прекращающимся праздником великого народа. Ибо разве же ведают они о великих радостях весны, освященной произрастанием трав, бурлением березовых и кленовых соков, пробуждением городов, сел, всего народа, когда все города и села приподняты, взбудоражены, мужья и жены выйдут на луга и болота, в пустыни и дубравы и начинаются ночные хороводы, беспричинный гомон идет над всей землей, песни звучат, голоса сопелок и струны гудят, бьют в бубны, в живом хороводе танцуют молодые девушки, весело кивают опытные жены, вслепую блуждают руки, вытанцовывают ноги, горячие прикосновения, темные поцелуи в быстротечной ночи. А осень... Разве вернутся теперь давние осени с их богатством, достатком и спокойными радостями, в огненных красках, золоте и прозрачности? Новый бог нес за собой бедность, голод, распри, толчею. Сивоок когда-то читал горькие нарекания святого отца-отшельника на беспорядок, который восторжествует повсюду, где поднят над землею крест: «Начнут люди напрасными бедами спасаться и повсеместно за таковые грехи начнут быть и глады и морове частые, и многие всякие трусы и потопы, и междуусобные брани и войны, и всяко в мире начнут гинути грады и стеснятся, и смятения будут во царствах великие и ужасти, и будут, никем не гонимы, исчезать люди из сел и волостей, и начнет люд христианский всяко убывати, и земля начнет пространнее быть, а людей будет меньше, и тем, остальным людям будет на пространной земле жити негде».

Голодранцы всегда крепче в своей вере, ибо у них не остается ничего. Не дай народу разбогатеть — будешь иметь отары послушных овец, слепых в своей покорности. На этом стояло христианство.

А Сивоок хотел показать свой народ в богатстве, среди щедрот его родной земли, которые принадлежали когда-то ему без остатка, да и принадлежать должны всегда и вечно! Осенний солнцеворот. Виделся он ему пышнее всех богатств и пышности Византии и легенд о царствах прошлых и даже несуществующих. Шел к изображению солнцеворота через терпение и великий труд над мозаиками, через отдых душевный под приземистыми сводами башен, готовился медленно еще к одному своему творению на родной земле, которую хотел восславить во всю силу. Но судилось ли ему осуществить задуманное?

Киев принимал церковь Софии удивлением и восторгом. Взглянуть на это диво шли люди — богатые и бедные, тупоголовые и с чуткой душой, приходили, приезжали, приползали

немощные в надежде на исцеление, были тут вдовы, сироты, нищие, слепцы и хромые, упорные калики перехожие в своем неизбывном несчастье. Не всем удавалось проникнуть внутрь собора, многие смотрели на церковь снаружи, но и этого было достаточно, чтобы разносить весть по всем землям о киевском диве.

На киевских торжищах восток сходился с западом, северные земли встречались с южными, здесь были булгары волжские с мехами, немцы с янтарем, и красными сукнами, да светлыми шлемами латинскими, угры со скакунами да иноходцами, степняки со скотом и кожами, сурожане с солью и легкими тканями, пряностями, винами и травами душистыми, греки византийские с богатыми паволоками, дорогой одеждой, коврами и сафьяном, посудой серебряной и золотой, ладаном и красками, были тут и купцы русские: новгородцы, полочане, псковичи, смоляне, суздальцы — и каждый из них тоже шел посмотреть на храм, и слава о нем разносилась по всем землям.

Среди этого людского столпотворения незамеченной, наверное, осталась бы девушка, пришедшая в Софию в один из весенних дней, но не исчезла эта девушка, как остальные посетители; она приходила снова и снова, становилась всегда на одном и том же месте, смотрела всегда на то же самое, казалось, не замечала в соборе ничего, кроме Оранты, так, будто хотела надолго сохранить в глазах ее сверкание.

Кто же мог знать, что поразило девушку в фигуре богоматери? Ее непостижимое величие, благодаря которому она господствовала здесь над всем, или, быть может, глубокая синева, излучавшаяся из нее? Или приковывала ее взор торжественная дикость глаз, перепуганных пышными одеждами? Возможно, для этой девушки, пришедшей в собор, наверное, из далекой пущи или из степей, Оранта была не богородицей-заступницей, а босоногой красавицей из степного раздолья, угнетенной византийскими знаками власти и высокомерия?

Никто не знал об этом.

Никто не заглядывал девушке в глаза, а если бы и заглянул, то отметил бы, что в них дикости еще больше, чем в глазах Оранты, только дикость эта непокоренная, непуганая, сизо-веселая.

Заметил ее Мищило. Охватило его чувство зависти к Сивооку еще большее, чем прежде, потом, поразмыслив малость, пошел к нему в башню, долго стоял молча, смотрел, как тот быстро пишет фреску по не застывшей еще накладке.

— Чего молчишь? — спросил Сивоок.— Ведь вижу: пришел

сказать что-то страшное. Всегда приносишь мне страшные вести.

— Ежели так, то выслушай весть хорошую.— Мищило рад был неожиданности, которой поразит Сивоока.— Уже несколько дней ходит в церковь девица вельми красивая и статная.

— Какое мне до этого дело?

— Смотрит на твою мусию богоматери.

— Ну и что?

— Сердце мое встрепенулось от этой девицы.

— А мне какое дело?

— На твою мусию смотрит.

— Пускай.

Мищило ушел. Сивоок не очень и сожалел. Не было между ними дружбы и не будет уже никогда. Но этот непостижимый человек появился снова через несколько дней. Так, будто прокладывал тропинку к сердцу Сивоока, тропинку, которую до этого много лет загромождал отбросами вражды, зависти и коварства.

— Спрашивает она о тебе,— сказал он Сивооку.

— Кто?

— Девица, которую зачаровали твои мусии.

— Может, в ученики хочет ко мне? Но девиц ведь не беру! — Сивоок засмеялся напускным смехом. Что-то встревожило его в назойливости Мищилы. В самом деле изменился человек или случилось что-то необычное? Но девушка. К чему здесь девушка? Для него теперь не существует ничего на свете. Он не принадлежит ни своим желаниям, ни своим потребностям. Он без остатка принадлежит искусству. Ибо что такое искусство? Это могучий голос народа, звучащий из уст избранных умельцев. Я — сопелка в устах моего народа, и только ему подвластны песни, которые прозвучат, родившись во мне. А меня — нет.

Он так и сказал:

— Меня — нет.

— Как это? — не понял тот.

— А так. Нет. Есть только то, что после меня останется. Кому-нибудь нравятся мусии — пускай. Какое мне дело?

И снова пошел немного обескураженный, сам не свой Мищило, а через день возвратился снова. Сивоок собирался уже накричать на него за то, что мешает закончить роспись своими благоглупостями, но Мищило успел сказать:

— Привел ее к тебе.

— Кого?

— Да девицу же. Дозволь?

Сивоок молчал. Сердце его учащенно забилось, ударило в грудь, вырывалось из тесноты. Ой, беда будет! Ой, беда! Но молчал. И Мищило истолковал это молчание как знак согласия. Отодвинулся в сторону, пропустил девушку вперед, сам не стал задерживаться, исчез. Сделал дело доброе или злое,— наверное, не ведал сам. А может, в самом деле потеплела его душа к Сивооку за то, что он такое сотворил!

Девушка стояла молча. Сивоок быстро писал. Знал, что самое главное — не взглянуть на нее. Была — и нет.

— Ты чего? — спросил ее, когда уже молчать было бы неучтиво.

— А ничего,— ответила она с лету.

— Чья? — спросил он снова, лишь бы спросить.

— А ничья.

— Как зовешься?

— Никак.

— Откуда такая?

— Не твое дело.

Голос у нее был такой, что казалось — можно прикоснуться к нему. Будто к мягкому драгоценному меху. И хотя отвечала задиристо, собственно, и не отвечала, а швыряла Сивооку его вопросы назад, у него не пропала охота продолжать с ней разговор, боялся только, что не удержится и посмотрит на девушку. Знал теперь хорошо: оглянуться — пропасть.

Но девушка не дала ему пропасть. Тихо направилась к выходу и исчезла молча, быть может и навсегда. Сивоок оглянулся — поздно! Хотел выскочить вдогонку, но удержался. Принадлежит искусству. О себе должен забыть. От всех соблазнов должен бежать не оглядываясь, как от Содома и Гоморры!

Проклинал Мищилу. Тот хорошо ведал, что делал. Сам же столько лет отговаривал Сивоока от Иссы, приводил в пример святых Аммона, Авраама и Алексея, которые бежали от своих невест в первую брачную ночь, или же Оригена Александрийского, который оскопился, чтобы уберечься от соблазнов, и только благодаря этому закончил великое дело: свел воедино пять неодинаковых списков Святого письма. Не действовало на Мищилу и то, когда говорилось ему, что не появился бы он на свет, не будь любви между его отцом и матерью. Имел и на это свой ответ. Дескать, если бы Адам в раю не отступил от бога, то размножение людей произошло бы другим, более достойным способом, и первый этому пример — непорочное зачатие девы Марии.

Зачем же теперь этот высохший душой святоша показал этой девушке, где он, Сивоок? Или, быть может, она столь отталкивающа, что Мищило хотел просто поглумиться? А Сивоок даже не взглянул на нее, чтобы плюнуть с презрением да и забыть ее сразу.

Она пришла снова. Бесшумно, будто босая (а может, и в самом деле босая?), прошмыгнула позади Сивоока, остановилась за ним, молча смотрела на его работу.

— Снова пришла? — спросил он, чтобы услышать ее мягкий голос.

— Пришла.

— Ну, постой.— Он немного поработал, наклоняясь за краской, бросил взгляд через плечо. Увидел ее руку. Рука не висела вдоль тела, а словно бы плыла в воздухе, двигалась, жила, будто теплая, розовая птица. Тогда Сивоок взглянул через плечо правое и снова увидел вторую ее руку. Она точно так же жила, двигалась непрестанно. Никогда он не видел таких рук. Снова наклонялся, снова смотрел. Окинул взором всю ее фигуру. Невысокая, но в стройности своей казалась высокой. Всего одежды — белая сорочка с какой-то вышивкой.

Никогда еще не приходилось наблюдать ему у женщин такого высокого умения одеваться.

А эта словно бы родилась в своей сорочке. Прослеживается под полотном каждый изгиб тела, ноги открыты именно так, как нужно открыть, где-то там блеснула полоска белой кожи, но какой белизны!

Он еще не видел лица девушки. Теперь боялся ее по-настоящему. Спросил грубо:

— Чего тебе нужно?

— Ничего.

— Ну и уходи себе.

— Уйду, когда захочу.

— А если выгоню тебя отсюда?

— Попробуй!

— Знаешь, кто я?

— Сивоок.

— Кто сказал тебе?

— Все говорят.

— Меня — нет,— повторил он счастливо найденные для Мищилы,а прежде всего для самого себя слова.

Она засмеялась:

— Тебя слишком много, чтобы не быть.

— Почему много?

— Великий ты. Телом. И работой. Так я и знала.
— Что ты знала?
— Что ты — такой.
— Не видела же ты меня.
— А вот вижу.
— Спину.
— Ты меня и вовсе не видишь.
— И не хочу,— сказал он без твердости в голосе.
— Меня зовут Ярослава.
— Княжеское имя имеешь.
— Мать дала.
— А отец кто?
— Нет.
— А у меня — ни матери, ни отца.
— Тебе не страшно?
— Разве ты боишься чего-нибудь?
— Боюсь,— шепотом призналась она.

И тогда Сивоок оглянулся, уже не таясь. Резанула взгляд нежность ее лица, натолкнулся на сизую пронзительность ее глаз, в приоткрытых устах ее вычитал свое назначение, будто правоверный на древе вечности, где на листе выписаны имена. Стряхивают дерево, осыпаются листья — умрут те, чьи имена значатся на упавших листьях, умрут еще в этом году. И пусть сбудется. Еще не все было утрачено. Мог еще собраться с силами, прогнать ее отсюда, мог, наконец, сам уйти от нее (все равно ведь не вернешься к своей работе!), но мог — и не мог. Что-то детское охватило вдруг его, чувствовал себя мальчиком из древней пущи, а перед собой видел Величку из полузабытых снов-воспоминаний, чувство нежности появилось в чертах его лица, к которому теперь никак не шли ни борода и усы, ни огромные, тяжелые, натруженные его неутомимые руки. Наверное, он так и представлялся этой Ярославе, она не испугалась его непривычного вида, хотя была, наверное, вдвое моложе его, не ощущала себя девчонкой, стояла перед ним как равная, захотелось стать еще ближе к нему, вызвать его доверие, и она сказала то, чего не говорила в Киеве никому:

— Прибежала я из самого Новгорода. Переоделась в отрока и бежала.

Он не слышал тревоги в ее голосе в связи с бегством, не спросил, от кого бежала так далеко, наконец пронзил его страх за Ярославу, которая еще не ведала об угрозе для себя большей, чем он. Не для того ли выбиралась она из дальних краев, из лесов и болот, дошла до Киева, расположенного на теплых,

озаренных солнцем холмах, чтобы попасть здесь к старому человеку, изнуренному, собственно, уничтоженному жизнью и нечеловеческим напряжением всех способностей?

И снова еще не было поздно. Еще мог бы крикнуть: «Беги от меня! Беги не оглядывайся!» Но не крикнул. Тихо сказал:

— Иди, потому что мешаешь мне закончить рисование. Если хочешь, то приходи завтра.

Если бы она хоть обиделась на такую невежливость и ответила ему резко, с достоинством. Но сверкнула на него пречистыми своими глазами и мягко промолвила:

— Хорошо. Приду завтра.

Пришла точно так же, в той же самой тонкой сорочке, только на шее была нитка зеленого жемчуга — от дурного глаза и болезней.

— Была на торжище?

— Была.

— Понравилось?

— Да.

— Хотела бы со мной на торжище?

— А твоя работа?

— Должен иметь отдых.

...Он купил ей византийскую ткань из крученого шелка. Узорчатая, богатая, хоть и для княгинь. Цвет почти пурпурный. Узор — в больших кругах по два сказочных грифона стоящих на задних лапах спиной друг к другу. Крылья их в причудливом переплетении. В углах между кругами — настороженные ястребы.

Когда Сивоок платил за эту ткань, сбежалось все торжище, ибо за такие деньги можно было бы купить целую волость. Ярослава неопределенно улыбалась, когда он накинул на нее ткань, повела плечом, заморский шелк соскользнул к ее ногам, а она снова предстала в своей удивительно белой сорочке, будто далекое заманчивое видение, к которому странствуешь во снах и никогда не доходишь.

— Зачем отдал такие деньги? — спросила Ярослава.

— Дурные деньги, потому и отдал,— сказал Сивоок.— Князь Ярослав перед отъездом в Новгород расщедрился за мои мусии.

— Князь? — она словно бы вздрогнула, но подавила в себе что-то, снова стала обыкновенной, беззаботной.

— Ну да, Ярослав — князь. Считает, что за деньги можно купить искусство, но ошибается. Ты не знаешь о деньгах, ну и не нужно. Ни о том оболе, который платили перевозчику в

царство мертвых Харону, ни о том оболе, который выпрашивал прославленный ромейский полководец Велизарий, наверное, не слыхала, ни о тридцати сребрениках Иуды, ни о драхмах блудницы Лаис, не ведаешь и о той старинной монете, которую дарил один из спящих в Эфесе, а также о сверкающих монетах волшебника из арабской сказки, которые впоследствии становились простыми кружками из кожи. Но мог бы рассказать тебе о великом восточном певце, который получил от султана шестьдесят тысяч монет за каждую строку своей песни, но возвратил их обратно, потому что были серебряные, а не золотые.

— За твою песню даже золота мало,— сказала она.

— Разве у меня есть песня? — удивился Сивоок.

— А там? — Ярослава показала на Софию.— Это все — как песня.

— Ты не разбираешься в этих делах. Всякое слово стремится к пению, но всегда ли доходит?

— Я научилась всему, взглянув лишь. Ибо нет такого нигде на свете.

— Ты еще мало видела мир.

— Знаю: нет нигде! — твердо сказала она, и Сивоок не мог поколебать девушку в ее убеждении.

Он не хотел видеть в этой девушке, бежавшей из Новгорода, вознаграждение за всю свою жизнь. Боялся не за себя — за нее. Обращался с ней осторожно, словно была она из драгоценного стекла. Но девушка не отходила от него, смело шла прямо на Сивоока, между ними еще не прозвучали те величайшие слова, которые произносят двое; но и без слов они уже знали о себе все, и оба ждали главнейшего, всячески оттягивая, отдаляя его, но зная хорошо, что оно придет — неуклонное, отпугивающее и одновременно желанное...

Лето прошло, а солнцеворота на стенах собора так и не было. Митрополит мог лишь радоваться, что этот непонятный славянин, которого давно про себя прозвал не украшателем, а осквернителем храма, наконец устал в своих неудержимых выдумках, бросил свои затеи, исчезал на целые недели не только из Софии, но и из Киева,— так было лучше для славы господней.

А те двое, обрадованные, что нашли друг друга в людском водовороте, беззаботно блуждали по Киеву, ходили в пущи, плавали за Днепр и за Десну, собирали ягоды в лесах, слушали птичий щебет; Сивоок находил невиданные синие цветы и дарил Ярославе, давняя его страсть к побегам пробудилась

снова в крови, он готов был бежать от всего, лишь бы принадлежали ему эти нестерпимо серые, до сизости, глаза, эти приоткрытые уста, эта нежность, от которой немело его сердце.

А лето проходило. Князь Ярослав возвратился из Новгорода, шел с дружиной по Днепру, приближался к Киеву, а за князем шел товар[1]: возы с припасом, с шатрами-войлоками, с одеждой, коврами, оружием, мехами, казной, вели коней подменных, гнали скот. Возвращались княжеские прислужники, стража, бояре, воеводы, шуты, развлекатели, песельники и дудочники, шли попы и монахи, везли книги, купленные князем у купцов западных, пергаменты старые и новые, в деревянных досках и серебряных рамках.

Выезжал из Киева князь — возвращался уже и не князь, а говорили — кесарь. Велено было в ковнице княжеской выковать венец золотой с изумрудами и рубинами, как у ромейских императоров, завещал Ярослав скорое освящение Софии, слал впереди себя гонцов, торопил митрополита и пресвитера Иллариона.

Самодержец земли Русской, величайший и могущественнейший государь во всех сторонах между севером и югом, западом и востоком, желал провозгласить это в высокой торжественности и пышности.

Из Чернигова прибыл Гюргий, съезжались все, кто причастен был к сооружению Софии, все ждали великой минуты, когда откроются кованые врата и запылают свечи, ударят по всему Киеву колокола...

Только Сивоок, более всех причастный к этому празднику, был равнодушен ко всему. Даже с Гюргием встретился случайно, ни о чем не расспрашивал, ни о чем не рассказывал,— бежал к Ярославе, к своим беззаботным блужданиям.

Не было солнцеворота на стенах собора, но был он в душах этих двоих, буйный, неудержимый, полный восторга и привлекательности солнцеворот, который сочетал в себе весну и осень, зиму и лето, все времена года, все краски, голоса, звуки. Беззаботные и бестревожные жили они, словно остались только вдвоем на всей земле, словно не существовало для них ничего, кроме них самих, стали они вечными, бесконечными друг для друга.

Но тот же самый Мищило, который по неизвестным причинам свел их воедино, опять-таки неизвестно зачем попытался разъединить их тогда, когда все уже было напрасно.

---

[1] В старину товаром называли обоз.

Он пришел к Сивооку, в его хижину, разбудил, не дал ему опомниться, сказал:

— Прячь девушку, потому что за нею охотится боярин Ситник.

— Откуда тебе ведомо?— вскочил Сивоок.

— Говорю и знаю. Вчера узнал он о ней.

— Какое ему дело?

— Этого не ведаю. Предупредил тебя, а там как знаешь. На все воля божья.

— Хвала,— наверное, впервые в жизни попытался быть приветливым с Мищилой.

Сивоок сел, обхватил голову руками, встревоженно думал. Он не боялся Ситника, как не боялся никогда ничего на свете, а нынче и тем более, но предостережение Мищилы вызвало тревогу в сердце, отогнать которую он не мог. Почему зловещий ночной боярин должен был охотиться за Ярославой? Может, чтобы досадить ему, Сивооку? Тогда откуда известно ему все? Как узнал про Ярославу и про то, где она и как? Вопросы без ответов. А что, если в самом деле Ярославе угрожает опасность... Он побежал на другой конец Киева, где Ярослава снимала для себя избушку. Боялся, что не застанет ее дома. Ибо если Ситник узнал о ком-то, что он в Киеве, то почему бы не знал, в какой хижине он скрывается? Видно, еще не успел узнать. Ярослава была дома, ничто не выдавало в ней тревоги, наверное, не дошли еще до нее угрожающие вести. Что ж, так лучше. И не дойдут. Он взял ее за руку, сказал:

— Пошли.

— Куда?

— Куда глаза глядят!

— А что с собой брать?— засмеялась она.

— Не нужно ничего.

— Хорошо. Пошли.

Они в самом деле вышли в чем были. А дорога ведь простиралась в века. Но в своей беззаботности оба не ведали этого. Не ведали даже тогда, когда впереди в узкой улочке увидели троих. Отважно шли им навстречу. Сивоок узнал среди этих трех Ситника. Наверное, знала его и Ярослава, ибо побледнела, тотчас же остановилась. Ситник с двумя сообщниками почти бегом бросился на добычу.

— Беги!— хрипло сказал Сивоок.— Из Киева!

— А ты?

— Беги!— повторил он и пошел на тех троих.

Трое уже были возле него. Видно, не велено им применять оружие, потому что Ситник только сжимал ручку меча, а два его прислужника схватили Сивоока за руки.

— Беги!— еще раз крикнул Сивоок и оглянулся, чтобы увидеть, послушала ли его Ярослава; но ее не нужно было подгонять,— видно, знала, что не за ним идут, а за нею, недаром же тогда говорила, что бежала из Новгорода. Что-то зловещее таилось во всем этом, никогда больше не заводила речи про Новгород, никогда не мог бы связать ее имени с Ситником.

Она уже добежала до поворота улочки, в последний раз оглянулась — наверное, была уверена, что ему ничто не угрожает, а ей угрожало что-то страшное, потому что бежала изо всех сил; Сивоок глянул на ее лицо, ему принадлежали эти серые глаза, приоткрытые губы, эта стройная фигура, он впитал ее всю, запомнил навсегда, навеки. А Ситник, убедившись, что его болваны не сдвинутся с места, пока будут держать Сивоока, выхватил из ножен меч, ударил художника сзади по шее, когда тот смотрел вслед Ярославе, крикнул отчаянно своим:

— Рубите!

Те отпустили руки Сивоока; он обескураженно схватился за рану на шее, а они торопливо достали мечи, пронзили его с двух сторон, еще и еще. Он упал на землю. Тьма наплывала на него, сверкнули еще раз сквозь тьму серые глаза Ярославы, потом донесся до него из далекой дали тяжкий всхлип маленького мальчика на темной, дождливой дороге — и умер этот мальчик в великом, могучем человеке, неутомимое и страстное сердце которого затихло навсегда...

В ночь перед великими торжествами князь Ярослав, однако, выбрал время, чтобы принять в гриднице Ситника, спросил, как только тот появился на пороге:

— Где дочь?

Ситник мялся.

— Где? Спрашиваю.

— Бежала.

— В Новгороде бежала. Тут бежала.

— Сивоок...

— Что Сивоок?

— Помог ей.

— Где он?

Ситник снова мялся.

— Говори!

— Нет его.

— Ведаешь, что молвишь?

— Так вышло. Веление твое, княже, было: всякого, кто...

— Убили Сивоока?— тихо спросил боярина князь, подходя вплотную.

— Ага, так.

Ярослав отошел в темный угол, долго молчал, потом сказал коротко, жестко:

— Пойдешь в поруб.

Ситник раскрыл было губы, чтобы промолвить свое: «Ага, так», но вовремя спохватился, упал на колени.

— Княже! Служил тебе верой и правдой! В поруб, в холод, в сырость...

Словно бы выпрашивал более сухое место. Князь посмотрел на него с отвращением. Только теперь понял свою княгиню в ее омерзении к потливому боярину. Отвратителен во всем. Верный, как пес, но лишенный ума, даже собачьего.

— Чтобы не страдал в холоде, велю изрубить тебя мечами еще до наступления зимы, сразу же после праздников,— сказал князь и хлопнул дважды в ладоши.

Открылась дверь с другой стороны ризницы, вскочили два отрока. Ярослав указал на Ситника:

— Взять!

Когда боярина увели, князь взял трехсвечник, подержал его, поставил, взял одну лишь свечу, будто кающийся, тихо пошел по долгим запутанным переходам дворца, отыскал комнатку Пантелея, разбудил его, не давая опомниться, велел:

— Приготовь пергамент и писало.

— Света мало, княже.

— Хватит тебе. Перепишешь завтра. Готов? Пиши так: «Заложи же Ярослав град великий, у него же града суть врата злотые, заложи же и церковь святые Софии». А тот пергамент, где значится про Сивоока, чтобы изъял.

— Как же так? Княже?

— Делай, что велят! Нет Сивоока и не будет никогда.

Князь вышел. Пантелей не успел даже спросить у него, что же случилось; в ту ночь он уже не уснул, с трудом дождался рассвета, побежал в Софию, оттуда бросился к хижине Сивоока, потом разыскал Гюргия. Гюргий уже все знал, даже больше: пока Пантелей спал, а князь колотился со своими непостижимыми государственными хлопотами, Гюргий с несколькими своими верными товарищами тайком похоронил тело Сивоока в Софии, и теперь те где-то снова укладывали мозаичный пол на порушенном месте, чтобы никто никогда не узнал, где по-

чивает самое пылкое сердце земли Киевской. Пантелей сказал про пергамент, где записано, что Сивоок построил Софию.

— Дашь мне,— велел Гюргий.

— А если князь спросит?

— Напишешь ему еще раз. Все равно сожжет. А я сохраню. Так, как у нас в горах берегут. Надолго.

А настал день, который должен бы освятить неслыханное преступление в Киеве. «Что же вы будете делать, когда день навещения придет?» Да и что, в самом деле? Быть может, так и нужно? Христианство начиналось со смерти Иисуса. И первомученик христианский архидиакон Стефан был избит камнями после жестоких споров в защиту веры с сонмищами неверующих. Враги вывели Стефана за город, били камнями, а он молился: «Господи Иисусе, прими дух мой, господи, не поставь им греха ихнего».

Князь до утра сидел над священными книгами, думал не об убитом — о своем. Готовился к великому дню своей жизни. Долго и тяжело ведь шел он к этому дню, много убитых и умерших осталось позади: родной отец, братья родные, растерял сестер. Сохраняя державу, сохранил себя. Так каждый человек, почувствовав в себе дар, великие способности, должен сам их в себе ценить, оберегая себя в войнах, в опасностях, в жизни. Никто, кроме тебя самого, этого не сделает! И должен идти вперед, не оглядываясь назад, ни на предков, ни на мертвых. Когда-то жизнь шла вглубь и назад, когда-то мертвые не умирали, когда-то человек приноровился к тому, что плывет из прошлого, что молвили деды и прадеды. Теперь для тебя живые — мертвые, если не видишь их, не зависишь от них, а наоборот: они еще зависят от тебя. Поэтому делай задуманное!

Утром началось освящение Софии.

Трижды обошел крестный ход вокруг собора под звуки молитв и церковных песнопений. Старый митрополит Феопемпт в золотых ризах двигался во главе процессии, за ним шли пресвитер Илларион в непривычно торжественном серебряном одеянии и переяславский епископ грек Иоанн (Луку Жидяту Ярослав не привез на торжества, чтобы не раздражать митрополита), дальше шли игумены, попы и протопопы, иподиаконы и диаконы, канторы и послушники, церковные прислужники, богатые киевляне, соревновавшиеся своими нарядами с церковными сановниками, и киевляне всех возможных степеней достатка, вплоть до самых бедных, ибо посмотреть на освящение Софии пришел весь Киев.

Все шли с зажженными свечами, и огоньки этих свечей желтели, будто осенние листья в окрестных пущах. Попы раздували кадила, пахло ладаном, пели певчие, рыкали диаконы: «Вонмем!»

За четвертым заходом были освящены и внесены в церковь кресты, посуда, священные книги. Внесены потиры, дискосы, звездницы, рипиды, подносы, кадильницы и ладанницы, кресты великие и малые, все из золота и серебра, украшенные самоцветами и эмалью, внесены также вышитые золотом хоругви, плащаницы, серебряные ризы, дарованные князем, землями русскими, боярами и воеводами церковные порты и паволоки для ризницы, евангелия в дорогих окладах, молитвенники-менологии, украшенные рисунками, псалтыри, писанные на телячьей коже благороднейшей, внесено много книг светских, собранных князем Ярославом и подаренных теперь для храма, чтобы создано было при нем первое на Руси собрание книг.

Весь Киев вместился в просторной церкви, собрался здесь — и никто не знал, что где-то под разукрашенным полом лежит тот, кто поставил этот собор, родив его в своей мечте, кто дал собору эти дивные краски, эти величественные мозаичные фигуры, эту непрерывность движения, игру света, немеркнущее сияние.

Митрополит служил молебен, слава и хвала возносилась к богу, киевляне с зажженными свечами молча стояли в соборе, звучали колокола, била и накры, пела певчая, сквозь кадильный дым из высокой выси сурово посматривал Пантократор и горели над собравшимися киевлянами испуганно-упрямые глаза Оранты, чтобы взглянуть на которую стоило запереть торжницы, закрыть гончарные, кожевенные и оружейные мастерские. Даже киевская детвора набилась в собор, разместилась вдоль стен в притворах и уже готовилась поскрести чем-то, оставить после себя черточку, кружочек или нехитрый рисунок, положив тем самым начало многовековым упражнениям малограмотных потомков, которые оставят в дальнейшем на стенах Софии свои радости, тревоги, печали, презрения к божьим узаконениям, тоску по тому прошлому, когда и земля была толще, и зверь шел под каждую пущенную стрелу, и хлеб казался более пышным...

После молебна процессия, возглавляемая теперь пресвитером Илларионом, вышла из Софии и направилась к дворцу Ярослава. К духовенству, боярам и простому люду присоеди-

пилась здесь княжеская дружина — и так ждали выхода Ярослава. Как только князь появился в дверях, пресвитер Илларион сотворил короткую молитву, после чего два церковных сановника в торжественных одеяниях понтификальных, с повешенными на груди драгоценными реликвариями, где сохранялись мощи святых, подошли к князю и взяли его под руки. Духовенство выстраивалось в процессию, которая должна была возвратиться в Софию. Во главе процессии несли огромное Евангелие в золотой оправе с изумрудами, рубинами, и сапфирами, два креста, вился ароматный дым из кадил, священники пели молитвы попеременно на греческом и славянском языках. За священниками вели торжественно князя, дальше шла княжеская родня, дружина, бояре, двигались любознательные люди.

Вся дорога от дворца до Софии сопровождалась пением молитв.

Перед вратами Софии задержались, пресвитер Илларион сотворил краткую молитву, после чего процессия вступила в церковь при пении антифоны и задержалась перед пресвитером. Митрополит ждал князя возле главного алтаря. Он произнес молитву по-гречески, епископы сняли с Ярослава пурпурный хитон, отцепили его меч и подвели князя к алтарю. Тут Ярослав упал крестом на покрытый коврами и дорогими ромейскими покрывалами пол, епископы и весь клир стали на колени, певчая начала пение литаний. Когда троекратно прозвучало «Господи, помилуй!», все встали, епископы помогли встать князю — настал миг, когда князь перестал быть властелином, стал простым смертным, для того чтобы в скором времени возвеличиться еще больше, взять имя новое, еще и неслыханное на Руси.

Пресвитер Илларион подошел к Ярославу и спросил его торжественно, почти напевно:

— Обещаешь ли святые церкви господа нашего, и слуг божьих, и весь люд, тебе подданный, по обычаю предков своих, боронить и над ними владычествовать?

— Да,— сказал князь,— обещаю!

Теперь Илларион обратился с вопросом к «люду», уже не нараспев, а произнося слова запутанным способом, чтобы поняли их только церковные сановники да еще, быть может, кто-нибудь из приближенных князя. Спрашивал Илларион — жаждет ли люд иметь владыкой и кесарем своим князя Ярослава. Клир и певчая пропели: «Да будет так, да будет так. Аминь!»

Илларион произнес молитву, благословляя князя, умоляя

бога, чтобы он помог счастливо царствовать Ярославу, а владетель дабы послушен был божьей воле. Епископ переяславский произнес молитву по-гречески, ибо бог мог и не понять слов Иллариона, который обращался больше к собранным в соборе, чем к небесному владыке,— так и звучали попеременно молитвы на двух языках, а тем временем митрополит Феопемпт принялся за первое и важнейшее действие — за помазание. Он помазал святой оливой голову, грудь и плечи Ярослава, творя знак креста на князе, потом подал князю коронационный меч — знак и подтверждение власти, а вместе с мечом и всю державу. Князь опоясался мечом, взял из рук епископов украшенные жемчугом набедренники, застегнул хитон и взял берло.

У митрополита дрожали руки, когда он поднял золотой венец, чтобы возложить на голову Ярослава. До сих пор неизвестно было, откуда берутся императорские короны. Они существовали словно бы всегда, переходили в наследство вместе с целыми империями. Византийские императоры привезли венцы из Рима, немецкий император снял корону с мертвого Карла Великого, открыв его гробницу в Аахене, польский Болеслав получил корону от папы римского. Ярослав не стал ждать, пока кто-нибудь пришлет ему венец: велел своим мастерам выковать из русского золота, и вот митрополит чинил чуть ли не святотатство, но не мог противиться княжьей воле, утешая себя надеждой, что, кому нужно, легко может обесценить кесарство Ярослава и звать его по-старому князем.

Он возложил на князя венец, пробормотал благословение и необходимые при этом слова: «Венчается на кесаря земли Русской раб божий Георгий, рекомый Ярослав», но мало кто смыслил по-ромейски, поэтому в молитве, которую сразу же сотворили на славянском языке, многажды повторяли слово «кесарь», чтобы запало оно отныне в головы киевлян и возможно скорее разнеслось во все концы.

После молитвы коронованный Ярослав был торжественно отведен от алтаря к приготовленному поблизости трону. Дал епископам поцелуй мира, сел на троне, протянул руку для поцелуя княгине Ирине, которая после этого села рядом на стульчике пониже; вся церковь запела: «Господи, помилуй», и начался большой молебен.

Вскоре должно было начаться великое пиршество кесаря с дружиной и людьми знатными, Ярослав должен был бы считать этот день самым счастливым в своей жизни, но хорошо знал, что, как ни называйся, не распространяется твое могу-

щество повсеместно,— есть преграды, не избежать горечи поражений.

Без него выросла у Шуйцы его дочь, о которой он и не знал ничего, не захотела показать ему Шуйца Ярославу; когда же попытался применить власть и силу, девушка бежала и исчезла из Новгорода. То же самое повторилось в Киеве. Вот где предел власти: вольный человек.

Уже будучи кесарем, отдал повеление: найти и поставить пред его глаза. Пока же будет длиться поиск, никто этой девушке не должен дать ни хлеба на дорогу, ни воды от жажды, ни огня для обогрева, ни палки от собак.

И началась погоня по всем уголкам, по всей земле.

И бежала Ярослава полями, лесами, скрываясь в пущах и на болотах.

И не догнали. Убежала. Скрылась между людьми. Родила сына от Сивоока, и сын его — среди нас.

И диво это никогда не кончается и не переводится.

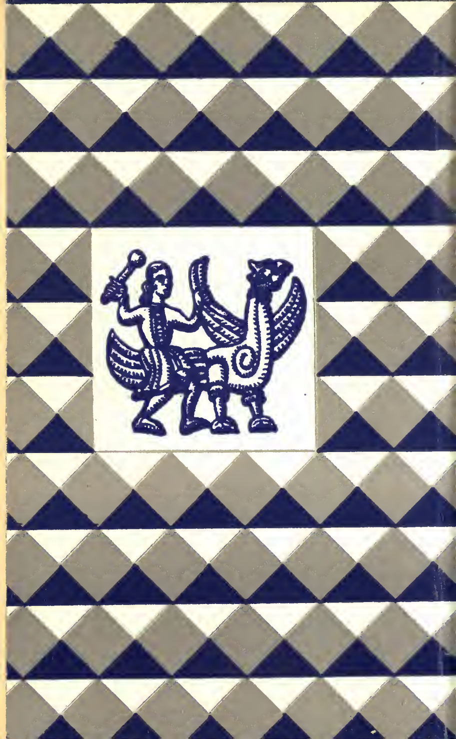
Киев,
1962—1968

ОГЛАВЛЕНИЕ

Загребельный Павел Архипович

ДИВО

М., «Советский писатель», 1973, 688 стр. План выпуска 1973 г. № 204. Художник Д. С. Мухин. Редактор В. П. Максимов. Худож. редактор Е. Ф. Капустин. Техн. редактор И. М. Минская. Корректоры С. И. Малкина и И. Ф. Сологуб. Сдано в набор 30/V 1973 г. Подписано к печати 21/IX 1973 г. Бумага 84×108¹/₃₂ № 2. Печ. л. 21,5 (36,12). Уч.-изд. л. 43,35. Тираж 30 000 экз. Заказ № 343. Цена 1 р. 39 к. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109






1 руб. 39 коп.


ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
ДИВО